

**Мария Сосновских**



# **ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ**

## **Книга 1**

**Ирбит**

**2018**

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(235.55)  
С 77

### **Сосновских М. П.**

Переселенцы. Художественно-исторический роман. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Ирбит: ООО «Печатный вал», 2018. — 680 с., ил.  
ISBN 978-5-91342-028-2

«...1724 год. Вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем...»

Роман «Переселенцы» — первая книга художественно-исторического цикла «Морок», повествующая о жизни в Зауралье переселенцев из Новгородской губернии.

Основан на архивных документах, воспоминаниях и устных рассказах.

Для широкого круга читателей.

Литературный труд члена Союза писателей России Сосновских М.П. высоко оценен и отмечен международными и всероссийскими литературными премиями.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(235.55)

ISBN 978-5-91342-028-2

- © Сосновских М. П., 2013
- © Смолькин И. А., вступительная статья, 2018
- © Камянчук Н. А., иллюстрации, 2018
- © ООО «Печатный вал», оформление, 2018

## ГДЕ ТРУД ОБРЕТАЕТ СМЫСЛ

Книга Марии Панфиловны Сосновских «Переселенцы» явилась для меня открытием — неожиданным и приятным. С первой страницы это повествование увлекло, удерживало, не отпускало от себя. О чем оно? Сама Мария Панфиловна, подводя итог своим многолетним трудам, написала: «Очень хотелось бы, чтоб опыт нашего поколения, истории наших судеб, прошедших в годы лихолетья, не были забыты». Думается, что она сделала для этого всё, что могла, и даже более того.

Нет, не лубочная картинка, не досужий вымысел автора, ищущего похвалы у читателя, предстают перед нами, но сама Россия — живая, страдающая, с натруженными ладонями и сбитыми в кровь ступнями ног. И вместе с ней «... вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем, на впалых щеках лихорадочно блестят глаза...»

Так начинается повествование М. П. Сосновских. Это лишь начало пути; сколько всего соберут впереди грядущие года, десятилетия, столетия?

«Подошла посевная — горячая и трудная пора для крестьянина-хлебороба. А для новых поселенцев — трудная вдвойне.

Василий пахал целину. Веками не знала сохи земля в Зауралье, пока сюда не пришли первые земледельцы, люди, кормящиеся и живущие за счет земли. Для Василия Елпанова это была первая пахота на новом месте, и работал он до самозабвения. Пахали от зари до зари. Ломило спину, еле несли натруженные ноги, в глазах ходили красные круги, а пахарь все шел и шел за сохой...

Изредка Василий останавливал лошадей, наскоро выпрягал Каурка и Звездочку и давал им по охапке сена или пускал пастись где-нибудь около болотца, где уже пробилась и пошла в рост молодая трава, а сам в изнеможении валялся наземь и отдыхал, слушая колокольчик жаворонка и глядя, как плавно кружит над пашней коршун-канюк...»

А время бежит так стремительно...

«Минуло пять лет, как новгородские переселенцы приехали в зауральскую деревню Прядеину. Жили по-всякому, то есть кто как умел, хотел или уж как мог.

...Василий Елпанов вышел на крыльцо своего дома. На востоке занималась заря, и скоро золотистая полоса распахнулась по всему горизонту. Благодать-то какая! Птичьи голоса взახлеб славят начало нового дня и словно поют хвалебный гимн солнцу. Василий наскоро обулся в бродни, взял под сараем узду и недоуздок и пошел в поле посмотреть пасущихся лошадей...»

Приходили беды и болезни, испытывая на твердость мужество и стойкость переселенцев...

«В тот год тиф унес множество людей — старых, молодых, младенцев... В Прядеиной почти не осталось домов, где бы поветрие не сгубило ни одного человека. Особенно много умерло бедняков, живших впроголодь.

Тиф исчез, как его и не было, уже осенью, когда журавли, готовясь к отлету, стали «шить котомки». К Покрову в доме Елпановых все пошло своим обычным трудовым чередом...»

Они стояли крепко, многое было им по плечу...

«На елпановской заимке жизнь не затихала ни днем ни ночью. Пока не погаснет вечерняя заря, работали все — и хозяйева, и работники. Далеко были слышны по Осиновке стук молотков и звон отбиваемых кос; бабы заканчивали вечернюю дойку, топили печь, готовили ужин и стряпали хлеб. Готовились к будущему дню — чтобы подняться

чуть свет, когда начнет золотиться первая полоска на востоке, и начать новый трудный день. Донимали мошकारа и комарье, по вечерам гнус выкуривали из конюшен и из домов дымом зажженных еловых и сосновых шишек...»

«Село Харлово раньше строилось вразброс — кому где любо. Только за рекой Киргой у оврага была прямая улица, которая называлась Чертята. Там жили люди одной фамилии — Пономарёвы, многочисленные потомки первого поселенца по прозвищу Ганя Черта. Все они были трудолюбивы в крестьянстве, искусны в ремеслах, удачливы в рыбалке и охоте, и у всех как на подбор были большие семьи. Самого Гани уже давно не было в живых, а его сыновья, внуки и правнуки расселились так, что выстроили за Киргой у оврага целую улицу...»

Это лишь краткие мгновения из жизни героев произведения Марии Панфиловны Сосновских, пунктиры их бытия...

Перед нами, к примеру, судьба семьи новгородских переселенцев Елпановых, летопись их жизни, каждое мгновение которой — это прежде всего тяжелый повседневный труд, изнурительный, вытягивающий, казалось бы, все человеческие силы до последней капли. Но если вечер повергает тружеников Елпановых наземь от усталости, то рассвет возрождает их силы для нового трудового дня. И этот день — как новая победа над ветхим человеческим естеством. Вкрапления праздников, моментов отдохновения столь незначительны в их жизни, что видятся скорее исключениями из нормального ритма бытия. Чувствуют ли себя крестьяне несчастными от этого? Да нет же, в этом труде смысл их жизни, в нем обретают они счастье. Кто выпадает из этого движения, из этого трудового крестного хода — идет ко дну, пусть и не мгновенно, но с роковой неизбежностью. Это касается и Пантелея Китаева, и самозванцев Куликовых, и алчной Соломии, и прочих, им подобных, пусть даже воздаяние

за грехи остается за рамками произведения, становящегося, впрочем, от того лишь более весомым, ведь и в действительной жизни наказание за зло и неправду чаще является данностью будущего века, и предлежит ему не человеческий, а Божий суд.

Итак, мы видим до боли достоверную картину народной жизни. XVIII век. Упорный труд созидает Россию, труд не ради того, чтобы насладиться его плодами (поехав, например, на модный курорт или погрузившись без удержу в развлечения). Нет, эта жизнь не имеет целью получение удовольствий, наслаждений, и поэтому труднодостижима для поверженного гедонизмом сознания современного человека. Кажется, что автор, выстраивая перед нами картину бытия зауральского трудового крестьянства, имеет в виду некую их тайну, до времени не открывая ее читателю.

Но где же разгадка этой бесконечной трудовой борьбы за существование? Нет, не найти ее в судьбах героев, как бы талантливо и высокохудожественно ни раскрывал их автор. Ответы растворены в глубинном смысле самих этих столетий. Если бы мы поднялись вверх над деревнями и поселками кержаков, бывших каторжан, переселенцев из западной и центральной России — над Прядеиной и Харлово, над Камышловским и Ирбитским уездами, над Тобольском, Екатеринбургом, Казанью, Москвой — над всей Россией, то, без сомнения, с этих невообразимых высот увидели бы, как поднимают из шахт руду, как выплавляют чугун на демидовских заводах, как повсюду стучат молотами по наковальням кузнецы, как сеют и жнут крестьяне, как обрастают такелажем и пушками на петровских корабельных верфях корабли, как к грядущим победам маршируют русские полки... Как в этом беспримерном труде расправляет свои могучие плечи Россия, возрастает из силы в силу, крепнет на зависть всем врагам и недоброжелателям. И вот в этой

великой вековой работе, становясь ее малой, но важной, необходимой частью, обретает смысл труд каждого русского крестьянина и мастерового, рабочего и инженера, купца и управляющего... Василия, Петра, Ивана Елпановых, Афанасия и Ганьки Пономарёвых и множества других, имена которых ведомы лишь Единому Богу. Из этих крохотных частичек складывается грандиозное панно, в котором все более и более четко прорисовывается непередаваемо прекрасный лик нашей России, самой великой страны, любить которую можно, лишь приобщаясь к ее корням, питаясь разумом из ее святых истоков, укрепляясь памятью в ее победах и свершениях.

Искренне убежден, что произведения Марии Панфиловны Сосновских исполнены именно таких созидательных смыслов и поэтому послужат к вящей пользе широких кругов читателей.

Секретарь Правления Союза писателей России,  
член Всемирного Русского Народного Собора,  
член Высшего творческого совета Союза писателей  
Союзного государства России и Беларуси,  
действительный член Академии  
Российской словесности и  
Петровской академии наук и искусств,  
член редакционных советов журналов  
«Балтика» (Таллинн) и  
«Родная Ладога» (С.-Петербург)

Игорь Изборцев



Мария Панфиловна Сосновских  
1 августа 1924 г. — 31 октября 2013 г.



## ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Я, Сосновских Мария Панфиловна, родилась в 1924 году в селе Харловском Знаменского района Ирбитского округа в крестьянской семье. Сызмальства познала крестьянский труд. Прошла все круги построения социализма: сплошную коллективизацию, раскулачивание, полуголодное колхозное существование...

Я была в семье шестым ребенком, двое из которых умерли от голода.

Весной 1925 года мои родители, отчаявшись в своем житье, потому как в Харловой от сибирской язвы вымер почти весь скот и погорели от засухи все посева, выехали жить на хутор Калиновка в девяти километрах от Харловой, в непроходимую тайгу. Там и стали вырубать лес и распахивать новые земли.

Полудохлая кляча, деревянная соха и такая же борона — вот и все наше «богатство». Жизнь была невыносимо трудной. Надо было на новом месте, среди согр и болот, строить и обрабатывать землю. Но мои родители преодолели все трудности. Стали растить хлеб, разводить скот. Мой отец был мастер на все руки. Построили большой дом, амбары, конюшни и стали жить не хуже других людей. Но в 1930 году у нас все отобрали — скот, хлеб и все остальное.

К весне 1931 года было полное разоренье, начался голод. Люди ели траву. Очень много появилось воров и нищих. Отец в то время уже приехал домой с лесозаготовок. Образовался колхоз, и его поставили председателем.

В 1933 году я пошла в школу в первый класс в деревне Чувашевой. Читать и писать я уже умела. Ходить в школу нужно было за семь километров дремучим лесом. Зимой нас одолевали волки, они заходили

во дворы и пригоны; лесную дорогу, по которой я ходила в школу, пересекали волчьи следы, из разных сторон чащи раздавался голодный волчий вой.

В школе учились ученики со всех ближайших деревень и хуторов. Чтобы не умереть с голоду, учителя и ученики садили картошку — у школы был большой огород. После уборки хлебов нас отправляли собирать на полях оставшиеся от уборки колосья, и мы несли их в школу. В школе из собранного нами урожая варили кашу.

После окончания начальной школы я пошла в Харловскую семилетку в пятый класс. Летом работала в своем колхозе на подсобных работах. Прежде дружелюбный деревенский народ после 1930 года разделился на два лагеря. По любой пустячной ссоре разгоралась страшная вражда, сосед доносил на соседа. По любому доносу без суда и следствия людей забирали, увозили без права переписки, отправляли на Колыму.

И вот я закончила 7 классов. Но тут началась Великая Отечественная война. В это лихое время поступила на эвакуированный в Ирбит мотоциклетный завод; на нем и проработала всю жизнь заточником. В конце 1946 года была представлена к награде — медали «За доблестный труд». Отработав три стажа по вредности, в возрасте пятидесяти лет в 1974 году я вышла на пенсию. Вот и вся моя рабочая биография.

Именно с выхода на заслуженный отдых началась моя литературная биография. Всю жизнь собирала материалы, расспрашивала и запоминала и, наконец, исполнила свою давнишнюю мечту — написать историю своего рода. Еще в детстве любила слушать рассказы «о старой жизни», о своих предках и односельчанах. Воспоминания и стали главной темой моих книг. Отрывки из них публиковались в местных газетах «Восход», «Знамя Победы», «Ирбитская жизнь», в журналах «Веси» и «Зауральский край», в альманахах «Росчерком пера» и «Разнотравье».

Там же были опубликованы мои рассказы. За десять лет мною написаны около 40 общих тетрадей. Документальные повести «Переселенцы», «Чертята» и «Детство и юность», объединенные общим художественным замыслом, формируют трилогию «Морок», которая повествует о тяжелой доле русского крестьянства.

Мне уже 85 лет. Жизнь моя подходит к закату. Очень хотелось бы, чтоб опыт нашего поколения, истории наших судеб, прошедших в годы лихолетья, не были забыты.

*Октябрь 2009 г.*

## ОТ НОВГОРОДЧИНЫ ДО ЗАУРАЛЬЯ

Лето 1724 года. Жара и сушь. Натужно и монотонно скрипят по пыльной дороге телеги. Нестройный хор людских голосов временами заглушается конским ржанием да залиvistым звоном колокольчиков. Иногда обоз останавливается у какой-нибудь речки или ручья. Люди поят лошадей, утоляют жажду сами, смывают с лиц дорожную пыль. Порой они распрягают и стреноживают лошадей, пуская их пастись на молодой отаве, разжигают костры и готовят скудную походную пищу. Дети, обрадованные остановкой, бегают наперегонки или рвут незатейливые придорожные цветы.

...Вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем, над впалыми от недоедания щеками лихорадочно блестят глаза...

Пока шел обоз, каждый день менялись картины окружающей природы: поля, перелески, большие и малые реки. Большие переплывали на паромах, через малые проезжали вброд или по деревянным мосткам. Путники с удивлением смотрели на новые места: многие, особенно женщины, раньше не бывали дальше своего уездного города в Новгородской губернии. Насколько же она велика, Россия-матушка, и везде живут люди!

По вечерам, когда останавливались на ночлег, мужики подолгу беседовали у костра, многие были наслышаны про дикие зауральские леса, где будто бы живут самоды, которые ходят в звериных шкурах и едят сырое мясо. Однако, когда переселенцам давали подорожную в деревню Прядеину Камышловского уезда Белослудской

волости, то говорили: там, куда они едут, издавна жили и сейчас живут ссыльные, которые на новом месте приспособились и на жизнь не жалуются. Край, правда, еще малолюдный, но ведь не зря сам император Петр Первый изволил бывать в тех краях: и на Каменном поясе, и дальше по реке Оби — в Сибири. Государь сам видел несметные богатства тех мест, изобилие пушного зверя и рыбы. А что зимы там суровые, так и в Новгородской губернии крепкие морозы — не диво.

Как-то после Успенья, перед концом полевых работ, староста созвал всех на сход и объявил волю государя: переселяться в Тобольскую губернию. По царскому указу переселенцам на новом месте помогут обзавестись семенами, скотиной, а подать не будут брать в течение трех лет.

Придя домой со схода, многие мужики стали думать: а не переселиться ли в самом деле?

«У нас здесь-то четвертый год, как недород, земли дальние да плохие, удобрять нечем, а хорошие земли — у барина. Сам-то барин в Питере живет, а тут поставил бурмистра. Чисто зверь, душу вынет, как вовремя оброк не заплатишь. А до Сибири вряд ли скоро помещики доберутся...» — прикидывали будущие переселенцы.

Так же думал и тридцатилетний Василий Елпанов — мужик крепкого сложения, с русой бородой и синими глазами. Братьев Елпановых было четверо, и все крестьянствовали, не имея никаких отхожих промыслов. С годами жить в отцовском доме стало тесно, особенно когда женился Гермоген и взял непокладистую, со вздорным характером жену из зажиточной семьи.

У самого Василия жена тоже была не из бедных, родители дали за Пелагеей доброе приданое: кроме всякой домашней справы дали скотину, стельную телку и мерина-трехлетка, пару гусей и куриц — не у всякой было такое приданое. Через год родилась дочь Настасья, потом сын Петр.

Когда родила двоих детей и жена Гермогена, старшие Елпановы решили: Василию пришла пора отделяться и жить своим домом. Но денег на постройку нового жилища не было, и, наверно, так и остался бы Василий Елпанов с семьей в деревне до конца дней своих, если бы не государев указ. Крепко засела в голову Василия мысль попытать счастья в других краях, да и не одному ему засела — надумал переселяться и кум Василия, двоюродный брат Пелагеи Афанасий. Стали собираться в дальнюю дорогу. За сборами незаметно прошли осень и зима.

Весна в том году выдалась ранняя и сухая, отсылились рано, до Николы. Но так и не перепало ни одного дождичка. «Опять засуха, — говорили старики, — опять неурожай, Господи, спаси нас, грешных». На полях служили молебны. Но каждый день приносил только суховеи да нестерпимую душающую жару. Надеяться на урожай было трудно.

Перед отъездом продали овец и корову — приданницу Пелагеи. Когда Пестренку повели со двора, Пелагея заплакала, а вслед за ней заревели ребятишки. На Ивана Купалу решили тронуться в путь. В воскресенье батюшка отслужил в церкви молебен за здравие всех отъезжающих односельчан. После молебна пошли на кладбище — попрощаться с могилками родных. В день отъезда с утра пришли на проводины родители Пелагеи и все ее родственники. Дед Данила, по какой-то стариковской хворости лежавший на голбце<sup>1</sup>, слез, надел новые пестрядинные штаны, холщовую рубаху и обулся в валенки, с которыми не расставался даже летом из-за больных ног.

Дед Данила, отец братьев Иван, мать Евдокия, Гермоген с женой Анной и младшие братья, неженатые Николай и Евлампий, сели в последний раз за семейный стол — все двенадцать человек.

---

<sup>1</sup>Голбец — конструкция при печи, приступок для входа на печь и полати и спуска в подклет.

Потом запрягли в телегу Каурка, а когда воз на телеге был уже увязан, по обычаю присели перед дорогой. Стали прощаться: пали родителям в ноги, отец взял с божницы икону, которой благословлял их к венцу, и отдал с собою в дорогу. Троекратно расцеловались с родственниками, посадили детей в телегу и тронулись со двора. Родственники, остающиеся дома, и односельчане вышли их провожать. Провожавшие дошли до полевых ворот, попрощались и разошлись по домам.

Целых двадцать семей тронулись в неведомые края, на восход солнца. Раньше до родной деревни слухов из дальних мест не доходило, и они, конечно, не знали, что уже давно смекалистый и оборотистый тульский кузнец Никита Демидов переселился на Урал, получил разрешение императора Петра Первого строить там заводы и закладывать рудники.

...И вот он, Урал! Прекрасный и величественный. Дивный в своей первозданной красоте и неповторимости. Горные кряжи и увалы поросли остроконечными елями, пихтами и лиственницами. Прекрасные корабельные сосны в три обхвата стоят вперемежку с могучими кедрами по обе стороны дороги. Обоз остановился: пораженные переселенцы не могли оторвать глаз от захватывающих дух, раскинувшихся в необъятную даль лесных просторов. В Новгородской губернии таких лесов никто и не видывал. Вот это богатство! Вот в чем могущество этого края!

Миновали Екатеринбург. Городом стоящую на реке крепость назвать, конечно, было нельзя. Перед путниками предстало большое, добротное поселение с обширным прудом и стоящим у плотины заводом.

В земской управе у них проверили подорожную и, пропустив через заставу, велели ехать по Сибирскому тракту в сторону Камышлова.



За весь многомесячный путь нигде еще обоз не двигался так медленно! То и дело их останавливали стражники, осматривали возы, проверяли подорожную да несколько



раз сгоняли с дороги на обочину и приказывали остановиться, когда по тракту брели колонны изможденных людей в полосатой арестантской одежде, звеня кандалами на стертых ногах. Это было поистине ужасное зрелище. Шли тысячи верст и в зной, и в холод, и в осеннюю грязь, в кандалах, почти босые из Центральной России в Сибирь к месту ссылки. Ноги у этих несчастных были сбиты до костей, от кандалов гноились и кровоточили раны. Когда этап прогоняли по деревням, молчаливые уральские женщины, выходя к дороге, старались сунуть арестантам калачик хлеба или что-нибудь из одежды, но конвойные, матерясь, отгоняли их нагайками. Только в Камышлове, где находилась тюрьма-пересылка, арестантам беспрепятственно позволили принимать доброхотные подаяния.

...В канун Петрова дня, проведя в дороге целый год, обоз переселенцев с Новгородчины пришел, наконец, в Белослудскую волость. Волостной центр Белослудское — село небольшое, с беспорядочно поставленными избами под берестяными крышами. Подъехали к волостному правлению, нашли старосту и писаря. Помощник писаря — нездоровый на вид и заметно подслеповатый человек (видать, из благородных, потому что на носу у него криво сидело старое-престарое пенсне) — записал в толстую книгу, сколько душ переселенцев мужского, женского пола и детей прибыло в Белослудскую волость.

Староста распорядился ехать дальше, до места назначения, сказав напоследок, что на днях прибудет в деревню Прядеину вместе со станovým приставом.

Перед самым селом у Василия расковался Каурко. По выходе из волости Елпанов спросил проходившего мужика:

— Где у вас тут кузница?

— Кузница-то на берегу, вишь, вон она, — махнул тот рукой в сторону реки, — да кузнеца, знать-то, нет — на покосе он, должно...

Василий пошел к берегу реки наудачу. Кузнец — коренастый чернобородый мужик — оказался на своем месте у горна: он наваривал косу. В ответ на просьбу Василия подковать лошадь он коротко бросил:

— Сейчас подкуем.

Покачав мехи горна, продолжал:

— Выходит, это ваш обоз видал я в волости... Откуда бог несет и куда путь держите?

— С Новгородчины мы. А в подорожной у нас записана здешняя деревня Прядеина...

— Неужто по своей воле едете? — усмешливо сощурился кузнец. — Знаю, слышал про Прядеин хутор, хотя бывать не приходилось. Там, говорят, перво-наперво осели два брата, из ссыльных. Отбыли в Сибири каторгу — толком не знаю, то ли за разбой, то ли за смертоубийство, а как освободились, на поселение их определили. Поначалу-то как волки в лесу жили, а теперь, болтают, уж домов двадцать там поставлено, и все ссыльными. Но чтоб по своей воле сюда ехать — еще таких отчаянных вроде пока не было...

— Что ж там, шибко худо, что ли? — осторожно спросил Василий.

— Да как тебе сказать... Глухомань там дикая, леса непроходимые. Бывалые люди говорят: там лес — как в небо дыра! Опять же неленивому да ухватистому там жить можно. Я вот в Ирбитской слободе на днях был. Сотни лет еще не прошло, как первые поселенцы там, в лесах да на болотах, появились, а теперь домов двухэтажных понастроили, богатых купцов сколь живет! Ярмарка Ирбитская каждый год бывает, на всю округу, да и за округой славится. Торговой слобода Ирбитская стала.

За разговором кузнец незаметно подковал Каурка.

— Ну вот и готово, добрый человек! Поезжай себе с богом! Доброй тебе дороги и счастливо обосноваться на новом месте!

Все, что говорил словоохотливый кузнец, Василий подробно передал мужикам-переселенцам.

Зачесали мужики затылки:

— Похоже, народишко в этих краях никуда не годный, каторжане одни, — выразил общую мысль один из них. — Вот как доберемся, бог даст, до места, так связываться с ними не след. Живут они сами по себе, и мы сами по себе жить станем.

— Да лучше вовсе с ними не якшаться! — добавил другой. — Говорят, которые из них супротив царя и помещиков шли. Это против царя-то, помазанника Божьего! Вот все отпетые, видать, головы!

Васильев кум Афанасий, который и поехал-то со всеми с неохотой, теперь уж и вовсе принялся каяться:

— Эх и дураки мы, дураки набитые! По своей воле в Сибирь приперлись, с головорезами да подорожниками жить, тьфу ты!

Афанасий то и дело плевался и не переставал ругаться. А обоз шел все дальше — теперь уже проселочными дорогами, через дремучие леса.

Встретился верховой — вихрастый парнишка лет двенадцати, в посконной рубахе с веревкой через плечо.

— Далеко ли Прядеина? — окликнули с передней подводы.

— Во-о-н туда правьте, версты две никак будет, — показал парнишка кнутовищем в сторону леса.

Скоро, будто из земли выросли, показались избы. Блестела на солнце извилистая речка и зеркало пруда. Место было красивое, и поселенцы повеселели. Был уже вечер в той самой поре, когда краски становятся особенно яркими. За речушкой стеной стоял хвойный лес, и солнце как бы позолотило верхушки сосен. Берег, местами высокий, крутой и обрывистый, у самой воды порос ивняком и чернотальником. Навстречу им с реки из-под берега вышла молодая баба — босая, в холщовой пестрядинной юбке,

в белой льняной рубаше и в такой же косынке, разрисованной краской, приготовленной из краснотала. Баба несла полные деревянные ведра воды. Она остановилась и, шурясь от заходящего солнца, приложила руку козырьком ко лбу, долго смотрела на обоз. Когда обоз поравнялся с крайней избой, поднялся невероятный собачий лай. Скоро псы заливались уже во всех дворах. И откуда столько собак в такой маленькой деревушке? Люди унимали собак и гурьбой валили навстречу обозу.

Наступал вечер, с пастбища возвращалось стадо, за стадом шел старик-пастух с мальчиком-подпаском, хозяйки загоняли по дворам скотину. Издалека был слышен звон отбиваемых кос: в разгаре сенокосная пора, и многие еще только возвращались с покоса.

Обоз остановился у речки. Распрягли лошадей, напоили и, стреножив, пустили пастись. Стали собирать сушняк для костра; меж переселенцами завязался разговор о виденном за день.

В деревне Прядеиной, как и в селе Белослудском, избы стояли как попало, строились кому где поглянется. Однако все избы были добротными, рублеными из кондового леса, многие — под тесовыми крышами. Подворья были поставлены по-кержацки: две избы связкой через теплые сени, добротные надворные постройки — погреб, амбары, конюшни. Усадьбы обнесены высокими заплотами<sup>2</sup> из толстых бревен, положенных одно на другое и врубленных в высокие толстые столбы, и у каждой ограды были плотные высокие ворота с калиткой — через такую ограду сразу не перемахнешь. Над усадьбами торчали колодезные журавли. Значит, люди здесь поселились основательно, на века.

В этот вечер у костров переселенцев было много народу из деревни Прядеиной. Начало положил мужик лет

---

<sup>2</sup> Заплот — забор, деревянная сплошная ограда из досок или бревен.

сорока с черной окладистой бородой и серьгой в левом ухе, с живым взглядом глубоко посаженных карих глаз, назвавшийся Никитой Шукшиным.

— Принес вот вашим ребятам поись домашнего, оголодали, поди, в дороге-то, сердешные!

Никита поставил возле костра Елпановых большой туюсок парного молока, корзинку творожных шанег — и сразу стал своим человеком.

— Откуда бог несет, добрые люди? С Новгородчины, говорите, на поселение? Ну это ладно, хорошо: помещиков-то нет здесь, оброка никто не стребует! Всяк сам себе хозяин — хоть паши, хоть пляши, — ввернул прибаутку Никита. И став серьезным, прибавил:

— Землицы здешней всем хватит! Подать заплати только и сей себе с богом: хочешь — рожь или овес, хочешь — пшеницу. Лен здесь хорошо растет — бабы не нахвалятся! Я ведь тоже из Расеи, из Тамбовской губернии. Крепостным был у барина. И лютой же барин был у нас! Из отставных, самодур-самодуром — не человек, а демон, одним словом. А я сиротой рос, отца-покойника плохо помню, а потом и мать померла. Как подрос маленько, поставили меня помогать барскому конюху Ерофеичу, уж сильно старым он стал. Но при барских лошадях находиться — это не мед пить! Чуть что — дерут нещадно да и Ерофеичу в зубы тычут. Как-то раз, на Покров дело было, наехало к барину гостей видимо-невидимо. Вся прислуга, и повара, и горничные с ног сбились, гостям угождая. До полуночи пировали они, буйствовало, из ружей-пистолетов палили, какие-то огни бенгальски жгли. Оно красиво, да нашему брату — к чему? У нас с Ерофеичем работы по горло. И с барскими-то лошадьми умаялись, да еще гости все на лошадях, и каждую надо разместить, накормить-напоить. Слава богу, за полночь все стихло на усадьбе, видно, удрыхлись господа хорошие. И мы с Ерофеичем в конюховке задремали, и вижу

я сон, будто я в церкви под венцом стою, и хор поет так красиво. Поп говорит: «Поцелуйся с невестой», — я открываю вуаль, а там стоит Ерофеич и смеется, у меня аж мороз по коже пошел. С какой стати, думаю, я буду с Ерофеичем венчаться, а вслух сказать не могу. Вдруг просыпаюсь, как будто кто меня толкнул. Ерофеич тоже. Батюшки светы, пожар! Барская конюшня горит! Лошади огонь почуяли — и ну ржать, ну биться...

Мы с Ерофеичем прямо в огонь лезем — лошадей вывести бы. Тут в набат ударили, вся дворня высыпала, тушить конюшню стали. Ну, лошадей удалось спасти. А барин на крыльцо разъяренный выскочил, кричит: «Ловите конюхов-негодяев, это их дело, они подожгли, держите, не то сбегут еще, мерзавцы!» А куда тут сбежишь? Ерофеича моего из конюшни вынесли еле живого: голова в кровь разбита, грудь раздавлена. Положили его на охапку сена, а он все просит, чтоб его не трогали, не шевелили — шибко тяжко ему было, смерть, видно, чуял... Побелевшими губами еле выговорил: «Мальца Микитку не вините, не виноват он ни в чем... Мой грех, я недоглядел». Еще шептал что-то, не разобрать было. Лицо у него серым сделалось, и тут же умер Ерофеич, царство ему небесное. Старый уж был, сплоховал, видно, не увернулся, вот лошади его и затоптали, они ведь при пожаре сильно бьются, аж на стены лезут.

А меня связали да и вlepили мне, и так уж обожженному на пожаре, еще двадцать пять горячих. А потом — в кандалы и в Сибирь погнали.

— Это как же — без суда, что ли? — поразился Василий.

— Как же без суда! Суд был, да что толку: где суд, там и неправда, а кто богат, тот и прав. Отсидел я в остроге, потом подолбил мерзлой земли на рудниках Сибири. Теперь вот здесь на вечное поселение определили. Здесь ни господина, ни барина. Закон — тайга, медведь —

хозяин. Раз в год урядник наезжает проверить, все ли ссильные на месте, да куда мы денемся, отсюда только в землю...

— Отчего же пожар-то был в имении? — снова спросил Василий. — Кто поджег?

— Да пес его знает — кто. Может, гости барина сами и подожгли спяну. А я и теперь, хоть дело прошлое, богу не покаюсь: не виноват был ни в чем!

Шукшин размашисто перекрестился. Васильева жена Пелагея не вытерпела, вмешалась в разговор:

— Значит, невинного человека засудили? Креста на них нет, на душегубах!

— Э, да сколько их, невинных-то, по острогам сидит или на каторге мучится! — махнул рукой Никита.

— Ну а самоедов ты видел? Что за люди такие, что сырое мясо едят?

— Нет, самоедов здесь при нас уже не было, они дальше на север в тайгу подались. По-другому их вогулами называют, а вогулы — люди вольные: не пашут, не сеют, не жнут — тайгой кормятся. Зверя стреляют, рыбу ловят... Они, как русские, в крепости жить не будут.

На миг все замолчали. Потом Пелагея спросила:

— Ты тут с семьей, али как?

— С семьей, конечно. При барине я еще холостой был, а теперь вот с каторги жену привел. Одной судьбы мы с ней. Она, вишь, тоже крепостная была, в няньках при господском ребенке. Ну, ребенок пуговицей подавился да и помер. Маленькие, они ведь всё в рот тащат — попробуй угляди!

А ее за недогляд — в Сибирь... Выходит, что по одной дорожке шли, одно горе мыкали. Там я Анфису свою и встретил. С тех пор вот живем вместе, на житье не гневаюсь, ребяенок уж двое. Как поселение нам вышло — стали мы вроде вольных и в церкви венчаны.

— А где у вас тут церква, далеко ли?

— Да поболее тридцати верст будет: в Кирге приход-то, возле Ирбитской слободы.

— И поблизости больше никаких деревень?

— Да вот самая ближняя, такая же, как наша, Харлова называется, семь верст отсюда. Там, говорят, сперва какой-то иноземец жил, высланный. Недолго жил, умер вскорости. Карла его звали. А у нас так заведено: кто первый жил, по тому деревня али село и зовется. Вот, к примеру, наша деревня. Первыми Прядеины здесь поселились, так она и зовется Прядеина.

— И теперь они здесь живут... Прядеины-то?

— Живут! Куда они денутся. Вот уж два дома у них с краю первые строились. Старший-то брат уж старик, сыновья у него взрослые... Однако засиделся я у вас, хозяйка браниться будет. А то идемте к нам ночевать, моя изба тут недалече. От реки гнус поднимается, заест ребятишек-то!

— Благодарствуем! Мы уж сколь времени под телегой спим, привыкли.

— Ну как знаете... а то пойдем под крышу-то — места хватит!

Никита еще посидел немного у костра, поговорил о нынешнем сенокосе, распрощался и ушел домой.

Долго еще жгли костры поселяне. Бреднем ловили рыбу в реке, женщины ее чистили и варили уху, тут же у реки стирали белье и мыли посуду.

Коротка летняя ночь в Зауралье. Вот уже в деревне пропели первые петухи. От реки повеяло прохладой, и в воздухе разлился чудесный аромат трав и свежего сена. Мало-помалу в таборе переселенцев стало стихать, и наконец все смолкло. Только лошади пощипывали траву, позванивая уздечками, да в деревне перелаивались потревоженные днем собаки.

Василий не привык долго спать, а тем более сейчас. В голове вертелись тревожные думки: «Скорее бы на место определиться и первым делом сена заготовить для Каурка.



Потом хоть немного целины вспахать, ржи посеять... До непогоды и холодов хоть какое-то жилье успеть построить! Может, сегодня начальство из волости приедет?»

С такими мыслями Василий пошел посмотреть Каурка. А тут Никита Шукшин — уже из ночного лошадей ведет.

— Рано поднялся, Никита, — приветствовал нового знакомого Елпанов.

— А что делать? Как говорят — дом не велик, а лежать не велит, — ответил поговоркой Шукшин.

Василий залюбовался его лошадьми — крепкогрудым гнедым меринком и молодой кобылой с жеребенком-сеголетком, которую Никита вел в поводу.

— Хорошие лошади у тебя, Никита!

— Хороши, да мало. Если залежь или целину пахать — и мерина с кобылой надорвешь, и сам намучишься. Это мои друзья и помощники. Денно и ночью о них пекусь, ведь крестьянину без лошади что птице без крыльев... А что вы сегодня делать хотите? — перевел на другое разговор Никита. — Начальства из волости ждать? Да оно, может, неделю целую не приедет. Что вы будете время горячее терять? Время-то теперь какое — летний день год кормит. Начинайте сегодня же покос. Пусть кто-нибудь один останется на случай, если начальство приедет. Начальство-то к нам только спешит подать собирать, а по делу не дождешься. Речушка-то наша Киргой зовется, вот прямо за ней пусть и косят, по лесным еланям<sup>3</sup> нынче травы хорошие.

А ты, Василий, хочешь — со мной езжай. Версты за две отсюда мой покос. У меня много кошенины грести надо, да и метать поможешь: одному, сам знаешь, стог метать несподручно, а Анфиса-то моя тяжелая ходит. А уж завтра с утра — тебе покосили бы...

---

<sup>3</sup> Елань — обширная прогалина; поляна в лесу; луговая или полевая равнина; лесная вырубка, используемая для пашни или покоса.

Елпанов согласился. Ожидая Никиту, они с Пелагеей наскоро поели. Подъехал на телеге Шукшин с Анфисой. У них был припасен бочонок квасу, большая корзина съестного. Василий мигом запряг Каурка, и все тронулись на покос.

Солнце давно уже взошло; на разные голоса пели птицы, где-то вдали куковала кукушка. Дурманящий аромат разнотравья кружил голову. Кругом все цвело, благоухало, пело, вознося гимн солнцу, вечному источнику жизни.

— Красота-то какая здесь, — вздохнул Василий, оглядывая травянистую пойму Кирги.

— Оно верно, что красиво, вот комаров бы поменьше, — ввернула Пелагея.

— Ничего, комарье не век живет, — засмеялся Никита, — обкосим вот травы, враз его поменьше станет, а к Ильину дню совсем исчезнут кровососы, разве только в глухих сограх<sup>4</sup> останутся. Вот, глядите, и мой покос!

Слезли с телег, стреножили и пустили пастись лошадей. Можно было начинать косьбу.

— А ну, Василий, дай-ка я косу твою отобью и направлю!

— Что я, сам, что ли, без рук?

— Да я не в обиду тебе, по-нашенски тебе косу налажу, под нашу зауральскую траву!

— Коли так — спасибо, — протянул ему косу Елпанов.

Никита мигом отбил косы Василию и Пелагее. Потом, широко расставляя ноги в броднях<sup>5</sup>, легко, как бы играя, пошел первым, ведя широкий — оберук — прокос. За ним встал Василий, потом Пелагея, чуть дальше — Анфиса.

---

<sup>4</sup> Согра — заболоченная кочковатая местность, поросшая кустарником или мелким лесом.

<sup>5</sup> Бродни — обувь сибиряков с высокими голенищами, подвязываемая над щиколотками и под коленями.

Она была на последнем месяце и оберук, как и Анка, старшая дочь, не косила.

— Ты, Нюрка, от кустов заходи, там трава помягче, — подсказал Никита, — а еще лучше сюда иди, здесь твоя косьба, — засмеялся он, показывая дочери густой куст смородины.

Как ни старался Василий держаться за Никитой, но не смог, хотя у него скоро от пота рубаха прилипла к спине.

Собираясь обедать, достали с телеги большое глиняное блюдо, деревянные ложки, Никита нарезал хлеб. Анфиса с Нюркой приготовили чудесную окрошку из огурцов, яиц и лука. Были и сметана, и молоко, и вареное мясо. Елпановы, только недавно проделавшие много тысяч верст на пути из родных мест, успели подзабыть о такой вкусной еде, а дети с жадностью набросились на молоко и сметану.

Василию и Пелагее стало неловко, а Никита все посмеивался:

— Что, ребятки, вкусно? Вот оставайтесь жить у нас в Прядеиной — каждый день будете так кушать!

Напоследок Нюрка достала с телеги свою корзинку, где были репа, морковь, горох, бобы, поставила корзинку в кружок обедающих и стала угощать Васильевых ребят.

После обеда немного отдохнули.

— А что, зверье-то вас шибко долит? — спросила Пелагея. — Вон леса кругом какие, знать, волков видимо-невидимо!

— Всякого зверья хватает! Лоси сохатые, козлы дикие, медведи, рыси... Птицы всякой — пропасть!

— А... волков? — спросила Пелагея, опасливо поглядывая на темные ельники. — Вон леса-то дремучие какие!

Шукшин прыснул от смеха и принялся ее успокаивать:

— Не робей! Сейчас лето; летом всякий зверь сытый... А вот зимой, особенно к весне, на Евдокию, едешь,

бывало, один из Ирбитской слободы, так страшновато делается... Как завоюют волки со всех сторон, да если еще лошаденка неважная — всех святых вспомнишь! За мной, как-то было дело, долго гнались, проклятушие. Это ладно, что Гнедко у меня шагистый — быстро от них умотал! Я ведь тут какой год живу, всяко бывало, прямо к избушке и в пригон волки заходили. Думаешь, пальнул бы, да где его, ружье-то, возьмешь. Собак во дворах разрывали у некоторых. Спервоначалу шибко долили, волки самый каверзный зверь...

Солнце уже пошло на полдень, поспела грести кошенина. Гребли уже все, даже Петрунька и тот помогал. Волокушами стаскали сено к месту будущего стога. Никита хотел посадить Настю на лошадь в седло, но она испугалась (в их деревне не принято было девчонке ездить в седле).

— Ты что это, Настасья Васильевна, верхом не умеешь ездить? Нехорошо, учиться надо. Здесь без разницы, у нас что парнишки, что девчонки — все верхом ездят. Вот смотри, моя Нюрка как умеет. Что бы я без нее делал? Казак настоящий! И в седле, и без седла ездит. Всю весну на гусевой ездил, и пахали мы с ней, и боронили. Верхом чуть ли не с пеленок. Что поделаешь, раз наследника бог не дает. Вот разве на этот раз будет...

Сено сметали, большой стог получился. Работу закончили, как раз когда солнце уже подходило к закату.

По дороге домой Никита остановил своего мерина и кнутовищем показал на березовый колок:

— Третьего дня ночью дождичек пробрызгивал, надо бы поглядеть — первые грузди должны появиться.

И в самом деле — набрали полную корзину груздей.

Василий дальше поехал с Никитой.

— Телега твоя мне понравилась, — пояснил он, подсаживаясь к тому в телегу. — Как она — на ходу легкая?

Шукшин приосанился:

— Как же не легкая — ведь для себя делал-то, этими вот руками! Ты, как домой приедем, мастерскую мою посмотри. Я ведь не только телегу изладить могу — кадушки, ведра или чашки-ложки из дерева, бересты да глины... Вишь, Василий, каторга-то не только мучит, но и учит! Многому я там научился, всяких умельцев перевидал. Вот есть у меня думка одна: надо бы попытаться самому кирпич делать. Глины по крутоярам у нас — завались. Я пробовал уж ее замешивать — похоже, для кирпича годится. Вместо глинобитной — кирпичную печь с трубой сложить можно. В Ирбитской слободе видел такую у одних хозяев. А печь с трубой — это куда как хорошо! Дыму в избе нет, весь через трубу на волю выходит...

Сейчас даже дома из кирпича стали строить. Но это богатеи, а нам хоть бы пока печь с трубой. Я уж пробовал глинобитную с трубой делать — не выходит ни черта! Вот до весны, бог даст, доживем — непременно испробую кирпич делать.

— Кони у тебя, Никита, добрые! — перевел разговор на свое Василий. — Мой Каурко супротив них вроде жеребенка...

— В Ирбитской слободе я Гнедка своего у одного татарина купил. Вместе каторгу отбывали, да с тех пор и стали мы с Абдурахманом друзьями. Ты, если задумаешь лошадь покупать, — езжай к татарам. Они все лошадишки, в крови это у них, и никудышных лошадей не держат.

За разговором и не заметили, как заехали в деревню.

— Ну, теперь милости прошу к нашему шалашу. Вместе работали, вместе и ужинать надо! — пригласил Шукшин, подъехав к своему подворью.

Отворили ворота, въехали в просторный двор. Анфиса пошла доить коров, наказав дочери собирать на стол, а Василий с Пелагеей направились к колодцу умыться. Колодец был с высоким бревенчатым срубом, у которого стояли кадушки с водой. От колодца проведен листовен-

ничный желоб в колоды в пригон к скоту. Везде и во всем был виден порядок, чувствовалась рука основательного хозяина.

— Доброе у тебя, Никита, хозяйство, — оценивающе промолвил Василий.

— А как же! Без хозяйства нам никак нельзя. Не по-топашь, дак и не полопашь. У нас ведь тут заработать негде, разве что кому кадушку сделаю. Здесь у нас каждый хозяин должен сам все уметь делать, у нас все свое, самодельное. Ладно, идите, ужинать не на воздухе, а в избе будем: что-то мошкара заklubилась, не к дождю ли? Нам-то средь покоса он и вовсе ни к чему!

Перед ужином Никита подозвал дочь, наказал ей отвести своих лошадей и мерина Елпанова в ночное. Он вынес из избы войлок, положил на спину Гнедка, чуть-чуть помог Нюрке, и та мигом пушинкой взлетела на коня, умело разобрала поводья остальных лошадей и выехала из ворот.

— Ты смотри у меня, сильно не гони — с троими-то не справишься, неровён час, еще слетишь. Шагом езжай! — только и успел он крикнуть вслед дочери.

— Ох и девка у тебя бедовая, ей бы парнем быть! — сказала Пелагея.

— Помощница она и мне, и матери, — ответил на это Никита, — да что поделаешь, девка, известно, не домашний товар: осенью одиннадцать будет, лет семь-восемь еще пролетит, и придется отдавать в чужие люди...

Вошли в избу. Анфиса успела уже подоить коров и несла два подойника молока. Пелагея вспомнила свою Пестренку и прослезилась.

— Что же это ты разрюмилась, Палаша? — спросил Василий. — Видишь, живут здесь люди, бог даст, и мы жить будем.

Изба у Шукшина была просторная. В углу — большая глинобитная печь, над печью, у самого потолка, в полтора

бревна прорублено окно для выхода дыма; когда печь не топили, окно было задвинуто ставнем-задвижкой. В противоположной стене окно поменьше — поддувало. Еще два окна были для света, зимой эти окна затягивали брюшиной или пузырем от большой скотины. Рядом с печью голбец, двери в подполье и большие полаты<sup>6</sup>. В другом углу избы стояла самодельная деревянная кровать, отгороженная холщовой занавицей<sup>7</sup>, разрисованной красками из ивовой коры и коры краснотала. В переднем красном углу была вделана в стену божница, где стояло несколько икон. А под божницей большой стол, накрытый домотканым настольником<sup>8</sup>.

К столу приставили скамейку, и все сели ужинать. Вся посуда на столе — своедельная, промеж глиняной была и берестяная.

Зажгли лучину, и хозяин, усаживаясь за стол, заметил:

— Это сколько же мы дерева на лучину переводим... Ведь, почитай, всю зиму вечерами и ночами сидим, всю работу при ней переделываем! От лучины дыму в избе много, да что сделаешь? Это господам с руки всю зиму-зимскую свечи жечь. Помню, бывший мой барин походя их палил, а работа-то у него была — в карты играть... Вот опять дни на убыль пошли. Петр и Павел день убавил, уж не ты ли это, Петрован? — и щелкнул Петьку по носу.

— А ты, дядя, не дерись!

— А вот у нас будет Илья-пророк, он час уволок. Правильно я говорю, мать, или нет, что у нас беспреренно

---

<sup>6</sup> Полаты — полати — лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью.

<sup>7</sup> Занавица — шторка, занавеска.

<sup>8</sup> Настольник — русское областное название расхожей скатерти из грубой, дешевой материи, застилаемой ежедневно. Скатертью же в районах, где употребляют термин настольник (натрапезник), называют только тканую белую скатерть, застилаемую в праздники.

должен быть Илья? Хватит нам для чужих людей жить, надо и для себя, чтоб наследник был! Слышишь, мать?!

— Ладно, ладно, не болтай лишнего, и дочь будет — никуда не денешь, кормить будем.

За ужином хозяин неожиданно предложил Василию и Пелагее:

— Вот что я надумал: вы поживите-ка пока у нас в малухе<sup>9</sup>. Мы сами там почти три года прожили, пока избу не построили. Малуха теплая, дров не много понадобится!

— Да как же это... — Пелагея вопросительно поглядела на Василия. — Неловко как-то...

— Неловко, говорят, на потолке спать: одеяло сваливается, — засмеялся Никита, — а я вам от души предлагаю! Ежели согласны, так сегодня в избе переночуете, а завтра же ваши пожитки в малуху-то и перетаскаем! Не на берегу же речки вам жить, пока строиться начнете.

— Да какие у переселенцев пожитки-то, — вздохнув, отвел взгляд Елпанов, — а на добром слове — спасибо! Подумать мне надо...

— Ну, утро вечера мудренее, будем тогда спать укладываться. Боюсь, как бы погода не испортилась в сенокос-то. А потом работы пойдут одна за другой — только успевай поворачиваться. Вон ныне, слава богу, рожь неплохая уродилась...

Наутро Василий отправился к переселенцам-односельчанам, а Пелагея с ребятами пошла помогать Анфисе полить грядки в огороде. Полили огурцы, капусту, взяли поливать лук, который уже пошел в головки. Огород был большой, картошки посажено много. Остальное занимали грядки с мелочью. Пелагея никогда не видела таких больших огородов в своей деревне.

---

<sup>9</sup> Малуха — задняя, малая изба, скотная, шерстобитная, или просто зимница.



— Огород-то у вас никак десятина целая! Не то что дома у нас. Там картошку помалу на грядки садят, а растет она плохо.

— Мы-то огород и навозом, и золой удобряем, и трунду<sup>10</sup> в прошлом году навозили, да здесь вообще картошка растет хорошая. Картошки садить надо больше, она хлебу замена и скоту корм. На хлеб ведь не каждый год урожай. Мы здесь десять лет живем. Всякие годы бывали, то засуха одолевала, то саранча налетала. А то градобоем всё выбивало. Нередко коренья и траву доводилось есть.

Как мы поселились здесь, о картошке слыхали только, а ее самое, голубушку, в глаза не видывали. Это наши мужики издалека откуда-то привезли семена. Не зря картошку, люди говорят, и в Расее, и в Сибири вторым хлебом кличут: мы с ней, почитай, не расстаемся.

Вместе с Никитой накосили Елпановы доброго сена. Никита радовался, что погода стояла хорошая и с сенокосом удалось быстро управиться. «Один горюет, а артель — воюет», — подмигивал он Василию. Наедине с женой Шукшин не раз повторял:

— Ну подвезло нам нынче, мать, с Василием-то да с Пелагеей... А то ведь в страдную пору работников днем с огнем не найдешь!

— Вовремя поселенцы приехали! Почитай, всей деревне пособили с покосом, — судачили в Прядеиной.

...Скоро из Белослудского приехали волостной староста и становой пристав. В Прядеиной собрали сход. Из казны новым поселянам выдали на обустройство по пяти рублей на взрослую мужскую душу и освободили каждого на три года от подушной подати.

«Нелишка отвалили, — чесали затылки переселенцы, — ну что на пять-то государевых рублей купишь?

---

<sup>10</sup> Трунда — торфянистая почва, торф.

Лошадь добрая али корова стоят двенадцать и больше... Разве что семян, ржи хоть десятину засеять купишь — и все, опустел кошелек!»

Василий Елпанов вдрызг рассорился с кумом Афанасием. Когда он пришел к Афанасию после покоса, тот такой разговор повел:

— Ты что это, кум, не в работники ли к Шукшину нанялся? Не успел на место приехать, а уж с каторжанами якшаешься, одной ложкой с ними ешь, а своих сторонисься! Как бы после плакать не пришлось! Эх, Василий, что бы твои родители на это сказали?

— Ладно-ладно, я уж сам родитель, из маленьких-то давненько вырос! Что тебе каторжане — дорогу перешли, что ли? Они такие же люди, как и мы!

— Руки-ноги у них такие же, а в нутро ты им заглядывал, что у них на уме-то, ты знаешь ли? — наседавал Афанасий. — Вон я послушал, что говорят про братьев Прядеиных. За разбой по большим дорогам их сюда выслали. Купцов они грабили. А ты с прядеинцами дружбу заводить?!

— Вольно тебе корить-то меня, раз у тебя две лошади и сын-помощник. А я один как перст, дети малы... Каурко один, а бабу в оглобли не поставишь! Целину ведь пахать надо, хоть ржи попервам с полдесятины посеять.

— Ну, коли однолошадный ты, дак думать надо было: надо ли, нет ли переселяться тебе?

— А припомни-ка: на сходе перед отъездом мы поклялись помогать друг другу в большом и малом! Зачем ты тогда пустые слова на ветер кидал?!

— Да я уж сто раз покаялся, что поехал сюда, — плюнул Афанасий, — не сиделось дома, так вот теперь и живи тут среди воров да разбойников!

— Ну так обратно езжай, никто не держит!

— Да уж теперь здесь придется хоть выть, да жить... Ловко тебе зубы-то Шукшин заговорил!

— Ты, Афоня, Шукшина не трожь, знающий, дельный он мужик, работающий. Нам с тобой еще надо у него поучиться, как хозяйство вести.

— Ну-ну, поживем — увидим! Больше и слова тебе говорить не стану! Может, сам поймешь, что к чему, не маленький.

...После этого разговора кумовья встречаться почти перестали. А Василий Елпанов сказал Шукшину:

— Коли не передумал пустить нас с Пелагеей в вашу малуху, так мы готовы переехать!

— Вот и ладно! — ответил Никита. — Стало быть, и поживем, и поработаем вместе!

Скоро некоторые переселенцы — те, кто победнее, пошли в работники. Никита дал Василию лошадь вспахать целину под рожь и пообещал помочь семенами.

Когда поспело жнитво, все взялись за серпы. Нюрка жала за взрослую, младшие девчонки тоже учились жать, но пока больше резали себе пальцы серпами. Рожь стояла стеной, густая и высокая — намолот хороший будет.

После обеда Анфиса, дохаживавшая последние дни, занемогла.

— Ой, что я тут с тобой буду делать, в поле-то? — всполошилась Пелагея.

— Я много уж рожала, живых, правда, только двое осталось... И всегда легко и быстро... Может, и на этот раз, бог даст, так же будет. Там у меня пеленки... в узелке собраны, — с трудом выговорила Анфиса.

И когда ей стало невмоготу, шепнула Пелагее и ушла на край поля, где за кустами стояла телега. Так, под телегой, на краю ржаного поля, в канун Ильина дня и появился на свет долгожданный наследник Никиты Шукшина.

Всего два дня роженица пробыла дома, а на третий поехала в поле.

— Страда ведь теперь, лежать-вылеживаться некогда, — сказала она Пелагее, когда та спросила, не рано ли ей снова браться за серп.

Младенца Анфиса возила с собой в поле. Деревянную резную люльку Никита сделал загодя; мать сшила из холста маленький полог. Люльку вешали под него на поднятые тележные оглобли.

После ржи Шукшины и Елпановы сжали пшеницу, оставив напоследок овес, ячмень и горох. Страда подходила к концу; мужики стали возить снопы на гумно, складывали их в скирды. Завертелся обычный круг нескончаемых крестьянских забот, из которого Никита и Анфиса лишь ненадолго вырвались, когда из Кирги приехал приходский священник. Обычно в страдную пору жители Прядеиной приглашали батюшку, когда появлялось несколько новорожденных младенцев. Так было и на этот раз. У Никиты и Анфисы родни в деревне не было, а соседей на крестины решили не звать.

Младенца, которого родители в разговорах меж собой уже стали называть Илюшкой, батюшка Ильей и нарек; окрестив в Прядеиной еще двух-трех младенцев и получив положенное за свершение обряда крещения, он уехал в Киргу. Крестным отцом Илюшки назвали Василия, а крестной матерью — Нюрку...

Стали убирать коноплю и связывать в небольшие снопики. Конопля вымахала выше человеческого роста, с толстым стеблем выворачивались целые комья земли. Чтобы обивать ее, мужики привозили на поле большие чурки. От конопли шел терпкий, дурманящий запах, и к вечеру разбалывалась голова. Но в Прядеиной каждый хозяин старался сеять ее побольше. Из конопляного волокна делали веревки, конскую сбрую, мешки, а когда плохо вырастал лен, конопля шла на посконную одежду. Из конопляного семени выжимали ароматное масло, жмыхом кормили домашнюю скотину. Только убрали коноплю и лен, глядь — уже пора копать картошку, овощи с огорода убирать...

Незаметно подошло к концу короткое зауральское лето. Отыграло зарницами дивных соловьиных ночей,

с волшебным светом луны, полное неги и очарования, когда все в природе до самой малой пичужки живет, любит, дает жизнь другому. Началась золотая осень, прошла красно-желтым пожаром по окрестным осинникам и березнякам, одарила алыми бусами, словно девушек, рябинки. Небо разлилось бездонной озерной синью и начало золотом посыпать землю, поседевшую от первых заморозков. Не стало утренних тихих зорь с девичьим румянцем. Настала в природе пора увядания, тихой молчаливой грусти. Природа как бы жила воспоминаниями своей буйной молодости. Тихо в лесу в это время, только шуршат под ногами листья да задира ветер-листопад прошумит в вершинах и сбросит на вас целую охапку листьев.

Кое-где в лесу еще можно найти крепкий гриб-боровик, а на лесной полянке — хоровод волнушек; на старых вырубках возле пней теснятся целые семьи опенков, в сосняках поспела брусника, на болотах — клюква. Богата и щедра природа Зауралья!

## В ХОЗЯЙСКОЙ МАЛУХЕ

Переселенцы из Новгородской губернии — те из них, кто не продал лошадей и ухитрился сохранить какие-то сбережения, начали рубить лес и строить жилье, кто какое мог, на новом месте. Большинство же лошадей продали; деньги, в том числе и «государевы», мало-помалу разошлись, и такие переселенцы остались ни с чем. У них был один выход — наниматься на работу к местным зажиточным хозяевам, идти в батраки, что чаще всего означало работать «из хлеба» и ради какой-нибудь мало-мальской одежки.

Кум Василия Елпанова Афанасий рубил себе избу с сыном Иваном. Тому пошел шестнадцатый год. Когда отец привез его с собой в Прядеину, Иванко был совсем еще парнишкой. За лето он вырос, раздался в плечах — быстро мужать заставляла работа. От темна до темна за речкой Киргой, на выбранном Афанасием месте стучали и вызванивали топоры. Рубили лес, ошкуривали бревна и тут же принимались углем чертить на бело-желтой, пахнущей лесом древесине пазы и топором вытесывать их. Жили они сначала в балагане, но к осенним заморозкам вырыли землянку и в ней сделали глинобитную печь — стало теплее. Для лошадей устроили загон, крытый еловыми ветками, стали рубить сруб под конюшню.

Шукшину давно нужен был человек, который помогал бы управляться с хозяйством. Не раз он звал Василия, но тот в батраки идти не хотел: надеялся рано или поздно зажить своим домом. Однако на зиму он с Пелагеей остался в малухе Шукшиных. Спервоначалу Василий с Никитой порешили так: рубить «красный» лес для нового амбара на подворье Шукшиных, вывезти возку сена и дров на зиму, потом нарубить и вывезти лес для Василия, чтобы он начинал строить дом.

Пришло время чистить куделю<sup>11</sup>. В жарко натопленную баню с гумна стаскали снопы льна. Обмолоченный, пролежавший на лугу три недели под осенними дождями и обильными росами, почерневший лен сушили и мяли в деревянных мялках, отминая кострину<sup>12</sup>, затем трепали, чесали сначала щеткой из боярышника, потом щеткой из щетины. Теперь белоснежный лен можно было прясть. Долгие зимние вечера и ночи проведут бабы за прялкой при свете лучины. Конопляную посконь и липовое лыко сначала выдерживали в речных заводях-мочищах, потом сушили и делали мочало для кулей, рогож и конской упряжи. Бабы за совместной работой сдружились; работающая Пелагея понравилась Анфисе, вдвоем они быстро очистили куделю. Им помогала Нюрка, которой пошел двенадцатый год, а значит, старшие и с нее требовали работу, как со взрослой. Вторая дочь Никиты Танька, а заодно с нею и Настя, тоже училась прясть. Илюшке шел третий месяц, это был крепкий, здоровый ребенок. Он целыми днями или спал, или просто лежал и «гулил» в люльке. Анфиса, не отрываясь от прялки, время от времени покачивала люльку ногой и продолжала работать. А работы хватало всем. Женщины пряли, а мужики чинили дратвой<sup>13</sup> порванную конскую упряжь или шили бродни и обутки<sup>14</sup>.

В долгие осенние вечера, чтобы жечь одну лучину, все собирались в избе Шукшиных, и у всех была работа.

Елпанов и Шукшин исподволь приглядывались друг к другу. Василий был моложе Никиты, житейского

---

<sup>11</sup> Кудель — очищенное от костры волокно льна, конопли, приготовленное для прядения.

<sup>12</sup> Кострина (костра, кострика, костеря, кострица) — одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли и др.).

<sup>13</sup> Дратва — крученая просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви, кожаных изделий.

<sup>14</sup> Обутки — обувь, лапти с оборками.

опыта у него поменьше было, и прежде ему казалось, что Никита был как все, только отличался веселым, общительным характером, умением быстро заводить знакомства и везде становиться своим человеком. У него всюду были друзья и приятели — не только в Белослудском, но и в Харлово, и в Ирбитской слободе. Василий мечтал купить вторую лошадь, о чем не раз говорил Шукшину:

— День и ночь думаю об одном и том же: как мне к весне второй лошадежкой обзавестись. Ведь на одной-то у целины не подниму... Да еще строиться надо!

Василий и знать не знал, что с виду доброжелательный к нему Никита не раз с досадой говорил жене:

— Сдается мне, что ошибся я с переселенцами-то. Слов нет — и Василий, и Пелагея робить<sup>15</sup> хорошо могут. Думал я даже, что в работниках они у нас подольше побудут. Но куда там! Василий только с виду смиренный, хоть веревки из него вей, а всамделе-то — упорный, упрямый и себе на уме мужичонка! Такого в работниках не удержишь. По первам-то только вторую лошадь хотел, а теперь уж новую избу ему подавай...

...Вот и до Покрова дожили вместе со всеми переселенцы. Покров — престольный праздник в Кирге и в Белослудском, а значит, и в Прядеиной. Снегу еще настоящего не подвалило, и начинать молотить рано. В деревне всюду празднуют и отдыхают: настала самая веселая пора свадеб, посиделок, вечеринок, везде смех, песни, гармошка. Молодежь успевает погулять и вволю повеселиться до молотьбы. Стало холодно на улице играть гармонисту на гармошке. Народу в этом году в Прядеиной прибыло, значит, и молодежи больше. На берегу Кирги в центре деревни стояла маленькая избуш-

---

<sup>15</sup> Робить — работать.



ка — пожарная караулка. Там вечно сидел старый дед Трифон, глухой как пень. Кто он, когда и откуда пришел, никто из прядеинцев толком не знал; летом дед кое-где подрабатывал, ходил по деревням, но с наступлением холодов непременно возвращался к себе в сторожку, топил печку, мастерил ребятишкам игрушки или плел лапти.

В прошлые зимы молодежь ходила к деду, но к этой зиме в Прядеиной парней и девчат намного больше стало. Веселая и бойкая на язык Рипсимийка Палицына, первая заводила всех девичьих вечеров, собрала как-то подружек, они о чем-то пошептались и гурьбой побежали к деду Трифону. Тихо и чинно вошли в избу. Поздоровавшись и помолившись на икону, смиренно встали у порога. Дедко Трифон со своей бабкой сидели на печи. Бабка, кряхтя, высунулась и спросила:

— Зачем пожаловали, барышни? За делом али как?

Рипсимийка-хитрюга, шмыгая носом, жалобно так попросила:

— Баушка Акулина, уж вы с дедом пустите нас на вечерки посидеть, совсем собраться не у кого, все семейные... А на улке холодно уж стало совсем... А, баушка?

— Ну чё мне с вами делать... Как, дедко, пустим их, ли чё ли?

— А вот бутылку кумышки<sup>16</sup> ежели принесут, а потом после себя полы вымоют, да ладом, — так чё, пусть себе вечерничают!

Чего греха таить, дедко Трифон и бабка Акулина по-стариковски не прочь были выпить. И с тех пор так и повелось: если молодежи надо было собраться на вечерки, то шли к деду и бабке с припасенной бутылкой кумышки, и уж и пели, и плясали вволю.

---

<sup>16</sup> Кумышка — хмельной напиток домашнего приготовления, самогонка.



После Покрова к Василию неожиданно пришел кум Афанасий. Как ни в чем не бывало пригласил на помочь<sup>17</sup> —

---

<sup>17</sup> Помочь — взаимопомощь, работа миром для кого-нибудь; за нее обильно угощали, но не платили.

складывать избу. День выдался на редкость теплый и солнечный, народу на помочь на афанасьевское подворье пришло много, и работа закипела так, что к полудню все бревна сруба были сложены на мох, и дружно взялись складывать конюшню.

Афанасий первым из новгородских поселян поставил себе избу на новом месте. Стали понемногу обустриваться и другие переселенцы. Местные жители помогали приезжим кто как мог. Люди недоедали, недосыпали, трудились днем и ночью. Они и не рассчитывали на легкую жизнь. Знали, что трудно будет первое время на новом месте, и упорно шли к своей цели.

Между тем выпал первый снег и стало примораживать, зима постепенно вступала в свои права.

Василий Елпанов по первому снегу перевез нарубленный лес в деревню. Несмотря на недавнюю размолвку, они с кумом вроде бы примирились, и Василий не жалел сил во время помочи, когда Афанасию складывали избу и конюшню. Строиться он решил рядом с ним. Хорошо, что лесу нарублено много — хватит тоже и на дом, и на конюшню.

Вскоре Василий с Никитой поехали, как договаривались, в Харлово — разузнать насчет лошади, а если получится, то купить ее для Елпанова. У въезда в село Никита остановился, как бы что-то вспоминая, и сказал Василию:

— Поневоле запутаешься по заоврагам-то харловским! Давно уж не бывал у своего знакомца-то...

Немного поплутав, Никита остановил лошадь возле просторного дома и постучал кнутовищем в ворота. Во дворе залаяла собака, и через некоторое время вышла старуха. Одета она была по-кержацки в темно-синий сарафан, голова до глаз повязана темным платком.

— Чё надо-то? — не слишком приветливо спросила старуха и прикрикнула на собаку. — Да хватит тебе, окаянная! Замолчи!

— Дома ли Черта? — непонятно для Василия спросил старуху Шукшин. Елпанов только потом узнал, что Черта — это прозвище хозяина, к которому они приехали.

— Нету его, на медвежьей облаве он с сыновьями. Третий день зверя выслеживают — совсем одолел проклятуший медведь! А вам нашто хозяин-то?

— Нам, вишь, лошадь купить надо. Хозяин продать обещал, говорил, что у него есть одна на продажу.

— Ну, когда такое дело, заходите не то в избу, пока ждете его, так погрейтесь!

Никита и Василий вошли в ограду, потом и в избу. Везде были развешаны звериные шкуры, на стенах вместо вешалок торчали ветвистые олени рога... С интересом разглядывая охотничьи трофеи, покупатели сели на лавку, долго ждали без толку, а когда, потеряв терпение, хотели уж несолоно хлебавши возвращаться в Прядеину, во двор въехали сани. В них сидел Черта с сыновьями. В ногах у них еле помещалась лохматая туша убитого медведя. Первым из саней вылез хозяин и кивком, без слов, поздоровался с вышедшими на крыльцо Никитой и Василием.

Черта был высокого роста, на вид худощавый, но чувствовалось — немалой силы человек, с кудрявой бородой и черными волосами, еще не тронутыми сединой. Черные живые глаза отливали агатовым блеском. Черта точь-в-точь походил на цыгана, но был на редкость неразговорчив. Никто даже не знал его настоящего имени, и все звали его по прозвищу. Черта страшно не любил пустопорожних разговоров. Никита, видимо, хорошо знавший его характер, сразу заговорил о покупке.

Черта, все так же не обронив ни слова, повел покупателей в пригон, показал молодую кобылу — рослую, гнедой масти со звездинкой во лбу — и назвал свою цену. Цена была сходной, но тут Василий чуть было не испортил сделку: мол, может, хозяин немного сбавит цену? Черта так и полыхнул цыганскими глазами и как ножом отрезал:

— Не хочешь, так не бери!

Что оставалось делать Василию? Он вынул и отсчитал деньги, потом взял в руку повод кобылы и вместе с Никитой вышел на улицу. На обратном пути он стал расспрашивать Шукшина о Черте.

— Ну ты и сам, поди-ка, видал... Своенравный он мужик! А уж смелый — до отчаянности: на медведя, говорят, в одиночку пойдет с рогатиной. Сыновей у него двое, и оба в отца пошли, вместе с ним охотничают. Видал — у них вся изба шкурами увешана! Старшего-то сына Черта женил недавно.

— А что ж он нелюдимый-то такой? Кажись, из него слова клещами не вытянешь...

— Кто его знает? Может, опасается он чего-то или скрывает что, да ведь не нашего ума это дело, — задумчиво отвечал Никита.

— Старуха-то — жена его, что ли?

— Не... Жена у него умерла. А старуха — сам не знаю, похоже, что работница... Гляди, Василий, Кирга наша сюда пришла, только берега здесь у нее крутые и пруда нет. Да и место куда хуже, чем у нас в Прядеиной, — вишь, одне овраги да буераки кругом. А главное, красный лес здесь далеко — вот чем плохо.

...Когда Василий вернулся с лошастью-новокупленной, Пелагея с ребятишками были рады-радешеньки.

— Вот нам бы еще коровенку к весне завести, — размечталась Пелагея, — так вовсе хорошо было бы!

Это уж от веку так повелось: в крестьянстве мужику жизнь не в жизнь без лошади, а хозяйка спит и видит, как в пригоне или в стаеке у нее жует себе жвачку и шумно вздыхает корова, коровушка-кормилица.

Втайне от мужа Пелагея продала свое обручальное кольцо, серьги и подвенечное платье, которые привезла за тысячи верст с Новгородчины в Зауралье и которые с тех пор хранила в сундуке. И все прикидывала,

как по весне они купят телку — денег должно было хватить...

Теперь Василий часто ходил помогать куму Афанасию: срубы-то сложили, оставалось сделать выделку. Крышу закрыли берестой, прорубили окна, навесили двери. Надо было и печь глинобитную делать, но придавили морозы, и загодя заготовленная глина застыла; пришлось оставить дело до весны. Зато конюшня получила на славу, и лошади стояли в тепле.

Афанасий посмеивался:

— В сильные-то морозы, когда в землянке холодно сделается, ночевать будем с лошадьми в конюшне!

Но в землянке было всегда тепло. Сейчас, когда закончили строить дом, Афанасий в свою очередь стал помогать Василию, в свободное время приходил и Никита. Вскоре рядом с Афанасьевым домом заблестел желтизной новых бревен сруб дома для Василия.

Перед самым Рождеством бабы затеяли топтать сукно. Анфиса позвала Пелагею, нагрели много воды, принесли корыто со скамеечками, как в лодке. Материю из шерсти, вытканную на прочной льняной основе, заваривали кипятком, потом, когда он остывал, садились в корыто лицом друг к дружке и топтали ткань ногами. Из лучшей поярковой шерсти получалось домотканое сукно. Из него шили праздничные кафтаны мужикам, и ни один жених не шел под венец без такого кафтана. Шерсть, которая похуже, шла на сермяги для повседневной носки весной и осенью.

Анфиса с Пелагеей взялись перед праздником за большую стирку. Притащили большую кадуюшку, сложили в нее на раз выстиранное белье, залили кипятком и добавили щелока<sup>18</sup>. По мере того как вода начинала остывать,

---

<sup>18</sup> Щёлок — отвар золы, настой кипятка на золе, поташная, зольная вытяжка.

бросали в кадushку раскаленные камни — вода в кадushке снова бурлила. За стиркой Анфиса все сетовала помогавшей ей Пелагее, будто оправдывалась:

— Нынче мы скота почти не кололи, так и помылья<sup>19</sup> в достатке взять неоткуда.

Одну работу сделали, а тут и другая приспела: к Рождеству принялись мыть в избе и малухе. Скоблили потолки и стены, мыли их с речным песком, пока все не заблестело чистотой. Накануне Рождества, в сочельник, всего наварили-нажарили, наготовили стряпни.

Вот и светлый праздник Рождества настал. Спозаранку ребятишки уже бегают из дома в дом — поют, славят Рождество Христово. Славить умели с самого раннего детства, и кто лучше поет, тому и гостинцев хозяева больше дают.

Веселый праздник — Рождество! В народе говорят, что в эти дни «даже у воробья пиво». А пиво в каждом доме варили разных сортов: хмельное, травянуху, а кроме того — брагу на меду.

В сочельник по обычаю каждый должен быть сыт. Наедались и напивались вволю все — и хозяева, и работники. Утром набожные зажиточные прядеинцы запрягали в кошевки<sup>20</sup> лучших лошадей и ехали в Киргу, к церковной обедне. Остальные, оставшиеся в деревне, с песнями, хохотом и визгом катались по деревенским улицам на лошадях. Даже те, у кого на дворе и была-то одна лошаденка да короб на дровнях, и то выезжали на Рождество, правда, где-нибудь ближе к задворкам, чтобы не быть стоптанными тройками бешеных рысаков сельских богатеев.

Никита Шукшин запряг в кошевку Гнедка и повез кататься свою семью, следом на санях выехали Василий с Пелагеей.

---

<sup>19</sup> Помылье — мыло, для изготовления которого использовали животный жир.

<sup>20</sup> Кошёвка — рабочие сани, розвальни.

Казалось, вся деревня вышла на улицы на рождественское гулянье, дома остались только совсем немощные старики и старухи. Девки и молодухи вытащили из заветных сундуков все самые лучшие свои наряды — бухарские, пуховые оренбургские и кашемировые, красные и желтые, с крупными цветами шали. Везде слышались песни, смех, сыпались шутки-прибаутки, бегали ряженые: кто маску нацепил и татаринном обрядился, кто в цыгана превратился, а кто так лицо себе печной сажой вымазал, что его и родная мать, пожалуй, не узнала бы...

Вот с крутого берега на Киргу катится большая скамья, вся облепленная парнями и девками. Человек пятнадцать с гиканьем, свистом и визгом, набирая бешеную скорость, устремляются вниз по откосу; вдруг в полугоре скамья покачнулась и опрокинула всю ватагу в снег. Куча мала, куча мала!

На скамейках и на санках не только молодежь, а иной раз даже пожилые мужики и бабы катаются. Из чьего-нибудь двора вытаскивали на крутой берег сани без оглобель, тут уж шла потеха всюю, даже старики и старухи не могли удержаться, чтобы хоть разок не скатиться с крутого откоса на лед Кирги.

До самого вечера, до сумерек на реке шло веселье. Когда уже становилось темно, из дома в дом все шли и шли ряженые, пели да плясали под гармошку. А рождественский мороз-то не шутит: то у одного, то у другого побелеют нос и щеки. Не беда — ототрут снегом, и веселье продолжается дальше до тех пор, пока снова у кого-нибудь лицо морозом не прихватит.

Через неделю Новый год, а там и до Крещения рукой подать. На Святки идет ворожба и гадания. Бывает, что гадают даже пожилые мужики, отцы многочисленных семейств: зачерпывают деревянной ложкой воду и выносят на мороз, а наутро смотрят, как застыл лед. Если, не дай



бог, с ямкой, то в этом году не жди урожая, а если кверху выпучился, то добрый урожай соберешь...

Об урожае русский крестьянин и без всякой ворожбы знает по природным приметам, которые передавались из уст в уста многими поколениями. А вот молодым девушкам, особенно невестам, ворожбу только подавай! Разных способов ворожбы и не перечтешь: ворожат на картах, на бобах, на яичном белке и воске — всё в ход идет, лишь бы узнать, скоро ли явится твой суженый и каков он собой...

Когда зима вошла в полную силу, в Прядеиной начали молотьбу. Прежде всего на гумне делали «ладонь» — возле овина<sup>21</sup> расчищали от снега и поливали несколько раз водой ровную площадку. Чтобы хорошенько высушить снопы, в овине беспрерывно и жарко топили печь. На полки из жердей от пола до самого потолка укладывали снопы, а когда они высушались, их вытаскивали и клали один к одному на «ладонь» колосьями вовнутрь. Потом каждый из молотильщиков начинал по очереди ударять по снопам цепом, или, по-здешнему, молотилом — длинной палкой с прикрепленной к ней прочным сыромятным ремешком палкой покорооче. Правильно и хорошо молотить умел не всякий, особенно когда возле «ладони» собиралось несколько молотильщиков. Это было настоящим искусством, в котором главным было врожденное чувство ритма. Если молотили правильно, то получалась как бы барабанная дробь, поскольку молотильщиков бывало до восьми человек. Ранними морозными утрами привычное ухо издали слышало стук цепов, улавливая: вот у этих хозяев молотят ладно, хорошо, а у тех — так себе, вразнобой. И имена умелых молотильщиков в деревне тоже были на слуху и в почете, как и имена-прозвища лихих косарей и знающих лошадников.

---

<sup>21</sup> Овин — хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой.

Сушили овин всю ночь, чтобы к утру снопы были готовы к молотье. В больших семьях обычно это делали старики; у Шукшина овин сушить было некому, и он управлялся сам. Когда снопы высыхали, Никита шел будить Василия и Пелагею, стуча в окно малухи и требовательно покрикивая:

— Василий, вставай, время много, Кичиги<sup>22</sup> вон уже куда поднялись. Молотью проспите!

Василий с Пелагеей, наскоро одевшись, шли на гумно, вскоре подходила Анфиса, и начинали молотить вчетвером. Обмолотив овин, в который входило около сотни снопов, и насадив следующий, шли завтракать и управляться со скотом. Никита, позавтракав, снова бежал сушить овин, а Василий провеивал зерно и отвозил его в добротный амбар, поставленный на столбах, чтобы под полом ходил ветер. Пол и стены в амбаре были гладкие и плотные, а по бокам строили плотные сусеки из досок. Потолка не было — сразу крыша, и каждый хозяин тщательно следил, чтобы крыша на амбаре не протекала.

Рубили амбары без моху и не конопатили, а особо тщательно подгоняли бревна, чтобы не было щелей и негде было жить мышам. В двери делали отверстие для кошек.

Когда вечерами Никита уходил сушить, Василий с Пелагеей оставались в избе вечеровать. Женщины и девочки при лучине пряли шерсть или куделю. Нюрке уже доверяли прясть лен, Насте с Танькой доставались изгреби<sup>23</sup>.

Петрунька тоже был при деле: приносил из-под печи просушенную лучину и следил, чтобы она хорошо горела. Когда малец отвлекался какой-либо игрой, Василий сам поправлял лучину, шутливо ворча на сына:

---

<sup>22</sup> Кичиги — три звезды над горизонтом, стоящие в ряд. Говорили: «Спать легли, когда уж Кичиги взошли». Или: «Встали — Кичиги еще не ушли».

<sup>23</sup> Изгребь — пакля, очески, грубые льняные волокна.

— Не видишь, что ли, лучина криво горит? Ты уж давай свети как следует!

И снова горит лучина, а по стене, навевая дрему, мельтешат черные расплывчатые тени... Работают молча, но иногда среди всеобщей тишины Пелагея начинает негромко напевать себе под нос. Анфиса смеется: «Захаровна, видно, спать захотела», — а сама потихоньку начинает ей подпевать. Пелагея начинает петь громче, голос у нее хороший. У Анфисы — похуже, но вдвоем у них получается ладно, и избу наполняют песни, от которых сразу исчезает дрема и все словно оживают: «Кольцо казачка подарила, когда казак пошел в поход...»

Как-то Пелагея запела: «Под ту, под сумрачную ночь». Вдруг Танька уронила веретено, принялась подбирать под себя ноги и, дрожа, жалобно попросила:

— Тетя Палаша, не надо эту песню, она страшная... я боюсь!

— Вот еще, трусиха! — засмеялась Анфиса. — Это ведь песня! Ну да ладно, Пелагея, давай другую песню заведем!

И полились задорные песни — «Во кузнице молодые кузнецы», «При лужке-лужке». Эти песни Пелагея и Анфиса пели особенно задорно и слаженно, так что даже Василий в такт головой покачивал и, наверное, заприщелкивал бы пальцами, не будь у него в руках начатый бродень да шило с дратвой.

— А ты, Василий, чё не поёшь? — спросила его Анфиса.

— Да я пою только по праздникам, когда кумышки на столе много, — отшутился тот.

— О, ты, выходит, такой же, как и мой Никита!

— У меня Пелагея за меня и за себя поет. Я ее за песни и замуж-то взял...

— А если бы я вдруг петь не стала, тогда не взял бы? — поддержала шуточный разговор смеющаяся Пелагея.

— Да нипочем бы не взял такую беспесенную, другую нашел бы!

Пелагея вдруг вспомнила родину, семью, родительский дом на берегу речки Мокши, раннее детство, которое вспоминается с трудом, как бывает, когда человек утром с трудом, по крупицам вспоминает увиденный минувшей ночью сон и, еще окончательно не проснувшись, все никак не может понять, сон ли это был, или давным-давно ушедшая в прошлое явь...

Вот летнее утро. Палаша, босая, в одной холщовой рубашонке, пасет гусей на берегу Мокши, и большой белый гусак с сердитым шипением вытягивает шею, норовя пребольно ущипнуть девчушку. Вот уже угловатым подростком она едет с родителями на покос, едет и поет от распирающей ее девчачьей радости.

Мать, бывало, любовно поглядывая на певунью-дочку, поддразнивала ее, мол, рано пташечка запела — как бы кошечка не съела. А отец и в шутку, и всерьез говорил ей:

— А ты пой, дочка, пой! С песней-то жить веселее, а кто петь не любит, тот и радости не знает!

И вот она уже в невестинной поре, высокая, тонкая, как красноталовая ветка, с карими глазами и с темно-русою косой. Всегда в кругу множества подружек. И всегда пела — и за прялкой при лучине, и в хороводе, и на вечерках, а уж тем более на свадьбах. Родители везде и всюду ее отпускали: «Девичья пора коротка, пусть повеселится!» Парни на Палашу давно засматривались, наперебой приглашали танцевать. И танцевала она, как и пела, отменно.

К восемнадцати годам уже не одна нарядная бричка подъезжала ко двору Палашиных родителей, стучались в дверь сваты. Отец единственную дочь выходить замуж не неволил. Матери он, посмеиваясь в бороду, говаривал:

— Небошь, мать, в старых девах она не останется, пусть пока лучше в девках подольше поживет, ума накопит да сама себе по сердцу, кого ей надо, выберет.

И она выбрала Василия. Чем он ей понравился, она и сама не могла объяснить. То ли тихим нравом, то ли красотой светло-русых шелковистых кудрей, то ли глазами, отливающими озерной синью на золотистом от загара лице?

Много было коротких встреч на берегу Мокши. И веселая певунья Палашка стала задумчивой и серьезной. А Василий, улучив добрую минуту, выложил отцу:

— Тятя, я этой осенью жениться хочу, что вы скажете?

— Это кака-така неминя<sup>24</sup> — жениться-то с бухты-барахты? Вот через год и женись — не успеешь небошь оstarеть-то! За это время хоть одежду добрую справить успеем да денег к свадьбе подкопим...

— Нет, тятя, невесту просватать да увезти могут, а мне тогда... только камень на шею да в Мокшу с головой!

— Ты у меня брось дурить! Не то возьму вот чересседельник<sup>25</sup> да отдеру как Сидорову козу! И не посмотрю, что ты экая дубина вымахал... выше меня. Правду говорят: «Вырос, да ума не вынес!» Непонятно разве, что год подождать надо, до следующего Покрова, тогда и разговор будет. А то заладил одно свое, а у меня вас четыре таких-то оболтуса! Да если каждый по-своему запрягать возьмется, так это мне, а не тебе — в Мокшу-то с головой!

Так этот разговор сына с отцом и закончился. Василий знал, что упрямого отца ему не переупрямить, и решил схитрить. Как-то после ужина, когда братьев не было дома, он сказал отцу (мать тоже отлучилась из избы):

---

<sup>24</sup> Неминя — нужда, необходимость.

<sup>25</sup> Чересседельник — часть упряжи, конской сбруи в виде ремня, протянутого от одной оглобли к другой через седёлку.

— Что ж, раз так — завтра пойду из дому, наниматься в работники к Моксунову... Вчера мы с ним говорили, он мне за год вперед денег на свадьбу дать пообещал.

Отец от удивления открыл рот, как с шапкой в руках стоял, так и сел.

— Господи! Вот где зелье-то! Да это, выходит, срам на мою голову, люди-то что скажут?! А скажут: мол, Иван Елпанов сына в строк<sup>26</sup> отдал... Елпановы на смеху никогда не были, запомни это, сукин ты сын! Да как я на люди-то покажусь после этого, ведь на меня все пальцем будут указывать.

Тут в избу зашел дед Данила.

— Что за шум, а драки нет? — спросил он сына. А сам-то все слышал — за дверью стоял.

— Да вот, тятя, что внук твой любимый выдумал! Говорит, в строк к Моксунову пойду. Вишь, жениться ему приспичило! Я ведь не против, женись — может, поумнеешь, да ведь не нынче же!

— И кто ж невеста? — как ни в чем не бывало буднично спросил дед. — Нашенская она али из чужой какой деревни? А, Василий?

— Палаша, Захарова дочка, — ответил тот.

— Это Захара Макогоненка, что ли?

— Да, его самого!

— Ну знаю, Захар — человек с достатком, а дочка у него одна и собой приглядна. И что ты, Иван, супротивишься? Обвенчать их, да и дело с концом!

— Тятя, дак ведь сам знаешь — недород нынче был! Ни одежи доброй справить не на что, ни свадьбы сыграть!

— Да у нас в губернии-то урожай — один раз через десять лет. Эдак Василию десять лет придется ждать, что ли? Одежа пусть будет така, кака есть, а свадьбу можно и небогатую сделать!

---

<sup>26</sup> В строк — на срок, на определенное время, на период страды.

И дед Данила поднялся с лавки и направился к двери, оставив Ивана и Василия вдвоем.

Иван Елпанов побряхтел-побряхтел, а потом, будто не он только что костерил сына, сказал:

— Тывот что, Василий... Ни в какие работники не ходи... Женись уж не то, будь по-твоему. Матери-то подмога нужна, ведь на нас, шестерых-то мужиков, сколько стряпни да стирки требуется!

В это время в избу вошла мать Василия.

— Ну что, мать, как решим: женить нам, что ли, Ваську-то?

— Дак невеста-то — ни ткать, ни прясть, только по вечерам шастать горазда... Вестимо, одна дочь у родителей, из таких-то редко жены добрые выходят... А жизнь семейная — это не одни песни-пляски!

— Вот жизнь, глядишь, и научит! У нас некогда будет баловаться. А что петь да плясать любит, так это ей не укор!

...В этот раз на свидание с Палашей Василий как на крыльях прилетел:

— Пусть родители твои завтра сватов ждут!

— Ой, да как же это, Вася?! Ведь батюшка твой наотрез против нашей свадьбы был?

— А у него тоже батюшка есть! Дед Данила, спасибо ему, помог нам, Палаша! Уговорил он отца, чтоб он нашему счастью поперек не стоял, а отец сам мне сказал, что на свадьбу согласен!

Палаша, зардевшись румянцем, не помня себя помчалась домой. Прибежав на подворье, долго прислонялась раскрасневшимися щеками к холодным перилам крыльца, но лицо все равно так и полыхало...

— Ты откуда это, девка, прибегла ровно полоумная? — спросила ее в сенях бабушка Агафья. — И лицо-то у тебя, как кумач, красное... А раз горит, значит кто-то про тебя говорит! Часом, не Василий Елпанов? — усмехнулась мудрая старуха.

...Назавтра приехали сваты, долго говорили с отцом и матерью, а Палаша сидела в горенке и прислушивалась к разговору. Сваты и родители потом позвали ее, спросили, согласна ли она выйти замуж. Могли бы и не спрашивать: у Палаша сердце так и ёкало от радости — наконец-то они с Василием будут вместе, на всю жизнь вместе! После этого и разговаривать было нечего, на стол выставили вино, начали «пропивать невесту».

Народу на венчании в церкви было много. Палаша стояла, как во сне, и как сквозь сон она слышала разговоры.

— Хороша невеста-то!

— Ну, Елпановы уж не ошибутся, уж они свое возьмут...

— Говорят, и приданое хорошее дали.

— Вестимо, ведь одна она дочь у них!

Пелагея вспомнила, как привыкала к жизни в чужой семье. Трудно было поначалу: семья Елпановых большая — семь человек да она восьмая. И хорошо, что не было ни одной золовки. Не зря в песне поется: «Лучше деверя четьыре, чем золовушка одна».

Больше всех в семье ее уважал дед Данила, всегда звал внученькой. Дед был веселого характера, любил шутить. Свекор, наоборот, угрюм, немногословен, как будто вечно на кого-то сердит.

Работы было много, и свекровь Палашу не очень-то жаловала, но рядом был долгожданный Василий, и все житейские мелочи быстро забывались.

...С того Покрова, со дня свадьбы, пролетело быстрокрылой птицей девять лет. Девятнадцати лет она выходила за Василия, а теперь уж ей двадцать восемь скоро, а мужу тридцать один будет.

Конечно, за эти девять лет в их жизни случилось всякое. Но ведь так и бывает, «из счастья да горя и сложилась доля». Из четверых детей, что родила Пелагея, двое умерли до года; двое уж подрастают: Настеньке скоро восемь,



а Петруньке пятый идет с Петрова дня. Настенька, «отцова дочка», русоволосая, с синими, как у отца, глазами, тихая и послушная. Другое дело — Петрунька, настойчивый и настырный непоседа. Тот любил, чтобы все игрушки его были. Встречаясь с друзьями, командовал ребятами даже старше себя. А вот слушаться — не очень-то. Отец часто ремешком его охаживал, но упрямец-сын все равно делал все по-своему.

Василий, бывало, с досадой пенял Пелагее:

— Видно ребенка в ребятах — жеребенка в жеребятках! И в кого он у нас такой упрямый? Не иначе — в твою породу пошел...

— Да чего ты, — примиряюще посмеивалась та, — хорошие у нас ребятки растут, дай им бог здоровья!

...Вдруг, как бы во сне, прозвучал голос Анфисы:

— Что это задумалась, Палаша? Родная сторонushка на ум пала? То-то я гляжу — песня у нас сегодня не клеится... Давай-ка ребят спать укладывать, а сами еще немного посидим, да и тоже спать. Никита овин досушивает, спозаранку молотить ведь надо.

Утром чуть свет Пелагея проснулась. Василий тоже не спал, сидел на лавке.

— Какой я сон видела, Вася, к чему бы это? Будто бы дома мы живем, в своей деревне, а в свой дом никак зайти не могу. Вот вижу, подхожу к воротам тятиного дома, бабушка Агафья на крыльце стоит. Ворота закрыты, я ей кричу, чтобы ворота открыла, а она глядит на меня, ничего не говорит и ворота не открывает. Я через забор перелезла, а она ушла в дом и сени закрыла, и опять меня не пускает. Я вижу, створка открыта, и она в окно глядит на меня и смеется, я к окну, а она створку захлопнула и ушла. Я заплакала и проснулась. Наверно, снег будет. Покойники к снегу снятся. Ох, Вася! И до чего надоело работать на людей... Сколько уж мы работы Никите

сделали, а себе-то когда будем? Вот всю ведь зиму мы с Настей на Шукшиных прядем, потом ткать станем, а даст ли Анфиса аршин-другой холста — неизвестно... Не думала я, как с родины мы уезжали, что на чужих людей придется работать. Не надо уж было трогаться с места, вот оно, лихо-то, за тридевять земель нас искало, да нашло!

— Ладно, не горюй, Палаша, потерпим! Эту зиму проживем у Никиты, а там свою избу обоснуем, переедем.

— Да ведь придет весна, и для Никиты опять надо будет пахать да сеять. У него работы каждый день вон сколько! По его хозяйству двух-трех человек работников держать круглый год надо...

В это время раздался стук в окно и Никитин голос позвал: «Молотить скорее идите, давно уж пора!»

— Ну, легок на помине, — только крякнул Василий и стал одеваться.

Все пошли на гумно. В особо урожайные годы прядейцы молотили всю зиму, а в эту закончили зимним постом.

Во время молотбы, когда Никита сушил ночами овинны, Василий управлялся с лошадьми, ходил в амбар за овсом, чтобы покормить своих лошадей и Никиты. Как-то Никита сказал Василию с досадой:

— Ты что это — чуть ли не весь овес свалил лошадям, в амбаре-то скоро пусто будет!

— А что я, сам овес-то ел, что ли? Ну давал лошадям понемногу. Да как не дашь, с зимы же надо коней поправлять, а если зимой заморишь, дак весной много ли напашешь?

— То я и смотрю: сена у тебя не убывает, зато мой овес своим лошадям травись... Ты что, его сеял?

Василий, обычно мягкий, на сей раз не смолчал, здорово возмутился.

— Только что не сеял, а так — всю работу делал! Жали мы с тобой вдвоем, и снопы убирали вместе, и молотили.

Я и веял, и в амбар зерно возил, и в твои сусеки засыпал! Если бы я к тебе в работники нанялся, ты бы меня кормил, одевал, да еще и платил. А баба моя сколь вам кудели очистила, вычесала да напряла за зиму?!

Никита молчал, а Василий продолжал бушевать:

— Вижу, чего ты добиваешься своими придирками да вечными понуканиями — чтобы нам с Пелагеей убираться из вашей малухи!

— Да что вы, что вы! Куда же вы зимой-то, не выдумывай! А про овес — это я так... к слову пришлось...

После этого в их отношениях что-то изменилось: Никита Василия больше ничем не попрекал, и работали они бок о бок, и разговаривали, но все-таки какая-то кошка между ними пробежала...

Шукшин говорил жене:

— Вишь он какой, Елпанов! Такой зубами землю грызть будет, а дай время — богаче нас станет. Уж я-то знаю: всяких людей повидал, не зря Расею-матушку пешком прошел и в Сибири десять лет бедовал... Это большая наука для кого угодно, каторга-то.

Начались трескучие морозы. Как-то в воскресенье Пелагея пошла за реку к куму Афанасию. У того в землянке топилась глинобитная печь, потрескивая дровами, было тепло и уютно. Афанасий подшивал валенки, кума Федора пряла.

— А, кумушка, здравствуй, давненько ты у нас не была! — приветствовал ее Афанасий. — Все в работе да в работе? Учти — чужу работу вовек не переделаешь... Вон у меня баба-то прясть нанялась в люди... А я не такой — хоть и пересолою, да выхлебаю! По мне, так уж лучше щепку с места на место перенести, да в своем хозяйстве, чем убиваться на чужих людей. Люди-то, они сначала к тебе лисой подкрадутся, а потом — цоп! — и возьмут свое. Особенно здешний народец. Уж такие все тертые калачи!

Известное дело, каторжане... Намеднись Кирилы-косога баба приходила к нам, дак вся слезами уливалась, все на никудышного мужа да на жизнь свою жаловалась. Известное дело, Кирила-то дома в деревне был первый лентяк да пьяница, никудышный мужичишка, ничего никогда у него не выходило. Ну куда ему было трястись, дураку, в этакую даль! Последнюю лошадашку тут продал, а ведь жить надо как-то. Ну и пошли на год в строк к Кузнецову Игнату. А Игнат как был до каторги вор, за что и угодил в Сибирь-то, так и после каторги воровом остался. А уж выжига — не приведи бог! Совсем всю семью на работе замучил. Известное дело, строшные, а он худой, да хозяин.

Сынок у него, каторжанское отродье, к девке Кирилы Катьке привязался, нигде проходу не дает! Кирила с бабой своей теперь ревмя ревут, а год ведь как-то дорабатывать надо! А ведь сколько я говорил, и куму Василию сколько раз талдычил: не след нам, новгородским, с местными связываться. Я даже и строиться не стал в каторжанской-то слободке. Сюда вот, за реку-то, не всяка каторжанска тварь приползет! Построились здесь, вот и будем жить одни новгородские, а их сюда не пустим. Скорей бы весны дожждаться... Местные говорят, что больно долга здесь зима-то!

— Поначалу всегда трудно, где ты ни живи, — вмешалась Пелагея. — Ну да ничего, уж как-нибудь обживемся.

Придя домой, она рассказала Василию, о чем ей говорил кум Афанасий.

— Вот я одного в толк не возьму, почему так бывает, — сказал Василий, выслушав ее. — Взять, к примеру, Никиту, да и всех остальных. Вчерашние каторжане, нищие, но чуть только в люди выходить стали, едва хозяйством кое-каким обзавелись, а уж подавай им дармовую рабочую силу...

Вот говорю я с Никитой, спрашиваю: к чему тебе столько посева? А он мне: хлеба, мол, много надо. Да

еще, говорит, у меня две рабочие лошади да жеребенок подрастает — овса побольше не вредно бы, а тут две дойные коровы, да телята, да овцы-свиньи, да сколько птицы всякой — всех кормить надо! Вот и хочу с каждым годом посев увеличивать. Здешние земли-то — никем не меренные, и свободной земли — тыщи десятин, знай паши себе да сей, что тебе надобно! А я снова спрашиваю: зачем тебе столько скотины держать? А как же, говорит, без скотины-то жить? Чтобы было что продать и себе осталось, ведь мы кормимся, одеваемся, обуваемся — все от скотины, а нет ее, так ты — пшик, а не хозяин! Я тогда говорю: где тебе одному справиться со всей этой работой? А он мне: работников найму — вон сколько вашего брата-то шатается, велика Расея-матушка, а нет — так каторжан пригонят!

Да, видно, прав был кум Афанасий, не надо было с Шукшиным связываться... Да что уж теперь — весна скоро, глядишь, своим домом заживем!

...Вот и «Евдокия на высоких каблуках» — март. Если воробей напьется из лужицы — весна ранняя, но нет, не напился воробей, даже на солнце не притаяло. Была ранняя Пасха, и на Святой неделе изредка шел снег и порой даже выюжило. Да, зимы здесь намного длиннее, чем в России. Так говорили новые поселяне, а старожилы уверяли, что разница невелика, да и годы бывают разные, и что тому, кто раньше жил где-нибудь в степях, в Зауралье нравилось больше. Долго еще зима напоминала о себе заиндевельными утренниками, а леса смотрели словно из-под седых и мохнатых стариковских бровей. Но весна мало-помалу завоевывала новые рубежи.

Наконец началась пора ослепительной весны, света, когда на мартовском затвердевшем насте солнце заиграло алмазной пылью. Потемнели дороги. Поднялась ввысь бездонная синева неба. Прилетели грачи, стали наполнять

своим криком воздух, обживать старые гнездовья. Каждый день приносил что-то новое. Из-под талого снега побежали первые стремительные ручьи. Наполнили веселым журчаньем окрестность, а солнце поднималось все выше, все сильнее грело землю. Вскрылась Кирга и, взломав лед, с шумом понесла свои воды в низовья, на заливные луга...

Однажды утром по раннему заморозку Василий пошел в поле посмотреть, как перезимовала его полоска ржи. Вся его жизнь была в этой ржи, вся надежда.

Зимой Василий каждую морозную ночь выходил на улицу, думая об этой полоске, в надежде смотрел на небо, не затягивается ли мороком. «Господи, дай снежку, закрой землю — холодище-то какой, вдруг вымерзнет рожь-матушка. Чем тогда кормиться, как жить?!» Так бы и пошел, лег на полоску, закрыл бы ее собой, защитил бы от жестоких морозов...

После быстрой ходьбы Василий остановился и перевел дух только тогда, когда подошел к своей полоске. Вытирая со лба пот, увидел меж комьями земли на прошлогодней озимой пашне остренькие жальца ржаных всходов. Отлегло от сердца: выжила, в рост скоро пойдет!

Весна принесла и другие заботы. Афанасий и Василий принялись месить оттаявшую глину, делать кирпич-сырец, чтобы класть из него печи взамен глинобитных.

Кумовья первыми из поселенцев стали обживать свои избы, а вслед за ними новоселья справили и остальные приезжие — двенадцать семей с Новгородчины. Скоро за Киргой выросла улица-односторонок. Все избы стояли на взгорке, окнами к солнцу. Место было красивое, веселое; его скоро стали называть Заречьем. А на другом берегу Кирги появилась слободка, окрещенная в Прядеиной Каторжанской слободкой.

Дотошный и упорный Никита Шукшин вскоре взялся за давно задуманное им дело. Вместе с соседом Андреем Шиховым возле глиняной ямы построили сарай, а в

откосе речного берега соорудили большую глинобитную печь. И стали, как мечтал Никита, делать настоящий кирпич: предварительно высушив заготовки в сарае, их сажали в печь и обжигали кирпич до звона. Печь топили круглые сутки по очереди.

И вот настал день, когда Никита перевез кирпич к дому, проворно порушил прежнюю печь-глинобитку и стал класть новую, кирпичную, с дымовой трубой на крыше. Любопытствующие со всей деревни собралась около Никитиной избы, некоторые заглядывали в нее и, выходя, недоуменно пожимали плечами:

— Дак чё, он в потолке-то дыру сделал, и в крыше тоже. А вдруг дождь пойдет? Никак он штанами дыры-то закрывать будет! Ну тогда уж ему придется безвылазно на крыше сидеть! — хохотали зубоскалы.

Но Никита, не обращая внимания на насмешки, все клал да клал кирпич за кирпичом. Вот уж он делает трубу...

Зеваки с удивлением впервые увидели на тесовой крыше деревенской избы кирпичную трубу.

— Глядите-ка, а дыры-то ведь не стало! — кричали одни.

— Да неужто дым пойдет в трубу эту — да ни в жисть! — сомневались другие.

Никита слез с крыши, принес дров, сложил их в новой печке, зажег от уголька лучину и сунул ее меж дров. Они вроде весело загорелись, но дым сразу наполнил избу, и все принялись хохотать и подначивать. Но Никита не унывал. Он вытаскал обгоревшие дрова и долго жег только одну лучину.

Дым мало-помалу пошел в трубу, и тогда, подложив в топку дров, Шукшин крикнул с крыльца:

— Андрей, ну-ка, погляди, идет ли дым через трубу?

Но тут уж все увидели, что идет дым, да еще как! А в избе дыму не было. Вот и перестали насмешничать да зубоскалить. Печь из обожженного кирпича понравилась

всем, и многие загорелись тоже наделать кирпича и в своих избах заменить глинобитные печи на кирпичные. Да некогда стало: подошла посевная — горячая и трудная пора для крестьянина-хлебороба. А для новых поселенцев — трудная вдвойне.

Василий пахал землю, веками не тронутую сохой. Пахал до ломоты в спине. К вечеру ноги становились ватными, в глазах ходили красные круги, во рту стояла сухая горечь. А Василий все шел и шел за сохой по борозде, отваливая пласт черной земли с дерном. Рубаха почернела и прилипла к спине, плотно облекая острые лопатки. Пот струился по лицу, соленый и терпкий, выедавая глаза. Когда лошади, тяжело поводя впалыми боками, больше не могли тащить соху и останавливались, Каурко оборачивался к хозяину и глядел на него своими влажными печальными глазами. Только тогда Василий приходил в себя. Наскоро выпрягал лошадей и давал им по охалке сена или пускал пастись около болотца, где начала пробиваться первая весенняя трава. Ему было до слез жаль так изнурять лошадей, и он, лаская их, говорил: «Матушки мои лошадушки, худо я вас кормлю, тяжело вам на такой работе, беспременно овес нужен, а где его сейчас возьмешь. Сами охвостья с травой едим, еле ноги таскаем, как бы дожить до свежего урожая».

Если бы увидели его в эту тяжелую весну отец и братья, они ни за что не узнали бы Василия в этом постаревшем до времени человеке.

В короткие минуты отдыха Василий глядел в голубое бездонное небо, слушая песню жаворонка, вспоминал родную деревню и своих близких. Вот были бы сейчас рядом отец, братья, дед Данила, помогли бы делом и добрым советом. И как послать им весточку из этой дикой глуши, где на много верст не найдешь ни одного грамотного человека? «Вот отсеюсь — поеду в волостное прав-



ление, упрошу писаря написать да послать письмо», — думал Василий.

После пахоты Настя всю весну ездила на гусевой<sup>27</sup> — боронила землю. Потом ходили по полю, сеяли из лукошка. Посеяли немного пшеницы, а кроме того — ячменя, овса и льна; в огороде посадили картошку и овощи. Часть семян была привезена с собой с Новгородчины, часть купили на месте, часть дал Никита.

Тяжела и беспокойна доля крестьянина-земледельца. Засеяв с великим трудом обработанную землю, с надеждой и мольбой смотрит на небо, не пошлет ли бог дождичка, тихого, без бури и ветра. Наконец, когда хлебушко вырастет, начнет колоситься, со страхом ждет каждой тучки: не с градом ли? А если под осень хлеб еще не созрел, боясь ранних заморозков, готов всю ночь ходить возле поля и жечь костры, чтобы иней не прихватил его полосу. Да и со скотиной может всякое случиться. Когда в хозяйстве одна лошадь и корова, тяжело и страшно вдвойне.

Отсеялись еще до Николина дня, а с тех пор — хоть бы один дождичек бог послал!

— Закостенело небо-то, — сокрушались мужики-старожилы, — придется в Киргу, в приход за попом ехать, пусть уж молебен отслужит.

Молебен приходский священник назначил на воскресенье, а уже в субботу вечером солнце садилось в тучу, и к ночи начал накрапывать долгожданный дождь. Постепенно он превратился в настоящий благодатный ливень. Босоногие ребятишки, глядя на взрослых, носились под дождем и кричали: «Дождик, дождик, пуще, дам тебе я гущи, хлеба каравай — весь день поливай!» или «Дождик, лей, дождик, лей на меня и на людей!»

---

<sup>27</sup> Гусевая — передняя лошадь при запряжке «гусем», обычно самая выносливая.

После обильных дождей и посевы, и травы пошли в рост. Новых поселян собрали на сход. Решили послать кого-нибудь в волость и нанять писаря, чтобы он послал грамотку от всего Заречья в Новгородскую губернию — известил родных и близких поселян. У Василия дома было много работы: он торопился до сенокоса срубить конюшню, чтобы зимой лошади стояли в тепле и меньше долили волки, и в волостное правление направился Афанасий.

Елпановы — Василий, а еще больше Пелагея — хотели к зиме купить телку.

...Матрена Кирилиха сидела в Афанасьевой землянке, пряла куделю для чужих, и слезы одна за другой текли по ее изборожденному глубокими морщинами лицу. Кирилихе не было еще и сорока, но выглядела она старуха старухой. Она и проклинала свою несчастливую судьбу, и вместе с тем молилась, время от времени говоря вслух: «Господи, да за что же такие наказания, чем же я перед тобой провинилась? Не жизнь, а одно мучение... Пошли, Господи, смерть по мою душу! К чему мне жить? Лучше преспокойно лежать в сырой земле-матушке». И она, качая головой, снова тяжело вздыхала, в сотый раз думала одно и то же: «Ну к чему нам было сюда ехать, себе на горе да несчастье. Уж нам, злосчастным, надо было сидеть дома».

И под горькие думы вспомнила свою трудную жизнь, хворого отца, кашлявшего на печи, измученную работой и горем мать. Потом — похороны отца и следом матери, три года в работницах в семье дяди, материна брата. Семья была большая и жила с хлеба на квас. Дядя выдал ее замуж за парня из той же деревни. Не успели обжиться в избе мужнина отца, как Матрена в двадцать лет осталась вдовой с дитем на руках.

Они в то время были на оброке, да еще платили гужевую повинность. Барин жил в Питере, но с каждого хозяй-

ства требовал гужевую повинность. По первопутку надо было везти хлеб из Чудова монастыря в столицу. С обозом пошел и Матренин Иван, да так и не вернулся: загинал в дороге — по тонкому льду утонул в реке вместе с конем. Дочка Катюшка на первом году была. Как вдовой молодой хозяйство вести, да еще без лошади? Вот и пришлось принять в дом Кирилу-то. Про того и раньше нехорошая слава шла: ленивый мужик и к вину сильно горазд. Но что было делать, с дитем-то кто добрый замуж возьмет?

Матрена баба смирная, сговорчивая, обаял он ее, насылил семь верст до небес. Поверила она ему, обвенчались, стали жить. Но толку от него оказалось мало, работать он не любил, был хвастлив до невозможности, занозист и любил выпить. Через пять лет родился Павлушка. Матрена надеялась, что Кирила образумится наконец, станет путем хозяйство вести — на некоторое время на него находили такие порывы. Даже лошаденку приобрели и хоть худо, но жили своим домом. А вот дернула же нелегкая ехать сюда! Продали избушку, посадили ребят на телегу и поехали. Деньги за избушку разошлись мигом — бог весть куда.

По приезде в Прядеину Кирила продал лошаденку и вырученные деньги пропил. Куда деваться? Денег нет и жить негде. Пошли в работники к Игнату Кузнецову, поселились у него в малухе, хорошо хоть, что к этому времени ребята уж большеенькими стали.

Да хозяин попался не только сам по себе скряга скрягой, но при случае не прочь был прихватить чужое. Был у него сын Федька, отпетый наглец и охальник. Что отец, что сын — одна порода-то — одинаково стремились разбогатеть, да чтоб поскорее. Двадцатилетний Федька с бычьей настойчивостью стал привязываться к новой работнице, даже замуж взять сулился.

Катьке шел восемнадцатый год, и хотя она раньше не слыла красавицей, но к этой поре выправилась. Ее серые

ясные глаза смотрели из-под черных бровей весело и открыто. Темно-русая, почти черная коса опускалась ниже талии. Курносый носик не портил ее лица, а пухлые яркие губы и ямочки на щеках придавали ее лицу особую привлекательность. Девка она была веселая, никогда не унывала, что из бедности, хорошо пела и плясала.

Ей никогда еще не приходилось встречать таких нахальных парней, и она попросту боялась этого двадцатилетнего верзилу с его руками-граблями и наглыми зелеными глазами. От Федьки нигде не было спасу — ни на покосе, ни на Игнатовом подворье.

Когда уже немогого стало, она пожаловалась матери. Та поохала, повздыхала, намекнула было хозяину, но толку не вышло... Как-то, уж весной, дочь с плачем призналась матери, что беременна. Кирила, по обыкновению, напился. Учинил разгром в избе, отдубасил Матрену, выгнал из дому ни в чем не повинного Павлушку и исхлестал вожжами дочь. Пьяный родитель пошел к хозяину. Тот с помощью сына вышвырнул его из избы, как худого котенка.

Назавтра Кирила пошел к хозяину уже трезвым, но дальше порога его не пустили. Хуже того, Игнат выгнал работников из своей малухи, в которой они жили: «Идите куда хотите вместе со своей девкой-потаскухой!»

Кирила пригрозил пожаловаться старосте и потребовал платы за работу, пусть не за полный год. Игнат вынес полпуда муки, бросил ему под ноги, с тем и выгнал за ворота.

Пришлось мыкаться по чужим людям. Когда Афанасьева семья стала жить в доме, Афанасий пустил в землянку Кирилу с Матреной, которую теперь иначе как Кирилиха и называть перестали.

«На чужой роток не накинешь платок» — в народе не зря так говорят. Конечно, молва о Катькином позоре черной змеей поползла по деревне. Катька сначала хотела утопиться, но, видно, много было в ней здоровой жиз-

ненной силы. Ей хотелось всем своим существом жить, а иногда она даже не верила, что это все произошло именно с ней, а не с кем-то другим. И стоит только проснуться, все пройдет как дурной сон...

Отец пропивал последние гроши; или буянил, или, до хруста сжав кулаки, плакал пьяными слезами. Теперь он стал работать поденно, да и то от случая к случаю. А «беспутную» Катьку никто на работу не нанимал, и она помогала матери прясть или ткать. Матрена выбивалась из сил, чтобы хоть как-то накормить семью.

Кумушки-сплетницы при встрече с ней и ахали-оха-ли, и с виду вроде сочувствовали. Но в спину Матрене язвили:

— Яблоко от яблони далеко не падает — какова мать, такова и дочь!

— И не говори, кума! Ежели сама Матрена добра была бы, так с чего так Кирила-то ее что ни день лупцевал?

— Катька ихняя, говорят, хотела Федьке в жены навязаться, да Игнаха Кузнецов вовремя заметил да и вытурил их из малухи-то!

Но были и такие, которые Матренину дочку не осуждали, а наоборот — обвиняли Кузнецовых.

— Игнат и сам-то хорош гусь! В богатые метит, мол, честь — она по богатству воздается... Опять же сынок у него — первый прощельга!

Некоторые пробовали по-доброму советовать Кузнецову-старшему:

— Ты бы, Игнат Петрович, женил сына на Катьке-то! Ведь куда ей теперь деваться? Отец неродной да пьяница еще... А ей ведь — ни дому, ни лому! Того и гляди до греха дойдет, руки на себя наложит Катька-то — вон как убивается, сердешная!

Кузнецов, брызгая слюной, шипел:

— Тоже мне, советчик выискался! Небось и без сопливых склизко... Мне лучше знать, на ком сына женить!

И вскоре действительно женил по своему усмотрению: невесту Федьке сосватали из зажиточной семьи. И приданое было хорошим. Но не из своей деревни, а из Кирги, там и обвенчались, дома устроили пышную свадьбу. Любил Игнат Кузнецов похвастаться да пыль в глаза пустить — дескать, вот мы какие!

Матрена за этот год состарилась, наверно, на целых десять лет. Когда-то густые, красивые волосы поредели, голова вся покрылась сединой. И раньше-то всегда смиренная и покорная, теперь Матрена и вовсе не поднимала головы, повязанной темным платком. Иногда она сквозь слезы корила дочь: «Чё нам теперь делать с тобой, Катерина, опозорила ты нас, не соблюла себя». Катька молчала, потупившись: что она могла сказать в оправдание девичьего греха? Разве что — головой в омут. Но дни шли, а в омут она не падала. Она будто погрузилась в какое-то забытье, как бы перестала понимать окружающее. Она как оцепенела, будто от сильного испуга. Когда ее бил пьяный отец, она вроде и боли-то не чувствовала... Только молча смотрела на истязателя, словно лошадь, которую со злобой хлещет кнутом пьяный возчик.

Когда Матрена давала ей кусок хлеба, она съедала, а не давала — жила и так. Сейчас ее не смогли бы узнать и бывшие подруги. Когда-то свежее, румяное лицо пошло коричневыми пятнами, глаза ввалились, и из них глядели испуг и пустота.

Прядеинские мальчишки с улицы, прыгая на одной ноге, дразнили ее, высунув языки: «Гляди, робя, соломенная вдова идет! Арбуз проглотила, ха-ха-ха!» Катька вроде бы и не слышала их улюлюканья, и сорванцы мало-помалу отставали.

...Подошел сенокос, стали наниматься поденно косить сено и пропалывать хлеба. Тут Кирила-косой вдруг надумал строить избушку. Дочь он не щадил нисколько, заставляя ее делать самую тяжелую работу. Они рубили

лес. Как-то раз, сгибаясь под непосильной ношей, с отцом поднимали они бревно, у нее как ножом резануло поясницу, и боль отдалась вниз живота. Молча, без стопа, она присела на землю. Кирила выругался, плюнул и тоже бросил бревно.

Весь вечер и всю ночь нестерпимая боль не отпускала ее ни на минуту. Но Катерина знала, что срок еще не вышел, она родит преждевременно. Безумными от дикой боли глазами оглядывала землянку, еле ворочая распухшим языком, шептала искусанными в кровь губами:

— Мама, пить!..

Матрена побежала к повитухе. Местная повитуха, толстая и рыхлая Прасковья Шихова сослалась на какую-то неотложную работу и идти к больной отказалась. Когда заплаканная Матрена, не чуя ног, плелась домой, она вдруг вспомнила старуху Евдоницу, и ноги сами принесли ее к малухе, где жил дед Евдоким со своей бабкой Феофаньей. Матрена прямо с порога, едва успев поздороваться, с плачем попросила:

— Выручай, баушка. Последняя надежда на тебя!

— Вижу уж, с чем пришла-то... Катьке твоей, поди, худо... Чего ж ты, дурная, раньше-то не приходила? Погоди-ко, я сейчас...

Сухонькая и шустрая, как мышь, Феофанья сбегала в амбар, набрала там пучок каких-то трав и мигом завязала их в узелок. Когда они пришли, Катьке совсем было плохо.

— Вон до чего довели девку... Не знаю, сумею ли теперь помочь-то... Есть у тебя хоть отварна-то вода?

Роды были очень тяжелые. Часа через два Феофанья подала вовсю ревущей Матрене красный безжизненный комочек...

— Такой парнишка был хороший... да замучился, сердешный, — недоношенный ведь... Ладно, хоть мать-то отстояли!

Феофанья протянула Матрене пучок травы, что принесла с собой.

— На-ко вот травку, запарь ее, остуди да напои дочку-то, а потом укрой ее потеплее!

Уже взявшись за дверную скобу, повитуха напоследок подбодрила:

— Не горюй, Матрена! Молодая еще дочка, здоровая, так что все переборет и, бог даст, поправится скоро. Да еще не одного родит!

— Уж и не знаю, баушка, как тебя благодарить-то? Ведь платить у меня нечем...

— Еще чего выдумала, какая уж плата? Мне бог заплатит...

Как былинка поднимается после бури, так поднялась на ноги Катерина, стала помаленьку ходить, потом работать принялась. Молодое здоровое тело пересилило всякую хворь, и не по дням, а по часам Катька наливалась жизненным соком. Захотелось снова иметь подруг, ходить на игрища, петь и плясать, но бывшие подруги за это время ее ни разу не навестили. А когда с ними встретилась, стали сторониться, отводили взгляды и молчали.

Лучшая ее подруга Анка Спицина при встрече с ней вдруг заспешила домой, но когда Катька ее стала задерживать, призналась:

— Как бы моя мама не увидела нас вместе. Она строго запретила мне с тобой встречаться. А мне тебя, Катя, жаль, да ничего не поделаешь. Теперь ты — баба, не нашего круга...

И Катька пошла, к горлу подступил комок, из глаз полились слезы, и она долго и безудержно рыдала над своей судьбой. Теперь только она поняла всю тяжесть своего положения. Жизнь ее вконец испорчена, хотя и нет ребенка. Она навеки теперь проклята и покрыта позором, который будет ее сопровождать до могилы. Ей было жаль и свою пришибленную горем и состарившуюся раньше



времени мать; и отца — пусть он пьяница; и брата, у которого такая непутевая сестра: из-за нее и он не сможет потом жениться на девушке из доброй семьи. А ей уже навсегда закрыта дорога с подружками водить хороводы. Придется быть в своей семье рабочей скотиной. Выслушивать вечные упреки матери да терпеть побои пьяного отца. Он теперь совсем сдурил. Раньше худо держал, а теперь вовсе житья не дает. Что делать, она не знала...

Время было горячее, можно бы наняться в пострадки<sup>28</sup>, да в добрые семьи ее не брали: боялись, что она совертит с пути их дочерей и сыновей. А в худых семьях к ней непременно привязывался или хозяин, или его сын. Даже такие же работники, как она, в ее присутствии говорили всякие гадости.

Теперь, наученная горьким опытом, когда к ней кто лез да лапы распускать пробовал, она хватала что ни попадя — вилы, лопату или просто полено, и назойливые приставаания прекратились. Она замкнулась в себе и теперь редко с кем разговаривала, даже с матерью, а тем более с отцом. Постепенно о ее позоре люди стали забывать, даже кумышки меньше сплетничать стали...

С грехом пополам поставили мало-мальскую избушку. Брат Павлушка подрастал, ему шел пятнадцатый год — скоро он будет полный работник. Вроде бы все потихоньку стало налаживаться.

Вдруг по зимнему первопутку из Харлово приехал сватать пожилой мужик, вдовец лет сорока, с рыжей козлиной бородой, красными глазами навывкат, курносый и конопатый. Назвался он Артемием.

Отцу загорелось скорее выпить штоф кумышки; он и внимания не обращал на дочь, ревешую, как по покойнику, и валявшуюся у него в ногах:

— Тятенька, не губите, не отдавайте меня взамуж!

---

<sup>28</sup> В пострадки — наниматься на сторону, в работницы.

Лучше я с вами буду жить, робить стану, сколько вы пожелаете, — он же старый и противный! Ох! Уж лучше в омут головой, чем взамуж за козла душного!

— Цыц, негодница, — орал отец, яростно грохая кулаком по столу, — ладно хоть этот взамуж берет! А кому ты боле нужна, с изьяном-то своим?! Тебе же, дурища, лучше: будешь теперь мужняя жена, хозяйка, а не кто-нибудь...

— Да у него ведь детей — полна изба!

— Эка невидаль! Вот и станешь водиться, небось не барыня-сударыня какая!

Матрена молчала — в последнее время она стала бояться и слова поперек сказать, тем более что по уговору Артемий согласился взять Катерину без приданого.

По деревне опять пошли гулять из избы в избы, с завалинки на завалинку такие разговоры досужих кумушек:

— Слыхали — Кирила-косой дочку свою непутевую за харловского вдовца Артемия сплавил? — говорила одна.

— Вот уж тот ей мозги-то вправит! — подхватывала другая. — Он, сказывают, мужик крутой, уж не одну бабу в гроб вогнал...

— А робят-то у него семеро, — тараторила третья, — и последний совсем еще маленький — баба у него после родов умерла, а робенчишко-то живет, сами знаете, на бедность да на горе они все выживают!

Матрена порой нет-нет да молча вздыхала или плакала втихомолку: жаль было дочь, пусть и непутевую... А Кирила-косой все так же ходил по деревне да искал, где бы выпить. К делу и не к делу хвастался: «У меня зять... вот мой зять!» То, что зять-то был старше тестя, Кирилу ни капельки не смущало, и он распускал слух, что зять его Артемий такой богатый, что вот-вот поможет завести лошадь и корову. Над ним смеялись и позаглаза, и в глаза: не так уж много верст от Прядеиной до Харлово, и все знали, что если и богат чем-то Артемий, так только голопузыми ребяташками...

По-прежнему у Кирилы ничего, кроме избушки, не было. Как-то начал он ограду городить, да напился и начатое так и бросил. Матрена по-прежнему нанималась в люди на поденную работу — где белье стирала, где полы мыла, где ткала; умела и могла одеяла стежить, а зимой нанималась прясть. Павлушка пошел в батраки «из хлеба и одежды». Один глава семейства ничегошеньки не делал, а все ходил по деревне в поисках выпивки да хвастал без удержу.

Минуло пять лет, как новгородские переселенцы приехали в зауральскую деревню Прядеину. Жили по-всякому, то есть кто как умел, хотел или уж как мог.

...Василий Елпанов вышел на крыльцо своего дома. На востоке занималась заря, и скоро золотистая полоса распахнулась по всему горизонту. Благодать-то какая! Птичьи голоса взхлеб славят начало нового дня и словно поют хвалебный гимн солнцу. Василий наскоро обулся в бродни, взял под сараем узду и недоуздок и пошел в поле посмотреть пасущихся лошадей. Вскоре он вернулся, ведя лошадей в поводу.

Лошадей у Елпанова было теперь три. Каурко стал уже старым, но на смену ему рос молодой жеребчик, сын Звездочки. Это был красивый и рослый конь, гнедой, как мать, и с такой же звездинкой во лбу, как у нее. Гнедку было уже три года, и его помаленьку приучали к упряжке. Дойных коров на подворье стало две, кроме того были бычок-годовик и два нынешних теленка. В пригоне толкалось и бляело до десятка овец, по двору важно расхаживали гуси, суматошно мельтешили курицы. Были в елпановском хозяйстве и свинья с поросятами, а в конуре — собака Лыско. Кажется, все было так добротнo устроено и жизнь шла так размеренно и спокойно, что невозможно представить, что чем-то или кем-то можно нарушить ее плавное повседневное течение.

## СТРАШНАЯ ЗАРАЗА — СИБИРКА

Беда, как часто и бывает, подкралась внезапно, неожиданно-негаданно. Прядеинский мужик Антон Безродный ехал с покоса и увидал с телеги, что в колке возле дороги чернеет что-то непонятное. Он передал вожжи сыну Анисиму и пошел посмотреть, что же там такое.

В колке лежал матерый лось-сохатый. Видимо, раненный охотниками лось бился в предсмертных судорогах, выбив скошенными острыми копытами глубокие ямы в земле; на морде клочьями повисла пена. Антон крикнул сына, тот подбежал, и они косою перерезали хрипевшему зверю горло.

— Давай-ко, Анисим, сымем с него шкуру-то, вон какая животино! Шкура у него больше, чем у любой коровы, и теплая-теплая, сохатому в ней и самый лютей мороз-трескун не страшен!

— Тятя! А где мы тут его подвесим, этакое чудо, ведь с лежачего шкуру-то не сымешь?

— Ну, придется домой везти!

Вернулись за телегой и подъехали к лосиной туше. Хорошо, что помогли шедшие с покоса бабы, иначе вдвоем они нипочем не справились бы завалить здоровенного лося на телегу. Дома под сараем с лося быстро сняли шкуру, повесили ее сушить на переклад, а мясо Антон отвез в лес и там бросил.

И все удивлялся: вот ведь повезло — почти у самой деревни этакую тушу, да еще с доброй шкурой, нашел! Никогда сохатые в это время к деревне не шли, а этот пришел, даже удивительно, что это с ним подеялось?

Но удивляться-ужасаться всем пришлось потом... Через неделю у Антона вдруг заболела лошадь, не ест и не пьет. Антон забеспокоился: с чего это Карюха захворала? Он еще накануне заметил, что она стоит какая-то

понурая. Вечером Карюха, судорожно поводя боками и трудно дыша, вдруг пошатнулась и легла наземь. Антон послал в деревню сноху Наталью, наказав ей бежать, бежать так шибко, как только может, и упросить прийти на покос дедку Евдокима.

— Тятя, а если дедки дома нет, на своем покосе он?

Антон опешил и совсем растерялся. Он бестолково бежал с трясущимися руками, не зная, что делать.

— Все равно, Наталья, беги в деревню, зови хоть кого-нибудь!

Сноха убежала, а Безродный, подойдя к лошади ближе, сразу понял, что Карюха теперь даже в поводу, а не то что в запряжке, не дойдет до двора. Она лежала на траве, и у нее так же, как у давешнего лося, начались судороги. Антона молнией поразила догадка, да такая страшная, что он сразу весь похолодел от ужаса: неужто неведомая зараза — от того сохатого?! Антон раньше слышал стороной, что у домашних животных иной раз случается падеж... «Вот беда-то, что же я наделал?!» — билась в голове мысль.

В это время сноха Наталья, бабенка молодая и на ногу быстрая, успела обежать в деревне все дворы, но дома никого, кроме немощных стариков да ребятишек-ползунков, не было: возвращаться с покоса время еще не наступило.

Забегала и к себе домой, а дома — еще одна беда. Пастух прислал подпaska сказать, что их корова в стаде вдруг захворала и теперь подняться не может, лежит в леске у крутого яра. Тут как раз дедко Евдоким с бабкой Феофаньей с покоса возвращаются. Наталья — вихрем к ним:

— Ой, дедко, выручай бога ради — у нас со скотиной беда!

— Погоди, Наташка, ты толком скажи, что у вас стряслось-то?

— Карюха на покосе заболела, не ест и не пьет ничего, и одна корова на пастбище — тоже!

— Господи! — перекрестился Евдоким. — Да никак поветря<sup>29</sup>... Тогда на лошади не поедем, а пешком до покоса доберемся! Пошли, Наташка!

Когда Антонова сноха с дедком Евдокимом пришли на покос, Карюха уже издохла. Жена Антона в голос ревела, а Антон все повторял бестолково: «Да как же это... ведь покос же!»

Дедко Евдоким осмотрел лежавшую Карюху и схватился за седую бороду:

— Господи Иисусе! Так я и знал! Поветря это... Теперь — беда всему скоту... И откуда напасть-то навалилась — ведь это же сибирка<sup>30</sup>!

— Чё, неужто и шкуру с кобылы снять нельзя? — потерянно спросил Антон.

— Не о шкуре сейчас надо думать-то, — махнул рукой Евдоким, — а о том, как бы весь скот в деревне от сибирки, хоть нерабочих лошадей да дойное стадо уберечь! Тушу лошадиную керосином облейте и на этом же месте сразу сожгите; всю сбрую над огнем надо подержать, да и одежду вашу — тоже, а самим вам в бане вымыться с крепким щелоком. В пригон пока скотину загонять нельзя ни в коем разе! Конюшню-то я вам горючей серой окурю. Из Сибири такая поветря идет, потому и зовут ее сибирка. Беда неминуемая к нам пришла...

Дедко Евдоким вырастил двоих сыновей и трех дочерей. Две дочери жили в Прядеиной, одна вышла замуж в Харлово. Старшему сыну построили дом и от семьи отделили, младший жил с детьми в своем доме. Евдоким славился на всю округу как хороший лекарь и коновал. Позаглаза некоторые его называли колдуном и чертознаем, многие даже

---

<sup>29</sup> Поветря — поветрие, быстро распространяющаяся эпидемия.

<sup>30</sup> Сибирка — сибирская язва, особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.

уверяли, что с нечистой силой дедко Евдоким связан и что он может в любой миг обернуться свиньей или собакой... При встрече в глаза все относились к нему уважительно, с почтением. Лечил он и людей, и скот, так что не было ни одного двора, хозяин которого не обращался бы к дедке Евдокиму. Лечил от поветри, от змеиных укусов, да много еще от чего, и всегда и всем давал дельные советы. Для него не было разницы, кто к нему пришел за помощью — бедный или богатый. С бабкой Феофаньей они знали множество целебных трав и кореньев, приносили их из лесу или с поля охапками, привозили целыми возами, а потом сушили их под сараем, на чердаке или на сеновале. К ним в Прядеину приезжали из других деревень, их знали во всей округе. Они никогда ни с кого не просили платы, но люди сами им давали. Бабка Феофанья, Евдокимова старуха, была лекаркой и ворожеей, а кроме того — опытной повитухой. И если ей где-нибудь в богатом доме давали за труды хороший подарок, она тут же отдавала его какой-нибудь бедной многодетной женщине или вдове.

Были Евдоким и Феофанья из каторжан-поселенцев, но поселились в деревне так давно, что даже старожилы-прядеинцы не знали, когда это и было.

Весть о сибирке разнеслась мгновенно. Старостой в тот год выбрали Никиту Шукшина. Никита прямо со своего покоса, даже не заглянув домой, пошел к Безродным.

У Антона была полна ограда народу, слышались крики и крепкая брань. Некоторые мужики уже прямо с кулаками подступали к Антону:

— Ты что это наделал, сукин сын? Нешто по миру нас хочешь пустить?!

— Окститесь, мужики, никакого худа я никому не хотел и не хочу! — растерянно уговаривал их перепуганный Антон.

— Да ведь соседи-то твои видели, как вы с сыном привезли домой тушу сохатого и под сараем ее оснимывали! Ты лучше не виляй, Безродный, как лиса хвостом, ты гольную правду нам скажи! Небось подох твой сохатый где-нибудь в лесу, а ты с сынком со своим этакую пропастину<sup>31</sup> — на телегу, да домой и привез! Ты на дармовую шкуру польстился! А нам всем што теперь — скотины да лошадей из-за вас лишаться?!

Антон с виноватым и растерянным видом, ища у кого-нибудь защиты и сочувствия, озираясь, как затравленный зверь, колотил себя кулаком в грудь и в сотый раз крестился и божился, что лось был живой, только запутался рогами между двух сросшихся берез и не мог освободиться, потому и пришлось прирезать его косой.

Мужики его словам не верили. Кто-то вилами подцепил и стащил с переклада лосиную шкуру, и так, на вилах, ее понесли в ров — сжигать.

Чем бы все кончилось — неизвестно, но тут в ограду вошел запыхавшийся Никита Шукшин. Прядеинскому старосте стоило немалых сил утихомирить вконец разъяренных мужиков.

— Криком да руганью горю не поможешь! — потеряв, наконец, терпение и перекрикивая самых горластых мужиков, закричал Никита. — Безродный, может, и знать не знал, от чего сибирка-то ко скоту липнет!

— А-а-а, не знал, говоришь? — быками взревели мужики. — Как это так — не знал?!

Все готовы были с кулаками наброситься на Безродного. Староста Шукшин, приметив в суматохе старого Евдокима, чуть ли не взмолился:

— Да скажи им хоть ты, дедко! Ты ведь не зря в Сибири бывал и много на свете всякого повидал!

---

<sup>31</sup> Пропастина — падаль, мертвечина.



Дедко Евдоким встал на крыльцо, и толпа на минуту смолкла, приготовившись слушать, что скажет чертознай<sup>32</sup>.

— Остыньте-ко, крещеные! Сибирка — это такая скрытная зараза, что покуда она себя не окажет, ее и не распознать... Лучше бы вы ни минуты не теряя собирались гнать весь скот как можно дальше в лес, строить там балаганы да в них и жить пока. Бог милостив — может, минует поветря, так тогда и по домам возвернетесь...

И мужики с ругательствами и угрозами пошли по своим избам.

Когда подворье опустело, Евдоким подошел к Антону и, оглядевшись по сторонам, вполголоса сказал ему:

— Ты, малый, как будут опять мужики с кулаками на скакивать, слушай да помалкивай, и упаси тебя боже возражать — целее будешь... Не то ведь до смертоубийства дойдет дело-то!

Кому, как не Евдокиму, было знать, что виноват, конечно, Безродный с этой клятвой лосиной шкуркой! Но сказать об этом мужикам — значит Антоновых детей осиротить...

В Прядеиной падеж скота и лошадей был страшенный. В стаде, где ходили коровы Безродного, за неделю передохли все до единой животины. На подворьях остались лишь телята-корытники, которых не пускали в стадо.

В Заречье, по ту сторону Кирги, сибирка вроде бы меньше злодействовала, но тамошние поселяне, как только узнали про падеж в Каторжанской слободке, чуть ли не всем миром погнали скотину в окрестные леса.

Стояла сенокосная пора, и люди жили в покосных балаганах, ночевали под стогами, косили и гребли сено, метали копны. Неподалеку от покоса пасли скот.

---

<sup>32</sup> Чертознай — грамотей, умник.

Василий косил вдвоем с кумом Афанасием: Афанасьева жена Федора осталась в деревне — присматривать за домами своим и Василия да поливать в огородах и стряпать на обе семьи хлеб; Пелагея с ребятами жила в лесу с покосниками. За хлебом в деревню мужики ездили раз в неделю; лошадь на всякий случай оставляли в лесу возле околицы. Разузнав деревенские новости, возвращались опять к покосам и скотине.

Василий с Афанасием и Иванком срубили там избу на берегу какой-то веселой речушки, где была свежая и холодная ключевая вода, такая вкусная, какой Василий никогда еще не пил. Вокруг избушки рос осинник — не зря речку называли Осиновой.

— Нам бы, кум, — говорил Елпанов, — лет на пять пораньше про это место-то прознать, уж больно оно красивое да хорошее!

— Да мы и на другой год сюда косить приедем. А что — сейчас жильё тут у нас есть, вон какая изба получилась, хоть в Прядеину ее перевозки! А ведь сперва хотели просто покосную временку рубить... Вот что значит три-то мужика! Да Петька четвертым помогал, тоже уж большой становится, десятый год пошел...

— А сколько отсюда верст до Прядеиной?

— Да почитай, верст двенадцать, а то и больше будет.

— Ого, далеконочко мы забрались, нипочем бы здесь не пришлось бывать, кабы не поветря эта проклятая...

— Летом-то сюда худо проехать: по бездорожью-то чуть ли не день целый петлять придется, а вот зимой, по мелкому снегу, как болота морозом скует, запросто можно — прямиком-то не так уж и далеко.

Вечерами кумовья подолгу жгли костры — от гнуса и на всякий случай от лесного зверья.

— Тут, видать, медведи есть, не то что волки да рыси! — говорил Василий.

— Вестимо, и косолапых полно, да теперь лето, медведи на ягодниках кормятся, черемушник обламывают да муравейники рушат. Бывает, правда, и коровенку заплутавшую задерут...

— Что, кум, сына-то женить нынче осенью будешь? — помолчав немного, спросил Василий.

— И не подумаю.

— А что так? Я слышал, что у него невеста есть.

— Нам эту невесту не надо, с каторжанами родниться не собираюсь. С кем только, прости господи, связался! Лучше, говорит, на свете нет моей Рипсимии!.. Поглядеть-то не на что. Сама как жердь, ноги как палки, а уж на язык остра, не приведи бог. Такой палец в рот не клади, мигом откусит. Вся в своего дедку-разбойника.

— Кум, ведь и новгородские тоже всякие есть. Вот, к примеру, Кирила-косой. Ты бы с ним породнился? Взял бы за Иванка Катьку, к примеру, не будь она порченая?

— Ты что, Василий, насмеяться надо мной задумал?! Какая бы Катька была жена Иванку, вся их порода из строку не выходит. Да у нее и станушки-то даже нет, не то что приданого.

— А тебе что, кум, приданое или человек нужен?

— И то и другое! К готовой-то кучке пригребать лучше. Вот ты, к примеру, Василий, сам тоже старался взять жену с приданым, и с лошадьёю, и с коровой. Девять лет в семье прожили, а больше-то ничего и не нажили, только у вас и было, что Пелагеин Каурко да ее же корова. Еще бы жил там хоть десять-двадцать лет, ничего бы не нажил.

Василий в душе обиделся на кума, но виду не подал. Кум говорил правду. На родине им бы не выбиться из бедности. А здесь жить было можно...

С каждым днем покос уходил от избушки и загона. Теперь скот пасла Пелагея с ребятами, а мужики возвращались вечером. На костре Пелагея готовила еду, благо молока было вдоволь: она баловала молоком телят и даже

сумела поднакопить масла, которое от жары держала в яме под полом избушки.

Сена в тот год накосили и сметали в стога немало. Близились осень, и перепугавшая в округе всех — и богатых, и бедных хозяев — страшная непрошенная гостья сибирка начала, по слухам, сходить на нет, а в пору листопадов исчезла вовсе, будто ее и не было.

...С тех пор немало прошло лет, много утекло воды в Кирге. Вдоль берега реки вместо улочек-односторонков вытянулись улицы с добротными домами. Жители Каторжанской слободки стали родниться с теми, кто жил в Заречье.

И среди поселенцев, и среди старожилов Василий Елпанов слыл солидным хозяином: имел семь рабочих лошадей, до десятка голов крупного рогатого скота, много мелкой скотины и разной птицы.

Каждой весной Василий поднимал добрый кусок целины — плодородной земли Зауралья, с каждым годом работал еще упорнее, чем прежде. Постепенно увеличивая пахоту, он, даже без удобрения земли, получал с каждой новины<sup>33</sup> хороший урожай — такие на Новгородчине никому и присниться не могли. В страдную пору бывший работник уже сам звал на подворье работников для себя, для своего крепнущего хозяйства.

---

<sup>33</sup> Новина — не паханная еще земля, новь, целина.

## КУЗНИЦА

**В** самый разгар страды вдруг скоропостижно умер прядеинский кузнец Агап, мужик лет под пятьдесят, но еще в полной силе.

Утром, собираясь с работником в поле, Агап наскоро перекусил. А потом, уже ближе к полудню, вдруг занемог. Страшная нестерпимая боль пронзила живот как кинжалом. Руки и ноги ослабли, холодный пот выступил на лице. Агап, преодолевая недуг, доковылял до телеги, попил квасу и прилег, ожидая, что боль утихнет, но становилось все хуже и хуже.

— Что-то со мной подеялось, Олимпий, придется коня запрягать. Вези меня домой, один я не доеду.

Олимпий — молодой парень лет двадцати пяти, одинокий сирота, из крайней бедности нанялся к Агапу этой весной в работники. Не говоря ни слова, Олимпий повез хозяина домой.

— Да ты не гони шибко, внутре-то у меня ровно что отрывается. Ой! Однако конец мне пришел.

Приехали домой. Сбегали за дедком Евдокимом.

— Ну что с тобой, Агап? Экой ты крепкий да здоровый был. Бог даст, поправишься. Где у тебя болит-то? Вот тут болит? А здесь?

Он дал Агапу выпить отвар какой-то травы. Пошептал, дал святой воды, но все было бесполезно. Вышел из горницы, кивнул головой Агаповой бабе, и она вышла за ним в сени.

— Марина, Агап долго не проживет, пошли в Киргу за попом, исповедовать его надо и соборовать.

Агап метался на постели, стонал от нестерпимой боли, просил пить.

Весть о болезни кузнеца разнеслась по всей деревне. При встрече бабы и старухи говорили одна другой:

— Слышала, кума! Агап захворал, говорят — шибко худой, наверно умрет. Работник за попом в Киргу поехал. По всем приметам, испорчен, хомут надет на его.

— А дедко Евдоким что? Он ведь хомуты снимает.

— Звали, ничего не помогает, лечил уже.

— Ну тогда, наверно, не хомут. Ни к чему он молодого работника нанял. Марина баба молодая, поди, с работником связалась да отравили Агапа-то.

— А кто его знает, может, и отравили. Ладно, кума, уж не бери греха на душу, не говори никому, может, он вовсе не отравлен, а сам захворал.

К утру Агап стал бредить и умер. Попа привезли поздно. Хоронить без покаяния поп не разрешил. Тут же поехали в волость за становым. Съездили в Белослудскую, привезли станового, навели следствие, допросили жену и работника, и Агапа похоронили...

Агап Махотин с женой Мариной были из каторжан. Пришли в деревню только с душой да телом. Он уже тогда был в годах, с рыжей окладистой бородой, высокий, крепкого сложения. Марина была намного моложе его, чернявая, невзрачная, бойкая и злая на язык. За шустрость и малый рост деревенские остряки прозвали ее Ящеркой.

Пожили они с год в работниках и стали строиться. Агап был человек мастеровой и трудолюбивый, лучшего кузнеца, чем он, во всей округе не было. Марина мастеровски варила самогон, кумышку и пиво. Всегда имела вино в запасе и поторговывала им еще при муже. А после смерти Агапа стала торговать хмельными напитками в открытую.

Через полгода Ящерка обвенчалась с Олимпием, и не только не уронила хозяйство, а наоборот, пошла в гору. Во дворе поставила избу с отдельным ходом, и день и ночь пошла винная торговля. Много раз ее уличали в плутовстве, что она продавала кумышку за первач, но ей как

с гуся вода. Баба она была жадная и хитрая, за словом в карман не лезла, и ей все сходило с рук.

Многих деревенских мужиков споила Агапиха. На нее злились женщины, мужа которых пропивали все до нитки в ее кабаке. Грозили даже красным петухом. Но Агапиха была не из трусливых. Были даже такие, которые специально ездили в волость и доносили на нее уряднику или становому и добивались, что из волости кто-нибудь приезжал, но все было напрасно.

Когда в деревню из волости приезжал урядник, Агапиха приглашала его в гости, угощала вкусными блюдами, подносила рюмочку, при этом клялась-божилась, что рюмочка у нее всего одна, и то плохонькой кумышки, которая осталась еще от праздника и вот уже полгода как стоит и вся выдохлась. За первой рюмочкой непременно следовала вторая, и так до тех пор, пока пьяный урядник или оставался у Агапихи ночевать, или с песнями ехал обратно в волость...

После смерти Агапа кузница долго стояла заколоченной. Елпанов по сходной цене купил у его вдовы кузнечный инструмент и построил свою кузницу. Он и раньше знал кузнечное ремесло — немного, правда (еще на Новгородчине с кумом Афанасием они держали на паях какую-никакую, но кузницу). Теперь же, когда деревня осталась без кузнеца, Василий расчетливо прикинул, что кузнечное дело — не без выгоды.

— Не боги же, на самом деле, горшки-то обжигают, — сказал он Пелагее, — начну я, пожалуй, кузнечить. Если чего пока и не умею, так невелика беда — небось научусь.

Сказано — сделано. Спустя короткое время он орудовал в кузнице, как заправский кузнец. Ковал лошадей, отягивал железными ободьями тележные колеса, наваривал косы, нарезал серпы. К нему стали уже приходиться

заказчики, сначала изредка, а потом, прознав, что новоявленный кузнец — не промах, так валом повалили, особенно перед страдой, а то и в саму страду.

Дела в кузнице пошли так хорошо, что Василий был вынужден нанять молодого парня, Алешку. Тот оказался толковым и трудолюбивым, быстро постиг кузнечное дело.



## СВАДЬБА НА ЗИМНИЙ МЯСОЕД

**Ж**изнь продолжалась в трудах и заботах, как всегда — скупая на радости и щедрая на беды. Но была у Василия Елпанова всем радостям радость — отцовская. Только-только заневестилась дочка Настя, как удача подвалила: приехали сваты из Кирги — сватать ее за сына удачливого и богатого прасола<sup>34</sup> Коршунова. Коршунов торговые дела свои вел с большим размахом, а знакомства сводил придиричиво, с немалым выбором. И то сказать: в округе всяк за честь почитал знать Иллариона Алексеевича Коршунова, который давно уже стал своим человеком даже на Ирбитской ярмарке, а коршуновские подручные гоняли гурты скота и косяки лошадей, вели хлебные обозы в Тагил, Надеждинск и другие города, где стояли демидовские заводы. С ежегодных ярмарок и торговых сделок Иллариону Алексеевичу доставался большой доход. Коршуновский дом в Ирбитской слободе — полная чаша, хозяйство — большущее, работников — со счета сбиться можно.

Когда на Николу зимнего к дому Василия Елпанова подкатила пара рысаков, запряженных в нарядную кошеву<sup>35</sup>, прядеинцы увидели, как из нее первой вылезла женщина в оренбургской шали — сваха, и степенно вышел сват — староста Кирги.

Не успели сваты войти в дом, как из конца в конец деревни полетела весть, потом пошли разговоры:

— К Елпановым сваты приехали! Да кошева какая знатная!

---

<sup>34</sup> Прасол — торговец, скупавший оптом в деревнях рыбу или мясо для розничной продажи и производивший их засол.

<sup>35</sup> Кошева — широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами и т. п.

— Ну еще бы! Богатство к богатству тянется... Проезжий из Ирбитской слободы намеренно говорил, мол, скоро в вашу деревню от самого Коршунова сваты пожалуют...

— Вестимо, Настасье-то Елпановой богатого жениха сватать будут!

— Да уж понятно, что не из голытьбы какой...

Сватовство, как узнали потом прядейницы, оказалось удачным.

Когда приехавшие сказали все, что положено по обряду сватовства, сели за стол — «пропивать невесту». Свадьбу назначили на зимний мясоед, а сыграть ее решили в доме Иллариона Алексеевича Коршунова...

Насте завидовали многие деревенские девушки, ведь теперь она будет богата. Но чем ближе подходил срок свадьбы, тем задумчивее становилась Настя. Она сомневалась в правильности своего выбора, ведь она любила другого — бедного деревенского парня Алешку. Как ни старалась Настя внушить себе любовь к Платону, любовь не приходила. Если бы теперь она призналась родителям, кого любит на самом деле, их бы хватил удар... А может, поняли бы ее сердцем? Не стали бы неволить. Но Настасья ничего не сказала родителям. Она вообще никогда ни с кем не делилась сердечными тайнами.

Только один Петрушка все знал, и когда они были одни, выпалил:

— Почему ты согласилась замуж за Платона, ты же Алешку любишь?

Но Настя так на него посмотрела, что он притих.

Она прекрасно понимала, что у нее нет будущего с тем, кого она любила.

Алешка жил в бедной семье. Отец его был ленив, любил почесать языком и все свои сбережения пропивал в заведении Агапихи. Своего дома у них не было, и жили они в чужой избушке.

У Алешки было трудное детство: с малолетства работал за хлеб, чтобы не умереть с голоду. Выросший в чужих людях на пинках и зуботычинах, был застенчив, трудолюбив и старателен. Трудная жизнь и тяжелая работа не смогли одолеть этого крепкого парня. Он раздался в плечах, мускулы налились силой. В кузне у Василия играючи поднимал пудовый молот и бил им по наковальне уверенно и быстро.

Всегда тихий и уравновешенный, в летние праздники Алешка превращался в совсем другого человека. Еще с утра отпрашивался у хозяина. Вымытый в бане, в чистой доброй рубахе, он шел на состязания борцов, которые обычно проводились в Пасхальную неделю, Радуницу или Троицу.

Боролся он мастерски, бывало так, что уходил с круга никем не побежденный, а если кто его побеждал, то он просил, чтобы тот еще с ним поборолся, стараясь перенять все его приемы.

Любил Алешка и любительские кулачные бои. Тут уж ему не было равных во всей деревне. Он наносил такие сокрушительные удары противнику, что многие мужики побаивались его кулаков. Но драчлив он не был, как некоторые. Он всегда уходил, где начиналась драка, или разбрасывал в разные стороны дерущихся парней, как котят.

Многие девки в деревне на него заглядывались. Но щеголять ему было нечем — одежонка худая. Да и времени свободного мало для гульбы. Всё в людях на чужой работе.

Как сейчас помнит Настя тот чудесный вечер, когда Алеша остановил ее у одинокой березки, которая росла недалеко от дома, и прошептал:

— Жить без тебя, Настенька, не могу, белый свет не мил, выходи за меня замуж.

— И давно это ты придумал, Алексей Иванович? — опешила Настя.

— Давно, моя касаточка. Давно тебя люблю. Все твоему батьке угодить хочу в работе, чтобы он видел, что я не пустяковый человек, да вот поймет ли он меня?

— Алеша, а где же мы с тобой жить-то будем?

— Как это где, что я, этими руками дом не построю? — и он поднял перед собой тяжелые, как гири, кулаки. — Да я бы весь свет перевернул, день и ночь стал работать! Настюша, ради бога, одно только слово!

— А куда же ты семью денешь?

— Что семья? Семья не моя, отец после нашей свадьбы будет надо мной не властен. Все хорошо будет, Ася, вот увидишь. На руках всю жизнь носить буду, — и он как перышко подхватил Настю и стал с нею кружиться.

Но тут вдруг как из-под земли вырос Петька, и раздосадованная Настя убежала в дом, сердясь на Алешку, на себя и на Петьку.

Настя старалась забыть этот разговор. «На что он мне сдался, нищий, из батраков ему не выбраться вовек, а если еще пить будет, как его отец, тогда что?» — спрашивала она себя. — «По миру с сумой пойдем», — отвечала сама себе, но сердце подсказывало иное.

Чтобы утвердиться в своем мнении, она вспоминала, как они приехали сюда. С каким нечеловеческим упорством поднимали хозяйство. И теперь, когда они уже у цели, отец выбран старостой, все перед ним снимают шапки, кланяются и называют Василием Ивановичем, вдруг его единственная дочь сделает такую глупость, выйдет замуж за батрака. Что тогда скажут люди? Нет, этому не быть никогда!

И она не стала встречаться с Алешкой, стала его избегать. Но из сердца первую любовь вытравить невозможно.

Короткими летними ночами, когда заря сходится с зарей, снился в тревожных девичьих снах такой красивый, любимый, желанный, и Настя весь день ходила вся сама не своя, задумчивая, поникшая, с опущенной головой.

И весь день работа валилась из рук. На расспросы подруг и матери ничего не отвечала. Иногда, лежа в постели, до утра не сомкнув глаз, тихо, беззвучно плакала.

И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не приехали сваты. Коршунову она никак не могла отказать. «Стерпится — слюбится, — говорила она про себя, — а в нищете да в бедности самая большая любовь завянет».

Как-то перед самой свадьбой Настя вечером бежала от подружки. Вдруг перед ней неожиданно появился Алешка. Настя хотела его обойти, но он преградил ей дорогу.

— Настенька, милая! Родная! Откажись от этого бычника. Поедем сейчас же со мной в Ирбитскую слободу, есть у меня там знакомые, устроимся как-нибудь, все будет хорошо, вот увидишь. Ведь ты любишь меня, знаю. Не ходи за богатство, не будет счастья, каяться будешь, поверь мне. Поедем со мной, не ходи домой-то, бог с ним с приданным, не надо, свое наживем, — со страстью выпалил Алешка, обнял Настю и прильнул жаркими губами к ее щеке. — Милая, родная, как я по тебе страдаю, поедем со мной, прошу тебя!

У Насти на какое-то мгновение закружилась голова, кровь прилила к щекам, но она тут же опомнилась, рассудок взял верх, она оттолкнула Алешку и с красным от стыда и обиды лицом побежала домой...

Вот и свадьба. Для Насти она прошла как во сне. Она не противилась и не радовалась. Была бледна, без кровинки в лице, с крепко сжатыми губами, беспрекословно подчинялась, когда ее подружки одевали к венцу. Платье Платон купил самое лучшее, в Ирбитской слободе, белое, из лучшего шелка, она еще не видела такого платья ни у одной невесты.

В последнее время она похудела, глаза ввалились, но в свадебном наряде была хороша. В ней всё еще боролись два чувства. Иногда она каялась, проклинала себя в душе за свою нерешительность. Наверняка другая, более

решительная девушка уехала бы в тот вечер с любимым, и был бы теперь с ней Алешка, которого она полюбила давно, самой своей сильной первой любовью, ну почему она не поехала с ним?

«Что мне делать? — спрашивала себя Настя. — Я сама оттолкнула свое счастье. Что я наделала, зачем согласилась выйти за Платона. Теперь уж ничего не поделаешь, все кончено! Будь что будет, лишь бы скорее». Вывело ее из задумчивости то, что на нее надели шаль и шубу, посадили в кошеву, и свадебный поезд тронулся. Застоявшиеся на морозе лошади побежали ходко. До Кирги до рога не ближняя. Что не передумаешь за такую дальнюю дорогу...

В церкви была духота, горели свечи, пахло ладаном, и Настя была как в полусне, от духоты у нее кружилась голова, она очнулась только тогда, когда священник обратился к ней со словами: «По своей ли воле выходишь взамуж, раба божия Анастасия?»

Этот вопрос застал Настю врасплох, и она еле слышно прошептала: «По своей».

Священник скорее догадался, чем расслышал ее ответ, и венчание продолжилось; если бы спросить позднее, что еще она помнит, она вряд ли бы ответила. Ею овладела смутная тревога, иногда казалось, что вот сейчас ворвется Алешка, растолкает толпу и подойдет к ней. Она страстно хотела этого, но в то же время боялась.

Обряд венчания кончился, и Настя в душе успокоилась, что теперь уже все кончено, больше никаких сомнений не должно быть, она на веки теперь жена Платона Коршунова, любит его или нет, ее путь теперь с ним до самой могилы. Когда она под руку с Платоном выходила из церкви, она скорее чувствовала, чем видела, что Алешка тут...

Большой просторный дом Коршуновых был полон народом. И во дворе, и у открытых широких тесовых ворот —

езде толпился народ. В воротах новобрачных щедро осыпали пшеницей. Полновесные зерна больно ударяли по лицу. Во дворе забрасывали хмелем, а в сенях — медными и серебряными монетами.

В горнице гостей и новобрачных ждал огромный стол, заставленный множеством дорогих вин, холодных и горячих закусок. Стряпки с ног сбивались, подавая все новые блюда.

Когда в горнице собрались все родственники жениха и невесты, тысяцкий<sup>36</sup>, посаженный отец, дружки, подружки и большак<sup>37</sup>, в горницу зашли родители Платона.

Настасья только сейчас по-настоящему разглядела мать Платона. Когда родители благословляли их к венцу, она и не заметила, что ее будущая свекровь так больна. Теперь Настасье она показалась совсем немощной, больной и старой. Ее болезненное лицо отливало одутловатой желтизной. Ходила она, еле-еле передвигая ноги, и страдала одышкой. От того ли, что свекровь так больна, или от чего другого, у Настасьи вконец испортилось настроение. Она с утра ничего не ела, и сейчас от запахов блюд и от всего пережитого за эти дни у нее закружилась голова. Когда сели за стол и стали поздравлять новобрачных, Настя еще крепилась, но когда гости захмелели и начали петь величальную в честь жениха и невесты, слезы как горох потекли по ее лицу, капали на грудь, на дорогое подвенечное платье, и она с трудом сдерживала в себе судорожное рыдание. Собрала всю свою волю, чтобы не зареветь за столом, как ревут в деревнях бабы по близкому покойнику. На слезы невесты гости не обратили внимания, потому что невесте за столом полагалось поплакать, даже по этому поводу в народе была поговорка:

---

<sup>36</sup> Тысяцкий (дружка, тамада) — главный распорядитель на свадьбе.

<sup>37</sup> Большак — старший в доме, в семействе.

«Не поплачешь за столом, так поплачешь за столбом». И все сочли это как должное.

Платон за столом слегка обнял Настю за талию, взял в свою горячую ладонь холодную, как лед, Настину руку и тихо шепнул на ухо: «Ася, не надо так плакать, люди подумают, что тебя насильно за меня отдали».

— Вот, Асенька, выпей водички и успокойся, плакать не надо, все будет хорошо, никто тебя в этом доме не обидит, — подбежала к невесте сваха и поднесла ей стакан с водой, — ты сейчас жена Платона, забудь все прошлое, свой дом и семью. Сейчас этот твой дом и эта твоя семья, а Платон тебе законный муж.

Голос свахи журчал как ручеек, и Насте сразу стало веселее на душе.

А тут уж была гармошка, и веселье шло полным ходом. Во время тостов уже в сотый раз кричали «Горько!» и уже в сотый раз целовались жених и невеста. К стенам сдвинули столы, молодые мужики, бабы пошли плясать со свистом, с прибаутками, с песнями, а следом и старики со старухами не удержались.

Просторный коршуновский дом никак не мог вместить всех желающих посмотреть невесту. Народ был и на печи, и на полатах, и на голбце, и в сенях, и во дворе. До самых ворот огромный двор был заставлен санями, повозками, кошевами.

До глубокой ночи длилось веселье. Вино лилось рекой. Всевозможные пироги и закуски несли и несли на столы. Вот уже в деревне пропели вторые петухи, а коршуновский дом все содрогался от пляски и песен. Наконец мало-помалу веселье стало стихать...

Что даст завтрашний день? Если невеста была порядочной девушкой, то сваха объявит это гостям и начнется самое веселое торжественное время свадьбы, но если надежды новобрачного не оправдались, то бывало и такое, что муж мог при гостях опозорить свою жену.



Настя слышала, когда была еще подростком, что у одной новобрачной сорвали с головы цветы и вуаль, посадили на собаку и пустили по улице. А молодой муж побил ее при гостях, и она, не выдержав позора, бросилась в колодец.

Вот прошла и эта первая ночь, вернее остаток ночи, молодые еще не сомкнули глаз, а крестная уже пришла будить. Все было хорошо. Собрались гости. Начались поздравления. Стали бить горшки. Настасье подали веник, завернутый ребенком. В дом натаскали соломы, заставили мести пол. Гости принялись бросать на пол деньги и подарки.

После шумного застолья поехали в гости к Настиным родителям, как того требовал обычай. Лошади были готовы, и свадьба большим веселым караваном тронулась в путь. Настя успокоилась, и теперь уже Платон не казался таким чужим и далеким...

Отшумел, отгремел зимний мясоед, и сразу наступила тишина, елпановский дом будто осиротел без любимой дочери Настеньки. Петрушка и тот ходил теперь как потерянный, не с кем было ему озорничать, рассмешить в самый неподходящий момент, подшутить или что-нибудь вытворить. Не стало слышно в доме веселого смеха Настеньки и ее подружек.

— Далеко наша Настенька, не сбегает, не попроведаешь, — вздыхая, жаловалась Василию Пелагея, — как она там живет, сердешно дитяtko? Свекровка-то какая-то нездоровая, а с хворым человеком знаешь как тяжело жить.

— Если бы не за Коршунова, ни в жизнь бы не отдал, — оправдывался Василий, — перед свадьбой все ходила как потерянная, все о чем-то думала. Да ведь не враги же мы ей, зачем было соглашаться самой-то, если уж не люб ей Платон, отказала бы, да и все тут.

## БЕГЛЫЙ КАТОРЖНИК

Сенокос был в разгаре. Ранним утром, когда только самые работающие хозяйки, позевывая и крестя рот, идут в пригоны доить коров, Василий вышел на улицу и направился в кузницу. Накануне он вернулся со своего покоса, где у него треснуло полотно литовки<sup>38</sup>. Сенокос ведь ждать не будет. Можно было бы взять другую косу — в хозяйстве было несколько запасных, но Василий всегда и во всем любил порядок. Потому он и шел сейчас к своей кузнице, слегка поеживаясь от утренней свежести.

Кузница у него была поодаль от двора, на косогоре, у самого берега Кирги; там же была мастерская, где распаривали и гнули ободья для тележных колес.

К мастерской был сделан просторный пристрой с печью, чтобы можно было работать и зимой.

Подходя к кузнице, Елпанов вдруг услышал стон. Думал, что ему послышалось, но глухой стон повторился.

«Господи! С нами крестная сила! Кто это, кто стонет?!» Василий пошел на звук, обогнул кузницу и... чуть не наступил на человека, лежащего в густой траве. При виде Василия человек, весь заросший щетиной и одетый в грязные лохмотья, поднялся на ноги. Что-то глухо звякнуло, и Елпанов обомлел — это были кандалы.

— Не дай пропасть, добрый человек, — прохрипел незнакомец, — хоть хлеба кусок... я третий день одну траву жую...

Василий вспомнил свой долгий путь в Зауралье, Сибирский тракт и сразу смекнул, в чем дело. «Каторжник, знать-то, беглый! — молнией пронзила мысль. — А вдруг ищут его да у меня и найдут?! Вот еще напасть на мою голову!»

---

<sup>38</sup> Литовка — коса с длинной прямой рукоятью.

Но Елпанову стало жаль обессиленного человека. Он, поминутно озираясь, быстро принес кружку молока и один сухарь — он знал, что голодающего сразу много кормить нельзя. Когда он вернулся, человек, похоже, начал бредить. Василий стал поить его молоком и дал сухарь. Человек, трудно двигая кадыком, сделал несколько глотков и, сжав в кулаке сухарь, рыдающим голосом взмолился:

— Спрячь меня где-нибудь... до смертного часу буду Бога молить за тебя...

— Да куда же я тебя спрячу-то?!

— Ты хоть железки с меня снял бы, Христа ради... А я уж как-нибудь в лес уползу. Все едино помирать, так хоть на воле помру!

Василий снова вспомнил угрюмые вереницы измученных арестантов, бредущих по Сибирскому тракту на каторгу. Подчиняясь какой-то неведомой силе, он завел беглого в кузницу, плотно прикрыл дверь и, схватив напильник, быстро распилил кандалы. Потом осторожно приоткрыл дверь и крадучись огляделся. Вроде никого вблизи кузницы не было. Василий повернулся к беглому:

— Сиди здесь тихо... жди! Я за тобой скоро на телеге приеду...

— А... не выдашь ты... меня? — с трудом разлепил спекшиеся губы беглый.

Василий молча вышел, запер снаружи дверь кузницы и пошел к своему подворью, стараясь не попасть на глаза бабам, уже подоившим коров.

Чего греха таить, мелькала у Елпанова мысль: «Ладно ли я делаю? Своя-то рубаха — она ближе к телу... Вдруг видал его кто в деревне случайно? Дознаются — верная тюрьма мне!»

Но ему снова вспомнился Сибирский тракт, измученные люди в кандалах, идущие по бесконечной дороге в Сибирь, на каторгу...

Скоро Василий вернулся на телеге, на которой была навалена пожухшая кошенина<sup>39</sup>. Отворотил большой пласт травы, помог беглому забраться на телегу, накрыл его травой сверху и привез в свою ограду. Закрыл ворота. Ограда — плотная, с улицы в щель ничего не увидишь.

Пелагеи на дворе не было — она подоила коров и погнала их в стадо. Василий помог беглому забраться на сеновал, сходил в дом, принес молока и хлеба и вполголоса сказал:

— Вот что, мил человек, лежи пока тут. Я с женой на покос поеду, а вечером поись тебе принесу. Ночью в бане вымоешься, в божеский вид придешь...

— Как мне благодарить-то тебя, и не знаю...

— Лучше погоди благодарить-то... Неровён час — нагрянут стражники, дак ты в сено заройся и — ни гугу! Ежели, боже упаси, найдут, скажешь, мол, тайком на сеновал залез, пока хозяев не было.

— Ты, отец, чё это седни квёлый какой-то? — спросила Пелагея, увидев, что муж в третий раз остановился на одном и том же прокесе. — Али устал сильно?

— Нет, ничего... просто задумался я...

Василий снова замахал косой, стараясь работой приглушить чувство тревоги. И после покоса он ехал домой с беспокойством. Вошли с Пелагеей в ограду, а навстречу — полицейский урядник с двумя стражниками.

— А вот и хозяин! Как живешь-можешь, староста?

У Василия все внутри похолодело, но он ответил бодро, стараясь унять дрожь в голосе:

— Здравствуйте, с чем пожаловали?

— Вот заглянули в деревню, на постой хотим стать, — урядник солидно и басовито откашлялся.

— Так что же мы на дворе-то стоим, в дом пожалуйте! Сейчас приехали или днем еще? Располагайтесь, как раз пора ужинать. Сейчас я хозяйку позову.

---

<sup>39</sup> Кошенина — скошенная трава.

Василий вышел и сказал потихоньку Пелагее:

— Палаша, быстренько добеги до Агапихи, принеси первача...

Вернувшись, он обратился к уряднику:

— Спросить дозволейте, ваше благородие, вы по службе к нам али как? Что новенького слыхать в волости?

— Уж неделя, как беглых ищем! С этапа на Сибирском тракту тягу дали. Только — тс-с-с, староста, никому ни-ни!

Тут вошла Пелагея, поздоровалась с неожиданными гостями, поставила на стол штоф<sup>40</sup> первача и вышла собрать закуску. При виде самогона урядник довольно крякнул.

После первой стопки Василий решил спросить:

— Ну и нашли кого?

Урядник выждал, пока хозяин снова нальет стопки, выпил, захрустел квашеной капустой и помотал головой:

— Как сквозь землю провалились каторжники! Мы у тебя, Василий Иванович, дня два-три на постое побудем.

— Да какой разговор, ваше благородие, побудьте!

За столом стопка за стопкой так и покатались — полицейский урядник не дурак был выпить; старались не отставать и стражники.

Видя, что первач в головах незваных гостей изрядно зашумел, Василий сказал:

— Беглые-то, небось, по лесам попрятались — вон кругом чащи-то какие!

— В лесу сейчас ни ягод, ни грибов, — ухмыльнулся урядник, — трава одна! А с пустым-то брюхом... Ну так, Василий Иванович. Завтра утром собирай-ка сход, и чтоб все явились — и хозяева, и работники!

---

<sup>40</sup> Штоф — четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, служащий мерою жидких тел, равной 1/8 ведра.

— Да теперь которые еще на покосе, вот возвратятся — всех оповещу!

— Некогда ждать, собирай с утра тех, кто дома! Я сам на сходе прикажу, чтоб из деревни, кроме как на покос, никто никуда ни ногой!

Полицейские чины после доброго первача скоро захрапели. Василий чуть ли не на цыпочках вышел на крыльцо и поднялся по лестнице на сеновал.

— Э! Ты меня слышишь? — тихонько позвал он в полутьме. В ответ раздался шорох сена и близкое встревоженное дыхание беглого.

— Ищут тебя... Лежи тихо, даже дышать забудь!

Он спустился вниз и заглянул в избу: слава богу, храпят все трое! Наказав сыну обежать все избы и оповестить хозяев о сходе, шепнул Пелагее, чтоб приготовила закуски, да получше — он еще раз к Агапихе наведается: небось урядник со стражниками снова первача возжелают... Жена удивилась такой щедрости обычно бережливого мужа, но ничего не сказала.

А Василий знал, что стоит уряднику опрокинуть стопку, как его не остановить никакой силой: падок, ох и падок «благородие» на дармовщинку!

Полицейские чины храпели до позднего утра. Когда они проснулись, Василий указал рукой на накрытый Пелагеей стол:

— Давайте, господа хорошие, по стопочке выпьем! Еще с Рождества бутылочка осталась, да все компании подходящей не было...

Урядник для виду поломался, дескать, служба, пить нельзя, но все же выпил, а стражники — те только того и ждали. Василий, чуть пригубив, спросил:

— И много этих самых арестантов сбежало? Нашли кого али нет?

— Да черт их найдет! — после второй стопки урядник стал разговорчивым. — Бывает, по деревням их укрывают.

Народишко темный в округе живет! Сами-то бывшие каторжане, а ворон ворону глаз не выклюет! Ты, Василий Иванович, примечай: может, кто прячет чужих людей. Если что — сразу в полицию сообщай... ик!.. мне то есть, — икнул уже порядком захмелевший и раскисший урядник. — Дело-то серьезное: около Камышлова целый этап сбегал, двоих конвойных каторжники убили!

— Да неужто? — поразился Василий. — И никого так и не поймали?

— Как не поймали — многих сцапали... Этап-то ведь большой, которые арестанты не побежали — старые или больные, куда они в кандалах-то побегут? Эти в один голос твердят: мы, мол, бежать не хотели, солдат конвойных не убивали, это дело рук зачинщиков. Вот то-то и оно-то, — загорячился урядник. — Где теперь зачинщиков найдешь? Этакие-то и десятками лет в бегах числятся... А перед высшим начальством в ответе кто? Я, конечно... Навытяжку, бывало, стоишь, да еще в морду получаешь... А жалованье какое — не больно-то разживешься!

Василий налил им еще по стопке. Стражники, как и накануне, стали дремать сидя за столом. Урядник еще посидел, поболтал всякий вздор и стал клевать носом.

Уложив полицейских спать, Василий тоже прилег, но всю ночь не сомкнул глаз. Из пьяной болтовни урядника Елпанов понял, что тот со стражниками заехал в деревню случайно — просто потому, что беглых искали повсюду. Вдруг Василий спохватился: «Господи! Да ведь в кузнице кандалы распиленные лежат в углу. Сам ведь их туда бросил, да запаматовал в суматохе!»

Чуть забрезжило в окнах, Василий заторопился в кузницу. Возле двери огляделся — нигде ни души. Он завернул кандалы в старый мешок, чтоб никто случайно не увидел. Подошел к берегу Кирги, еще раз оглянулся и, размотав мешковину, забросил кандалы в воду.

Когда он вернулся в избу, полицейские еще спали. Василий, взяв крынку молока и краюху хлеба, осторожно поднялся на сеновал. Беглый стал жадно есть, бормоча слова благодарности. Оказалось, он с сеновала видел в щель, кто остановился ночевать у его спасителя. Хотел следующей ночью бежать, но побоялся — июньские ночи как на грех светлые.

...Сход собрался в Каторжанской слободке, возле пожарной караулки.

Василий, как староста, пришел первым. Урядник известил всех, что если появятся беглые, немедленно задерживать их и везти в волость. Кто-то выкрикнул:

— Как их распознаешь, на лбу у них написано, ли чё ли?

— Да что непонятного? По кандалам да одеже арестантской! Не видали ль таких в лесу, а может — и на покосе?

— Нешто они нам покажутся? Сейчас каждый кустик кого хошь ночевать пустит!

— Но есть-то в лесу нечего! Может, в лесу или на покосе к вам кто подходил, дорогу спрашивал или поесть просил?

— Ну, ежели беглый, дак он дорогу спрашивать не станет, побоится себя оказывать...

— А мы еду-то в кармане носим, ли чё ли? У каждой семьи запас на телеге, а мы, может, за две версты косим-то, у телеги и сермягу найдешь, и подпилки есть — косы править. Если кто в бегах, небось давно уж и кандалы, и одежу арестантскую скинул!

— Страда вовсю идет! Была нам нужда беглых ловить, на лешака они нам сдались, твои арестанты!

— Тебе надо, вот ты и лови, ваше благородие! — с издевкой крикнул кто-то, невидимый в толпе.

— Молчать! — вне себя заорал урядник. — Молчать, не то сами пойдете по сибирской дороге!



— А ты не пужай, мы дороги-то всякие видывали! Честные поселенцы мы, живем своим трудом, землю пашем да хлеб сеем, чего тебе еще-то?! — загомонил сход.

Мужики, несмотря на ругань урядника, стали расходиться по избам.

Урядник, разъяренный, уехал со стражниками в волость, сказав старосте Елпанову, что на днях заедет в деревню снова. Закрывая за ними ворота, Василий с облегчением, но и с досадой думал: «Слава богу, унесли черти, но чем все дело с беглым-то обернется — неизвестно... А сколько времени в страду-то без толку пропало!»

Василий наконец сказал жене, кого он прячет на сеновале. Сначала Пелагея испугалась, а потом немного успокоилась и даже засмеялась:

— А я-то, недотепа, думаю: что ему взбрело в голову урядника первачом напаявать, да не его одного, а еще двоих остолопов!

— Тут уж, как говорится, и сам не рад, да готов, пришлось умастить полицейских... Надо работников о беглом-то предупредить... Хорошо, что они не из болтливых...

Прошло две недели. Урядник больше не приезжал. По деревне прошел слух, что Елпанов к жнитву нанял нового работника, которого привез из Ирбитской слободы. Парень назвался Гришкой, вольным поселенцем из Вятской губернии. Парень стал работать в елпановском хозяйстве и помогать Василию в кузнице. Теперь у Василия стало три работника, да и сын Петр уже работал за взрослого мужика. Пелагее работы хватало — со скотиной управляться, с огородом, да стряпни и стирки прибавилось, только ей приходилось все делать одной, без помощницы.

Василий как-то вечером сказал Пелагее:

— Вот что я надумал, мать: найму-ко я до женитьбы Петра работницу, тяжело тебе одной-то! Вон теперь сколько

у нас скотины да птицы, и опять же — надо куделю чистить и прясть. Ну, куделю-то чистить Матрена сулилась пособить, бабенка она работяща, а все другое-то — как же тебе в одиночку?

— Ты хозяин, тебе и решать надобно, а мне и остальным — только слушаться да не прекословить, — ответила Пелагея.

Иногда Василий подумывал насчет беглого, ставшего вятским Гришкой: а вдруг пронюхает бестия-урядник, кто таков на самом деле новый елпановский работник, но успокаивал себя, мол, я-то тут при чем? Я его нанял в работники — и вся недолга, но если его сцапают, он и в ответе, а мое дело — сторона!

Когда кончилась страда, двое работников получили расчет и ушли домой: нанимал их Василий, как обычно нанимают на страду, до Покрова. Гришка хорошо работал по хозяйству, справлялся и в кузнице. Василий не жалел, что приютил беглого и спас его от новой каторги: как-никак, почти бесплатного работника получил, только корми и одевай его. «Пусть пока живет, робит у меня, а там видно будет», — прикидывал он.

К Покрову Елпановы всей семьей ездили в Киргу, в приходскую церковь. Заехали в гости к свату Иллариону. Покров в Кирге, как и во всем приходе, — большой престольный праздник. И время праздновать — самое подходящее: полевые работы закончены, молотить еще рано. В это время в деревне только бабья работа — куделю чистить, а мужики так, кое-что разве поделывают. Ну, у Коршуновых и у Елпановых мужикам работы в любое время хватает, но в Покров — все дома, все празднуют.

Сватов Коршуновы встретили радушно. Настасья первая увидела Василия и Пелагею в окно, неодетая выскочила скорей отворять ворота и не удержалась, заплакала от радости, обнимала и целовала по очереди всех — отца,

мать и Петрушку. После свадьбы дочери Василий был у Коршуновых два раза, а Пелагея всего один, и теперь Настя разом хотела наглядеться на прядеинских родных. Она немного похудела, но чувствовалось, что вполне освоилась в новой семье. Сватья Мирония, страдавшая одышкой, работать много не могла, все больше сидела и лежала с отечным лицом. По хозяйству помогала чужая безродная старуха.

Петрухе пошел семнадцатый год. Василий научил его счету в раннем детстве, считать он умел хорошо и быстро, а вот читать и писать где научиться — в деревне ни одного грамотного человека. Василий хотел уже послать его учиться в Ирбитскую слободу, но отец и сын Коршуновы читать и писать умели, и Платон охотно взялся учить родственника. Петр оказался способным и прилежным учеником, и его решили оставить в Кирге погостить — Настасье веселей будет. Василий с Пелагеей радовались: вот выучится сын грамоте, и можно письмо на родину отправить.

## УБИЙСТВО АННЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Лето выдалось жарким и засушливым. Когда собирались тучи, с ужасающей силой гремел гром; были случаи, когда молнией убивало людей и скот или возникали пожары, но хорошего ливня так и не дождались. Хлеб был плохой, низкорослый, с мелким колосом, кое-как вырос только в залесках, где лучше сохранилась влага; травы оказались под стать ему. У Елпановых сохранилось много старого хлеба — не зря Василий каждый год припахивал целины, где всегда был урожай. Люди говорили между собой, что будет голод. И на самом деле, уже в сенокос и жнитво появилось много голодающих с Урала. Вести, одна другой хуже, приходили с демидовских заводов: там народ поголовно умирал с голоду — на тамошних каменистых, неплодородных землях добрых урожаев никогда не было, а тут еще два лета подряд засуха. Исхудалые, с почерневшими лицами люди с тощими котомками за плечами шли и шли вереницами по деревням Зауралья, прося милостыню.

...Игнат Кузнецов ждал из солдат старшего сына, тот должен был скоро вернуться домой. Младший сын Кузнецовых умер еще неженатым — опрокинувшись возом придавило.

«Вот возвернется Никон — пусть он всем правит как хочет, а я уж сколь смогу, столь и пороблю, — думал стареющий Кузнецов. — Старуха больно хворая стала, лонись<sup>41</sup> дак и вовсе паралич ударил. Опять же Федька со своей-то бабой ладом не живет... Ведь отделил его, дурака, — думал, лучше будет, свой-то дом его притянет, ан нет — четвертый год пьет да на чужих баб смотрит! За что нам со старухой такое наказанье-то на старости лет? Эка вот, говорит — мол, не люблю я бабу свою, зря вы

---

<sup>41</sup> Лонись — в прошлом году.

меня на ней женили. Да какого черта тебе еще надо, баба в девках-то и видная, и богатая была...»

А жизнь Анны, Федоровой жены, стала хуже некуда с тех пор, как Кузнецов-старший нанял на страду работницу Федосью: Анна тогда заболела и в поле работать не могла.

Вот и прибрала хозяйского сына к рукам бойкая пострадка Федосья... Дальше — больше: Анна как-то попыталась попенять на это мужу, но тут же получила увесистую оплеуху.

— Молчи, не выводи из терпения, ненавижу я тебя! — взъярился Федор.

— Опомнись, Федор! Дети ведь у нас, — охнула бедная Анна.

— Ты мне весь свет загородила, пропади пропадом, жаба!

Отругав, а то и поколотив жену, Федор уезжал в поле с пострадкой — бабенкой, как назло, молодой, лицом пригожей, но и порядком бессовестной. Скоро Федор, не стесняясь ни отца-матери, ни чужих, связался с работницей в открытую... А та совсем уж себя хозяйкой возомнила! Как-то даже сказала за обедом: «Тетя Анна, уж больно ты стара да худа, как будто матерью приходишься Федору-то...» Анна плакала горячими слезами, но кому пожалуешься? Она была дальняя, выдали ее замуж из Кирги. К отцу родному не сходишь, да и отец-то уже теперь давно помер...

После десяти лет совместной жизни отец отделил Федора, третий год они жили в своем доме, но жизнь не налаживалась: Федор продолжал пить и все чаще бил жену.

Бабы жалели Анну, но кое-кто, бывало, говорил: мол, муж да жена — одна сатана...

— Впору руки на себя наложить, — жаловалась Анна соседке, Марине Агапихе. — Ровно озверел Федор-то, как связался с Федоской этой! Ох, пропащая моя головушка!

Агапиха выслушивала ее равнодушно: самогонщице не раз приходилось слушать стенания измученных пьянством и побоями мужей деревенских баб. Кроме того, она не любила эту тихую, чересчур покорную бабу: «Так тебе и надо, телепня<sup>42</sup>! Да будь Федюня мой муж, я бы его вот так зажала! — и она показывала маленький, но крепкий кулак. — Уж я бы не поддалась, а чем попадя бы такого-то буткала<sup>43</sup>!»

Отчаявшись, Анна пришла к бабке Евдонихе:

— Баушка Феофанья, я к тебе как к последней надежде... Помогите моему горю, совсем сдурел мужик-от у меня, ругается да бьет! И раньше-то худо жили, а нынче и вовсе как зверь. Видно, околдовала его эта змея подколотная, Федоска-то... Взял ее свекор, мне на беду, в пострадки. У нас в дому живет, а нам же, прости господи, и гадит! Федор седни меня опять набил, а вечером, ежели напьется, хоть беги куда глаза глядят!

— Куда же, милая, побежишь-то? Ведь ты мужняя жена, у тебя дети! Ну ночуешь ты седни в людях, а завтра ведь все равно домой-то надо... Ты уж старайся как-то и сама наладить жисть-то! Откажи Федоске-работнице, что ли...

— Да ведь не я, а свекор мой нанимал Федоску-то! Добром она не уйдет...

— А ежели добром не уйдет, так выгони! Хозяйкой в дому стань, а не гостьей! Вот, на тебе ломоть хлеба, я его наговорила. Как придет Федор вечером да ужинать будет, этот ломоть незаметно ему подложи. Гляди, чтобы только муж съел его, а не другой кто, да не с супом или еще с чем горячим, не то с паром весь наговор-то и выйдет... А завтра сходи на кладбище, найди могилу, где похоронен кто-нибудь по имю Федор — все равно, хошь старик, хошь ребенок. В деревне Федоров-то много ведь умерло, вон дедка Федора в прошлом году похоронили, знашь, поди, где могила-то его?

---

<sup>42</sup> Телепня — неповоротливый, вялый, неуклюжий человек.

<sup>43</sup> Буткать — бить, стучать, колотить.

— Знаю, баушка, знаю — у кривой березы она!

— Дак вот, мила дочь, горсть земли с могилы возьми и мне принеси: я на нее наговорю, а ты ее в рукомойник перед тем, как он будет умываться, брось... Завтре же ко мне и приходи!

— Спасибо, баушка, побегу я домой — поди, явился душегуб-от мой, еще хватится меня, окаянный!

— А ты, касатка, худыми словами Федора не брани: бес-от, он ведь завсегда услышит да и будет разжигать у вас ссору-то!

Анна с надеждой побежала домой, неся за пазухой ломоть хлеба с наговором. В ограде ее встретил завыванием дворовый пес.

«Что это у нас Лыско-то — уж втору неделю, как вечер настанет, так и выть, ровно волк, принимается?» — мелькнуло в голове Анны. «Лыско, перестань!» — она замахнулась на собаку батогом<sup>44</sup>. Та, поджав хвост, пошла в конуру, но через минуту завyla опять.

«Господи, неужто перед бедой какой-то?»

Анна вошла в избу. Мужа дома не было, дети уже спали.

Долго же она у Евдонихи пробыла... А Федор, поди, опять пьет.

Анна подняла крышку сундука: муж, наверно, последние деньги взял. Ну так и есть — деньги исчезли... О господи, да ведь скоро подать платить!

Анна сунула наговоренный хлеб в подпечек. Отломилла от другой краяхи кусок и понесла его собаке.

— На, Лыско, пошто воешь-то — голодный, чё ли?

А Федор в это время действительно был у самогонщицы Агапихи. Гривенник он уже пропил и теперь требовал самогона в долг.

---

<sup>44</sup> Батог — палка, толстый прут.

— За деньги продам, а задарма — накося выкуси! Ежели всем вам, пьяницам, в долг давать, так скоро по миру пойдешь!

Федор не стерпел, что она назвала его пьяницей, расสวิрепел, стал придирааться к Агапихе, кричать и обзывать. Агапиха на своем веку не таких буянов видала. Она была не из робких.

— Ты чё на меня блажишь? Я тебе не Анна, я тебя нисколь не боюсь. Пошел ты к черту, изверг, пьяница, кровопивец! Бабу свою скоро в гроб загонишь, скотина! Вон даве приходила, жалилась, житья ей не даешь, паскудник поганый, одурел вовсе, издеватель! Связался с молодой, ну и черт с тобой, а над женой чё издеваться? Уходи отсюда, чтоб ноги твоей здесь не было! Будь ты моим мужем, я так проучила бы тебя! Я бы вправила твои трухлявые мозги в твою пустую башку.

Самогонщица стала выталкивать Федора за дверь, тот зацепился руками за дверной косяк. Тут появились муж Агапихи Олимпий и дочь Лизка. Олимпий — мужик проворный и жилистый, да еще Лизка ему помогла: прокатился-таки Федор по ступенькам крыльца...

По дороге домой он наливался злобой на Анну. «И ходит, и ходит, окаянная, по соседям, жалуется... Ну, погоди, проучу я тебя седни! Хредеет, а никак не подохнет. Померла, я бы на Федоске женился».

Подходя к дому, он изо всей силы пнул ногой калитку. Калитка от удара распахнулась, и Федор зашел в ограду. Анна знала уже, что он идет злой. Белее мела, вся дрожа, она встала у печи. Дети по-прежнему спали в горенке. Федор подошел к Анне и, не говоря ни слова, наотмашь ударил ее кулаком по лицу. Анна сразу почувствовала во рту соленый привкус крови. Не успела опомниться, как получила страшный удар по голове, и чтобы удержаться на ногах, успела ухватиться за столбик голбца.

— Федя... за что?! — еле прохрипела она. В глазах плыли огненные круги.





Осатаневший Федор снова занес сжатый кулак. Анна, не видя ничего кругом, рванулась к двери, выскочила на крыль-

цо. Федор как дикий зверь выскочил за ней, схватил с приступки тележный курок<sup>45</sup> и с размаху ударил жену. Удар пришелся опять по голове. Она упала у крыльца, поливая кровью землю, по которой ходила взад и вперед сотни раз в день ради того, чтобы жила семья, росли дети. В доме, который она строила своими руками, были всегда порядок и пища, и всегда накормлена, напоена и ухожена скотина. Ее руки, которые не знали усталости и покоя, работали день и ночь, создавая все благополучие этого дома, теперь бессильно лежали на земле. С каждым мгновением жизнь уходила из ее тела. Курок от телеги, которым она была убита, лежал рядом, и под него подползла струйка крови.

Но Федор сначала ничего не понял — раньше он ее еще и не так избивал. Бабы как кошки живучи, полежит на холодке, очухается, придет в избу. И он пошел в дом, прилег на кровать, но сон к нему не шел. Хмель начал проходить, и Федор стал тревожиться: жена в избу не приходила...

Забрезжил рассвет, стала падать роса, на востоке показалась золотистая полоска. Анна лежала все в том же положении. Федор, не смея поверить, что произошло, осторожно, как вор, подошел к жене, тронул за плечо — оно было чуть теплым. Как безумный, озираясь и кляня себя, с трясущимися руками и холодным потом на лбу тяжело опустился на порог своего дома. «Как оправдаться? Придет становой, начнут наводить следствие. Как я все это объясню, чтобы меня не завинили? Поверят ли?..»

И вот сейчас сидел Федюня на пороге своего дома, все перебирая и вороша в своем уме: «Ну где и как я схватил курок? Наверно, уж мне его сам нечистый подсунул. Ведь кулаком я бы ее не убил, не попадись курок под руку. Как я теперь выпутаюсь из этого?..»

---

<sup>45</sup> Курок — штырь, на котором держится и ходит передняя ось повозки.

Раньше всех проснулись куры. Они с деловитым спокойствием слетели с насеста и стали искать себе корм. Черный петух с красноватой шеей подошел к лежащей хозяйке и недоумевающе вытянул шею, нацеливаясь, куда бы клюнуть.

— Кыш, проклятый! — Федор замахнулся на петуха.

Во дворе жалобно выла собака. В пригоне замычала корова, заблеяли овцы, захрюкала свинья. И это вывело Федора из тупого оцепенения, он сорвался с места, как ошалелый побежал по деревне и заорал во все горло:

— Люди добрые, помогите! Караул! Убили Анну, уби-и-и-ли! Федоска это... Искать ее надо, суку, убивица она и воровка. Люди! Помогите, бога ради!

Народ уже был на ногах, так что вскоре у Федюни во дворе была вся улица.

Федор, брызгая слюной, кричал, бил себя в грудь кулаком, крестился и божился:

— Люди добрые, не виноват я ни в чем, ничего знать не знаю. Это паскуда работница убила ее, ограбила нас и сбежала!

В десятый раз повторял одно и то же: «Не виноват я!» — и заорал истошным голосом:

— Аннушка, родная моя, да как же получилось-то все? Не уберег я тебя! Да как же это всех-то нас она не убила?! Господи! Горе-то какое! Искать ее надо, убивицу и воровку! Люди!!! Помогите, бога ради!

На крыльце в одних рубашонках, бледные и вконец перепуганные, не смея шевелиться, стояли детишки Федора. Тут же был Игнат, с непокрытой головой, испуганными глазами, с лицом, серым как пепел. Старуху его, мать Федора, толстую, парализную на правый бок, чуть снова не хватил удар, но она все же приползла, ноги ее не держали. Она тяжело опустилась на колени возле снохи и завывала долго и протяжно, как голодная волчица:

— Аннушка, да чё же это ты наделала, как мы без тебя жить-то будем?!

Агапиха тоже подошла, повздыхала, поохала и потихоньку удалилась восвояси, она решила ни во что не вмешиваться.

— Чё вы остолбенели?! Давайте понесем ее в дом, обмывать надо. Что ли ей, даже мертвой, в доме места нет? — возмутилась Полуянова сноха, высокая, дородная баба.

— Надо немедля кого-то в Киргу послать, родню известить. За попом не надо, он к мертвой не поедет, надо кому-то в волость ехать за становым.

Покойницу понесли в дом. Старухи стали хлопотать возле нее.

Через час Анна была одета в подвенечное платье и лежала под образами со спокойным лицом, невозмутимая и далекая от всего земного. Ей уже было все равно: и гнусная, преступная ложь ее мужа, и навзрыд плачущие дети, которых она любила больше всего на свете и ради которых шла на любые муки.

Под вечер из Кирги приехали родственники Анны и увезли тело в Киргу — хоронить.

Скоро пострадку Федосью нашли в Харлово. Привезя в Прядеину, ее закрыли в кладовке, поставили караульного и стали ждать приезда станового пристава.

Староста собрал всю улицу на сход тут же, в ограде. Договорились, что все покажут одно: ничего не видели и ничего не слышали. Надо Федюню выгородить, прав он или нет. А то что получается: Анну схороним, Федюню посадят, а ребят куда? Старики ненадежны, самим скоро надо опекуна, а Никон еще придет ли, неизвестно. Кому нужны они — парнишко-то теперь уж вон какой сыч растет, голимый Федюня.

Из Белослудской приехало начальство вести допрос и следствие. Становой, урядник и два стражника стали вызывать в горницу по одному. Сначала вызвали старосту:

— Принимайте присягу, целуйте крест и Евангелие. Говорить только чистую правду. Следствием установлено, что в вашей деревне убита железным курком от телеги Кузнецова Анна Ивановна в своем дворе. Что вы как староста можете сказать по этому делу?

— Ваше благородие, когда я пришел, народу была полна ограда. Я ничего не видел, не знаю.

— Как жил с женой Кузнецов Федор Игнатович? Может, обижал или даже бил ее?

— Нет, такого не было, не слышал.

— Может, он пьяный был?

— Теперь страда — когда пить-то?

— Кто же тогда убил его жену?

— Не знаю, не ведаю.

— Говорят, он был в связи с работницей, правда ли это?

— Может, и правда, может, и нет. Откуда мне знать?

Следующей вызвали на допрос Агапиху. Она притворилась смиренной овечкой: ничего не слышала и не видела. Тогда становой спросил прямо:

— Вино вчера вечером ему продавала?

— Заходил он соседним делом вечером к нам, дак трезвый был. А у меня откуда вино-то возьмется, страда чичас, не до этого. Пойдите посмотрите, кумышки я варю не больше других. С самой Пасхи даже травянухи не варила.

Еще вызывали многих, все говорили одно и то же: ничего не видели и не слышали.

Тогда стали допрашивать самого Федора. Он так же, как и утром, стал разыгрывать из себя убитого горем мужа и отца малолетних детей, призывая в свидетели Бога, небо и всех святых, распустил слезы и сопли и вообще представился полным идиотом.

Тогда пристав задал ему прямой вопрос:

— Был ли в связи с работницей?

— Ваше благородие, эта баба такая наглая, что кого хошь соблазнит, ну и нечистый меня попутал. Она мне сказала: «Твоя баба все хворает, вот если бы она умерла, я бы за тебя взамуж вышла, уж как бы я тебя любила, шибко ты мне поглянулся». А я тогда и во внимание не взял, что она, мерзавка, задумала. Думал, шутит...

Последней вызвали Федоску, стражник ее привел.

После присяги спросили, кто она и откуда родом, была ли в преступной связи с хозяином.

— Была, ваше благородие, поневоле станешь с таким нахалом, притеснял он меня шибко.

— Собиралась за него замуж или он тебе предлагал чего?

— За такого ирода замуж?! Да вы что? При живой-то жене как это он мне предлагать замужество-то будет? Да и будь он до этого вдовый, ни в жисть бы не пошла за него, лучше камень на шею да в воду.

— Может, вы с хозяйкой ссорились?

— А известное дело, любая жена будет ругаться, когда узнает, что ее муж с работницей путается. Но она больная была, да и вообще смиренная.

— А почему ты не ушла от них сразу же, как он начал к тебе приставать?

— Все хотела уйти, да никто не нанимает, больно уж слава по деревне про меня пошла худая, — простодушно ответила Федоска. — Ну а вчера, как он пришел пьяный да начал Анну бить, вижу, дело-то совсем дрянь, собираться надо поскорее да уходить. Смотрю, она на улице побежала, он за ней. Вот тогда, видно, он курок-то и схватил. Да на крыльце и хлопыстнул ее по голове. Хорошо, что я в кладовке, не в избе была, а то бы и меня прихлопнул. Как в избу-то он прошел обратно, подхватила я свою котомку да убежала. Некогда было глядеть, жива ли хозяйка-то. Бегу огородом прямо по грядам да оглядываюсь, не гонится ли за мной убивец-то. Так до

полевских ворот не помню, как добежала, в поле уж пришла в себя. Хорошо, что ночи теперь теплые и короткие, поспала под стогом маленько да вот в Харлову пошла, не наймет ли кто.

— А за работу они тебе платили?

— Боже мой! Какая тут плата! Хоть бы ноги унести от такого хозяина поскорей.

— А когда пошла, ничего у них не взяла?

— Ничего, ваше благородие! Котомку-то мою ведь обыскали.

— Это неважно! Вот хозяин говорит, что ты их обокрала и убила хозяйку.

— Да как он смеет такое говорить на меня! Что я, душегубка какая, да мне даже кошку не убить!

Федоска поняла, в чем ее обвиняют, осознала всю тяжесть своего положения и горько заплакала.

После допроса всех свидетелей Федора Кузнецова и работницу Федосью этапировали в суд. Не прошло и недели, как Федор вернулся домой. Суд признал его невиновным; судили одну Федоску-пострадку, а Федора вызывали на суд лишь как свидетеля.

В деревне только и разговоров было, что об убийстве и суде, да еще о том, как Федору удалось-таки выкрутиться.

— Игнаха-то Кузнецов... ишь ты... прямо от тела убиенной — в волость лыжи навострил! Видно, немало денег повез, чтоб судейских подмазать-задарить...

Работницу Федосью суд осудил на каторжные работы, хотя она в убийстве Анны не призналась и краденного у нее ничего не нашли. А Федор стал сам себе хозяин. Помаленьку таскал что-то из дому и пропивал: то кусок холста снесет Агапихе, то из домашнего скарба чего-нибудь. Ребятишек отец-пропойца бросил на произвол судьбы, и они целый день бегали грязные и голодные.

Игнат Кузнецов уже не рад был, что истратил большие деньги, чтобы спасти сына от каторги. Никакие уговоры бросить пить на Федора не действовали.

«Женить бы его, да поскорее, — думал Кузнецов-старший, — да как: в другой-то раз жениться положено после смерти жены только через полгода».

Слово «убийство» Игнат боялся произнести даже мысленно...



## ПОЖАР

Стояла страшная сушь, урожай погибал. Полевые сработы затагнулись — пшеница была такая, что под серп не шла; кое-где по полям ползали на коленках и рвали ее руками. Замаячил скорый голод...

Все прядеинцы ушли в поле, и в избах не было почти никого, когда стряслась самая страшная деревенская беда — пожар. Оставшиеся без присмотра ребяташки Федора Кузнецова играли одни дома. Николка позвал Аленку в амбар:

— Гляди, Аленка, тут хомяк в ловушку попался!

И правда — в углу амбара бился и пронзительно пищал в ловушке здоровенный хомяк.

— Неси живей тяткины рукавицы да ящик из-под гвоздей — тот, у которого крышка задвигается! — командовал Николка.

Скоро хомяк был водворен в ящик.

— А сейчас казнить его станем, все равно как тетку Федосью сказнили бы, которая маму убила...

Ящик с хомяком принесли в баню. Из загнетки<sup>46</sup> набрали красных углей. Положили в каменку бересты, щепок и раздули угли. Береста загорелась жирным чадящим пламенем. Следом взялись огнем и щепки.

— Давай его сюда, мы его сейчас живьем поджарим!

Николка рукой в рукавице взял хомяка за хвост и стал держать над огнем. Шерсть вспыхнула, остро завоняло паленым... Хомяк, изогнувшись, вырвался и шмыгнул из дверей бани в пригон, словно горящий факел, оставляя за собой огненную дорожку.

Сухая подстилка в пригоне вспыхнула как порох, огонь с жадностью рванулся на стены и крышу, и буквально через мгновение запылали амбар, баня и дом.

---

<sup>46</sup> Загнетка — углубление на левой стороне русской печи, в которое сгребается раскаленный уголь.

Ребятишки, напуганные пожаром, побежали к бабке и деду, но уже и у них загорелся дом и все постройки. Пожар распространялся с быстротой молнии: на беду, день был ветреным.

Люди, которые работали недалеко от деревни, увидели дым и огонь: сомнений не было — горел дом Федюни. Пока запрягали лошадей, гнали в деревню, загорелись еще пять домов. Хватали что попало, старались хоть что-нибудь спасти из своего имущества.

Когда Игнат Кузнецов примчался с поля домой, все было кончено: крыша его избы уже провалилась. В огне погибла парализованная старуха-жена, сгорел на привязи у конуры Лыско.

С треском и шипением догорали последние головни страшного пожарища. Нестерпимый жар обуглил деревья в палисадниках. Как сухой обугленный пень, стоял тополь перед домом Игната.

С безумными глазами и трясущимися руками Игнат искал внучат. Ноги его не слушались, подгибались, и он, заикаясь, спрашивал каждого: «Не видели моих внучат?» Но в суматохе было не до них, и никто их не видел. Взор его стал неподвижен, лицо свинцово-серым, он заревел, как бешеный бык, хватаясь за сердце, и рухнул на землю около своего бывшего двора.

В этот день в Прядеиной сгорело дотла двенадцать домов. Огонь пожара, подгоняемый ветром, дошел до оврага и там наконец потух.

Дедко Евдоким с бабкой, слава богу, за оврагом жили. После пожара старики приютили в своей избушке мать прядеинского старосты Ивана Прядеина. Спасая домашнее имущество и маленьких внучат, она сильно обгорела. Дедко Евдоким со своей старухой лечили ее, как могли, — травами, мазями и наговорами, но больной становилось все хуже. На четвертый день мать старосты умерла в страшных мучениях.

Бабка Евдониha крестилась, приговаривая:

— За грехи нас Господь наказывает, безвинная душа мстит нам за то, что истинного убийца выгораживали... Покойник-то, он у ворот не стоит, а свое выводит!

Кумушки на лавочках судачили:

— И год-то нынче засушливый и неурожайный выдался, да еще — на тебе, пожар! Ведь двенадцать хозяйств погорело, двенадцать семей без крова осталось...

— И не говори, кума! Верная присказка: уж пришла беда, дак отворяй ворота!

— За грехи мы наказаны, за ложную присягу, крепко нам отомстила и живая Федоска, что не защитили, и мертвая Анна. Прогневили мы Бога, прогневили... молебен отслужить надобно! — качали головами седые старики.

Вскоре съездили в Киргу, привезли иконы, попа и стали служить молебен. На молебен собралась вся деревня — и стар и млад. Все усердно молились, чтобы Бог простил им все прегрешения. Помолились за здравие рабы божией Федосьи и за упокой рабы божией Анны. В душе многие считали виновником всех несчастий Федюню и потихоньку говорили: «Не будет нам счастья, пока убийец ходит на свободе. Место ему на каторге».

Но русский человек не злопамятный, он скоро забывает обиды и прощает всем и все. Простили и Федюне. За это время Федюня сильно поседел, постарел и притих...

После молебна всем миром принялись ставить погорельцам избышки и конюшни. Но первой из погорельцев стала сама строиться самогонщица Агапиха. Олимпий, который после смерти кузнеца Агапа уже много лет был ей законным мужем, в хозяйстве был, как говорится, так — пришей-пристебай; Агапиха правила всем сама, и получше иного мужика.

Лизавету, единственную свою дочь, она замуж не отдала, а взяла в дом зятя, работающего молчаливого парня

из бедной многодетной семьи. Так у нее стало два своих мужика-работника, да еще наняла работников со стороны. Новый дом Агапихи, построенный для нее мастерами из Ирбитской слободы, получился лучше прежнего, как и подобает денежному человеку.

В деревне говорили, что богатая Агапиха дома деньги никогда не держит, а всю наличность отдает под проценты богатому купцу из той же Ирбитской слободы.

А со стороны поглядеть — Агапиха в деревне имела только то, что имели и другие прядеинцы. И прежний дом у нее был такой же, как у всех, разве что задняя половина с отдельным ходом частенько служила кабаком, а если навевывалось волостное начальство, кабак становился горницей. Кроме домотканых настольников и половиков, в дому у нее ничего не было. Иногда к ней вдруг приходили или приезжали незнакомые люди, жили, работали, потом так же внезапно исчезали.

Что мать, что дочь были одинаково скрытными и недоверчивыми, о своих делах они говорить не любили. Обе прослыли умелицами варить крепчайший первач, который, только поднеси горящую спичку, вспыхивал голубым пламенем. Мастерски варили пиво и кумышку разных сортов. Если в деревне у кого была свадьба, крестины или еще какое торжество, все шли к Агапихе. За услуги она брала недешево, но самое вкусное пиво или брагу в деревне никто сварить не мог, как ни старался; она знала много разных трав и кореньев, которые добавляла в крепкие напитки. По праздникам или на помочах мужики допьяна напивались одним только пивом.

Постоянных работниц на своем подворье она держала только двоих, они жили у нее уже много лет: глухонемая баба неопределенных лет с мужским обличем да старуха Фекла, которая всегда ходила в черном и не любила много говорить. Да и вообще в дому никто не любил

попусту точить балясы. В глаза Агапиху называли Марина; некоторые вспоминали ее отчество Ивановна, а поза глаза называли по первому мужу.

Недород и пожар, обрушившиеся на деревню, ничуть не повредили винной торговле, она шла полным ходом. Самогон Агапиха стала продавать дороже, но от покупателей не было отбоя. Отходы от самогона шли на корм скоту; на подворье держали много свиней, и зимой в Ирбитскую ярмарку возили свиные туши целыми возами. Ранними утрами из пригона доносился визг на всю деревню, и народ смеялся: «У Агапихи-то свиньи с самого рассвету поют: знать-то, они у нее вечно пьяные! Ха-ха-ха!»

Деревня Прядеина быстро разрасталась, земля и покосы стали отдаляться. Василий с Гришкой распахали десятину целины у лесной избушки. Несмотря на засуху, хлеб на новине все же вырос.

Каждый год ездили они косить сено в том месте, где поставили избушку, когда спасали скот от сибирской язвы, жили вместе с Афанасием в лесу. Сейчас у них образовалась своя заимка.

Афанасий тоже распахал на заимке полоску, но он был уже в годах и от тяжелой работы теперь мучился грыжей. Зима выдалась очень голодной; с демидовских заводов в Зауралье по санному пути потянулись вереницы хлебников. Хлеб стал непомерно дорогим, но изголодавшиеся люди были готовы платить любую цену.

Елпановым, однако, удалось продать немало хлеба, получить большой барыш, и в будущем году они решили распахать на заимке земли вдвое больше прежнего.

Афанасий с Иванком от заимки отказались: решили, что дело это не стоит далекой езды, и Елпановы стали хозяйничать одни. Петр становился взрослым, он все больше и больше вникал в дело.

Сначала на паях с Коршуновым, а потом и один Василий Елпанов стал торговать скотом. Осенью по деревням он накупал рогатого скота и лошадей, и когда набиралось достаточное количество, гнал гурты коров и косяки коней в Тагил, Алапаиху или в Невьянск. Быть прасолом, как известно, дело хлопотное; торговать хлебом намного проще, и Василий с Петром по возможности стали подторговывать рожью, ячменем, а то и пшеницей.

Весной Елпановы наняли еще двоих работников (тоже, видимо, из беглых) и поселили их на заимке. В тот год на заимке посев был в три раза больше и дал обильный урожай. Молотить решили там же, пришлось строить завозню под хлеб и конюшню для молодняка. Постепенно Елпановы стали владельцами двух хозяйств — дома и на заимке.

## СОЛОМИЯ С КУЛИКОВСКИХ ХУТОРОВ

У Василия Елпанова вошел в жениховскую пору сын Петр. Он поднялся ввысь — стал выше отца на целую голову и раздался вширь. На загляденье статный парень выровнялся, косая сажень в плечах. Работа в кузнице и по хозяйству закалила его.

Лицом Петр больше походил на мать: густые темно-русые, почти черные волосы, такие же, как у матери, карие глаза с черными соболиными бровями. Его уважали за трудолюбие и ум. В парнях семнадцати-восемнадцати лет он никогда, как некоторые сверстники, не бегал по праздникам вдоль деревни с колом... Петр ни с кем не вздорил и не дрался, хотя имел недюжинную силу: во время игрищ на спор гнул гвозди и подковы, любил бороться на кругах, петь и плясать.

Но больше всего любил Елпанов-младший лошадей, бега и скачки и часто сам участвовал в них. Перед зажиточными мужиками Петр уважительно кланялся, сняв шапку.

В деревне говорили: «Хорош у Елпанова сын вырос, всем взял: и умен, и красив, и силой бог не обидел, и со старшими почтительный». В эту осень Петру подошло время призыва в солдаты, но как единственный сын у родителей на цареву службу он не попал и остался дома. С Петрова дня ему пошел двадцать первый год — самая пора жениться.

В Прядеиной многие отцы, у которых были на выдаче дочери, надеялись, что Василий Елпанов посватает за Петра их дочь. Многие невесты мечтали о таком замужестве — жених хоть куда! В Прядеиной гадали: на ком же женится Петр, в своей деревне найдет суженую или нет? А богатый жених Петр Елпанов и не думал жениться и все ходил на игрища. Так и продолжалось, пока в Троицу

не пригласил Петр на кадрили Агнишку, дочку старосты Ивана Прядеина.

Так и расцвела маковым цветом и потеряла покой Агнишка! Даром что из Каторжанской слободки, но семья зажиточная, люди работающие, и видом, и ростом хоть куда. Ну чем бы Петру не пара?

Но Петр не спешил. Агнишка старалась почаще попадаться ему на глаза, была с ним приветливой, даже нежной и ласковой. Всячески старалась выказать ему предпочтение, однако на Петра это пока не действовало...

Тогда Агнишка и пошла по натопанной многими невестами тропке: побежала к бабке Евдонихе и со слезами рассказала о своей несчастной любви.

— Вот что я тебе скажу, девонька, а ты внимательно послушай старуху-то! Ты за этим идолом лишка не бегай и виду не показывай, что любишь. Мужики, оне все одинаковы — обманщики. Долго ли до греха-то? А коли любит — не отстанет! Только держи себя гордо, ведь ты эвон какая, высокая да пригожая! Если любит — значит свататься будет, а не любит — так тому и быть. За любовь-то бороться с саблей не ходят... Да и взаимуж тебе еще рано, в девках посиди да ума поднакопи. Вот садись-ко к столу и смотри, а я карты раскину... Видишь, мила дочь: он имеет жестокое сердце, а любит пока что только деньги да славу. А сейчас пустим дым. Если он сегодня к тебе не придет, то, стало быть, и не любит он тебя!

С этими словами Евдониха разожгла на шестке лучины и, глядя на огонь, нараспев заговорила:

— Дым-атаман, иди по горам, по лесам, по долам, приведи раба Божьего Петра в дом рабы Божьей Агнии...

Потом старуха перешла на шепот, и Агнишка дальше ничего не могла разобрать.

Евдониха три раза поплевала в левую сторону и закончила наговор:



— Вот и все, девонька, иди теперь домой, сиди и жди. Если любит — придет, а не придет, значит не любит, и ты его забыть постарайся!

Агнишка побежала домой. Петр все не шел, но не так-то просто вытравить из сердца первую девичью любовь!

Случайно встретив Петра на деревенской улице, Агнишка взмолилась, забыв все наставления Евдонихи:

— Петя, милый! Давно тебя увидеть хотела, поговорить надо! Ведь сваты приезжали, тятя меня хочет замуж отдать... Что мне делать — не хочу замуж?!

Бедная девка надеялась, что Петр скажет: «Не ходи, Агнишка, ни за кого, я сам тебя посватаю». И может, поторопится со свадьбой...

Но Петр промолчал. Агнишка, вся похолодевшая, ушла, не попрощавшись, и уж больше не мучилась от любви к Елпанову.

Через год она вышла замуж за первого, кто посватал, вышла без радости, без любви и уехала в чужую деревню.

А Петр все ходил неженатый. Он теперь целиком занялся хозяйством и торговлей.

...По дороге из Прядеиной в Ирбитскую слободу, верстах в пяти от Устинова лога, как-то сразу, словно грибы после теплого летнего дождя, появились два дома. Дома были одинаковыми, как два брата-близнеца. Сначала их называли Куликовскими хуторами.

Через некоторое время появилось еще два дома поодаль — за полверсты от первых. Они стояли не у самого тракта, а ближе к опушке леса, у небольшой безымянной речонки.

Петру запомнился жаркий августовский день, когда они с Никитой Шукшиным возвращались домой из Ирбитской слободы. Выехали уже после полудня, но солнце еще жгло немилосердно.

Ездили они по торговым делам, а в обратную дорогу нагрузили соли и всяких хозяйственных товаров.

— В такую жару быстрее шагу не уедешь, — сказал Никита, вытирая пот с лица рукавом холщовой рубахи. — Нам бы еще подождать, пока спадет жара, да ехать ближе к вечеру. Ну да ничего, вот завернем сейчас на Куликовские хутора, передохнем в тени, воды напьемся. Вода там уж больно вкусная! Намеднись<sup>47</sup> я проезжал, так сам пил — оторваться не мог, и лошади досыта напились. Колодец там как нарочно за оградой, чтобы во двор не заходить, хозяев не беспокоить...

Мужики свернули с тракта и подъехали к колодцу. Петр еще издали увидал, что из ограды вышла женщина с ведрами. Ловким движением она поймала высоко болтавшуюся на веревке колодезную бадью и стала черпать воду.

Когда подъехали ближе, Елпанов разглядел ее.

Женщина была одета чисто и по-городскому: в белую вышитую кофточку с большим воротом, открывавшим стройную шею, и короткую сарпинковую<sup>48</sup>, в красную и синюю клеточку, юбку.

Две толстые косы были по-девичьи распущены и опускались ниже талии. Черные, как вороново крыло, волосы были расчесаны на прямой пробор, а на лбу и около маленьких ушей собирались в мелкие кудряшки. Круглое и свежее, покрытое золотистым загаром личико с ямочками на щеках и прямой маленький носик придавали женщине неповторимое очарование, а большие черные, с агатовым блеском глаза и тонкие брови делали ее похожей на цыганку.

— Здоровы будете... А не разрешит ли нам хозяйюшка напиться да лошадей попоить? — внезапно охрипшим голосом спросил неуверенно Елпанов, пораженный ее красотой.

---

<sup>47</sup> Намеднись — намедни, на днях, недавно.

<sup>48</sup> Сарпинка — легкая хлопчатобумажная ткань типа ситца, полосатая или клетчатая.

— Да пожалуйста, воды в колодце хватит, — озарилась та белозубой улыбкой и встала с полными ведрами, разглядывая проезжих. — Уж не купцы ли к нам на хутора припожаловали? А что везете, люди добрые?

— Эка, купцы! — за двоих ответил Никита. — Из Прядеиной мы... С Ирбитской слободы едем, всякие хозяйственные мелочи везем да соли вот купили...

Никита и Петр поочередно попили воды из ковша, протянутого им женщиной.

— Благодарствуем, хозяйюшка, — вода у вас отменная!

— Да на здоровье... А вода-то — такая же, как и у всех, — ответила красавица.

Движением головы она отвела за спину косу, при этом дрогнули и закачались золотые сережки с красными камушками на мочках маленьких ушей.

«А серьги-то у нее такие, что только барыне носить впору, — невольно отметил про себя Петр. — Видно, богатые тут живут люди...»

— Заезжайте к нам в другой раз... воды напиться! — красавица, улыбнувшись на прощанье, легкой походкой направилась в ограду.

Отъехав от хутора версты три, Никита свернул в лес.

— Ну что, покормим лошадей да и отдохнем малость, пока жара не спадет?

Петр ответил не сразу: в голове, как наваждение, так и вставала картина — улыбающееся лицо, черные волосы да сережки, качающиеся на маленьких ушах...

Никита распряг лошадей; мужики улеглись в тени под березами, пережидая жару.

— А ты не знаешь, кто эта краля, которая с нами у колодца разговаривала?

— М-м-м, — промычал в ответ успевший задремать Шукшин, — бог ее знает, хозяйская дочка, видно, для хозяйки вроде молода еще! Я как-то подъезжал поить лошадей, дак видел старуху в ограде, наверно, мать ее.

## ТАЙНА УСТИНОВА ЛОГА

**Н**икита вскоре задремал, прикрыв лицо картузом. **Н**А Петр погрузился в размышления: «В годах уже я. Жениться пора. Вот такую бы я взял и с небольшим приданым». Ну бывает же такое чудо: где-нибудь в самой глуши встретишь то, чего не встретишь ни в одном большом городе! Бывал он и в Екатеринбурге по торговым делам, и в Тагиле, но нигде не видел такой красоты.

С тех пор Петр потерял покой. Много раз перед самым рассветом видел ее во сне, такую красивую, какой увидел у колодца. Он старался подойти к ней, но она все удалялась, как видение или мираж, и улыбалась своими яркими полными губами, показывая прелестные зубки, или манила его куда-то. Петр просыпался, и образ черноглазой красавицы исчезал. Работа валилась из рук, он сам стал замечать, что стоит с недоуздом в руках и не знает, для чего его взял и куда собрался ехать. «Со всем одурел я от этой бабы! Ну на кой она мне нужна? Надо делом заниматься, а не этой чепухой!» Но через час мысли его сами возвращались к тому же, и он вновь и вновь думал о красавице у колодца на Куликовском хуторе. И Петр всячески стал искать причину, чтобы снова попасть на Куликовский хутор. Подходящий случай подвернулся вскоре: понадобилось ехать по делам в Ирбитскую слободу.

...До поворота к хуторам гнал Гнедка немилосердно. С замирающим сердцем подъехал к заветному колодцу. Возле него никого не было. Деревянная бадья, которой доставали воду из колодца, была привязана к творилу<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Творило — затвор (напр. в плотине), подъемная дверь (на чердак, в подполье, в погреб и т.п.).

Петр вылез из коробка<sup>50</sup>, подошел к воротам. На дворе залаяла собака, створка окна отворилась, и показалась старуха.

Петр подошел к окну:

— Здравствуйте, баушка, дозвоьте из вашего колодца лошадь попоить?

— Сколь надо, столь и пои, не моя вода-то — богова!

Старуха захлопнула оконную створку, но Петр опять постучал в переплет рамы.

— Ну, чё еще-то? Сказано тебе — пои лошадь-то, воды в колодце хватит!

— Да я, баушка, из дому ведро взять позабыл... не из бадьи же поить стану!

— Экой ты молодой да беспамятный! Ну что поделаешь, раз не взял... Заходи в ограду, подам ведро-то...

Петр напоил Гнедка, и возвращая ведро, сказал, пытаясь завязать разговор:

— Спасибо, баушка, а где у вас хозяйка-то?

— Известное дело, в поле — страда ведь теперь, али не знаешь?

— Да я частенько мимо проезжаю, видел молодую хозяйку, а тебя что-то здесь не примечал...

— Сноху мою ты видел, Соломию, — хмыкнула старуха, — а я здесь не живу, только прихожу днем, со внучкой водиться, дочкой младшего сына Леонтия, а живу со старшим сыном; у того дети уж большие, в поле ездят.

— Вы вроде недавно тут построились?

— Другой год уж живем!

— А откуда вы родом?

— Дальние мы, а тебе чё надо-то? Спрашиваешь, ровно становой пристав...

— Да к слову пришлось, баушка! Мы вот новгородских корней...

---

<sup>50</sup> Коробок — возок с плетеным кузовом.

— Ну а мы из-под Казани... — начала было старуха, но в это время из избы послышался детский плач.

— Вот егоза, проснулась уж! Внучка тут у меня маленькая, полгода еще...

— Бывайте здоровы, баушка!

Елпанов хлестнул Гнедка.

«Ну вот, все сразу и прояснилось, — раздумывал он по дороге, — она замужем, краля-то эта, Соломия, и ребенок есть... Ну тем лучше: с глаз долой — из сердца вон!» Но в глубине души был горький, как полынь, осадок. Как будто нашел дорогую вещь, которую искал всю жизнь, и тут же потерял.

В Ирбитской слободе Петру тоже не повезло — нужного ему человека дома не оказалось. «С дурна ума туда и сюда понапрасну лошадь гонял, — злился на себя Петр, — да еще и в страду!»

Гнедко от длинной дороги устал, Петр распряг его, напоил у небольшой речушки недалеко от дороги, а сам прилег под телегу и задремал.

Сколько проспал, он не знал, проснулся оттого, что кто-то возле него остановился.

— Да никак тут из знакомцев кто есть? — раздался вдруг голос.

Возле телеги присел на корточки Трофим, старик из Прядеиной.

— То-то я гляжу — вроде елпановский Гнедко ходит... Вот хорошо-то, вместе и домой поедем, а то я в Ирбитской слободе к куме зашел да и засиделся...

— Ты распрягай-ка лошадь, дядя Трофим, пусть она с Гнедком попасется, а мы с тобой сядем да перекусим, — предложил Петр. — У меня с собой хлеб, огурцы, лук... сала кусок найдется!

— Не откажусь поесть, я у кумы чаю набузгался, а от чаю-то — какая корысть.

Пока словоохотливый Трофим распрягал свою лошадь, Елпанов достал из телеги котомку и разложил снедь, бросив на траву холстину. Попутчики поели и запрягли лошадей. Когда подъезжали к Куликовским хуторам, Трофим спросил:

— На Кулики лошадей поить заезжать будем?

— Нет, ни за что! — с непонятной старику злостью отрубил Елпанов. — Оттуда до Устинова лога рукой подать, вот там и пей — хоть опейся!

— Господь с тобой, покуда до него доедем, темно станет... А место-то нехорошее...

— Чем это оно тебе нехорошо?! — так и взорвался Петр. Помолчав с минуту, он примирительно добавил:

— А отчего место это нехорошее? И почему Устиновым логом его кличут?

— Тьфу ты, черт, не к ночи будь сказано, — перекрестился Трофим. — Вот привязался ты, ровно репей к овечьему хвосту! Темень настала, хоть глаз коли, а нам бы мимо мосточка не заехать...

— Не робей, дядя, я Гнедка в поводу поведу, а ты езжай следом!

Когда проехали мост и дорога пошла из логу чуть в гору, Петр сказал:

— Ты сиди-ка на телеге, раз пужливый такой, а я живо лошадей — и свою, и твою — напою! Ведро-то есть у тебя?

— Как нет — есть... к задку телеги привязано, — приглушенным голосом ответил Трофим.

— Так отвяжи, я сразу с двумя ведрами схожу!

— Не по себе мне что-то, Петр, уж ты отвязывай сам...

Мысленно выругавшись, Елпанов на ощупь отвязал ведро и осторожно шагнул в темноту. Ветки ольшаника, на свету обычно мягкие, теперь жестко топорщились... Путь к воде Петр выбрал на слух, по едва слышному где-то внизу журчанию воды. Когда, набрав полные ведра, он принес их, лошади пить почему-то не стали — ни та ни другая.

— Выливай скорей воду, — испуганно пробормотал невидимый в кромешной тьме Трофим, — выливай, и поехали, бога ради! Погоди, дай я к тебе пересяду... жутко мне...

В кустах вдруг послышался то ли плач, то ли стон. Трофим дрожащим голосом стал вслух читать молитвы... Даже небоязливого Петра охватила неясная тревога, а когда опять послышался какой-то всхлип-стон, у него побежали по спине мурашки.

Когда они отъехали версты две от страшного места, Трофим сказал все еще дрожащим голосом:

— Ты слышал, Петр... в ольшанике-то?!

— Ну слышал, и что с того? Да это, дядя, птица какая-то там живет... Мы, когда в лесу скот от падежа сберегали, так, бывало, чего только за ночь не наслушаешься! Почисте еще, чем здесь...

— Ну нет, Петро, никакая это не птица! Птица, дак она ведь в каждом лесу есть, а тут плачет да стонет в одном только месте, только здесь.

— Да что это за место такое — Устинов лог?

— Вот слушай... Давно дело было... Жил у нас мужик один богатый; больно уж быстро он разбогател — откуда что и взялось! Вот как теперича Северьян Скоро-богатый, знаешь ведь такого, так и тот Устин в момент разбогател...

А загинул Устин в логу, который мы с тобой только что проехали. Нашли его с петлей на шее, страшного такого, без глаз — вороны глаза выклевали... Болтали, что не сам в петлю залез, а кто-то его прикончил да и повесил на ольхе уже мертвого!

Поп не дал хоронить его на кладбище — самоубивец, говорил, нельзя его по-христиански хоронить, святотатство, мол, это... Тут же, в кустах, неотпетого и в чем был, висельника и закопали. Но с тех пор, лет, поди, уж двадцать, никому он покою не дает, Устин-то!



А может, и блазнить<sup>51</sup> начало в этом логу... Сам по суди: тут черемухи видимо-невидимо, калины вдоль по речке — брать не перебрать, а попробуй наших баб заманить по ягоды в Устинов лог! Вот што значит христианская душа без погребения, все не может себе места найти, плачет и стонет, да как жалобно. Будь она не к ночи помянута. Поедем-ка, Петро, скорее, что-то озяб я. Дело к осени пошло — ишь, днем вон как жарило, а сейчас холодно становится. Недаром говорят, с Ильина дня будет конь наедаться и человек высыпаться...

— Да ты так и недорассказал про Устина-то: ограбили его али как? И почему ты думаешь, что убили его?

— Да почем я знаю, я в ту пору молодой еще был, моложе тебя! Раз самоубивец, дак его так и закопали, прямо с петлей на шее, говорят. Выкопали яму, шестом в нее столкнули — и вся недолга! А грабить его никто не грабил: лошадь-то с телегой сама домой пришла, и все, что в телеге было, сохранно оказалось. Кто знает, может, еще с каторги старые дружки отыскались, и такое бывает, кто-то, видно, зло большое на него имел... Ну слава богу, к дому уже подъехали! А ночи-то, смотри-ка, какие долгие стали — все еще не светает!

...После неурожайного пошли годы пообильнее. На елпановской заимке чуть не ежегодно хлеб вырастал по грудь, трава — по пояс, и Елпановы стали круто богатеть. Петр с годами все больше вникал в хозяйство, а уж в торговле лучше отца понимать стал.

На заимке построили просторный дом, баню, большую завозню<sup>52</sup> и конюшню. Весной наняли целую семью

---

<sup>51</sup> Блазнить, блазниться — соблазнять, искушать, смущать, совращать, наводить на грех; чудиться, мерещиться.

<sup>52</sup> Завозня — сарай для саней, телег, упряжи.

работников: мужа с женой и тремя взрослыми детьми — двумя сыновьями и дочерью.

Елпановы закупали зерно для торговли не только в Прядеиной, но и в других деревнях. Богатое село Юрмич, расположенное на хороших плодородных землях, для Елпановых стало сушим кладом: там у них были свои люди, надежные посредники в торговле. Василий Елпанов неспроста построил в Юрмиче большой сухой амбар — зерно в таком могло храниться долго, и когда настанет подходящий момент, можно будет идти с обозом в Тагил.

Все вроде хорошо у Василия Елпанова и в хозяйстве, и в торговых делах, а вот поди ж ты — не всегда спокойно ему спится...

А причина — вот она, окаянная: опять в Прядеину черт принес урядника. Опять на квартиру встал — видать, поглянулось прежнее-то елпановское угощение!

— Здравствуй, Василий Иванович! В прошлый приезд забыл спросить у тебя про работника твоего, Гришку-то. Из Вятской губернии он, мне в деревне сказывали, а нынче приехал — не видать его что-то... хе-хе-хе...

— Доброго здоровья, ваше благородие! Милости прошу... А работник-то у меня — когда где: то на заимке, то в кузне. Откуда он родом — мне все едино, лишь бы ладом робил! Лучше мы сейчас с вами... того — по стопочке!

— Что ж, по стопочке — это можно...

Урядник, довольно крякнув, угнезвился за столом, на который Василий сам (Пелагея управлялась со скотиной) собрал закуску. А под хорошую-то закуску по одной стопке кто ж пьет?

Урядник за столом едва не заснул. Василий чуть ли не волоком оттащил его на кровать, и вовремя: тот сразу захрапел. А Елпанову под его храп долго не спалось.

«Дело прошлое, а ну как, кроме урядника, еще кто-нибудь из волости припожалует? — думал Василий. — А у меня там, на заимке, трое беглых живут. От них самая боль-

шая польза, только кормить да одевать. Ефиму — вот тому платить надо, поскольку он вольный... Но ничего, если кто и пожелает посмотреть заимку, повезу того на телеге. Дорога туда — с нырка в нырок<sup>53</sup>, а тем временем свой человек, верхом да прямой дорогой, давно уже там будет да предупредит кого надо», — решил Елпанов.

Зимой, когда закончилась основная крестьянская работа, Елпановы повезли в Тагил продавать рожь и пшеницу с заимки. Кроме того, выгребли и хлеб, закупленный загодя в Юрмиче, и снарядили обоз из восьми возов. В дорогу отправились Василий и Петр Елпановы да трое их работников; одного работника оставили на хозяйстве.

Уральская зима, как известно, редко радуется хорошей погодой. Бывало, идешь в обозе, а лес будто окаменел от мороза, и мерзнет на лету птица, поднимается снежная буря, и ты не видишь ничего в двух шагах, и кажется, что весь мир отгородился от тебя плотной завесой. В такие метели легко сбиться с дороги — все тонет в дикой пляске и реве ветра, не слышно собственного голоса, снег залепляет лицо, а дорогу переметает поземка, и не остается даже признака, что тут когда-то был санный путь. В глубоких сугробах лошади выбиваются из сил. И как бы ты сам ни устал, шагая целый день на морозе и жгучем ветре за подводой, все равно будешь разгребать снег и помогать лошадям, толкая сани. Во время остановок в деревнях, когда отдыхают лошади, хозяин всю ночь ходит, кормит и поит их, чтобы с третьими петухами опять начать трудный изнурительный путь. Но хоть и рискованна судьба зимнего торгового каравана — да барыш хорош.

Из Тагила привезли топоры, косы, серпы, лемеха к сохам, листовое железо, гвозди и подковы. Дома посчитали — большой барыш получился. В следующий раз с ними поехал Никита Шукшин с тремя возами хлеба.

---

<sup>53</sup> С нырка в нырок — с ухаба на ухаб.

Не успели вернуться в Прядеину — опять как снег на голову нагрязнул в деревню урядник и напрямик на елпановское подворье.

— Слышал я: ты, Василий Иванович, снова в Тагил ездил... Ну как торговал, что привез? Может, опять новых работников?

— Нет, ваше благородие, никаких я работников из Тагила не привозил! Вот топоры да гвозди — привез, — ответил Елпанов-старший.

И едва язык себе не прикусил: пришлось-таки сызнова угощать урядника, да мало того — еще и подарить лучший топор, да гвоздей сколько нагреб, не считая, «их благородию»...

«А, чтоб тебя язвило, пьяная ты прорва! — думал Елпанов-старший. — Раньше хоть к Агапихе из-за самогона привязывался, а теперь на меня насел... Ну да и мы не из пужливых!»

## ОРЛОВСКИЙ РЫСАК БУЯН

**П**етр Елпанов стал первым советчиком и правой Прукой отца и дома, и на заимке, а торговые дела и вовсе перешли в его руки. Скоро ярмарка в Ирбитской слободе, и Петр старался поспеть туда пораньше, занять место в торговом ряду получше, а кое-кому и взятку дать: без этого и торговля — не торговля...

На Ирбитскую ярмарку наедут со всего Урала. С демидовских заводов — это само собой, а глядишь, и купцы из самой Сибири, из Тобольска и других городов тамошней губернии пожалуют. Вот тут-то и надо суметь с барышом сбыть свой товар да другой закупить — такой, чтобы и потом в накладе не остаться!

И Петр Елпанов это умел. Но на этот раз его покупка была особенной: на Ирбитской ярмарке он сторговал у татарина-лошадника породистого жеребенка. Хозяин клялся своим богом Аллахом, что жеребенок — чистокровный орловский рысак, даже домой Петра водил — показать мать жеребенка, рослую кобылу с длинными стройными ногами. Петр давно был хорошим лошадиником и толк в лошадях знал. В деревне многие завидовали его покупке. Жеребенка Петр назвал Буяном и стал воспитывать и тренировать его сам.

В жнитво пришлось еще нанять сезонных рабочих — урожай выдался на диво всем. Чтобы нагулял хороший вес скот, его пасли под осень на клеверниках и отавах<sup>54</sup>, хорошенько его откармливая, а потом гнали гурты в Тагил, Надеждинск, Богословск или в Екатеринбург.

Иногда коров, овец или свиней и домашнюю птицу забивали, а на продажу везли туши мороженого мяса.

---

<sup>54</sup> Отава — трава, отросшая на сенокосах или пастбищах после скашивания или стравливания.

Однажды Елпановы привезли с ярмарки листовое оконное стекло и маховую пилу. Многие переселенцы, которые родились и жили еще при господах, раньше стекло уже видели — господские дома со стеклом вместо животного пузыря в окнах назывались светлицами или светелками.

И пилы жители таежного Зауралья видывали: двуручные, лучковые, ножовки — словом, всякие. Но что за штука маховая пила и как ею пользоваться, в деревне Прядеиной пока никто не знал. Посмотреть собирались толпами, будто на рождественские или масленичные гулянья. Елпановы на глазах всей деревни показали, какова маховая пила в работе (и когда они успели-то такой премудрости научиться!). Мужики, которые побогаче, чуть ли не Христом богом упрашивали Елпанова:

— Уж ты, Василий Иванович, будь отцом родным — как поедешь еще раз в завод, так привези ты мне пилу-то эту маховую: ежели к ней приспособиться, так любой тес ею пилить — как семечки щелкать!

Для маховой пилки ставили козлы; один пильщик стоял наверху, другой — внизу, и бревно пилили вдоль по всей длине. Даже в отдаленных деревнях скоро появились мастерские — пильщики маховой пилой.

Особо мастеровитых знали далеко вокруг, имена-прозвища их были у всех на слуху, и привечали их так же, как до этого — лучших пахарей, косарей или особо умелых молотильщиков.

Осенью, когда подобрались со страдой, Елпановы поехали на Покров в киргинскую церковь, а заодно — в гости к сватам.

Настасья соскучилась по матери, и после обеда она долго шепталась с ней в горенке, рассказывала, как тяжело болела ее свекровь все эти годы, но последний год к ней привязалась еще водянка, а перед смертью она слегла совсем и умирала очень тяжело и долго:

— Вот уже полгода, как ее похоронили, а все не могу в себя прийти, — жаловалась Настасья.

— Полноте, чё это ты? Кажись, никогда не была пужливой. Полечиться надо тебе. Приезжай уж к нам в гости, к бабке Евдонихе ходим, все пройдет.

— В эту зиму умер Кирило-косой, — продолжила делиться новостями Пелагея, — шел пьяный от зятя после Рождества и упал на дороге. Когда привезли домой, был еще жив, но отморозил руки и ноги. Позвали дедка Евдокима, но лечить было уже бесполезно, руки и ноги почернели, вздулись пузырями, как гусиные лапки перед огнем. Пузыри стали лопаться, а раны мокнуть. Потом пошел по одной руке антонов огонь, больному сделалось хуже, он стал бредить, срывать повязки, бегать по избушке, потом затих и умер.

У Настасьи давно уже было двое детей; старшему, Максиму, пошел шестой год, и парнишка вихрем носился по горнице. Второму сыну, Якову, пошел второй год.

Была нанята нянька, девка лет тринадцати, она же помогала Настасье и по дому. Коршунов после смерти жены сильно сдал — одряхлел, поседел и некоторое время даже был ко всему безучастен.

Пришлось брать на себя все дела Коршунову-младшему. Теперь Платон постоянно был в разъездах. Когда приезжал, был задумчивым или злым: дела шли все хуже и хуже. Елпановы как бы невольно стали его конкурентами. Дом в Ирбитской слободе пришлось продать; деньги разошлись неведомо куда.

...Елпановский жеребенок Буян вырос в красивого коня-рысака. Вороной масти, со звездочкой во лбу, с длинными тонкими ногами, Буян был словно вылит из темной бронзы искусным мастером-литейщиком.

Петр мог мигом сгонять на нем на заимку и обратно. Хозяин постоянно тренировал Буяна, приучил рысака ходить и

в упряжке, и под седлом. Порой, въехав в лес, Петр, вскочив в кошеве на ноги, что есть мочи заполошно кричал: «Грабят!» — и Буян мгновенным рывком срывался с места. Чего греха таить, иногда летом после бешеной езды по лесным ухабам Петр терял колесо от повозки или возвращался без седельницы в упряжи, а один раз даже лишился узды...

— Нашто гоняешь-то так, куда летишь?! — ругался отец.

Петр, без памяти любивший быструю езду, в тон Елпанову-старшему отбривал:

— А зачем тогда и рысака держать, если ездить шагом?!

Вскоре такая тренировка рысака не только пришлась кстати, но, может, и от смерти Елпанова спасла...

Постоянно бывавший в разъездах, как-то в марте Петр возвращался из Юрмича. Выехал — уже темно было. Путь предстоял неблизкий, да еще после пороши было ветрено, дорогу во многих местах перемело.

За задком саней бежала собака. Петр не любил ездить с собаками и не брал их из дому, но в этот раз Лыско догнал его далеко за деревней и увязался за ним.

— Ну, раз у тебя ноги хорошие, а ум худой, беги теперь в такую даль за санями-то! — усмехнувшись, сказал собаке Елпанов и не стал больше прогонять ее домой. Лыско понимающе вильнул хвостом и побежал за санями.

Перед выездом Петр выпил стакан первача, плотно пообедал, и теперь, тепло укрывшись, начинал подремывать.

И вот он видит сон, что уже дома. Но почему дом полон народу? Все веселятся, поют и пляшут, везде горят свечи, даже на подоконниках. Петр входит в горницу в тулупе, но босиком, и над ним все смеются и указывают на его ноги, ему стыдно, он садится на пол и прячет ноги под тулуп, а все стоят вокруг него, хохочут и указывают на него пальцами. В толпе он видит мать, она тоже смеется. Петр спрашивает: «Мама, что за праздник в нашем доме?» А она отвечает: «Это твоя свадьба, сынок». Петр



хочет подняться с пола, но ноги его не слушаются, и он опять садится в кругу всей толпы. Тогда из толпы выбегает Агнишка и подает ему руку: «Я твоя невеста!», но тут вдруг ниоткуда появляется цыганка в ярком пестром наряде, в мгновение ока выхватывает из-за пояса кинжал и бросается на Агнишку, сверкая золотыми серьгами и драгоценными бусами. Но это уже не цыганка, а Соломия. Она со смехом вонзает кинжал Агнишке в грудь и говорит: «Он только меня одну любит!»

Вдруг где-то отчаянно завизжала собака, страшный толчок в сторону...

Елпанов мгновенно проснулся:

— Лыско?! Что с тобой?!

Собака скулила и жалась в кошеве к ногам Петра. Буян стоял на дороге и, прижав уши, встревоженно храпел. Впереди, саженьх в десяти, на дороге стоял волк...

Елпанов вскочил в кошеве на ноги и с криком «Грабят!» рванул вожжи, погнал Буяна прямо на волка. Но тут случилось то, чего Петр меньше всего ожидал: из-за стога сена, стоявшего у дороги, наперерез мелькнул десяток темных теней с горящими глазами.

Мартовский наст хорошо держит волка на бегу, но лошадь нипочем не удержит — больно хрупок он для кованых лошадиных копыт. «На обочину нельзя — провалится Буянко, — билось в мозгу Петра. — Ну, выручай, родимый!»

Раздувая ноздри и храпя, рысак рванулся вперед. Два три волка шарахнулись на обочину. Вырвавшись из рычащего кольца, Буян понесся как вихрь. Теперь уже было не так страшно, но волки гнались за ними и даже в одном сугробе пошли на обгон. Тогда Петр бросил позади кошевы рукавицу. На мгновение это отвлекло волков, они кинулись к рукавице и разорвали ее в клочья. И опять гнались по пятам. Петр бросил вторую рукавицу. Он выбросил из кошевы все сено, но на сено волки даже не обратили

внимания. Вот бы теперь огня — сразу бы отстали! Пришлось выбросить и шапку. И тулуп уж с себя снял, но, к счастью, дорога пошла лесом, без заносов и переметов, волки стали отставать и наконец отстали.

Только перед самой деревней Буянко перешел на шаг, тяжело поводя боками, от которых валил пар: верст двадцать пришлось ему отмахать в этот вечер.

Когда Петр въезжал в Прядеину, в окнах изб были видны отсветы горящих лучин. Люди вечеряли.

...Прошло уже много времени с того дня, когда он впервые встретил у колодца красивую хуторянку Соломию. По своей натуре Петр был из тех людей, которые никогда не переступят недозволенного. Он никогда бы в жизни не вступил с нею в преступную связь, даже если бы с ее стороны был к этому повод. Он ее любил! И может, будет любить всю жизнь, этого ему никто не в силах запретить.

После того жаркого летнего дня Соломию он встретил уже поздней осенью. По первому осеннему морозу, когда снегу еще не было, а землю крепко подмораживало, Петр опять ехал мимо Куликовского хутора и подвернул к знакомому колодцу. Из ворот выглянула та же красавица, разрумяненная первым осенним северным ветерком. Теперь одета она была в цветную узорчатую бухарскую шаль и черную бархатную душегрейку, на ногах были бумажки фабричной работы. Так одевались только в Ирбитской слободе богатые купчихи.

Петр поздоровался, попросил разрешения напоить лошадь.

— Кто вы? Откуда и куда путь держите? Зайдите, погрейтесь.

Петр зашел в избу. Там было чисто прибрано, тепло и уютно, на полу домотканые половики, на столе фабричная скатерть, в углу божница с иконами. Все как у всех — не богаче и не беднее.



Соломия разделась, сняла шаль и душегрейку, осталась в простеньком платье. Волосы у нее в этот раз были заплетены в одну косу, стянуты на затылке в большой узел и приколоты шпильками. С этой прической она выглядела

старше, солиднее. Только теперь на ней еще были дорогие янтарные бусы и золотое массивное кольцо, видимо, обручальное. При виде кольца у Петра что-то подкатило к горлу, но он не подал виду, грелся и разговаривал с хозяйкой. Мужа ее дома не было. Маленькая дочка, удивительно похожая на мать, делала первые неумелые шаги.

Петр, как бы не зная, спросил у женщины, как ее звать.

— Соломия, — назвалась она.

— А по батюшке как?

— А по батюшке необязательно — у меня отчество трудное: Пантелеевна.

— И совсем не трудное, а простое, русское.

— А где муж работает? — вежливо спросил Петр.

— У купца в Ирбитской слободе, — на секунду замешкавшись, ответила Соломия.

— У какого же он купца, смею спросить, работает?

— Ой, да не помню я! Да и не интересуюсь я работой мужа! — отшутилась красавица.

— Вы, наверно, сами купец, если всех купцов в слободе знаете? — с любопытством спросила хозяйка.

— Нет, я простой крестьянин, мужик... Спасибо, хозяйка, отогрелся, ехать надо.

— А вы заезжайте к нам обязательно, как в обратную дорогу поедете. Лошадь отдохнет, и сами погреемся, — закрывая за гостем дверь, искренне произнесла Соломия.

С тех пор Петр не раз заезжал на Кулики погреться и повидаться с красавицей-хозяйкой, и один, и с отцом. Хозяйка неизменно была дома одна. Встречала их очень приветливо, выспрашивала, что возили продавать, какие на базаре цены. Видать, она была рада приезжему человеку, скучно дома одной. Всегда приглашала заезжать в другой раз. Приветливо улыбалась и была очень привлекательной в разговоре.

Когда отъезжали от двора, Василий говаривал: «Такая красивая женщина, а вот живет на хуторе в глуши».

«Ну да, хутор-то их на бойком месте, она новостей знает больше, чем в деревне, — говорил Петр. — А вот мужа ее я ни разу не видел. Видно, он вечно занят делом. Если он робит у купца в слободе, то, наверно, только по воскресеньям дома-то и бывает. Да нам-то какая забота о них? Кто едет, тот и правит».

В это время в масштабах государства происходили большие события. После смерти императора Петра Первого власть стала часто переходить из рук в руки. Сколько сменилось императоров и императриц — каждый старался убрать с дороги ненавистных наследников, претендентов на престол, взять власть в свои руки.

Но здесь, в тихой зауральской деревушке, где не было ни одного грамотного человека, а волость находилась в сорока верстах, церковь — в тридцати, о событиях в государстве никто ничего не знал. В волость ездили по крайней необходимости, а в церковь в лучшем случае в Покров да в Пасху. Если все было тихо, пристав приезжал только раз в год — собирать подать. Старосту выбирали на год из своих же односельчан. Если кто хорошо исполнял службу, могли оставить на второй год.

За двадцать два года жизни в зауральской деревне Прядеиной уроженца Новгородской губернии Василия Елпанова выбирали старостой четыре раза. Староста в волость ни на кого не доносил, ни в чьи дела не вмешивался.

В деревне про Елпановых говорили по-разному. Одни хвалили за трезвый ум, трудолюбие, умение наживать деньги, за знание разных ремесел — мол, никакое дело из рук не выпадет. Другие завидовали: да просто везет этим Елпановым, всегда и во всем везет. А деньги — всяк знает: деньги-то, они к деньгам и льнут.

«Петруха-то Елпанов, видать, в купечество метит... От большого ума, знать-то, все еще неженатый ходит», — качали головами старики.

Двадцать седьмой год пошел Петру Васильевичу. Сверстники его уже давно все пережили, по двое, по трое ребятишек у каждого, а он будто ждет чего-то. Конечно, на игрища он уже не ходил, разве что в Троицу боролся на кругу или на своем Буяне участвовал в бегах.

В Прядеиной многие стали держать рысаков, а по праздникам на бега начали приезжать и из других деревень, и даже из богатых сел — Знаменского и Юрмича.

Этой зимой с Петром произошел такой случай. Раз в морозный день, под вечер уже, поехал он домой из Ирбитской слободы.

— Петр Васильич, куда же ты собрался в такую даль на ночь глядя? — спросила старуха, хозяйка квартиры, на которой Петр, бывало, останавливался, а накануне заночевал.

— Да что ты, баушка, солнце высоко, что это я полдня буду сиднем сидеть... Лошадь у меня добрая и клади, почитай, никакой нет. Гляди, солнышко-то — в рукавицах<sup>55</sup>, завтра мороз будет. Нет, сегодня поеду!

Сразу со двора озябший Буян взял машистой рысью. Стало сильно настывать. Багровый диск солнца уже краешком коснулся кромки дальнего леса, мороз, как всегда на закате, прижал крепче. Елпанов зябко повел плечами — даже в собачьей дохе мороз-трескун давал о себе знать.

Впереди показался поворот на Куликовские хутора. «Можно бы заехать погреться, да дело к ночи идет, — размышлял Елпанов. — Али заглянуть все же на минутку? — он вдруг вспомнил красавицу Соломию. — Заехать али нет? В Ирбитскую слободу не скоро сейчас поеду, значит, долго не придется увидеться».

---

<sup>55</sup> Солнце в рукавицах — (*сиб.*) об отражении солнечных лучей на горизонтальной линии в парах, что образует два радужных пятна (явление, предшествующее стуже).

Рука вроде бы сама потянула за вожжу, поворачивая рысака с тракта к хуторам...

Соломия была дома, встретила Петра очень приветливо и ничуть не удивилась, увидев его, словно они встречались часто и в последний раз — где-то на прошлой неделе:

— А, Петр Васильевич пожаловал! Снимайте шубу, грейтесь, а я лошади вашей сена подброшу!

И мигом вышла на улицу.

Петр уже стал отогреваться, когда Соломия, запыхавшись, вбежала в избу, румяная с морозу, с блестящими черными глазами.

— Ох, морозище на дворе! К утру, наверное, как небо вывездит, еще сильней станет... Я лошадь распрягла — что ей на морозе стоять запряженной-то, и попоной накрыла. А вроде конь-то у вас новый...

Петр приосанился:

— Чистых кровей рысак... орловский... Ну спасибо, Соломия, только зря ты коня накрывала — мне ехать уж пора...

Но та уже хлопотала у загнетки. Вмиг на столе, шипя и потрескивая, появилась сковорода яичницы, соленые огурцы и капуста. Тотчас же Соломия достала из шкафа полштофа самогона и два стакана.

— Это вот уж лишнее, — возразил было Елпанов.

— Ничего не лишнее — в такой мороз одна косушка не повредит! Все ж веселей до дому ехать!

— А благоверный-то твой где?

— В Ирбитской слободе, он с ночевой уехал...

Соломия стала усаживать Петра за стол.

Петр понимал, что ему нужно немедленно ехать — на дворе уже стало темно, зимний день недолог. Но неведомая всемогущая сила удерживала его за столом, и он продолжал сидеть, зачарованный красивой хозяйкой. А она, стрельнув красивыми, с поволокой, агатовыми глазами,

уже наливала самогон с какой-то колдовской усмешкой на ярких губах.

— Нешто нынче праздник? — неуверенно спросил Елпанов.

Он чувствовал себя не в своей тарелке, не знал, как себя держать, что сказать. Хозяйку он называл то просто по имени, то принимался навеличивать по имени-отчеству...

— А у меня так: когда гость, тогда и праздник! Ваше здоровьице, Петр Васильевич!

И она первая пригубила из своего стакана. Петр одним духом опрокинул стакан первача, захрустел огурцом, а потом зачерпнул со сковороды ложку яичницы. Через минуту сладкая истома разлилась по всему телу.

— Ох! И крепок же у тебя, Соломия, первач, прямо злодей какой-то!

— Первач обыкновенный. Не лучше, но и не хуже, чем у других... Как и вода в нашем колодце — помните, наверно, Петр Васильевич?

Соломия отставила свой стакан и принялась выпрашивать Елпанова о делах, о поездках на заводы, о том, много ли дает прибыли торговля. Петр уклончиво отвечал, что торговля — дело очень хлопотное, а выгоды почти что никакой...

— Ну, Петр Васильевич, выпейте второй разок, не то на одну ногу хромать станете! — шуточно предложила хозяйка. — А расчет такой будет, Петр Васильевич... Как поедете в Екатеринбург, так привезите мне полушалок кашемировый, с крупными цветами!

— Что тебе супруг-то такой полушалок не купит, он ведь у денежных купцов робит...

— Скуповат он у меня, да и не смыслит ничего в нарядах...

Что и говорить, большая мастерица угощать Соломия! Не успел Елпанов выпить второй стакан, как перед ним уж и третий стоял.



— Да ты что, Соломиюшка, спoitь меня хочешь?

Петр вроде бы в шутку спросил, но от третьего стакана отказался наотрез.

«Этак еще заночуешь здесь, а как ночевать в дому без хозяина-то?» — пронеслось в захмелевшей голове.

Елпанов встал из-за стола.

— Благодарствую, хозяйюшка!

Он надел собачью шубу, шапку, взял рукавицы и пошел запрягать лошадь. Соломия стояла у распахнутых ворот.

— А полушалок я тебе непременно привезу!

Петр тронул Буяна, и кошева выехала со двора. Соломия закрыла ворота.

## ЗАСАДА У МОСТА

Отдохнувший Буян сначала побежал рысью, но Петр перевел рысака на шаг: дорога становилась хуже, а ущербная луна еле-еле светила. «И что же я так засиделся на Куликовском хуторе, — корил себя Петр, — в глухую ночь придется ехать. Нападут еще волки, такая ночь как раз им ход. Верст пять уже проехал, скоро должен быть Устинов лог».

Откосы лога крутые, по самому дну летом вьется маленькая ключевая речка, не замерзающая и в лютые зимы. Берега речки густо поросли ивняком, который вплотную подступал к неказистому деревянному мосточку, перекинувшемуся на другой берег. Каждый раз, подъезжая к логу, Петр невольно вспоминал рассказ деда Трофима.

Младший Елпанов — не робкого десятка, но какая-то смутная тревога всегда охватывала его в этом месте. Вот и крутой спуск. Петр натянул вожжи, и Буян осторожно стал спускаться на мосток, приседая на задние ноги так, что почти на крупе понес передок кошевы. Когда конь передними ногами осторожно ступил на мосток, вдруг из-за кустов выскочили два мужика с топорами и с двух сторон схватили коня за поводья.

— Грабят, Буянко, грабят! — не своим голосом закричал Елпанов, вскочив в кошеве.

Рысак взвился на дыбы и рванул поводья. Один из нападавших не смог удержать повод и отлетел в сторону, другого рысак подмял под себя и птицей взлетел на крутой противоположный берег.

Но за кустами ждала засада — Петру повезло проскочить мимо грабителей. Со свистом нахлестывая лошадей, те погнались следом.

Кони у напавших были добрые, и они гнались за Петром верст пять или больше. Петр, стоя в кошеве, не-

щадно погонял Буянка. К счастью, дорога была узкая, а стороной по глубокому снегу разбойники не решились обгонять Петра. «Господи, помоги мне! — молил Петр. — Буянушко, вынеси, не подведи!»

Грабители мало-помалу стали отставать и наконец отстали совсем. Туман скрыл их из виду.

Не веря в свое спасение, он еще долго погонял рысака. По-прежнему стоя в кошеве, въехал в деревню.

Была глухая ночь, и хорошо — будь это при свете, еще месяц шли бы в Прядеиной пересуды-догадки, мол, откуда это Петруха Елпанов в ночь-полночь пригнал на взмыленном коне?

У своего подворья Петр вышел из кошевы, сам отворил ворота и, въехав во двор, стал распрягать Буяна. Запавшие бока рысака ходили ходуном.

«Упаси бог, уж не загнал ли я его? Сейчас-сейчас, Буянушко, вот остынешь немного — напою я тебя».

Петр разговаривал с конем, как с человеком: кто, как не Буян, уже два раза спасал его от гибели, сначала от волков, а сейчас — от грабителей? Часа два он водил по двору рысака, накрытого попоной, потом вынес из дому теплой воды, напоил его, поставил в конюшню и засыпал в кормушку овса. Когда конь захрустел овсом, Петр благодарно погладил его по шелковистой морде. Пуще глаза он будет теперь беречь такого коня!

А назавтра в кузнице Петр сделал себе кистень: высверлил изнутри гирьку-двухфунтовку, залил свинцом и прикрепил к деревянной ручке прочным сыромятным ремешком. Теперь пусть кто сунется поперек елпановской дороги!

Петр мучился в догадках: неужели нападение грабителей в Устиновом логу связано с его скрытной поездкой на Куликовские хутора? Где был в ту ночь муж Соломии? С чего это она в буднее время вдруг разугощалась, словно в праздник?

И чем дальше думал Петр, тем ясней для него становилось: и ласковый прием, и щедрое угощение на Куликовских хуторах, и старания Соломии оттянуть его отъезд — все это неспроста.

Да, факт был налицо: грабителей навела она. Надо быть осторожным, от них можно всего ждать. А от этой ведьмы Соломии тем более. Ну, слава богу, пока все обошлось благополучно, но могло быть совсем скверно, и звали бы тогда уж не Устинов, а Петров лог. Эти негодяи в живых бы не оставили ни за какой откуп.

— Ты чё, Петро, ночесь шибко гнал на Буянке? — спросил отец, увидев Петра, возвращавшегося из кузницы. — Ты гляди, так ведь и загнать коня недолго, а другого такого где возьмешь-купишь?

— Ты, тятя, не спал, что ли, когда я приехал?

— Да уж какой нам с матерью сон, когда тебя дома нет... В одиночку все ездить, а народишко здесь всякий... Опасно одному-то!

— А с чего ты взял, что гнал я шибко?

— Как не знать, — усмехнулся Елпанов-старший, — как не знать, когда ты больше часу по двору Буяна-то водил да из избы теплое пойло ему приносил? Сразу видно — не шагом ехал. Не запалил ли Буянка-то? Надо будет еще стародубка<sup>56</sup> напарить, попоить его.

Отец стал допытываться, что случилось, и Петр рассказал о ночном нападении в Устиновом логоу, о том, как он угнал от грабителей. Только скрыл он от отца, что заезжал на Куликовские хутора...

— Ради Христа, Петро, никуда не ездь больше один! Они сейчас за тобой следить примутся, грабители-то... Эти ироды просто так не отступятся... Они, наверно, где-то недалеко живут. Какие тут деревнешки поблизости —

---

<sup>56</sup> Стародубка — лекарственное растение адонис весенний, горичвет сибирский.

только Харлова, так она в стороне. А Кулики, четыре дома всего, — как раз по дороге! Не с Куликов ли эти «добры молодцы»?! В другой раз уж вместе с тобой поеду...

— Да сиди ты дома, тятя, не много уж от тебя теперь толку-то, — добродушно усмехнулся Петр. А сам, незаметно для отца, погладил карман с кистенем.

...Не одну сотню верст наездил хлебными обозами по дорогам Зауралья переселенец Василий Елпанов. Уж шестой десяток пошел Василию Ивановичу. Всякое лихо повидал — и работу дни и ночи при распашке целины да обустройстве на новой земле, и недород, и засуху... Вроде и отдохнуть бы пора малость, но что-то снова и снова гнало его в дальнюю дорогу, сотни верст ехать, а часто и шагать за подводой.

Вот сват Илларион Коршунов — тот уж давно осел дома. Совершил паломничество по святым местам, и с тех пор — как подменили бывшего прасола и купца Коршунова. Он стал жертвовать большие деньги на церкви, истратил уйму на нищих и убогих.

Когда сын Платон намекал на никчемные траты, Коршунов или ругался, или, вздыхая, говорил ему:

— Деньги, деньги... А что деньги? Их бог дал, вот богово-то я и возратить хочу! Пожил я для вас, постарался для семьи, порадел, а теперь и о душе порадеть надо, стар уж я... А торговать — это грех, обман! Не обманешь — денег не наживешь, а в убытке будешь... Много за жизнь я нагрешил, а остальное время для души хочу пожить...

— Тятя, коли ты сам не хочешь больше торговлей заниматься, так отдай мне деньги — я сам торговать стану. А без денег какая же торговля?

— Дай срок, придет время, и я отдам тебе и деньги все, и права. Полным хозяином станешь, а пока я еще живой! Память вот подводить стала, но живой я еще, понял ли ты меня? — отвечал старик и продолжал делать все по-своему.

В доме стало полно нищих, странников, каких-то монашек. Платон с отцом часто вздорили из-за денег. В деревне про них говорили разное, и некоторые отзывались о них нехорошо. Особенно язвила молва в адрес старшего Коршунова.

— Коршуновы-то начали беднеть, как Миронья умерла. Она, говорят, огненного змея выпарила, вот все и притворялась больной. А змея-то на деньги завитила. Вот деньги-то он им и таскал. Вон как распыхались. А известное дело, если тот человек умрет, который его выпарил, змей таскать деньги больше не будет.

— Вестимо, с нечистой силой была связана, вон как она мучилась перед смертью-то, целую неделю умереть не могла. Шибко страшно умирала.

— Много Илларион кровушки-то выпил у хрестьян... В третьем годе купил у меня телушку-летошницу, почитай — задарма взял: мне позарез надо было подать просроченную платить, а он уж тут как тут. Известное дело, и фамиль-то у него не зря такая — коршун, он и есть коршун! А теперь, говорят, спохватился — все поклоны Богу отбивает...

Когда человек богат, он имеет силу. Но стоит ему промахнуться где-то и обеднеть, на него обрушивается в десять раз больше всяких насмешек, сплетен и неприятностей.

## КОНЕЦ ИЛЛАРИОНА КОРШУНОВА

**В** этот год Илларион Коршунов совсем сдал. За ним стали замечать неладное не только домочадцы и соседи, но и совсем посторонние люди. Да и как не заметишь, если старик учудил такое. Около Ильина дня он потихоньку ушел из дому, ушел босой, в одном исподнем белье. В таком виде он ходил по деревням, выдавал себя за прорицателя. Говорил он иногда довольно связно, мол, скоро наступит конец света и все должны покаяться во грехах; иногда же молол всякий вздор.

Даже те, кто хорошо его знал раньше, теперь ни за что не могли признать в этом сумасшедшем с бородой, в которой застряла солома и всякий лесной мусор, Иллариона Коршунова.

В сорока верстах от Кирги в одной из деревень был смертельно напуган молодой мужик. Возвращаясь ночью домой, проезжал на телеге мимо старого придорожного кладбища. Вдруг из-за кустов появилось привидение и направилось к нему. Мужик чуть не умер от страха, в испуге хлестая свою полуживую клячу. Привидение еще долго гналось за ним, хватаясь за задок телеги. Приехав чуть живой домой, он занемог и тяжело заболел. Призвали лекаря, но толку не вышло, мужик через неделю умер.

Привидение стало на кладбище показываться и днем. Это был не кто иной, как Илларион Коршунов.

Старика Коршунова изловили и привезли домой. Скоро приступ безумия вроде бы прошел, но он по-прежнему и слышать не хотел о том, чтобы отдать сыну деньги. Говорил, что спрятал их в надежном месте, а где — позабыл напрочь. Платон его уговаривал по-всякому: и просил, и Христом богом молил. Даже пригрозил однажды, что свезет отца в сумасшедший дом, да никакого толку не добился. Видно, старик и впрямь забыл, где его деньги.



После Покрова на первый тонкий снег ударили морозы. У Иллариона опять начался приступ безумия. Теперь он был уже привязан в малухе на холстину. Настасья боялась туда заходить. Платон сам ухаживал за



больным отцом. Старик Коршунов почти не спал, к ночи ему всегда было хуже. Он боялся темноты, ему мерещились черти, которых он будто бы ясно видел. Сидел на соломе в изорванной одежде, страшный и худой. Днем иногда у него были проблески сознания. Улучив такой момент, Платон начинал снова спрашивать о деньгах. При одном слове «деньги» на Иллариона опять напал приступ болезни. Он начинал дико вращать глазами, взор его становился бессмысленным. Кричал: «Грешен я, грешен, нет мне прощения!»

Так прошло месяца два, его лечили как могли, но улучшения не наступало, а на выздоровление не было никакой надежды. Как-то в одну студеную ночь Платон пошел посмотреть в пригоне скотину и заметил, что ставень в окне малухи открыт. Платон кинулся к окну. Рама была выломана, отца в малухе и на дворе не было. Вернувшись к окну, Платон вгляделся и в лунном свете увидел на снегу следы босых ног... Они вели к заплоту, а от него — в поле.

Перепуганный Платон разбудил жену и соседей. Отвязали собаку и пустили ее по следу.

Иллариона Коршунова нашли верстах в двух от деревни, в покрытых куржаком<sup>57</sup> кустах ивняка. Старик сидел на снегу, замерзший насмерть. Труп представлял ужасное зрелище: оскаленный рот застыл, как будто покойный дико хохотал перед смертью, да так и умер; глаза вылезли из орбит и остекленели. Левая рука с растопыренными пальцами завязла в сугробе, видимо, он хотел опереться о землю и встать. Правой рукой ухватился за ветки, она так и застыла. Тело, скрюченное и обледеневшее, с трудом положили в сани и накрыли рогожей. Привезя домой, в избу тело заносить не стали: узнав о страшной смерти

---

<sup>57</sup> Куржак — изморозь, иней на деревьях.

свекра, Настасья упала в обморок, и теперь возле нее хлопотала шептунья-знахарка.

Оттаяли замерзшее тело, обмыли и обрядили покойника в малухе.

Вскоре Настасье немного полегчало, но она не успокоилась и тогда, когда свекра уже похоронили. В ней еще живо было воспоминание, как тяжело умирала свекровь, а нынче еще ужаснее умер свекор. Настасья теперь была уверена, что над коршуновским родом висит какое-то проклятие, которое должно распространиться на Платона и их детей.

Припоминались разговоры старух, что у Коршуновых богатство от нечистого. Но в чем именно заключалась причина, она не знала. Прожив в коршуновской семье десять лет, она не заметила ничего особенного.

Мысль о покойнике не покидала Настасью ни днем ни ночью. Однажды Настасья сеяла муку в кухне и вдруг явно услышала в горнице шаги умершего свекра. За много лет она научилась различать эти тяжелые шаги, когда он еще был здоров и ходил по горнице, заложив одну руку в карман, а другую за полу кафтана, о чем-то думая, опустив голову, и половицы скрипели под его коваными сапогами. Так и теперь она ясно услышала эти шаги, по спине пошел могильный холод. Сито выскользнуло из рук, на лбу выступил холодный пот. Она оцепенела, боясь оглянуться, а по стене что-то шуршало, как будто кто-то шарил руками. Тяжелые шаги уже раздавались около печи, вот-вот зайдет в кухню. Во рту стало сухо, язык не повиновался, чтобы прошептать молитвы. Вдруг скрипнула калитка и во двор зашла крестная Платона, Евлампя, а вскоре пришел и сам Платон. В горнице все осмотрели, но кроме кошки никого не было...

После того как справили сороковины, Настасья с ребятами стала проситься у Платона в Прядеину — хоть недельку погостить, повидать отца и брата.

После поминок денег у Платона почти не осталось, но подумав немного, муж согласился: он нанялся отвезти на двух лошадях мясо в Тагил и заодно увидеть старых знакомых Коршунова, чтобы попросить в долг денег.

Когда собирались в дорогу, Платон сказал Настасье:

— Помнишь, мать, как мы договаривались, что ты попросишь займы у отца? Так попроси, не стесняйся своих-то... Мне бы хоть рублей сто для начала, в пай вступить, а если хорошо пойдет торговля, я бы эти деньги скоро выручил да и вернул долг.

В родительском доме Настасью встретили радушно, но денег займы не дали. Отец, чуть не плача, сказал, как бы оправдываясь:

— Настасьюшка, ты ведь нам родная дочь, всё мы видим, всё с матерью понимаем, жалеем вас. А чем мы можем помочь? У нас ведь ни копейки своих денег нет. Петр все забрал себе. Даже не знаем, когда и как это случилось. Теперь тут все его, нашего ничего нет...

Пелагея заплакала:

— Сейчас мы в его воле, хочет — держит нас из милости, а хочет — выгонит. Тогда нам только с сумой по миру идти.

Переломив гордость, Настасья все же попросила денег у Петра. Тот очень удивился и денег ей не дал, ссылаясь на недород в этом году.

— Эх вы! Упустили такой капитал! Разве можно доверять что-то старикам, разве что ограду подметать да навоз убирать, дак и то неладно сделают. И ты тоже хороша! Если уж твой муж такой ротозей и недотепа, надо было тебе самой вникать в дело, следить за стариком, узнать, куда он деньги спрятал. Порадеть бы надо для дома-то. А то дожились, что с одной коровой остались да двумя худыми клячами. Вам теперь не то что сотни, а и тысячи не хватит, чтобы поднять вконец разваленное хозяйство.

Настасья была уж не рада, что заговорила с Петром о деньгах. С того дня гостить ей в родительском доме больше не хотелось. Ей стало казаться, будто за столом Петр злобно посматривает на ее детей, что они много едят. Шалят, играют, шумят, и от них беспорядок. И когда Петр был дома, не только дети, но и взрослые как-то невольно притихали. Точно он был тут всему властелин и все ему беспрекословно подчинялись.

Как-то во время ужина Настасья сказала просто так, не обращаясь ни к кому:

— Надо нам домой ехать, загостились мы у вас, надоели своим криком да шумом. Платон что-то долго за нами не едет. Отвезли бы вы нас домой!

— Ну что вы, неужто надоели? — помолчав, сказал Петр. — Приедет же все равно за вами Платон, а то подумает еще, что гостей не надо стало. Да и некогда мне вас отвозить. Два дня терять надо, дорогу вон как перемело, на заимку кое-как едзу.

Через несколько дней Платон приехал за семьей. Привез гостинцы, пусть дешевые, но всем. Как обрадовались дети и сама Настасья! С радостным сердцем поехала она домой. Теперь уже она поняла, что ее дом в Кирге. Дом мужа, пусть бедный, старый и мрачный, но его нужно любить, обживать, забыть все страхи и дурное прошлое. Пусть они не богаты, не в богатстве дело. Будут заниматься хозяйством, растить детей и довольствоваться тем, что есть. Вот бы еще стариков взять к себе, а то Петро шибко тятю притесняет. Боже мой, как брат изменился за последние годы — и не узнать. Большие деньги, видно, не всем на пользу. Правду говорят, что если хочешь узнать характер человека, дай ему деньги и власть.

Платон тоже не унывал: «Я так и знал, что так будет. Бог с ними, пусть живут как знают, и мы как-нибудь проживем. На готовое надеяться нечего, отец мой тоже все из ничего начинал».

После отъезда Настасьи в елпановском доме опять настала тишина и порядок. Только у родителей на сердце было тяжело, ведь ничем не смогли помочь дочери в трудное время. Платона они уважали за трезвый ум, справедливость и честность и не сомневались, что он отдаст долг. И теперь они были очень недовольны Петром.

Однажды Пелагея заболела и стала упрекать сына:

— На коленках придется ползать да все самой делать, видно, уж умру, не дождавшись замены. Тридцать лет, а все не женишься.

— Женюсь, мама, не беспокойся!

Прошло не так много времени, как Петр заявил отцу о помолвке:

— Тятя, я в нынешний зимний мясоед буду жениться.

— Кто же невеста? — удивился отец.

— Из Ирбитской слободы, дочь купца Овсянникова, звать Елена, по батюшке Александровна, двадцати семи лет, вдова, была замужем за акцизным, он ей оставил кой-какое состояние.

— Ты что это выдумал? — опешил Василий. — Не остарел еще, да за тебя любая девка пойдет. Тебе в Петров день еще только тридцать будет. Зачем тебе вдова, да поди, еще с кучей робят? Вот что! Ты не дури, парень!

— Детей нет. Отец, она богата, а это все для меня. Ведь Настя не пошла же за батрака Алешку, хоть и любила его, а вышла за богатого Коршунова. Хотя теперь это уже не имеет значения. Коршунов стал из-за своей глупости беднее Алешки.

Для Василия этот разговор с Петром был как удар обухом по голове. Оказывается, живя в одной семье, под одной крышей, он до сего времени не знал своих детей. Воспитывая в них трудолюбие и страсть к наживе, попутно воспитал еще и жадность. И он больше не сказал ни слова против.

— Жить тебе, ты и думай, уж не семнадцать лет, все с ума уж должен делать. Если женишься на человеке, с че-

ловеком будешь жить, а деньги наживешь; если женишься на деньгах, с деньгами будешь жить. Но деньги — дело ненадежное. Уйдут — один будешь жить. Будешь каяться, да поздно будет.

— Что ты, тятя? Недоволен чем? Она ведь не старуха, — искренне удивился Петр. — Любую девку тут возьми, какое приданое получишь? Одна голь перекатная. Возьми такую, да и торгуйся с ее отцом о какой-нибудь паршивой телке. Да потом век еще будут говорить — вот какое приданое дали. А Елена — вдова, будь она девкой, я тоже бы к Овсянникову не стал свататься, поскольку он не богаче меня будет, только одно звание, что купец третьей гильдии! Да и семья-то у него вон какая — четыре взрослых дочери да сын. Всем разделить надо. Что бы он мне мог дать в приданое за своей дочерью, шиш! А Елена, она ни от кого не зависит: что от мужа осталось — всему полная хозяйка. Все имущество будет принадлежать мне.

— К ней, что ли, думаешь ехать жить-то? — уже миролюбиво спросил отец.

— Свою деревню на Ирбитскую слободу никогда не променяю. У меня тут займка дает хороший доход. Вот еще бы арестантов побольше сбегало.

— Ну, на арестантов ты шибко не надейся. Пронюхают в волости!

— Ну и что, пусть нюхают! Приедет урядник — взятку дать можно.

— А если он не возьмет взятку-то?

— Всегда брал, а тут не возьмет? Да с руками оторвет, уж этих подлецов я насквозь вижу: что становой, что урядник — так и глядят, где бы схватить... Нет! Отец, я женюсь на этой вдове. У меня будут родственные связи среди купечества, это раз. Мне надо как можно больше денег, наличного капитала, чтобы увеличить оборот в торговле, это два. А там, глядишь, и сам вылезу в купечество. Я уж давно смекнул: на одной земле денег много не наживешь.

## БОГАТАЯ НЕВЕСТА

Отец Елены, Александр Нилыч Овсянников, был грамотный и даже образованный по тому времени. Служил управляющим в имении графа в Тульской губернии. Овсянников со своими обязанностями справлялся, и старый граф был им доволен. Но граф умер, и имение перешло к его непутевому сыну — офицеру в отставке. Сын не долго командовал имением — залез в долги, и имение ушло с молотка. Новый хозяин поставил своего управляющего, а старого освободил от должности.

Буквально на следующий год вышел царский указ о заселении свободных земель Урала и Сибири. Овсянников, воспользовавшись этим, переселился с женой на Урал. Вместе с ними приехали его отец и неженатый брат.

Решили попытать счастья, поработав вольными старателями недалеко от Екатеринбурга. Им повезло — сразу попали на богатую золотоносную жилу. Дело быстро пошло в гору. Построили дом, вскоре родилась Елена, но когда дочери пошел седьмой год, жена тяжело заболела и тихо угасла, как свеча. Пришлось Овсянникову жениться второй раз. Жену он взял из семьи местных переселенцев, на десять лет моложе себя. У девицы был тяжелый характер, она сразу невзлюбила падчерицу и держала ее в строгости. Один за другим пошли дети: четыре дочери и один сын. С годами вторая жена совсем подчинила Александра Ниловича; своенравная и властная, она распорядилась и командовала всем хозяйством и держала своего мужа под каблуком.

Когда Елене исполнилось девятнадцать лет, посватался к ним богатый бездетный вдовец — Евсей Макарович Шапошников. Он был старше ее на целых сорок пять лет. Елена никак не могла поверить, что это всерьез. «Ведь он намного старше моего отца, — думала Елена, — что ему

взбрело в голову меня сватать? Неужели батюшка отдаст меня за него? Нет, ни за что не пойду за старика, лысого да противного, лучше вечно жить в девках». В торговые дела отца она никогда не вникала и не знала, что вся торговля у отца зависит от этого человека.

Отец с мачехой долго о чем-то спорили в своей комнате, ее туда не пускали, но она все же поняла, что речь идет о ней и о сватовстве Шапошникова. Наконец отец со слезами на глазах дрогнувшим голосом сказал Елене: «Дочка, мы тебя просватали за Шапошникова, скоро свадьба». Елена горько заплакала, а отец стоял виновато рядом с растерянным видом.

Свадьба была скромной и незаметной. Для венчания был выбран будний день после обедни, когда из церкви ушел весь народ. О помолвке и о свадьбе никому не говорили и не объявляли, знал об этом только очень узкий круг знакомых и родные невесты. Все расходы на свадьбу и на наряды невесте Шапошников взял на себя.

После венчания сразу поехали в дом Шапошникова, который красовался на высоком берегу Ирбитки. Дом был деревянный, двухэтажный, но не большой, на первом этаже располагалась контора, там занимались делами акцизного его помощник и писарь. На втором этаже были жилые комнаты: кухня и столовая, передняя, гостиная и спальня.

После смерти супруги Шапошников целый год жил один. Прислуживала ему деревенская баба лет сорока, звали ее Арина. Она прибирала в комнатах и готовила хозяину обед, муж ее, Степан, был конюхом и дворником и делал все работы по хозяйству. Прислуга жила во дворе в деревянном флигеле.

Евсей Макарович находился часто в разъездах по делам службы, но Елена привыкла к этому. Когда был он дома — хорошо, уезжал — еще лучше, она никогда ни о чем не думала и не скучала. У нее был спокойный, урав-



новешенный характер. Каждое дело она выполняла с большой охотой и старанием. Работы по хозяйству было много, и это спасало ее от скуки и от всяких дурных мыслей. Муж, видя трудолюбие своей молодой жены, всячески поощрял ее, всегда привозил ей красивые вещи, но одевалась она хорошо только тогда, когда они шли к кому-нибудь в гости или принимали гостей у себя.

Часто, когда мужа не было дома, к Елене приходила мачеха с детьми. Мачеха стала укорять падчерицу, мол, она должна быть ей всю жизнь благодарна за то, что она ее, Еленку, воспитала и нашла ей богатого мужа.

Вскоре мачеха стала вымогать у Елены все, что попадалось на глаза. Елена старалась объяснить мачехе, что она прожила в этом доме немного времени, что эти вещи не ее и она не может распоряжаться ими, но на мачеху никакие доводы не действовали.

— Дура ты, Еленка, ты ж сейчас всему хозяйка и наследница, ведь ты ему кто — законная жена! — злобно прищуриив глаза, твердила мачеха. — Ведь ты с ним в церкви венчана, что ты его боишься, старого козла.

Елена шикала на мачеху, показывая на дверь, что может зайти прислуга.

— А ты тут кто? — не унималась мачеха и орала еще громче: — Я спрашиваю! Испужалась какой-то бабы-прислуги. Да я на твоём месте ее давно бы выгнала да новую взяла, какую мне надо. Тьфу ты, размазня! Вот мне бы это все! Уж я бы все по-своему перевернула, и старик плясал бы под мою дудку. А ты квашня, не баба!

Елена прожила со стариком долгие восемь лет. Последние три года жизни Шапошников все больше находился дома, стал недомогать, страдал одышкой. Все реже и реже ходили они в гости и меньше принимали сами. Нижний этаж двухэтажного дома сдавали внаем, чтобы зря не топить. За ненадобностью продали лошадей. Вместо прислуги Арины наняли безродную старуху, просто

помогать по дому. В теплые солнечные дни все трое копались в огороде, и можно было подумать, что работают двое стариков и с ними внучка.

Поработав немного на солнце, Шапошников со старческим кряхтением садился отдыхать в тени, приговаривая:

— Сядь со мной, Еленушка, посиди, милая. Добрая у тебя душа, прямо ангельская, и за что меня бог наградил: такая хорошая у меня жена, умница да работающая. Вот бы как-нибудь справиться, еще пожить охота. Да нет, видно, хорошего понемногу, чую, к концу идут мои дни...

Завещание было написано, когда он еще был в силе. Елена знала, что дни ее мужа сочтены и она станет всему полной наследницей.

Петр Васильевич Елпанов часто обращался по торговым делам в контору Шапошникова, но Елена не замечала его раньше. За пять лет, что ее муж занимал должность акцизного, в его конторе перебивалось много народу, но она никогда не вникала в его дела. Она или шила что-нибудь, или вязала, или вышивала на пяльцах.

В первый раз она заметила Петра, когда ее муж служил акцизным уже последний год. Петр заехал к ним во внеурочное время, извинился, что побеспокоил хозяев, и хотел уехать. Но Евсей Макарович пригласил его в комнаты.

Елена запомнила этот день навсегда. Когда встретились их взгляды, сердце ее отчаянно забилося, дорогая чашка вдруг выскользнула из рук. Пунцовая от смущения и своей неловкости, Елена не знала, куда девать глаза. Но общительный Евсей Макарович так сумел загладить и отвести разговор, что все скоро забылось. Приезжий молодой человек напился чаю, поблагодарил хозяйку, и Шапошников спустился с ним в контору. Елена перемыла посуду, убрала со стола. Но мысль о приезде почему-то не шла из головы, и она стала глядеть в окно своей светелки, откуда можно было увидеть весь двор. За оградой

был привязан великолепный иноходец, запряженный в нарядную кошевку. Ждать Елене пришлось недолго: молодой человек вышел из конторы. Видимо, почувствовав на себе чей-то взгляд, он взглянул на окна. Елена смутилась больше прежнего, но приезжий слегка поклонился, скрылся за воротами, отвязал своего коня и уехал. Хорошо, что муж задержался в конторе и не видел, как его молодая жена прикладывала свои раскрасневшиеся щеки к холодным запотевшим стеклам.

Она ничего не спрашивала у мужа об этом человеке, чтобы не навлечь подозрений, но в то же время страстно желала узнать о нем. Евсей Макарович сам рассказал ей о Елпанове, подведя черту: «Петр торговцем родился, у него талант к этому. Он наших здешних купчишек скоро за опояску заткнет».

Петр Елпанов заезжал к ним несколько раз, когда муж еще был на службе, и заезжал даже тогда, когда он был уже в отставке и болел. Сидели за чаем, Евсей Макарович по такому случаю доставал для гостя бутылку вина. Петр, в свою очередь, каждый раз привозил из деревни свои гостинцы, мед. Мед был душистый, ароматный и очень нравился хозяевам...

По истечении года после смерти акцизного Шапошникова Петр Елпанов стал часто навещать вдову Елену Александровну и даже заслал сватов.

Елена была согласна выйти замуж за Елпанова, но хотела, чтобы он переехал жить в ее дом. Ей не хотелось ехать в такую даль и глушь. Из его рассказов она поняла, что у них большое хозяйство, а работников держат мало, значит, приходится все делать самим. Вечно в грязи и в работе, не видеть ни праздников, ни воскресений, угождать свекру и свекрови... Она уже привыкла быть полной хозяйкой в своем доме. У нее было много хороших вещей и дорогих украшений. А если выйти замуж за Елпанова и уехать в деревню, не нужны будут ни наряды,

ни украшения. Там даже в праздник к обедне не сходишь, ведь церковь-то за тридцать пять верст. Прощай тогда привольная жизнь в Ирбитской слободе...

В ярмарочное время или на Масленой слобожане любили и умели повеселиться. Можно было, не выходя из дома, из окна наблюдать зимой кулачные бои, когда шли стенка на стенку русские и татары, или катание на тройках с гармошками и песнями подвыпивших купчиков. А Святки? А Новый год? Какого веселья только нет: тут и ряженые, и цыгане, и водят ученого медведя. Нет, не хочется Елене Александровне ехать из слободы и из своего дома. Сейчас она богата, ей можно подождать другого жениха, из слободы, какого-нибудь купца или чиновника, за это время к ней уже приходили сваты.

Но время шло своим чередом, и она поняла всем своим существом, что ей не забыть, не выкинуть из головы любовь к Петру. А у Петра характер оказался как камень, он не шел на уступки. И вскоре Елена согласилась жить в деревне.

Перед самой свадьбой ей приснился сон: будто она босая, с непокрытой головой и в одной рубашке ходит по слободе и просит милостыню, а над ней все хохочут. Некоторые подают медные деньги и тут же закрывают окно. Елена плачет и пытается припомнить, куда же девалось все ее богатство и дом, почему она стала нищей и ходит по миру. Она мерзнет, но ее никто не пускает погреться. Елена ищет свой дом на берегу Ирбитки, а дома уже нет, и место не то. Через реку утлые переходы из двух тонких жердей, а на другой стороне стоит Петр и смеется. Она просит, чтобы он подал ей руку, но он не подает, а наоборот, отходит все дальше. Ирбитка делается широкой, а на противоположном берегу цыгане поют, танцуют, бьют в бубен. И Петр теряется в толпе цыган. Тут выходит ей навстречу старая цыганка и говорит: «Не ищи его здесь, он любит только меня».

Настенные часы в гостиной пробили пять. Но Елена не могла больше заснуть. Ей припомнился один случай, в самом начале ее замужества, когда она прожила с Шапошниковым только год. В ярмарку на улице к ней привязалась старая цыганка, та самая, которую она сейчас видела во сне, и стала гадать: «Нет у тебя счастья, красавица, кто тебя любит, того ты не любишь, а кого ты полюбишь, тот тебя любить не будет. А век у тебя долгий. Позолоти ручку, всю правду тебе расскажу». Но Елене стало стыдно, в слободе ее знали многие. Скажут: «Жена акцизного Шапошникова гадает у цыганки о своем счастье на улице». И Елена гадать не стала. А теперь ей почему-то все вспомнилось в точности. И сон какой-то необыкновенный. К чему бы это?

Но вскоре приехал Петр, и все сомнения рассеялись. Со свадьбой решили поспешить, потому что зимний мясоед подходил к концу. Венчаться решили в Ирбитской слободе. Свадьба была скромной и незаметной. Крестным поставили Никиту Шукшина, а крестной — Федору, кума Афанасия старуху. Шаферов привезли из Юрмича. В подружки к Елене поставили дочь купца Ухова, старую деву с изъязном. Второй подружкой выпросилась Мария — Еленина сестра. За крестного был дядя из Екатеринбурга, а крестной стала знакомая купчиха.

## ЖЕНИТЬБА ПЕТРА ЕЛПАНОВА

**М**альчишки гроздьями висят на деревьях — вот-вот должна проехать свадьба. «Едут! Едут!» Тут уж и взрослые прядеинцы выбегают из изб на дорогу — глядеть на свадебный поезд. А потом всем скопом торопятся в елпановский дом, где все готово к свадебной гульбе.

Свадьба — приметное событие для всей деревни, разговоров о ней хватает на целый год.

Когда Петр с Еленой во главе свадебного поезда въехали в Прядеину, весь народ высыпал на улицу. Шум, гам, крики, смех!

— Кума! Ты видела невесту-то? Я дак хорошо разглядела — старая да страшная, словом, тот же наём, только дальше везен! И обличьем на православную не похожа — чисто басурманка...

— Елпановым ведь только деньги надо! Хоть татарин с бородой, да лишь бы денежки с собой!

— Шибко богата, наверно, иначе нашто бы ее Петруха Елпанов замуж взял?

— Вестимо, не из простых, — переговаривались в толпе. — Гляньте, одежда на ней какая добрая. А приданого-то — сколь возов! И без этого Елпановы в бедняках не ходили, а теперь уж их и рукой не достать: всю нашу деревню продадут и купят. Елпановы да Обухов теперь у нас самые богатеи.

— И везет же им всегда, Елпановым-то, — говорит один.

— Ну не скажи — одного везения мало! — тут же возражает другой. — Вот сам посуди: утром мы еще спим, а Елпановы уж на заимку спозаранку едут — заимка-то дальняя, а пахать и там надо. Вот они уж сколько лет там пашут, целый хутор вырос...



Ворота елпановского подворья отворились, и свадебный поезд въехал на широкий двор. Жених и невеста вышли из кошевы. Невеста была в дорогой шубе-голландке с

бобровым воротником и в оренбургской шали. Когда она сняла шубу, собравшиеся увидели шикарное подвенечное платье — как у знатной барыни, нежно-голубое, украшенное стеклярусом, на шее золотое ожерелье с драгоценными камнями, а в ушах золотые же серьги.

Невеста многим понравилась, но куда денешься от кумушек, гораздых позлословить?

— Чё уж говорить: пень одень этак-то, и пень хорош будет! Мне бы в невестину-то пору да такую одежду — получше была бы этой крали-купчихи!

— Да на таку корчагу, как ты, подвенечное платье и не полезло бы, тебе вот гуменный мешок — в самый раз!

— А тебе завидно, ли чё ли?! Мне бог тела-то дал, а не тебе, дранощепине!

Посреди свадьбы разругались кумушки, того и гляди в волоса одна другой вцепятся... Тут стоявший рядом мужик ткнул под бок особо ругливую куму и поднес ей к носу увесистый кулак.

— Да замолчите вы, окаянные! На улице не наругались, дак уж на свадьбе содом развели...

Желающих посмотреть на богатую свадьбу было много, их набилось столько, что они и званых гостей потеснили.

...Отшумела-отгуляла, отпела-отплясала в елпановском доме свадьба. После праздника настали будни. Елена, даром что выросла в богатом купеческом доме, оказалась работающей, она умела делать все.

Елпановская горница преобразилась. Из дома невесты привезли резную кровать, на стене с персидским ковром повесили дорогое английское ружье. В посудном шкафу было множество посуды — деревянной, глиняной, стеклянной и даже фарфоровой. На стене горницы появилось большое зеркало — в то время зеркала считались редкостью и были только в барских и купеческих домах.



Когда Елена переехала в елпановское подворье, дом, где она жила после смерти первого мужа, временно отдали в аренду.

Василий Елпанов в дела свата и сына вникать не стал. В глубине души он был обижен тем, что Петр отставил его от торговых дел, но когда он сравнивал сына с зятем Платоном, сравнение выходило в пользу Петра.

«Петру-то можно доверить все — мужик он трезвый и умный. В елпановскую породу пошел, — горделиво думал Василий Иванович, — сразу прочно на собственные ноги встал. Не то что зять: пока был жив и делом правил старик Коршунов — все хорошо было, а как заболел и умер, так прахом пошло... Да, не в отца удался Платон — рохля рохлей! Не зря Петр его недотепой считает. Ничего путного из Платона не вышло... Хоть и непьющий, а толку что? Настасью вот с ребятами жалко, в бедности жить придется, а семья все прибывает, скоро уж третий ребенок будет...»

На свадьбу Петра Настасья с Платоном приезжали, но ночевали только одну ночь, больше гостить не стали и уехали, ссылаясь на то, что домовничать у них остались чужие люди.

## МАСЛЕНИЦА

Весна была ранняя, сильно пригрело солнце и всю закопало с крыш. В Прядеиной началось самое веселое время перед Великим постом — масленичная неделя. Деревня отдыхала: люди катались на лошадях, ездили в гости к знакомым в соседние деревни, принимали гостей у себя.

На пруду, возле карусели и ледяных катушек допоздна веселилась молодежь, слышался девичий смех и визг, крики парней.

Старики по вечерам шли в пожарницу — посидеть, потолковать, встретить кума, с которым не виделись всю зиму, рассказать свои и послушать чужие новости.

Кум Василия Елпанова Афанасий тоже приходил в пожарницу, опираясь на палку. Он последние годы сильно постарел и согнулся. Сам Василий ходил в пожарницу редко, только в праздники или в воскресенье. Теперь, после свадьбы, когда схлынули на время домашние дела, он тоже решил сходить потолковать о том о сем с мужиками. Коноводом бесед в пожарнице был дедко Трофим: он мог говорить без умолку, про что бы ни завели разговор.

Все знали, что Трофим мастак приврать, но ведь не зря сказано: не любо — не слушай, а врать не мешай. И Трофима слушали, почесывая затылки, но никто его не перебывал. Иногда у кого-нибудь из сидевших в пожарнице за пазухой находилась бутылка кумышки, и тогда Трофиму стопку подносили первому — для разговора, а потом уж наливали всем остальным.

Иногда Трофимовы побасенки прерывались на самом интересном месте: у пожарницы останавливалась толпа гуляющих девок и парней с гармошкой или балалайкой, и часть ватаги вваливалась внутрь, якобы для того, чтобы гармонист или балалаечник отогрел замерзшие руки.

Гармонисту всегда был особый почет, девки наперебой ухаживали за ним, каждая старалась посадить его рядом с собой, приглашали на лавку и с нетерпением ждали, когда он начнет играть. Гармонист дул на озябшие пальцы, тогда девки подбегали с двух сторон и начинали отогревать ему руки в своих мягких теплых ладошках, гармонист был доволен, с трудом пряча счастливую улыбку. А другие парни кидали на него недружелюбные взгляды и высмеивали. И гармонист, сделав серьезное лицо, растягивал меха и начал плясовую.

В самый разгар танца какой-нибудь шутник незаметно высыпал под ноги танцующим щепотку толченого перца, и все начинали беспрерывно чихать...

Афанасий, больше всех не любивший в пожарнице такой беспорядок, вскакивал с места, хватал свою палку и размахивал над головами парней и девок:

— Кыш отсюда, окаянные! Чё вам, другого места, кроме пожарницы, нет?! Нигде никакого покою от вас!

Парни и девки ловко увёртывались от его палки и продолжали своё.

Дедко Трофим примирительно говорил:

— Ладно, мужики, уж в другой раз дорасскажу, пусть молодые повеселятся — мы ране-то таки же были!

Афанасий не унимался и петухом ударялся в спор:

— Да неуж мы таки же были?! Мне вот в молодости даже на игрища ходить некогда было! А им нынче больно воли много дадено, вот они безобразия всякие и наводят да фулюганят...

Дедко Трофим усмехался:

— Ой ты, Афоня! И у нас всякое было, и доброе, и худое! Тоже в праздники, бывало, колья с огородов повыдергиваем и ну понужать, особенно самые драчливые! А на этих-то ребят с чего ты взъерепенился? Они ведь не фулюганят, а просто зашли повеселиться...

— Потатчик ты, дедко Трофим! Это у вас тут так было, а у нас на Новгородчине народ добрый и никаких каторжан отродясь не водилось!

...Про каторжан в Прядеиной помаленьку стали забывать. Люди в деревне все перемешались, особенно после пожара. Женихи-зареченцы часто брали невест из Каторжанской слободки. За два с половиной десятка лет и название-то это забываться стало. Прядеинцы строились теперь кому где любо и где позволяло место.

Новых поселенцев-каторжан в Прядеину больше не пригоняли, а отвели им место за четыре версты от деревни, там они рубили лес и строились, и теперь на дороге в Харлово образовалась целая деревня — Галишева, а потом и другие — Крестовка, Ваганова, Сосновка.

Уже большинство населения округа стало местным: люди родились и выросли в Зауралье. Только иной раз по праздникам захмелевшие старики затянут заунывную каторжанскую песню... Или — опять же под пьяную лавочку — какой-нибудь девяностолетний дед распетушится и, размахивая костлявыми руками и шамкая ртом, пустится в рассказы о былых разбоях на большой дороге.

Василий раньше в своей деревне никогда не видел таких людей, которые вот так просто и открыто говорили о своих неблагоприятных делах и хвастали один перед другим. Кто в каких тюрьмах сидел, где отбывал каторгу. Под пьяную руку старики могли рассказать, кто сколько раз бежал с каторги. Но спроси назавтра этих же стариков трезвых — ничего не расскажут, будут отмалчиваться, хоть убей, или скажут одно: «Не помню, чё я вчера болтал, што с пьяного, што с глупого — немного возьмешь».

В пожарнице, когда Афанасий и дедко Трофим принимались спорить, все старались примирить спорщиков и усостыжить занозистого Афанасия. Мир вскоре водворился, и все сидели по лавкам, смотрели и слушали, как веселится и поет молодежь.

Если мужики тайком приносили кумышки, то и сами начинали петь; парни и девки из уважения к старшим кончали пляски и тоже пели песни, получался стройный хор. Трофим сразу слышал, если кто пел не в лад, и такому советовал лучше помалкивать и слушать других.

— Слыхали, как ладно мы спели — ничуть не хуже церковного хора!

Кто-то спросил со смешком:

— А чё бы ты, дедко, в церкве-то запел? «Солнце всходит и заходит»? Али «Бежал бродяга с Сахалина»? Непременно бы тебя регентом<sup>58</sup> поставили...

— Говоришь ты, паря, неладно — регент не поет, он только руками машет!

— Дак он ведь не занапрасно машет, а как правильно петь показывает!

— Вот когда в Прядеиной церкву построят, там и будем петь, — мечтательно сказал Афанасий.

— Так ты чё, кум, в церкву-то прямо с бутылкой пойдешь? Ведь без нее ты и петь не станешь! — пошутил Трофим.

Тут Афанасий не выдержал, схватил свою шапку и выбежал из пожарной, хлопнув дверью.

...Самый веселый день Масленицы — последнее воскресенье — Прощеный день. В этот день всяк успеваешь напиться, наесться, навеселиться — и стар и млад. Еще с утра или накануне делают огромное соломенное чучело в виде толстой бабы с размалёванной рожой, шьют ей из тряпья сарафан и кофту.

Делают чучело масленицы у кого-нибудь во дворе или в пригоне. К празднику стряпают много блинов: в этот день блины — первейшая закуска.

---

<sup>58</sup> Регент — в православной церкви лицо, управляющее хором. Он подбирает голоса для хора, обучает его, руководит им при богослужении.

На берег Кирги привозят сушняк и дрова. Уже с обеда все на реке. Разводят несколько костров, каждый — на две-три семьи. Тому, кто первым разожжет костер, назначается приз.

И вот, когда все костры на реке уже горят, из ворот чьего-нибудь двора вывозят чучело, а то и два-три соломенных чучела масленицы. Вывозят на санях с лыковой или мочальной упряжью. За санями идут люди, поддерживающие чучело палками, чтобы оно не свалилось с саней.

На берегу чучело поджигают, причем это делает тот, кто прежде других сумел разложить свой костер. Пока соломенная баба горит, все пляшут вокруг и веселятся кто во что горазд. Сжигают масленицу, провожая студеную зиму, в русских деревнях испокон веков.

На каждом костре пекутся и шипят масляные блины под крепчайший первач, кумышку и пиво разных сортов. Веселье продолжается до глубокой ночи.

В этот день должны были все помириться, если кто-то с кем-то когда-то был в ссоре, простить прошлые обиды. Для этого и собиралась вся деревня вместе. Таков был закон предков. Иногда и крупные ссоры прекращались и улаживались в этот день, а иной раз это была просто видимость.

Что греха таить, какой-нибудь любвеобильный «кум» в укромном местечке так рьяно «прощал» приглянувшуюся «кумушку», целуя крепко и много раз. В Прощеный день это было можно, и никто бы не отнесся к этому предосудительно.

Молодожены Елпановы по случаю Масленицы тоже веселились и отдыхали. Съездили в гости в Ирбитскую слободу, Елена повидала всех своих бывших подруг и знакомых.

Когда гостили у Овсянниковых, Еленина мачеха стала просить у нее взаймы денег, но теперь всеми деньгами распоряжался Петр. Он взаймы дать отказался, сделав при

этом такой вид, что Овсянниковы сразу поняли: на помощь зятя рассчитывать нечего не только сейчас, но и впредь.

На обратном пути заехали в Киргу, к зятю Платону. Они с Настасьей жили теперь только с хозяйства, торговля захирела совсем; никакого ремесла Платон не знал. Погостив недолго в Кирге, переночевали и рано утром поехали домой: дома много работы было — приготовить к севу сохи и бороны, починить всю сбрую; немало дел накопилось в мастерской, в кузнице и на заимке.

...Мало-помалу Елена стала привыкать к новому дому, к новому домашнему укладу. В доме свекра никто ни минуты не сидел без дела. Петр часто с утра уезжал на заимку и возвращался затемно. Он все никак не мог привыкнуть к мысли, что теперь он — женатый человек, глава семьи, хотя пока и небольшой.

Женским чутьем Елена чувствовала, что надо подождать какое-то время, чтобы он привык к семейной жизни. Ведь богатый и завидный жених пошел под венец поздновато — почти тридцати лет.

Когда Петра долго не было, Елена то и дело выбегала на улицу — не едет ли муж. Когда наконец слышался топот копыт и фырканье Буяна, а следом Петр въезжал во двор, она радостно выбегала на крыльцо, помогала мужу распрягать рысака и без умолку говорила, что она беспокоилась о нем и представляла, что с ним что-то случилось.

— Да не трещи ты, как сорока! — сухо обрывал ее Петр. — Иди, ужин скорей готовь — я голодный как волк!

Отец с матерью, любившие сноху, не раз укоряли сына, наперед зная, что не любит тот оправдываться и всегда все делает по-своему.

— Ну, сперва жена, а потом и вы ко мне пристали! Знаете ведь: везде хозяйский глаз нужен, а за работниками как лишний раз не проследить? Вот сев скоро, дак и ночевать на заимке придется!

Елена понимала, что Петр человек дела, что он, сухой и порой грубый, теперь ее муж и ему надо много прощать и мириться с его характером, приноравливаться к нему. Иногда в глубину души Елены закрадывалось сожаление, что теперь всю жизнь придется в глухой деревне работать, как простой работнице. Но она не теряла надежды, что со временем они сами будут нанимать работницу для дома, только удивлялась, как же с такой уймой работы справлялась одна свекровь, которой уже шел шестой десяток.

Старики Елпановы жили между собой очень дружно; смолоду полюбив друг друга, они сохранили любовь и взаимное уважение. Елена увидела сразу, что свекор, смиренный, с мягким покладистым характером, полностью подчинился сыну. И теперь хозяин всему и стержень всей семьи — это Петр.

Свекор много помогал женщинам по хозяйству, ухаживал за скотом, а если не было работы в кузне, подметал во дворе и даже не гнушался чисто женской работы — ходить к колодцу по воду.



## МЕЛЬНИЦА НА РЕКЕ КИРГЕ

**В** Елпановском доме по утрам вставали очень рано. Петр, наскоро позавтракав, запрягал Буяна и, как обычно, стоя на ногах в кошеве, выезжал со двора и ехал на заимку.

Высокий ростом и широкий в плечах, Елпанов всегда отличался отменным здоровьем, никогда не болел и даже не знал, что такое простуда. Зимой, в лютые морозы, он ездил в меховой круглой татарской шапочке, из-под которой выбивался заиндеветый черный чуб; короткая шуба всегда была распахнута, рукавицы — в карманах, а шарфа Петр не признавал. Елпанов ловко управлялся с лошадьми, был быстр и расторопен в работе, скор на ногу, своей широкой стремительной походкой он поспевал везде и всюду.

Смолоду Петр был очень самоуверен, а с возрастом в нем окрепло убеждение, что стоит ему по-настоящему пожелать — и он добьется любой задуманной цели.

А задумал Елпанов немало: соорудить кирпичный завод, чтоб строить из собственного кирпича, и пустить на реке Кирге водяную мельницу.

Он уже привез из Ирбитской слободы плотинного мастера; работники нарубили и привезли лес и за зиму отсыпали плотину для мельницы-водянки. Но не повезло Петру: как раз в ту весну было такое высокое половодье, какого не помнили и старики. Своенравная Кирга разметала плотину и бревна унесла по течению в низовья.

Пришлось Петру на время отказаться от затеи с мельницей. Но она была нужна позарез: единственная в округе мельница-ветрянка Обухова недавно вдруг сгорела.

...Лет пятнадцать назад в Прядеиной появился новый поселенец — Северьян Обухов. Никто не знал, кто он и

откуда. Приехали они с женой, разодетые, как купцы, на паре орловских рысаков, но в простой крестьянской телеге. Старосте сказали, что прибыли из Тамбовской губернии на вольное поселение. Подорожной у Обуховых не оказалось, да и в деревне грамотных не было, и с подорожной следовало ехать в волостное правление.

Но Северьян в волость не спешил. Остановился на житье у деревенского старосты, продал проезжим цыганам рысаков и тут же, в Прядеиной, купил двух рабочих лошадей. К осени нанял работников, и они ему срубили и поставили большой пятистенный дом. Через два года у Обухова было не только большое хозяйство, дом — полная чаша, но и своя мельница. Новый поселенец богател на глазах.

Уроженец Тамбовщины Никита Шукшин, когда ему сказали, что приехал Обухов из Тамбовской губернии, обрадовался и пошел к земляку в гости. Но оказалось, что Северьян совсем не знал тамбовских мест. Отвечая на расспросы Никиты, он вконец запутался, а потом сказал, что это отец его был откуда-то из Тамбовской губернии, а сам он там никогда и не бывал.

Но Никита еще до того смекнул: Обухов совсем не тот человек, за которого себя выдает. Шукшин, конечно, промолчал — от греха подальше, с такими людьми лучше не связываться.

Многие в Прядеиной слышали, что недалеко на Сибирском тракте убили богатого купца из Екатеринбурга.

Неизвестные злодеи убили проезжего вместе с кучером и сбросили в ров в лесу возле тракта. Трупы нашли через полгода охотники; опознать убитых не удалось...

«Не Северьяновых ли рук то смертоубийство было?» — размышлял Никита, возвращаясь от Обухова. Он вспомнил вдруг, что о своем прошлом тот никому не рассказывал, даже под пьяную лавочку. Да Северьян никогда и не пил допьяна — ни в праздники, ни на помочах.

Жену его в деревне звали Марьюшка Обушиха. Марьюшка была под стать мужу — такая же нелюдимая и скрытная. Из детей у них выжила только дочь Ольга, остальные умерли в младенчестве. Ольге сравнялось четырнадцать лет; это была рослая, но тронутая умом девка. Ее не смогли приучить даже к самой простой работе, и она целыми днями бегала по деревне босая, растрепанная и сопливая.

Мельница-ветрянка Обухова стояла на бугре недалеко от усадьбы, и в ветреный день всегда было много помолы, да еще приезжали помольщики из деревни Галишевой. Возле мельницы были коновязи, большой сарай на случай, если пойдет дождь, — чтобы не намочить зерно и смолотую муку, стояла и изба-караулка, где зимой топили печку и заходили погреться мужики-помольщики, которые ждали своей очереди молоть.

Если был хороший ветер, Северьян сутками жил на мельнице. Для хозяйства Обухов нанимал работников, распахал заимку, сеял много хлеба. На заимке были большие мучные амбары: постепенно Обухов стал прикупать зерно и торговать с заводами мукой.

Со временем был бы Обухов серьезным конкурентом Елпанову, но в прошлом году вышла заминка. В Прядеиной появился бродяга — мужик лет шестидесяти с черной с проседью бородой. Он был в лаптях и крестьянском армяке, с крепкой суковатой палкой и котомкой за плечами. Вид бродяга имел приметный: от левого глаза наискось через всю щеку тянулся глубокий шрам. Бродяга пришел со стороны Галишевой.

Мельница Обухова работала вовсю. У ветряка стояло много подвод. Мужики, у которых очередь молоть была еще далеко, распрягали лошадей и пускали пастись или, оставив их в оглоблях, бросали охапку клевера, а сами, закрыв картузом от мух лицо, дремали на телегах, положив головы на мешки с зерном.

Четверо на завалинке караулки резались в подкидного дурака. Прохожий остановился у крайней избы, снял с плеч котомку и, утирая рукавом пот со лба, подозвал игравших за оградой ребятишек. Те смотрели на незнакомого человека во все глаза. Он попросил пить, и белоголовая девчонка лет шести принесла из избы полный ковш воды. Прохожий долго и жадно пил, потом спросил у ребятишек:

— Где у вас тут живет Обухов Северьян?

Ребята указали на усадьбу возле мельницы, а один словоохотливый малец объяснил:

— Дяди Северьяна теперь нет дома! Эвон мельница машет крыльями — значит, он там.

Прохожий направился прямо к мельнице.

Один из игравших в подкидного позвал:

— Северьян Васильич, тут тебя спрашивают!

Обухов вышел из мельницы, вытирая руки о фартук.

— Здравствуйте, Северьян Васильевич! Давненько мы с вами не видались...

Прохожий поклонился. Выпрямившись, он с улыбкой продолжал:

— Не признаёте меня? Ну, можно и напомнить, кто я таков!

Обухов сразу изменился в лице. Сначала от удивления у него открылся рот, выпучились и округлились глаза, нижняя челюсть затряслась, вся кровь отхлынула от его лица, оно стало мучнисто-белым. Правой рукой он схватился за голову, а левой за сердце, но через минуту взял себя в руки и с большим усилием воли пробормотал:

— Здравствуйте! Узнал, узнал я вас... Сейчас вот только закрою мельницу, и пойдём ко мне домой...

Северьян повернулся к помольщикам:

— Ребята! Поезжайте по домам, молоть сегодня больше не буду: видите — ко мне человек пришел...

— А когда же домалывать? — загомонили мужики.

— Завтра, завтра... Езжайте!

Помольщики, поругиваясь, нехотя принялись запрягать, а Обухов с прохожим бродягой быстро пошел к своей усадьбе.

— Мужики, что за человек пришел к Обухову-то? — спросил молодой помольщик. Он досадовал: его очередь была бы первой, кабы не неожиданный поворот дела.

— А бес его знает, по виду-то он как из тюрьмы беглый: шрам-то на лице — прямо шрамище!

— Видать, не крестьянин и не мастеровой, да и на работного человека с заводов не смахивает.

— По всему видать — грабитель, всю жизнь, наверное, занимался разбоем на больших дорогах.

— Не видал я, паря, нигде такой страшной хари, во сне приснится — испугаться можно. Если бы Северьян был ему не должен, он бы с ним не стал и разговаривать, прогнал бы, да и всё тут...

— Ой, мужики, как он испужался, когда этого бродягу увидел! Я уж думал, его парыш хватит, ан нет, отошел всё же. Что-то тут дело нечисто, как бы не убил Северьяна этот бродяга.

— Ты, кум, в соседях у него живешь, поглядывай за его домом-то... Видно, неспроста лешак принес этого бродягу!

Первые дни сосед ничего подозрительного не заметил. Потом не выдержал и как-то поздно вечером крадучись перелез через заплот в Северьянов двор. Постоял, послушал — в доме стояла тишина. Тихонько вошел в сени и только взялся за скобу двери, как услышал недовольный голос Обухова:

— Кого там несет на ночь глядя?

Сосед от неожиданности так растерялся, что наобум ляпнул:

— Насчет помола я зашел... Как, завтра молоть будете али нет?

— Совсем ополоумел, что ли?! И ночью уж покоя нет! За помолом на мельницу ходят, а не по дворам через заплоты сигают!

Северьян с женой сидели у стола с неубранной после ужина посудой. Бродяги в избе не было — оказалось, он спал на лавке в сенях, подложив под голову свою котомку, а сосед его в полутьме не заметил. Никогда еще сосед не видел обычно молчаливого Северьяна таким рассерженным! Пристыженный, кляня в душе сам себя, он направился домой.

Бродяга вскоре ушел. Мужики расспрашивали о нем и у Северьяна, и у его жены, и даже у дочери, но ничего узнать не могли. Северьян говорил, что это его старый знакомый, по несчастью оказавшийся в наших краях, но Северьяну мало кто верил. Мужики говорили, что если бы он встретил человека с родины, то скорее всего бы обрадовался, а не испугался. Деревенские бабы, охочие до новостей и сплетен, узнали от жены Северьяна еще меньше и были вконец разочарованы. Обушиха говорила всем одно и то же:

— Я совсем его не знаю, какой-то старый знакомый моего мужа.

Зная, что больше от Обушихи они ничего не добьются, отступились и стали выспрашивать глупую Ольгу. Ольга всегда всем рассказывала все новости и даже самые пустилки, которые кто-то говорил или делал у них в семье. Но Ольга, оказывается, была закрыта в горнице, когда шел разговор, и ничего не слышала.

В конце страды бродяга появился опять.

В кабаке Агапихи в тот вечер народу было мало: вечер будний, да к тому же еще не кончилась страда. Сидели только трое отпетых пьяниц, завсегдагаев Агапихино заведение. Первый из них — Федор Кузнецов. Брат его, Никон, вернувшийся с царевой службы на пепелище отцовского дома и хозяйства, сразу запил горькую, спервоначалу пропив военный мундир и шинель. Теперь Никон

ходил по деревням, нанимался в страду на подённую работу, и если у него заводился хоть пятак — тотчас шел к Агапихе и звал с собой Федора.

Теперешняя баба Федора пила не меньше мужа, пьяная дралась и сквернословила, и Федор откровенно ее побаивался. Избушка их стояла в стороне от других домов, кругом поросла травой, крапивой и лопухами; пристроя никакого не было, надворных построек тоже, скотины или какой-нибудь птицы не водилось и в помине. И сам Федор, и его бабёшка были в строке.

Федоровы дети, которые подожгли когда-то дом, давно уже с родителями не жили, из куска хлеба подрабатывая подпасками и борноволоками<sup>59</sup>.

Третий забулдыга — дедко Плюхин — когда-то был главой большого семейства.

Вся троица сидела за столом и пила кумышку, когда двери распахнулись и на пороге появился Северьянов гость-бродяга. Армяк его стал грязнее грязного, прохутился, а местами и вовсе висел лохмотьями.

Бродяга вошел, повел вокруг свирепым взглядом и направился к стойке. Достав из-за пазухи три рубля, подал Агапихе, хрипло буркнул: «Вина и закуски! На все!» и пошел к столу. Штоф водки и закуска на столе появились мигом. Бродяга налил стакан, выпил одним духом и закусил огурцом и яичницей. После второго стакана бродяга будто только что заметил троих пьянчужек, на лицах которых прямо-таки написано было, до чего им хочется пропустить по стопке, да нет ни копейки.

— Ну што, мужики? Видали, каково пьет и ест каторжанин? — зыркнул он глазами на выпивох. — Вали ко мне за стол — угощу, я богат нынче!

---

<sup>59</sup> Борноволок — ребенок, правящий лошадей при бороньбе. Достижением возраста бороноволока гордились. «Свой бороноволок дороже чужого работника», — утверждала пословица.

Федор, Никон и дедко Плюхин подсели к нему. Бродяга налил им по стопке, сам выпил третий стакан; штофа как и не бывало. Он опять достал из-за пазухи денег и снова потребовал вина.

— Ну, пить так пить, гулять так гулять! Северьян Васильевич богатый...

Бродяга опьянел, взгляд его стал совсем свирепым. Колотя кулаком по столу, он начал орать во все горло:

— Я пятнадцать лет каторги за Северьяна отбыл! В Сибири замерзал, с голоду подыхал, молодость свою погубил. Не мне надо было долбить мерзлую-то землю, а ему! Гад ползучий, ведь золотые горы мне сулил, если всю вину на себя возьму, а за пятнадцать лет моих каторжанских хоть бы полушкой помог! Дом вон какой отгрохал, мельницу поставил, за помол, поди, три шкуры дерет...

Ну што вы о нем знаете, опойки кабацкие?! Да ничего! А это же первый грабитель по большим дорогам, грабитель и убивец!

Агапиха все это слышала, но виду не подала. Когда был выпит второй штоф и съедена вся закуска, она выпроводила всех из кабака. Трое пьяниц довели вконец опьяневшего бродягу до Северьяновой ограды, а сами, обнявшись, с песнями разбрелись по домам.

С тех пор бродяга куда-то пропал. Обухов два раза приходил выпытывать у Агапихи, какой такой разговор был о нем в кабаке. Но Агапиха живо смекнула, чем дело пахнет, и начисто отперлась: ничего, мол, не слышала и не знает. Обухов ей обещал за откровенность смолоть зерно бесплатно и без очереди, но кабатчица — ни в какую.

Хотя тот бродяга больше не появлялся в Прядеиной, после Покрова в деревню завалилась целая компания — четверо оборванцев. Опять вымогали у Северьяна деньги и пили у Агапихи до поздней ночи, а потом вломились в дом Обухова, но когда сбежалась вся деревня, бродяги убралась подобру-поздорову.



В доме все было перевернуто вверх дном: видимо, искали деньги. Хозяев не оказалось нигде.

Думали, что Обуховы убиты злодеями-грабителями, и срочно погнали в волость за становым и урядником. Однако Обуховы приехали домой как ни в чем не бывало, живые и здоровые — и сам Северьян, и Марьюшка Обушиха.

Оказывается, пока бродяги пировали в кабаке у Агапихи, хитрый Обухов все доброе имущество ночью перевез в соседнюю деревню, а потом под покровом ночи они с женой потихоньку скрылись из Прядеиной.

Когда приехал урядник, Северьян уверял, что и знать не знает четверых бродяг.

— А с чего они к вам-то привязались? — недоумевал урядник.

— Ни сном ни духом не знаю, ваше благородие!

Урядник уехал ни с чем.

...Когда бродяга тайком пришел в Прядеину во второй раз, была уже глубокая осень, хотя снег еще не выпал и стояли солнечные погожие дни. Он ушел от Северьяна так же скрытно, и его не видал никто, а Обухов вдруг ни с того ни с сего уехал в Ирбитскую слободу с возом муки, да еще ночью, один.

Сосед услышал стук лошадиных копыт по мерзлой земле, посмотрел в окно и увидал, как Северьян поехал по дороге в направлении галишевских полевых ворот. Сосед удивился, а проснувшаяся жена спросила:

— Чё там, никак, едет кто-то середь ночи?

— Соседушко наш куда-то покатыл, да с большим возом!

— Знамо дело — богатым и ночью не спится! Один он поехал, ли чё ли? А гость-то где у него — и того бы заодним отвез... Говорят, вечер привели его от Агапихи — пьяней вина, лыка не вязал! Наши деревенские пьяницы — старик Плюхин да братаны Кузнецовы — в кабаке с ним связаться

успели... Подвели его к ограде, отворили ворота, а он в воротах так и пал! Я как раз корову заставляла, дак видела!

— Шибко, поди, он любый Обуховым, гостенек-то! Северьян сам сроду не пивал допьяна, а тут терпит како-го-то пьяницу, прогнал бы его, да и всё!

— Чё, Иван, вставать печь топить?

— Спи знай, куда вставать — еще, знать-то, около полуночи. Не дай бог рядом с богатыми соседями жить — сами ночи не спят и тебе спать не дадут!

...Прошла осень. После Покрова нанесло снегу и сразу установился санный путь. По первопутку и заявилиь снова незваные гости к Северьяну Обухову. На этот раз сосед Иван хорошо разглядел четверых здоровенных мужиков. Первого бродяги, с приметным шрамом, в армяке и с котомкой за плечами, меж ними не было.

Четверо вошли в дом и дождались хозяина с мельницы. Тот вернулся, когда на дворе стало уже темнеть, и вошел в дом. Немного погодя четверо пришлых направились к Агапихе. Только стих скрип снега, как Северьян с женой стали из дому таскать мешки, грузить в сани.

Иван, видевший в щель из своего сарая торопливые обуховские сборы, в испуге выбежал за ворота.

— Дядя Северьян, али уезжаете куда?!

Обухов вылез из саней, посмотрел вдоль улицы и подошел вплотную:

— Вот что, сосед... Ради бога, последи за домом: привязались ко мне четверо бродяг-грабителей. Я дал им денег, сейчас они у Агапихи пируют. Если они сюда возвратятся да в дом ломиться станут — беги по деревне, караул кричи, зови людей! Не ровён час, подожгут меня, тогда и твоему подворью не уцелеть! А коли убережешь мой дом — я хорошо рассчитаюсь... Да след-то за мной замети!

Обухов дернул вожжи. Иван вынес метлу и замел след от саней... Зимой темнеет рано, но они с женой еще долго не зажигали огня. На улице слышались пьяные

голоса, и в Северьяновом дворе залаяла собака; потом она отчаянно завизжала и смолкла, а в наступившей тишине послышался лязг сбиваемого замка. Тьма стояла — хоть глаз коли, и Иван с женой могли только догадываться, что творится во дворе у Обуховых. Неслышно выбравшись на улицу, Иван с женой как ошалелые побежали вдоль односторонка в разные стороны, вопя в два голоса: «Помогите! Караул, грабят! Обуховых грабят!»

Вскоре у Северьяна была полна ограда народу. У крыльца в крови валялся убитый пес Вьюн. Мужики-прядеинцы, вооруженные вилами и топорами, не решаясь войти в дом, толпились в ограде. Двери были распахнуты настежь, а из дому не доносилось ни звука.

...Обухов, как и обещал, хорошо рассчитался с соседом Иваном: дал ему пять рублей деньгами да аршин двадцать тонкого льняного холста. Соседу-бедняку такой расчет и не снился!

А через месяц на подворье Обуховых пришла настоящая беда. Она случилась тоже ночью, когда мельница была давно закрыта и ни помольщиков, ни хоть кого-нибудь вокруг не было. Пожар полыхнул как порох. Мельница, сарай, склады с мукой — все сгорело дотла. В ту же ночь на заимке Обухова сожгли дом, конюшни вместе со скотом и скирды хлеба.

Работников на заимке поутру нашли еле живыми, связанными и с кляпами во рту. Хватились — одного нигде не было. Когда связанных освободили от кляпов, все в один голос твердили: дескать, он убежал вместе с поджигателями.

На заимке дымились головни, тут и там валялись обгоревшие трупы животных. В одну ночь Обухов лишился всего имущества.

С той ночи староста назначил в Прядеиной ночной караул: все боялись и нос за ограду высунуть, тем более — обуховские соседи.

В тревожном ожидании прошла вся зима, потом весна. Но даже и летом грабителей и поджигателей больше никто не видел — те как в воду канули.

Северьян вдруг как-то сразу постарел, осунулся и согнулся. На заимку он ездить перестал, работников рассчитал, а мельницу снова строить и не думал.

Когда на сходе Петр Елпанов сказал, что собрался строить на Кирге новую, свою мельницу, все прядеинцы обрадовались. Тем более что Обухов согласился бесплатно отдать мельничные жернова и все железное, что осталось после пожара. Кроме того, он обещал показать, как надо молоть разные сорта муки и крупу.

Обухов совсем присмирел. Болтали, что он боится своего прошлого. Многие прядеинцы догадывались, что раньше Обухов был связан с темными людьми и они за что-то жестоко отомстили ему. И круглый дурак догадался бы, что это не случайные грабители, а его бывшие дружки, вместе с ним занимавшиеся разбоем на больших дорогах, а то и отбывавшие с ним каторгу.

Опять из волости приезжало начальство. «Ну, бродяг тех искать — как иголку в стоге сена!» — решил становой пристав, отправляясь в обратный путь.

## СТРАШНАЯ НАХОДКА НА БЕРЕГУ

Приток Кирги, маленькая речушка Кривель, берет начало от подземного ключа, не пересыхающего в самый засушливый год. Становясь чем дальше от истока, тем все полноводнее, Кривель причудливо петляет, извиливается загогулинами — оттого, видно, и получила свое название. Местами она течет по глубокому оврагу, густо поросшему калиной и черемухой, где все увито хмелем так, что не вдруг и продерешься.

...Настал конец сентября. С хлебом убрались уже давно, а погода все стояла как летом. Деревенские бабы вереницами шли по ягоды, брали в борах бруснику, на болотах — клюкву да морошку, а по маленьким речушкам — калину и хмель.

Неподалеку от дороги, как раз в том месте, где в водополищу<sup>60</sup> Кривель подмывает правый берег, давно образовался крутойя, кусты черемухи и калины нависают над водой. Две бабы, самые азартные ягодницы, остановились у обрыва.

— Гляди-кось, кума Уления, сколь тут калины-то! Да только растет высоко...

Кума, продравшись через цепкие кусты и крапиву, вгляделась.

— Ну-ка, давай вдвоем пригнем калинку!

— Лучше я вот на эту, что потолще, залезу!

— Ладом лезь-то, под берег не пади, вон какая тут вышина да крутизна!

— Не упаду-у-у! — уже сверху откликнулась товарка. — Ягоды-то какие хрумки да спелые...

— Кума, глянь — под берегом какие-то тряпки!

— Ой-е-ей! — не своим голосом завизжала та. — Да ведь это человек мертвый!

---

<sup>60</sup> Водополища — весенний разлив рек, половодье.

Вторая кума, блее мела, вмиг слетела с высокой калины, и, едва не забыв подхватить корзины, обе бегом припустили к дороге... Вдали от страшного места насилу отдышались.

— Да ты, поди, и не разглядела толком-то! Поди, вовсе и не мертвяк там? Откуда ему тут взяться — никто ведь ни у нас, ни в ближних деревнях в этот год не утоп, не то бы давно вся округа знала!

Но та ничего и сказать не могла: ее колотила крупная дрожь.

Вечером по всей Прядеиной разнеслась весть, что в Кривели нашли утопленника. Назавтра несколько деревенских мужиков поехали на речку. Взяли с собой одну из ягодниц — чтоб указала место; как та ни отказывалась, чуть ли не силком бабу усадили на телегу.

И вправду — под берегом лежал труп в лаптях и в рваном армяке с опояской. Но был он... без головы! Двое небоязливых мужиков палками перевернули тело, осмотрели берег поблизости — головы не было нигде.

— Знать-то, чужой это был человек — в лаптях у нас здесь никто и не хаживал, — по пути домой говорил один из обнаруживших страшную находку.

— Считай, паря, он уж давно в Кривели лежит: вишь, кости одни да одежда остались, и мертвечиной не наносит уж, — рассуждал другой.

— И чё с им теперь делать-то?

— Староста, видно, в волость посылать будет за становым. Смертоубийство тут, не иначе! Вот еще не было печали, дак черти накачали! Теперь в волость пошлют — станового везти да потом обратно отвозить! И еще хоронить этого...

— Ты, кум, черта-то не поминал бы не к месту: ведь человек же все-таки был... Видно, што это не самоубивец — может, кто его ограбил да убил!

До самой Прядеиной мужики судачили — как да что. А в деревне нашлись люди, которые прошлым летом и осенью два раза видели поблизости человека в лаптях и в армяке. Первый раз он просил воды попить, во второй — спрашивал, где живет Северьян Обухов.

Приехал становой, осмотрел труп и, выслушав рассказы деревенского люда, распорядился привезти на Кривель мельника Северьяна.

— Ну что, признаёшь своего гостя прошлогоднего?! — напрямик спросил становой. — На деревне люди говорят, что видали его, и не раз, возле подворья твоего!

Обухова как громом поразило. При виде мертвого тела и словах станового он испугался еще больше, чем когда-то на своей мельнице.

— Ваше благородие... Христом-богом... Может, убили его где-нито по дороге, а я-то тут при чем? Знать ничего не знаю!

— Ты поменьше разговаривай! Вот сегодня составлю протокол, а завтра в волость поедем — разузнаем, что к чему! — отрезал полицейский.

Вся деревня видела, как назавтра от подворья Обухова тронулась телега. В телеге подремывал полицейский урядник и всюю храпел пьяный становой, а лошадью правил Северьян...

Еще не успела осесть пыль от телеги, как по всей Прядеиной пошли разговоры:

— Отопрется от всего Обухов-то! Вишь, неспроста сам повез начальство в волость...

— Знамо дело: рука, говорят, руку моет... Да нам-то что до этого? Лишь бы к нам не привязывались! А там — кто кого убил да за что, того бог рассудит...

А братаны Кузнецовы, старик Плюхин и, само собой, Агапиха с тех пор про этот случай молчали, как в рот воды набрали.

...Хотя своенравная и коварная в половодье Кирга уже разносила по бревнышку елпановскую плотину, Петр не отступил от своей цели — во что бы то ни стало поставить на реке свою мельницу. Помимо его давней привычки всегда и во всем добиваться задуманного, у него был хозяйский расчет: с тех пор, как сгорела обуховская мельница-ветрянка, молотье зерно стало негде. А деревня без мельницы не деревня, поэтому за помол можно получать хорошие деньги.

На этот раз место для плотины выбрали другое — где течение Кирги спокойно и в половодье. Река после засушливого лета и сухой осени обмелела, и плотину построили быстро. Теперь елпановская усадьба с домом, кузницей, амбарами, завознями, дальним и ближним пригонами занимала не одну десятину.

Год выдался урожайным, особенно хорошо поднялась рожь. Елпановы, не дожидаясь санного пути, еще закупили рожь по сходной цене в ближних деревнях и в селе Юрмич; там же ссыпали зерно до санного первопутка у давних знакомых — хороших, надежных людей.

Петр на целый год нанял семью работников, но на зимку посылать не стал: работники нужны позарез и дома. В хозяйстве всегда работы много, да и строительство мельницы на носу.

От каждодневных хлопот Петра отвлекло лишь несчастье: перед самым Новым годом скоропостижно скончался кум Афанасий, двоюродный брат Пелагеи Захаровны и крестный Настасьи. Пришлось ехать в Киргу с печальным известием.

Афанасий много лет мучился надсадной грыжей, ходил и работал с опасливой оглядкой, помаленьку. В последние годы стал мало сеять, из скотины держал одну лошадь и корову.

Сына Ивана он выделил сразу же, как тот женился, построил ему дом со всеми надворными постройками, но в душе с женьбой сына не примирился, а у сватов так и



не бывал с самой свадьбы. Афанасию было шестьдесят семь лет. Конечно, люди живут кто меньше, кто больше. Но его какая-то смертная хворь свалила сразу: сутки поболел — и умер. Жена Федора одна в доме оставаться не захотела и сразу ушла жить к сыну Ивану; сноха Рипсимия рожала каждый год, ребят много умирало, но и живых немало осталось, так что работы в доме было полно. Иван Афанасьевич, как и отец, здоровьем не отличался, и жили они небогато.

На кладбище четыре мужика два дня долбили мерзлую землю для Афанасьевой могилы, да так до талой земли и не дошли. Когда останавливались, все взмокшие от пота, отдохнуть, то осторожно шутили меж собой:

— Не тем будь помянут, а шибко занозистый был покойник-то... Второй день могилу ему копаем! Елпанов Василий Иванович — уж он ли не мастер, а гроб делал — тоже угадать не смог: доделывать пришлось...

— А это уж завсегда так — на вредного не угадаешь...

— Вот Иванко у его не в родителя пошел: добрый мужик да покладистый...

— Ну, мужики, чисто камень мы долбим: даже лом отскакивает и аж искры вылетают!

После сорока дней Иван Афанасьевич продал отцовский дом. Его купили Елпановы и расширили свою усадьбу. В бывшем афанасьевском доме теперь жили работники. Петр Елпанов их нанял в строк на год с Покрова. Это были переселенцы из Тульской губернии.

Наступил новый, 1751 год. В Прядеиной, как и прежде, вечерами сходились в пожарницу старики. Как и прежде, разговоры шли о деревенских новостях — свадьбах, крестинах да похоронах. Но чаще всего, подперев головы, говорили о самом главном — о земле, об урожае.

— Считай, мужики, на рожь нынче надежи нет никакой: вся как есть еще по осени вымерзла! А сейчас снегу

нет, да если весной вовремя мочить не будет... Да, добра ждать нечего — по всем приметам худой будет год, голодный...

— Ну дак чё раньше времени умирать-то? Все ведь в руках Божьих — может, и вырастет! Вон в тридцать седьмом году везде неурожай был, а у нас, хоть и худо, все ж выросло!

— Елпановы вон мельницу ставить собираются — значит, вырастет! — хохотнул кто-то.

— Петруха как сквозь землю видит!

— А без мельницы нам хоть в какой год не прожить. Ежели Елпанов строить задумает — всем миром надо идти помогать. Давно ли обуховская ветрянка сгорела, а уж во как намучиться успели: с каждым мешком зерна езжай в чужую деревню и день теряй, а то и не один!

## ЗАТМЕНИЕ

**Н**аступивший год и впрямь оказался неурожайным во всем Зауралье. Даже в укромных залесках на ржаные поля было больно смотреть: колосья стояли чуть ли не на аршин друг от друга. Яровые посеяли в сухую, как зола, пахоту. Редкие небольшие дождинки не сумели напоить влагой иссохшую землю. У кого поля были на буграх, хлеб даже не взошел. В такое лихолетье крестьян выручают старые запасы хлеба. Но прошлогодний хлеб был не у каждого.

Уже с самого жнитва по округе потянулись вереницы голодающих. Как случалось и раньше, люди нанимались на любую работу — не только за то, чтоб досыта поесть, но и просто за кусок хлеба.

В то страшное лето Петр Елпанов построил мельницу с амбарами, которая была лучше, чем у Обухова. Сейчас весь берег Кирги за кузницей и мастерскими был занят Елпановым, и не было видно конца-краю елпановским постройкам. В это же время Петр перестроил дом, сделав его больше, выше и наряднее.

Многое еще задумал он в это гибельное время — благо даровая рабочая сила была под руками. Петр знал, что стоит только будущему году быть урожайным, так эта же гольтьба будет набивать себе цену и грозиться, что уйдет к другому хозяину, где будто бы платят в два раза больше. Голод смирил людей, они шли на любую работу, только бы досыта поесть. Горе было тому, кто не знал никакого мастерства или не успел ни к кому наняться: каждое утро находили трупы голодающих беженцев то на обочинах дорог, то у полевских ворот, на выгоне, то на чьей-нибудь завалинке. Толпами ходили исхудалые, с почерневшими до угольной черноты лицами нищие. Начались эпидемии каких-то неслыханных доселе болезней.

Даже в Прядеиной многие стали подмешивать в хлеб прошлогоднее охвостье, травы, коренья и кору, надеясь растянуть свои скудные запасы.

Солнце нещадно палило. Небо от зноя давно уже из голубого превратилась в серое, пыльное, у горизонта дрожало марево, и вся даль, насколько хватал глаз, была подернута не летней дымкой, а серой мглой. Когда налетали порывы южного суховея, так и обдавало горячим воздухом, пыльным и душным, как из натопленной печи. К вечеру, когда суховея затихал, всю округу затягивало едким белым дымом: где-то за лесом шаяли<sup>61</sup> торфяные болота.

В один из таких дней после обеда неожиданно стало темнеть, хотя на небе не было ни облачка. В поле поднялось конское ржание, на выгоне замычали коровы, во дворах истошно завывали собаки... Темнеть продолжалось, и скоро небосвод стал похожим на такой, каким он бывает в безлунную осеннюю ночь.

Людей охватил безотчетный страх; жницы на полях побросали серпы и пали на колени, усердно молясь, как в церкви. Женщины причитали в голос, что должны умереть страшной смертью, без покаяния и не повидав своих детей и близких. Все ожидали, что сейчас с неба повалятся камни и наступит конец света. Хотя в Прядеиной, да и во всей округе, не было ни одного грамотного и священного писания никто не читал, но от попов в церквях, от монахов в монастырях все слышали, что будет второе пришествие и начнется оно именно так, с полной темноты...

Целую неделю про ночь, вдруг наступившую средь бела дня, говорили в прядеинской пожарнице.

— Эко диво! Солнце в божий день померкло... Не к добру это, мужики!

---

<sup>61</sup> Шаять — гореть без пламени, тлеть.

— Вестимо, не к добру, — прошамкал один из стариков, — либо опять к пожару, а то, упаси Боже, не к войне ли такое знаменье-то! Мне об этом еще мой дед Варсонофий сказывал.

По окрестным деревням в этот год кроме обычных нищих стали появляться кликуши, черт-те чем пугавшие народ.

И в Прядеину тоже зачастил какой-то пришлый, Никитушка, — прозорливый, как он сам себя называл. «Прозорливому» — мордастому и краснорожему мужику — было лет сорок. Такому бы лес рубить, пахать да сеять, а он ходил из деревни в деревню, из дома в дом да легковерных стращал... Иные прядеинцы верили каждому его слову и слушали, разинув рты.

Никитушка предсказывал скорый конец света, объяснял, что нужно всем покаяться, и солнечное затмение толковал как знамение народу, чтобы спасали свои души, больше подавали божьим людям — странникам и нищим. Его наперебой звали во все избы, хозяева не знали, куда его посадить и чем угостить. Поначалу он довольствовался тем, что его вкусно кормили, иногда отнимая лакомый кусок у детей, да еще ему давали милостыню с собой. К вечеру у него набирался большой мешок, и он нес выпрошенное в кабак к Агапихе — мента на вино; потом обнаглел до того, что стал требовать и деньги.

Как-то Петр Елпанов, вернувшись с заимки, застал Никитушку у себя дома. Тот сидел за столом, как гость, на почетном месте. «И был во младенчестве я проклят своей матушкой на три года, и водил меня нечистый дух», — заунывным голосом «вещал» проходимец.

Слушавшие женщины глядели на него во все глаза, а Пелагея Захаровна даже прослезилась.

Петр послушал-послушал Никитушку, потом разгневанно спросил:

— А ты чего здесь расселся — добрых людей рассказами с толку сбивать?!

— Ты, хозяин, божьего человека не гони, — прогнусил Никитушка.

Вне себя Елпанов рявкнул:

— Вот тебе бог, а вот — порог! Вон из моего дома, бездельник! Чтоб ноги твоей здесь не было больше! Надо трудом хлеб зарабатывать, а не глупой пустой брехней!

Никитушка за словом в карман не лез, он уже много лет шатался по деревням, народу повидал всякого и хорошо изучил его, потому мог ответить любому:

— Я и без тебя приют найду! Мне везде рады и принимают с почетом. Ты вот сейчас много имеешь и о многом печешься, а это все не твое, это Божье, и в любой день ты можешь стать беднее меня, помяни мое слово. Не покаешься в содеянном, не будешь привечать божьих людей, нищих и странников, будешь жить, как жил, в неверии — на этом месте будет пустыня, порастет сие место крапивой, бурьяном и будет пристанищем всякому нечистому духу, а имя твое будет проклято, и потомки твои рассеются по всей земле.

С этими словами он ушел, а Петр остался в недоумении. Какая-то смутная тревога овладела им. «Вроде пустомеля этот бродяга, а как нагло он говорит. Как будто в душу тебе заглядывает, а взгляд, как у колдуна, недобрый, пронзительный. И откуда он взялся? Таких болтунов, как Никитушка, нипочем робить не заставишь, хоть золотом обсыпь. Ни кнута, ни палки, ни самого урядника они не боятся! Вон какой боров ходит. В каждой деревне, наверное, сударушка есть. Людей от дела отрывает. Рожа-то шире колеса. А тут робишь день и ночь как каторжной. Да будь я старостой, гнал бы из деревни таких дармоедов в шею».

Петр не знал, на ком сорвать свою злость.

— А вы тоже хороши, уши развесили, пускаете всяких бродяг! Так вот уедешь на займку, а приедешь ни к чему.

Что им стоит глаза вам отвести да обокрасть. Вот и будет пустыня, как он сказал.

...Рожь в этом году не уродилась, и Елпановы многим дали в долг на семена. «А если будущий год урожайным выпадет, — думал Петр, — еще прикупим хлеба; мельница у нас теперь своя, и за помол тоже хлебом станем брать. Хлеб-то и в этот год был дороже всего. Надо до весны его сберечь».

Осенью Елпановы свезли в заводы два обоза мяса: из-за неурожая много скота пришлось приколоть. Из-за плохих трав и в сенокос сена наставить много не пришлось. Но даже и этот неурожайный год принес Елпановым прибыли. Всю зиму Петр с работниками с утра до ночи работал то на мельнице, то в кузнице. От темна до темна и в дому, и на займке кипела работа — по будням, воскресеньям и даже в праздники. Хозяйство Елпановых теперь представляло собой хорошо налаженный механизм. Пока ничто не нарушало его повседневного ритма.

Петр был умным, дальновидным и предприимчивым хозяином с твердыми намерениями и несгибаемой волей. И он умел, казалось, подчинить этой воле кого угодно. Все хозяйство держалось на Петре. Он был суров, но справедлив и никогда не менял принятых решений, а обещания свои выполнял всегда.

Елпанов-старший втайне любовался сыном.

«Эх, жену бы ему поприглядней да помоложе! — часто думал Василий Иванович. — Хоть и живет он с Еленой, а не любит: еще только год прожили, а Петр уж совсем охладел к ней. Мы со старухой в первые-то годы не так жили... Может, детей Бог даст, и привыкнет он к жене, лишь бы на сторону не поглядывал...»

Елена жила в елпановском доме второй год. Сначала ей было очень трудно привыкать после вольной жизни в Ирбитской слободе. За годы первого замужества она

отвыкла от тяжелой работы — ее делала прислуга. А теперь Елене приходилось вставать чуть свет и целый день с утра до поздней ночи крутиться самой.

Все наряды и украшения были сложены в сундук: одеваться некогда, ходить некуда — за все полтора года один только раз Петр свозил в Ирбитскую слободу, да на обратном пути заезжали к его сестре в Киргу. Но это было после свадьбы... Чего греха таить, не раз и не два ей думалось: «А может, мачеха и сестры правы были: не надо было торопиться взамуж и уезжать в такую глушь из Ирбитской слободы? Нашелся бы жених там, а может, и в дом бы взяли какого, было бы еще лучше: всему хозяйкой была бы, и деньги при мне были...

Ни копейки своих нет... Петр говорит — все деньги в дело вложил. Неужто он и женился на мне ради денег и ни капельки меня не любит?» Все чаще ее одолевали невеселые мысли, и она плакала втихомолку, стараясь не попасть на глаза свекрови. На нее Елена пожаловаться не могла. И вообще старики Елпановы относились к ней, как к дочери.

Но Петр внимательней к ней не становился. Еленины мимолетные жалобы на здоровье он или выслушивал молча, или рассеянно говорил: «Ерунда — все пройдет». А то и рассерженно бурчал: «Все у тебя не как у людей!» Женское чутье подсказывало Елене, что по-настоящему привязать его к ней может только ребенок.

Елена доживала последний месяц беременности. Она стала непривлекательной на вид, на лице появились коричневые пятна. С огромным животом, на опухших ногах она еле ходила по дому. Со скотиной она управляться не могла, а за прялкой ее постоянно долил сон.

Теперь Пелагее Захаровне по хозяйству помогала работница Секлетинья Глазачева, расторопная, неунывающая и не старая еще женщина, которую в елпановском доме полюбили сразу все и стали звать тетей Синой. Сина попевала везде: и коров доить, и навоз чистить, и



воду из колодца таскать. Она заменила у печи Елену: та из-за беременности не могла переносить запаха мясного.

Близился к концу март, пошла третья неделя Великого поста, но утренники были еще настолько холодные, будто вернулся январский мороз-трескун. Елене осталось ходить до родов считанные недели. Как-то утром она попросила мужа:

— Отвез бы ты меня, Петя, рожать в Ирбитскую слободу. Там у меня знакомая акушерка есть... Боюсь я дома-то: ведь мне уже тридцать скоро, а я в первый раз рожать буду.

— Ну и выдумала, — удивленно вскинул брови муж. — Наши-то бабы в поле рожают, и хоть бы хны! Ты эти дурьи замашки породы своей брось, мы люди простые! В слободу тебя везти да потом оттуда — два дня потеряешь! А тебе ведомо, сколько сейчас на заимке работы?!

— На заимке тятенька тебя заменит...

— Тятенька! Много ли надежи на вас с тятенькой: знай везде сам поспевай, а то все не так будет сделано!

Елена заплакала... Петр примирительно потрепал жену по плечу:

— Ну, будет реветь-то, нешто я тебя обидел? Ну таков вот я есть — чего уж теперь? Привыкать надо...

А Елена уж простила, и обиды на Петра у нее все прошли.

— Боюсь я, всё сны нехорошие вижу...

— Да успокойся ты, Еля, все будет хорошо, вот увидишь! Ну пусти же, ехать мне пора!

И Петр пошел запрягать Буяна. Пока ехал до заимки, передумал многое: «Да, сто раз правы были старики, когда не советовали мне жениться по расчету. Дурак был, не послушал, а теперь — близко локоть, да не укусишь! Верно про кольцо обручальное говорят: не много попето, да навек надето. Век и жить придется!»

Петр через минуту думал уже по-другому: «Ну и пусть Елена сидит себе дома да куделю прядет, а я как был в разъездах, так в них и останусь!»

Где-то в тайниках души Елпанов хранил облик красавицы Соломии с Куликовских хуторов. После того как его в Устиновом логу чуть не порешили грабители, Петр видел ее только раз. Соломия не выказала никакого смущения, встретила, как всегда, приветливо и, стрельнув своими бесовскими глазами, зазывно усмехнулась:

— Что-то вы, Петр Васильевич, долго у нас не бывали, а еще полшалак купить сулили!

А сама разряженная, как купчиха, и вроде еще краше стала... Есть же на белом свете такие бабы: близко не подходи — обожжешься! Была бы она незамужняя...

Петр тряхнул головой и усмехнулся про себя: «Видно, не только в природе затмения-то случаются...»

Он еще раз тряхнул головой так, что на ней еле удержалась круглая татарская шапочка, и шлепнул вожжами Буяна по крупу.

«Елена! Знаю ведь, что любит меня, знаю, что она добрая, работающая, славная, а поди ж ты — не могу к ней привыкнуть!»

За этими размышлениями Петр не сразу и заметил, что сквозь осинник темнеют избы елпановской заимки. И сразу мысли его потекли по иному руслу: «Заимку бросать нельзя. Конечно, меж деревней и заимкой пополам не разорвешься... И так уж давно ни воскресений, ни праздников нет, а работы все прибывает. Скоро до того дойдет, что на Покров и в церковь к обедне некогда съездить станет. На отца особо надеяться нельзя — шибко он сдал за последние годы... Да и то сказать, поробил уж он на своем веку, пора бы и на покой.

Ну ничего, торговля у меня вроде ходко идет. Еще бы несколько годов урожайных, и, бог даст, поеду в Тобольск, в губернию. Подам прошение, чтобы в купечество меня произвели».

## ЗАЙМКА НА ОСИНОВКЕ

**П**етр Елпанов смолоду полюбил бывать на займке. Они с отцом уж много лет назад заложили эту займку на безымянной речке, которую они же и назвали Осиновкой.

Теперь на месте одного домика вырос целый хутор. Пятистенный дом, в котором жил давний работник Елпановых Черказьянов с семьей, и большая изба, где поместились другие работники, стояли на самом берегу речки. Место было сухое, высокое, дома стояли окнами к солнцу. На другом берегу — лиственный лес вперемежку с разлапистыми соснами и елями, а через полверсты от него уже начинался дремучий бор из старых сосен в три обхвата. В жаркие летние дни эти великаны давали тень и прохладу, а дурманящий смолистый аромат кружил голову. В бору было великое множество грибов-масляников, а на вырубках, солнечных полянках и на опушке, бывало, бабы и девки, чуть ли не сходя с места, целыми ведрами брали землянику или бруснику. Прямо от елпановской займки можно было попасть и в густой ельник, где под осень словно насыпано рыжиков и всякого груздяного добра.

Елпановы каждый год ездили на займку всей семьей за ягодами или груздями. Вода в речке Осиновке была до того прозрачной и чистой, что видна каждая галечка на дне. Осиновка никогда не застывала зимой, в любое время года слышалось ее журчанье. В летние жаркие дни можно было часами любоваться, глядеть и слушать, сидя на крутом бережке, мелодичный перезвон ее воды, прорывающейся через небольшую запруду для летнего водопоя скота.

Вода в Осиновке была особенная, до того приятная на вкус, что Петр никогда не мог напиться ею досыта. Дно

всей речки было усеяно разноцветной крупной галькой и красивыми камушками. Брала она начало от сильного подземного ключа, который бил из-под высокого крутого бугра, и текла дальше на много верст, где впадала в другую безымянную речку, уже более полноводную, но не такую чистую и прозрачную.

Весной на короткий срок Осиновка мутнела: талые воды бурным потоком шли из лесов, обрушивались в речку, и она свирепела, бурлила, ревела, но заимку достать не могла ни в какое половодье: берег был высок. Спасаясь от вешних вод, на этот берег бежало разное зверье — зайцы, лисицы, волки, а то и сам хозяин тайги Михайло Потапыч.

Все Елпановы любили ездить на заимку, а Петр часто говаривал:

— Кабы не торговля, так уехали бы сюда жить насочем — уж больно место пригожее! Но без торговли никак нельзя...

А торговля у Петра Елпанова шла своим успешным чередом.

## ПЕРВЕНЕЦ

**В**еликим постом Елена где-то простудилась и слегла. Сначала ей ни днем ни ночью не давал покоя надрывный кашель. Дальше — больше: начала болеть голова, Елену стало лихорадить, появился жар.

Пелагея Захаровна переполошилась: ведь снохе через неделю-две предстояло рожать! Свекровь не отходила от постели Елены. Когда та, мучимая тошнотой, отказывалась от еды, Пелагея Захаровна предлагала поесть то одно блюдо, то другое, наскоро принималась готовить что-нибудь третье или бежала по соседям, выпрашивая то, чего не было дома, но что могла попросить сноха. Так она хлопотала над Еленой целую неделю с утра до вечера, а по ночам, когда уже все спали, горячо молилась перед образами, чтоб рабе Божьей Елене было ниспослано исцеление...

Благодаря ее стараниям, лекарствам и наговорам бабки Евдонихи через неделю Елена, хотя и худая, бледная как смерть, все же смогла сидеть на кровати, закутанная в теплую пушистую верховую шаль. Пелагея Захаровна, понимая, что Елене, может быть, не меньше, чем травы и припарки, нужны ободряющие слова, рассказывала снохе, вспоминая, как сама она рожала своих детей. Свекровь Палаши была к ней строгой; семья большая, сидеть да нежиться не приходилось.

— Я Петра твоего как родила? Кое-как успели приехать домой с покосу, как я легла и родила, легко и быстро, ровно блин испекла... И нисколько потом не лежала, а через день поехала опять на покос.

Пелагея Захаровна не помнила, чтобы в их роду хоть одна тридцатилетняя женщина рожала в первый раз. Последнее время ей становилось тревожно оставаться наедине с Еленой, в голову лезли ужасные мысли, надвигалось,

точно грозовая туча, беспокойство за сноху. В глубине души она была сердита на сына: не будь он таким жадным к наживе, женился бы вовремя, на молодой девушке, по любви. Теперь уж дети выросли бы большие, да и они с Василием Ивановичем были бы помоложе и могли помочь.

Пелагея Захаровна за последний год заметно постарела. Ее когда-то густая темно-русовая коса поредела, побелела как снег, лицо избороздили морщины.

Неженатым был сын — была забота. Женился — тоже забота не меньшая.

Все усилия прилагала свекровь, чтобы поскорее вылечить Елену и перед родами поднять на ноги. Поила чаем с малиной, парила липовый цвет, березовый и смородинный лист. Елена поправлялась медленно. И не успела поправиться и по-настоящему встать на ноги, как почувствовала приближение родов. Всю ночь она не могла заснуть из-за боли в животе и в пояснице, нестерпимая боль пронзала ее все чаще и чаще. Утром она сказала Петру, собиравшемуся, как всегда, на заимку:

— Петя, остался бы ты сегодня дома... Плохо мне.

— Родишь и без меня! Надо будет — старики за повитухой пошлют!

Елена была в таком состоянии, что ей нужно было внимание как раз мужа, а не его отца-матери... Свекор со свекровью и так делали для нее все, что могли.

Когда Петр пошел запрягать, а потом послышалось ржание и топот копыт Буяна, она залилась неудержимыми слезами, в первый раз серьезно покаявшись, что пошла замуж за Елпанова и вот теперь решила родить.

Страшная боль пронзила Елену. Прибежавшая на крик роженицы Пелагея Захаровна подошла к постели:

— Сейчас, сейчас, Еленушка, повитуха придет, ты уж потерпи, милая!

Свекровь проворно оделась, и на ходу крестясь дрожащей рукой и шепча молитвы, побежала звать повитуху. Было еще темно. В деревне хозяйки начинали топить печи и управляться со скотом. Утро было морозное. Над Киргой стоял туман.

Остановившись, Пелагея Захаровна встревоженно думала, куда ей идти. «Лучше, конечно, к Феофанье Евдонихе, так ведь она уже старуха на восьмом десятке... Ивана Прядеина баба тоже родильницам не раз помогала... Как же ее звать-то? Парасковья... а вот чеевна — и не помню».

Постучалась в ворота Прядеиных. Прасковья стряпала хлеб. Не спрашивая, зачем пришла Пелагея Захаровна, она оделась и сказала снохе, вошедшей с полным подойником: «Ты, Овдотья, сама тут достряпывай, да в сильный жар-то хлебы не сади! Я сейчас к родильнице пойду, не знаю, когда и возвернусь».

Когда вышли на улицу, Прасковья спросила:

— Давно она мается-то?

— С ночи еще. Первые роды, а в годах ведь уже она...

— У всякой по-своему бывает... Бог даст — к обеду разродится!

Прасковья помолилась на образа, поздоровалась, разделась, погрела о печку руки и пошла в горницу, откуда доносились стоны.

— Воды отварной приготовь и все чистое!

— Все готово уж! — отозвалась Пелагея Захаровна. По требованию повитухи она принесла еще вересовника<sup>62</sup> и богородской травы.

— Неси сюда горячих углей: окурить надо родильницу-то вересом, чтобы дух легкий был в горнице! — распоряжалась Прасковья.

Вот уже настали сумерки, а Елена все продолжала кричать и стонать.

---

<sup>62</sup> Вересовник, верес — можжевельник.

Петр приехал с заимки. Пришел из кузни Василий. Елена все еще не родила. Она уже не могла кричать, охрипла и только тихо стонала.

Петр попросил разрешения зайти к Елене в горницу. Видя тяжелое положение жены, он или в самом деле проникся к ней жалостью, или сделал вид, что жалеет ее: подошел к кровати, наклонился и поцеловал ее в горячие воспаленные губы. Спросил: «Тяжело тебе?» Елена, едва шевеля языком и распухшими губами, еле слышно ответила: «Помру я, наверно, не родить мне. Прости, если чем досадила...» — «Да что ты, что ты, Еленушка! Все будет хорошо, вот увидишь! Ты меня прости, невнимательный я к тебе был, больше так не будет».

Сильная боль опять волной захлестнула Елену, и она слабым движением руки велела Петру выйти из горницы. В это время Пелагея уже вела бабку Евдонику.

Бабка Евдониха, маленькая, худенькая старушонка, к своим семидесяти годам стала совсем похожа на дряблую картофелину, но на ногу была скорая, за ней едва поспевали молодые, когда она бежала в лес за грибами, ягодами и целебными травами.

По дороге она корила Пелагею:

— И чё же ты, Пелагея Захаровна, утрось ко мне не пришла, если сноха у вас вторые сутки мучится, родить не может, — значит помогать придется, руки приложить. Дотянете вот так-то до самого нельзя, а потом приходите.

— Дак ведь Парасковья-то с утра у меня приведена, да ничего не может сделать, — сокрушалась Пелагея.

— Ну ладно, посмотрим, чё с вашей снохой подеалось. Чем могу помогу.

Эта ночь в елпановском доме была самой тревожной. Жизнь Елены висела на волоске. Даже старая опытная бабка Евдониха не знала, что делать, случай был исключительно трудный. Петр теперь уже сто раз покаялся, что не повез Елену в Ирбитскую слободу.



Бабка Евдониha решилаcь пойти на последний риск, когда уже все способы были испробованы. Она долго и тщательно мыла руки кипяченой водой, потом смазала их перекипяченным маслом и решила направлять ребенка — руки у нее были маленькие, но очень сильные и цепкие. Елена уже начала терять сознание. Чтобы привести ее в чувство, ей смазывали виски и лоб уксусом, подносили к лицу тлеющую ветку вересовника. Парасковья с Пелагеей осторожно нажимали полотенцем Елене на живот, а бабка Феофанья поминутно прикладывала ухо к животу и слушала. И вот наконец Елена отчаянно вскрикнула, и ребенок появился на свет. Это был мальчик, но он не дышал. Тогда бабка Феофанья, не медля ни минуты, очистила ему рот и стала дуть в него, при этом одновременно одной рукой делала массаж сердца, а другой шлепала по ягодицам. Ребенок вскоре задышал, заплакал, закричал сначала глухо и хрипло, но потом все громче и требовательнее. Крик сына сразу привел Елену в чувство. Она улыбнулась и тут же погрузилась в глубокий, здоровый сон. А наследник кричал все сильнее и настойчивее, показывая елпановский характер. Ночь уже близилась к концу. Только перед самым рассветом, когда в горнице все было прибрано, Петру показали сына. Ребенок был копия отец.

До самого рассвета не гасли свечи в елпановском доме. Бабка Евдониha сидела возле кровати родильницы. Она знала по своему многолетнему опыту, что хоть Елена и родила, но опасность возникновения кровотечения еще есть.

В первый день Елена не могла встать, чтобы пойти в баню, где, по обычаю, ее должны были вымыть и выпарить после родов березовыми вениками. Она была очень слаба. На второй день вести родильницу в баню уже необходимо, но она опять не могла идти, и ее повели под руки.

Силы у Елены восстанавливались очень медленно. Молока у нее не было. Пелагея стала кормить младенца коровьим молоком. Ребенок часто просыпался, плакал. Пелагея, почти не смыкая глаз, носила его на руках, качала. Под утро, когда засыпал, наскоро стряпала, варила обед. Доила коров и управлялась со скотом сейчас полностью Секлетинья. Но на девятый день Елена, бледная как смерть, пошатываясь и держась за стены, помаленьку начала вставать и нянчиться с сыном сама, да и ребенок к тому времени стал спокойнее.

Везти крестить новорожденного в Киргу побоялись — далеко, а на дворе вроде и не март, а студенький январь — так было холодно. Попа привезли в елпановский дом, и он, вместо церковной купели окунув младенца в кадушку с подогретой водой, окрестил Елениного первенца.

Так в деревне Прядеиной стал жить и здравствовать Иван Петрович Елпанов. Только что явившийся на свет человек многое изменил в жизни семьи. Петр Васильевич после рождения наследника относиться к жене стал внимательнее. А Елена, оправившись после родов, так и сияла от счастья, она похорошела и даже, кажется, стала моложе.

Боже! Как она любила своего первенца! Ради него она чуть не лишилась жизни, но все это — в прошлом. Теперь у нее есть сын, надо сберечь и вырастить его. Она целыми днями нянчилась с ним, перепеленывала, ласкала. Великая сила материнства бурным потоком прорвалась наружу, захватила ее полностью всю без остатка, всю ее душу и тело, тосковавшее столько лет по материнству. Елена еще раньше, когда жила с Шапошниковым, в душе завидовала молодым матерям. Она подолгу и горячо молилась перед иконой богородицы при дрожащем свете неугасимой лампы и шепотом просила: «Богородица-матушка! Сжался надо мной, грешницей, пошли мне дите на радость. Все же бы жить было не так тяжело. Как бы я его любить стала!»

Елена верила: пройдут годы, и она станет полной хозяйкой в елпановском доме. Может, муж привыкнет к семье, может, у них еще родятся дети? Будет Петр любить детей — полюбит по-настоящему и ее. Ведь бывает, что любовь приходит только с годами. А не придет — ну что ж, она будет жить ради детей.

Весна была холодной и поздней. Природа как будто насмеялась над людьми. Тепла все не было, а на Егорьев день навалило сугробы снега. Страшная метель бушевала три дня, валила вековые деревья, нельзя было высунуть носа из избы. В дикой пляске и реве ветра не слышно было собственного голоса. Даже старики не помнили такой метельной и холодной весны, с такими страшными отжимками. Конечно, и раньше бывали годы, когда «Егорий приезжал на белом коне», но чтобы нанесло снега в колено, да еще так мелко, не помнил никто.

Но как бы ни злобствовала природа, наконец, вдоволь натешившись буйством, на четвертый день сдалась. Ветер утих так же внезапно, как и начался. Из-за туч выглянуло солнце — небо, по-весеннему бездонное, голубело в вышине, как будто начисто вымытое к первому весеннему празднику доброй радетельной хозяйкой-весной. Щедрое солнце быстро растопило непрочный весенний снег, превратив его в веселые говорливые ручейки. Просушенная с прошлого года земля жадно впитывала влагу, еще несколько теплых дней с легким южным ветерком — и влажная земля прогрелась и стала подсыхать. У горизонта задрожало марево и поля наполнились духом поспевающей для пахоты земли. Быстро пошли в рост травы. На болотах заквакали лягушки — первые вестницы сева.

Наступили настоящие теплые весенние дни с трепетными звонкими песнями жаворонка в бездонной синеве неба. Деревья подернулись полупрозрачной дымкой, как

будто на них накинули тончайшей работы зеленоватую дорожку вуаль.

Осины и белоствольные красавицы березки принарядились, как девушки-невесты, понадевали на себя, повешали скромные сережки. Собрались толпой на солнечной веселой лужайке, как будто наперебой подбегая к лужицам весенней талой воды посмотреть на свое отражение и полюбоваться своей красотой. Каждая притом ревниво оглядывает свою подругу, не лучше ли ее наряд. Старые березы-матери стоят поодаль, изредка ворчат на своих взрослых дочерей, когда по их вершинам пробежит верховой ветер, они сердито бормочут и грозят, махая ветвями и непоседливому ветру, и слишком разбаловавшимся дочерям, которые затеяли веселый хоровод. Но старые березы не сердятся на молодежь, вспоминают свою прошедшую молодость и втайне любят свои повзрослевшими детьми.

Совсем маленькие березки жмутся поближе к своим матерям, старым березам, и те защищают их и от жгучего солнца, и от сильного ветра любящими материнскими руками-ветвями, баюкают их колыбельными песнями и знают, что придет время — и эти маленькие принарядятся и тоже, как их старшие сестры, будут водить хороводы на изумрудной зелени лесных веселых полянок.

Весело и хорошо ранней весной в березовом лесу. Повсюду кукуют кукушки, поют соловьи, весь лес заполнен разноголосым птичьим гамом. Значит, весна полностью вступила в свои права.

Вот и прогремел первый весенний гром. Все радуется. Все оживает, ликует и поет хвалебный гимн солнцу — подателю жизни всему живому.

Вечнозеленый хвойный лес весной как бы мрачнеет, становится угрюмее, замирает. Сквозь густые кроны ельника почти не просачиваются солнечные лучи. И даже в жаркие летние дни в нем всегда торжественно тихо.

В глухих сосновых и еловых борах не ощущается легкого дуновения низового ветра, ветер где-то в высоте шумит вершинами этих могучих столетних великанов, которые в любую непогоду зимой и в осеннее ненастье могут укрыть под своей сенью птицу, зверя и человека.

Никогда не перестану восхищаться нашей великолепной уральской природой, богатством и разнообразием наших лесов, которые в любое время года радуют глаз и украшают нашу землю.

Как мудро распределила природа: в долгую суровую уральскую зиму нет ничего красивее заиндеветших сосен в первых отблесках утренней зари или в последнем луче угасающего дня, тогда как лиственные леса стоят голые и прозрачные и как будто не подают признаков жизни. Но с наступлением первых весенних теплых дней оживают и приходят на смену своим хвойным собратьям.

...После голодного 1751 года и следующей холодной весны, задержавшей сев, исхудавшие от недоедания пахари потащились в поля с сохами, принялись на отощавших за голодную зиму лошадях кое-как засеять свои полосы. Весна, хотя и поздняя, кажется, сочувствовала измученным людям. Скот скоро стал наедаться, коровы прибавлять молока. Крестьяне с надеждой и радостью смотрели на первые всходы. Вовремя прошедшие июньские дожди вдосталь напоили поля и луга драгоценной влагой. Все прядеинцы от мала до велика радовались, глядя на высокие травы, на густые хлеба. Год обещал быть добрым.

## ТИФОЗНОЕ ПОВЕТРИЕ

Где-то на краю деревни запиликала гармошка, девки завели частушки «про миленочка», и на берегу Кирги стало весело.

Весной в пожарницу никто не идет, а вся молодежь располагается где-нибудь на завалинке, и гармонист играет «улошную». Начинается всеобщее веселье, все валом валят на излюбленное место. Кто-нибудь приносит в горшке горячих угольков, разводит костерок-дымник от комаров, и на вытопанной до черноты полянке-пяточке танцуют пары. Степенную кадрили сменяет быстрая, искрометная «восьмерка». Уставшие до изнеможения танцоры, обмахиваясь платочками, просят гармониста сыграть более спокойный «Ланце», затем «Барыню» и «Сербияночку».

Вот уже и солнце, подавая свой прощальный луч, позолотило верхушки старых сосен за Киргой, а молодежи не хочется расходиться. До третьих петухов будет надрываться гармошка. Но коротки июньские ночи: не успеет потухнуть одна заря, как ее сменяет другая. Как быстро летят часы свиданий! Слышится жаркий шепот влюбленных, клятвы любить до гроба, обещания, заверения и робкие первые поцелуи. Вот уже в воздухе чувствуется предутренняя свежесть, росой покрываются травы, а двое молодых сердец все еще хотят продлить миг свидания. Ничего, что не придется поспать, ничего, что наругает мать, а то и за косу отдерет и сразу пошлет доить коров или стряпать, а потом будет весь день сердиться. Все это можно перетерпеть ради часочка свидания с любимым.

Не много отводится времени на гуляния молодежи в деревне. Скоро Петров день, а там жаркая пора сенокоса. Но если, как говорится, в сенокос работают вполсилы, то в жнитво — во всю силушку, и гулять да водить хороводы

молодежи не придется до самого Успенья. Вот и приходится отрывать время для гулянок от сна. А многим уж и гулять-то остался последний год. В Покров нагрянут сваты в нарядной бричке, а то и просто в кошеве или даже на дровнях в коробу, и отдаст родной батюшка на чужую сторонущку за чужого да незнакомого, ненавистного мужика. И прости-прощай, сердешный друг, миленочек, с которым проводила теплые июньские ночи на берегу Кирги. И родные люди — батюшка с матушкой станут неумолимы и ничто не поможет: ни слезы, ни мольбы, ни угрозы. Станут перебирать все грешки и плохие стороны не только отца ее дорогого возлюбленного, но и деда, и матери, и бабки. И может быть, отдадут на мучение в еще худшую семью, но только не уступят ни просьбам, ни мольбам своей дочери или сына. Находились, конечно, и в те годы смелые, твердые в своем намерении, отчаянные головушки, которые шли против воли родителей и делали по-своему, но таких было немного. Таких людей и осуждали, и восхищались ими.

После обильных дождей установились жаркие солнечные дни. С самого раннего утра начинало нещадно палить солнце. Деревня словно вымирала в такой зной. С утра, уезжая на сенокос, многие хозяева закрывали окна снаружи ставнями, чтобы полуденное солнце не нагревало воздух в избе. Спать в избах было неважно, и несмотря на великое обилие комарья и мошкары, люди спали в завознях, под крышами на пятах, в балаганах, сделанных из пологов, или просто на телегах. Комарье выкуривали из домов и хлебов, поджигая навоз и сосновые шишки, положенные в глиняную посудину. Эту смесь называли куривом. Много бывало случаев, когда, уезжая на сенокос, оставляли куриво в хлеву непотушенным и от него случались пожары.

Июнь-июль в Зауралье — самая комариная пора. Комаров вблизи болот и на покосах, когда еще не успели

обкосить травы, собираются несметные тучи. С Ильина дня комарья убывает, но еще долго донимают пауты<sup>63</sup>, мухи и мелкая мошкара, особенно когда дело идет к дождю.

В елпановском доме все женщины вплоть до сенокоса сидели за кроснами<sup>64</sup>.

Петр спозаранку и дотемна пропадал на Кирге. Плотина была уже готова, и теперь ставили большую мельницу-водянку.

Петр вставал с восходом солнца, будил работников, и уже в тот час, когда бабы выгоняют на пастбище скотину, далеко был слышен стук топоров и визжанье пил.

Василий Иванович еще много работал по хозяйству, хотя ему уже доходил шестой десяток и стали сильно болеть ноги и спина. Вечерами после работы в кузнице Елпанов-старший садился на порожек сеней, брал на руки внучонка и серьезно говорил:

— Ну что, Иван Петрович? Как живешь? Опять, по-ди-ка, мамке спать не дал сегодня?

И вздыхал, покряхтывая от боли и глядя мальчика по голове:

— Сидеть бы нам с тобой дома, да некогда, работы много! Ой, Иванко, болят, болят у меня ноги, а спина ровно разваливается. Ну, ничё не попишешь, зная-то, отходили ноженьки по дороженьке... Да-а-а, сколь ими исхожено — и не сосчитать. Вот оно когда все сказывается-то...

— Мать! — звал дед Василий Пелагею Захаровну. — Где ты там есть? Неси шайку с теплой водой! Может, в воде хоть отойдут ноги-то мои... Доживу я, мать, видно, до того дня, что, как дед Данила, летом в пимах на зава-линке сидеть стану — вот беда-то будет! А ведь мне до

---

<sup>63</sup> Пауты (оводы) — собирательное название средних размеров паразитических мух, относимых к нескольким семействам двукрылых. Всего известно около 150 видов оводов.

<sup>64</sup> Кросны — ткацкий станок.



его-то годов долго еще, боле двадцати... Словно теперь вижу, как он ногами да спиной маялся, сердешный, царство ему небесное! Тятя ведь еще молодой был, когда мы из родных краев сюда тронулись!

Пелагея Захаровна подносила шайку с водой, ставила ее у ног мужа и вступала в разговор:

— Окстись, отец! Какой он шибко-то молодой был? Я помню, что ему в тот год, когда мы поехали, пятьдесят второй пошел, только что он был намного тебя здоровее, не такой изробленный. А ты, если так будешь робить, скоро и вовсе ходить не сможешь. Чё теперь — помирять на работе на этой, чё ли?!

И она сразу переводила разговор на свое, уж сколько раз думанное-передуманное:

— Ой, отец, чересчур покорился ты Петру-то! Уж лучше бы нам с тобой одним жить, в малухе, вот как дедко Евдоким со своей бабкой! Право слово — хуже нет, когда один сын. Вот и у нас — «один, да вырос с овин»!

Василий Иванович так вспылал, что даже ноги из поднесенной женой шайки наземь выставил:

— Эх, мать, ну и дура же ты! То Евдоким с Евдонихой, а то мы, Елпановы, — большая разница! Про них ведь никто в деревне ничё и не скажет, а про нас такая пойдет свистопляска, каждый рот отворять будет: мол, гляньте, Елпановы-то, отец с сыном, не поладили, — сраму не оберешься! Да где это видано, чтобы старики от единственного сына отделялись?!

— Ну тогда скажи ему, что ты в кузнице робить уж не можешь, — миролюбиво посоветовала жена.

— Говорил не одинова уж, а он все свое, — махнул рукой старик. — Укоряет меня, что работать я в полную силу не могу...

В Прядеиной выдался жаркий день. Парило. К вечеру стали появляться тяжелые дождливые облака. Вскоре

огромная темно-лиловая туча с седыми лохматыми краями медленно выползла из-за горизонта и направилась на деревню. Прядеинцы, завидя страшную тучу, нахлестывая лошадей, гнали домой, чтобы успеть до дождя.

В самую непогоду у Афанасьевой избы остановился нищий старик и попросился на ночлег. Нищего посадили за стол, хотя и так за столом у Ивана сидело десять человек: он сам, Рипсимия, Федора и семеро ребятишек. На ужин был черный охвостный хлеб, картошка в мундире, лук-батун и молоко. Старик поел мало, поблагодарил хозяев и, сказав, что очень устал, лег в сенях на лавке, подложив котомку под голову.

Ночью постояльцу вдруг стало плохо. Его сильно лихорадило, поднялся жар, он сильно замерз и перешел спать в дом. Иван с Рипсимией встали рано, чтобы за-светло добраться до покоса. Старик лежал на лавке, охал и вздыхал, но встать и идти дальше он не мог.

— Занедужил я что-то, хозяйева, — с мольбой произнес путник, — еще вчера, перед тем как к вам зайти, что-то ломать меня стало... Отлежусь вот маленько да и дале поползу...

Иван, мужик добрый и жалостливый, возразил:

— Да куда ты пойдешь, раз не можешь — лежи поку-да. Мы-то сейчас в поле поедем, а баушка дома останется с ребятишками... Пить захочешь, дак завсегда подадут. Куда уж тебе такому хворому идти, полежишь маленько, оздоровеешь — тогда и пойдешь.

Но к вечеру старику стало хуже, и когда приехали с покоса, Федора встретила их у ворот.

— Чё же нам делать с ночёвщиком-то, ребята? Расхво-рался он шибко, за целый день и воды не попросил, а по-хоже — жар у его большой. Не ровён час, помрет еще... Вот ведь наказание господне! Чё у его за болезнь? — озабоченно развела руками Федора. — Поди, какая пере-хожая? Я уж тут воды наносила да затопила баню, надо

вымыть его да одежонку-то выжарить. Вшей-то по ему ползает видимо-невидимо.

Иван с женой, преодолевая отвращение и брезгливость, подняли старика в грязных лохмотьях и вынесли из избы, он так и не пришел в сознание. Баня стояла далеко от двора, и его пришлось везти на телеге. В бане Иван раздел и вымыл его, одел в чистую одежду.

— Ну теперь он чистый, ходи за ним, не бойся! — сказал Иван матери. — Куда его денешь, человек ведь какой-никакой есть, может, после бани-то и полегчает ему, выхворается и уйдет. Жаль, не спросили, кто он и откуда. Как звать-величать, не знаем, какой деревни, волости. Выздоровеет — все расскажет.

Проходили дни, но больному становилось все хуже. Постоялец метался в сильном жару, в беспомощности кричал какого-то Степана, иногда ругался и звал какую-то Анну.

На шестой день он до того ослабел, что уже не мог ни стонать, ни кричать. К вечеру больной с усилием открыл глаза, обвел избу мутным взглядом, губы его шевелились, как будто он хотел что-то сказать, но Федора ничего не смогла разобрать.

Когда Иван с женой и старшими ребятами вернулись с покоса, в доме их ждал покойник: старик-постоялец уже лежал на лавке в переднем углу под образами, накрытый холстиной из Федориного сундука.

В котомке у него ничего не было, даже нижнего белья, а из денег нашли только несколько медяков. Хоронили его обществом, так и не зная — чей он, кто и откуда.

А на второй день на покосе Иван вдруг занемог. После обеда его стало лихорадить. До вечера промаялся в балагане, все думал, что отлежится, но становилось все хуже, и Рипсимия привезла его домой уже лежащим на телеге. Сразу побежали к дедку Евдокиму, а встревоженная Федора не отходила от больного сына.

Дедко Евдоким, посидев с нею возле Ивана, сказал:

— Неизвестна кака-то хворь, может быть... Вам, домочадцам, оберегаться надо бы...

Много повидавший на своем веку дедко не стал пугать родных, хотя с первого взгляда на Ивана понял, чем тот захворал.

Так снова пришла в Прядеину страшная болезнь — тиф. Следом за Иваном заболели Рипсимия и Федора, а потом, один за другим, и все дети.

Федора и трое детей вскоре умерли.

Стояла жаркая страдная пора, а в деревне — каждый день покойник, а то и два. Как будто невидимый враг разил людей каким-то смертоносным оружием. Кажется, сам воздух был пропитан страшным недугом. В деревне стояла гнетущая тишина, изредка нарушаемая страшным, как волчий вой, плачем по умершему родственнику. Прошел Петров день без веселья, без гостей, никто из молодых не собирался на круг, на игрища, не устраивали в тот год бега и скачки.

Всех умерших тифозных хоронили наскоро, словно тайком, — боялись, что болезнь начнет гулять по всей округе. Из волости приехал урядник и на сходе строго-настрого запретил кому-либо выезжать из деревни — ни в ближние деревни, ни в Ирбитскую слободу.

Не миновала страшная болезнь и семью Елпановых. Первой слегла Пелагея Захаровна: она ходила в семью Ивана, была на похоронах и на поминках. Потом прямо в кузнице свалился Василий Иванович; еле домой добрался из кузницы — и слег.

Сын его долго еще сопротивлялся болезни: могучий организм Петра не хотел сдаваться. Проснувшись утром с головною болью и с ломотой во всем теле, Петр превозмог подступившую тошноту и велел работнице принести квасу. Напился из запотевшего туеска холодного, только что из ямы, ядреного квасу, и ему будто полегчало.

Машинально вывел из стойла Буяна и запряг рысака в легкий ходок.

«Хорошо, что Буянко дома был, а не в ночном — не то в поле надо было бы за ним идти», — как в полусне размышлял Елпанов. Во всем теле была непривычная вялость, да еще ломило спину и плечи, будто после целого дня косьбы. «Неужто и я свалюсь от тифа, вот еще наказание... И не время хворать-то: в страду день упустишь — а потом и годом не наверстаешь», — как о чем-то постороннем нехотя думал Петр. С трудом забравшись в ходок, он взял в ватные руки вожжи и поехал на займку.

Елена с Ваняткой, как только заболели свекровь и свекор, перешла жить в малуху — она боялась за сына, ухаживала за ним только сама. Елена не выносила его из малухи и в малуху никого не пускала. Старательно кипятила и воду, и молоко; окно от мух занавесила мелкой кисеей.

За больными ухаживала теперь работница Секлетей, а Елена помогала по утрам, пока спал Ванятка, доить коров. Стряпкой наняли пришлую с заводов бабу. Марьюшка обличьем была корява и некрасива, но работницей оказалась честной и добросовестной. Она жила у Елпановых из хлеба; с раннего утра до позднего вечера бегала то по дому, то по двору: стряпала, варила, ухаживала за скотом, полола и поливала огород. За каждодневной работой она, кажется, вовсе и не думала о тифозной заразе.

Когда у Пелагеи Захаровны особенно сильно разболелась голова, Марьюшка с Секлетеей затеяли обрезать ей волосы. Но больная воспротивилась, сказав: «Покуда я не увижу, что смертынька моя — вот она, пришла, остригать волосы не дам!» И Марьюшка с Секлетеей отступились — пусть будет так, как она хочет.

А на девятый день Пелагее Захаровне стало очень плохо. Лежа на лавке, она еле слышно прошептала, будто прошелестела:

— Попа надо бы привезти... чтоб пособоровал...

— Подождите уж, хозяйюшка, — отвечала работница, поднося к пересохшим губам больной кружку с клюквенным морсом, — солнышко-то уж на вечер, скоро Петр Васильевич с заимки возвратится, он мигом на рысаке в Киргу слетает. Заодно и Настасью привезет.

— Ох, Секлетеюшка, доживу ли я до вечера? Где дедко-то, хоть бы с ним проститься. Сам-то он как?

— Да получше ему вроде. Заснул он сейчас, так тревожить-то его не надо...

— У Настасьи, поди, тоже все хворают?

Секлетей, чтобы успокоить больную, ответила:

— Не должно быть... Вроде в Кирге нету этой поветри...

— Пойди тепер в горницу, принеси ключ от моего сундука... Укажу я, в чем меня положить... смертный-то сряд мой давно готовый, в кошеле лежит сверху.

Сдерживая слезы, та сбегала в горницу, принесла ключ, открыла им большой кованый сундук-семерик.

— А справа в сундуке-то, — с трудом продолжала говорить больная, — труба холста... Вынь ее, разрежь наполам — это вам с Марьюшкой за то, что за нами с дедком ходите...

Когда Секлетей часа через два снова подошла к больным, то увидела, что Пелагея Захаровна уснула, а жар у нее спал. Кризис миновал. Василию Ивановичу тоже становилось лучше. «Слава тебе, Господи-милостивец», — закрестилась служанка.

А под вечер с заимки приехал Петр. Вернее сказать, умный Буян сам привез хозяина к елпановским воротам — в Петре бушевал тиф. Тепер в дому у Елпановых лежало трое больных.

Старикам день ото дня становилось получше. Василий Иванович, исхудалый, с длинной седой бородой, выходил, опираясь на палку, во двор посидеть на завалинке. Здоровье возвращалось медленно. Ноги были ватными,

непослушными, руки дрожали. Греясь на солнышке, Василий думал: «Эк меня болезнь-то окаянная вымучила, вовсе никудышный стал. Долго еще ладом на ноги мне не стать. Петруха свалился — всё чужие люди делают, а ведь догляд за всем надо. Уродила нынче земля-матушка хорошо, да толку-то мало вышло, на людей мор нашел. Високосный год редко добрый бывает: то неурожай, то саранча налетит, все пожрет, то градом побьет посевы. За что на нас Бог прогневался? За грехи, видно, такое наказание. Бога забыли, хозяйство стало большое, стали в праздники робить, в церковь редко ездили...»

Пелагея, худая и бледная как смерть, опираясь на клюку, тоже выползла на улицу.

— Бабка, ты, что ли, там ходишь? — с трудом приподнимаясь с завалинки, спросил дед.

— Хочу на воздухе посидеть, — тяжело переводя дух, произнесла Пелагея.

— Ты хоть оделась хорошо? А то враз прохватит, хуже старого будет.

— Меня Марьюшка хорошо одела, тепло. Боюсь я, дедко, как бы Марьюшка тоже не свалилась. Секлетея захворала и седни уже не встает.

— Ну мы же с тобой теперь ходячие. Сами помаленьку начнем все делать, — пытался приободрить жену дед.

Елена целыми днями была на ногах: помогала работнице Марьюшке и ухаживала за больным Петром и за выздоравливавшими стариками. Поздно вечером, скинув в темных сенях с себя всю одежду вплоть до нижней рубахи, одевалась во все чистое, умывалась настоем полыни и вересовника и, прополоскав рот чесночным отваром с шалфеем, бежала в малуху проведать сына.

Ванятке шел пятый месяц. Это был крупный большеголовый мальчик с живыми карими глазами и крутым лбом; с каждым днем он становился все больше похожим на отца. Купая и перепеленывая сына, мать говорила ему

нараспев: «Во-о-т, тятка у нас скоро выздоровеет, и мы с Ваняткой домой поиде-е-ем!»

Как только Петр стал оправляться от болезни, он запретил жене ухаживать за ним.

Хотя Петр без посторонней помощи выходил на улицу, но во всем теле чувствовал такую слабость, что потом часами лежал без движения, рассматривая все щели и щербины на потолке горницы, и как бы в забытьи думал: «Почему же я никогда раньше не смотрел на потолок? Ах да, мне некогда было разглядывать потолок. Боже мой! А как же на заимке? Нет, надо мне там самому быть!» И он, напрягая каждый свой мускул, с трудом приподнимал голову с подушки, но опять падал в изнеможении: «Позавчера уехали туда жать пшеницу Глазачевы... или вчера... а может, неделю назад... а может, вовсе не уехали, и мне наврали... а пострадки... где они? Все ли работают на поле? Ох, горе, горе, сам не доглядишь, толку не будет...» Петр забывается и видит перед собой толстомордого рыжего Никитушку. Проходимец заходит в горенку, и злорадно ухмыляясь, говорит: «Что, нечестивец, лежишь? Не это тебя еще ждет, ежели не будешь божьих людей привечать!» — и смеется диким смехом, потом подходит ближе и наваливается всей своей, откормленной на дармовых харчах, тушей на Петра. Петр хочет сбросить Никитушку с себя, но это уж не Никитушка, а кто-то страшный, черный, мохнатый щекочет бородой и жарко дышит в лицо. Петр изо всех сил силится закричать, но не может. И вот он собирает все силы и сбрасывает с себя страшного человека. Петр знает, что это сам дьявол пришел по его душу, и всячески старается прогнать его, но из-за черной отвратительной рожи дьявола выглядывает прекрасное личико Соломии, она зовет и смеется. Теперь уже Соломия подходит к нему, а дьявол прячется за ее спиной и протягивает к нему длинную лохматую лапу, лапа собачья, когти длинные-длинные. Лапа эта хватает



Петра, а Соломия снова смеется. Петр делает последнее усилие и летит в пропасть, в бездну, в темноту... и просыпается на полу, возле своей резной кровати...

В тот год тиф унес множество людей — старых, молодых, младенцев... В Прядеиной почти не осталось домов, где бы поветрие не стубило ни одного человека. Особенно много умерло бедняков, живших впроголодь.

Каким бы ни было это лето трудным, но погода благоприятствовала, и страда хоть медленно, но подвигалась: жали пшеницу; рожь, ячмень и горох были убраны, оставались овсы, лен, конопля и картошка, а это уже не считалось за страду, да и посева в этом году было намного меньше. Старики говорили, что такого урожайного года давно не было. Вечерами в пожарнице старики хвастали своим урожаем.

Многих мужиков не стало в деревне, и в пожарнице сделалось просторнее. Кто-нибудь из стариков вспоминал: «Любил вот на этом месте сидеть мой куманек, царство ему небесное. Могли бы еще пожить которые, кабы не поветрия. Никите Шукшину семьдесят с небольшим было, крепкой был старик. А Иван Прядеин? А дедко Ефрем?» После таких разговоров на душе становилось тягостно и прежнего задушевного разговора не получалось. Старики вскоре расходились по домам.

Окончательно тиф прошел только осенью.

Жара стала спадать, начали перепадать тихие осенние дождички. Журавли стали шить котомки, чтобы вскоре тронуться в дальний путь к чужим берегам. Собирались стаями, пролетали над своими насиженными гнездовьями и печально прощались с родиной. Пришло бабье лето — прекрасная пора тихой, торжественной грусти и увядания. Осень бывает похожа на стареющую женщину, которая вдруг, без всякой на то причины, заплачет тихо и безудержно, вспомнив свою бурную, жаркую

молодость. Но и среди грустных, печальных дней осень иногда улыбнется доброй материнской улыбкой, выглядит ясным солнышком, погожим деньком, одарит последним лучом, который не жжет, как в дни ее молодости, а ласково греет, разольется буйным пшеничным золотом по нивам, разругает щечки своих детей — плодов и ягод и смирит-ся с тем, что она уже не прекрасная девушка и не полная живительного сока молодая, а пожилая женщина-мать, которая не зря прожила свою жизнь и видит счастье в своих детях, ни о чем не жалеет и не страшится, что скоро пожалует седовласая зима. Она спокойно приготовится к смерти с чувством исполненного долга: все свои живительные соки отдала каждому зерну, каждой былинке — своим детям, чтобы весной вновь возродиться в новой жизни, пройти свой нелегкий путь, повторив все сначала...

В эту пору, когда закончена жатва, мужики возят снопы, складывают их на гумнах поближе к овинам. Старухи, бабы и ребятишки устремляются в лес за опятами, калиной и хмелем. Девушки-невесты к Покрову торопятся приготовить приданое, ведь большей частью свадьбы в деревне бывают осенью, около Покрова. Покров — самый веселый деревенский праздник. Глубокой осенью отдыхают люди, измученные жаркой страдной работой, отдыхают и кони — их выпускают на волю, и они ходят большим табуном под охраной какого-нибудь старого жеребца, который становится вожаком. Так было в Прядеиной и в этот год.

Так прошла осень, стали помаленьку забываться беды и несчастья. Хлеба в этом году было много. Северьян Обухов ни с того ни с сего пришел к Елпановым наниматься мельником. Петр Васильевич его нанял, прикинув явную выгоду, и елпановская водяная мельница теперь работала от зари до зари. Хотя плата за помол была высокой, от помольщиков отбоя не было, молоты ехали из окрестных деревень и даже из Харлово.

За помол платили зерном или деньгами; зерно шло в елпановские завозни, а деньги — в тяжелые, окованные железом сундуки. Вечерами, при лучине или сальной свече, Елпанов подсчитывал свои доходы и потирал руки.

«Слава богу, хороший, урожайный год выдался! Вот обмолотим, и сразу по первопутку с обозом собираться надо. Может, успеем до ярмарки не раз, а два раза в заводы съездить. И оттуда, конечно, не с пустыми санями поедем, сразу — на ярмарку!»

Петр заранее предвкушал выгодные торговые сделки; он любил деловое, хлопотливое и веселое ярмарочное время в Ирбитской слободе.

## КОНОКРАДЫ

**В** укромных тайниках сложной, многоликой Петровой души гнездилась тягуче-навязчивая мечта непременно встретить Соломию.

Он часто видел ее в предутренних сладких снах то недоступной, далекой, бестелесной красавицей, холодной как лед, то до бесконечности родной, близкой. Петр пытался заключить ее в объятия, словно боясь упустить это видение, начинал целовать милый сердцу образ. Но Соломия неизменно увертывалась и смеялась, и Петр просыпался, понимая, что держит в объятиях свою жену. «Тьфу, наваждение», — досадовал он. Быстро отворачивался от жены, отодвигался на край широкой резной кровати, стараясь заснуть еще, но сон не шел. Елена, разбуженная неожиданными ласками всегда сдержанного мужа, мгновенно просыпалась и говорила: «Петя, что с тобой?» Петр отвечал сонным голосом: «Не знаю, забыл уж, что-то во сне привиделось несерьезное...» И делал вид, что засыпает снова. И уже действительно переводил думы на другое — на хозяйство и своих работников.

Вдруг среди ночи за окном раздалось требовательное ржание Буянка. Петр слетел с кровати и бросился во двор.

На шее у коня был намертво завязан сырмятный аркан, конец которого волочился по земле. Буянку тяжело поводит впалыми боками, с которых хлопьями слетала пена, и умоляюще глядел на своего хозяина. Бежал он, видно, далеко и долго, или в последние дни его морили голодом. Но понятно было одно: какой-то лихой человек поймал коня в табуне и держал на привязи, однако Буянку постепенно выштал кол, вырвал его из земли и прибежал домой. Ноги коня были в кровь разбиты волочившимся по земле колом, и он хромал. Петр задал ему корму, а сам побежал искать табун.

Петр бежал, не чувствуя холода. Он сразу догадался и понял, что с табуном творится что-то неладное. Но на выгоне опамятовался: куда он бежит ночью, один, да еще в броднях на босу ногу. Вернулся в деревню. В деревне стояла такая тишина, что было слышно, как за Киргой в слободке поют петухи, по всему видать — третьи. Петр сразу определил время по Кичигам, по созвездиям Большой и Малой Медведицы. Коромысло, или созвездие Весов, было как раз напротив елпановского дома, значит, по всем приметам, рассвет наступит нескоро.

Что делать? Где искать лошадей? Что с ними случилось? Бежать, что ли, вдоль улицы, будить хозяев? Аль до утра подождать? Постоял, подумал. В деревне стоит такая тишина, только кое-где взлаивают потревоженные его шагами собаки, и опять становится тихо. Ночь перевалила на вторую половину, и сейчас самый сладкий предутренний сон.

Петр с холодного уличного воздуха зашел в сени. Сразу пахнуло хмелем, сушеными ягодами и молодыми опятами. В темных сенях долго шарил рукой по дверям, искал скобу. Наконец открыл дверь — так и потянуло избяным теплом: хлебом, кислым молоком, развешанными над печкой пеленками.

Из боковушки послышался голос отца:

— Чё там стряслось, Петро? Никак кони пришли сами домой?

Петр все рассказал отцу. Василий вышел из горенки в одном исподнем, но в старых больших подшитых пимах.

— Неуж цыганьё притряслось сюды к нам? Конокрадства-то ведь у нас пока не слышно было, бог миловал. Господи! Неужто это лихо к нам пришло, лошадей-то потеряли? А может, на одного Буянка и позарились, да и он молодец, убег от них. Утро вечера мудренее, дождемся утра и на свету ехать искать надо. Да один-от хоть не ездит. Мужики как узнают это дело, звать не надо будет, сами валом повалят.

Так и не сомкнули больше глаз до самого утра ни отец, ни сын.

— Шутка ли, самые лучшие четыре лошади в табуне остались, Буянко был пятый, ладно хоть, убег. А те где теперича, кто знает? Может, и вовсе не найдем. И кто это мог так сделать, то ли цыгане, то ли заводские, — все удивлялся Василий.

Перед самым рассветом Петр обежал всех хозяев, у которых в табуне паслись лошади.

Мужики разделились на небольшие группы и отправились на поиски.

Прядеинцы тихо переговаривались между собой:

— Само главное, мужики, чтоб кони не пошли к Паластрову озеру, поганое это место.

Озеро имело вытянутую форму, и один берег, ближний к деревне, был сильно заболочен. Когда-то давно в этом озере утонул охотник, попав в трясины. С тех пор поселилась у озера нечистая сила. Крестьяне, у которых были покосы у озера, всю ночь палили костры. Ночами у озера блазило — какими только голосами не завоет, не закричит нечистая сила. И ночевать там страшно, и домой ездить каждый день далеко. А покосы там добрые, травы вырастают по пояс, не то что около деревни на суходолах...

Долго ездили Петр с Иваном Афанасьевым, но даже следов не увидели. Решили захватить на заимку пообедать и взять серого мерина, у него шаг был получше, чем у Карюхи.

На заимке Ефим Черказьянов рассказал, что, когда косил для теленка отаву, видел, как проехали двое верховых. Кони у них были породистые, вроде Буяна, ухоженные, отличная сбруя, кожаные новые седла, а у передней луки седла сыромятные арканы, и у каждого приторочены запасные недоуздки и цепи.

— Что ж ты, дурья голова, мне об этом сразу же не сказал?!

— Из ума выпало! Да и мало ли кто тут мимо проезжает. Они как будто искали кого-то. Один из них был с черной бородой, у него еще в руке плетка была дорогая, цыганская.

— А если бы ты, Ефим, увидел этих людей еще раз, узнал бы их? Например, на ярмарке или просто на базаре?

— Шибко не ручаюсь.

— И долго они тут стояли?

— Совсем недолго. Не успел глазом моргнуть, как скрылись в Мослюковской чаще.

— Ладно, Ефим, берегите тут лошадей и весь скот, смотрите в оба, а то, неровен час, еще появиться могут тут эти молодчики.

Петру с Иваном стало ясно, что это были грабители-конокрады. Но где они сейчас? Неужто украли всех лошадей, больше сорока голов? И кто они такие, откуда?

Так проездили они целый день и воротились домой ни с чем, как и другие мужики. Наутро опять чуть свет поехали на поиски, и опять безрезультатно.

Через неделю погода стала основательно портиться, пошел дождь со снегом, и лошади стали возвращаться сами, но небольшими табунками, и приходили они с разных сторон. Видимо, табун был напуган и разогнан по лесам грабителями, а лишившись жоака, разбежался. Восемь лучших лошадей из Заречья не пришли домой и нигде не были найдены, хотя их еще долго искали.

Средь них две лошади были елпановские — Дружок, гнедой мерин на пятом году, и кобылица Звездочка, дочка той самой Звездочки, которую когда-то купил Василий в Харлово у Черты. Петр возлагал на нее большие надежды по улучшению рысистого поголовья в своем хозяйстве. Звездочка была молодая трехлетка, и потомства от нее еще не было.

Петр не спал ночами, сожалея об утрате породистых лошадей.

Как-то на мельнице харловский мужик сказал, что видел похожую кобылку около Ирбитской слободы, когда еще не было снега, ее вел за задком телеги какой-то мужик с черной бородой, страшный на вид. Василий с Петром спрашивали всех приезжих, но толком никто ничего не знал, только один галишевский мужик с помольщиками поделился, что около небольшой деревнешки Ерзовки не всегда спокойно, что, дескать, ограбили там одного зажиточного киргинского мужика.

Ехал он будто бы с продажей на базар. Глядь, выскочили из леса двое, накинулись, ударили чем-то твердым по голове. Очнулся в придорожной канаве. По счастью, мимо ехали добрые люди и его подобрали, а лошади с санями и товара как и не бывало сроду. Привезли в слободу, он ходил весь день по базару, у всех спрашивал, но никто ничего не мог ему сказать. Он и сам не мог объяснить, долго ли он пролежал без памяти и в какую сторону скрылись грабители; правда, один пьяный мужик в трактире говорил, что точно знает, где прячутся грабители и конокрады, но ехать туда опасно даже вооруженному, поскольку это главный их притон. Киргинский мужик допрашивался у пьяного, чтобы тот место указал, но тот попросил водочки, и перед тем как забыться в пьяном сне, заплетающимся языком невнятно сказал, чтобы боялись Куликов, там, говорят, живут вору и конокрады.

Помольщики рассказчику не поверили, только от души посмеялись над доверчивостью киргинского мужика:

— Пропил, наверное, лошадь-то с санями, да на грабителей и сказал?

— Да вы чё, мужики! Он совсем трезвый ходил и плакал, все спрашивал: «Не видали ли сивую кобылку с санями?» И голова разбита, — пытался оправдаться рассказчик.

— Небось поспишь в канаве зимой в такую холодрыгу, сразу протрезвеешь, а башку-то, может, сам себе



разбил, когда пьяный в канаву бухнулся. Ну посуди ты сам и подумай: если он ехал на базар из Кирги в Ирбитскую слободу, то как же он на Ерзовской-то горе оказался, ведь совсем не по пути и далеко в сторону.

Елпановы этого разговора не слышали, а деревенские не посчитали нужным рассказывать им про обсмеянного мужика.

Грабители и конокрады появлялись то тут, то там, они были хитры и неуловимы. Налетали внезапно, грабили и молниеносно скрывались. В волости уже давно знали об этом, но никаких мер не принимали. Что мог сделать урядник с двумя-тремя стражниками на всю округу от Белослудского до Кирги?..

Так и осталась пока загадкой для прядеинцев потеря восьми лошадей из табуна.

## ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Сорок лет уже прожили новгородские переселенцы в Зауралье. Елпановы давно считались самыми богатыми людьми не только в Прядеиной, но и во всей округе. Если бы кому-нибудь рассказать, что когда Василий Елпанов пришел в эти края, то в хозяйстве была всего-навсего одна лошадь, а жена Пелагея только мечтала о своей корове, никто и не поверил бы. Каждый год, даже неурожайный, елпановское хозяйство в деревне давало немалые прибыли, а когда-то небольшая заимка на речке Осиновке разрослась в большой богатый хутор.

Петру Васильевичу было уже сорок пять лет. Жизнь в елпановском семействе продолжалась по заведенному им раз и навсегда порядку, подчиняясь его характеру и воле, а больше всего — немалому капиталу. И хозяйство, и торговлю — все держал в железных руках Петр Елпанов. Он давно уж не заводил никаких знакомств, кроме деловых. А деловых, и стало быть, богатых знакомых у него было немало — и среди купечества в Екатеринбурге, и среди заводчиков в Полевском, Тагиле, в Невьянске, Алапаихе и Реже.

С бедными родственниками Елпанов не церемонился: подшучивал над Коршуновым, который продал большой отцовский дом и надворные постройки, чтобы учить старшего сына Якова в Екатеринбурге в каком-то училище. Петр Васильевич принимал это за самую настоящую блажь. «Ну зачем нам, мужикам, нужна наука, — говорил он, — читать и писать я умею, считаю так, что ни один приказчик-выжига меня никогда не обсчитает. Вот у меня хороший парень растет, — глядя на сына, радовался Елпанов, — замена мне будет. Хватко за любое дело берется. Во все дела вникает. Теперь уже видно, настоящим хозяином будет, еще года два, бог даст, в дорогу его брать буду. Пусть к торговым делам привыкает».

Елена в последние годы перестала следить за собой — ходила по двору в старой поношенной одежде, как самая бедная баба в деревне, денег своих у нее не было ни копейки, подвенечное и другие платья, платки и шали она тщательно берегла на приданое для дочери, потому что на мужа надеяться было нечего. Он страшно не любил, когда на что-нибудь у него просили денег. Все деньги он пускал в торговый оборот, с каждым годом преумножая свой капитал.



Петр часами сидел в своей горенке за столом около сейфа, скрупулезно записывая в амбарную книгу денежные операции. Сальная свеча коптила и дымила, и Петр, недовольный, закрывал свой сейф. Потом клал на стол свои огромные, как пудовые гири, руки. Сжимал кулаки со страшной силой, до хруста в суставах, и сидел некоторое время так. Его тонкие губы при этом плотно сжимались, на лбу выступали глубокие продольные складки упрямого, настойчивого человека, которого не остановят никакие преграды. Большой и горбоносый, он похож был в такие минуты на беркута, готового взлететь в любую минуту, чтоб подняться в высь и оттуда выслеживать свою добычу. Так он сидел несколько минут, затем быстро вскакивал со стула, стучал ладонью по столу и с глубоким выдохом говорил вслух: «Нет, что ни говори, а товарооборот у меня мал. Мало! Денег мало! Какое там к черту прошение в губернию... Не выбиться мне в купечество! Не тот размах!» Успокаиваясь, через минуту думал: «Хоть бы для начала здесь, в деревне, открыть скобяную лавку и начать торговать открыто, а то все с оглядкой, как Агапиха вином, из-под полы, незаконно. Построил бы я каменный магазин и повесил вывеску! Обязательно большую вывеску, чтобы с дороги было видно: “Скобяные товары Елпановых”. А там бы уж завертелось колесо. Все мечтал, надеялся, что вскорости купцом буду». Мысли Елпанова металась, им было тесно в его голове, они не поспевали за его грандиозными планами. Он твердо знал, что если бы у него был достаточный капитал, то он бы изменил не только свою жизнь, но и всей своей деревни: построил бы кирпичный завод, церковь, организовал бы обширную торговлю. Но денег катастрофически не хватало, пришлось продать дом жены, который Петр берет, мечтал, что на первом этаже откроет магазин, вверху будет контора и жилые комнаты для приказчиков.

В Великий пост внезапно заболела Пелагея Захаровна, полежала три дня, подозвала вечером внучку Марьянку и говорит: «Беги, Марьяша, тятю зови». Елена управлялась со скотом. Петр только что приехал с заимки, распряг лошадь и пришел в дом. Марьянка подбежала к отцу: «Тятя, тебя бабушка зовет!» Петр пошел в маленькую горенку-боковушку, и только теперь ему бросилось в глаза восковое лицо матери.

— Мама, ты чё, звала меня? — обеспокоенно спросил Петр.

— Звала, сынок... Петя, завтра с утра съезди в Киргу, привези попа — пособороваться хочу, чую, не встать мне уже, в нутре у меня болезнь какая-то. Заодно привези Настасью, Платона и Максимку, ну Яшуньки дома нет, уж ладно. Посмотреть на них хочу, с Покрова ведь не видела. Хочу проститься с ними, недолго уж мне жить-то осталось.

— Мама, чё ты выдумала помирать-то!

— Чё поделаешь, Петя, пора уж, с Пелагеи Пророчицы вот уж шестьдесят восьмой.

— Чё ты, мама, разве это много?

— При здоровье-то еще можно пожить, да хвораю я шибко.

Утром Петр поехал в Киргу и все сделал так, как просила мать.

Пелагея попросила, чтоб ей помогли сесть, и долго разговаривала с Настасьей и Платоном, выпрашивала, как живет отданный в ученье Яков и на кого он учится. Платон объяснил, что Яков будет фельдшером. Пелагея удивилась и одобрила это.

Платон с семьей переночевали и рано утром уехали.

Неделю еще лежала Пелагея, какая-то нутряная боль не давала ей покоя. Елена не отходила от нее, но свекровь ничего не могла ни есть, ни пить.

— Мамонька, чё у тебя болит-то, где? — спрашивала больную Елена.

— Ой, Еленушка, везде у меня болит, надсадна грыжа у меня давно уже. Раньше бабка Феофанья Евдониha правила меня, вот я и жила еще, а теперь некому грыжу править. Пороблено на веку-то было! Шибко мы с дедком изроблены, вроде еще и не так стары, а здоровья нет, — Пелагея замолчала, как бы собираясь с мыслями, улыбнулась иссохшими нездоровыми губами и продолжила: — Сон я сегодня видела, Еленушка, будто я на родине, молодая, в девках еще, бегу с игрищ, а сама прятаюсь, чтобы мамынька меня не увидела, а солнышко уже взошло, и народу много, и все глядят на меня, и дом-то свой я уже пробегаяю. Вдруг откуда ни возьмись из-за угла мамынька выходит и говорит так ласково и вовсе не ругает: «Ты чё это, мила дочь, долго на игрищах-то ходишь, я за тобой пришла, пойдём!» Взяла меня за руку и повела в другую сторону от дома. «Мы, — говорит, — теперь вон там живем, вот как ты долго гуляла, что свой дом забыла». Тут я и проснулась. Недолго, видно, уж мне жить, раз матушка зовет меня. Вот только обидно на чужбине умирать, может, там на родине еще кто живой есть из своих, да ведь никакой весточки не пошлешь туда и от их не получишь, далеко шибко мы заехали.

— А ты, мамонька, не беспокойся, — сказала Елена, — может, бабушка там еще живая?

— Ну какая уж живая-то, мы сюда поехали, ей уже более пятидесяти было...

Елена любила и жалела свекровь, Пелагея ей была как родная мать. За все шестнадцать лет, прожитых вместе, у них не было ни одной крупной ссоры.

...В тот день елпановская семья вся собралась вместе. Собралась по грустному поводу — прощаться с Пелагеей Захаровной.

Всю ночь Василий Иванович и Елена не отходили от угасавшей больной. Перед рассветом она отошла.

Василий Иванович, вмиг постаревший, седой как лунь, сидел у изголовья своей умершей супруги и горько плакал. Слезы катились из его покрасневших глаз по изрытым морщинами щекам, по длинной седой бороде, а он все сидел и сидел, как будто не мог наглядеться в последний раз на свою милую подругу жизни, с которой прошел бок о бок пятьдесят лет, делил напополам все радости и беды. Василий чувствовал, что жить без нее придется недолго.

«Не страшусь я теперь смерти, Палаша. Она-то ведь не всегда разлучает, а и соединяет. Скоро, чую, опять с тобой бок о бок будем, как и полсотни лет земной-то жизни...» — обливаясь слезами, думал Василий Иванович у изголовья покойной.

Все было готово к похоронам. Молодая расторопная Грунька, когда-то жившая у Елпановых в няньках, и Рипсимия готовили поминки.

Вот и похоронили Пелагею Захаровну, и бабы стали мыть в дому. Мыли с потолка и до полу, все тщательно скоблили: через неделю — Пасха. А там весенние заботы, посадка в огорода, и опять повторяющиеся из века в век заботы — посевная, сенокос, молотьба. В большой работе долго горевать не приходилось.

Теперь, когда похоронили свекровь, Елена стала полной хозяйкой, работа по дому вся была на ней.

Жаль было Елене рано утром будить дочь Марьянку, да что поделаешь — надо! Она осторожно подходила к ее постельке, трогала худенькое плечо и вполголоса, чтобы не испугать, говорила:

— Марьянушка, проснись, работы много — помогла бы ты...

Та лепетала спросонья:

— Сейчас-сейчас, мама...

Но глаза ни в какую не открывались, и дочь снова засыпала.

— Вставай, тебе говорят! Вон Ванька давным-давно уж в поле с отцом уехал, а ты все еще вылеживаешься! Смотри у меня! Вон она, двоехвостка-то!

Елена делала вид, что берет двоехвостку<sup>65</sup>, и дочь, тараща заспанные глаза, мигом вскакивала...

— Иди, холодной водой умойся, и пройдет сон-то!

Елена и сама, как только стала жить в елпановском доме, редко высыпалась. Да и все здесь — и хозяева, и работники — толком никогда не спали.

Иванку с марта пошел шестнадцатый год; всю весну и лето он был хорошим помощником отцу.

Дедушка Василий, хотя еще и шорничал помаленьку, после смерти Пелагеи Захаровны сильно сдал, одряхлел и иногда, сидя на лавке со шлеей или недоуздом<sup>66</sup> в руке, задумывался, устремив взор неведомо куда, пока его не окликал кто-нибудь из домашних.

Петр Васильевич, собираясь с обозом в Тагил, на этот раз решил взять с собой сына. Снег выпал рано, и Елпанов надеялся за зиму успеть съездить два раза. Приходилось брать с собой двух-трех работников: на дорогах было беспокойно из-за бродяг и грабителей. Бродяги появлялись и в Прядеиной; постоянно досаждая Агапихе, требовали вина в долг, страшая поджогом, и, бывало, бесплатно пировали целую неделю. Агапиха даже как-то на время закрыла свое заведение и всем говорила, что они с дочерью больше не делают ни кумышку, ни пиво.

Но Агапиха — это полбеды: в округе расцвело конокрадство. Прядеинцы теперь боялись пускать лошадей на вольный выпас — уведут. И уводили. Потом многие узнавали своих лошадей на базаре, но торговавший клялся

---

<sup>65</sup> Двоехвостка — плетка с расчлененным надвое концом.

<sup>66</sup> Недоуздок — конская уздечка без удил и с одним поводом.



и божился — мол, сам только недавно купил лошадь. Что тут скажешь, ведь не пойман — не вор...

Старики обсуждали новую напасть всяк по-своему.

— Поймать бы которого-нибудь, — петушился один, — самосуд навести да кнутами али вицами<sup>67</sup> до полусмерти выпороть, чтоб впредь неповадно было!

— Ха, ты сначала пойдя поймай попробуй! Украсть — дело нехитрое, а уж сбыть ворованное еще проще. Вон сколько таборов-то цыганских по округе мотается... Или татарам на мясо продать, те махан<sup>68</sup> за милую душу едят, ровно как православные — говядину!

— Где ж варнаки эти прячутся-скрываются?

— Ищи в поле ветру... Один проезжий говорил как-то, что на Куликовских хуторах нечисто. Якобы своими глазами видал, как двое мужиков с тракту лошадей вели, да как вели-то: шаг шагнут да оглянутся — не видел ли кто. Знать-то, неспроста все это, на Куликовские ниточки-то тянутся!

...Отец и сын Елпановы с четырьмя работниками уже не первый день в пути. На зимнего Николу часто завьюживает, вот и сейчас ветер в трубе воет, как отощавший старый волк, кидает в окно целые охапки снега.

У старика Елпанова на непогоду болят ноги, ноет поясница, вот и не спится ему в своей горенке-боковушке. Сноха с внучкой прядут при лучине, тянут свою бесконечную льняную нить, и такие же бесконечные мысли старика одолевают.

Уж больше сорока лет прошло, как Елпановы переехали сюда, в Зауралье, а он все чаще и отчетливее вспоминает Новгородчину, каждый дом в родной

---

<sup>67</sup> Вица — хворостина, прут, розга, хлыст.

<sup>68</sup> Махан — мясо (преимущественно конина), употребляемое в пищу (у татар, башкир и некоторых других народов).

деревне. Как наяву видит он своего деда Данилу. Тот под старость тоже ногами маялся и ходил круглый год в легоньких мягких пимах, которые к лету подшивал сыромятиной<sup>69</sup>.

«Вот не вьюжило бы на дворе так, то, пока Петрухи нет, съездил бы в Белослудское, в волость, упросил бы писаря письмо написать на родину, чтоб сына не просить... Петруха-то вот грамотный, да только о деньгах и думает, жену будто и не замечает, и нет ей от мужа ни ласки, ни радости, ни доброго слова.

Ну, мы с женой, кажись, ее не обидели... Дак ведь главное — со стороны мужа должно быть внимание к бабе, а не со стороны стариков-родителей. Ох, вовсе не так мы с Пелагеюшкой-покойницей жили, нет, совсем не так...

А жизнь-то прожить, правильно говорят, это не поле перейти...»

Старик, кряхтя, встает с лавки, берет валенок и принимается при лучине обшивать его сыромятиной. Но нейдет на ум работа, и он откладывает шило и дратву, и снова тягучие мысли в голову лезут.

«Взять хоть бы сноху... Со стороны поглядеть, дак жаль становится бабу. И добрая, и работающая, и жена, мать хорошая — а нет ей, видно, счастья. Ну не написано ей на роду именем своим владеть, и живет она у нас вроде работницы, а чё тут поделаешь? Женился Петр поздно, но и в парнях-то он все по-своему делал, а теперь и подавно! Вот и Иванка он тому же учит: внук чем старше становится, тем больше на отца похож, такой же упрямый будет и твердолобый».

Вспоминая дочь Настасью, старик досадовал на зятя Платона: «Не надо было Настю отдавать замуж тогда — неохота за него ей идти было, как сердце девичье чувствовало... Ничего путного не вышло из Платона — вроде

---

<sup>69</sup> Сыромятина — кусок сыромятной кожи.

и не то что дурак, а так, простофиля! Ну неужто не видел он, что отец не в своем уме был? Надо было взять у него деньги, да и вся недолга...

Сват-то, пока здоровье не подвело, умно, с расчетом все делал. Да вот наказание — навалилась какая-то болезнь, безумным стал. Тогда уж вот как надо было сыну взяться да привести в порядок все дела. А он их на само-тек пустил — и такой капитал прохлопал, таку торговлю загубил...

А теперь уж и постройки все распродал — сына, вишь, выучить затеял... Ладно ли будет? Сроду мужику баринном не стать! И выучится ли — это еще бабка надвое сказала, но от крестьянской работы, поди, отвыкнет. Тогда он и вовсе бросовый человек. Сам-то зять Платон человеком оказался никудышным. Вроде и не пьяница, а толку-то что?»

Третьи петухи пропели, а не идет сон к Василию Ивановичу и нет конца стариковским воспоминаниям и мыслям. Жена-покойница, зять, сын, внук, сноха...

Сноха в последнее время подолгу вечерует — приданое дочери готовит. Когда только и спит, сердешная? Как-то старик Елпанов заикнулся было Петру: уж не по силам ему стало помогать Елене со скотом управляться, нанял бы жене хоть какую-нито работницу — совсем ведь баба измаялась... Дак сердито так глянул сын: мне, мол, лучше знать, кому и когда нанимать работниц. С домашней работой они и вдвоем с дочерью справляться должны. Марьянку нечего жалеть — не белоручкой же ее растить, не барыней.

...Петр Елпанов почему-то недолюбливал родную свою дочь Марианну. Ясное дело, девка — товар, как говорили в старину, домашний, от девки один изъян в доме. То ли потому отец с прохладцей к ней относился, что дочь была далеко не красавица и от родителей унаследовала самое неказистое: большой горбатый Петров нос,

Еленины жидкие волосы... Да и глаза у Марьяны материны, с «навесом», как у татарки.

Он иногда сокрушался, глядя на дочь: «Экое, прости господи, чучело выросло, и взамуж такую не сплaviшь... Обличьем-то — голимая басурманка! Ну да ладно, какую уж бог дал...»

И Петр Васильевич переводил думы на другое...

## ГАВРИИЛ И АГРАФЕНА

Теперь, мой дорогой читатель, представим себя в конце семнадцатого столетия на одном из старых железоделательных заводов Урала — Надеждинском.

При строительстве заводской плотины плотинным мастером был поставлен сын пономаря, по отцу прозванный Пономарёвым.

Агафона Пономарёва после отбытия каторги выслали на вечное поселение на Северный Урал, где уже начали рубить вековую тайгу на месте будущего завода.

Агафон — мужик уже в годах, мастер на все руки: поневоле каторга обучила. Женился он на заводской работной девке Марьюшке, срубил избушку. Скоро родился сын, которого при крещении назвали по святцам Гавриилом. Десятый год шел Гаврюшке, как он осиротел — мать заболела и, неделю пролежав, умерла. Агафон во второй раз жениться не стал и жил вдвоем с сыном.

Настало время Гаврюшке на завод определяться.

— Сын у тебя, смотрю, уж большой, — сказал как-то Агафону приказчик, — хватит ему по поселку собак гонять, в работу его определить велено!

— Да какой большой — двенадцатый годок только пошел-то...

Да разве с заводским приказчиком поспоришь? Тот сразу отрубил:

— Вот што, Агафощка, знай-ка свое место! Ты, даром что в плотинном деле кумекаешь, — каторжанин, вот кто ты есть! Помалкивай да делай, что велено, не то плетей отведаешь в пожарной караулке!

Уже уходя, буркнул:

— У домницы руду будет Гаврюшка разбивать... Там и поменьше его огольцы робят!

Скоро Агафона Пономарёва погнали строить плотину в Богословском заводе, и сколько ни упрашивал Агафон разрешить взять с собой сына, начальство — ни в какую. С Богословской плотины Агафону вернуться было не суждено.

Друг Никанор, с которым он был в Богословске, как-то постучался в избушку и, пряча глаза, погладил выбежавшего на порог Ганьку:

— Нету боле твоего тяти, царство ему небесное... Погинул на плотине, сердешный! А ты теперь у меня жить станешь — так уж Агафон меня просил перед кончиной...

Размазал Ганька грязным кулаком слезы по лицу и по-взрослому сказал:

— Как же так, дядя Никанор, стряслось?

И как взрослому рассказал Никанор сироте:

— Там для плотины-то лесу к реке было навожено видимо-невидимо, целый штабель. И все — листовень, а она ведь, как камень али железо, тяжелая. Ну, наверху, на штабеле-то, двое робили, а он подошел к штабелю вы-бирать лесину, которая посмолевее. В это время один на-верху возьми да оступись, бревно сверху и полетело, да прямо на Агафона... Пока до избушки несли, он и помер, твой тятка...

Заколотили Никанор с Ганькой дверь избушки. Как говорится, голому одеться — только подпоясаться... В чем был пошел Ганька жить к чужим людям.

Семья у Никанора Самокрутова была большая. Жили впроголодь: ребята еще малы, старшая дочь невеста уже, да что толку, девка — не парень, какая от нее помощь в семье. Парень у Никанора, Семка, был Ганьки на год моложе — тоже, как и он, рудобоем у домницы робил. Подружились ребята — водой не разольешь. Ганька, не по годам сильный, защищал слабого Семку.

Так сирота Пономарёв Гавриил Агафонович стал работным человеком Надеждинского завода.

Прошло с той поры десять лет. Давно уж Пономарёв робил у домны кричным<sup>70</sup>. Это был высокий, худощавый, красивый парень. Из-за черных кудрявых волос и черных же больших глаз Ганьку Пономарёва прозвали цыганом. Был Ганька не только красив, но и силен, с удалью дрался в кулачных боях, когда по праздникам сходились стенка на стенку с парнями с кержацкого<sup>71</sup> конца.

В кержацком конце у него была возлюбленная, дочь богатого кержака Кондратия Масленникова, семнадцатилетняя Аграфена-Грунюшка — высокая, с длинной золотистой косой и румяная, как наливное яблочко, сероглазая красавица.

Да вот беда — старшие Грунины брательники, сами лютые забияки, которым не раз крепко доставалось в стенке от кулаков Ганьки-цыгана, и слышать не хотели о том, чтобы сестра встречалась на гулянках с «каторжанским сыном».

Когда Груня заневестилась, отец — от греха подальше — тайно ночью отвез красавицу дочь за тридцать верст, в старый кержацкий скит, к своей сестре, Груниной крестной матери.

А сам времени не терял — сразу стал договариваться о будущей свадьбе с одним купцом, который хотел сватать Груню за своего сына.

Свезти-то дочку Кондратий свез, да не знал, что она перед этим подслушала его разговор с матерью про то, что они замуж норовят ее отдать за купеческого сына.

Груня, услышав это, тихонько отошла от горенки, скоренько оделась, взяла коромысло и дубовые ведра — будто по воду к ключу пошла. У ключа ведра и коромысло надежно спрятала в кустах и крадучись огляделась —

---

<sup>70</sup> Кричник — работник при отжиме и отделке криц.

<sup>71</sup> Кержаки — этноконфессиональная группа русских. Представители старообрядчества.

вроде никто не видал — да бегом в заводскую слободку. Вот и дом Масленникова, а рядом Никанорова изба. Семка, по счастью, у двора был, в палисаднике штaketину новую приколачивал.

— Да спит Ганька твой после ночной смены! Если уж приспичило, дак сейчас на сеновал полезу, разбужу! — ухмыльнулся Семка.

— Ой, Сема, скажи — пусть к ключу придет! — крикнула Граня и бросилась бегом к ключу.

Ключ серебрястой лентой струился из горы по деревянному желобу. Пока набирались дубовые ведра, Грунюшка глядела на студеную, чистую как слеза струю и думала: «Вот превратиться бы в эту ледящую струю и течь веки вечные. Приходил бы мой сердешный друг Ганюшка сюда напиться и целовал бы своими жаркими губами мои холодные чистые уста».

Вздыхнула Грунюшка, подняла на коромысле тяжелые дубовые ведра, полнехонькие воды, и пошла вверх по крутому косогору к дому.

Семка еле растолкал спящего дружка:

— Да вставай ты, сонная тетеря, Грунька пришла!

Легче пушинки, ровно и без лестницы, слетел с сеновала Ганька! Одним махом взбежал на крыльцо. Через минуту, успев причесаться, выскочил за ворота.

— Ты наврал, что ли, черт полосатый, где ж она?!

— Так она и будет тут стоять, ждать, пока ты штаны наденешь! К ключу идти сказала, в кержацкий конец...

Ганьку ровно ветром сдуло.

А Кондратий Масленников оглядел дома все закоулки — все дочь искал, и не найдя, всю костерил жену:

— Это все ты со своим голосом-то скрипучим... Грунька, поди, все и слыхала, как мы давеча говорили!

— Дак надо было ее услать куда-нибудь, а тогда и говорить, — огрызнулась та и, глянув в окно, облегченно вздохнула. — Да вон она, с ведрами идет, видно, по воду бегала...



А на наш-то ключ скоро не сбегает: подружки перевстрелнут, тары да растабары пойдут! Сколь раз видала: ведра уж полнехоньки, а оне все шепчутся одна с другой...

— Ладно, — оборвал Кондратий, — ты теперь Груньке не говори ничё. А вечером, попозднее, скажешь, что мы с ей завтра поедем с третьими петухами.

— А чё так рано-то?

— Не твоего ума дело! Да много пожитков-то не собирай — небось ненадолго едет. Побудет в скиту у сестры с месяц, а мы за это время все и провернем!

Грунюшка вылила воду из ведер в кадку в сенях, благо она по летнему времени там стоит. Если бы она зашла в дом, родители по глазам догадались бы, что знает она про их замысел... Поспешила к ключу во второй раз. Никогда еще ноги не несли ее так быстро!

Вот и спуск к ключу, где чуть дальше образовалась чистая, с каменным дном, неглубокая речонка. Сердце ее оборвалось и забилося, как раненый голубь: у ключа брала воду кержачка Парфеновна. Груня подошла и едва выдавила из себя: «Здравствуйте, тетя Анисья». Анисья ответила, и Грунюшка стала ждать, когда Парфеновна наберет полные ведра воды.

Груня мысленно молилась в душе: «Господи! Сделай так, чтобы никто больше не пришел сюда, чтобы я могла сказать любимому наедине, что затеяли батюшка с матушкой, пусть знает всю правду».

Наконец-то Анисья с ведрами ушла из виду. Грунюшка подставила под желоб ведро, и вдруг как из-под земли появился Ганька.

— Здравствуй, моя лапушка, звала ты меня?

— Звала, Ганя, звала! Беда у нас — разлучить нас с тобой хотят, силком меня замуж выдать! Разговор я подслушала седня, что завтра утром, с третьими петухами, тятенька повезет меня в дальний кержацкий скит.

— А... это... зачем в скит-то? — оторопел Ганька.

— Да чтоб не мешалась я тут! Скит в лесу, в тридцати верстах отсюда, Прохладным называется. Там буду я гостить у своей крестной до самой свадьбы, самое большее — месяц. Если надумаешь, выручай меня, пока не поздно! Я на все согласна... Люблю я тебя, Ганя! Ох, кто-то идет, кажись... Беги скорее!

Вечером мать при отце сказала Груне:

— Собирайся в дорогу — решили мы с отцом свезти тебя погостить в Прохладный скит, к крестной твоей. Просила она наперед, чтобы привезли тебя, уж больно, говорит, соскучилась по крестнице!

Груня сделала вид, что слышит про это впервые и что рада повидать крестную.

— Ой, а когда ехать-то?

— Утром с отцом и поедете.

— Тятенька, а можно не завтра, а послезавтра?

— Нет, дочка, завтра поедем, потом некогда будет, покос поспекает.

— А обратно я как же — пешком?

— Вот еще вздумала, приеду за тобой! Погостишь чуток, и приеду!

— Можно мне тогда взять кошель одежды праздничной? Ведь праздники будут... А может, мне и не ехать вовсе? Право слово, у нас в заводе здесь веселее! Петров день вот-вот, игрища, гулянки, а я — сиди там, в скиту, со стариками...

— Да бери, бери ты наряды свои! Как же не ехать — ждет крестна-то. Но смотри — не своевольничай, слушайся Евлампию. Если она на тебя пожалуется, как я приеду, дак за космыню отдеру!

Кондратий отвез дочь и успел назавтра назад обернуться. Он был уже в годах, а дорога дальняя да худая и тряская — приехал домой хворый. Но лежать было некогда: покос ждать не будет, а скотины и лошадей у кержака Масленникова немало, да и хлеб вот-вот поспеет.

Назавтра раным-рано Кондратий уехал с сыновьями на покос; сначала выкосили и убрали сено на ближних суходолах.

«Вот и Аграфена помогала бы... Видать, зря я отвез ее в скит-то, — досадовал на себя Масленников, возвращаясь к вечеру в заводскую слободку. — Все едино с тем купчишкой до Покрова со свадьбой ничего не выйдет. А этот каторжанин и пикнуть не посмел бы. Да и што он Аграфене за жених — гол как сокол, в чужом доме живет! А я-то, старый пень, бабе своей поверил... Мало ли с кем девки на игрищах якшаются, лишь бы с умом гуляли и себя блюли...

А тут бы и при деле была, и брательники Митька с Гришкой за ней доглядывали... Ну ладно — бог даст, на дальних покосах сено уберем, дак к страде домой привезу Аграфену-то. А братьев следить к ней приставлю».

Груня уже две недели жила у крестной в скиту, как вдруг по заводу прошел слух: Ганька-цыган пропал!

Говорили, что ушел в ночную смену на завод, к домне, до обеда работал, как обычно, после обеда исчез куда-то... И к Никанору Самокрутову прибежали, но там никто ничего о нем не знал. Куда Ганька мог пропасть из завода, да еще ночью?

Болтали и такое: мол, брательники Масленниковы подстерегли по пути домой да убили — всяк знает, давно уж они зубы точили на Ганьку-цыгана. Убили да и бросили где-то.

Потом оказалось, что Масленниковы дома в ту ночь не ночевали: на дальний покос уезжали. И свидетели нашлись, которые божились, что так оно и было.

Утром на выгоне не смогли найти лучшую лошадь. И снова всколыхнулась молва: Ганька недаром цыганом прозывается — украл лошадь, да и ищи ветра в поле.

А после полудня из Прохладного скита пригнал верхом парень. Скоро вся деревня знала: дочь кержака Масленникова Аграфена из скита сбежала — неведомо с кем и незнамо куда.

— Вечером легла она спать в клетки, а утром смотрю — что-то долго не встает крёсенка<sup>72</sup>, — рассказывала потом Евлампия. — Пошла будить, ан глядь — дверь-то изнутри заперта! А как сняли с петель двери, вижу: Аграфены-то и нет! Ну и крёсенку бог послал! Да шток Кондратий еще хоть раз привез ее гостить — нам такую-то самовольницу и в жисть не надобно!

Грунина мать, Евфросиния, с утра занемогла, еле управилась со скотиной и лежала в снях на лавке, когда в ворота постучали. Евфросиния, кряхтя, встала с лавки и вышла на крыльцо.

— Чё надо, парень?

— С Прохладного скиту я пригнал... Тут... такое дело...

— Да говори ты, окаянный, не томи душу! Али с Аграфеной стряслось что?!

— Нету в скиту вашей Аграфены! Ушла она и никому ничё не сказала. Бабка Евлампия меня Христом богом умолила к вам ехать — можа, говорит, домой она пошла. Я, как ехал, всю дорогу во все глаза глядел — нигде не видать...

У Евфросинии руки так и опустились. Не успел исчезнуть в конце улицы приезжавший парень, а Евфросиния — подняться на крыльцо, как в калитку постучали.

«Никак, Аграфена это?!» — Евфросиния без памяти бросилась открывать. Но это была не Груня, а известная каждому в заводской слободке баба-сплетница Парфеновна.

— Здравствуй, Евфросиньюшка! Слышала новость? В заводе Ганька-цыган убег!

---

<sup>72</sup> Крёсенка — крестная дочь по отношению к крестным родителям.

И дальше застрекотала сорокой так, что Евфросиния и слово едва могла вставить.

— А с выгона Карюха Ивана Самойлова потерялась, дак потом на дороге ее нашли: идет оседланная, и повод к седлу привязан... Ганька-то, видно, проехал на ей сколько-то верст, а потом спешился. Может, он с сообщником каким дале поехал и лошадь за ненадобностью бросил — уж как там было, бог один знает, только, говорят, верст за двадцать отсюда Карюху-то оседланную нашли...

— А седло-то на ей чье?

— Да не могут пока дознаться, чье оно!

Когда Кондратий с сыновьями приехал с покоса, Евфросиния рассказала мужу о том, что говорил парень с Прохладного скита и о чем ей наболтала Парфеновна. Воспользовавшись тем, что сыновья распрягали лошадей и задавали им корм, она спросила тихонько:

— Отец, может, не говорить пока ничё ребятам-то?

Так и вскинулся Кондратий Масленников, прошипев:

— Ты что, дура старая, ополоумела?!

И загремел уже во весь голос, обращаясь к сыновьям:

— Вы слыхали, робята, что у нас тут дома-то творится?! Ганька-цыган из завода куда-то скрылся, и наша дура Грунька, говорят, с им из скита убегла!

Братья Масленниковы кинулись седлать лошадей.

Уже из седла старший, Митюха, крикнул:

— Мы, тятя, верхом-то их живо догоним! Но уж если догоним, то в живых не оставим...

Мать вцепилась в Митюхин рукав и навзрыд запричитала, умоляя их не совершать расправы. И не ездить никуда на ночь глядя, а лучше покормить лошадей и утре ехать всем вместе на телеге.

Никто в эту ночь в доме Масленникова не сомкнул глаз; после третьих петухов братья пошли запрягать.

Не успели выехать, как начал накрапывать дождь, который скоро превратился в ливень. Лесная ухабистая

дорога раскисла, тележные колеса по ступицу увязали в грязи. До скита добрались только к вечеру — уставшие, грязные и мокрые.

Евлампия поила их чаем и, жалеючи Евфросинию, старалась не шибко ругать крестницу.

— Хлеба-то хоть взяла Груня?

— А как же, взяла и кошель с одеждой своей, и три ковриги хлеба, я как раз накануне квашню ставила...

— Вот оно как все вышло-то. Ну что теперь поделаешь? Видно, шибко любят они друг друга, раз на побег решились!

Митюха на всякий случай поездил вокруг скита, да куда там — тайга велика...

Так и вернулись домой Масленниковы ни с чем. Братья сразу отправились в слободку к Никанору Самокрутову. Самокрутовская семья сидела за ужином. Никанор привстал за столом:

— Здравствуйте, добры молодцы! Проходите, садитесь с нами ужинать, беседуйте!

— Нет уж, дядя! Не сидеть мы к вам пришли, не беседовать, — злобно бросил Митюха. — Говорите, где Ганька, куда он Груньку увез? Начистоту говорите, а не то худо будет!

— А почему худо-то? — вскинув брови, с виду миролюбиво спросил Никанор. Потом, отвердев голосом, отчеканил братьям Масленниковым:

— Гаврюшка нам не сват-брат, совсем чужой человек-то... Слава богу, выкормили, выучили, к делу приставили. Силой вашу сестру никто бы не увез, да еще из скиту кержацкого. Сама она этого хотела! А ежели бы вы были путные братья, дак вы бы отцу и сказали бы: «Груня-то у нас одна, тятя, пусть она выходит за кого хочет!» И сестра бы ваша дома была, и вам, да и нам покой был.

Даки нет — вам лишь бы с кольями по деревне бегать всякий праздник! Пора обумиться уж да и себе невест приглядывать... А кольями вы невест не загоните!

Смолчали братья, больно уж крепко поговорил с ними Никанор Самокрутов — и просто, и доходчиво.

Так и ушли братья Масленниковы ни с чем. Пришли домой, отец сидит пьяный, мать ревет, избита.

Отец кулаком в стол колотит и орет на всю улицу:

— Проклянута стерва, не дочь она мне боле! Опозорила паскудница!

— Что ты, отец! Разве можно родное дите проклинать! Ей и так придется всю жизнь одной без родных на чужбине жить, — разбитыми в кровь губами возразила Евфросиния.

— Нешто ее жалеть, паскуду! Медведь бы их задрал в лесу!

— Отец! Опомнись, что ты говоришь? Ладно ли?

— Ладно! Это ты виновата, старая дура, во всем, — и он выскочил из-за стола, чтобы снова ударить жену.

Сыновья бросились отцу наперерез, взяли за руки и посадили на лавку.

— Не надо драться, тятя! Сейчас уж ничего не исправишь.

Мать, глядя на них, удивилась, что случилось с ее сыновьями, — они впервые защитили свою мать от побоев отца.

Тем временем беглецы были уже далеко. Они несколько не сомневались в том, что их ищут, а если найдут, то пощады не жди. И они шли и шли глухими лесами целые дни, прихватывая ночи, немного отдыхали на коротких привалах и опять шли, делили последние крошки хлеба, их ноги были сбиты до крови, одежда изнасилась и превратилась в лохмотья. Только закончившаяся еда заставила беглецов выйти к деревне, чтобы попросить хлеба.

Аграфена, подвываясь платком, несмело подошла к крестьянской избе, которая стояла вблизи от леса, зашла в приоткрытую калитку, и увидев подслеповатую старуху,

слезно попросила у нее хлеба. Старушка не отказала в просьбе, и осмелевшая Груня пошла просить милостыню к следующему дому.

Через час обрадованная Грунька прибежала к Ганьке, хвастаясь добычей.

Вот уже пошла вторая неделя, как они в пути. Чем дальше они удалялись от дома, от ненавистного демидовского гнезда, тем увереннее себя чувствовали. Они уже безбоязненно заходили в деревни, на хутора, выспрашивали дорогу, просились ночевать, и их пускали и кормили. Переночевав, они шли дальше; в одной деревне их попросили помочь грести сено, и они работали целый день, в благодарность за это хозяин отвез их в Ирбитскую слободу.

Так влюбленные оказались далеко от Надеждинского завода.

Аграфена очень переживала, что причинила горе своим родителям. За время, как сбежала из дома, она изменилась, лицо ее почернело, не стало того живого румянца, как прежде, и жизнь ей была не в радость.

В Ирбитской слободе беглецам удалось устроиться на работу к попу. Вот уже прошел месяц, как они работали у него, жнитво уже отходило, но оставались конопля, картошка, лен и много другой работы.

Попа звали отец Анисим. Это был старый, добрый на вид человек, обремененный многочисленной семьей. Как-то Аграфена рассказала отцу Анисиму о своих злоключениях и со слезами просила обвенчать ее с Ганькой. Батюшка Анисим выслушал ее, не перебивая, и согласился обвенчать их в ближайшее воскресенье после обедни.

Венчание провели тайно при закрытых дверях.

Наконец-то мечта молодых исполнилась: Гавриил Агафонович и Аграфена Кондратьевна стали мужем и женой.



Жизнь постепенно налаживалась, все становилось на свое место.

Жили молодые в поповской малухе, оплачивая проживание кабальной работой — каждый день с раннего утра до поздней ночи работали на поле, управлялись со скотом, помогали по хозяйству.

Грунюшка обливалась слезами, вспоминая свою жизнь у родителей.

— Ну почему так несправедливо устроена жизнь? — жаловалась она мужу. — Почему мои родители были против тебя? Неужели нам придется всю жизнь батрачить и не иметь своего угла?

— Любимая, не надо бояться временных трудностей, — успокаивал жену Ганька, — со временем будет у нас все свое: и дом, и хозяйство, только надо немного потерпеть.

Ганька был сиротой и привык к жизненным трудностям. У Аграфены жизнь сложилась совсем иначе. Она жила при родителях в своем доме, все только и заботились о ее благополучии. Родители оберегали свою единственную дочь от грязной тяжелой работы. Здесь же было все по-другому: она вставала раньше всех, приносила в дом дрова и воду, топила печи, доила корову, кормила и поила скот, прибиралась в комнатах, мыла полы, помогала матушке Раисе стирать и варить, потом шла на молотьбу. Стирка и все работы по хозяйству были возложены на нее. Ганька помогал жене как мог.

Постепенно Аграфена стала привыкать к своей новой жизни, и все бы было хорошо, если бы заезжий на ярмарку приказчик купца Фомичева не узнал нашу беглянку.

В этот злополучный день Груня помогала сортировать товар в торговой лавке. На ее беду, в лавку заглянул приказчик Фомичева.

— Постой, красавица, ты не из Надеждинского заводу будешь? — окликнул Аграфену приказчик. — Я тебя там видел! Забыл только, чья ты дочь?

— Я даже не знаю, где он, этот Надеждинский завод! — не задумываясь ответила Груня. Лицо ее покраснело от страха, лоб покрыла холодная испарина.

— Не ври, молодуха! — внимательно разглядывая беглянку, резко сказал приказчик. — Знаю теперь, ты чья, вспомнил! Масленниковых.

— Да отвяжись ты от меня, не знаю я никаких Масленниковых, тутошняя я! — возразила Груня, и воспользовавшись тем, что приказчик отвлекся на какой-то товар, выбежала из лавки.

Аграфена прибежала домой вся белехонька, ни жива ни мертва.

— Ганька, пропали мы с тобой! На ярмарку наши из заводу приехали, приказчик Фомичева меня узнал. Уйдем, Ганя, отсюда, сейчас зима уж на вторую половину пошла, днями пригревает.

— Да где мы теперь наймемся в строк, в это время нас никто не наймет. Может, все образумится, — справедливо рассудил Ганька.

Ярмарка уже подходила к концу. Гавриил с Аграфеной все боялись, что их будут искать, но землякам, видимо, искать их было некогда, или просто забыл про беглянку приказчик, или в самом деле не был уверен, что это дочь Масленникова.

Беглецы понимали, что долго оставаться в Ирбитской слободе нельзя. Слобода была торговой, сюда съезжались со всей губернии, и в зимнее, и в летнее время по рекам возили товары, а из Надеждинского завода в любое время года можно было встретить торгашей, закупающих оптом хлеб.

Началась весна, стаял снег, и как только просохли дороги, Ганя с Груней отправились в путь. Аграфена ждала ребенка — была на пятом месяце, далеко они уйти не могли, пошли от слободы прямо на юг, малыми дорогами, прошли верст тридцать пять и увидели хутор в лесу.

За высоким плотным забором так и заливались огромные псы, дом был большой и хорошо застроенный.

Вышла баба в домотканой одежде, уняла собак и спросила:

— Чё надоте?

— Переночевать бы.

— Проходите ужо, собаки не достанут — привязаны.

Путники прошли к высокому крыльцу, двор был застроен наглухо — по-кержацки.

В сенях сидела старуха и ткала холсты. В избе трое маленьких ребятишек, причем один из них в зыбке.

Баба провела гостей к столу и накормила путников.

— Куда путь держите, сердешные? — спросила хозяйка.

— Идем на поселение, — кратко ответила Груня.

— Хозяюшка, а какие тут поблизости деревни есть? — быстро задал вопрос Ганя, боясь, что хозяйка начнет их расспрашивать, откуда они и кто их родные.

— Да какие тут деревни? Никаких больших нету, мы вот приехали, построились, уж десятый год живем. Версты за две от нас Карлов хутор, в нем, говорят, какой-то иноземец, Карла, первый поселился, — словоохотливо рассказывала хозяйка, да и как иначе, когда живешь в такой глуши и годами не видишь чужого человека. — Когда мы в эти места приехали, его уж давно живого не было, теперь его сыновья, внуки живут, а за семь верст отсюда Прядеин хутор, — хозяйка махнула рукой в сторону, жестом показывая, где находится этот хутор, — живут там ссыльные, каторжане, домов пятнадцать, вот и все, а деревень больших поблизости здесь нет.

Незаметно прошло за разговором время. С пашни приехал хозяин, высокий, могучий мужик лет сорока пяти, с окладистой русой бородой, с синими добрыми глазами, и с ним три сына; один парень, видимо, старший, лет двадцати, такой же могучий, как отец, отец его

называл Иваном, второй сын лет восемнадцати, черноватый, худощавый, которого звали Гришкой, и третий сын лет одиннадцати, белоголовый, с синими васильковыми глазами.

— Семья-то у вас подходящая, — обратился к хозяину Ганька.

— А как же без семьи-то, помощники ведь в хозяйстве нужны, работники. Восемь человек всех детей у нас, может, еще кого бог даст, все вырастут.

Эти простые деревенские люди сразу понравились Гавриилу с Аграфеной. Они не допытывались, не выспрашивали, кто они и откуда, ограничившись той информацией, которую сказали путники.

Добродушный хозяин, узнав, что путники ищут место, где поселиться, сказал: «А вот здесь и останавливайтесь да селитесь, соседями будем, поживите пока у нас, отсеемся вот, поможем вам избушку поставить. А пока ложитесь спать, утро вечера мудренее».

Так остановились Ганька с Аграфеной у зажиточного крестьянина в Карловом хуторе, где было всего два дома, причем довольно далеко друг от друга, и назавтра же стали помогать своему хозяину.

Хозяина звали Кочура Елизар Иванович. Родом он был откуда-то из центральной России, как и когда попал сюда, в Зауралье, говорить не любил и никогда не рассказывал о себе.

Ганька решил строить дом за рекой, выбрав не совсем удобное место для строительства, рядом с глубоким оврагом, неподалеку от лесной чащи. Елизар отговаривал строиться тут, но Гавриил был непреклонен, и своей жене Аграфене объяснил: «Не нужно забывать, что мы беглые и нас могут искать, построим дом за рекой у леса, чтобы не каждый путник мог до нас добраться».

Красный лес был далековато, но на избу навозили быстро, и дело закипело, к сенокосу изба была поставлена

на мох, сделали глинобитную печь, и молодые зашли жить в свой дом.

В жнитво Аграфена родила сына, которого назвали Тимофеем. Очень трудно пришлось молодым первый год на новом месте, денег у них не было, но Елизар с сыновьями им помогли — дали в долг лошадь и стельную телку.

Прошло пять лет, Гавриил с Аграфеной полностью рассчитались с Елизаром, стали жить своим домом, работать на своей земле, у них родился второй ребенок — дочь Клеопатра.

Иногда на хутор навевывалось волостное начальство да и просто приезжие поселенцы. Гавриил с Аграфеной знали, что демидовских прихвостней нельзя недооценивать, и всячески старались скрывать свое прошлое. Если незнакомые спрашивали, кто живет в этом хуторе, то Гавриил неизменно отвечал: «Черта!»

С годами прозвище все больше укреплялось за ним, и почти никто не знал его настоящего имени, все в округе его звали Черта.

Семья росла: старший, Тимка, уже помогал отцу, вскоре после дочери Клеопатры родились еще два сына — Леонид и Афанасий. Росло и хозяйство, и когда в Прядину приехали жить на поселение Елпановы, Черта уже был дедом.

После смерти жены Черта стал совсем нелюдим и никого не хотел видеть, он жил один, жениться больше не стал, а для уборки в доме держал чужую безродную старуху.

Вот в ту зиму и приезжал к нему Василий Елпанов с Никитой Шукшиным покупать лошадь.

Пришло время, умер и сам Черта, но неместное прозвище точно приклеилось к его сыновьям, их все стали звать Чертятами.

## «РУССКИЙ ПОЛЯК» ИЗ МАЛОРОССИИ

Весной 1765<sup>73</sup> года в Галишевой появился пришлый человек. Незнакомый мужчина в запыленной одежде, с котомкой за плечами, спросил у встречной бабы, где живет староста. Та указала на дом-пятистенку старосты, а сама долго глядела вслед незнакомцу. В деревне все удивлялись: кто такой? Откуда вдруг?

Удивлялись, потому что после голодного 1751 года, когда через деревню вереницами тянулись нищие и убогие, пришлых людей в Галишевой и не видавали.

Незнакомец отворил калитку старостиного двора и, несмотря на лай огромного пса, смело прошагал к крыльцу. В сенях его встретила старуха, мать старосты:

— Чё те надо, милоч?

— Староста здесь живет?

— Здесь-то здесь, батюшка, только дома его нету — на покосе он...

Незнакомец уходить не спешил, снял с плеч и положил на скамью котомку.

Старуха внимательно посмотрела на мужчину.

Это был высокий блондин, узкоплечий, чуть сутуловатый. Светлые пакляные волосы расчесаны на косой пробор. На вид ему можно было дать около тридцати лет. Загорелый, с высоким крутым лбом и прямым, чуть длинноватым носом, резко очерченным ртом и тонкими губами; все говорило о том, что человек он волевой, смелый и умный, с твердым характером. Во всем его облике чувствовались усталость и тяжелый отпечаток душевных бурь и переживаний, которые наложили на его лицо множество мелких морщинок у глаз. Одежда пришельца

---

<sup>73</sup> 1765 — точный год неизвестен (*ред.*).

была бедной, но чистой. Белая парусиновая рубашка оттеняла загар лица, крепкой мускулистой шеи и рук.

— Не бойтесь, хозяйюшка, я не бродяга какой-нибудь... На поселение меня к вам в деревню волость послала... Не дадите ли мне поесть немного, а потом я отдохну и по дождю старосту. Не сомневайтесь — за еду я вам заплачу.

— Бог с тобой! За хлеб-соль с прохожего человека у нас денег не берут...

Через минуту, почистив у крыльца потертый, но аккуратный кафтан, умывшись из глиняного рукомойника, он сидел в избе за столом. На столе лежали свежие огурцы, зеленый лук, вареная картошка, каравай хлеба и большая кринка молока.

Старуха стояла поодаль, сложив на животе руки.

— А вы сами что же? — удивился пришлый. — Садитесь, в компании-то веселее!

— Да давеча уж поела. Ты сам ешь давай, да не обесудь — чем богаты, тем и рады. Семья-то на покосе, дак я и печь седни не топила... Вечером мои приедут — тогда на тагане суп сварю свежий...

— Ну, спасибо вам, мать, за угощение! — кончив еду, положил ложку пришлый. — Досыта накормили, даже в сон поклонило... Можно, я в сенях на часок прилягу?

— Да в сенях тебе, сынок, неспособно будет! — захлопотала старуха, которой шибко понравился обходительный постоялец. — И я туда-сюда хожу, дверями хлопаю, да и мухи, язвило бы их... Иди-ка ты лучше на сеновал, там хорошо, прохладно...

Не успела она показать лестницу на сеновал, как к дому подъехала пароконная телега, а на ней — староста с сыном.

— Здравствуйте, я из волости к вам по делу, — вышел из калитки пришлый.

— Дак проходи, гостем будешь, — пригласил староста. Наказав сыну распрягать лошадей, он повел гостя в избу.

— Значит, на вечное поселение к нам, после каторги? — спросил он, выслушав пришлого и взглядываясь в его лицо. У того были белокурые волосы, серые, со стальным отливом глаза, пшеничные усы и аккуратно подстриженная борода.

— Откуда, говоришь, родом-то?

— Издалека, из Малороссии. Я — русский поляк. До каторги у тамошнего пана служил, потом дело одно вышло... долго рассказывать. Слыхали вы когда-нибудь про политических?

— Это против царя которые, что ли? — насторожился староста.

— Против царского режима...

— Вот оно что! Ну а прозвание, имя и по батюшке — как?

— Фамилия моя Сосновский, а зовут Вацлав Казимирович<sup>74</sup>.

— Иноземец, что ль — имя-отчество не вдруг и выговоришь... Ну да ладно! Раз послан волостью к нам жить — живи, только народ не мути. Пожитки-то твои где?

— Вон в мешке, в сенях...

— И всего-то?

— Еще сундучок с книгами остался в Тобольске. Знакомые с оказией прислать обещали.

— А книги-то там, поди, против царя да помещиков?

— Такие уж давно полиция изъяла...

— Ну ладно, живи, только чем ты жить-то будешь? В батраки, что ли, наниматься?

— Стану делать то, что умею!

— Да что ты умеешь-то? Неуж пахать, сеять, за скотом ходить? А вот в кузне ковать али плотничать сможешь?

---

<sup>74</sup> Вацлав Казимирович — возможно, Казимир Вацлович (*ред.*). Ссылка в архивных документах: Сосновский Казимир — муж., мещанин Виленской губ., г. Вильно, сослан на водворение, находился в Тобольской губ., в 1872 г. умер. ГУ ГАОО. ф. 3. Оп. 6. д. 9250. Л. 54.



— Уж в кузнице как-нибудь справлюсь!

— Вот что, парень, нанимайся-ка ты к моему брату, Африкану. Своя кузница у его, а помогать-то некому: в семье все дочери; был один сын, да о прошлом годе помер. Вот сейчас поужинаем да и пойдем к ему! Африкан — мужик уж в годах, он тебя за сына держать будет, коль ты ему по душе придешься! Бабка, собирай на стол ужинать! Поужинаем — пойдем к Африкану, поведу ему работника.

— Вечно ты, дедко, не в свое дело суешься! Африкан-от и без тебя найдет работника, когда надо будет. Как ты можешь нахваливать, когда сам не знаешь, што он за работник!

— Работник у хозяина корнями не вырастает... Худо будет робить, так выгонит Африкан, только и всего. Пошли, парень, как тебя... Вацлав! Ну, я буду звать тебя Вячеслав — по-русски.

— Как хотите...

Африкан Савватеевич Кузнецов нового работника нанять согласился, но сначала принялся выспрашивать:

— Ты из иноземцев, что ли?

Вацлав снова усмехнулся:

— Нет, я русский, только польского происхождения.

— А какому богу молишься, нашему аль какому другому? Ежели басурманин какой, говори сразу. Из басурман работника нам не надобно, мы — православные.

— Я тоже православный.

— Семейный?

— Нет, одинокий я, холостой.

— А отец-мать живы?

— Когда из дому поехал, были живы, а теперь не знаю...

— Видать, плохо они тебя учили уму-разуму, ежели ты против царя-батюшки пошел! Рази можно? Кулаком стену не прошибешь, да и одного царя сместят, дак все едино — другого посадят!

— Вот это уж истинная правда, — опять усмехнулся Вацлав.

— А где же, скажи на милость, Маларасея — далеко, поди?

— Далекое!

— Да вот што я тебе еще скажу, друг любезный: будешь жить у меня, в доме одни девки, целых четверо, лихоманка их понеси. Старшая, Агашка, — та двадцати пяти годов вдовой осталась, мужик-от помер, тоже у меня живет. Дак ты, парень, смотри, я наперед упреждаю, сам понимаешь, если чё — в момент за ворота выгоню! Мои девки не про тебя, так сразу и знай... Девки — оне чё, глупый народ, им бы все хи-хи да ха-ха... а ты не обращай на них внимания! В случае чего — женатым скажись...

И наказал же меня Господь этими девками! Был у меня сын-от один, да тридцати еще не было — помер. Жена с дитем осталась, дак сразу к отцу ушла жить: каково тут, в таком сорочьем колке жить — столько золовок! Когда стирка, пойдешь по ограде — тьфу ты, одне юбки да бабьи кофты на вешалках-то!

Все четыре дочери Африкана Савватеевича были похожи друг на друга: рыжие и веснушчатые, как сорочье яйцо, особенно Агафанида и Елизавета. Впрочем, и остальные дочери Африкана Савватеевича были Вацлаву одинаково не любы...

Хозяйка — толстая, рыжая, веснушчатая, обрюзглая и с одышкой — почти ничего по дому не делала. В летнее время она с утра до вечера сидела за оградой и больше всех в деревне знала всяческих сплетен. Скоро, с легкой руки старосты, а потом и Африкановой семьи, все в деревне стали звать Вацлава Вячеславом.

Все лето и осень ссыльный поляк проработал у Африкана Савватеевича. И в кузнице, и по хозяйству он стал незаменимым работником: умел делать исключительно все.

Покров на деревне — не только престольный праздник, но и время расчета хозяев с наемными работниками. Вацлав собрался уйти от хозяина, но тот не хотел отпустить доброго работника, так не хотел, что, скрепя сердце, прибавил ему плату и справил на зиму шубу и шапку — правда, на деньги Вацлава.

Ссылный поселенец поляк Сосновский остался в работниках еще на год. Зимой Вацлав выпросился поехать вместе с хозяином в Ирбитскую слободу, на ярмарке встретил знакомых из Тобольска, которые пришли с купеческим обозом и привезли его сундучок с книгами. Вацлав много читал, стал ходить в свободное время в деревенскую пожарницу, подолгу беседовал с мужиками. Мужики порой слушали его, разинув рты.

Школы в деревне не было, грамотных — тоже, хотя многие хотели учить детей. Но немало было и против. Неграмотные отцы говорили так: «Нашто мужику-крестьянину грамота? Пахать землю он и без нее может». По весне решили строить школу всем обществом. Учить ребятишек взялся ссылный иноземец Вячеслав.

Африкан Савватеевич впрямую сказал своему работнику: «Ты, Вячеслав, народ в деревне со школой этой не мути! И какой из тебя учитель?! Раз ты работник мой, то в пожарницу ходить тебе запрещаю, вот и весь сказ! И дома работы невпроворот!»

Томительно долго шел этот год для ссыльного. Но всему на свете бывает конец — вот и осень, скоро Покров.

Вацлав уже не раз возил молоть хозяйское зерно на мельницу в Прядеину. Поездки на елпановскую мельницу для него были сущими праздниками: крепко ему нравился глава богатого семейства Петр Васильевич; кроме этого, в мельничной караулке было всегда много нового народу. В караулке ему рассказали, что Елпановы — самые богатые люди в округе, держат много работников и что сейчас они ищут мельника. Вацлав с нетерпением

ждал Покрова, чтобы рассчитаться с хозяином. Но перед самым Покровом в кузнице Африкан Савватеевич неожиданно повел с ним такой разговор:

— Вячеслав, оставайся у меня в зятях, женю, девок замуж отдам, останемся мы со старухой да ты. А потом — все хозяйство твое будет...

— Увольте уж, Африкан Савватеевич! Много чести для меня... Помните, что вы говорили, когда я на работу нанимался?

— Да мало ли што я говорил, не знал ведь я тебя тогда! А теперь вижу — ты человек стоящий, полгода у нас жил, робил по-доброму, и мы к тебе привыкли. Право слово, оставайся насовсем! С Агашкой вас поженим, Лизка с Федоркой замуж выйдут — меньше бабья в дому-то станет...

Вацлав, усмехнувшись, сказал:

— Нет уж, Африкан Савватеевич, не останусь я у вас более, рассчитайте меня.

— Ну как знашь, хозяин — барин. Потом, может, передумаешь, дак приходи, завсегда приму!

С тем взял ссыльный свою котомку, пошел в Прядеину, нанялся к Елпановым мельником и заодно мельничным мастером. На мельнице было работать интереснее и веселее, много приезжало разного народу.

В деревне Галишевой через три года обществом построили школу. Это была просто изба: три окна на дорожку да два — во двор. Хотя двора как такового не было, а стоял дровяной сарай. Вацлав поместился в школе и за дощатой перегородкой устроил себе комнату с одним окном, небольшим столиком, навесным шкафом; на стене были полки с книгами. Посредине школы была сложена большая русская печь, которая одним боком выходила в комнатушку Вацлава, и зимой там было тепло.

В первый год в деревне родители отдали в школу десятерых мальчиков. Съездили в Ирбитскую слободу,

купили грифельные доски и грифели, понемногу бумаги; букварь — на всех один.

Но учительское жалованье было копеечным, прожить на него невысказанно. Некоторые крестьяне из бедных и заплатить-то за учебу детей могли разве тем, что привезти для школы дров. Безродная старуха Даниловна бесплатно мыла пол, топила печь и варила учителю немудреную еду — если было из чего. Волей-неволей Вацлаву пришлось снова наниматься в работники к богатым мужикам, но к Африкану Савватеевичу вернуться он и не думал...

Спустя два года ссыльный поляк женился на тридцатилетней вдове с двумя детьми. Аксинья Петровна, хотя и не красавица, но собою недурна, и притом — умелая хозяйка. А хозяйство у вдовы было справное: две лошади, жеребенок-подросток, корова, овцы, свиньи и всякая птица. Съездили в Киргу, обвенчались в церкви, и Вацлав стал жить в семье. Мальчик, который был старше сестры на два года, пошел в школу, учился у приемного отца.

В Галишевой все по-прежнему звали учителя Вячеславом, и когда тот шел по деревне, мужики снимали шапки и кланялись в пояс, величали его по отчеству на свой манер — Константинович.

На следующий год в галишевскую школу пошло уже больше двадцати ребят; появились ученики из Прядеиной, Харлова. Так в Галишевой образовалась двухклассная школа.

Алеша, пасынок Вацлава, оказался толковым и умным парнишкой; сестру Анфису он учил дома, потому что в школу не ходило ни одной девочки.

Через год Аксинья Петровна родила сына, которого назвали Федором. Семья росла, росли и заботы; супруги жили дружно, так же как и дети, родные и неродные. После Федора Аксинья родила еще двоих — Дмитрия и Елену.

В Галишевой семье Сосновских все уважали; с каждым годом в школу приходило все больше учеников. Словом, «русский поляк» Вацлав Казимирович Сосновский пустил надежные корни в Зауралье.

Шли годы, дети росли, в семью постепенно приходил кое-какой достаток. Женили на местной девушке Алексея, отдали замуж в Прядеину Анфису; подрастали и общие дети — Федор, Дмитрий и Елена.

А Вацлав Казимирович, сверх своих домашних и семейных дел и хлопот, продолжал учительствовать.

## РАСПЛАТА

**В** народе испокон веков говорится: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Так получилось и с Куликовыми с таежного хутора Куликовского.

Случилось это зимой в Ирбитскую ярмарку.

Прядеинский мужик Ефим Палицын собрал на продажу несколько подвод с зерном, мясом и всем прочим, что дает крестьянское хозяйство.

Народу на базаре с продажей было много. В первый день он и не надеялся сбыть свой товар, но на второй день ему повезло — продал благодаря знакомому мужику.

У Ефима была цепкая память на людей, мужика он этого видел всего один раз, мельком, на Куликовском хуторе, когда заезжал попоить лошадей. И когда на базаре этот самый мужик подошел к нему и спросил, почем он продает зерно, то Ефим сразу узнал его и вспомнил, где видел. Хотел с ним заговорить, но мужик уже ушел. Через некоторое время Ефим увидел этого мужика поодаль с компанией каких-то людей, по-видимому, из заводских. Вот эти мужики из заводов и купили оптом у него всю продажу, а куликовский мужик больше к нему не подходил.

Ефим после удачной сделки заехал в лавку — купил соли, немного сахара и гостинцы ребятам. Солнце еще было высоко, и он поехал сразу домой.

На выезде из слободы у самой дороги стоял трактир, в народе его звали «Бабы слезы».

День был зимний, холодный, оранжевый диск солнца даже днем нисколько не грел, а к вечеру стало настывать еще больше. Чтобы хоть немного согреться, Ефим решил зайти в трактир похлебать горячих щей. В трактире было жарко натоплено, вкусно пахло жареным мясом, щами, пивом и тем особенным духом, которым пропахли все дешевые трактиры и забегаловки.

Ефим осмотрел всех сидящих за столиками, но знакомых попутчиков ему не было. Пристроился за стол так, чтобы было видно лошадей, и стал ждать, когда ему принесут поесть. Две расторопные бабы подавали быстро. Ефим заказал шкалик водки и чашку щей, и наскоро пообедав, поехал домой.

Ефим не любил много пить в дороге или просто в будний день, а тем более еще с деньгами, как сейчас. Благополучно доехал до Куликовского хутора, решил погреться и напоить лошадей. Приглашенный красивой приветливой хозяйкой, он пробыл на хуторе, как казалось Ефиму, совсем недолго.

Зимний день короток, и когда Ефим доехал до Устинова лога, стало темно: только луна скудным серебристым светом покрывала дорогу. Думая о скором приезде домой, Ефим и не заметил, как из-за кустов метнулись лошадям наперерез темные тени.

Били Ефима страшно, не жалеючи. С первого же удара по голове он упал, чувствуя во рту соленый вкус крови, верхняя губа была рассечена, зубы шатались. Ефим хотел было еще подняться, загребая голыми руками жесткий, колючий снег, как тут же свалился от сильного удара ногой в живот. Потом до хруста топтали ему грудь так, что сдавило дыхание, зверски пинали в живот и спину.

Ефим потерял сознание. Сквозь какую-то дрему он чувствовал, что его тащат за ноги, и потом он, совсем обессиленный, летел стремглав в бездонную пропасть.

Очнулся Ефим под мостом. Собрав последние силы, он сел и огляделся; в голове шумело, как от набата церковного колокола, все тело неимоверно ломило от побоев.

Вокруг все тихо. Грабителей уже не было.

Ефим ухватился за сваю моста руками и с трудом поднялся на ноги.

«Эх, черти! Как они меня! Ноги вроде целы», — выкарабкиваясь из-под моста, думал Ефим.



Сознание вернулось совсем, и он уже припомнил все, что произошло с ним час назад, а может, и того меньше. Как в страшном сне, он пытался вспомнить момент нападения и всё больше убеждался в том, что один из нападавших был похож на мужика с Куликовского хутора, того самого, который помог продать товар на базаре.

Ефим, оглядывая тщательно снег, заметил, что лошадей его повернули в обратном направлении. От мороза щипало уши, и он тер их окоченевшими пальцами. Вдруг в стороне у куста он увидел в снегу что-то темное. Ефим разгреб снег — это была его шапка, вскоре отыскались и рукавицы. В груди что-то свистело и клокотало, потом подкатило к горлу, сплюнул на снег черным. Кровь!

«От ироды! Проклятые, все печенки отбили, ох, господи! Не жилец уж я на этом свете, и лошадей угнали, и обокрали начисто. Что же мне делать-то? Не замерзать же тут. Нападут еще волки. До Куликов-то рукой подать. Но как раз в их логово угодишь, добыют. Ну куда же мне среди ночи деться! Горе мое горькое». С тяжелыми мыслями выломил Ефим у дороги молодую березку, сделал из нее легонький крепкий посошок и, еле передвигая ноги, поплелся по дороге к дому.

— Все едино погибать! Но если уж свалюсь, тогда конец мне!

Каждый шаг отдавался болью, но, преодолевая боль, собрав в кулак всю свою силу воли, Ефим, шатаясь из стороны в сторону, шел вперед.

Ноги стали ватными и налились свинцом. Дыхание захватывало на морозе, во рту собиралась кровь, которая, оставляя темно-бордовую борозду, медленно стекала на грудь. Рука еще крепко держалась за березовый посошок, а тело уже неустойчиво ползло вниз.

И стало Ефиму тепло и хорошо, слышит он колокольный звон: это звонят к заутрене в престольный праздник, и он стоит в церкви и смотрит на потолок, а там луна,

звезды, и слышит он голоса какие-то необыкновенные, как будто ангельский хор, а что поют — не разберешь. Сквозь ангельский хор стали пробиваться чуть слышимые голоса односельчан, голоса становились все ближе, и хор ангелов, как бы испугавшись грубых человеческих голосов, умолк совсем.

Ефим с трудом открыл глаза и увидел склонившихся над ним мужиков-односельчан: Ивана Прядеина и Фому Глазачева.

— Ну, парень, живой хоть ты? Ох! И напужал же ты нас! Ну слава тебе господи! Хоть вовремя мы подоспели, а еще бы немного, тогда бы все уж, крышка!

Ефима бережно посадили на воз. Завернули обратно лошадей и повезли в деревню.

На рассвете были уже дома. Деревня кипела, как пчелиный улей.

— Сколько же можно терпеть от этих негодяев и разбойников! — кричали мужики.

— Поедем на Куликовские хутора и общемся! Сейчас же не медля надо гнать туда, а то смоются! Ищи-свищи тогда, — вторили другие.

Вызвалось ехать с обыском на Кулики человек пятнадцать.

В одном из домов Куликовского хутора испугавшаяся до полусмерти старуха клялась-божилась, что их семья к разбоям и грабежу непричастна и что глава семьи, ее сын, еще в прошлом году умер и живет она только со снохой да с пятерыми малолетними внучатами.

— Да не знаю я, кто может здесь разбойничать, — причитала старуха, — посмотрите у братьев Куликовых, но не выдавайте меня!

После этих слов решили провести внезапный обыск в домах у братьев Куликовых.

Шли цепочкой, осторожно, крадучись. Без шума зашли по наезженной дороге через широкие ворота во

двор, но тут отчаянно залаял на цепи огромный пес. На крыльцо вышла хозяйка дома Соломия Пантелеевна в накинутом на плечи полушубке, без платка, с непокрытой головой. Ее густые, с проседью на висках волосы были стянуты на затылке в тугий тяжелый узел, и несмотря на свои тридцать пять лет, Соломия все еще выглядела молодой и красивой.

Увидев в своей ограде чужих мужиков, она на мгновение удивилась и испугалась: мужики заметили, как вытянулось и побледнело ее красивое лицо и взгляд прекрасных агатовых глаз стал растерянным.

Но через секунду она уже оправилась от испуга, приняла, как всегда, веселое приветливое выражение и даже начала упрекать мужиков:

— И откуда вы взялись? Точно с неба свалились. Как не стыдно пугать одинокую женщину!

— Да у вас же кругом дороги наделаны, не все ли равно, куда зайти.

— Ну, что же вам от меня надобно?

— Муж твой дома?

— Нет! Нету! В слободе он, уж вторую неделю дома не бывал! — не моргнув глазом, соврала Соломия.

— Ну пусти нас хоть погреться-то? Не съедим же мы тебя!

Соломия озадаченно посмотрела на мужиков и пригласила их в избу.

— Вы пока здесь посидите, а я в пригон сбегаю, — показав на лавку, сказала Соломия.

Мужики ее задержали:

— Нет, хозяйка, погоди чуток, потом управишься, говори, где твой муж!

— Да в слободе он! Дома не бывал, знать не знаю, что вам от нас надо, — с надрывом ответила Соломия, без сил опустившись на лавку.



Ее пальцы нервно теребили концы цветастого полушалка, накинутаго на плечи, в ушах с маленькими пухлыми мочками подрагивали золотые с красными камушками серьги, блеск красивых агатовых глаз

потух. Она с бессилием наблюдала за тем, как мужики ведут обыск.

— А вот и пропажа, — воскликнул один из прядеинских, показывая на мешок с солью, припрятанный в снях.

Мужики с удвоенным усердием взялись за обыск. Вскоре была обнаружена кладовка, запертая на амбарный замок. Соломию заставили ее открыть. При тщательном осмотре кладовки удалось обнаружить хорошо сделанный и замаскированный лаз на чердак.

Мишка Палицын, младший брат Ефима, полез на сундуки, хотел открыть дверцу лаза, но она не поддавалась, тогда он крикнул стоящему внизу мужику:

— Спиридон! Давай кругляш потолще, выбить надо дверцу на чердак, она изнутри закрыта. Там он, наверно!

Но только Мишка высадил поленом дверцу и взялся обеими руками за края лаза, из глубины чердака грянул выстрел.

— Ах ты, сука! Он, робя, с ружьем, всех подлюга нас перестреляет, как куропаток, — закричал Мишка, поднимая с пола простреленную шапку.

— Что же делать-то, мужики?

Мишка Палицын решил испробовать свою вылазку еще раз, пряча голову в стороне, выставил на бадаге<sup>75</sup> свою шапку в отверстие лаза, и тотчас опять грохнул выстрел.

Мужики стали разговаривать нарочно громко, чтобы слышал сидевший на чердаке хозяин:

— Ладно, ребята, на чердак мы не полезем, забираем у него всю скотину и семью в заложники. А дом и постройку подожжем, пусть сидит на чердаке с ружьем, последний патрон для себя бережет.

Соломия, услышав это, выбежала во двор и спустила собаку с цепи. Собака яростно кинулась на мужиков и

---

<sup>75</sup> Бадаг — батог; палка, посох, трость.

начала рвать людей. Ближе всех стоял Афанасий Спицин, молодой здоровый мужик, но, несмотря на все усилия, в одно мгновение от его полушубка остались одни клочки. Собака подбиралась к горлу Афони, но подоспевший Мишка тем же кругляшом, что выбивал дверцы лаза, разможил собаке голову. Собака отчаянно завизжала и забилась в предсмертных судорогах.

В это время во двор ввели со связанными руками Пашу Куликова — старшего брата. Медлить был некогда, и прядеинцы тут же объявили приговор Паше:

— Если твой брат не спустится с чердака и не отдаст ружье, то мы заберем весь ваш скот и лошадей. Семьи увезем в заложники. Долго мы терпели ваши разбои и кражи!

— Ладно, мужики! Хватит вам! Давайте говорить по делу. Левка, слезай с вышки! Чего уж там, — приказал Паша.

Лева стрелять больше не стал и, не успев спуститься с лестницы, был обезоружен мужиками. Ему подали шубу и шапку, покрепче связали руки вожжами, посадили в сани и повезли в свою деревню для дознания.

Прядеинцы еще сами толком не знали, как им поступить с этими разбойниками и конокрадами; везти в волюсть в Белослудскую слободу до урядника и наводить справедливость — слишком хлопотное дело. Куликовы — богатые, могут дать взятку уряднику и оправдаются, а то и вообще давно уж заодно с урядником, ведь воруют же столько лет, и все им как с гуся вода.

Братья Куликовы всю дорогу грозили. Что они отомстят прядеинцам, что те ответят строго за такое самоуправство. Что они будут жаловаться везде и всюду, и поедут к самому губернатору, и добьются, найдут правду.

— Мы вечно вам будем мстить! Будете любоваться вы у нас на красного петуха, — цедил сквозь зубы Левка.

— Не грозите! Не на пужливых напали. Как бы вам самим не пришлось любоваться на свои задницы, — зубоскалили мужики.

Братья Куликовы всю дорогу до Прядеиной то грозились, то просили поверить им и отпустить домой. Они уже поняли, что прядеинцы везут их в свою деревню не шутки шутить и не на праздник, что попали они в крепкие руки и пощады ждать уже не приходится. Надеялись они только на то, что Ефим их не узнает.

В душе братья жалели, что так поспешно угнали вчера из Устинова лога и не добились до смерти этого проезжего. Да и кто мог знать, что он такой живучий оказался...

Назавтра в Прядеиной собрался сход. Приехали из Галишевой и даже из Харлово. Начал говорить староста, и толпа обратилась в слух.

— Православные! Что станем делать с конокрадами? Ефим Палицын грабителей сразу опознал. Палицына вы все знаете, да вот он здесь стоит — мужик он трезвый и честный, ошибиться али напраслину возвести не может. А этих воров-грабителей мы уж и отдельно допросили, и на очной ставке их лоб в лоб сводили. Шибко они отпирались сначала-то, но под конец все же сознались!

Толпа, готовая ринуться на арестованных, загудела, как растревоженный улей.

— Чё гадать-то?! Всыпать им горячих, да как следует — поделом вору мука!

— Нечего слова на них тратить — черемуховыми вицами лучше растолковать!

Староста пытался образумить толпу: нельзя было допустить самосуда, надо везти Куликовых на суд в волость, но никто его не слушал — всем не терпелось тут же, немедленно, наказать конокрадов, да так, чтобы все видели и кому другому неповадно было...

Мигом притащили в пожарницу широкую скамью и уложили на нее Пашу: «Вот тебе, как старшему, двадцать

пять розог за разбой да за кражи, да десять розог за то, что сыновей учил тому непотребству».

Первые удары Паша терпел, кричал, потом заревел, как недорезанный бык. Сначала на спине и поясице вспыхнули багровые полосы, постепенно вздуваясь в кровавые рубцы. К концу наказания спина у Паши была сплошной раной, он затих, обессилел и потерял сознание. Его отвязали, но он не шевелился, тогда на него вылили целый ушат колодезной воды, и Паша открыл глаза. Обвел всех затуманенным взором, но подняться со скамьи не мог.

— Ну как, еще будешь воровать? Грабить и убивать на больших дорогах?

— Не буду, помилуйте, не убивайте, все вам отдам, — еле ворочая распухшим, искусанным языком, прошипел Паша.

— А ты знаешь, нет, сукин сын, всего твоего нам не надо, а только отдай наше — у нас украденное! Да впредь не воруй! Ну как, отдохнул? Еще ведь тебе за сыновей десять розог да за Ефима пять, выдюжишь ли?

Ефим, видя, что Паша может не выдюжить и подохнуть на скамье, приковылял поближе к скамье и, превозмогая боль в избитом теле, негромко сказал: «За сыновей его как хотите учите, а за меня не надо. Я его прощаю, бог даст, может, еще поправлюсь».

— Слышишь ты, сатана безрогая, Ефим тебя прощает, другой бы на твоём месте век бога молил, а ты! У... собака, прикончить бы тебя, тут и дело с концом. Ну, давайте ишо, ребята, десять раз его опояшем за сынков, да и до них добираться будем.

Не стану описывать всех подробностей деревенского самосуда — жестокого, беспощадного, но справедливого... Потом двадцать пять розог всыпали Леве Куликову, а под конец отодрали Пашиных сыновей. Каждый получил свое. Волостной суд мог бы осудить и строже, но и



неписанный закон тогда хранился во многих глухих деревнях, где суд испокон века вершили всем миром.

Когда кончился самосуд, в пожарницу ворвалась Соломия, а за ней ее племянник Алешка. С плачем бросилась она к мужу и начала чистой холстиной перевязывать ему спину. Потом при помощи Алешки перевязала деверя и племянников. Всем дала по доброму глотку крепкого первача. Помогли им одеться и поехали домой.

Соломия сидела на козлах и правила лошадью. Она была повязана черной верховой шалью, глаза покраснели и опухли от слез, лицо осунулось после бессонной ночи. На второй подводе правил лошадью Алешка, братаны его, лежа в саях на сене, ругались, когда трясло на ухабистой лесной дороге, и кричали на Алеху: «Можешь ты, гад ползучий, ехать как следует? Всю душу вытряс, ирод! Погоди ты у нас, попадет тебе еще дома, как отлежимся. Выбьем тебе дурь-то!» Алеха боялся их гнева, ему всегда попадало от всех, а теперь и вовсе не простят этого, что он неволью подвел их под розги. Но что он мог сделать? И слезы то и дело застилали и туманили его глаза, скатываясь по замызганным щекам, крупным горохом падая то на грудь, то на худые проворные руки.

После того как увезли из дома братьев Куликовых, Ефросинья, жена Паши, прибежала к Соломии и с порога начала кричать:

— Из-за тебя, кума, мой мужик пострадал! Ну не могли вы этот мешок с солью уж спрятать подальше? Увезут вот в волость мужиков-то, что тогда будем делать?!

— Да не ори ты! Сама-то хороша! Меньше у вас нашего, как же! Твои сынки уж столь награбили на больших-то дорогах, что нам и не снилось. А у нас они один мешок нашли с солью и больше ничего и не найдут, и мужиков отпустят, да не может того быть, чтобы они в чем-то сознались, — зло отрезала Соломия.

И Пашина жена примирилась и села на лавку:

— Ну ладно, не сердись, кума, погорячилась я, ну-ка бери карты да поворочи. Вот ведь беда-то! Не отступят-ся, поди, еще будут обыскивать. Ой! Кума, что делать-то будем?

Соломия всем сердцем желала выпроводить куму, чтобы не мешала ей думать и не томила душу своими пустыми охами и вздохами. Она и сама за это утро состарилась на целый десяток лет и не знала, что ей сейчас предпринять.

Много видели при обыске и ворованного, но ничего не опознали. Да и самого главного не нашли, сколь ни топтались.

Соломия сейчас вспоминала, как словно что-то оборвалось у нее внутри, когда зашли в маленькую горенку-боковушку. Если бы сняли там два домотканых половика и смоляник<sup>76</sup>, прибитый гвоздями к полу, то сразу бросилось бы в глаза, что половицы в горенке не на шкантах, как обычно делается пол, а просто наложены сверху и легко убираются.

А под ними был сундук с награбленным добром: дорогие тонкой работы фаянсовые сервизы, позолоченные ложки, вилки и ножи, зеркала в золоченых оправках. А золотых брошей с бриллиантами, сережек с самоцветами, золотых обручальных колец, перстней там было не счесть.

Да, поистине драгоценным был этот, с виду простой, окованный железом сундук! О нем знали только два человека — Соломия и ее муж.

В другом тайнике были деньги — в стене за навесным посудным шкафом. Никто и подумать бы не смог, что под кухонным скарбом — надежно укрытый в стене

---

<sup>76</sup> Смоляник — подстилка, тряпка, кусок холста, который стелют на пол; клеёнка.

тайник. Наворованное и награбленное могло дать капитал для широкой торговли, открыть которую они давно уже мечтали.

Волею судьбы они оказались в этом медвежьем углу и с нетерпением ждали, чтобы в один прекрасный момент уехать в большой город и начать новую жизнь во всем своем блеске и славе с таким богатством, которое у них было. С такими деньгами они смогли бы пролезть в купечество и занять положение в высшем обществе. Но въевшиеся в кровь воровские привычки не давали им покоя. Они уже не могли иначе, их неутомимая натура властно требовала новых грабежей и преступлений. Чем больше у них становилось денег и всякого добра, тем становились они жаднее.

Прошли многие годы, как они приехали сюда и прижились на краю леса у большой дороги. Когда появились соседи, которые наблюдали за ними во все глаза, Куликовы стали распахивать землю за шесть верст от хутора и поставили там дом с надворными постройками. Им не препятствовали: земли вокруг много — стройся где хочешь. Да и побаивались люди Куликовых.

Все эти годы всё было хорошо и безмятежно, небо оставалось безоблачным и тихим, не считая мелких гроз, неизменно проносившихся стороной. Если были случаи, когда им что-то грозило и их настигали по пятам в их воровских деяниях, то они сразу прикидывались невинными овечками, становились приветливыми, добрыми, услужливыми, гостеприимными и покамест затихали, чтобы через некоторое время наверстать упущенное и сотворить еще более гнусный поступок.

Во хмелю братья буйствовали, особенно старший, Паша, с молодых лет пил часто и бил свою Ефросинью. Жена его, невзрачная на вид и безвольная, изнуренная деспотом-мужем и большой семьей, к пятидесяти годам стала совсем старухой, припадочной и нервной. А после

того, как пьяный муж выгнал ее из дома и она, почти раздетая, простояла всю ночь в пригоне, с ней приключилась та бабья хворь, которая мучит тысячи русских женщин до самой могилы. Ее как будто несло течением, и она ничему не сопротивлялась, ничего сама не могла решить, надеялась только на мужа и сыновей. Муж-изверг с годами подавил ее волю, сделав ее почти идиоткой. И она безропотно несла свой крест и не хотела ничего менять в своей беспросветной жизни.

Соломия, в отличие от Ефросиньи, была сильная духом, но и она сначала струсилась, когда к ним сегодня утром ввалилась целая толпа разъяренных мужиков.

Соломия до мельчайших подробностей вспомнила, как вечером к ним заехал погреться этот мужик. У нее было предчувствие, что случится беда, и сон нехороший видела той ночью. Да и мужичишка-то уж какой бы богач был. Добро бы взять! А что? Тьфу! Всего-то его вырчка да соли мешок. Не по стольку привозили иногда с ночных набегов ее муж и деверь, а потом и племянники. Все сходило с рук. А тут, поди ж ты, попались на таком пустяке.

Давно уже смерклось. Соломия долго сидела, опершись локтем о подоконник, смотрела на дорогу, залитую лунным светом, на дальнее поле и искрившийся алмазной россыпью снег, отливавший синью в глубоких колеях избитой дороги.

После всего пережитого в этот день, после всех волнений и забот вся работа валилась из рук и ничего не хотелось делать. Невеселые думы, одна хуже другой, приходили на ум.

Щелкнувшая в воротах щеколда вывела Соломию из оцепенения. Это бежала домой Дашутка. Свежая, пахнувшая морозом, забежала в избу.

— Мам, чего ты сидишь в потемках, давай зажжем хоть лучину?

Соломия, недовольная тем, что дочери ее все равно и нет у нее никакой заботы, что будет с ее родителями завтра, заворчала на дочь:

— И где же ты, голубушка, была так долго? Тебе, видно, все равно, что я тут одна! Бегаешь бог весть где, и нет тебе о доме никакой заботы.

Но недолгой была досада на дочь. В душе давно уже Соломия простила дочери, что та долго пробегала в улице с подружками. Единственный человек на свете, которого она любила больше жизни, — это была ее дочь Дашутка, детей у Соломии больше не бывало.

Нехотя встала Соломия с лавки, вытащила из загнетки шабалой<sup>77</sup> красный уголек; сухая лучина скоро вспыхнула и загорела трепетным светом, по стене задвигались огромные тени. Порывшись в шкафчике, Соломия достала сальную свечу, зажгла ее и поставила на столе в глиняный подсвечник. Говорить не хотелось, молча поужинали. Дашутка села вышивать филейный настольник, а ее мать — прясть лен, но обычные каждодневные вечерние дела мало сегодня занимали Соломию. Прясть она не любила всегда, ей не по нутру была эта скучная монотонная работа. А в этот вечер тем более было не до пряжи, то и дело нитка рвалась, веретено, закружившись, падало на пол.

Соломия сидела в глубоком раздумье, уронив свои маленькие холеные ручки на колени, и глядела в одну точку перед собой. Ее взгляд упал в передний угол на темные лики икон, которые не освещались скудным огоньком свечи: «Господи, что с нами будет теперь? Пронесет ли на этот раз тучу мороком? Сойдет ли все хорошо? Не лишимся ли мы своего богатства? Господи, отнеси от нас эту беду!» К своему стыду, она теперь только поняла, что почти никогда не обращалась к богу, молиться она

---

<sup>77</sup> Шабала — деревянная шумовка.

не могла, не умела. Молитвы, которые заставляли учить ее мать и дед, давно уже забыла, они просто сами по себе выветрились из головы. Всю жизнь она никогда никого и ничего не боялась, ни леших, ни домовых, ни мертвецов, а с худыми людьми была всегда на дружеской ноге. Ее богом были деньги, кумиром — золото и украшения, любовью — нажива, богатство и полные сундуки красивой одежды.

Немного еще посидели и обе легли спать. Дашутка всегда ложилась с матерью, когда не было дома отца. Мягкая пуховая перина и теплый бок матери нежили Дашутку теплом, и она сразу же заснула. Но к Соломии сон не шел. Долго она лежала с открытыми глазами, ворочаясь с боку на бок, вздыхая и прислушиваясь к тишине ночи, и все думала. Неотвязная мысль не покидала ее, и в голове стоял один и тот же вопрос: что же ей делать?

Глядя на лунные блики, падавшие из проемов окон, на белые дорожки своей чистенькой горенки, под впечатлением этого последнего дня она стала невольно вспоминать свою прошлую жизнь и села на кровати, закутавшись в дорогое пушистое одеяло. Ее густые, тяжелые, до пояса волосы, заплетенные для ночи в слабую косу, постепенно расплелись и рассыпались по плечам и спине, упали на колени, закрывая пышную обнаженную грудь, точно обволакивали ее темным плащом, только лицо белело во мраке да мерцали прекрасные бездонные агатовые глаза. Несмотря на свои тридцать три года и на редкую проседь в волосах, она была все еще по-девичьи стройна и прекрасна.

## ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

**В** полуверсте от крупного торгового села Аргаяш, что под Казанью, проходил большой тракт, по которому сновали и бедные крестьянские возы, груженные разным товаром, и щегольские тройки с форейторами в ливреях, везшие благородных седоков. Здесь проезжали и прекрасные разодетые барини, и расфранченные молодые разночинцы, и военные, и солидное богатое купечество с большим капиталом. На этом же большом проезжем тракте, оглашая окрестность залиvistым звоном валдайских колокольчиков, проносились почтовые кареты. А иногда, гремя цепями, проходил этап арестантов, подгоняемый руганью и нагайками конвойных.

Особенно много народу — и конного, и пешего — направлялось на богомолье в престольный праздник явленной иконы Казанской Божьей Матери. Тогда большой Казанский тракт не пустовал ни днем ни ночью. Люди ехали, а чаще шли поклониться чудотворной иконе, надеясь получить исцеление от недугов. Тут были глухие, слепые, увечные, больные, уроды, нищие...

У самого тракта стоял старый, мрачного вида двухэтажный приземистый дом. Стекла в окнах позеленели от времени, рамы покоробились и обветшали. В первом этаже дома была парадная дверь с крыльцом в две ступеньки, выходящая в сторону тракта. Широкая двустворчатая дверь покосилась, железный кованый пробой проржавел, ступени крыльца скосбочились и доживали последние дни. По всему было видно, что дому нужна твердая хозяйская рука.

Над входом красовалась вывеска «Трактир», до того ветхая и потемневшая от времени, что новый человек вряд ли что-нибудь на ней разобрал бы. Над воротами была вторая, тоже потемневшая, вывеска: «Постоялый двор Кузьмы Ивановича Китаева».

Двор был большой и широкий, как поле, окруженный со всех сторон конюшнями, завознями, амбарами и прочими надворными постройками. Тесовые крыши во многих местах погнили и поросли мхом. За домом во дворе был большой флигель, изба-малуха, погреб и баня в конце огорода, а также большой запущенный сад, поросший сорными травами, репейником и чертополохом.

Бывший хозяин дома и постоялого двора — рачительный и трудолюбивый Кузьма Иванович Китаев — давно уже умер, и теперь там жил его младший сын, Пантелей, известный на всю округу взбалмошный стареющий пьяница.

Постоялый двор и трактир Китаева были на бойком месте, всегда полны народа, и жизнь здесь шумела попойками, пьяными драками, руганью и мордобоем.

Пантелею Китаеву еще не исполнилось сорока лет, это был высокий могучий мужик с черной буйной шевелюрой, с окладистой бородой и золотой серьгой-полумесяцем в ухе. Всем своим обликом он походил на цыгана, но считал себя русским. По всему было видно, что в молодости он был очень красив и строен.

Еще с молодых лет, при жизни отца, Пантелей Кузьмич повел разгульную жизнь, у него появились друзья-собутыльники, с которыми он часто уезжал из дома, порой пропадая целыми неделями, и совсем не вникал в семейное дело.

Отец был стар и сколько ни старался образумить сына, толку не вышло.

У Кузьмы был еще старший сын, но он жил в Казани с семьей, имел дом и скорняжную мастерскую. Делами постоялого двора ему заниматься было некогда, да и не хотел, боясь навлечь на себя гнев своего взбалмошного младшего брата.

Когда Пантелею шел двадцать седьмой год, отец скоропостижно умер. Похоронив отца, молодой неженатый



хозяин пустился в пьянство и еще больший разгул. Все добрые работники от него ушли. Хозяйство быстро приходило в упадок. Постоялый двор приобрел дурную славу. Богатые люди стали объезжать его стороной.

В тридцать два года, пресытившись от каждодневных запоев и разврата, он впервые подумал о своей дальнейшей жизни, понял, что его от верной гибели спасет только женитьба на хорошей, добродетельной молодой девушке.

Мужчина он был еще не старый и не потерял полностью своего первоначального вида, и вскоре, к общему неудовольствию своих подруг и дружков, стал сватать восемнадцатилетнюю Катеньку Морозову, дочь казанского мещанина из старообрядческой семьи. Но Иван Осипович, отец Катеньки, прогнал новоявленного жениха и не велел больше показываться на глаза.

Бедный отец не знал, что его умница и краса ненаглядная Катенька давно уже встречается с этим прощельгой и даже готова бежать из родительского дома. Его едва удар не хватил, когда Катя тайно обвенчалась и уехала со своим непутевым муженьком на китаевский постоялый двор при большой дороге.

Родители Кати, люди набожные, степенные и порядочные, приданого для дочери не пожалели, но с зятем знаться не захотели. Одна Катя слепо верила в Пантелея и считала, что таким и должен быть настоящий мужчина. Скоро, да только уж поздно, она поняла свою ошибку.

Молодая жена быстро надоела гуляке Пантелею, как прежде быстро наскучивали многочисленные любовницы; он зажил прежней разгульной жизнью с кутежами и драками. Злые языки утверждали, что, буйный во хмелю, он не раз избивал бессловесную жену. Екатерине Ивановне осталось лишь одно утешение — дочь, нареченная при крещении Соломией и которую мать ласково называла Соломкой.

На десятый год замужества Екатерина Ивановна умерла от чахотки, оставив сиротой восьмилетнюю Соломку. Соломия хорошо помнила мать, высокую, красивую шатенку с карими печальными глазами. Днем она хлопотала по дому, когда же наступали сумерки, а отца не было дома, мать то и дело тревожно прислушивалась, ходила по комнатам, поглядывала на дорогу или, накинув шубейку, выбегала во двор.

Самый первый отгиск в памяти Соломии остался на всю жизнь. С этого дня ей многое стало ясно в отношении отца к матери. Весь вечер мать, по обыкновению, ходила печальная, чем-то тревожась. Ласково прижимая к себе дочь, говорила: «Спи, моя доченька, спи, касатушка, усни скорее, моя хорошая». Ночью Соломия проснулась от какого-то шума и приглушенных рыданий. На столике горел ночник. Мамы в спальне не было. Малышке стало страшно, и она, босая, в одной спальной рубашке вышла в гостиную. Ужасное зрелище представило перед детским взором, до глубины души поразившее ее: пьяный отец с растрепанными волосами и всклокоченной бородой, одетый в кумачовую, с закатанными рукавами рубаху, стоял в одном сапоге, а другим бил по голове мать.

— Я покажу тебе, подлюга, как надо с мужа сапоги снимать! — орал в пьяном угаре отец.

Мать, стоя перед ним на коленях, плакала навзрыд, защищая руками от ударов лицо.

В душе маленькой девочки что-то оборвалось, надломилось и дало трещину, как в хрупком хрустальном кубке. Откуда-то из самых глубин поднялась жестокая злоба на отца, и она, не помня себя от ярости, вцепилась в его ногу зубами.

Отец с трудом оторвал дочь от себя, как котенка, отшвырнул в сторону и со злобой выдохнул:

— У, змеевка зловредная!

Соломия росла подвижной, впечатлительной и любознательной девочкой. Она не знала страха, иногда, выбрав удобный момент, когда не видела мать, бежала к лошадям в конюшню, залезала в конуру к собаке.

Соседка, застав ее как-то у колодца, решила напугать, чтобы она больше не заглядывала туда:

— В колодце живет водяной с зелеными глазами. Если будешь туда заглядывать, тут он тебя и сцапает.

Много раз с тех пор Соломка убегала в огород и глядела в глубокий старый замшелый колодец. Низкое творило было трухлявым, и она лежала на нем, отколупывая от сруба гнилые щепки и бросая в воду, все глядела, не появится ли водяной с зелеными глазами...

Вечерами, затопив в горнице камин, мать становилась на колени перед образами и ставила рядом Соломию. Она заставляла дочь читать вслух молитвы, говоря при этом: «Молись, доченька, чтобы Боженька послал в наш дом мир и счастье. Детская молитва — всегда доходчивее». Но резвушка и егозе Соломии молиться не хотелось, и она начинала рассматривать узорные дорожки на половиках.

Отец, видев это, говорил в сердцах:

— Ты только и знаешь одним молитвам ее учить. Такую же ханжу воспитать хочешь, как ты сама! Святошу, как твой батюшка с матушкой! Что ни шаг, всё ох да ох! Бог да бог! А сами напиться никому не дадут.

Мать сразу как-то тускнела при упоминании отцом ее родителей, впадала в глубокую печаль, работала машинально, не проронив за весь вечер ни одного слова.

В последнее время мать стала выглядеть потолстевшей и неуклюжей.

Однажды, хитро подмигнув, сказала Соломии:

— Скоро у тебя будет братик, а может, и сестричка! Будешь любить и нянчить?

— Буду! Буду! — обрадовалась Соломия. — А то мне одной скучно и играть не с кем.

Но вскоре случилось то, что Соломия не забудет всю жизнь.

Дело было на Святках, отец приехал домой среди ночи пьяный и злой.

Соломия не помнит, как он ворвался в спальню и стащил за волосы с кровати спящую мать, с ругательствами начал пинать ее сапогами:

— Ты так, подлая, мужа ждешь?! Жрать есть что? Опять все холодное, ну я тебя проучу! Я научу тебя домом жить!

Мать, ползая по полу, ища дрожащими руками, во что бы одеться, умоляла отца:

— Пантюша, ради бога, тише, разбудишь дочь.

Соломия давно уже не спала. Она бесшумно, как кошка, прыгнула за камин, схватила железную кочергу, и когда отец нагнулся, наматывая длинные роскошные волосы матери на руку, Соломия изо всех детских сил треснула отца кочергой поперек спины. Он, не ожидавший удара, ойкнул, выпустил из своей пятерни волосы и кинулся к дочери, но она, с горящим взором своих красивых агатовых глаз и с искаженным злобой детским личиком, забилась в угол за камин и заорала на весь дом пронзительно и страшно: «Не подходи, гад, убью!»

Отец рассвирепел:

— Это кто гад? Я?! — отступил от дочери и стал зверски избивать мать.

— Это ты, подлюга, научила ее? Ты!

Мать что-то лепетала бессвязное, дрожа, как смертельно испуганное животное.

Понемногу гнев отца пошел на убыль.

Избитая мать со стоном доползла до кровати.

К следующему вечеру мать родила недоношенного мальчика, который жил всего полтора дня и ни на минуту не переставал пищать и стонать.

Мать лежала, похожая на покойницу, бледная, с провалившимися глазами. Соломия подошла к ней, мать горячей прозрачной рукой погладила ее по густым жестким волосам и прошептала: «Ничего доченька, не плачь, не надо, скоро мама поправится»...

Из других впечатлений детства в память врезалось и такое. Стояло жаркое, душное лето. Как-то, когда утром от жары не было никакого спасения, Соломия через настежь открытое окно на кухне услышала разговор двух работниц трактира, поварих Палаги и Ульяны. Палага говорила:

— У нас в Аргаяше две бабы, полюбовницы хозяина нашего, разодрались... Прямо на людях, при всем честном народе и разодрались!

— А чё, в Аргаяше у Пантелея-то Кузьмича сударушки, что ли, есть? — удивилась Ульяна.

— Спросила б лучше, где у него их нет! И не только в здешних краях, поди, и в Казани, а то и в Москве имеются... И что это за характер у Катерины Ивановны — в толк никак не возьму. Все-то она ему прощает... И бьет он ее, и гулеванит напропалую...

— Из-за Соломийки, может, терпит. И потом, сама знаешь, добрая она...

— Телепня<sup>78</sup> она, вот что я тебе скажу! Не пара она Пантелею Кузьмичу, оттого у них и жисти путной нет. По его-то характеру какую ему жену надо? Черта в юбке — не иначе! А мужики добра не понимают; только когда сила на силу идет, тогда они сдаются. Вот мой, к примеру. Тоже сперва, как я в трактир нанялась, загнул: дескать, нанялась в трактир, там, наверно, и хозяин тебя лапает, и мужики пьяные! Дак я на него мигом страху нагнала. Молчит теперь, даже если выпимши домой приду. Свекровь однажды рот открыла, так я ее отбрила, — Палага победо-

---

<sup>78</sup> Телепня — неповоротливый, неуклюжий человек.

носно выправились во весь рост: — Ты чей, говорю, хлеб лопаешь?! Своего-то у нас уж с Масленицы не бывает, когда до нового-то урожая еще эвон сколь ждать... Вот и поживи тут честно-то, да по совести, да добром-то! С голоду подохнуть можно, ежели по совести жить!

Соломия из этого разговора поварих кое-что поняла. Она воспитывалась среди взрослых, и при ней не стеснялись в выражениях, считая ее несмышленным ребенком. Соломка давно уже знала, что значат слова «полюбовница», «сударушка», да и другие, более забористые.

Теперь она уяснила вдобавок: взрослые чаще всего не говорят, что думают, но о своей пользе и выгоде они думают всегда.

Однажды она увидела, как Палага, наложив на кухне полную сумку мяса и яиц, спрятала ее за баней, в густой крапиве. Соломия перепрятала сумку, а вечером следила из-за угла за тем, как Палага долго искала за баней спрятанное. Обшарив крапиву, а заодно и ближние кусты, повариха матерно выругалась и пошла домой с пустыми руками.

Как-то отец уехал по делам, сказав, что через неделю вернется. Но шла уже третья неделя, а его все не было. Все это время матери пришлось просидеть за трактирной стойкой. В трактире стоял шум и гам, царил беспорядок. Работник Митрич добросердечной матери почти не подчинялся и чуть ли не каждый день напивался допьяна; в трактире не успевали убирать со столов, и многие проезжающие, не пообедав, хлопали дверью, кляня хозяев. Некоторые отказывались платить за постой.

Иное дело было зимой. Во время непогоды, вьюги поземка сильно переметает Казанский тракт, ехать становится трудно и долго. А стужа! Мороз-воевода — он на чины-звания не больно-то смотрит. Мерзнет ямщик на козлах в худой шапке и латаном армяке. Но он правит парой, а то и тройкой лошадей, что хоть немного согревает в дороге.



Какой-нибудь важный господин сидит сиднем в своей карете или возке, и тут уж, коли начнут мерзнуть ноги, даже теплые казанские валенки не спасут. Проздрогнет проезжий и как о манне небесной начинает мечтать о постоялом

дворе... Скорей бы под крышу, к печке! С мороза сойдет и немудрящий, но горячий ужин. Тем более что богатые проезжие почти всегда возили с собой вино; иной купец еще и хозяина угощал.

Раньше постоялый двор был прибыльным делом. Но с тех пор как не стало доброго хозяина, приветливого и услужливого Кузьмы Ивановича, в нем проезжие останавливались неохотно.

Далеко по Казанскому тракту пошла худая слава нынешнего хозяина постоялого двора и трактира в Аргяше. Ну, как пьяница-то, как гуляка первостатейный Пантелей уж давно известен был, но когда на тракте стали грабители пошаливать, его несколько раз заподозрили в разбоях и грабежах. Да ведь не пойман — не вор, говорят. На всякий случай богатеи на конных тройках с валдайскими колокольчиками и дорогой упряжью старались в Аргяше не задерживаться.

Татары, как известно, — непревзойденные лошатники и надежные ямщики. Но те, которых нанимали довести до Казани, предупреждали богатых седоков еще на предыдущем постоялом дворе: «Моя едет прямо до Казань, пастаялий двор Китай останавливаться не будет: место поганый, ограбить могут».

В Масленицу на постоялом дворе расположились бродячие цыгане, и целую неделю от них не было покою. Всюду бегали, хлопали дверями, громко ругались и даже дрались, пиликали на скрипке, играли на гитарах, пели песни. В последний день Масленицы, соловник, к хозяину наехало много гостей, опять вино лилось рекой, снова пели и плясали цыгане.

Престарелая служанка Макаровна в сердцах говорила: «Вот бы их нечистый поскорее унес! Хоть бы наша голубушка Катерина Ивановна остатные-то денечки пожила на покое».



Но видимо, не суждено было ни одного дня в этом доме прожить Екатерине Ивановне в покое и в радости. Около полуночи, в самый разгар веселья, началась у нее предсмертная агония. Умерла Екатерина Ивановна тихо и незаметно, и верная служанка Макаровна закрыла ей глаза.

В это время дверь в комнату, в которой шла веселая гульба, неслышно отворилась и на пороге появилась босая девочка в ночной рубашке. Длинные роскошные волосы у девчонки были перехвачены лентой, большие черные глаза горели, а лицо покрывала смертельная бледность. Постояв с минуту, обвела всех присутствующих ненавидящим взглядом и вполголоса сказала: «Сейчас умерла мама!»

Сидящая на коленях отца белокурая нарядная женщина с бокалом вина встала, и бокал выскользнул из рук, облив вином ее дорогое красивое платье. Скрипка перестала пикивать, музыка смолкла. Отец с минуту смотрел вокруг себя осоловелыми пьяными глазами и, уронив голову на стол, заплакал. Гости поспешно стали уходить, а он все лежал головой на столе, и Соломия впервые заметила, сколько седины в его черных густых волосах...

На похороны Екатерины Ивановны приехали из Казани дед и бабушка Соломии — высокий, худой, с длинной седой бородой старик и вся в черном, с сухим и желтым, как пергамент, лицом монахини пожилая женщина.

Их Соломия видела первый раз в жизни, и они казались ей посторонними людьми, тем более что бабушка-монахиня будто не замечала Соломию и ни разу не приласкала внучку, только, не разжимая тонких бескровных губ, взглядывала на нее с укором, будто внучка была повинна в смерти Екатерины Ивановны.

Похоронами распоряжалась служанка Макаровна. Гроб стоял в гостиной на двух сдвинутых столах. Исхудавшее лицо Екатерины Ивановны казалось чужим и

строгим. Она была в белом платье, в котором когда-то венчалась в церкви, с белыми цветами на голове. Соломии не верилось, что это ее мать, и девочке начинало казаться, что хоронить будут какую-то чужую женщину, а ее мама, живая и здоровая, вот-вот войдет в гостиную, поздоровается и пригласит всех пить чай. А к ней, к Соломке, подойдет, погладит по волосам, обнимет за плечи своей теплой, мягкой рукой и скажет что-нибудь ласковое...

Но ничего этого не было. Была церковь в селе Аргаяш, посреди которой стоял гроб с телом матери, кругом горели свечи и пахло ладаном, запах которого плавал по храму и возносился под высокие своды. Пел церковный хор. Макаровна, подталкивая Соломию поближе к гробу, тихо говорила: «Посмотри, Соломиюшка, на маму-то в последний раз...» Соломия слышала голос служанки как будто сквозь тягостный сон. За всю заупокойную службу ни одна слезинка не выпала из ее глаз — плакать она не могла, только смотрела вокруг сухими, испуганными глазами, а сердце сжималось и холодело, словно его обложили льдом. Когда ее привели из церкви домой, она опять как во сне слышала разговор работниц.

— Закаменело, знать, у ней сердчишко-то, потому и слез нету... Поплакала, легче было бы, — говорила Макаровна.

— Чё ребенок восьми годов понимает? Скоро позабудет мать-то, да и все! — возражала Палага.

— Да типун тебе на язык! Лечить надо ее — от тоски да от испуга!

После церкви печальная процессия отправилась на кладбище.

Соломия, кутаясь в большую шаль, подошла к краю могилы. Холодный ветер бросал в лицо колкие снежинки. Кладбищенские ели склонились в немом молчании над могилами умерших, где нашли себе приют целые

поколения, где сравнились богатые и нищие, знатные и безвестные. Господа и их слуги. Теперь сюда на веки вечные переселилась и ее мать.

Вот уже бережно гроб опущен в могилу. Отец без шапки, с заиндеветшей головой, первый бросает горсть земли.

Макаровна потихоньку говорит Соломии:

— Брось и ты, деточка, земельки маме в могилку, чтоб ей было помягче лежать.

Соломия берет узорной красненькой рукавичкой, связанной матерью, комочек мерзлой глины и бросает его в могилу, комочек глухо стучит о крышку гроба, и могилу начинают постепенно зарывать...

Уже дома, после похорон, Макаровна подозвала Соломию:

— Поди-ка сюда, Соломиюшка, поди, сиротинка моя горькая, — Макаровна подвела Соломию к откинутой западне<sup>79</sup> подпола.

— Повторяй за мной: «Тоска-печаль моя, сойди с меня, сгинь-пропади в темноте и во мраке!» Соломия старательно повторяла странные, загадочные слова. Потом Макаровна долго умывала ее какой-то водой, чем-то напоила из глиняного кувшина и повела за стол. В гостиной был приготовлен поминальный обед, и Соломия впервые за эти дни почувствовала, что очень хочет есть.

---

<sup>79</sup> Западня — подъемная дверь в погреб, подполье.

## НА БЕРЕГАХ КАЗАНКИ И ВОЛГИ

После похорон дед и бабушка стали собираться домой и решили взять Соломию к себе в Казань. Дед впервые заговорил с ней:

— Собирайся с нами в Казань, Соломия. Придется взять тебя хоть на время, пока отец тут управится с делами...

— Не поеду я, не хочу! — Соломия отчаянно замотала головой. Ее пугало незнакомое, какое-то жестяное слово «Казань», где не будет доброй служанки Макаровны, а будут одни только эти почти незнакомые, суровые дед и бабушка...

— Поедешь, и без всяких разговоров! — приказал Пантелей Кузьмич.

Макаровна успокаивала плачущую Соломию:

— А ты, дитятко, не бойся! Езжай к деду-то с баушкой, будешь теперь для них утешением. Ты же внучка им родная! Они, на тебя глядячи, сердцем успокаиваться будут. Тоже ведь и их, стариков, понять и пожалеть надо...

И вот Соломия впервые в Казани в доме деда. Там, где омутистая, с крутыми глинистыми берегами речушка Казанка несет свои мутные от таяния снегов воды в полноводную и величественную Волгу. На правом ее берегу, словно горсть гороха, рассыпаны избы русской слободки. Вся местность иссечена оврагами, которые заполняются водой после обильных дождей и несут всякий хлам и мусор в Казанку. Летом Казанка сильно мелеет, но совсем не пересыхает: запруженная плотиной, она превращается в грязный застойный пруд, где с утра до вечера купаются ребятишки из бедных семей. У берега лежат свиньи, а на небольших деревянных плотиках бабы полошут белье и моют половики.

Приземистый старый дом Ивана Осиповича Морозова подслеповатыми окнами глядит на Казанку. Дом был большой, но крайне неудобный. Во всех трех жилых комнатах, в прихожей и на кухне постоянно царил полумрак, так что человек, пришедший с улицы, после дневного солнечного света почти ничего не видел и прихожую проходил ощупью, спотыкаясь на бесчисленных порожках.

В темных сенях были ступеньки, ведущие вверх к порогу, но когда гость, поднявшись, открывал дверь, то с удивлением обнаруживал ряд ступенек, ведущих вниз, в прихожую. В прихожей было много заборочек и заборок<sup>80</sup> — и с дверями, и без дверей, и везде неизменно были пороги, в жилых комнатах пол был на целых пол-аршина выше, чем в кухне и в прихожей, и конечно, туда вели опять ступеньки и пороги. Когда чужой, не знающий расположения дома человек наконец выходил из этого лабиринта, то он обязательно вместо выхода попадал в чулан, потому что одинаковые двери с одинаковыми ступеньками находились рядом: одна дверь вела в полутемные сени, другая — в огромный темный чулан с бесчисленным количеством полок и полочек с разной хозяйственной утварью, всевозможным хламом и старой негодной мебелью, заплесневелой и покрытой паутиной.

Посветлей и попросторней в этом доме оказалась только одна комната с окнами на реку. Но и она была вся загромождена тяжелой мебелью: тут стоял огромный, до потолка, посудный шкаф, выкрашенный черной краской, под стать ему были громоздкие кресла и массивный обеденный стол на толстых точеных ножках.

В комнате было множество икон, и возле них всегда горела лампада: старики Морозовы отличались набожностью.

---

<sup>80</sup> Заборка — деревянная перегородка, разделяющая на части помещение в доме.

По утрам они просыпались очень рано и уже вскоре начинали молиться. Соломии не хотелось вставать на утреннюю молитву, но бабушка была неумолима. Она костлявыми, всегда холодными пальцами вытаскивала ее из постели и заставляла отбивать поклоны. Потом, уже отмолившись и все равно поминутно крестясь, она скрипела:

— Экое наказание мне, прости господи, на старости лет! Неужто Катерина была такой вот ленивицей? Нет, ты в своего отца непутевого пошла! Скажу вот Ивану Осиповичу — пусть он назад к батюшке такое сокровище везет!

Если в горенку входил дедушка, бабушкины тирады с сонливой и ленивой внучки, все время бросающей у входа грязную обувь, переходили на ее душегуба-отца...

После холодной зимы с метелями и снегопадами вдруг как-то разом началась весна. Великим постом, когда в Зауралье чаще всего бывают морозные утренники, здесь уже с гор всюду бежали ручьи. Соломия, несмотря на ворчание бабушки, день-деньской пропадала на улице. Там быстро нашлись и подружки-сверстницы, и товарищи. Как весело было пускаться по бурлящим канавам корабрики из щепок! Но как-то раз, поскользнувшись на глинистом берегу, Соломия съехала в овраг и едва не утонула в ледяной воде.

Подружки помогли ей выбраться и велели скорее бежать домой, но она еще долго старалась замыть грязь на пальтишке — бабушка ругаться будет!

Ей и в самом деле здорово попало — сначала от бабушки, потом от дедушки, который пребольно выстегал ее сыромятным ремнем, и она долго редела в постели, прежде чем заснуть.

Назавтра она не могла встать, начался жар, и Соломия надолго заболела. Дед изредка подходил к кровати,

молчал или виновато вздыхал, глядя ее по голове; бабушка приносила яблоко или пряник и спрашивала: «Ну скажи, дитяtko, где у тебя болит-то?»

Соломия упорно молчала или отвечала сердито: «Нигде у меня не болит!» — и закрывала глаза, притворяясь, что засыпает. Бабушка, крестясь, отходила от кровати.

Соломия не знала, что старики Морозовы частенько говорили о ней и о покойной дочери.

— Ну и чадушко, — поражалась бабушка, — вот до чего злопамятна! И слова доброго от нее не добьешься! Катерина-покойница — та не такая была...

И бабушка заливалась слезами, а потом подходила к иконам и подолгу истово крестилась и шептала молитвы.

Иван Осипович как умел утешал жену:

— Что теперь поделаешь... Говорят, кто умер молодым, того Бог возлюбил и к себе до срока призвал... А что на роду написано — того никак не обойдешь, не объедешь, нет! Не послушалась нас Катерина, вышла за этого негодника! Убежала из дома, хотя находились женихи добрые. Ан нет! Один бог знает, что с ней сделалось, то ли он приворожил ее, то ли ее ум помрачился, — старик помолчал, горько вздохнул и продолжил дальше: — Что теперь поделаешь, не доглядели мы с тобой, мать, ох как не доглядели! Скрытная она была, тихая, молчаливая, все, бывало, сидит у окна да глядит, голубушка, то ли на речку Казанку, то ли куда-то вдаль, подопрется локоточком — и сидит, глядит в окошечко. Хороводы с подружками водить перестала, все, сердешная, сидела у окошечка да думала... Видно, уж тогда сердечко-то предвещало, что ничего доброго не будет от этого замужества, а все же решилась, пошла.

А что хорошего-то, от дурного поступка добра уж не жди. Один дурной поступок завсегда тянет за собой вереницу других дурных поступков... Он, негодник, и отца-то свел в могилу раньше времени, такой душегуб кого угодно в гроб вгонит. Кузьма Иванович хоть и добрый был мужик,

а тоже большую глупость сделал, что женился второй раз на молодой распутной девке. Все ведь говорили, что Пантюха вовсе ему не сын, а нагулян с проезжим цыганом, так оно, видно, и было, а Кузьма Иванович не хотел позора и огласки, простил свою молодую непутевую жену и сына признал своим. А что толку-то, через полтора года она сбежала неизвестно куда с каким-то прощельгой-пьяницей, оставив свое чадо Кузьме Ивановичу. Всю жизнь потом каялся в своем глупом поступке Кузьма-то, да поздно... Так и умер, сердешный, а дом и хозяйство пошли в упадок да в разорение...

В первый же день, как только спал жар и перестала болеть голова, Соломия удрала из дома. Потихоньку от бабушки открыла окно, спрыгнула на влажную после половодья землю — и вот она на воле! Ни за что, решила Соломия, никогда-никогда она не вернется в угрюмый полутемный дом Морозовых!

Кругом царила весна: одевались клейкими листочками тополя, из земли лезли зеленые стрелки молодой травы, наперебой трещали и пересвистывались скворцы. Казанка после половодья вошла в обычное русло. По легкому мостику Соломия перешла речку на другую сторону и очутилась в татарской слободке.

Она бродила просто так, без всякой цели. Когда к ней обращались на каком-то непонятном языке странно одетые, с закрытыми до глаз лицами женщины, она убегала от них.

Соломия впервые видела Волгу, и только со слов Макаровны, рассказывавшей ей сказки, знала, какая это река. Но когда девочка добралась до высокого берега и увидела бескрайнюю водную ширь, то сразу поняла: это она, сказочная Волга.

По реке взад и вперед сновали парусники, внизу у воды люди, как муравьи, облепляли огромные баржи, к



пристани причаливали и отходили от нее белые пароходы. Соломия не помнила, сколько она пробыла на берегу. Вдруг откуда-то явилась ватага здоровенных мужиков и кружком расселась в тени на порожних пузатых бочках и каких-то ящиках. Каждый достал из котомки тряпицу с чем-то съестным. У Соломии от голода уж давно сосало под ложечкой, и она нет-нет да поглядывала в их сторону. Наконец белобрысый рябой мужик из ватаги молча пома-нил ее толстым пальцем.

Каким вкусным показался ей ржаной хлеб с луком и солью!

— Откуда ты, девонька? — жуя, спросил белобрысый.

— А я к дедушке и бабушке сюда приехала!

И Соломия рассказала, что хочет скорее домой, на постоянный двор, хотя он далеко, на Казанском тракте под Аргаяшем, а к строгой бабушке она и показываться не хочет.

— Неладно ты удумала, девонька! — укоризненно протянул мужик, что поделился с ней хлебом. — Дед с бабкой, наверно, с ног сбились, тебя искавши, а ты — вона, полдня уж на пристани!

Тут мимо проходил мужчина в белом кителе и в фуражке с кокардой.

— Василь Потапыч, погоди маленько, — остановил его белобрысый.

— Что тут у вас? — подошел полицейский.

— Да вот девчонка к нашей артели приبلудилась, нездешняя она, к деду-бабке ее привезли недавно...

— Ну-ка, барышня, говори, где дед с бабкой живут? Адрес-то и как они прозываются помнишь?

— А как же!

Соломии страшно понравилось, что ее назвали барышней, и желая казаться взрослой, она рассказала, что дед с бабушкой живут на улице Казанской и что дедушку зовут Иван Осипович.

— Ну знаю, — кивнул полицейский, — пойдем-ка, отведу я тебя к деду твоему!

В тот день сыромятного ремня ей не досталось; через два дня Иван Осипович отвез внучку на постоянный двор в Аргаяше. Больше Соломия ни разу не была в доме Морозовых, никогда их больше не видела и не знала даже, долго ли еще прожили старики.

## ДОЧЬ ИРОДИАДЫ

За три месяца, проведенные Соломией в Казани, дома почти ничего не изменилось; прислуга была та же. Макаровна ее встретила как родную, и обе были рады встрече.

Немного изменился только отец. Он, может быть, по-своему любил дочь и даже пробовал баловать ее. Както он привез Соломии красное шелковое платье с короткими рукавчиками-фонариками, тремя оборочками и с большим вырезом. Платье очень шло к ее смуглому личику и черным волосам. Алую ленту в виде розы сшила и приколола к волосам Макаровна.

Домашние обомлели, а Пантелей Кузьмич сказал:

— Ну, к этому платью не хватает только настоящих украшений... А они будут, будут, черт побери! Дай срок, ты у меня настоящей принцессой станешь!

На другой день он велел Макаровне проколоть Соломии уши — для серег. А через несколько дней преподнес дочери тонкие золотые серьги с красными, как капли крови, камушками.

Отец был навеселе и, дыша ей в лицо перегаром, принялся неуклюже вдевать серьги. Соломии это не понравилось, и она перед зеркалом легко вдела серьги сама.

— Застегни, дочка, замочки путем да носи, не потеряй. Серьги дорогие, из высшей пробы золота и с рубинами! А теперь вот это примерь...

Пантелей Кузьмич достал из нагрудного кармана носовой платок, развернул его и достал золотое ожерелье с камнями. Ожерелье было большим и массивным — в пору грузной с толстой шеей даме, оно совсем не подходило для тонкой детской шейки маленькой девочки, но при виде его глаза Соломии вспыхнули алчностью...

— Знаешь, сколько оно стоит? — бахвалясь, спросил Пантелей Кузьмич. — Э, ни шута ты еще не знаешь, глупышка! Матери твоей было оно куплено...

— Батюшка, а почему оно у тебя? Разве мама не носила его?

Отец сразу стал серьезным, даже протрезвел.

— Она не любила дорогих украшений...

— А я люблю, я буду носить! Батюшка, отдай мне ожерелье!

— Я тебе подарю другое... только потом, не сейчас. Да смотри — не сболтни кому про это ожерелье!

— А ты мне, батюшка, подари сейчас — хоть то, хоть другое... Я хочу сейчас!

— Вот через две недели твой день рождения, девять лет тебе будет, тогда и подарю.

— А еще платье красивое купишь?

— Обязательно, только сейчас — спать, время уже позднее... Вон Макаровна уже идет прибираться!

Соломия улеглась в постель, но ей не спалось — она все ощупывала подаренные отцом серьги, будто хотела удостовериться, что они на самом деле у нее в ушах... Как хорошо дома! А батюшка — и вовсе он не злой... он добрый... И образ матери стал постепенно отдаляться все дальше и дальше. Как хорошо дома. А в Казань к деду и бабке она больше никогда не поедет. Они нехорошие... они не любят батюшку.

«А что, если сейчас пойти к батюшке и попросить его показать ожерелье, которое он обещал подарить мне на именины? — думала она. — Хоть одним глазком взглянуть — лучше оно, а может, и хуже мамино?»

С детства ничуть не боявшаяся темноты, Соломия ночью могла обойти весь дом одна, даже без свечи, наощупь. Макаровна, уставшая за день от работы и бесконечной беготни, уже посапывала на своей постели. Удостоверившись, что старая служанка крепко спит, Соломия

неслышно, как кошка, выскользнула за дверь и, стоя в коридоре, увидела, что в щели двери в спальню отца нет света. «Значит, спит», — поняла Соломия и решила отца не будить, не то, чего доброго, рассердится да и раздумает ожерелье-то дарить!

Только она хотела вернуться в постель, как ее взгляд упал на тоненькую полоску света под дверями в конце темного коридора. Соломия знала: там маленькая комнатка с одним окном, забранном железной решеткой. Комнатку отец, когда бывал в добром настроении, с усмешкой называл своим кабинетом. Соломия, несмотря на запрет отца, и раньше бывала в этом «кабинете». В большом старом шкафу на полках пылились книги, которые никто не читал, лежали деловые бумаги и часто стояли толстобрюхие черные бутылки с вином. У другой стены был покрашенный черной краской и покрытый лаком стол с письменным прибором из хрусталя с позолотой и бронзовый подсвечник в виде голой женщины с факелом в руке, кроме всего этого на столе всегда лежали счета с красивыми косточками, выточенными из слоновой кости. В кабинете отца стояли два стула и неказистое старое кресло с высоченной спинкой, оно стояло в углу и на нем никто никогда не сидел, но к нему здесь так же привыкли, как привыкают к любой мебели в доме. Входить и прибираться в «кабинете» разрешалось одной Макаровне, и то только в присутствии хозяина.

Сомнений не было: свет проблескивал из-под двери «кабинета», значит, отец был там. Соломия, неслышно ступая, подошла к двери, но дверь была плотно заперта. Она заглянула в замочную скважину и удивилась: свеча стояла не на столе, как обычно, а где-то на полу, в углу за креслом. Отца не было.

«Где же отец? Почему он спрятался?» — сгорая от любопытства, Соломия неслышно приоткрыла дверь и просунула голову внутрь. Даже при тусклом свете свечи

она отчетливо увидела за отодвинутым от стены креслом потайную дверцу сейфа, которая была обычно скрыта высокой спинкой кресла и совершенно незаметна на стене, оклеенной розовыми с красными цветами, пестрыми, как дешевый ситец, обоями. Отец сидел на корточках и что-то внимательно разглядывал на полу. Сгорая от любопытства, Соломия сильно подалась вперед, при этом неосторожно скрипнув дверью. Отец мгновенно поднял голову, лицо его было бледным, словно у призрака, широко раскрытые глаза остолбенели, как при сильном испуге, стали страшными и чужими.

— Кто здесь?! — спросил он сиплым, сдавленным голосом, — А, это ты, егюза... Почему до сих пор не спишь? И куда это Макаровна смотрит... Сейчас же в постель, не то плакало твое новое платье к именинам!

— Батюшка, помнишь, ты еще мне ожерелье обещал? — прикинулась виноватой хитрая девчонка. — Прости, я больше никогда-никогда не войду к тебе без спроса...

Соломия уснула нескоро: из головы не шел загадочный тайник в «кабинете» отца. Заснув, она впервые увидела во сне мать. Будто бы они с матерью идут в аргаяшскую церковь к обедне. Мать в белом платье, с цветами на голове, такая же, какой была, когда ее хоронили. Они торопятся в Аргаяш, но... идут почему-то по высокому берегу речки Казанки. Мать — впереди, а Соломия поспевает следом и громко говорит: «Мама, посмотри, что батюшка мне на именины подарил», — и показывает ей то самое ожерелье. Мать оглядывается, и ужас искажает ее лицо. «Погибель это, Соломка... погибель!» — шепчет она трясущимися губами. И вдруг Соломия срывается с высокого берега в реку и стремглав летит вниз...

Она проснулась и сразу же пошла к Макаровне — рассказать свой страшный сон, но на пороге кухни остановилась как вкопанная: отец громко и сердито отчитывал служанку:

— Знать, стара ты стала, Анна Макаровна, не справляешься уже!

— Да что подеялось, батюшка Пантелей Кузьмич?!

— Да то и подеялось, что вон девчонка в ночь-полночь босая бегаёт, а ты спишь себе!

Старая служанка, плача, оправдывалась. С тех пор как не стало Екатерины Ивановны, она сбивалась с ног на работе; не раз просила Пантелея Кузьмича, чтоб он нанял ей помощницу управляться по дому. Тот, когда был в добром духе, обещал, но тут же забывал, и все оставалось по-старому.

А время шло. Соломия по-прежнему каждый день вертелась перед зеркалом, примеряя платья и прикидывая, как подойдут к ним очередные новые серьги с самоцветными камушками. В день рождения отец взамен обещанного ожерелья преподнес красивое золотое кольцо с вишневыми камушками, которое пришлось ей впору. Соломия втайне обрадовалась, что он не подарил ей материнского ожерелья — никак не забывался тот страшный сон... Кроме того, отец купил ей красное шелковое платье и сам вплел в косу нитку жемчуга.

На именинах было много гостей, стоял шум и гам. Наяривала гармонь, тонко пела скрипка, звенела гитара. Отец вывел Соломию к собравшимся в гостиной. Все поздравляли именинницу, дарили подарки и даже подали маленькую рюмочку красного вина. Девчонке было весело среди гостей; ей очень нравилось быть в центре всеобщего внимания. Гости много пили, потом пели и плясали.

Просили спеть и Соломию; ее хвалили, говорили, что у нее замечательный музыкальный слух и голос, что ее надо учить музыке, пению и танцам. Уже поздно ночью Макаровна увела ее в спальню, раздела уже сонную и уложила спать.

С тех пор в любой праздник Соломия вертелась среди гостей, изо всех сил стараясь привлечь их внимание. Она

привыкла тщательно и изысканно наряжаться и всякими путями вымогала у отца все новые наряды и украшения. Когда иной раз пьяные гости подавали девчонке рюмочку легкого вина, она готова была веселиться хоть всю ночь. С Макаровной ей стало неинтересно и скучно, и когда не было гостей, а отец куда-нибудь уезжал, она попросту не знала, куда себя деть. Макаровна пробовала учить ее вязать, вышивать и шить, но ей это быстро надоело, а работу по дому она делала по принуждению, да и то из рук вон плохо. Макаровна сердилась и бранилась, но Соломия, уже ощутив превосходство хозяйской дочери, грубила, огрызалась, — словом, стала невыносимой.

Красивое ожерелье, виденное и наяву, и в ужасном сне, все-таки не давало ей покоя... Куда отец мог его спрятать? Конечно, в тайник в стене своего «кабинета»! А почему он так испугался, когда ночью она подглядывала в дверь? И ей захотелось непременно проникнуть туда, еще раз взглянуть на эту завораживающую вещь. Но как к ней пробраться? Дверь «кабинета» всегда была закрыта на ключ, а ключ отец или где-то прятал, или носил при себе.

Так прошли лето и осень. В доме все вроде бы оставалось по-старому: частые попойки и гости, приезжали разодетые женщины в дорогих платьях с украшениями, мужчины, вежливые и галантные, в изысканных костюмах... Многие восхищались красотой хозяйской дочери. Отец как-то во хмелю назвал ее непонятно-загадочно, но, похоже, в похвалу, «дочерью Иродиады». С тех пор он, напившись, всегда начинал кричать на весь дом: «Эх, пляши, Соломия, дочь Иродиады! Пляши!»

Сам Пантелей Кузьмич тоже любил и умел плясать. Он выходил в круг в широкой кумачовой рубахе, в плисовых штанах и лакированных сапогах. Заложив руки за голову, он плясал все быстрее и быстрее, всем своим существом отдаваясь огневой цыганской пляске... Наверно, правы



были те, кто считал, что в крови Пантелея Кузьмича Китаева есть немалая доля цыганской...

Но любил он и русские пляски, причем плясал до упаду. Под конец, тяжело отдуваясь, валился на диван или в кресло. Отдышавшись, снова плясал, сверкая золотой серьгой-полумесяцем. Доведя себя до полного изнеможения, он все же, широко раскрывая рот с ровными белыми зубами, продолжал кричать:

— А ну, а ну, еще! Пляши, Соломия, дочь Иродиады! Весели душу!

Гости смотрели во все глаза и восхищались.

## КОЛЬЦО С РУБИНОМ

По всей округе давно шли слухи, что на постоялом дворе в Аргаяше нечисто, что хозяин живет не по средствам, но Пантелю Кузьмичу было наплевать на слухи и на разговоры-пересуды. Не пойман — не вор!

В его дом тайком, крадучись, часто приходили бродяги подозрительного вида, и хозяин их принимал, прятал, давал одежду и съестное, а потом бродяги исчезали неведомо куда. Помогал хозяину, был его правой рукой угрюмый немногословный Митрич.

Когда на постоялый двор приезжали полицейские чины — урядник или становой пристав, Пантелей Кузьмич с ног сбивался, стараясь угодить, и угощал, отменно потчевал важных гостей, напаивая их до бесчувствия, а потом при помощи Митрича снимал с пьяных сапоги и укладывал спать. Когда гости, очухавшись после попойки, уезжали, он, провожая их, сам открывал ворота и даже кланялся вслед. Но когда гуляки-полицейские, гораздые на бесплатную выпивку-закуску, скрывались из виду, он, не обращая внимания на Митрича, обзывал их самыми гнусными словами...

В Масленицу на постоялый двор нагрянули цыгане и жили целую неделю. Как обычно, стоял невообразимый шум и ругань, иногда дело доходило и до драки. Но Соломии они ничуть не мешали — она привыкла; к тому же девчонка была целиком занята своими нарядами и украшениями. Молодые цыганки делали ей прически, учили цыганским пляскам и песням. Многие из них жадными глазами смотрели на серьги и кольцо Соломии, но она сразу заметила это и украшения свои сняла и спрятала.

Но вот цыгане исчезли: наступило время ярмарок, и они подались кто куда на ярмарки. Цыгане — барышничать

по лошадиной части, а то и красть коней, цыганки — гадать на картах. Отец тоже уехал, и в доме настала гробовая тишина. От нечего делать Соломия целыми днями бегала по двору и на улице, каталась на санках с горок, а когда мороз начинал щипать щеки, забегала в трактир или на кухню. Как-то, наигравшись, она неслышно подошла к кухне. Соломия с раннего детства любила и умела подходить неслышно и подслушивать чужие разговоры, подглядывать, что делает прислуга, ничем не выдавая себя, а потом тихонько уходить.

Никто ее не учил этому — такой уж у нее характер. Когда была жива мать, она даже наказывала Соломию за это. Теперь, когда прошел уже целый год после смерти матери, Соломия была сама по себе, как ветер в поле, что хотела, то и делала.

В тот день она услышала разговор Макаровны с Ульяной. Ульяна укоризненно говорила:

— И чё только теперь выйдет из Соломийки, а ведь баская<sup>81</sup> девчушка была! Загубит ее Пантелей-то Кузьмич, помяни мое слово, загубит, не человеком — нелюдью сделает!

— Ты знаешь ведь, — отвечала Макаровна, — матери нет, так ребенок — круглый сирота... и так уж за один год он ее разбаловал и растлил этими нарядами да украшениями... А уж ленивица-то какая, а злыдня — не приведи бог! А уж я ли добра ей не делала? Почитай, с пеленок с ей нянчилась. Даже в барских семьях старых-то нянюшек да служанок уважают, а тут тебе не то что уважение, а знай покрикивает, словно госпожа какая, и помыкает мной, старухой, ровно девчонкой! Вся в отца характером, материнского-то ничего нет. Неспроста казанские дед с бабушкой помаялись-помаялись с ней да обратно и привезли...

---

<sup>81</sup> Баская — красивая.

— Да господь с ними! — махнула рукой Ульяна. — Пусть уж хозяева как знают, так и живут, а наше дело маленькое: что велено, то исполняй.

Разозленная Соломия незаметно удалилась, и затаив злобу на старую служанку, стала выискивать момент, как бы отомстить Макаровне. И случай этот вскоре представился.

Как-то отец второпях забыл ключ в дверях «кабинета». Макаровна мыла полы и окна в номерах, готовя их для новых приезжих.

Соломия слышала, как отец разговаривает на улице с каким-то важным чиновником. Тихонько проскользнуть мимо тугой на ухо служанки, вытащить ключ из замочной скважины и вернуться назад для нее было делом одной минуты. Ключ Соломия потом спрятала на сеновале под стропилину<sup>82</sup>, а сейчас, торжествуя победу, нарочно стала вертеться на виду у всех.

Отец велел ставить лошадей приезжего; ямщик с Митричем стали распрягать, а отец с большим саквояжем в одной руке и с сундучком в другой повел приезжего наверх в комнаты.

Когда поднялись наверх, Макаровна все еще была там. Взгляд Пантелея Кузьмича упал на дверь «кабинета», и он спохватился, что забыл ее закрыть, а ключ оставил в замке. В карманах ключа не нашлось.

Наскоро распорядившись, чтобы приезжему подали чай, Пантелей Кузьмич позвал со двора дочь.

Та смекнула, о чем отец сейчас будет спрашивать, и сделала невинную рожицу и ангельски чистые глаза:

— Батюшка, я же все время во дворе бегала, а тут Макаровна была!

Вечером отец долго беседовал с Макаровой. Говорили при закрытых дверях и Соломию не пускали. Когда

---

<sup>82</sup> Стропилина — одно из бревен, составляющих стропило.

отец вышел и Соломия зашла в комнатку, где они с Макаровной жили, пожитки служанки были разбросаны по полу, она собирала их, складывая обратно в свой убогий сундучишко, и слезы лились из ее глаз. Вот наконец старая няня собрала свои ветхие старомодные юбки и кофты, уложила и долго еще тихо, беззвучно плакала в углу. Горькие рыдания сотрясали все ее тщедушное тело, потом она еще долго охала и вздыхала... А Соломия радовалась своей удаче: теперь ключ в ее руках, только выждать удобный момент, когда не будет отца дома, и можно смело открывать и заходить в запретное для нее место.

Беда, как говорится, не приходит одна: сначала Макаровну обвинил хозяин в воровстве ключа, а через неделю она обварила кипятком руки, вытаскивая из печи кипящий чугунок. Смазывала ожог и подсолнечным маслом, и яичным белком — ничего не помогло, обе руки вздулись водянистыми пузырями. С замотанными по локоть руками, вся в слезах, она ходила по дому и охала: «Что же я теперь делать-то буду? Ох, скорее бы пришла ко мне смерть, не мучилась бы я на белом свете».

В этот же день Пантелей Кузьмич уволил старую служанку.

— Мне нужна здоровая, молодая прислуга... У меня не богадельня, и я не миллионщик — убогих кормить! В больницу тебе надо — там скоро руку залечат! Вот поедут постояльцы до Казани, так и быть уж, заплачу и отправлю...

Скоро, невзирая на мольбы и просьбы Макаровны, ей помогли одеться, вывели под руки из дома и усадили в возок. Ямщик свистнул, лошади тронулись, и старая служанка, бывшая няня Соломии, уехала навсегда.

Украденный и спрятанный под стропилину ключ Соломии так и не пригодился: оказалось, что отец велел сделать новый замок и ключ больше в дверях никогда не оставлял, а носил в жилетном кармане. Когда Пантелей

Кузьмич приезжал домой пьяный или навеселе, Соломия встречала его радостно, взбиралась на колени и сразу лезла в жилетный карман. Отец журил ее:

— Ну как тебе не стыдно, такой большой, на колени лезть?

Соломия нарочно лепетала, как малышка:

— Ой, батюшка, мне без тебя дома одной так ску-учно! А гостинца ты мне привез?

— Вот дурочка, ну кто же носит гостинцы в жилетном кармане? — и отец ссаживал ее с колен.

— Ну вот, дочка, тебе не будет скучно, — сказал как-то Пантелей Кузьмич, — новая мама у тебя будет...

Соломия так и обомлела. Ей совсем не нужна была никакая новая мама! Девчонка и от родной матери стала отвыкать, а тут вдруг явится какая-то чужая женщина да еще начнет командовать... Уж лучше была бы Макаровна, а мачеха ей не нужна!

— Ну, чего надулась как мышь на крупу? — пробовал пошутить и вызвать дочь на разговор Пантелей Кузьмич.

— Не надо мне, батюшка, мачеху!

— Ишь ты... — опешил отец. — Ну ладно, поживем — увидим...

И снова Соломии была предоставлена полная свобода. На место Макаровны отец нанял новую прислугу. Молодая женщина, которую отец и все остальные стали называть Тиной, Соломии не докучала. Быстренько справлялась с делами и убегала в трактир или на кухню — до позднего вечера. Возвращалась навеселе или совсем пьяной, сразу ложилась в постель, иногда даже не раздевшись, и беспробудно спала до утра.

Да и не только Тина да Митрич, но и вся нынешняя прислуга была не прочь выпить...

А тон всему задавал Пантелей Кузьмич. Напившись в трактире, он являлся домой и еще с порога орал: «Соломия!

Где ты, Соломиюшка?! Иди сюда, дочь Иродиады, смотри, что я тебе привез!» Преподносил подарок — иногда стоящий, а то и просто пустяк, и заставлял плясать. «Пляши, Соломия, пляши... весели душу... Эх! Мала ты еще, многого не понимаешь! Как тяжело на душе у твоего батьки. Муторно мне и тоскливо... Весь этот кабак! Тьфу...» И он стучал изо всей силы своим жилистым кулаком по столу, так что подпрыгивали с вином стаканы, рвал ворот своей рубашки и, уронив седую нечесаную голову на руки, долго неподвижно лежал так головой на столе, и рыдания сотрясали его широкую могучую спину.

Как-то напившиеся гости на минутку оставили Соломию одну. На столе стояло много раскупоренных бутылок вина, и Соломия, опасливо оглядевшись, налила себе почти полный стакан из большой черной бутылки. Вино было сладким, густым и липким. Девчонка выпила сразу полстакана. Ей стало легко и весело, и она незаметно выпила стакан до дна. Она хотела пойти посмотреть, куда подевалась шумная компания гостей, уже встала со стула, но вдруг страшно закружилась голова. Точь-в-точь как на карусели, все быстрее и быстрее... и вдруг — темнота.

Очнулась она на постели от прикосновения к лицу чего-то едко-пахучего. «Слава богу, очнулась!» — услышала она голос отца. Открыв глаза, Соломия увидела отца, склонившегося над постелью.

— Зачем ты, дочка, столько выпила? — с кривой, виноватой улыбкой спросил Пантелей Кузьмич. — Это ведь ликер, он очень крепкий, и пьют его только маленькими рюмочками...

Соломию мучила тошнота и бил озноб. Ей дали клюквенного морсу, к ногам положили мешочек с горячим песком и укрыли теплым одеялом. К вечеру Соломии полегчало; она поела клюквенного киселя, уснула, а на завтра встала здоровой и даже веселой.

С этого случая вино стало Соломии противным, и хотя она, как и прежде, вертелась около гостей, иной раз предлагавших ей рюмочку, никогда не пила. Отравление вином неожиданно пошло ей на пользу. Но оказалось, что ей грозит отравка еще страшнее — неудержимая тяга к воровству.

Началось вроде бы с пустяка: случайно она нашла у ножки стола серебряный полтинник. Соломия никому не сказала о своей находке и припрятала монету к себе в тайничок — боялась, чтобы не выкрала вечно похмельная Тина. Соломия прислугу-выпивоху сразу невзлюбила и ни в чем не доверяла ей.

В другой раз Соломия стянула кольцо с красным камушком у пьяной гостьи, спавшей на диване в гостиной. Соломия хорошо запомнила этот случай. С вечера она, как обычно, вертелась среди гостей, пела и плясала. С некоторых пор отец, опасаясь, что дочь опять может напиться, стал раньше выпроваживать ее спать. Выпроводил и в этот раз. Когда Соломия пришла к постели, пьяная Тина уже храпела на всю спальню. Соломия, не раздеваясь, прилегла, но не уснула: в гостиной орали песни, кто-то еще даже пытался плясать под гармошку.

Но вот смолкла и гармошка; слышались нетвердые, спотыкающиеся шаги, скрип и хлопанье дверей комнат. Наконец все в доме стихло и погрузилось в пьяный мертвецкий сон.

Соломия встала, надела мягкие кошомные<sup>83</sup> башмачки без каблуков и неслышно прокралась в опустевшую гостиную. Там спали трое гостей. Мужчина средних лет, сидя в кресле с откинутой головой, широко раскрытым ртом издавал такой храп, что Соломии стало смешно. Ее так и подмывало сунуть в рот храпящему толстую бутылочную пробку... Второй гуляка — пожилой, уже почти

---

<sup>83</sup> Кошомные — войлочные.



старик с седой головой — спал прямо за столом, окунув рукав одной руки в тарелку с соусом и скомкав в кулаке другой измятую скатерть.

На диване, лежа навзничь, спала дородная женщина в дорогом, залитом вином платье. Одна рука спящей свесилась до самого пола, и когда Соломия бросила на нее взгляд, то сразу почувствовала дрожь, а в горле пересохло: на пальце было золотое кольцо с огромным драгоценным камнем. Камень был ярко-красным, и девчонка, которой еще не было и десяти лет, но уже разбиравшаяся в драгоценностях, поняла: это, конечно, рубин.

Соломия решила действовать. Сначала она вплотную приблизила свое лицо к лицу спящей и, морщась от резкого запаха винного перегара, стала вслушиваться в ее дыхание. Та спала как убитая; тогда девчонка осторожно попробовала, туго ли сидит на пальце кольцо. Оно держалось свободно, и Соломия легко его сняла, сунув в карман передника. Но это было еще полдела. Воровка на цыпочках прокралась в переднюю, где обшарила висящую на вешалках одежду загулявших гостей — карманы шуб, пальто и дамских салопов. Она выгребла все, что там было, и только тогда перевела дух.

Кольцо Соломия закопала в горшке с геранью, а мелкие деньги сунула под надорванную обивку на спинке стула. Вот теперь дело было сделано; Соломия тенью промелькнула в свою комнату и улеглась спать.

Утром она долго лежала в постели и прислушивалась, о чем говорят гости в комнатах, но все с перепою спали долго. Когда Тина уже подметала на лестнице, Соломия как ни в чем не бывало вышла из спальни и направилась к умывальнику. Наскоро умывшись, она вернулась в спальню и приникла ухом к стене, продолжая напряженно вслушиваться.

«Да где же кольцо мое? Еще вчера вот на этом пальце оно было! — дородная гостья вышла в коридор, выставив перед собой дрожащий толстый палец. — И как же оно, проклятое, спало у меня с пальца, вроде туго сидело. Как рукой снято...»

На ее громкий недоуменный голос вышли из комнат проснувшиеся гости и все вместе начали поиски пропажи. Соломия принялась помогать; она заползала везде, куда не могла проникнуть из-за своих крупных габаритов владелица злосчастливого кольца. Воровка притворялась, что старательно ищет, а сама злорадно усмеялась про себя: «А кольцо-то — под носом у вас, недотепы... В цветочном горшке, на подоконнике оно!»

Обворованная толстуха, наохавшись, накричавшись и наревевшись, поехала домой. Соломия стала терпеливо дожидаться, когда стихнут пересуды, вызванные пропажей кольца, но терпения у нее хватило только до вечера. Улучив момент, когда рядом никого не было, она достала кольцо из горшка и шмыгнула в спальню. Кольцо для ее пальца оказалось великоватым. Пришлось вместе с ворованными мелкими деньгами положить его в мешочек и спрятать на сеновале. Теперь у малолетней воровки, как и у Пантелея Кузьмича, был свой тайник — под стропилой крыши. Мешочек она хитроумно сшила из тряпки от старой кофты Тины: если случайно отец или Митрич найдут его, заподозрят, конечно, не Соломию...

С тех пор у нее появился свой интерес к сборищам и попойкам в доме отца. Она не раз вытаскивала мелочь, а иногда и крупные деньги, обшаривая карманы пьяных гостей и проезжающих. Из жилета одного проезжего чиновника она даже вытащила серебряную табакерку.

Тина больше у них не работала: Пантелей Кузьмич выгнал ее по подозрению в краже и стал постоянно менять прислугу.

Как-то раз, в ненастную осеннюю ночь, отец приехал с гостями. И только началась попойка, как в дом ворвались полицейские. Они увезли в участок кое-кого из гостей, а кроме того... и самого хозяина.

Правда, Пантелей Кузьмич вскоре появился дома. Но он не был похож на самого себя, стал угрюмым и подавленным. Некоторое время он совсем не брал в рот спиртного и даже стал дотошно вникать в хозяйство.

Так прошла осень, а зимой, к недоумению домашних и прислуги, он решил вдруг жениться. После Покрова он привез в дом Антонину, девицу лет двадцати, — будущую невесту.

У Антонины были круглые и немигающие, как у совы, глаза и толстое угреватое лицо. Невеста была глуповата и рассеянна. Когда ее о чем-нибудь спрашивали, она сначала долго молча таращила круглые глаза, открыв рот, а потом, когда наконец до нее доходило, она начинала говорить, но часто невпопад.

Соломия сразу же всей душой возненавидела Антонину и про себя решила выжить ее во что бы то ни стало. Соломии шел уже двенадцатый год, она становилась все более изобретательной и хитрой, а уж коварства-то ей было не занимать. Особенно она возненавидела будущую мачеху, когда у той на шее появились яркие янтарные бусы, наверное, подаренные отцом к свадьбе. Раздираемая злобой на Антонину, Соломия лихорадочно придумывала, как помешать женитьбе отца. Но оказалось, что Пантелей Кузьмич и сам не очень-то спешил со свадьбой. Венчаться с Антониной он пока не думал, и та жила в доме ни то ни се: и не жена, и не работница. Хотя работать по дому Пантелей Кузьмич заставлял каждый день, тем более что каждую новую прислугу хозяин через неделю уже выгонял как воровку.

Когда Антонина по вечерам приходила в спальню хозяйина, тот неизменно обещал ей, что скоро они обвенчаются

и сыграют свадьбу. Однако время шло, а все оставалось по-старому. Пантелей Кузьмич в последнее время стал особенно много пить. Как-то, нагрузившись в стельку, он заснул за столом. Соломия с помощью Антонины повела его в спальню. По дороге Соломия незаметно от Антонины, а тем более — от пьяного отца нашарила в его нагрудном кармане ключ от «кабинета» и ловко опустила в карман своего передника.

Когда все в доме затихло и Антонина уснула, Соломия взяла свечу на своем столике и крадучись пошла к «кабинету». Без труда открыв дверь, она спохватилась, что не знает, где ключ от тайника, у раскрытой дверцы которого она прошлогодней ночью застала отца.

Поставив принесенную с собой свечу в глиняном подсвечнике на стол, она стала озираться: где же отец прячет ключ от сейфа-тайника, да, может, еще и не один? Взгляд невольно натолкнулся на подсвечник с бронзовой женщиной, держащей факел: «Вот бы мне в комнату такой! — Соломия взяла в руки подсвечник. — Ух, и тяжеленный какой... Дорогой, наверное!»

Вдруг она увидела в самом низу подсвечника какую-то маленькую круглую плашку и машинально потрогала ее. Плашка повернулась, и из отверстия, которое было за ней, выпал ключ. Соломия даже обрадоваться не успела: «Скорее, скорее к тайнику!» — билась в голове мысль. Она отодвинула от стены кресло и легко открыла дверцу потайного сейфа.

В тайнике была черная лаковая шкатулка с яркой цветной росписью. Но она не открывалась! Вся дрожа от нетерпения, Соломия стала разглядывать ее со всех сторон и на одном из углов нашла бронзовый шарик величиной с булавочную головку. Прихватив его ногтями, она попробовала чуть потянуть вверх и вместе с шариком вытянула бронзовый штырек толщиной в вязальную спицу — это был язычок замка шкатулки.



Никогда Соломия не видела такой красоты! В шкатулке лежали золотые кольца — толстые, массивные, и тонкие, как паутинка, с разноцветными блестящими камушками. Тут были и браслеты, кулоны, серьги — чего только тут не было, при дрожащем пламени свечи все сверкало и

переливалось, и даже казалось каким-то живым, сверкающим, глядевшим на Соломию тысячью глаз, драгоценным чудовищем, заключенным в прекрасную шкатулку.

Неужто все это — дуре Антонине?! Ну уж нет, никогда! Забыв обо всем, Соломия перебирала драгоценности и вдруг увидела ожерелье — то самое, которое не хотела носить мать. Соломия уже хотела опустить его в карман передника, уже взяла ожерелье в руки, ощутив холодную тяжесть металла, как вдруг из коридора раздались шаркающие шаги. Затем послышался тяжелый протяжный вздох, и Соломии почудилось, что кто-то стоит за ее спиной. От этого вздоха пламя свечи резко качнулось в сторону и чуть не потухло, и вдруг потянуло таким холодом, как будто у нее за спиной разверзлась могила...

Никогда ничего не боявшаяся Соломия пришла в ужас; боясь оглянуться, она бросила ожерелье в шкатулку, захлопнула крышку и изо всей силы нажала на штырек, шкатулка закрылась. Быстро засунула шкатулку в тайник и на спотыкающихся, ватных ногах вышла, насилу повернув ключ в двери. В коридоре она снова напряженно прислушалась. Больше не раздавалось ни звука, ни шороха, стояла полная тишина. Соломии даже стало смешно за свой страх; но в конце коридора снова послышались шаги, на этот раз явственно различимые. Однако они не напоминали мужскую поступь: видимо, не спалось Антонине. Но вот ее шаги стихли возле отцовской спальни.

Теперь Соломии нужно было скрытно проникнуть в спальню отца и подбросить ключ. Соломия осторожно приоткрыла дверь в спальню — слышалось ровное дыхание спящих. На столике у кровати стоял бронзовый подсвечник, в нем горела свеча, освещающая скудным светом широкую резную кровать с плотно завешанным пологом из красной парчи. Соломия внимательно осмотрела комнату, но отцовского жилета нигде не было видно. Соломия не стала рисковать и решила не проходить

далеко в спальню — сунула ключ под коврик и бесшумно удалилась в свою комнату.

Утром ее разбудил шум: Пантелей Кузьмич ругал и, кажется, даже бил Антонину, и ее не стало у них в тот же день. Соломия, привычно приняв невинный вид, спросила:

— Батюшка, ты тетю Тоню от нас выгнал, да?

— Мала ты еще, чтоб вмешиваться в дела взрослых! Иди вон, играй себе, — с досадой ответил отец.

Соломия торжествовала победу: она таки добилась своей цели, и то, что спрятано в отцовом тайнике, может достаться ей. Надо только поторопиться, пока отец не пропил, а еще хуже — не раздарил драгоценности любовницам. Соломия уже привыкла считать драгоценности в тайнике своими и готова была скорей умереть, чем с ними расстаться. Теперь ей было необходимо придумать план, чтобы выманить или похитить у отца эти сокровища. Когда отец был нетрезв, Соломия ластилась к нему и выпрашивала драгоценности, но много их он ей не дарил, говорил, будто уже все отдал, что у него было, но Соломия прекрасно знала, что это далеко не так.

А на Казанском тракте всю хозяйничали грабители. Об этом знали на всех постоянных дворах вдоль тракта — от Поволжья до Зауралья; проезжающие и ямщики в трактирах рассказывали о грабежах и даже убийствах.

*Мои внимательные читатели наверняка уже догадались, что в темных делах был замешан сын некогда уважаемого Кузьмы Ивановича Китаева, а многие злодеяния владелец постоянного двора в Аргаяше Пантелей Китаев задумывал сам.*

После ночных набегов вино в трактире лилось рекой. По-прежнему отец ночью являлся с гостями — такими же, как он сам. Соломия теперь с нетерпением ждала

этого. Она наряжалась, как на бал, и встречала гостей в передней со свечой.

И опять далеко за полночь, а порой до утра в доме были музыка, песни и пляски, и снова слышался хриплый вопль: «Соломия, дочь Ир-р-родиады! Пляши! Черт меня возьми, пляши, весели душу!»

И все гости любовались красивой, не по годам рослой и умной дочерью хозяина. А красивая, статная девочка думала только о нарядах, украшениях да о том, чтобы гости поскорее напились и удалось выгрести их карманы.

В последнее время среди гостей на постоялом дворе стали появляться два брата. Старшего звали Понтя, младшего — Лева. Братьев в воровском кругу называли Жигарями — Понтя Жигарь и Лева Жигарь, а что это — прозвище или фамилия, Соломия не знала.

Жигари были искусными ворами-профессионалами из Казани. Там их уже не раз ловила полиция, и теперь братья прижились на постоялом дворе Китаева, время от времени выезжая по ночам на тракт и возвращаясь назад с награбленным. Целыми днями братья отсыпались, а потом вдруг исчезали на ночь, зачастую прихватив с собой Пантелея Кузьмича и работника Митрича.

Как-то Понтю привезли чуть живого, всего исколотого ножом. Лечили сами как умели, и Понтя долго не вставал с кровати; видно, ночным грабителям тоже доставалось изрядно. Не раз всего избитого привозили и Пантелея Кузьмича. Бывало, после набегов возвращались не все, и тогда члены шайки пили за упокой души. Иногда раненые умирали и в доме; тогда хозяин с Митричем куда-то тайно увозили покойника.

Между собой грабители ссорились редко, даже будучи пьяными. Один раз только, когда Соломия выкрала у пьяного Понти брелок с блестящим камнем и кинжал с чеканной ручкой и спрятала их в саду, а Понтя, проспав-



шись и увидев пропажу, в ярости схватил за глотку своего товарища, завязалась жестокая драка. Украденного нигде не нашли, и от чугунных кулаков Понти досталось многим, в том числе и Пантелею Кузьмичу. Попало на орехи также Митричу; тот решил порвать с шайкой и потребовал назад свой пай.

После этой драки в шайке произошел раскол. И чем бы все это кончилось, неизвестно, если бы вскоре Понтя не попал в руки полиции. Оказывается, в Казани у него была семья — жена и трое детей-погодков, и он поехал туда, думая, что прежние его темные дела забылись. Тут его и схватили, но брата Леву он полиции не выдал. Да Лева и сам куда-то исчез, как сквозь землю провалился. Остальные члены грабительской шайки на всякий случай ненадолго затаились.

...С того времени минуло почти пять лет. Соломии шел семнадцатый год; она была настоящей красавицей: стройный, словно точеный, стан, прямые крепкие ноги. Черная, толщиной в руку коса опускалась ниже бедер, круглое, с ямочками на щеках, смугловатое личико... Нос прямой, а густые брови, почти сросшиеся у переносья, напоминали птичьи крылья. Но всего чуднее у Соломии были глаза: большие и до того черные, что напоминали драгоценный камень агат. Они были настолько живыми, что каждую секунду меняли свое выражение, в зависимости от настроения хозяйки. С годами характер девушки изменился, стало больше усидчивости. Она уже не плясала для гостей, как прежде, и отец не заставлял ее. Не слышно было его рева: «Соломия, дочь Иродиады! Пляши! Весели душу!» Сейчас девушка уже меньше вертелась в пьяной компании отца и после кражи кинжала воровать стала меньше, но пагубная страсть в ней осталась, разве чуть-чуть на какое-то время задремав.

Пантелей Кузьмич за последний год сильно сдал: разврат и пьянство его доконали, он стал слаб здоровьем, хотя ему было всего пятьдесят лет, он вдруг как-то весь осунулся, поседел, только черные большие, такие же, как у дочери, глаза еще горели блеском какого-то внутреннего огня, но уже глубоко запали в глазницах, прикрытых лохмами густых седых бровей. Столько лет главенствовавший среди преступного люда, теперь он уже не был атаманом шайки. К нему вплотную подошла неумолимая старость. А эта пора неизбежно настает для каждого — и для хлебороба, и для разбойника. Однако крестьянин на склоне лет может еще пахать, сеять, косить, ухаживать за скотом. Он не избалован жизнью, из денег видел только свои трудовые копейки, зато не источен развратом и пьянством и не загнивает как трухлявое дерево. И он может прожить еще очень долго, если бог продлит его дни. Другое дело — разбойник, если он чудом миновал тюрьмы или каторги, доживает свой век при строжайшей экономии от награбленного, что удается сделать далеко не каждому. Богатство к человеку как приходит, так же и уходит.

Дом Пантелея Кузьмича заметно пришел в упадок. Трактир давно уже был закрыт, первый этаж дома врос в землю и пустовал, парадное крыльцо покосилось и было готово в каждую минуту рухнуть. Ступени на лестнице местами проломилась и страшно скрипели. Из прислуги держали только двоих: глухую старуху, принятую мыть полы, и помощника хозяина Митрича. Все реже и реже собирались бывшие друзья отца. Понтя Жигарь, видимо, был на каторге, а другие перекочевали на новые богатые воровской добычей места.

...Весной внезапно, как с неба свалившись, объявился Лева Жигарь. При встрече он предложил Соломии в подарок золотой кулон, и хотя та, к его удивлению, отказалась от богатого подарка, Жигарь каждый день старался непременно попасть ей на глаза.

Как-то, когда они сидели в запущенном саду на трухлявой скамье, не очень-то разговорчивого Лева будто прорвало. Чего только не обещал он ей — и золото, и драгоценные камни, а главное — любовь до гроба.

— Лучше принцессы будешь, если выйдешь за меня!

— Да рано мне еще замуж, Лева! Я вот помню, как моя матушка жила с отцом — чего хорошего-то? Нет, подумаю-подумаю, да, наверно, в монастырь уйду!

— И будет красивая монашка Соломия грехи свои замаливать? — усмехнулся Жигарь. — То-то скучно тебе там будет!

И мгновенно став серьезным, со значением произнес:

— Что ж, Соломия Пантелеевна, думайте на досуге, а слово мое крепкое... Я скоро у вас снова побываю, а теперь мне самому как раз недосуг!

Словно в подтверждение его слов послышался легкий свист.

— Вон и слуга мой зовет уже! — и он легко, как мальчишка, перемахнул изгородь сада.

Любопытная Соломия подошла к забору, чтобы узнать, что за слуга объявился у Жигаря. Взглянув в щель забора, она увидела повозку, запряженную парой вороных, со щегольски одетым кучером на козлах. Лева, видимо, скорее чувствовал, чем видел, что Соломия смотрит на него сквозь изгородь, послал ей воздушный поцелуй, помахал рукой и молодецки вскочил на крыло брички. Кучер лихо свистнул, пара вороных разом тронула с места, и скоро повозка скрылась в пыли Казанского тракта.

Соломия вернулась к скамейке, на которой они беседовали с Левою, и погрузилась в раздумья, но в мыслях ее был вовсе не Лева Жигарь. На постоялом дворе уже не раз останавливался красивый сын купца третьей гильдии Семишникова. Алексей Михайлович Семишников только что вступил в торговое дело богатого отца и часто ездил из Москвы по ярмаркам — в Казань, Нижний Новгород

и в Ирбитскую слободу. Был он очень вежлив, много рассказывал Соломии о Москве, обещал увезти ее туда, чтобы сыграть свадьбу в Первопрестольной, что обвенчаются они в знаменитом соборе и что его родители будут рады красавице невестке. Как-то Соломия надела подарок Алексея — кулон.

Пантелей Кузьмич, увидев украшение, ядовито хмыкнул:

— Где это ты взяла этакую пустяковину?

— Алексей Михайлович подарил...

— И полтины такой подарок не стоит! Камни ненастоящие... Ты не особо якшайся с ним! Он мастак молодых дур облапошивать....

Старый женолюб и представить не мог, что дочь его еще полгода назад стала невенчанной женой Семишниковой, безумно любила его и жила ожиданием его очередного приезда. Целый месяц уже прошел, как он останавливался у них. Опять ночевал в ее спальне. Всю ночь они не сомкнули глаз, и она показалась Соломии одним мгновением...

— К вешнему Николе на Ирбитскую ярмарку думаю приехать... Жди! — сказал он на прощанье.

Соломия долго глядела ему вслед.

## БРОДЯГА

Да простит меня читатель, если я продолжу свой рассказ о жизни Соломии, беспутной и коварной женщины, которую сама среда сделала такой: жадной и алчной воровкой, способной на всякие дурные поступки. Но и в ее темной душе пробивались живые ростки, которые стремились к свету: Соломия еще могла полюбить, и она любила — бескорыстно, преданно, всем сердцем. Полюбить бедного крестьянина-грузеника она вряд ли смогла бы: ей никогда не доводилось работать в поте лица, да и слишком сильно была избалована с детства. С раннего возраста ей хотелось в большой город, о котором она пока только слышала, хотелось, чтобы вокруг все восхищались ее красотой, нарядами и украшениями. И до исполнения этой мечты, она надеялась, осталось уже немного времени.

Теперь Соломия окончательно уверилась, что в конце концов сокровища из отцовского тайника достанутся ей. Может, их не придется и выкрадывать, может, отец и сам, наконец, отдаст их ей, своей единственной наследнице? Он ведь уже стар и болен....

Время шло, и поскольку всем известно, что дурные поступки в конце концов все же наказываются и справедливое правосудие вершит сама судьба, так произошло и с разбойничьим притоном в Аргаяше, и с самой Соломией.

В день ее рождения на постоялом дворе собрались гости. Среди приглашенных были и Лева Жигарь, и Алексей Семишников — высокий, красивый сероглазый шатен.

Соломии наперебой вручали дорогие подарки; как обычно, красавица была в центре внимания, только почему-то чуточку задумчива и временами даже печальна. Похоже было, что Соломию одолевает какое-то недоброе предчувствие. И впоследствии оказалось — предчувствие ее мучило неспроста.

Как-то под вечер на постоянный двор зашел оборванный бродяга с котомкой за плечами. Постояв немного в нерешительности, он, увидав во дворе работника Митрича, обрадовался:

— Здорово, здорово, Авдей Митрич! Вот когда бог привел свидеться! А хозяин-то дома?

— Здорово, Софроныч! Дома хозяин — куда ж ему деться... Занедужил вот что-то... Веришь ли, даже бабы его интересоваться перестали!

— Ну и как вы здесь живете-можете?

— Да вот так и живем — сидим тихонько, как крысы в погребе, и нос-то наружу боимся высунуть... Я давно бы уж подался отсюда, да пай мой хозяин никак не отдаст! Зря, зря мы с ним тогда связались, нам бы самим по себе оставаться... Но кто же знал? Да и кони у него эх и хорошие были! А теперь — не кони, а так, дерьмо одно... Кузьмич! Иди глянь, какой гость к нам припожаловал! — повернувшись к дому, крикнул Митрич.

Но Пантелей Кузьмич, услышавший разговор на дворе, уже вышел на крыльцо. При виде бродяги его бледное лицо сделалось свинцово-серым, а губы задрожали.

— Ну здравствуйте, Пантелей Кузьмич! Небось, не признаёте? Это грех — старых друзей забывать! Наверно, и на порог не пустите? Вона в каком я виде...

— Почему не признаю — сразу и признал... Проходи в дом...

— Прямо из Сибири топаю, с каторги, — продолжал, войдя, бродяга. — За душой ни гроша, на подаваниях шел, Христа ради... Ладно еще, что на земле хорошие люди не перевелись: и кормили, и, бывало, на ночлег пускали... Для начала и вы накормили бы меня, а потом, глядишь, и разговор у нас выйдет...

— Соломия, приготовь нам что-нибудь, да поскорее, — приказал Пантелей Кузьмич дочери. Та быстренько разожгла таганок, и вскоре на сковороде шкворчала яичница с салом.

— Батюшка, где накрывать?

— Неси в гостиную!

Соломия принесла яичницу и чай. За столом с бутылкой вина уселись хозяин с Митричем и бродяга.

— Да неуж это дочь твоя, Пантелей Кузьмич? Глазам не верится — какая красавица стала! Уж невеста, наверное?

— На днях семнадцать исполнилось, — немного оживившись, горделиво сказал отец. — О приданом невестинном вот уже думаю...

Соломия поставила на стол сковороду и встала возле двери, исподволь прислушиваясь к разговору.

— А ты иди, дочка, к себе! Видишь вот — старый друг ко мне заглянул. Вот мы и посидим да поговорим малость...

В своей горенке Соломия присела и тревожно задумалась. Ох, не зря, видно, со времени последней встречи с Алексеем ее не покидало предчувствие какой-то беды!

«Кто он, бродяга этот, зачем пришел?!» — смятенно думала она. На месте ей не сиделось. Неслышно выйдя из горенки, она как тень встала у дверей гостиной. Ей не терпелось узнать, о чем это отец может разговаривать с этим оборванным и грязным бродягой...

Голоса отца, Митрича и особенно бродяги, видимо, уже изрядно захмелевшего, доносились из-за двери ясно и отчетливо.

— Не думал, не гадал я, Кузьмич, что ты меня бросишь на произвол судьбы... Неужто зря я дите твое тогда пожалел? Зря всю вину на себя взял?! А ты гадушкой оказался, Кузьмич! Десять лет в Сибири я мерзлую рудничную землю долбил — за тебя да вот за Митрича отдувался, пока вы тут на воле вином обжирались... А теперь выходит, что вы мне ничего не должны и пая моего у вас нету?!

Тут подал голос Митрич:

— Дак вот тоже прошу, чтоб все разделить по справедливости...

Отец непривычно извиняющимся голосом, с запинкой и спотыкаясь, начал оправдываться:

— Да ведь самая малость осталась денег-то... Дайте только срок, отдам я пай ваши, все сполна отдам!

— А ты помнишь ли, Кузьмич, как мы с тобой на Казанском тракту барыню старую прихватили? Я вот как сейчас помню — б-о-огатая барыня-то была! Вся в золоте, а на шее — платиновое ожерелье, да еще с бриллиантами... Придавнул я старуху, чтоб не верещала; шея у ей толстая — и двумя руками не охватишь, давлню, а она все хрипит: «Будьте вы, анафемы, все прокляты!» И точно какое-то проклятье старуха наложила на ожерелье свое: везти мне совсем перестало, за что ни возьмусь — неудача...

Вот вместо пая моего ожерелье ты, Кузьмич, мне и отдай — мое ведь оно по праву! Вольно было тебе тогда на рысаках-то да со всей добычей ускакать... А вот ежели бы меня на Казанском тракту полиция прихватила, а я на вас с Митричем показал, — всем каторга, всем троим, а не мне одному!

— Бог с тобой, Софроныч, сказал же я: верну я ваши пай, сполна верну!

— Я у него звон сколько уж лет свой пай выпрашиваю, — встрял Митрич, — потому и не ушел ране от него — иначе зачем бы я тут до сих пор на постоялом-то отирался? Тут, Софроныч, больше делать нечего. Прибыльные места другие позанимали, которые нас и помоложе, и порасторопнее... Что ж поделаешь, остарели мы все! Молодые теперь с такими-то не якшаются. Сейчас тут Лева Жигарь — главный атаман. Брательник его, Понтя, полиции попался — должно, на каторге теперь.

Времена другие, вишь, пошли. Проезжающие на Казанском тракту хитры да оборужены — того и гляди кистенем оглошат, а то и пулю в лоб схлопочешь... Из постояльцев редко кто добрый заедет, одни бродяги. А для



богатых проезжих постоялый двор Китаева давно уж пугалом стал! Ямщиками-то — сплошь казанские татары, а лошади у их — ого какие; наши супротив ихних ни к черту не годятся...

Тут внезапно заскрипела лестница, и Соломия отпрянула от двери гостиной. Но скрип ей послышался; она сразу вернулась назад и стала вслушиваться еще напряженнее.

Видимо, отец все же признался, что ожерелье с бриллиантами у него, есть еще кое-что из награбленного, и теперь надо все кому-то продать по сходной цене. Ему удалось убедить своих подельников, особенно Софроныча, что если он попробует продавать ожерелье и другие ценности, их у него просто-напросто отберут и самого опять посадят в тюрьму, а то по этапу снова пошлют на каторгу.

— Сам я, мужики, все продам — знаю я нужных людей, и свои паи вы сразу деньгами получите!

Назавтра Пантелей Кузьмич дал Софронычу одежду, четвертную денег, и тот, пообедав, ушел — сказал, что надо повидать старых друзей. Пантелей Кузьмич тоже, не теряя времени, поехал в Казань по делу. Вскоре в казанской газете «Вестник» напечатали объявление: «Продается в с. Аргаяш постоялый двор Китаева».

Через день приехал покупатель, осмотрел ветхие постройки постоялого двора и трактира и, пожав плечами, мол, больно дорого просят, уехал, не сказав ни слова.

Отец все эти дни ходил хмурый и озабоченный. Как-то вечером он сказал Соломии:

— Решил я, дочка, продать постоялый двор вместе с трактиром... Скоро мы с тобой уедем отсюда!

Соломия сделала вид, что удивилась:

— А почему, батюшка? И куда мы поедем?

— В Москву мы поедем, дочка! Согласна?

— Конечно согласна!

— Ну вот и хорошо. А завтра-послезавтра я отвезу тебя ненадолго к одним знакомым в Казань; ты там погодишь немного, а потом я за тобой заеду.

Такой оборот дела Соломии вовсе не по душе пришелся:

— Батюшка, я хочу вместе с тобой! Что мне в этой Казани делать, да еще у чужих людей!

— Да ненадолго ведь, дурочка! Чего губы-то, как маленькая, надула?

Долго не спала Соломия в своей горенке. Да и ночи пошли душные: давно уж дождя не было. Духотища! Тут и захочешь, да не заснешь, но от Соломии сон бежал совсем по другой причине.

Лежа с открытыми глазами поверх стеганого пухового одеяла, она думала так: «Ясно, что отец почему-то хочет услатить меня из дому... Не потому ли, что задумал продать драгоценности да деньги с Митричем и бродягой этим разделить? А может, шкатулка лаковая пустая уже? Отец обо мне никогда не думал, а считал, да и до сих считает дурой набитой, маленьким несмышленищем... Ну нет уж, батюшка!» Соломия вскочила, оделась и, несмотря на жару и духоту, натянула шерстяные носки: в них всегда можно бесшумно прокрасться куда захочешь. Она добралась до двери в спальню отца, не скрипнув ни одной дверью. Да и не с чего было скрипеть — Соломия не раз собственноручно смазывала дверные петли жиром.

Она прокралась в спальню, нашла на стуле одежду отца, взяла из жилетного кармана ключ и открыла «кабинет». Ключ от тайника лежал на прежнем месте. Она откинула крышку шкатулки — вроде бы все на месте, и движимая каким-то безотчетным порывом, выгребла драгоценности в свой передник. Потом опустошенную шкатулку поставила в тайник, закрыла на ключ, придвинула на место кресло и, спрятав ключ в бронзовый подсвечник, вышла и закрыла «кабинет». Отнеся драгоценности в свою спальню,

она высыпала их из передника на постель и прикрыла одеялом.

Потом крадучись положила в карман отцовского жилета ключ. И наконец, закрывшись в спальне изнутри на крючок, принялась разглядывать драгоценности. Так вот оно, ожерелье с бриллиантами, про которое говорил бродяга! Она у двери гостиной успела подслушать — на него наложено какое-то проклятье, но ничуть не боялась. Соломия теперь не боялась почти ничего и совсем ни во что не верила, кроме денег и золота.

Завесив тщательно окна, она долго еще разглядывала драгоценности. Уже давно рассвело, Митрич привел из ночного лошадей, и было слышно, что встал и стал ходить по дому Пантелей Кузьмич. Соломия завернула драгоценности в тряпку и положила под постель: незаметно спрятать их среди бела дня было невозможно. Соломия давно подозревала, что отец тайно от Митрича надумал продать усадьбу — иначе зачем он каждый день надолго отсылал его на дальние покосы?

Ход ее мыслей прервал Пантелей Кузьмич. Он заглянул в комнату дочери:

— А ты, лежебока, все еще спишь? Завтрак проспала, уж обед скоро!

— У меня, батюшка, что-то очень голова разболелась...

— Ну, лежи тогда, а завтрак я сам приготовлю!

Сама судьба, казалось, была в тот день на стороне Соломии.

Отец, напившись чаю, наказал:

— Если приедет кто и будет меня спрашивать, скажи, что я сегодня в волости, в Аргаяше, и дома только завтра буду. А если опять тот бродяга заявится — пусть уходит, я-де надолго в Казань уехал, поняла?

— Поняла, батюшка, и сделаю, как ты велишь! — кротко ответила Соломия, притворно зевнув, чтобы скрыть охватившее ее волнение, связанное с отъездом отца.

## ВТОРОЙ ТАЙНИК

Проводив отца, Соломия стала думать, как ей быть. Отец хочет продавать усадьбу, а у нее, кроме драгоценностей из лаковой шкатулки, есть еще кое-что припрятанное — в погребе под полом и на сеновале, под стропилиной. «Надо бы перепрятать все в одно место и как можно надежней», — решила Соломия. Она давно уже сшила мешочек из старой отцовской кожанки, и вот теперь есть на что его употребить... В усадьбе никого не было — самое время действовать без помех, и немедленно.

Соломия взяла заступ и пошла в сад, к сделанным ею трем клумбам, куда она недавно высадила цветочную рассаду. Сперва она принесла воды и обильно полила клумбу, которая была ближе к окну ее спальни. Заступом осторожно сняла, не повредив, слой земли с рассадой и стала усиленно копать. Заступ входил в рыхлую землю клумбы без особого труда, и скоро была готова яма, где хитрая Соломия задумала сделать тайник.

Она собрала в мешочек драгоценности из отцовского тайника, прибавив к ним кольцо с рубином, дамасский кинжал, украденный у Понти Жигаря, и несколько серебряных монет. С трудом засунула увесистый мешочек в глиняный горшок, а горшок, накрыв сверху листом старого железа, положила в выкопанный тайник, забросав его землей. Потом землю, выкопанную из ямы под тайник, тщательно замела метлой на клумбу, а напоследок положила сверху слой земли с цветочной рассадой.

«Вот так-то, батюшка, — усмехнулась воровка-дочь, — твоего тайника нет теперь, зато мой есть!»

Отец из волости вернулся рано, и Соломия с замиранием сердца следила за ним: как бы он не хватился своих сокровищ сегодня. А завтра — будь что будет, отец

ее в Казань увезет, и она с радостью поедет. Казань — город большой, она там мигом подруг заведет... А главное, если их долго не будет дома, отец хватится пропажи только по возвращении. Тогда она, как и прежде, будет вне подозрений.

И теперь Соломия всячески старалась отвлечь внимание отца от «кабинета», а значит, и сейфа в стене. Пройдет время, они продадут усадьбу, скроются, а через некоторое время можно будет, уже не таясь, воспользоваться сокровищами.

Приехал с дальнего покоса Митрич. Сразу было видно, что работник чем-то сильно недоволен. Соломия слышала, как он со злобой говорил, чуть ли не кричал отцу:

— Ты зачем, Кузьмич, скрывал от меня, что надумал продать усадьбу? Получается, что все кругом об этом знают, только я один дурак — ни бум-бум! Навострил лыжи, улепетнуть хочешь втихаря?!

Отец сперва было оправдываться начал:

— Что ты, Митрич, сам посуди: если бы я так думал, то и продавать ничего не стал, оставил бы все как есть, на месте, и давай бог ноги...

— Нет, ты пай мой верни, ты полный расчет мне давай! — продолжал кричать Митрич.

— А ты остынь-ка, — потеряв терпение, обрезал его отец, — и не ори бестолку, коли бог ума не дал! Вот завтра поеду в Казань, вернусь — и будет тебе полный расчет!

— Лошадей сегодня в ночное не води, — уже уверенным голосом продолжал отец, — наелись за день-то на покосе... Завтра чуть свет поедем в Казань и Соломию с собой возьмем.

— А дом на кого оставишь? — прищурился Митрич.

— Ну что там караулить-то... Днем из Аргаяша Ульяна прийти сулилась, она присмотрит!

Митрич вроде бы притих; поужинал и пошел спать на сеновал. Отец тоже пошел отдохнуть перед дорогой, и

Соломия, не спавшая прошлую ночь, разделась и быстро заснула. Но спать долго не пришлось: за дверью слышались шаги, шорох, потом что-то звякнуло. Она открыла глаза и с ужасом увидела: в щель дверного притвора просунулось узкое лезвие ножа и медленно поднимает крючок...

Со сдавленным криком Соломия вскочила с постели и лихорадочно натянула платье.

— Кто это?!

На пороге показались две черные фигуры, и она услышала голос Митрича:

— Говори, сукина дочь, где отец золото прячет!

— Н-н-е знаю... не знаю ничего ни про какое золото... — пересохшими губами прошелестела Соломия.

— Сейчас ты, стерва, у меня заговоришь! — прогудел второй голосом давешнего бродяги, и в руке у него блеснуло узкое лезвие.

Соломия опроретью кинулась к окну с одной открытой из-за жары створкой и даже не выпрыгнула, а не помня себя вывалилась наружу.

Вихрем она донеслась до тракта, на бегу оглянулась: по счастью, за ней не погнались, но она все равно во весь дух бежала к Аргаяшу и опомнилась только возле мостика через речушку, где начинались огороды.

Золотистая полоска на востоке все увеличивалась и превратилась в ярко-оранжевую. Еще немного пройдет времени, и покажется на востоке краешек дневного светила, которое позолотит верхушки старых тополей, крыши домов, разольется тысячами бриллиантов в каплях росы, одарит утренней красотой листья и молодую завязь аргаяшских садов. И не верится, что в такие вот чудесные предутренние часы, когда на землю сходит благодать, творятся черные дела и на земле льется кровь.

После трудного рабочего дня село казалось вымершим. Соломия зашла в первую улицу, даже собаки и те не

лаяли, спали. Она остановилась посреди улицы в недоумении и растерянности.

«Что теперь делать-то? — думала Соломия. — В волостном правлении нет никого — только что рассвело еще... Может, старосте все рассказать?»

Постучав в ближайший дом, она узнала у открывшей ей глуховатой старухи, что старосту зовут Иваном Максимовичем, а дом его, крытый железом, — совсем рядом.

— Ну что я один могу сделать? — пожал плечами староста, выслушав рассказ Соломии. — А вдруг не двое там, а шайка целая? На авось ежели сунешься — свой же лоб под обух подставишь...

Соломию только теперь начал бить озноб от пережитого ужаса, она вся дрожала крупной дрожью, стуча зубами.

Староста повел Соломию в дом.

— Ты, девонька, пока в себя приходи, а я пойду до урядника, да не знаю, дома ли: он в Казань, в губернию уезжал... Да и без стражников в таком деле не обойтись!

Он повернулся к приоткрытой двери горенки и крикнул:

— Марфа, вставай, принимай гостью! Да дай ей что-нибудь теплое — знобит ее, сердешную, все никак согреться не может...

Жена старосты, полная красивая женщина средних лет, вынесла Соломии большую шаль с кистями.

— Здравствуй, голубушка! На-ко вот, согрейся! Да ты не захворала ли? Вся дрожмя дрожишь, а на дворе-то вон какая теплынь стоит... Что у вас стряслось-то?

Соломия, с головы до пят закутавшись в шаль и наконец уняв дрожь, рассказала о ночном нападении грабителей и о том, как ей чудом удалось спастись. Слушая ее, хозяйка только ахала и охала без конца.

Потом она, поднявшись, сказала:

— Коров доить пора... Ты уж не обессудь, посиди пока — мы вдвоем с работницей скоро управимся, а уж я тебе молочка парного принесу!

Хозяйка вышла, и тотчас вернулся от урядника староста Иван Максимович.

— Нету, девонька, дома урядника-то... Но я в селе мужиков надежных собрал, они подойдут вот-вот, и поедем все на постоялый двор, к батюшке твоему! Сейчас запрягать пойду, как запрягу, так позову тебя!

Он вышел и оставил Соломию наедине с ее тревожными мыслями.

Та насилу дождалась, пока староста позовет ее. Соломию начало мучить недоброе предчувствие.



## КОНЕЦ ПАНТЕЛЕЯ КИТАЕВА

Когда она вышла во двор, там уже было четверо молодых крепких мужиков; у каждого под опояску засунут топор. Иван Максимович вынес из горницы ружье и положил в запряженную бричку, потом еще бросил туда крепкую веревку и трехрогие вилы, и кони тронули по тракту к китаевскому постоялому двору.

Свежий след от ворот постоялого двора явно говорил о том, что кто-то совсем недавно уехал в сторону Казанского тракта.

Во дворе не было ни души. Староста с Соломией и тремя мужиками, оставив одного при лошади, осторожно вошли в дом и стали обходить все комнаты.

В передней и гостиной царил страшный беспорядок: валялись разбросанные вещи, опрокинутые стулья — было видно, в доме что-то искали посторонние люди.

В спальне Пантелея Кузьмича стоял полумрак: оба окна были наглухо завешаны плотными шторами. Соломия отдернула одну, яркие солнечные лучи хлынули в окно, но в спальне никого не оказалось. Постель была скомкана, подушки вспороты, повсюду слоем лежали перо и пух, ящички ночного столика валялись на полу. В самом углу нашли рубашку и жилет хозяина.

Пошли дальше — дверь в кабинет была приоткрыта, а из замочной скважины торчал ключ. Перед вошедшими предстало ужасное зрелище: весь пол был залит кровью, а Пантелей Кузьмич ничком лежал на полу, головой прикасаясь к стенке шкафа, ухватившись правой рукой за шерстяной коврик, как бы перед смертью пытался еще подняться. На затылке среди запекшихся в крови седых кудрявых волос зияла огромная рана величиною с ладонь, череп был проломлен и виднелся грязновато-серый мозг...

При виде этого зрелища даже пожилому, выдавшему виды старосте стало не по себе, а молодые мужики вместе с Соломией шарахнулись к двери. В коридоре Соломию охватил приступ неудержимой рвоты...

Опомнившись, мужики вернулись к труп. Убитый был одет в ночной фланелевый халат и в одну домашнюю туфлю, другая валялась у порога. Старое кресло опрокинуто и лежало на полу. Искореженная ломом дверца тайника, который был сделан в стене, открыта, и под столом валялась пустая полированная шкатулка. Небольшой ломик был брошен тут же на полу у головы покойного.

Староста, придя в себя после всего увиденного им, сказал как бы сам себе:

— Да, што-то они тут крепко искали. Деньги, наверно...

— Чего же боле-то, — ответил стоявший рядом мужик. — Может, и деньги, а может, и еще что!

Тем временем пришедшая в себя Соломия думала... Нет, она думала не об убитом отце, а неотрывно глядела в открытое окно своей спальни на клумбу: не добрались ли и до ее тайника? Но на клумбе, как и раньше, мирно цвели маргаритки и резеда...

— Ну, мужики, без пристава теперь не обойтись. И караул к дому ставить придется, — сказал староста в комнате убитого.

— А это что? — староста только сейчас разглядел на полу и поднял бронзовый подсвечник. — Экая, прости бог, срамота! И чего только не держат в богатых-то домах — никак баба голая!

— Дай поглядеть, Иван Максимыч! — попросил один из мужиков, но сейчас же выронил подсвечник из рук. — Фу, да на нем кровища! Не иначе этой штуковиной Китаева и порешили...

Староста в это время тщательно рассматривал черную хохломскую шкатулку.

— Пустая коробка-то, а до чего красивая — как зеркало черное! Ну-ка, пойдю к дочке его — знает, поди-ка, что в ней отец держал!

При виде шкатулки Соломия побледнела, быстро взяла себя в руки и сделала безразличное выражение лица.

— Коробка вот под столом лежала. Не знаешь ли, что в ней держал... покойный-то?

— Не знаю! Там его кабинет был, и туда он никого не пускал, а ключ при себе носил...

Во дворе обнаружилось — нет легкой брички, на которой ездил Митрич.

«Из-за лошадей да брички на смертоубийство не идут. Нет, тут что-то не так... Да разве узнаешь правду в этом воровском притоне?» — думал староста. А вслух сказал:

— Вот что, мужики, придется вам покараулить дом, пока становой не приедет!

Мужики роптать было начали:

— Вот еще забота на нас навязалась, ведь сенокос в разгаре, Иван Максимыч! Закрывать, может, дом-то, да и все — покойника не украдут небось... А девчонку в Аргаяш с собой возьмем!

— Нет, ребята, негоже так делать. Караулить все едино придется. Урядник скоро приедет, да что урядник? Тут станового придется везти из Казани: дело-то нештучное — смертоубийство! Без станового нельзя никак... Ты, Афоня, останешься тут, пока урядник не приедет. С вечера двое будут на карауле — Евден и Михайло. А мне придется кого-то послать в губернию за становым...

Страшная весть с быстротой молнии распространилась по селу: убийство!

— Говорят, Митрич подвел целую шайку... Китаева на чисто ограбили и убили, и Соломийку тоже убить хотели!

Ульяна, бывшая китаевская повариха, и сейчас приходила иногда прислуживать, попеременно то крестилась, то хлопала ладонями по бедрам.

— Ну спасибо — бог-милостивец смерть от меня отвел: не пошла я на постоялый в это время, а то тоже ухайдакали бы! Вот она, жисть-то, какая — сѣдни не знаешь, што завтра стряется... Ведь живой-здоровый позавчерась приходил ко мне Китаев-то, мол, присмотришь за домом, мы в Казань собираемся съездить. Ан вот он, уж неживой... Все под богом ходим!

В этот день в Аргаяше только и разговору было, что об убийстве. Китаева не жалели, большинство говорило так:

— Ну, видать, что заслужил, то и получил. Много дружков было, они и ухлопали! Небось деньги не поделили...

Другие вздыхали чуть ли не с завистью:

— А сколь вина выхлебал покойничек — мы всем селом столь не выпили...

Третьи удивленно пожимали плечами:

— Надо же, за столько лет не попался ни разу, а говорят, что он главный разбойничий атаман был!

Приехали становой пристав с урядником, вели следствие, вызывали по одному всю прислугу и работников постоялого двора.

Допрашивали и Соломию — она сказала то же самое, что говорила и старосте в день убийства. Тогда становой показал ей лаковую шкатулку и спросил напрямик:

— Ты же взрослая девушка, неужели ты не знала, что твой отец в этой шкатулке держал?

— Я и про шкатулку не знала ничегошеньки, кабинет закрытым на ключ был, а ключ он всегда при себе носил...

— Но кто-то же все эти годы прибирался у него в кабинете?

— Во всем дому прислуга прибиралась...

На том следствие и закончилось. Убитого надо было побыстрее хоронить — стояла жара... Из Казани приехал единственный родственник — старший брат Пантелея Кузьмича Иван.

Соломия впервые увидела своего дядю. Это был высокий крепкий старик лет семидесяти, седой как лунь. Он приехал с сыном, крепким, здоровым мужиком лет сорока, таким же высоким, как его отец, и они начали распоряжаться насчет похорон. Наскоро похоронили, наскоро скромно помянули, и родственники собрались уже ехать, но староста, бывший на похоронах, обратился к брату Китаева:

— Иван Кузьмич, надо бы решить, что делать с усадьбой вашего брата. Соломия еще не в совершенных годах, надо опекуна назначать. Вас, может быть?

— Увольте! Стар я, какой из меня опекун!

— А сына вашего?

— Нет уж, извиняйте, у нас и других дел по горло... А от усадьбы брата мы отказываемся и можем подтвердить письменно в волостном правлении, что единственная наследница — дочь его Соломия.

После похорон Китаева брат его и племянник сразу уехали. Вскоре старуха Ульяна перебралась жить к Соломии, а староста, не найдя в Аргаяше подходящего человека, пока обязанности опекуна исполнял сам. Изредка он заезжал проведать женщин.

Как-то теплым летним вечером против постоянного остановился щегольской экипаж, на козлах сидел бородастый кучер в кумачовой рубахе. Из экипажа проворно выскочил Алексей Михайлович Семишников. Молодой купец с саквояжем в руке быстрым шагом вошел во двор.

От колодца к крыльцу шла Ульяна, неся полные ведра.

— Здравствуй, бабуля! Видно, повезет мне сегодня: не успел во двор войти, а ты — навстречу, да с полнехонькими ведрами... Постояльцев-то пускаете?

— Какие уж нынче постояльцы... Пантелея Кузьмича вот уже сорок ден как похоронили. Соломиюшка теперь одна как перст осталась, да я вот, старая, при ней... Так

что проезжай-ко, добрый человек! Нет хозяина, нет и постоянного...

Но незваный гость оказался любопытным и словоохотливым.

— Как — похоронили?! А ведь у меня к нему дельце по торговой части было...

— Да ведь убили его, ограбили и убили!

— Вот так дела! А родственники остались у покойного?

— Сказывала ведь тебе: дочка Соломия, несовершеннолетних лет. На похороны-то один брат-старик да племянник из Казани приезжали... Старика опекуном поставить хотели, дак он ни в какую!

— Кого же опекуном-то поставили?

— Да никого еще нет! Староста из Аргаяша Иван Максимыч, дай бог ему здоровья, все хлопочет. Он и нас иногда навещает.

— А Соломия где?

— Дома, где ж ей быть? Да вон, кажись, в окно поглядела, рукой махнула, сейчас мигом прибежит!

## АНТИХРИСТ

Соломия уже сняла траур, и теперь она, в светлом ситцевом платице, сбежала с крыльца. Как же она обрадовалась, увидев Семишникова! Взяв из его рук тяжелый саквояж, она повела приехавшего в дом. Вернувшись, сказала Ульяне со значением:

— Это сердечный друг покойного батюшки приехал, надо его принять и угостить как следует!

Ульяна, ворча втихомолку, пошла на кухню. «Не успели сорок ден миновать, как уж знакомые какие-то появились! Кажись, рано еще гостей-то принимать...»

В вечернем застолье Соломия угощала Семишникова сама. Она так и ловила каждый взгляд, каждое слово молодого купца, стараясь предупредить каждое желание...

А наутро аргяшского старосту разбудил отчаянный стук в ворота.

— Батюшка Иван Максимыч! Ой, беда! Откройте скорее!

— Да кто это там, ты, Ульяна, что ли? — открыл калитку полуодетый встревоженный староста. — Что опять стряслось?

— Да как же, Иван Максимыч, Соломия пропала!

— Как пропала?! Да ты толком расскажи!

— Вчерась приехал какой-то антихрист и увез!

— Какой такой антихрист?

— Какой-то проезжающий...

— Что он, ее силой, что ли, взял да увез?

— Да похоже, как раз по согласию! По всему видать, знакомы они были ране и любит она его: за столом сидели, дак глаз с него не сводила... Из Москвы вроде он... Купец какой-то... из себя видный, годов двадцати семи-восьми.

— Тогда нам какая забота? Не догонять же ее...

После долгой езды по большим дорогам, ночлегов в почтовых станциях и постоянных дворах Соломия оказалась в Москве. Белокаменная Москва поразила Соломию своим великолепием, она была намного лучше Казани. Соломия с любопытством разглядывала проезжавшие мимо повозки, спешащих людей, дома, поражающие своим великолепием. Соломия мечтала, что вскоре она будет жить в таком доме и у нее начнется совсем другая — богатая и счастливая — жизнь.

Внезапно бричка остановилась у ворот деревянного двухэтажного дома. Ямщик постучал в ворота.

— Алексей Михалыч, здравствуйте! — открывая ворота, поздоровался бородатый мужик с метлой в руках. — Давно не бывали... Откуда бог несет?

— Из Казани, — буркнул в ответ Семишников. — А ты что-то разговорчив, Авдеич, не пьян ли? Попридержи язык-то, не то как раз в морду получишь! Твое дело — не интересоваться, кто откуда приехал, а двор подмести да лошадей поставить, понял?

Соломия удивилась: такой уважительный со всеми Алексей Михайлович — и вдруг так грубо обошелся с дворником...

На крыльцо вышла старуха в старом салопе:

— Пойдем, голубушка, в комнаты, чай, устала с дороги-то!

И добавила доверительно:

— Зови меня Аполлинару Сергеевна, а лучше попросту — тетя Поля. Ты у меня остановишься и будешь пока жить здесь...

Соломия замерла в недоумении. Потом, немного овладев собой, она решила спросить:

— А разве этот дом — не Алексея Михайловича?

— Нет, голубушка...

— Значит, он привез меня в чей-то чужой дом?!



Старуха не успела ответить Соломии — вошел Семишников.

— Ну, показывай комнату для Соломии, да смотри, чтоб самой лучшей была!

— Бог с тобой, батюшка Алексей Михайлович! Для такой красавицы самая лучшая и приготовлена, только помнишь уговор-то наш? Деньги вперед...

Семишников приложил палец к губам, и старуха осеклась на полуслове. Улучив момент, Семишников со старухой вышли в коридор.

— Ты потом когда за ней придешь-то?

— Пусть пока отдыхает с дороги, отоспится; в баню ее своди, а я послезавтра приду, — вполголоса пообещал Семишников, передавая ей деньги.

Соломия решительно ничего не понимала и чуть не плакала от обиды. Как это? Ведь торопил немедленно уехать, обещал, что они будут венчаться в московском соборе, что будет красивая свадьба... С какой тревогой, с каким нетерпением ждала Соломия Алексея! Она уже давно поняла, что беременна от него, и несказанно обрадовалась, когда увидела, что ее возлюбленный, от которого у нее будет ребенок, не забыл ее, приехал.

Она еще больше обрадовалась, когда Алексей сказал, что повезет ее в Москву и чтобы она немедленно собиралась — ночью они должны ехать. Соломия даже не удивилась, почему поедут ночью, так ей хотелось поделиться своей радостью с Ульяной, но Семишников, словно прочитав ее мысли, предупредил:

— Пусть служанка твоя пока ничего не знает... То-то удивится она, когда мы приедем сюда из Москвы уже мужем и женой! Тогда заберем все твои пожитки, продадим усадьбу и уедем жить в Москву. Будешь ты у меня московская купчиха Семишникова...

Мечты о московской жизни помогали Соломии почти совсем забыть головокружение и тошноту во время

долгого пути. Но почему в Москве он вдруг как-то изменился? Почему привез ее к чужим людям, а не к своим родителям? Ведь говорил же ей, как старушка-мать его будет рада, что сын, наконец, женится, да еще на такой красавице... И Соломия не выдержала:

— Алеша, скажи, ради бога, куда ты меня привез? Почему не к себе домой?!

— Глупышка ты моя, — стал успокаивать ее Алексей, — в Москве ведь все не так, как у вас. Я готовлю приятный сюрприз моим родителям, поэтому до венца они не должны тебя видеть...

И Соломии приходилось мириться с такими причудами, даже с незнакомым и противным словом «сюрприз», в котором так и чувствовался какой-то подвох. Хитрая, коварная девчонка, когда-то обворовывавшая гостей на постоялом дворе, а затем и отца, теперь в своей любви стала бессильной и покорной. Ничего, что Алексей ушел, оставив ее на попечении этой хитрой старухи, — главное, чтобы он сдержал слово и выполнил свои обещания. Сомнения терзали ее, и уставшая после дальней дороги Соломия долго не могла заснуть, думала о своей судьбе, о жизни, ворошила в памяти былое. Теперь она ясно осознавала, что отец погиб из-за нее: не выкради она из тайника драгоценности, он бы поделился со своими поделщиками и они бы от него отступились...

Проснулась она поздно. Аполлинария Сергеевна принесла ей завтрак.

— Ну как спалось, голубушка, на новом месте?

Соломия, промолчав, только кивнула, чтоб отвязалась от нее эта слащавая старая карга, от которой можно ожидать всяких каверз. Она успела возненавидеть старуху, как будто та была виновата во всех ее злоключениях. Но хозяйка не отступала ни на шаг: после завтрака повела ее в баню, точно под конвоем, и не спускала с нее глаз.

Прошла еще одна ночь, такая же томительная и долгая. Соломия старалась успокоить себя, решив — будь что будет, но тревога с новой силой прокрадывалась в ее сердце. После обеда пришел Алексей и с порога встревожился:

— Ты нездорова, Соломиюшка? Бледная и даже с лица спала...

— Нет, я здорова. Я... я на тебя сердилась!

— Вот как! И за что же?

— За то, что ты меня тут оставил одну и сам ушел!

— Вот что, моя дорогая. Я ходил наши с тобой дела устраивать... Тебе придется до восемнадцати лет пожить в пансионе: не соглашаются нас венчать, пока тебе не исполнится восемнадцать.

— Но ведь... у меня, у нас...

У Соломии чуть не сорвалось с языка, что у них с Алексеем должен родиться ребенок, но она смолчала, до крови прикусив губу, только слезы так и полились из глаз.

— Ну вот, только этого еще не хватало, — Алексей, вздохнув, погладил ее по плечу. — Пойми, я же тебя устрою не в простой пансион, а пансион благородных девиц! Тебя там научат грамоте, музыке и всему, что полагается. А я в это время напишу прошение архиерею, чтобы он разрешил нам венчаться. Долго думать некогда, надевай самое лучшее платье, украшения, и пойдем.

Соломии теперь было все равно куда идти — лишь бы не сидеть взаперти у этой противной старухи.

Они вышли во двор; у ворот их ждал нарядный экипаж. Ехали долго и очень медленно. Читатель может себе представить московские улицы восемнадцатого столетия — узкие, мощенные булыжником, загроможденные на перекрестках скоплениями повозок, экипажей и телег ломовых извозчиков. И когда нерасторопный или пьяный возница захватывал нечаянно осью за колесо какого-нибудь экипажа или брички, то между ямщиками вспыхивали ссоры, иногда заканчивающиеся жестокими драками.

Когда их экипаж приостановился у очередного затора, Соломии вдруг почудилось, что кто-то пристально глядит на нее с тротуара. Обомлев, она увидела в толпе знакомые зеленые глаза... «Да это ведь Лева Жигарь! Как он узнал, что я здесь?! Надо сказать Алексею, чтобы он остерегался — от Жигаря можно ждать всего...»

Но тут экипаж остановился у подъезда каменного двухэтажного дома с широкой парадной лестницей, из окон дома на улицу выглядывали растрепанные, с помятыми опухшими лицами молодые женщины. Алексей не повел Соломию в дом, а взяв под руку, провел ее через ажурную кованую калитку. Во дворе был сад со множеством цветов на клумбах, и в глубине среди старых лип стоял большой каменный двухэтажный флигель.

В передней им навстречу вышла молодая красивая дама.

— О, это вы, Алексей Михайлович! Здравствуйте, очень вам рады, — пригласила входить дама.

— Да мне бы Анфису Петровну повидать...

— Анфиса Петровна дома, сию секунду позову!

Вскоре в прихожую вышла чуть грузная, лет шестидесяти женщина с сильной проседью в волосах, с дорогими серьгами в ушах. На полной шее у дамы было прекрасное ожерелье, а на запястьях — золотые браслеты. Платье на ней — Соломия никогда не видела раньше такой материи — переливалось зеленым, красным и даже фиолетовым оттенками; на груди была приколотая массивная золотая брошь в виде распускающейся лилии с бриллиантом посередине. Дама была страшно напудрена и нарумянена, и от нее исходил сильный аромат дорогих духов. Соломия, окинув взглядом столь пышную нарядную даму, подумала: «Вот бы оснимать эту старую колоду». Дама встретила Алексея довольно приветливо, как старого знакомого, и подала для поцелуя свою пухлую белую руку, унизанную кольцами.

— Значит, эту красавицу ты привез? Ничего как будто... Хороша!

Дама оглядывала Соломию, как оглядывают, оценивая статью и масть, лошадь на торгах...

— Что ж, ладно, пойдем со мной, девушка!

Соломия с испугом взглянула на Алексея, тот успокаивающе кивнул ей головой и легонько подтолкнул вперед. Соломия пошла вслед за дамой по длинному коридору, осторожно ступая по мягкой бордовой дорожке.

— Ты, девушка, не бойся, — приостановилась дама, — тебя должен осмотреть врач — у нас так принято.

В залитом солнечным светом кабинете их встретил пожилой врач в белоснежном халате и такой же шапочке. Он предложил ей раздеться, и Соломия замаялась в нерешительности. Врач внезапно рассердился:

— Ты что, барышня, оглохла? Кому сказано — раздевайся, да поживее!

Платье Соломия сняла, но рубашку снимать не хотела. Врач бесцеремонно сдернул с нее рубашку:

— Приходят тут разыгрывать из себя невинность! И откуда такая дикарка взялась?! Других ни капли не стесняетесь, а врача вдруг застыдились...

Соломия повиновалась, моля бога, чтоб осмотр скорее кончился, и отвечала на все вопросы. Наконец она быстро оделась и собралась было бежать, да поскорее, но врач придвинул ей стул.

— Посиди пока тут! — коротко бросил он и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как в коридоре он стал разговаривать с Алексеем и роскошной дамой. Соломия приникла к замочной скважине.

— Ну как девица, здорова ли?

— Здорова, да не совсем — беременность на втором месяце, — послышался голос врача.

— Этого только не хватало! Анфиса Петровна сколько раз говорила: беременных не берем, у нас не благотво-

рительный дом, а увеселительное заведение! Да притом лучшее... иначе от властей скандала не оберешься!

— Но мне-то что с ней делать? — зазвучал голос Алексея. — Не могу же я ждать, когда она родит!

— Не огорчайся, Алексей Михайлович! Знаешь ведь — за деньги в Москве можно сделать все... Напишу тебе записку в частную клинику Штольца, в записке же укажу и адрес. Он поймет, по чьей ты рекомендации, и примет красавицу твою... А когда она избавится от ребенка и поправится — милости прошу!

Видимо, на том и порешили, потому что Соломию вскоре выпустили из кабинета. И первое, что она увидела, — такие злые глаза Алексея, что просто оторопела...

— Почему ты мне в Аргяше не сказала, что беременна?

Соломия промолчала. Она теперь была готова к самому худшему.

Больше Алексей ругаться не стал, а подхватил ее под руку и повел к выходу, шепнув на ухо: «Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо... Сейчас мы поедем в одно место, ты поживешь там! Я тебя каждый день навещать буду... А потом до восемнадцати лет тебя примут в пансион».

Но Соломия уже ничему не верила. Алексей предал ее! А может, он ее и не любил никогда и она нужна была ему для каких-то тайных его целей... Много было непонятно для обманутой Соломии, но одно она поняла твердо: как только представится случай, бежать куда глаза глядят!

Вскоре подъехали они к каменному двухэтажному дому. Позвонили у подъезда, немедленно вышел швейцар, мужчина средних лет.

— Мне бы повидать врача Штольца...

— Проходите и подождите немного: сейчас Франц Францевич ведет прием больных.

В кабинет врача Соломия вошла вместе с Алексеем. Врач, прочитав записку, попросил Алексея подождать

в коридоре, и тот, ободряюще кивнув Соломии, вышел. Врач Франц Штольц почему-то сразу понравился Соломии. Говорил он по-русски не чисто, а с забавным акцентом, был вежлив и внимателен. Предложив Соломии стул, Штольц начал мягко внушать ей, что такой молодой даме ребенок станет обузой и что в замужестве она сможет иметь детей столько, сколько захочет.

Но теперь Соломия уже осознавала всю тяжесть своего положения: Алексей замуж ее никогда не возьмет, просто-напросто он ее обманул. Да, надо во что бы то ни стало избавиться от ребенка... А уж потом она сбежит из больницы, уедет в Аргаяш и будет жить на постоялом дворе одна — хоть веки вечные! И непрошенные слезы вновь полились из глаз.

Врач положил руку ей на плечо:

— Прошу вас, успокойтесь, идите в палату и хорошо отдохните. Все решим завтра, а сегодня — только покой...

Сестра милосердия проводила ее до постели и помогла раздеться. Одежду Соломии куда-то унесли, а взамен дали ей длинную белую рубашку. «Будто саван...» — промелькнуло в голове Соломии. Сестра милосердия вышла, а Соломия принялась оглядывать больничную палату. Там стояло четыре койки. На двух лежали женщины: одна — изможденная, бледная и очень худая, другая — толстуха лет пятидесяти с отечным лицом. Но что до них Соломии? Она была молода, цвела, словно яблонька в майском саду, и горе ей уже не казалось таким безысходным, а слезы, как ранний дождик, омыли ее душу.

Лежать не хотелось, и Соломия, широко распахнув окно, стала смотреть на шумную московскую улицу. По улице с грохотом катились груженные телеги, проносились нарядные экипажи и кареты. На противоположной стороне улицы была, наверно, харчевня, и в дверях туда-сюда сновали люди.

## ЛЕВА ЖИГАРЬ

Сомнения больше не мучили Соломию: она уже не надеялась ни на кого, кроме себя, и стала ждать момента, чтобы немедленно сбежать. Но ведь на ней больничная одежда, с нее не спускают глаз и отдадут только с рук на руки Алексею, а он непременно повезет ее в «пансион»...

Доктор Франц Штольц, видимо, не хотел, чтобы о его больнице знали: на следующий день Соломии запретили раскрывать окно. Она повиновалась, но вскоре опять его распахнула и увидала у дверей харчевни Леву Жигаря. Тот уже хотел было окликнуть ее, но Соломия, высунувшись из окна, приложила палец к губам в знак молчания, потом показала рукой — уходи, мол, скорее. Но Лева показал себе на лицо и стал шевелить губами. Соломия поняла по губам: «Ночью приду, жди!» — и Жигарь исчез, как сквозь землю провалился. В коридоре слышались легкие шаги, Соломия быстро закрыла окно и легла на койку. Вошла сестра милосердия, и Соломия притворилась спящей.

Наконец-то длинный летний день кончился, и после ужина в больнице наступила тишина. Больница Штольца была совсем небольшой; тут он только принимал больных, а после приема сразу уезжал домой. Он был очень богат, имел особняк на другой улице и загородную дачу. Персонала в своей больнице он держал немного, а на ночь оставались только сестра, няня и швейцар.

В эту ночь Соломии долго не спалось, и ей показалось, что она только-только сомкнула веки, как вдруг услышала чей-то смутно знакомый голос:

— Да проснись же ты, наконец!

У кровати Соломии стоял Лева Жигарь.

— Как ты сюда пробрался, Лева?!



— Ну и спишь же ты, Соломия, — не отвечая на вопрос, вполголоса заговорил Жигарь. — Живо одевайся, бежим отсюда!

— Лева, я не пойду сейчас! Через неделю только выпустят, ты погоди...

— Некогда годить ни минуты! Одевайся, говорю тебе!

Соломия торопливо оделась, сунула ноги в туфли и повязала темный платок, поданный Жигарем.

Крадучись, они пошли к выходу. В полутемном коридоре у столика, уронив голову на руки, спала сестра милосердия. Из самого конца длинного коридора доносился громкий стук в запертую дверь и приглушенный крик о помощи. Жигарь чуть ли не силком стащил Соломию вниз по лестнице в вестибюль, и она, в который уж раз за последнее время, остолбенела от увиденного: под свечой в канделябре на полу сидел швейцар с открытым в предсмертном крике ртом. Лицо его было синим и бескровным, выпученные глаза остекленели и были страшны при дрожащем свете свечи...

— Да иди ты скорее... Тише, — прошипел Соломии в ухо Жигарь. Он торопливо закрыл снаружи парадную дверь, бормоча что-то непонятное для Соломии:

— Этих-то раньше утра не хватятся, а вот того, наверно, уж нашли! Нам ни минуты в Москве оставаться нельзя... Едем сейчас же!

Он негромко свистнул, из-за угла подкатила господская бричка, запряженная парой вороных, — та самая, на которой в прошлом году Жигарь уехал с постоянного двора в Аргаяше.

На улице стояла глухая полночь, летний теплый легкий ветерок пробежал по верхушкам деревьев, зашелеств листвой, из-за облака выплыла полная луна и осветила спящие московские улицы. Соломия сидела в задке брички рядом с Жигарем, который сильной рукой обнимал ее, целовал в щеку, жарко дыша ей в лицо, и бессвязно, по-прежнему непонятно бормотал:

— Ну, дорогая Соломия Пантелеевна, видишь, я все-таки нашел тебя! И отомстил за тебя! Если только не нашли его, значит утром найдут... А к утру мы уже эвон где будем!

Кучер нещадно погонял вороных, и рассвет их застал уже далеко за московской заставой.

Неграмотная Соломия и знать не знала, что в газете «Московские ведомости» на последней странице, где пишется о разных городских происшествиях, скоро напечатает две заметки. Первая сообщит о разбойном нападении на частную клинику Штольца, при этом в вестибюле задушен швейцар и сильным снотворным усыплена дежурная сестра милосердия, которая лишь чудом не погибла.

Второе сообщение гласило: «В ночь на шестнадцатое августа убит московский купец второй гильдии Алексей Михайлович Семишников, двадцати восьми лет, женатый, имевший двоих детей. Труп обнаружен у Измайловского моста утром семнадцатого августа участковым полицейским. Купечество приносит соболезнования семье покойного».

Внизу была напечатана приписка: «Полиция принимает все меры для задержания преступников».

Ни близкие Семишникова, ни Анфиса Петровна так никогда и не узнали, кто убил купца. Впрочем, многоопытная содержательница публичных домов сразу поняла, что к убийству как-то причастна красивая девчонка, которую Семишников привез в ее заведение откуда-то из-за Казани. И покойный неспроста требовал кругленькую сумму: писаная красавица, нет еще восемнадцати, сирота, ни отца-матери, ни родственников...

Хорошо известная в преступных кругах Анфиса Петровна уже много лет орудовала рука об руку с владельцем частной клиники немцем Штольцем. А третьим их компаньоном был купец Алексей Михайлович Семиш-

ников. Отстранив от всех дел отца, якобы из-за его слабоумия, Семишников занялся торговлей хлебом, мясом и прочими продуктами. Но главное — больше десяти лет он сбывал живой товар: сманивал в дальних губерниях молодых красивых девушек и, привезя в Москву, продавал в публичные дома, некоторых он просто обманывал, обещая жениться, другим сулил помощь в поисках хорошей, денежной работы, третьих обнадеживал устроить в благородные московские пансионы, но неизменно все попадали в публичные дома. Эта побочная торговля девушками давала ему гораздо больший доход, чем всякая другая, и он год от года все больше богател. И вот наконец наступила расплата.

А в это время ничем не приметная господская бричка катилась все дальше и дальше, в некоторых местах минувя многолюдный московский тракт, днем сворачивая на проселочные дороги, останавливаясь где-нибудь у ручья или речки в лесу, но как только наступала ночь, бричка выезжала на большую дорогу и кучер неумоимо погонял отдохнувших за день лошадей. Верх у брички был поднят, скрывая пассажиров от солнца и любопытных взглядов, и было неизвестно, кого везет старый бородастый кучер. Иногда на козлах сидел молодой парень в крестьянской одежде, иногда татарин в шелковом полосатом халате и тюбетейке, но по существу это были одни и те же люди: Лева Жигарь со своим другом и сообщником. Они всегда брали с собой много разнообразной одежды, которая была нужна для «маскарада» и часто выручала их в воровских делах, сбивая с толку самых умных сыщиков и полицию.

Соломия, измученная дальней тряской дорогой, пережитыми в последнее время несчастьями и неизвестностью перед будущим, сильно похудела, глаза сделались

огромными и глубоко запали. Она была грустна и задумчива. Ее душевная рана еще кровоточила. Соломия никак не могла смириться с предательством человека, которого она так любила.

В Казани они отдохнули у знакомых, но долго оставаться там было нельзя — Леву Жигаря искала полиция, и он решил махнуть за Каменный пояс и осесть в Зауралье, где не первый год, как обосновался старший брат Понтя, который перевез туда семью — жену с тремя детьми и старую мать.

## ПОД ЧУЖИМИ ИМЕНАМИ

Уже много лет минуло с той поры, как вор и грабитель с большой дороги Понтя Жигарь за лихие дела был приговорен к пожизненным каторжным работам в Сибири и отправлен туда в кандалах по этапу. В Зауралье под Камышловым каторжане поубивали солдат из малочисленного конвоя, разбили кандалы и ищи ветра в поле — разбежались кто куда. Долго скитался Понтя с подельником по тамошним лесам и болотам, оголодал, как дикий зверь... Товарищ, не выдержав испытаний, умер, а Понтя выбрался-таки из чащобы к тракту и человеческому жилью — Ирбитской слободе.

Шла страда, а в эту пору каждый работник на вес золота, и хозяин, нанявший бывшего каторжанина на работу, не спрашивал, кто он и откуда. Но окончились полевые работы, и хозяин рассчитал пострадавшего. Понтя, не имея при себе никаких документов, был вынужден скрываться по лесам, пока не встретил под деревней Шмаковой переселенцев из Рязанской губернии — братьев Куликовых. Выдавая себя за местного крестьянина, расхваливая здешний край и вольные земли, Понтя быстро сошелся с доверчивыми рязанцами. Оставшись ночевать с ними у лесного костра, он узнал, что у братьев на руках написанная волостью вольная подорожная о переселении в Зауралье, в Ирбитскую волость. Старшего брата звали Павлом, младшего — Лаврентием. Павел был женат, и у него был мальчик лет пяти.

Когда переселенцы уснули после трудной дальней дороги, Понтя совершил самое черное свое преступление: зарезал всех спящих, не пожалев и пятилетнего мальчонку.

Утром он зарыл убитых, завалил хворостом и палой листвой, забрал весь скарб, деньги и подорожную.

Промотав награбленное, Понтя тайно побывал в Казани, да едва ноги унес обратно: в Казани и окрестных губерниях за поимку Понти Жигаря была обещана награда и известно, что он находился в бегах.

Хитрый как бес, Понтя и сам знал, что ему не будет житья в Казани. В то время по Казанскому и Сибирскому трактам на восток что ни год шли обозы из Новгородской, Тамбовской, Рязанской и других российских губерний. Затеряться в этом потоке, да еще с подлинной подорожной убитого Павла Куликова, — пара пустяков, и Понтя-Павел тронулся в Зауралье вместе со всей семьей.

А вот сейчас и брат его, Лева, изо всех сил стремился туда, в этот глухой, еще мало обжитый край. Ему только надо, чтобы с ним была Соломия. Лева так же хитер, как и его брат Понтя: мало ли что, проследит полиция его московские дела да попадет девчонка в полицейские лапы — может выдать, и тогда — каюк Лева Жигарю!

Да и ему уж пора остепениться, семью заиметь и заняться каким-нибудь делом, пока не поздно...

К Аргяшу Лева с Соломией приехали поздно ночью. Вот и усадьба бывшего постоялого двора Пантелея Кузьмича Китаева, где родилась, прожила детство и юность Соломия. Теперь она должна покинуть этот старый дом навсегда. Сердце Соломии сжалось от тоски, когда увидала старый, покосившийся родной дом с заколоченными дверями и окнами. Прошло немногим больше месяца, как она сбежала отсюда — ночью, тайно и крадучись. Парадное было закрыто на большой висячий замок, которого Соломия никогда не видала раньше. Видимо, аргяшский староста, беспокоясь о сохранности имущества, велел запереть дверь на замок, а окна заколотить большими толстыми досками.

Лошадей оставили поодаль, у старых тополей, а сами вошли в ограду опустевшего дома. Соломии не терпелось взглянуть на клумбу, где она спрятала мешочек с сокровищами, но нужно было улучшить подходящий момент.

— Лева, — взмолилась вдруг Соломия, — Лева... про-  
шу тебя, оставь меня здесь! Я не хочу никуда уезжать из  
этого дома. Буду жить тут одна, — жалобно всхлипнула  
Соломия.

— Давай-ка не дури! Нам пора ехать дальше, а не вы-  
думывать чего ни попадя! — досадливо ответил Жигарь,  
думая про себя: «А ну как про нас успели сообщить в  
волесть? Если до рассвета не уедем — не миновать тогда  
полиции...»

И Лева поневоле круто сменил тон:

— Соломиюшка, милая, что ты задумала? Ведь люблю  
я тебя очень! Не любил бы — не погнался бы за тобой  
в Москву... Видно, уж связаны мы с тобой на веки  
вечные!

— Я тебе не верю, Лева! Увезешь меня далеко от дома  
и будешь бить! Припоминать прошлое!

— Бог свидетель! Никогда ни словом, ни делом не  
обижу! Решайся! А то свяжу и силой увезу.

«Что же мне делать? — думала Соломия. — Бедная  
я несчастная сирота, нет у меня ни отца ни матери, ни  
защитить, ни посоветовать некому!» — И она в душе  
теперь страшно жалела пусть непутевого пьяницу, но  
все же отца, как он умер не вовремя, да еще по ее вине.  
И слезы градом полились из ее глаз.

Но что женские слезы — набежит тучка, поморосит  
немного, и вот уж опять солнышко сияет на небе! Соло-  
мия превозмогла себя и уже твердым голосом сказала:

— Ладно! Видно, так тому и быть! Поедем... хоть на  
край света, мне уж теперь все равно! Только давай забер-  
ем мои пожитки. Не беспокойся, их не лишка. Замок на  
двери трогать не будем, пусть висит себе, как висел.

Жигарь быстро отбил с окна доски, вынул раму. Оба  
влезли в окно, зажгли свечу и пошли по комнатам. Вся  
домашняя рухлядь и мебель были перетасканы в гости-  
ную и уложены порядком: видимо, делали опись.

Соломия взяла свои платья и шубы, постельное белье, одеяла, подушки. Наскоро связывали все тюками, выбрасывали из окна на улицу. Потом спустились в подпол за сундуком с посудой. Сундук оказался очень тяжелым, и пришлось звать на помощь ямщика.





Пока мужики возились с сундуком, Соломия украдкой сбегала к цветочной клумбе, выкопала свои сокровища и спрятала их в задке брички. Ну вот, наконец все готово к отъезду. Соломия последний раз взглянула на свой дом. Вернется ли она сюда когда-нибудь? Что будет с ней, когда она свяжет свою жизнь с воров и убийцей, атаманом шайки? И какая это будет жизнь? А не все ли равно какая... Она сумеет постоять за себя и в Зауралье, да хоть где! А самое главное — драгоценности опять при ней...

Соломия погрузилась в раздумья. Они уезжали все дальше и дальше на восток, и под колеса брички бежал Казанский тракт. Ночевали на постоянных дворах. Чем ближе подъезжали к Уралу, тем становилось холоднее.

После трехнедельного путешествия прибыли в крепость-острог Екатеринбург. Там продали бричку и купили сани, так как повалил густой снег, началась метель, да такая, что пришлось остановиться и долго пережить непогоду на постоялом дворе.

Боялись полиции — не было подорожной, но в этой глуши никто не заинтересовался людьми, едущими в крестьянских санях. Спустя трое суток на горизонте показались долгожданные домишки Ирбитской слободы.

Лева все сделал так, как велел ему старший брат Понтя. В Ирбитской слободе Лева должен был разыскать человека, которого зовут Прокопием Афанасьевичем Свешниковым, и спросить, где живет Куликов Павел Иванович — якобы его, Левы, родственник.

Дом Свешникова отыскивали быстро. На стук отозвался мужик в рыжей собачьей шапке и в длинном холщовом зипуне — видно, работник хозяина, и отворил ворота. Во двор вышел лысый человек без шапки, в кумачовой рубахе и жилете:

— Я и есть Свешников Прокопий Афанасьевич! А вы кто будете? Ах, родственники куликовские! Проходите...

Хозяин велел работнику распрячь лошадей, задать им овса и пригласил в дом приезжих.

Было жарко натоплено, из русской печи пахло щами, жареным мясом, еще чем-то вкусным, и гости сразу почувствовали, как они голодны. В доме был образцовый порядок, на полу лежали домотканые дорожки, вдоль стен стояли чисто выскобленные лавки. Гости, не дожидаясь разрешения хозяев, сели на лавки и стали греться. Вскоре их пригласили за стол.

За столом Лева спросил хозяина:

— А что, Прокопий Афанасьевич, неужто в ваших краях зима так рано начинается?

— Ну какая это зима? Снег-то еще не единова нанесет да растает, он только грязи наделает, да и все. Правда, и такие годы бывают: как с Покрова снег ляжет, так уж больше не тает — до самой весны лежит.

— Что поделаешь, Сибирь! — понимающе вставил Лева.

— Не Сибирь, а Зауралье! — усмехнулся хозяин. — До Сибири еще далеко отсюда, а простирается она на тысячи верст, до самого студеного моря... Бывал я, брат, в Сибири-то! Жить — оно, конечно, везде можно, но в Сибири надо быть человеку особо крепким и телом, и духом, Сибирь — она хлипкого человека не любит, или в могилу сгонит, или закалит — человеком сделает! Ну, отдыхайте с дороги-то, а поутру мой работник проводит вас до Куликова хутора!

Двадцать верст до хутора промелькнули незаметно, дорога шла все больше лесом, но попадались на пути и большие елани<sup>84</sup> и поля, занесенные снегом. Вот на опушке леса показался дом, обнесенный плотной оградой с высокими тесовыми воротами. Навстречу выбежали лохматые пестрые собаки и залились лаем. Следом в

---

<sup>84</sup> Елань — обширная прогалина, луговая или полевая равнина.

одной рубахе и без шапки выскочил Понтя Жигарь, а для хуторян — Павел Куликов или попросту Паша... За ним показалась белокурая, невзрачная его жена Ефросинья, а за ней трое ребятишек. Сзади всех ковыляла старуха, до того страшная — настоящая баба-яга. Соломия даже вздрогнула, догадавшись, что это — мать братьев Жигарей, а стало быть — ее будущая свекровь...

Старуха подошла, пронзила взглядом своих мутных зеленых глаз Соломию и спросила скрипучим голосом:

— А это кто ж такая будет, жена али невеста?

— Да как тебе сказать, мать? — уклончиво ответил Лева. — Не венчаны мы еще... все некогда было...

— Негоже так жить, Леон! Обвенчаться вам надо!

Старуха первой вошла в дом, приезжие — следом. Соломии семья деверя сразу почему-то не понравилась, и на душе стало тяжело. Но куда же теперь деться! Придется жить здесь, может, год, а может, и больше... Соломия заранее боялась: как бы не пропали здесь, в лесном хуторе, ее драгоценности... Хотя здесь, в глуши, они совсем ни к чему будут. Наряжаться будет некогда и не для кого. Пожалуй, чего доброго, придется работать засучив рукава, а Соломия этого не умела и не любила. И она уже привычно подумывала о побеге. Но как, куда, да еще на четвертом месяце беременности?

Вот если как-нибудь уехать обратно в Казань... Да ведь никто не поверит, что драгоценности мои — сразу заберет полиция, и если уж не посадят сразу в тюрьму, то сокровища непременно отберут.

Спрятав заветную шкатулку на самое дно сундука, повесила замок, а сундук поставили в амбар, прикрыв старыми мешками.

Дом у Понти был большой, и Лева с Соломией устроились более или менее сносно. Фамилия у них всех была Куликовы, старший брат был уже не Понтий, а Павел, и по отчеству не Николаевич, а Иванович: приноравливались,

как было указано в той подорожной рязанских переселенцев. Подорожную убитого Павла держали на божнице, за иконой...

Паша, появившись в Зауралье, не пожелал жить ни в Ирбитской слободе, ни в одной из окрестных деревень, а облюбовал место у большой дороги и решил обосноваться тут. Дав в волости взятку старосте и писарю, построился первым и стал ждать к себе брата. И вот, избежав тюрьмы и каторги, младший брат теперь вместе с ним.

...Уже по крепкому санному пути Соломия слевой поехали в Ирбитскую слободу венчаться. Церковь на окраине слободы выбрали самую захудалую, с малым приходом. Тамошний священник был рад хоть какому-то заработку — обвенчал без оглашения, в будний день, и свадьба была самая скромная — только в кругу семьи.

Так Соломия стала жить на Куликовском хуторе. В волостные списки полуграмотным писарем они были внесены как Куликовы.

Соломия стала приспосабливаться к жизни в новой семье.

А время шло. В один из февральских холодных, вьюжных дней она родила дочь, которую назвали Дарьей. Вскоре наняли в слободе работников рубить лес для нового дома, а летом Лева с Соломией уже стали жить там.

Когда доводилось ехать в Ирбитскую слободу на ярмарку или в гости, Соломия надевала золотые перстни, серьги или колье. Но ожерелье с бриллиантами не трогала никогда: давно уж не верящая ни во что, она почему-то верила в лежащее на ожерелье проклятье и в то, что ожерелье обладает таинственной зловещей силой...

Случилось как-то, что Лева пробовал поднять на Соломию кулак — упившись вином, он, пьяный, припомнил ей московское ее прошлое. Ой, лучше бы не делал этого Лева Жигарь! Откуда ни возьмись в руке у Соломии

оказался кинжал. Дрожа от ярости, она вне себя закричала, размахивая клинком:

— А вот это ты видишь?! Не смей мне припоминать прошлое, какое бы оно ни было, а не то — не жди пощады!

Лева даже протрезвел — то ли от ее бешеного крика, то ли от того, что сразу узнал кинжал Понти.

Наутро, проспавшись, Жигарь примирительно сказал:

— Ты кинжал-то отдай мне, ведь он же Понтин. Дамасской стали кинжал-то!

— Нет уж, нате-ка выкусите вместе с Понтей твоим! Моя это добыча, и со мной до смерти останется, понял?!

С тех пор против жены Лева и пальцем не шевельнул, а пить стал редко, только в большие праздники и не допьяна.

Он, матерый грабитель, все же любил неукротимую Соломию и по-своему гордился ею. И Соломия с годами попривыкла к мужу.

Пока у Соломии была жива свекровь — а жила старуха еще очень долго, Соломия каждый год во время ярмарки пропадала в Ирбитской слободе вместе с мужем, деверем и племянниками.

Старшие Пашины сыновья уже ловко карманничали. На рынке, когда съезжалось много народу и шла бойкая торговля, ловко шныряли между саней, воруя не только деньги, а даже горшки с маслом, битую птицу и поросят. Эти маленькие чертенята могли всегда ловко увернуться, пролезть под брюхом любой лошади, и люди не успевали глазом моргнуть, как были обворованы. В то время как отец, дядя и тетка высматривали на ярмарке более крупную добычу, трое Пашиных пацанов и дочка успевали уже очистить многих. Они действовали сообща, всем скопом: если одному удавалось вытащить кошелек с деньгами, он быстро передавал его другому, а тот третьему.

Соломия же выслеживала «крупную дичь» и тут уж пускала в ход все свое воровское искусство — смесь женского обаяния, хитрости и холодного расчета.

Она то выдавала себя в богатых домах за вдову-купчиху, являясь с кучером в карете, запряженной тройкой хороших рысаков, то под видом цыганки вертелась в трактире или гостинице перед пьяными купчиками... Главная цель ее была — наметить жертву, а за спиной «наводчицы» были надежные сообщники: муж, деверь, племянники и даже кое-кто из Ирбитской слободы, в том числе Прокопий Свешников.

Хороший доход приносили и грабежи проезжающих мимо хутора обозов. Близлежащие деревни Ирбитской слободы быстро разрастались, и дорога вскоре превратилась в большой проезжий тракт. Всю зиму по тракту тянулись торговые караваны с хлебом и мясом. Дорога простиралась до богатых скотом и хлебом деревень Байкаловской слободы, затем разветвлялась, подобно весенним ручьям, во все направления вплоть до Юрмича.

Братья Куликовы хорошо изучили местность, все проселочные дороги, дорожки и даже тропинки. Жили они у самого тракта на пути в слободу, где уже сходились воедино все эти дороги. Даже колодец выкопали специально за оградой, чтобы проезжие люди останавливались напоить лошадей. Запоминали у колодца людей, что и сколько везут они для продажи, сколько подвод, хороши ли лошади и сколько едет народу. С годами братья до того обнаглели, что даже стали ловить и грабить проезжающих в пяти верстах от дома в Устиновом логу, а также и на других дорогах. Большой Сибирский тракт был ничем не хуже Казанского...

## БУХАРСКОЕ ЗЕЛЬЕ

**М**ного было продано в заводы хороших лошадей, украденных в соседних деревнях, без счету обворовано дотла проезжих поселян, и уже не одно убийство было на совести новых поселенцев. Немало купцов и простого люда прошло через их руки. Даже удалось обворовать купца первой гильдии Казанцева, который жил в Ирбитской слободе. Ох и крепкий же это был орешек! Казанцев большими деньгами ворочал. Долго наблюдали братья за двухэтажным, похожим на крепость домом Казанцева, никак не могли обтяпать свое воровское дело, но тут вызвалась Соломия.

В слободу к ярмарке стекалось множество рабочего люда со всех окрестных деревень. Соломия, под видом бедной крестьянской девушки, нанялась прислугой к Казанцевым на время ярмарки. С первых же дней она показала расторопность в работе и смирение. За тихий скромный нрав, а может, и за ее редкую красоту, хозяин вскоре перевел ее прислуживать в комнаты приезжим на ярмарку купцам. В общем, он не мог нахвалиться новой прислугой. Соломия верно и преданно прослужила две недели в доме купца Казанцева.

Казанцеву-старшему было уже за семьдесят, и делами в основном руководил его сын, который любил выпить, и даже говорили, что имел любовниц. Но богатому знатному купцу в грех ничего не вменялось: если есть деньги и есть слава, то все можно, все положено...

Под Новый год, когда были отпущены все работники, большой каменный дом Казанцева опустел. Старший Казанцев с вечера проверил все запоры, спустил с цепи огромных псов и с чувством выполненного долга пошел в свою комнату. Перед тем как лечь спать, он положил под подушку шкатулку с золотыми деньгами и драгоценностями.

Спал он, по-стариковски, по ночам очень чутко. Но в эту ночь он не слышал ничего и не проснулся, как обычно, от шума во дворе, когда под утро приехали из гостей сильно подвыпившие сын и сноха. За всю ночь и за все утро соседи не слышали ни одного звука из усадьбы Казанцевых. Время уже подходило к обеду, но в доме стояла тишина. В хлевах мычали недоенные и некормленные коровы, ржали голодные лошади.

Соседский дворник первый обратил на это внимание. После уборки снега, зайдя в дом и отряхивая с шапки и валенок снег, он пожаловался кухаркам: «Бог дал снежку на Новый-то год. Я уж везде дорожки подмел, а у соседей чё-то никто даже и снег не выходит огребать. Где же у них Захарович-то? Отпущен, что ли? Ну сами-то хозяева с перепоею, наверно, спят еще, а прислуга-то где же? Не может того быть, чтобы все еще дрыхли. Пойду, погляжу ишо».

Через некоторое время насмерть перепуганный дворник прибежал на кухню и закричал: «Батюшки святы! Захарович в сторожке-то неживой, со связанными руками лежит!» Через считанные секунды весь дом был на ногах.

Вскоре вызвали полицию, и у ворот дома Казанцевых собралась целая толпа зевак. Прибывшие на место происшествия урядник и полицейский разгоняли толпу: «И чё вы тут не видали? Прошу разойтись!» Развязали дворника Захаровича. Он был жив, только крепко спал, и для того чтобы разбудить его, урядник несколько раз шлепнул дворника ладонью по щекам. Как потом оказалось, все в доме, включая слуг и хозяев, крепко спали, усыпленные каким-то неведомым снотворным зельем.

Немного погодя появился доктор, пожилой человек с бородкой клинышком; порывшись в своем потрепанном саквояже, он достал из него какие-то склянки и с озабоченным видом отправился приводить в чувство пострадавших.



Во всех комнатах, а особенно в спальне старика, стоял какой-то сладковатый, тошнотворный запах неведомого зелья. Доктор сказал, что это, должно быть, бухарский снотворный порошок, который привезли купцы и продали в недобрые руки грабителей.

Но как бы то ни было, грабители в доме купца Казанцева действовали, по всему виду, смело и уверенно, не оставив никаких следов. Не проявляя поспешности, они забрали все, что им было нужно.

Шкатулка, вытащенная из-под головы старика, валялась пустой под кроватью, комод был открыт и все деньги из него взяты, остались только векселя и долговые расписки.

Грабители побывали во всех комнатах, тщательно проверив содержимое сундуков, шкафов и даже карманов хозяйской одежды.

Жена Ивана Осиповича перед сном сняла с себя все украшения и положила их на туалетный столик в красивую шкатулочку. В этот вечер, собираясь ехать в гости, она надела золотые дутые серьги, дорогое кольцо, два золотых перстня, красивый с изумрудом суперик<sup>85</sup> и золотой браслет. Неповрежденная шкатулочка так и стояла на своем обычном месте, а драгоценностей в ней не было. Как не было и парчового платья, которое она повесила на стул, и даже новеньких лакированных туфель, в которых она ездила в гости. У самого Ивана Осиповича пропал камзол с золотой цепочкой и часами, брелок с бриллиантом и лакированные сапоги.

Шло следствие, и несмотря на праздник, вся полиция была на ногах. Урядник допросил всех, вызывая по одному, стараясь разобраться в этом сложном и запутанном деле.

Дворник уверял, что в сторожку зашли двое ряженых, напали на него, связали, поднесли к носу остро пахнущую

---

<sup>85</sup> Суперик — небольшое золотое кольцо с камнем.

тряпку, отчего он стал задыхаться, хотел крикнуть, но они зажали рот, и он потерял сознание.

— У меня и чичас, ваше благородь, в голове будто черти горох молотят, башка, как с перепую, и память отшибло. Ох! Думал уж, помру! А видит бог! Ни капли вина в рот не брал, — божился Захарович.

— А не помнишь ли ты, Мокей Захарович, какие они, ряженные-то, были? — урядник, видя тяжелое состояние своего подследственного, не кричал на него, а старался все выспросить потихоньку.

— Господи! Да на Новый-то год сколько их ездит и бегаёт, всяких страхолюдных рож понаделают, и эти такие же, у одного, помню, борода мочальная, шапка белая мохнатая, заячья, что ли... Другой бабой одет был, вроде цыганки в красной юбке, и рожа закрыта черной файшонкой<sup>86</sup>.

— Ну а ты зачем их пропустил, раз хозяева уже приехали из гостей?

— Дак кто их пропускал? Они ведь не из-за ограды ко мне зашли, а со двора. Я как пропустил в ворота Ивана Осиповича, так сразу ворота на засов затворил. Хотел еще Ивану Осиповичу помочь из саней выйти, да ему кучер Мирон помог и из саней выйти, и на крыльцо подняться, и по лестнице взойти. А я при лошадях стоял. Уж замерзать начал. Смотрю, Мирон с лестницы сбегает, говорит: «Ну всё! Спать я положил хозяина, раздел его и в спальню отвел, а он давай артачиться: не хочу, говорит, Мирошка, спать, поедем сейчас с поздравленьем к Сергею Иванычу. А я говорю: мол, спят они, Иван Осипович, завтра поздравлять будете... А он свое — разбудим! А сам и на ногах-то не стоит. Ну слава богу, кажись, заснул, теперь и нам можно спать ложиться, коней вот напою, овса задам и на боковую до утра». И он повел лошадей в конюшню...

---

<sup>86</sup> Файшонка — кружевная или шелковая косынка.

— Ну, а что же дальше? — усмехнувшись в густые усы, поторопил дворника урядник.

— Как что? На дворе тишина стала... Ну, думаю, сколь не колобродили в слободе под Новый год, все же, видно, утомонились, собаки и те уж затихли, от мороза в конуры позалезали, Кичиги уж высоко поднялись, время, видно, много было. Пошел я в привратницкую, печка, вишь, у меня там не протопилась. Зашел, сел я перед печкой, обдало меня с мороза теплом-то, и вдруг двое ряженных откуда ни возьмись, как из-под земли выросли, и на меня набросились со своим сонным зельем.

После допроса Захаровича урядник подозвал к себе кучера Мирона, но он рассказал то же самое, с той лишь разницей, что лично видел сам:

— Велел мне хозяин везти его с женой в гости к купцу Ухову, Новый год встречать, значит. Ну, по сумеркам я отвез их. Потом уж поздней ночью за ними приехал, а у Ухова еще маскарад в самом разгаре. Долго я ждал, а они всё пируют, веселятся, лошади уж продрогли, и решил я, пока они веселятся, лошадей погреть, поразмять, по слободе поездить. А на улице, несмотря на мороз, полным-полно ряженных да пеших с гармошками. Народу-то как днем! Вернулся, смотрю, наконец-то мои хозяйева домой собрались. Привез я их домой, помог хозяину на лестницу подняться, раздел его и спать уложил. Когда уходил, кухарку — старуху Власьевну — разбудил, чтобы закрыла за мной парадную дверь.

Во время допроса Власьевна подтвердила слова кучера. Сказала, что закрыла за Мироном парадную дверь и сразу уснула. А Соломия, по ее словам, всю ночь спала вместе с ней в одной комнате.

Полиция терялась в догадках, откуда же и каким путем проникли грабители в дом купца Казанцева.

Если бы за расследование этого дела взялся опытный и умный следователь, то он бы сразу понял, что кто-то

пропустил в дом грабителей еще с вечера. И возможно, что старики Казанцевы были усыплены и ограблены задолго до приезда с маскарада Ивана Осиповича с супругой. Неожиданное появление подвыпивших супругов не спутало планы грабителям — Казанцевы-младшие были в таком состоянии, что обчистить их до нитки не составило большого труда.

Самым сложным для грабителей было уйти из дома с награбленным.

Паша слевой, притаившись в засаде, долго ждали, когда кучер пойдет спать и дворник останется один.

— Полдела уже сделали, — тихо прошептал Паша брату, — нам бы теперь до Свешникова добраться... А там уж никакая погоня не страшна!

— Хорош улов-то! Вот у меня какая женушка-то помощница, — не упустил случая похвастаться Соломией Лева.

— Тихо, — махнул рукой Паша, — смотри, вроде дворник один остался...

После того как они усыпили и связали дворника, смогли спокойно выйти с награбленным со двора. А Соломия неслышно, как тень, закрыла за грабителями ворота...

Ох, и разговоров было наутро в Ирбитской слободе... Одни говорили, что хозяева и вся прислуга были омрачены какими-то колдунами, которые ограбили их. Другие уверяли, что у грабителей была свеча из человеческого сала и пока эта свеча горит, все в доме будут спать мертвецким сном. Слухи, один невероятнее другого, передавались из уст в уста, причем каждый говоривший уверял, что все сказанное им произошло на самом деле.

Соломию тоже допрашивали, но она говорила уряднику одно и то же: «Я бедная сирота, нету у меня ни отца, ни матери. За все время, что я служу в этом доме, ко мне никто не заходил и не заезжал. У меня еще с вечера

заболела голова, и я легла спать, это может подтвердить хозяйка и кухарка Власьевна».

Полупьяные урядник и пристав так и не нашли виновных. Им и в голову не приходило, как дальше вести следствие и кого подозревать. Для порядка перетрясли все пожитки Соломии и старухи Власьевны, но абсолютно ничего подозрительного не нашли.

Соломия, сделав испуганный вид, мол, чуть не лишилась жизни из-за хозяйского добра, стала просить расчет. Младший Казанцев долго уговаривал Соломию остаться, но она была непреклонна, и Ивану Осиповичу пришлось ее рассчитать.

Боясь быть разоблаченной, Соломия мигом исчезла из слободы, уехала к себе домой на хутор и некоторое время в слободе не показывалась...

## НЕЧИСТАЯ СИЛА

Постепенно хутор разросся. У Куликовых появились новые соседи. Народ присматривался к ним, и за глаза говорили всякое. Пришлось Куликовым приспособливаться к нежеланному соседству, и они вынуждены были трудиться, как и все, чтобы не навлечь подозрений.

Куликовы часто бывали в разъездах по воровским и торговым делам. В ярмарку приводили для продажи породистых киргизских иноходцев, которых богатое купечество разбирало нарасхват для конных состязаний и для купеческих выездных троек.

В слободе устраивали, признанные лучшими во всей губернии, бега и скачки. Татары-лошадники, цыгане, богатые слобожане любили поучаствовать в состязаниях племенных лошадей, а уж от зевак, любителей посмотреть на это увлекательнейшее зрелище не было никакого отбоя. Работал тотализатор: на понравившихся лошадям делали ставки, и в случае крупного выигрыша о счастливице разносилась молва по всей слободе.

Недалеко от ипподрома на обширном «веселом» лугу проходили состязания по борьбе, как русской, так и татарской, устраивались всевозможные игрища, турниры и татарские сабантуи, где русское и татарское население слободы принимало активное участие.

В самом начале, когда слобода только начинала строиться, татары старались жить отдельно, как бы своей слободкой. Но с годами стали строиться где кому любо. Хотя и молились разному богу, но жили рядом с русскими в добром соседстве и согласии, соблюдая при этом свои обычаи и нравы. За годы совместной жизни в слободе русского и татарского населения случалось всякое. Иногда любительские кулачные бои, когда шли стенка на стенку русские с татарами, заканчивались жестокими

драками, мордобоем, увечьями и даже убийством. Но потом все опять налаживалось на мирный лад.

Посаженный, по приказу богатого купечества, работными людьми сад на берегу речонки Ирбитки теперь разросся, в нем поднялись стройные сосенки, а над самой рекой наклонились ивы. Слободской сад стал излюбленным местом отдыха и увеселительных забав богатых слобожан и купечества. На деревянном настиле помещалась будочка для музыкантов, из которой раздавалась веселая музыка, а молодежь — потная, с покрасневшими лицами — дробно выкаблучивала барыню, сербиянку или трепака. Уставшие до изнеможения танцоры обмахивались платочками и один за другим сходили с круга. Музыка на время смолкала — гармонист просил отдыха, но не дав отдохнуть музыканту и пару минут, опьяненная пляской молодежь орала, стараясь перекричать друг друга: «Митька! Хлещи восьмеру! Эй! Оглох ты, что ли? Нанялся на весь вечер, дак играй, а то скоро зазвонят к всенощной». В темных углах парни тискали своих партнерш, а те взвизгивали, хохотали и отвечивали им звонкие пощечины.

В глубине сада стоял павильончик с горячительными напитками, там продавалась водка, вино, пиво, горячие рыбные пироги и всевозможная закуска, за столиками всегда толпился народ. У входа стоял мордастый детина, и если в павильончик заходил человек простого звания, то «швейцар» вскоре его выпроваживал: «Иди! Иди! Друг любезный, выпил — и иди себе своей дорогой, не видишь, что ли, сегодня тут купечество гуляет». В павильоне бойко шла торговля, вспотевшая прислуга бегала бегом, подавая на столики закуски и вина...

Но вот, слава богу, заблаговестили к всенощной на церкви Святого Спаса, потом на церкви Святого Пантелеймона, и пошел в вечернем небе малиновый перезвон колоколов. Солнце уж давно опустилось за дальним

Мельниковским курганом. Стали зажигаться первые звезды.

Подвыпивший мужик, прислушиваясь к колокольному звону, осенил себя крестом и со слезой в голосе сказал:

— Ох и чудно же звонит на церкви Спаса дед Игнатий, век бы слушал его звон. А ведь из каторжан!

— Ну и что? — возразил кто-то ему из толпы. — Каторжане тоже люди, да еще получше господ-то. Другой раз вовсе ни за что идут на каторгу-то.

— Смелый он дюже! Да и чудной какой-то! Сказывают, архиерея встречал, дак на колоколах «Камаринскую» стал наигрывать!

— Да ну, неужто?

— Правду говорят!

— Ну и что ему было?

— Епитимью на его архиерей наложил — сорок поклонов.

— Ну это еще ладно! Видно, архиерей-то добрый попался.

Дед Панкрат, сторож слободского сада, стал разгонять молодежь:

— Эй! Вы! Хватит околачиваться здесь! Отблаговестили уж к вечерне! Идите теперь в церковь.

— Успеем, дедко, в церковь-то! Мы еще не много нагрели! — выкрикнул из толпы чубастый парень в белой вышитой рубахе.

— Поватлай<sup>87</sup> мне тут еще, охальник! Вдругорядь совсем вас пускать не буду, поганцы, — грозя пальцем, ворчал Панкрат.

— Ладно, дедо, не ругайся, мы сейчас прямо в церкву бегом! Успеем еще, вечерня долго не начнется.

— Да видно по твоей роже, как ты туда торопишься!

— Всё! Дедко, не ругайся! Уходим...

---

<sup>87</sup> Ватлатъ — говорить пустяки, вздор.



Над слободой опустилась ночь, по-летнему душная, где-то далеко из-за горизонта ползет лохматая туча, погремливает гром. Сторож Панкрат, кряхтя, затворяет ворота, тихо приговаривая: «Слава те господи, прошел праздник Петров день. Сейчас Ильина ждать надо. Ох, и надоедают же мне эти пьяные купчишки, паскудят, поганцы, много, ломают, цветы рвут, а чё им скажешь? Простому бы человеку сказал, а им что, они богатые»...

...Соломии пошел сорок шестой год. Давно вышла замуж и родила двоих детей дочь Дарья, а Соломия все еще была красива, хотя красота заметно стала увядать, около глаз появились мелкие морщинки, прекрасные черные волосы — с сильной проседью и поредели. Она уже больше не выставляла их напоказ, как прежде, а затягивала в тугой узел на затылке и покрывала цветным или белым платочком.

Приветливую и разговорчивую красавицу Соломию хуторяне не любили и называли колдуньей. Одна соседка даже божилась, что как-то зашла к Соломии попросить накваски для ржаной квашни и увидела, что Соломия со свечой сидит в голбце. Когда соседка окликнула ее, Соломия, бледная как смерть, выскочила из голбца, наскоро захлопнув западню.

Словоохотливая соседка в тот же день побежала к своей куме поделиться новостями и еще с порога начала тараторить:

— Кума Степанида! Чё я видела! По всему видать, Соломия с нечистой силой связана! Я зашла к ним в дом-то, а Соломия со свечкой в голбце сидит! Как меня увидела, так вся от страха затряслась! В лице-то ни кровинки. Только шары коровьи на меня уставила и глядит. Не иначе змия огненного она в голбце-то кормила али с нечистой силой совет имела. Вон бабка Тимиха говорила намедни, я слышала. Вышла я, говорит, ночью на улицу до ветру,

и летит по небу-то прематерый огненной змий, дак я так напугалась — и скорее в избу. И летел он в их сторону, как есть к Куликам. Да и куда же ему лететь дальше-то, в поле, что ли, али в лес? Вестимо, к Куликам.

— Ну, змий-от широко летает. По всем деревням, хуторам, да и в слободу, пожалуй, слетает, чё ему двадцать-то верст, такой погани, — в подтверждение своих слов Степанида уверенным жестом показала на небо, — все это от нас самих зависит, от хозяек, на ночь двери не благословясь<sup>88</sup> закрываем. Всё торопимся... Все горшки, кринки со сметаной, маслом и молоком надо закрывать с молитвой. А деньги али одежду тем более. Где все добром да благословясь закрыто, огненному змию и делать нечего, он тот дом далеко стороной облетит.

До поздней ночи сидели две кумушки и толковали, что к Куликовым непременно таскает богатство огненный змий. До хрипоты спорили, кто же его выпарил? Одна кума настойчиво уверяла, что, кто выпарит огненного змия из петушьего яйца, того скособочит на всю жизнь, так до смерти он и будет ходить кособоким.

— А у них вить кособоких-то никого нету, — хлопая руками по коленям, приговаривала Степанида.

— А бабка-то, мать их, самая что ни на есть колдунья была, говорят, целую неделю умирала и все не могла умереть, пока над ней потолочину не вынули. Ох, говорят, умирала страшно! Не приведи бог никому видеть! Долго лежала недвижима, а как умирать стала, так забегала по избе. Всю Пашину-то семью перепугала. Вон, Ефросинья-то у их, говорят, колдовством была взята за Пашу и всю жизнь живет мучится. Бьет он ее пьяный-то, нарожала вон сколь, мученица, одним словом; теперь и сынки такие же, как отец. Известное дело, сын в отца, отец во пса...

---

<sup>88</sup> Благословять — благословлять.

## ПОСЛЕ ЦАРЕВОЙ СЛУЖБЫ

Весенним погожим днем 1758 года, перед самой Троицей, возвращался с царевой службы старый солдат Антип Шихов.

Из родной деревни Прядеиной он уходил безусым рекрутом и пятнадцать лет не имел ни весточки с родины — Антип и сам был неграмотный, да и все родные тоже.

Долго пробирался он из далекой чужой земли на родину: и за казенный счет, и на попутных подводах, а больше всего — пешком, рядом с тележной оглоблей, даром что одна нога деревянная, по колено неприятельским ядром оторвало.

Списанный вчистую с военной службы, Антип хлебнул лиха, пока добрался до Екатеринбурга. С этого города на реке Исети он понемногу начал узнавать знакомые места: еще до солдатчины, молодым парнем, бывал здесь, нанимаясь в обозы, шедшие в Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской и Алапаиху — уже тогда богатеи Елпановы, и Прядеины, и зажиточные прядеинские мужики приторговывали на заводах хлебом, мясом, льном и пенькой.

За долгую дорогу домой отставной солдат не раз перебрал в памяти всю свою жизнь. Особенно отчетливо ему почему-то вспоминалось его безрадостное детство. Отец, простудившись в дальней поездке, слег. Больного то и дело одолевал какой-то сухой, надсадный кашель; по утрам он с трудом подымался на ноги. Домашние с нетерпением ждали весны — авось полегчает, но тот день ото дня таял. К Троице, когда поспели первые ягоды, Антип с братом Евдолькой бегали в лес и приносили полные туески.

Совали ягоды горстями в холодные руки отца:

— На, тятя! Хоть землянки<sup>89</sup> вволю поешь...

---

<sup>89</sup> Землянка — здесь собирательное название лесных ягод (черника, брусника, земляника и пр.).

Отец долго глядел на сыновей провалившимися глазами и улыбался слабой, вымученной улыбкой:

— Вы сами лучше ешьте, ребята... Вы растете, вам ягода-то нужнее...

Потом перед мысленным взором Антипа появился отец — уже на лавке под образами, накрытый белой холстиной; затянувшееся не ко времени летнее ненастье: дождь косыми струями бьет в маленькие оконца их ветхой покосившейся избушки. Назавтра отца хоронили. Дождь так и не прекратился, и они, промокшие насквозь, грязные и босоногие, стояли у края могилы, куда потоками устремлялась дождевая вода, земля уже полностью насытилась ею и больше не могла впитать в себя. Народу на кладбище было мало. Понурая клячонка с телегой, на которой привезли гроб, стояла в стороне, привязанная к чьей-то оградке, и пыталась ухватить губами посаженную чьей-то заботливой рукой сирень. С той поры и началось у Антипа тяжелое, безрадостное сиротское детство.

Брату Евдольке в детстве пришлось тяжелее: он был на два года старше Антипа, так что мать первым отдавала его в подпаски и в борноволоки, а потом — и в строк на всю страду. Следом Антип шел, робыл в строках сызмальства до самой солдатчины.

Вспомнил служивый и свою первую любовь, Лизу Кряжеву. Не хотел Антип понапрасну морочить девушке голову: знал, что через год-полтора придется ему идти в солдаты. Кому еще на цареву-то службу идти — не Петьке же Елпанову! А Елпанов-отец сильно богат был; он бы запросто нашел для сына наемщика, чтоб того в солдаты забрили, да того и так не взяли бы, поскольку один сын — Петька-то.

Помнил, как в день отъезда на службу причитала мать, теребя изробленными, худыми руками заплатанную рубашку. Полный грусти взгляд любимой девушки. Печальные провожальные песни. Вся деревня пришла на

проводы, рекрутов провожали много, с одной Прядеиной уходило в солдаты около двадцати человек, но вместе служить не довелось ни с кем. Нелегкая солдатская судьба разбросала всех односельчан в разные полки, роты и города.

Но как бы ни был долог и труден путь до дому, вот уже старый солдат Антип Шихов на одной деревянной ноге ходит по базару в Ирбитской слободе. По случаю воскресенья народишко на базаре есть: пары пахать по деревням уже закончили, а сенокос еще не начался.

Ирбитскую слободу Антип поначалу и не признал: за пятнадцать лет она сильно изменилась — появилось много двух- и трехэтажных каменных домов с торговыми лавками и магазинами, видать, богатело ирбитское купечество. Вниз и вверх по Нице сновали баржи и пароходы; люди на пристанях грузили и разгружали товары, копошась как муравьи.

Базар тоже заметно вырос, и даже в будний день народу было много. Антип вдруг услышал: «Налетай, подешевело! Подходи, покупай, мясо — первый сорт!»

Мужичишко со свалявшейся козлиной бородачкой, в замызганном порыжелом картузе с переломленным козырьком продавал тощую баранину и двух потрошенных куриц. Антип остановился, припоминая, где и когда он мог видеть это курносое лицо и белесые глаза. Да и голос вроде знакомый...

Мужик заметил его:

— Чё смотришь, служивый? Подходи, покупай — не мясо, а объедение, сам бы ел, да денег надо!

Антип подошел поближе:

— Хозяин, скажись, из какой ты деревни? Вроде где-то я тебя раньше видел...

— Дальний я, слышь, отседова не видать! Ты лучше мяса купи у меня!



Мужичишко был самый неказистый, но, как видно, за словом в карман не лез.

— Нет, ты не шути, хозяин, где-то я тебя видел, только вроде давно!

— А может, и видел, гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда может! Мир, он хоть и велик,

а тесен! Посто́й, уж не прядеинский ли ты Шихов... забыл, как звать-то... А я — из Харловой! Может, припоминаешь Степку Кочурина, дак вот он я! А ты здорово изменился, служивый!

— Как не измениться? Пятнадцать лет отдубасил, теперь вот домой иду, вчистую списали, видишь — нога-то деревянная... Не годен стал к военной службе. Да ведь и работник-то я теперь никуда не гожий...

— Не кручинься, служивый, в деревне всякому дело найдется! До дому, значит, добираешься? Не был еще в своей деревне?

— Нет, не был! Только вчера вечером в слободу прибыл, сейчас подводу ищу — ехать в Прядеину. Кабы обе свои ноги были, я уж подбегал бы к родной-то деревне, а на казенной-то ноге далеко не ускачешь...

— Это уж так... Ну иди, служивый, отдохай где-нито в холодке, пока я мясо не продам: не везти же мне его обратно, и так уже третьи сутки пошли — еще в дороге протухнет! А деньги нужны во как! — мужик чиркнул ребром ладони по тощей жилистой шее. — В волости подать требуют, вынь да положи! А где денег возьмешь, ежели о прошлом годе недород случился, неужто я бы последнюю овечку да курицешек резал?!

Антипу не терпелось расспросить говорливого мужика о своей деревне, о родных и знакомых: раз харловский мужик его, Антипа, признал, значит, и брата Евдолая, поди, знает. А может, и мать еще жива?

Тут к мужику подошли покупатели, и Антип отошел в сторону. Усевшись в тени за стеной какой-то мелочной лавчонки, достал глиняную трубочку, набил табаком, добыл кресалом<sup>90</sup> огня и закурил.

Курить табак зауралец Антип научился на военной службе, еще в турецкую кампанию. Теперь, глядя на

---

<sup>90</sup> Кресало — приспособление для получения открытого огня.

дымок из трубки, он горестно размышлял: «Не красно, видать, житье в деревне, коли до такой бедности народ дошел... Где это видано, чтобы человек под Троицу овцу стал колоть?! Держал бы ее на подножном корме, так по осени и мясо, и приплод был бы. Видно, дошел мужик до крайности — и подать заплатить нечем. А одет-то в какую рвань! Господи, когда же в Расее народ жить по-человечьи будет...»

Опираясь о стенку лавчонки, он встал, выколол пепел из трубки, сунул ее в карман и пошел глядеть, как идет торговля у его нового знакомого.

Тот препирался с покупателем:

— Ты православный али басурманин какой?! Креста на тебе нету... Да это же грабеж средь бела дня — такую цену давать, такой цены я и не слыхивал!

— Не слыхивал, дак слушай, какую я тебе сказал, и ни полушкой больше! — детина с подстриженной бородкой, в кумачовой рубахе и в жилете, видать, приказчик, плутовским взглядом окинул продавца. — Ну-с, дело хозяйское! Только завтра товаришко твой и собаки жрать не станут. Мяса-то вон везут — пруд пруди, ледники все свежатиной забиты. А я бы сегодня у тебя все оптом купил!

— Ну дак прибавь хоть на бедность-то мою сколь-нибудь!

— Сказано — нет! Смотри, проквасишь мясо-то, да сам и выбросишь!

— Ну, будь по-твоему! Бери уж... Задарма, считай...

Приказчик, отдав деньги, насмешливо-издевательски поклонился:

— До свиданьца! Деньги будут — милости прошу заходить в наше заведение! Трактир «Магнит» — он всех манит!

Мужик смачно плюнул, сунул под картуз деньги и зло поглядел вслед приказчику белесыми глазами:



— Да как вот ты для кого старался, собачий сын! Ну черт с тобой, подавись! Хотел косушку опрокинуть, да денег-то уж шибко мало... А, была не была! Все равно Наталья ругаться зачнет, что на подать не наторговал... Пойти с горя шкалик взять?! Эй, служивый, пойдём в трахтир, посидим маленько, а вечером по холодку домой покатым!

— Постой, — удивился Антип, — а лошадь твоя где?

— Лошадь-то? А чё ей тут на такой жарнице стоять — на фатере она, под крышей, и корм у её есть. У меня тут в слободе хозяин знакомый живёт...

— А мясо-то продажное ты на себе, что ли, принес?

— На лошади привез, а потом хозяйский сынишка лошадь-то домой отвел. Я, брат, её берегу, жалею, одна она у меня в житье, и в годах уж, так что я езжу шагом да потихоньку — хоть тверезый, хоть под мухой, ты уж, служивый, не обессудь! Пошли, может, в трахтире и ещё кого-нибудь из ваших прядеинцев найдем...

Забегаловка, в которую зашли Антип со Степаном, была до того убогой и грязной, что через закопченные окна с решетками едва проникал солнечный свет. В полумраке с трудом можно было различить грязные некрашенные столики и стойку, где за буфетом стояла толстая, в грязном засаленном переднике, усатая баба, похожая на мужика. Увидев новых посетителей, она встрепенулась и хриплым пропитым голосом проорала на кухню: «Эй вы, лентюхи, Дунька, Апроська! Где вы запропалились? Посетители пришли, обедать желают!»

Степан заказал щей и каши себе и Антипу, выпили по стакашку вина за прибытие солдата в родные места.

— Ну, уж раз ты признал меня, Степан, своим земляком, — сказал Антип, когда они покончили со щами из квашеной капусты и кашей, — давай рассказывай все по порядку, что в Прядеиной было за пятнадцать-то лет, кто умер, кто когда женился-крестился...

— Пятнадцать лет, говоришь, дома не был? Да... немало, значит, воды в нашей Кирге утекло...

— Вот ты, Степа, мне и расскажи про наших-то, как они? Живы-здоровы?

— Вот доберешься до Прядеиной — тебе как есть все обскажут... А я ничё не знаю, я ведь харловский, за семь верст живу от вашей деревни, где мне про всех-то знать?

«Что-то он недоговаривает, землячок-то мой», — мелькнула у Антипа тревожная мысль. Но вслух он сказал:

— Ну далеко ли, Степушка, семь-то верст? Помню, раньше вы, харловские, все время ездили к нам в Прядеину — на мельницу к Обухову Северьяну...

— Давно сгорела обуховская-то мельница...

— Как же теперь в деревне — мельницы нет, что ли?

— Как нет — есть! Да не одна, а две — и ветряк, и водянка!

— Вот как, а хозяева-то кто?

— Мельницы две, а хозяин один — Петруха Елпанов...

— Ты гляди, чё деется: всю развернулись Елпановы! А отец-то Петрухи, Василий Иванович, живой ли?

— Живой! Только полный хозяин всему — давно уж Петро. Он не только мельницами владеет — торговлю поставил на широкую ногу, с заводами торгует хлебом, мясом, льном, коноплей. С заводов домой пилы, топоры, гвозди, подковы везет... Да, котелок у него варит не хуже губернаторского. Лет через десяток, гляди, и в купечество вылезет! Одна заимка сколь ему доходу приносит. Целый хутор у него там настроен, работников уйма живет. В неурожайные годы нам всем — беда, а ему хоть бы что, у него завсегда хлеб есть старый, а значит, и работники завсегда найдутся. Сколь из одного хлеба на него работает в голодные-то годы... Он хитрован мужик-то — Петруха Елпанов!

— Ладно, Степа, про Елпановых — потом. Расскажи лучше про мою родню прядеинскую!

И Антип заказал еще по стакану сивухи. Расторопная молодайка мигом принесла два стакана и миску соленых огурцов.

— Давай, Степушка, выпьем за встречу — ведь я тебя первого своего земляка встретил!

Степан выпил, закусил дрянным прошлогодним огурцом, и на его белесые, с красными веками глаза навернулись слезы. Он заметно пьянел, Антип — тоже.

— Ну, землячок, говори все как есть. Неужто ты мово брата Евдолая не видал все пятнадцать лет? Говори начистоту, не томи душу! Опять он, наверно, в строке?

— Нет, Антипушка, не в строке Евдолай! Уж теперь-то он из вольных вольный...

— Да договаривай, черт тебя дерит!

— Крепись, служивый... Все скажу-расскажу как на духу, ничё не потаю... Нет уж в живых Евдолая...

— Как — нет в живых?! — старый солдат, от неожиданности опрокинув пустые стаканы, закрыл лицо руками, и меж пальцами покатились слезы.

— Ты уж прости меня, Антип... Не хотел я тебе говорить про это, язык на худую весть не поворачивался... да видно, ничё не поделаешь — придется... Случился в нашей округе уж шибко тяжелый год, тут тебе и голод, и поветря ходила заразы страшной — тифом прозывается. Люди мерли как мухи — что ни день, то покойник! Перво-наперво в вашей Прядеиной зачалось, потом в Галишеву перекинулось, да и нас поветря не миновала. В тот тифозный год и помер Евдолай...

— А жена его, сын — они-то где?

— Жена померла тогда же, чуть ли не на одном месяце с ним. А дитё у их, видно, еще раньше умерло. Изба-то стоит теперь заколоченная — тебя вот, значит, дождалась...

— А мать-то моя жива ли?

— Да бабка Матрена долго еще жила... Лет пять как умерла.

— Это... как же она жила, одна-то?

— А как другие крещеные живут, так и она жила. Пока силы оставались, робила кое-как, последние годы по миру по деревням ходила и в нашу деревню забредала. Ее все у нас знали, все говорили: вон бабка Матрена с клюкой идет — у ее сын Антип в солдатах. Все тебя ждала, да не дождалась вот... А избушка-то стоит, соседи за ей присматривают. Намеднись ехал, видел — вроде все в порядке. Я часто в Прядеину-то езжу к свату, о прошлом годе дочь в вашу деревню взамуж отдал, за сына Спицина Варсонофия.

— Погоди, Степан, ты, никак, что-то путаешь! Перед тем как в солдаты меня забрили, у нас дом был пятистенный, прируб прирубили, избу с горницей сделали мы с братом, а ты говоришь — избушка...

— Ох, да тут, как ты ушел на службу, беда за бедой, как горох из худого мешка, посыпалась! И пожар был: вчистую полдеревни выгорело, а народ-то весь в поле был... Евдолай-то ведь сызнова строился. Избу эту поставил, значит, а жить-то ему в ней не довелось уж...

Антип заказал еще два стакана сивухи.

— Давай, Степа, помянем моих покойных родных да пойдем отседа... Не могу я... на душе больно муторно. Знать-то, не поеду я теперь в Прядеину — ни к чему былое ворошить, останусь-ка я тут, в слободе!

— Ты никак сдурел, Антип? Как это ты в родну деревню не поедешь?! Хотя на кладбище сходишь, на могилки родичей своих... Да и насчет избы распорядиться надобно — продавать станешь кому али как?

Долго сидел молча старый солдат, подперев обеими руками седеющую голову, вперив уже сухие, немигающие глаза в замызганную столешницу.

«Лучше бы до смерти меня убило то неприятельское ядро... Чего ради стоило столько добираться до дому? Как теперь жить, что делать? Голову приклонить и то толком еще не знаешь где...»

Степан сидел напротив, часто шмыгая красным курносим носом, пьяненьким говорком успокаивал:

— Да ты, Антипушка, не горюй шибко-то! Знаешь ведь: судьбу не обойдешь, не объедешь... Видит бог, не хотел я говорить тебе все это, огорчать тебя...

Антип смахнул наворачнувшуюся слезу и твердым голосом сказал:

— Спасибо и за такую весть, Степа... Пусть уж будет горькая, но правда! Пойдем, на воздухе посидим...

Земляки вышли, сели в холодке на березовые чурбаки. Антип достал глиняную трубочку и стал набивать ее табаком.

— Смотри-кось — эка диво! — по-бабьи хлопнул себя по бедрам Степан. — Так ты, брат, и табак курить на службе выучился!

— Уж успел привыкнуть я к табаку, Степа... Думал, вот когда возвернусь домой — брошу это зелье. Ан нет, теперь, пожалуй, оно одно и будет утешением...

— Да ты, Антип, не старый пока... приедешь домой — глядишь, и женишься еще, семью заведешь!

— Ну, это ты брось, я же старый солдат-калека на деревяшке, да притом еще и табашник, — кто за меня пойдет, нищая старуха разве что!

— Еще как пойдет, Антипушка! Любая баба-вдова, а то и девка — оне служивых-то очень даже уважают!

— Ну-ну, хватит тебе соловья баснями кормить! Лучше пошли, нето, на твою фатеру — запрягать, да поедем скорее: с твоей легкой руки-то мне уж и не терпится ехать, глянуть на родное пепелище. Хоть к пустой избушке, да надо ехать! Были у меня, правда, такие мыслишки — тут, в слободе, остаться. Да ведь я здесь, без ноги-то, тоже не больно кому и нужен буду, а в деревне, может, для меня какое ни на есть дело найдется... А не найдется, дак недолго и уехать: ведь голому собраться — только подпоясаться!

Так, за разговором, они пришли на подворье слободского знакомого Степана. Степанова кобыленка стояла под навесом, понунив голову; она была настолько худа и стара, что ребра и хребет у нее так и выпирали наружу.

Антип посмотрел на нее и присвистнул. Потом, не желая ненароком обидеть земляка, осторожно проговорил:

— Да, Степа, старовата твоя кобылка... У ее, поди, уж ни одного зуба нету?

— Да на ее век хватит еще!

— А сколь ей годков-то, не знаешь?

— Да двадцать-то уж с гаком прожила...

— Пора, Степушка, тебе коня помоложе заводить...

— Да знаю, брат, знаю! А невезучий я на лошадей-то...

В позапрошлом годе меринок-трехлеток изгинул от сибирки — такая поветря у нас была, не приведи господь, лошадей и скота пало бесчечно! А в прошлом годе тесть мой, жалеючи, отдал нам с женой в долг жеребенка-сеголетка; к осени справный конишка выходился, дак в Кривели волки сожрали... Шибко тяжелая жизнь в деревне пошла — что ни год, дак опять недород. Свово хлебу-то до нови все не хватает. Два сына, три дочери у меня, и все таперича в строках живут; последнюю, Глашку, по седьмому годе в няньки пришлось отдать. До первого снопа ржи еще ждать да ждать, а хлеба-то и сейчас уж нету...

Они ехали шагом; дрянная Степанова тележонка убаюкивающее поскрипывала. Выехали на тракт, вот уже скрылись из виду последние слободские домишки, впереди распростерлись бесконечные поля, перелески и колки. По правую сторону большака — поля далеко к окоёму, до самой Пушкаревой горы. По левую, за мелководной речушкой Арай, насколько хватал глаз шли заливные луга, покосы и пастбища Ирбитской слободы.

Миновали маленькую, десятка в полтора домишек, деревеньку Ерзовку; чуть поодаль возвышалась белая глиняная гора Ерзовская. Отсюда начинался дремучий лес.

Дорога полого пошла в гору, и Степан слез с телеги. Антип тоже хотел было слезть и пойти пешком.

— А ты сиди, сиди, служивый! — обернулся к нему Степан. — Я ведь ноги только поразмять слез. Кобыла у меня, хоть ни видом, ни годом не вышла, а приемистая! Тыщи верст уж исходила, раньше-то на ей и в дальнюю дорогу, на заводы езживали.

Поднялись в гору, пахнуло лесом, ароматом трав, поспевающей земляники и придорожной полыньки. Антип с упоением вдыхал знакомые с детства запахи родной земли, и взору открывались картины одна прекраснее другой. В вышине чистого весеннего неба пел жаворонок, разноголосый птичий хор возобновил свои песни после дневной жары, в перелесках гудели мохнатые шмели, перелетая с цветка на цветок. Позванивали комары, лошаденка отфыркивалась, мотала головой и махала хвостом. Антип достал кресало, трубку набил табаком и стал высекать огонь: «Вот уж я вас дымом, сразу улетите, не поглянется».

— У вас, Степа, в деревне-то, поди, не курят табак-то? — затягиваясь, спросил Антип.

— Да как не курят, есть и у нас табашники-то. Повсеместно стали появляться. Солдаты со службы принесли, а тут и свои стали, покуривают, а дома ни-ни, бабы шибко ругаются. Вот, к примеру, моя Наталья: хоть полштофа выпей — так не ругается, как за табак, не смей, говорит, дьявольское зелье сопать. А я раз попробовал, затянулся, фу-ты, ну-ты, лапти гнуты! Чуть не умер, не идет он мне, чуть не задох. Едва прокашлялся, больше в рот не беру с тех пор. Видно, кому как.

Местность пошла ровной, и Степан больше не слезал с телеги. Уже вечерело. Когда проезжали Знаменское, у колодца напоили лошадь и напились сами.

— Ночевать нам, что ли, здесь? Двадцать верст проехали, кобыла притомилась... — раздумчиво сказал Степан.

— Мне все равно — что здесь, что в поле ночевать, — ответил Антип, — время летнее, дождя нет... В поле даже лучше: лошадь наестся, мы костер запалим, комарье отгонять начнем!

— А огня-то для кострища где возьмем?

— Забыл ты, что ли, как я трубку закуривал? — усмехнулся Антип. — У старого солдата завсегда огонь в кармане! — похлопал он себя по штанам. — Тут тебе кресало, кремень да трут сухой — и пали себе костер, какой любо...

На ночлег остановились у безымянной речушки, наломали сушняку, и Антип разложил костер. Пока огонь разгорался, он с берега притащил к костру большую охапку ивовых прутьев; взял пучок и начал свивать гибкие ивовые ветки.

— Глянь-кось, а ловок ты морду<sup>91</sup> плести! Да где ее поставишь-то, воды здесь — воробью по колено!

— А поставим, и к утру рыба зайдет, дак еще ушицы похлебаем с тобой!

— Ха, да уж кака тут рыба? Рази пескари одне, дак они и в морде не задержатся, их на удочку надо ловить!

— А у меня рыболовный припас в мешке, а удилице я уж вырезал. Когда удилице вырезать ходил, дак омуток приметил — в самый раз морду ставить. Вот и поставим, а на зорьке проверять пойдем. А заодно и на удочки порыбачим; у меня и крючок, и леска для тебя найдется. На наживку червей накопаем да пикуля<sup>92</sup> наловим, вот тебе и уха!

— Значит, за одним делом пошел, а сразу десять за-приметил? Ну ты, Антип, и хват!

---

<sup>91</sup> Морда — рыболовная снасть.

<sup>92</sup> Пиккуль — личинка стрекозы.



— Да не хват, а старый солдат, — складно ответил тот, — а жизнь солдатская, Степушка, многому таки научила!

Антип усмехнулся и принялся набивать табаком глиняную трубку. В кострище натаскали побольше сушняку, соорудили таган<sup>93</sup>, поставили на огонь ведро с водой и улеглись спать. Позванивая уздечкой, ходила на свежей молодой травке Степанова кобыла. Оглобли были связаны и подняты вверх. Под утро, когда повеяло сыростью и в пойме речушки молоком разлился туман, Антип разбудил дремавшего Степана.

— Вставай, паря, самый клев сейчас. Пошли, да тихой ногой иди: она, рыба-то, брат, почуткая, да чтобы, как солнце всходить будет, на воде твоей тени не было видно...

Земляки забросили удочки, но клевала все мелочь — небольшие окуньки, сорожки и сопливые ерши.

Вошло солнце, стало пригревать, и рыболовов потянуло на сон. Но когда проверили морду, со Степана мигом и сон слетел — такая там была крупная рыба! Мигом почистили и выпотрошили ее; у Антипа в мешке нашлась соль, и он принялся варить уху.

Время от времени солдат подкладывал в уху то полевой лук, то какие-то коренья, которые бог знает когда он успел найти тут же, на луговине или в лесу, и наконец объявил Степану, что уха готова. Ничего вкуснее этой ухи Степан не едал в жизни. Когда выхлебали до дна, Антип вымыл котелок, зачерпнул воды и снова поставил на таган.

— Скоро чай пить станем, да такой, что весь день жажды не почувешь и потеть на жаре не будешь!

Он бросил в котелок стебельки каких-то трав. По очереди напились чаю из антиповой походной жестяной кружки.

---

<sup>93</sup> Таган — подставка для котла или иной посуды, позволяющая готовить пищу на открытом огне.

Антип закурил трубку, прилег у костра на локоть и сказал Степану:

— Вот что, Степа, сгоняй-ка ты в Знаменку с уловом-то, продай рыбу попу али писарю, старосте — они свежей рыбки отведать не дураки! Да смотри не продешевеши, вот тебе на выручку и деньги будут — подать-то заплатить... Что на мясе не выручил, то на рыбе выручишь! Если уж больно дешево давать будут — лучше домой семье увезешь! А я тебя тут подожду, с удочкой вот на берегу посижу...

Степан мигом побежал седлать кобылу. И часу не прошло, как он воротился, донельзя довольный и с выручкой.

— Не знал я, паря, что рыбу дороже баранины продам! А продал-таки писарю! Прав ты был: начальство-то не худо любит свежую-то рыбку! У нас в Кирге ведь тоже, наверно, рыбешка есть, да рыболовством почти никто не занимается, вишь, руки все никак не доходят. Разве что ребятишки вот просто балуются.

Степан предложил Антипу деньги за рыбу, но тот наотрез отказался:

— Нет, ты это брось, Степа! Деньжат мне на первое время хватит, а там, может, как-нибудь пристроюсь. А у тебя-то — семья...

## СНОВА В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

**В** деревне Прядеиной отставного солдата Антипа Шихова встретили радушно, хотя и родственников у того никого в живых уже не было. На ночлег и на первое время увечного солдата приютил деревенский староста Иван Палицын. Повидаться с Антипом пришла вся деревня, стар и млад, так что народу набралась полная ограда.

Ребятишки, словно воробьи, облепили все заплоты и даже взобрались на тесовые ворота — словом, все было, как на хорошей свадьбе. Два больших сдвинутых стола, покрытые узорными льняными скатертями, — благо дожда не было, — по-летнему стояли прямо на вольном воздухе и ломились от всякой снеди и стряпни. Это натащили к Палицыным сердобольные соседки, чтобы встретить солдата, у которого не осталось никого родных. За столами на длинных скамьях сидели и приглашенные, и просто зашедшие с деревенской улицы. Прядеинцы выпивали и закусывали, поздравляя солдата с прибытием на родину. По такому случаю почти у каждого нашелся полуштоф кумышки, и застолье быстро стало шумным. Старики, перекрикивая гомон, старались выпросить у служивого о войне, о других землях, где солдат побывал, но чаще всего он их и не слышал. Очередной спрашивавший, сокрушенно крикнув и махнув рукой, утыкался бородой в миску или тарелку со съестным.

Какой-то вездесущий малец прознал, что «дядька-то Антип теперь табак курит!», а когда тот, улучив момент, устроился на скамье, поставленной поодаль у заплота, и вынул из кармана глиняную трубку, к нему один за другим стали подсаживаться старики и мужики — не курить, в то время в зауральских деревнях курильщики табака почти не было, а поспрашивать

отставного солдата и послушать его рассказы. Даже хозяин подворья, староста Палицын, нет-нет да и подходил к заплоту.

— Вот ты, Антип, в самом Питере служил, не слышать ли там чего-нибудь насчет царского-то наследника Ивана Антоновича? — допытывался один подвыпивший дед. — Куда он подевался, когда на престол-то взойдет?

— Бабским он стал, престол-то царский! — тряс сухим кулаком другой. — С той поры, как умер государь Петр Алексеевич, дай Бог ему царства небесного, так и начался этот страм! А от бабы, известное дело, какой порядок — и в державе, и в семье!

Тут староста строго зыркнул на старика, а сосед толкнул его локтем в бок:

— Ты помолчал бы, дед Анисим... или каторги захотел?

— А кто доносить на меня пойдет — ты, небось?!

Антип раскурил трубку и вздохнул:

— Хоть я и служил в Питере-столице, ничегошеньки про это не могу сказать, православные... Не нашего, знать, ума дело, кто на престоле! И где престолонаследник Иван Антонович — я и слыхом не слыхивал...

Антипу было не до таких разговоров. Он сидел, довольный радушной встречей, красный от выпитого вина, в солдатском мундире с начищенными пуговицами и при всех своих наградах. Он уже в десятый раз рассказал о своей службе и о войне с Пруссией.

Во всей Прядеиной до сих пор было шесть человек бывалых солдат. Самый старый из них, полный георгиевский кавалер Афанасий Прядеин, Великим постом умер. Вернулись за стол, чтобы выпить по чарке и помянуть воина Афанасия. Рядом сидел старый солдат Фома Кряжев, дядя первой любви Антипа — Лизы Кряжевой.

Подвыпивший Фома по-родственному обнимал Антипа и гудел как колокол:

— Глядите, мужики, в нашем полку прибыло! Опять нас, бывалых солдат, шестеро, а можа, еще кто после войны с прусаком придет — много по белу свету наших прядеинцев судьба-то раскидала... Давайте-ка споем какую-нито походную песню! Эй, Никон, где ты есть?

— Дядя Фома, да он уже давно под столом уснул, мужики его в холодок под крышу отнесли!

— Жаль, без Никона петь придется! Шибко старый служака вина зашибать повадился... И то сказать — на службу уходил от родителей, от крепкого дому, а возвернулся к одним головням... Горе!

— А у кого его, горя-то, нет? Ведь силой вина в рот никто не льет, свою голову на плечах иметь надо!

— Да хватит вам уже, лучше плясать давайте! Где гармошка?

— Федоско побежал за ей, сейчас принесет!

Недолги ночи на Троицу, и почти до свету веселился в Прядеиной народ, праздновал встречу со своим земляком, старым солдатом Шиховым.

А назавтра пошел Антип смотреть свою избу. Отколотил доски, раскрыл окна и двери, пахнуло нежилым холодом и сыростью... Соседские девки и бабы вымыли и выскоблили всю избу, и стала она на солнечном взгорке светлой и чистой.

Соседи отдали Антипу всю домашнюю утварь, что осталась после смерти матери, помогли перекрыть крышу на избушке, и он словно вторую жизнь жить начал.

На военной службе он маленько научился чинить конскую сбрую, сапожничать. Вскоре стал известным в Прядеиной сапожником: шил и рабочие бродни, и домашние обутки, и выходную обувь, а когда появились ботинки с высокими шнурованными голенищами, то и такие Антип шить наловчился.

Отставному солдату было уже под сорок, но он женился на бедной вдове-поденщице, у которой было трое

детей: одна дочь уже замужем в Прядеиной, а двое младших — тринадцатилетний сын и десятилетняя дочь — стали приемными детьми Антипа Шихова.

Шел год за годом. В семье Антипа дети росли, становились взрослыми. Тесно стало в избушке. Когда вырос и возмужал неродной Антипов сын Алешка, вместо Евдолаевой избы поставили небольшой пятистенник. Потом женили Алексея, стали понемногу обзаводиться хозяйством.

Антип был на все руки мастер, и хотя и не бросил курить табак, работа в руках у него спорилась.

...За последние годы деревня Прядеина разрослась; в ней уже было больше двухсот домов, и протянулась она от одних полевских ворот до других на добрых пять верст. Извилистая Кирга разделяла деревню на две неравные части.

Заречье, где начинали строиться первые переселенцы с Новгородчины, росло вместе со всей деревней. Но большею частью стали строиться на другом берегу реки, где раньше была Каторжанская слободка.

Давно уже выветрилось из памяти прядеинцев это старое название, появились другие: «У пожарницы», «Горюшки», «За ровом»...

Прядеина стала самой большой деревней во всей округе. На деревенских сходах говорили:

— Скоро наша Прядеина селом станет, будет у нас и своя волость, и церковный приход! А то в церковь надо — в Киргу поезжай, по мирским каким делам — в Белослудское тряпись... А Прядеина аккурат в середине округи, она и все соседние деревни к себе притянет...

— А что — верно кум говорит-то! Во-первых, изо всех деревень Прядеина наша растет быстрее. На моей памяти сколь семей приехало сюда из Вятской да Вологодской губерний! Во-вторых, земли здесь плодородные,

да и местность ровная, не то что вон в Харловой — одне холмы да буераки. Жаль только, красный лес вблизи деревни повырубали, издалека теперь возить надо, чуть ли не с самых Матренских вершин. Но ведь в той же Харловой — чуть ли не за двадцать верст красный-то лес возят, аж из Далматовского бору!

— Ну, на заплоты, на конюшни можно и березу пустить, да и осина, ежели прямая, сойдет!

— Да уж не учи ученого — знаем, чё лучше, а чё хуже!

...Народ в деревне, хотя и собрался в разные годы из разных губерний России — с бору по сосенке, жил дружно. Первые жители — «каторжане», переселенцы-«самоходы» — и их дети давно уж перемешались меж собой, а зачастую и перероднились.

Здесь, в Зауралье, за тысячи верст от Петербурга и Москвы, в отдалении от губернских городов, жизнь текла спокойно, как текут здешние реки. Горе и проклятие всей срединной России — крепостное право — за Уральским хребтом укорениться не смогло. В каждом зауральском селе или деревне был свой староста и полицейский. На эти должности на сельских сходах выбирали людей сроком на один год.

Волостное начальство — становой пристав и урядник — приезжало только тогда, когда случались пожары, поджоги или убийства. В иной глухой деревне урядник не бывал по нескольку лет.

...В январе 1762-го, в морозный метельный день в Прядеину въехала добротная нарядная кошева, запряженная парой взмокших рослых лошадей: из волости приехали становой пристав и урядник. Лошади остановились перед пятистенным домом старосты. Староста отворил ворота и, кланяясь, пригласил начальство в дом. Отряхивая с папахи снег, пристав вошел в горницу:

— Здоровы были, хозяева! Ну и погодка же разыгралась...

— Здравствуйте, гости дорогие! Раздевайтесь, — засуетилась хозяйка. — Грейтесь, да за стол пожалуйте!

— Некогда нам долго-то расслаиваться! Хозяин, оповести-ка народ, да поживее, что скорый сход в деревне будет!

Староста выбежал на мороз, а через час, когда волостное начальство, пообедав и отогревшись, подъехало к площади возле пожарницы, чуть ли не вся деревня толпилась там. Народ уже был в сборе.

Многим не стоялось на месте после долгого ожидания на пронизывающем ветру, и то один, то другой перебегал за стену пожарницы, прячась от его порывов, потом возвращался, бормоча или себе под нос, или своему ближайшему соседу:

— Приспичило в такую непогодь сход устраивать! Не сидится им в волости-то!

Тут к пожарнице подъехала кошева с волостным начальством, и разговоры в толпе стихли. Становой пристав поднялся в кошеве на ноги:

— Православные, шапки долой! Из Санкт-Петербурга в нашу волость пришло печальное известие, что великая императрица Елизавета Петровна Романова почила в бозе! На престол взошел наследник Петр Федорович, внук Петра Великого. О времени коронования государя Петра Федоровича будет оповещено особо!

Сход продолжался недолго — начальство скоро укатило в другую деревню. Зато вечером пожарница была полна народу, и деревенские баскобайники<sup>94</sup> наговорились всласть.

— Слыхал, кум, — говорил один другому, — ампира-тор-то новый на престол взошел! Хуже ли, лучше править будет новый-то царь? Как бы ни было — все же мужик, не баба! Никудышнее дело — баба на престоле. Чё баба

---

<sup>94</sup> Баскобайник — краснобай, говорун.



знат государством управлять, ей только с горшками да с пеленками, а, кум?

Старые солдаты в пожарнице сидели своим кружком, слушали и говорили о своем. Пришедший осенью с царевой службы Дмитрий Черказьянов рассказывал:

— Немало сил положили, много кровушки своей пролили мы в Пруссии за семь-то лет, а прусаков энтих все ж таки одолели и столицу — Берлин прозывается — взяли! Куды было деваться Фридриху-то ихнему? За милую душу ключи от города нашим енералам преподнес и мира запросил!

— А как ты, Митрий, мозгуешь, а можа, слышал на службе, откель он, этот Петр Федорович?

— Не слышно было, откуда он объявился! Да ведь говорил тебе становой на сходе — внук он Петра Первого, значит, и сумлеваться нечего — наследник!

— Само собой, наследник, кто ж еще! Да все оне од-нем миром мазаны...

— Ладно, будет вам царям кости-то перемывать! — вмешался в разговор совсем дряхлый вояка. — Наше дело сейчас — овины вон сушить да молотить начинать! Царь не придет к нам молотить-то — самим надо!

Не прошло и года с тех пор, как на престол вступил император Петр III, — снова был срочный сельский сход в Прядеиной. Опять приезжало волостное начальство и деревенский староста оповещал народ собираться возле пожарницы. Прядеинцы, не забывшие прошлогодний сход, недоумевали: «Господи, уж не война ли с кем началась?!»

С неба шел теплый, надоедливый осенний бусенец уже целую неделю. Дороги разбухли, вода в лужах покрывалась рябью от налетавшего осеннего задиры ветра-листопада. Из палисадников несло целые охапки сорванных желтых листьев. Они, гонимые ветром, оседали в лужах, прикрывая осеннюю дорожную грязь. Осень в

этот год в Зауралье была смошной<sup>95</sup> и теплой, в суслонах хлеб прорастал. Сельские жители еще не все убрали с полей и торопились в поле. Осенний день недолог, а тут еще сход какой-то выдумали.

Становой поднялся на крыльцо пожарницы, вскинул руку, требуя внимания, и толпа смолкла:

— На российский престол взошла государыня Екатерина Алексевна Романова, законная наследница русского престола! Коронавание состоялось в Москве. Всё, православные, расходитесь по домам!

В пожарнице мужики собрались еще с раннего вечера, и «сход» затянулся до глубокой ночи.

— Вот тебе, баушка, и Юрьев день — уж короновали!

— А Петр-то Федорович — он помер, что ли?

— Императрица-то, говорят, чужеземка и веры не православной...

— Пойдите, мужики! Кто сказал, что она не православная? Величается-то по-русски — Катерина Алексевна... У меня у самого бабу Катериной звать, дак чё она — не православная, што ли?!

— И дурак он был, коли на басурманке женился! Своих девок в Расее — хоть пруд пруди! Нет, робята, тут чё-то неясно! Иван-от Антонович скорее бы выросал да скovyрнул ее с престола-то к едрене фене!

— Ой ли, мужики? Говорят, у ей свой сын есь... Знать-то, ему она престол и передаст! А сейчас, раз она единая владычица, как задумает, так и будет. Захочет — всю Расею с потрохами Фридриху отдаст, захочет — за Демидовым Зауралье закрепит...

— Демидову несподручно: главная железна-то руда — как раз под Тагилом...

— Так Демидов тебя и спросил... Опять же, Катерина Алексевна прикажет: переселить деревню Прядеину из

---

<sup>95</sup> Смошный — дождливый.

Белослудской волости в Тагил. Вот приставят нас к домницам да демидовскими работными людьми сделают — то-то ты волком взоешь, да и мы с тобой вместе!

— Я думаю, мужики, — вступил в разговор молчавший до этого Антип, — свергнула Катерина с престола мужа, да и держит его за семью запорами где-нибудь в крепости, — после этих слов в пожарнице наступила гробовая тишина и даже старики затаили дыхание, внимательно слушая бывалого солдата. — Там, братцы мои, такие крепостя есть, похуже всякой тюрьмы... Река там большущая, Нева называется, корабли ходят! И слышь-ко, остров на этой реке, Заячий названье ему, дак на этом острове крепость стоит, высоченными стенами обнесена, в середине собор красивый поставлен. Наш полк в этой крепости располагался. Мы жили в казармах, и слышал я, братцы мои, что под казармами этими какие-то узники томятся, даже, говорят, сановные особы и придворные, которые за что-то в немилость попали. Стража там особая...

— И ты, Антип, стражником, чё ли, был? — недоверчиво спросил кто-то из мужиков.

— Нет, мы день и ночь Питер охраняли, не покажется ли из-за моря неприятель.

— Ну и как, показался неприятель-то?

— Как сказать, Фридрих-то не из-за моря, а сушей пошел. Нас из Питера-то сразу погнали в Малороссию, их гетману помогать от прусаков отбиваться, — Антип на минуту умолк, вспоминая о тяжелой солдатской доле, вздохнул: — Человек на мученье на землю приходит, а остальное время за грехи в огне горит. Вот и царям, видно, тоже несладко. Был царем Петр Федорович, прошло полгода — и не стало Петра Федоровича нигде, как корова языком слизнула. Даже становой с урядником ничё не говорят, видно, тоже не знают, а где уж нам, простым людям, знать. Теперь Катерина присягу приняла, через

полгода, может, и ее кто скovyрнет... Не копей другому яму, сам падешь...

— А ты, дядя Антип, видел императрицу Елизавету Петровну?

— Нет! Не видел. Царский выезд видеть приходилось, когда в Петропавловский собор она приезжала к обедне. Я тогда при пушках находился. На крепостном валу. Там звоны сделаны, запросто пушки на стены выкатываются при надобности. Ну а императрица едет в закрытой карете, возле нее барышни-фрейлины, ну служанки, значит. А к царской карете доступа никакого нет, обережных-то тьма-тьмуца и впереди, и по бокам, и сзади. Где же тут разглядишь!

— А еще что ты видел в Питере, когда служил?

— Ну, что вам рассказать... Город строится, в центре дома каменные огромные, а по окраинам грязь непролазная, потому что весь он на болотах стоит, на реках да на речушках, воды чересчур много. Ветер часто с моря дует — сырость и холод приносит. Комарье, лихорадка, чахотка голимая...

До самой ночи сидели в пожарнице деревенские мужики, слушая выдуманные и невыдуманные истории.

Жены встречали их с руганью:

— И чё тебе далась эта пожарница! Ни один вечер дома не посидит, совсем обленился и одурел, уж с полдня стал туда убегать! Никакого тебе дела нет! Ты погляди, Кичиги-то где, вторая половина ночи пошла, а ты все еще спать не ложился, а утром ведь молотить надо!

Так шел год за годом. В Прядеиной уже насчитывалось более трехсот дворов. Эти годы были более-менее благополучными. Не приключалось голода, больших пожаров и эпидемий. Люди стали жить лучше. Многие строили новые дома, отделяли своих женатых сыновей. Село настолько разрослось, что одному старосте и полицейскому управлять стало трудно.

На сходе 1773 года решили разделить село на сотни, чтобы каждая сотня выбирала своего старосту и полицейского, следила за состоянием мостов, дорог и выгона. Зареченская сотня выбирала свое начальство, а Одинская сотня — свое. Остальная часть села, начиная от пожарницы и до конца, до самих галишевских полевских ворот — Слободская сотня или Центральная.

Около пожарницы оставалась большая площадь, на которой планировали построить церковь и волость.

Мужики иногда озабоченно говорили:

— Неуж, ребята, пожарницу придется перевозить в другое место, если будем волость строить да церкву, места не хватит ведь! А жаль, пожарница-то на высоком и веселом месте стоит. Куда же ее тогда?

— Не заботьтесь, нет еще приказа из губернии волость-то строить.

— Нет, так будет! Прощение из Белослудской давно уже на имя губернатора подано. В том году, говорят, строить начнут.

— Вот ведь, паря, будет житуха! Теперь, чтобы в волость ехать, день терять надо. А потом — вышел из ворот, тут тебе и волость под боком, и церква.

— Так-то оно так! Уж шибко много начальства в нашей деревне будет... Поп да все церковные служки... Дома им помогать строить надо, да лучшие поля им отдать...

— Верно толкуешь, — почесав за ухом, согласился один из мужиков.

— Так что не торопись при начальстве-то жить! Торопись еще без начальства пожить! Еще не рад будешь начальству-то!

В 1773 году снег выпал рано, и через неделю после Покрова приморозило. Мужики по первопутку старались успеть — возили дрова, сено.

И удивляясь, говорили друг другу:

— Гляди-ко, зима-то ныне как рано! Еще октябрь на дворе, в которые годы скотина ходит на воле, а ныне снегу в колено намело да вон как прикорбечило, как в середозимье!

— Можя, еще растает, вот воды-то будет! Всякие годы были, но никогда на Покров столь снегу не выпадало! Зима нынче, по всем приметам, будет снежной и долгой...

Но никакая непогода не могла помешать размеренной крестьянской жизни. Все шло своим чередом: зима — время торговли и подготовки к весеннему севу, но с той лишь разницей, что кто-то продает последнюю тряпку, чтобы купить пригоршню семян, а кто-то отправляет тяжело груженные подводы с зерном и мясом.

Первым из слободы вернулся Спиридон Палицын и вечером в пожарнице рассказал мужикам последние новости:

— Говорят, что царь-батюшка, Петр Федорович III, жив-здоров, скрывался где-то в чужих землях, а теперь в нашей земле объявился, большим войском сюда идет!

— Да ну! Неужто правда! Побожись, Спиридон!

— Вот те крест святой, отсохни язык мой и уши перестаньте слышать! Не вру! Говорят, много к нему простого народу примкнуло. Большие выгоды он сулит, вот к нему народ и валом валит.

— Ну а начальство пошто тогда народу ничё не говорит?

— Да почем знать! Казачество за ним пошло, народу простого видимо-невидимо с ним. Сказывают, что много уж крепостей и заводов взял на своем пути. Чичас от Оренбурга в нашу сторону идет. Хочет, говорят, Демидова прогнать и заводы у него захватить. Обещает порядок и справедливость везде наладить. Заводчане-то ждут не дождутся. Хотут хлебом-солью встречать, как полагается.

— Ну и дела! Что же такое творится, Господи! Как же он, батюшко, живой-то тогда остался, где же он схоронился, что его Катька достать-то не могла?

— Ну, видно, и у него верные люди были, можа, и на смерть которы пошли, а долгу своему не изменили. Вот теперь и выяснилось все. А то сперва-то ни в живых, ни в мертвых не числился. Потом уж слух пустили, что умер...

— Вот она, правда-матушка, и всплыла. Нет, ребята, что хотите говорите, а правда — она завсегда на верху будет. Она в огне не горит и в воде не тонет...

## ПУГАЧЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ

После Нового года, проводив гостей — сватов из Песла Покровского, Петр Васильевич и Иван Елпановы собрались в Нижний Тагил с хлебным обозом. Старшего Елпанова в последнее время одолевали одни мысли и надежды: он подал губернатору прошение и надеялся, что его возведут в ранг купечества.

Дальняя монотонная дорога — лучшее время, чтобы обдумать насущные дела, принять нужное решение; и Петр Васильевич погрузился в свои мысли.

«Наличного капиталу еще у меня маловато... Придется, может, раза три за зиму до Тагила и назад обернуться. Это, почитай, дома совсем не бывать, а что делать? Придется на заимку нанять оборотистого и верного мужика, сделать его управляющим, а самому одной торговлей заняться... Да и Ивана пора натаскивать на торговое дело. Правда, молод он пока, но пусть пообвыкнет, связи, знакомства в заводах и среди купцов заведет...»

Деловому до мозга костей, Елпанову было все равно, кто воссядет на российский престол. Главное, чтоб у него прибавлялся капитал, товарооборот и было больше прибыли от торговли с заводами. Но слухи доносились один другого хуже, и во всей округе чувствовалось приближение смуты, которая ничего хорошего ни купечеству, ни другим состоятельным сословиям не сулила.

...Начавшиеся крещенские морозы застали Елпановых с обозом по дороге в Нижний Тагил. От лошадей валил пар, сбруя вся была покрыта инеем. Петр Васильевич в легком татарском бешмете из черненых овчин шагал за возом, густые черные с проседью брови покрылись инеем и были белы, как у берендея. Мерлушковая<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Мерлушковая — сшитая из мерлушек (шкурка ягненка грубошерстной породы овец).



шапка сдвинута на затылок, стриженные «под горшок» волосы слиплись от пота на высоком крутом лбу. Тонкие усики и подстриженная бородка заиндевели и покрывались сосульками. Смуглое горбоносое лицо было обветрено и обожжено морозом. Вот уже шестой день они в пути. Обоз из восемнадцати подвод медленно двигался шагом, оставляя за собой версту за верстой санного пути. Холодное солнце висело над горизонтом огромным оранжевым диском, его косые красно-оранжевые лучи падали на безбрежную белизну снежной пустыни, играя тысячами алмазных искр. Когда солнце подходило к зениту, слева и справа от диска светились радужные пятна — «рукавицы». Казалось, что даже воздух застыл от мороза: ни ветерка, ни дуновения, горизонт затянуло дымкой. Далеко по тракту раздается скрип снега под полозьями саней, пофыркивание лошадей да изредка крики проводников.

Обозников было пятеро: отец и сын Елпановы и трое их работников. Все одеты в легкие дубленые шубы и добротные пимы. Им придется шагать за возами, груженными зерном и мукой, и оптом продать товар тагильскому перекупщику, кержаку Варсонофию Зыкину, такому же богатому, как и Елпанов. Через того же Зыкина и других посредников предстоит закупить на тагильских заводах гвозди, лемеха для плугов, топоры и пилы, косы, серпы, подковы — все, без чего не обойтись на крестьянском подворье, и отправиться в обратный путь.

Уже во время первых ночлегов в клоповниках постоялых дворов они с удивлением слышали о «царе Петре Федоровиче», которого ждет не дождется народ на Урале и в Зауралье.

В Тагил обоз приехал затемно. В избах горели огни, кое-где во дворах вляивали озябшие собаки. Стоял мороз-трескун с «копотью»: над прудом и в заводской слободке висела плотная пелена тумана.

Обоз свернул с главной улицы поселка и остановился перед высокими тесовыми воротами Зыкина. Ворота были затворены на два запора, во дворе отчаянно залились и забрякали цепями громадные псы. Долго никто не выходил, даже огня в окнах не было видно, и если бы не собачий лай, то дом казался бы необитаемым.

Петр Васильевич стучал кнутовищем в ворота, ворча себе под нос: «Оглохли там все, что ли, или уж с этих пор дрыхнуть завалились?» Но вот в глубине двора послышались шаги, и за калиткой старческий голос спросил: «Кто там ломится? Нету дома хозяина-то!»

Петр Васильевич по голосу узнал зыкинского работника.

— Открывай, дед Мокей, Елпановы это! С хлебом мы приехали... Морозище лютый, а ты пускать не хочешь!

В полуоткрытую калитку опасно просунулась голова с длинной седой бородой, в рыжей собачьей шапке:

— Тише ты, труба иерихонская! Вижу, что Елпановы... Ох, не ко времени вы приехали... Ну да ладно, пойду хозяина звать!

Но Варсонофий Зыкин вышел во двор сам. К удивлению Елпанова, он даже не поздоровался, а, отстранив Мокея, сам открыл ворота и жестом показал — заезжайте, мол, во двор. Просторный двор едва уместил восемнадцать груженных саней. Дед Мокей закрыл ворота на засов и привязал к ним собак. Только тогда Зыкин поздоровался с Елпановыми и пригласил в дом.

В горнице было жарко натоплено, красивая молодая-ка, сноха Зыкина, собирала на стол.

Хозяин, коренастый, с длинной сивой бородой, с плутоватыми глазами, слыл самым богатым во всем кержацком конце тагильского заводского поселка. Ему уже за шестьдесят. Хлебной торговлей купец первой гильдии Варсонофий Зыкин занимался смолоду, имел свою пекарню, хотел уже строить пряничную и бубличную, но

в округе стало беспокойно, и дело Зыкину пришлось приостановить.

За столом Зыкин вполголоса, будто боясь, что его услышат с улицы, сказал Елпанову:

— Беда, Петр Васильич, чернь на дыбы поднялась! Хорошо, что ваш обоз в дороге не перехватили, а то не миновать бы беды... Вот уж вторую неделю управителей на заводе нет: которые убегли, которых прогнали, а то и убили! Сам-то Акинфий Демидов в Питере сейчас, а тут без него работные людишки взбунтовались. Все, слышь-ко, какого-то нового царя Петра Федоровича ждут, слаби-ну почуяли — совсем одурели. Если войска на усмиренье не пошлют, да, не дай бог, явится сюда этот самозванец Пугачев — ох и наделает он нам делов!

— Что еще за Пугачев?! — изумился Елпанов.

— Неужели не слыхал? — в свою очередь удивился Зыкин. — Так слушай: был я намерен по торговым делам в Екатеринбурге... Пугачев Емельян, оказывается, — простой казачишка. Говорят, что он на Яике<sup>97</sup> сперва объявился, потом в казанской тюрьме сидел да убег. Вот будто бы он и выдал себя за Петра-то Федорыча!

В это время молодуха собрала на стол и стала в сторонке. Зыкин искоса взглянул на нее:

— А ты, Параня, ступай-ко на свою половину, негоже тебе мужицкие разговоры слушать!

В горницу тем временем зашел Иван с работниками.

— Ну что, Иван Петрович, все сделали так, как я велел, убрали хлеб в завозню? — мимоходом спросил Зыкин и, не дожидаясь ответа, повернулся к Елпанову. — Ведь не хотел я пока брать хлеб-то, Петр Васильич, только тебя уважил, на риск пошел... Время-то уж больно смутное... Голытьба поднялась, ровно осатанела! Неровен час,

---

<sup>97</sup> Яик — река Урал (до 1775 года — Яик), протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море.

грабить начнут, да еще и жизни лишат... Вот чё я скажу, Петр Васильич: пока на улице морок да туман — отдыхайте у меня, а перед утром вам уехать надобно!

— Это что же — без обратного товару ехать?!

— Господи, сейчас не до выгоды, езжайте скорее — целее будете...

— А может, и прав ты, Варсонофий Егорыч, спасибо, что предупредил!

Перед утром Елпановы тихонько собрались и выехали с зыкинского двора. Туман еще был густым, и они благополучно проехали до тракта. На передних санях с вожжами в руках, пряча лицо от холодного ветра в воротник собачьей шубы, сидел сам Елпанов-старший. Доехав до тракта, Елпанов свернул в сторону Екатеринбургa: «Не порожняком же мне из-за проклятой кутерьмы в заводе до самого дома гнать! Надо железного товару в Екатеринбурге прикупить!» — и весь обоз последовал за ним, лошади с пустыми санями шли машистой рысью.

Безлюдная дорога навевала мрачные мысли: «Да неужто и до наших краев эта смута докатится? Пока вроде тихо, а вот завтра что будет? Нет, что ни говори, не мог бы простой мужик, самозванец какой-то, так народ возмутить. Видно, в самом деле он царь, но какой бы царь на престол ни взошел, купечество и торговый люд истреблять не будет. Это он спервоначалу простонародью благ насулил, чтоб ему пособляли. А как Катерину свергнет да престол займет, то свое выведет. Без купечества ни царю, ни государству не обойтись. Торговый народ — корень всему государству, и любое государство без торговли ничто. А смута эта временная и скоро исчезнет как дым».

В Екатеринбургe было относительно тихо, хотя и чувствовалась некоторая нервозность, торговые лавки работали, и Елпановы смогли купить нужный товар и поехали в обратный путь.

...Весна 1774 года в Зауралье была ранней и дружной. Но вместе с началом первых по-настоящему теплых мартовских дней пришли тревожные слухи, что Талицкую и Байкаловскую слободы заняли пугачевские мятежники под началом какого-то полковника Ивана Белобородова, близкого сподвижника Пугачева. Не встречая почти никакого сопротивления на своем пути, он захватывал деревню за деревней и вел войско мятежников к богатой Ирбитской слободе. Белобородов, по слухам, намеревался захватить потом и уездный город Туринск.

Губернатор Сибири Денис Иванович Чичерин этим был весьма обеспокоен: посланные из Петербурга правительственные войска под командованием генерал-майора Кара разбиты, командир бежал в Москву, а посланный на подмогу полк Михельсона воевал без особого успеха. Чичерин понимал, что время работает против него: скоро весна, половодье, проселочные дороги для правительственных войск станут непроезжими, и мятежники, воспользовавшись этим, могут дожидаться окончания ледохода и приплыть на судах к самому Тобольску. На помощь населения рассчитывать нечего: бывшие ссыльные и каторжники сразу присоединятся к самозванцу, и тогда это будет грозная сила. Надо во что бы то ни стало не допускать их до больших судоходных рек, не дать добраться ни до Туринска, ни до Ирбитской слободы.

Восемнадцатого марта в слободе били в набат, был срочный сход. Все население слободы и близлежащих сел и деревень вооружилось кто чем мог: топорами, вилами, кольями; некоторые слободчане имели ружья.

Ирбитская слобода встала против царя-самозванца. Возглавили оборону слободской священник Василий Удинцев и писарь Иван Мартышев. Они призывали: «Укротить, схватить вора царя-самозванца Емельку Пугача!»

Прибыл нарочный с депешей от сибирского губернатора. Чичерин надеялся, что слобода продержится хотя бы день-два, пока не подойдет Сибирский корпус.

Но и пугачевцы не дремали. Войско Пугачева разделилось: Иван Белобородов должен был занять Ирбитскую слободу и Туринск, а потом двинуться на Екатеринбург, сам же Пугачев, со своим отрядом захвативший уже несколько заводов, готов был идти на соединение с Белобородовым, взять Екатеринбург и двинуться на Нижний Тагил.

В это время конница Хлопуши — сподвижника Пугачева — заняла Чебаркуль и подходила к Златоусту. Конечной целью мятежников был поход на Москву, а затем и на Санкт-Петербург.

Первоначальные победы над царскими войсками вскружили головы бунтарям, но после нескольких кровопролитных стычек с регулярной армией пугачевцы, ничего не понимавшие в военном искусстве и никогда не знавшие воинского строя, стали терпеть поражения, а позднее и вовсе разбежаться.

В Петербурге срочно созывается Сенат: Екатерина II, не на шутку обеспокоенная пугачевской смутой, предложила заключить мир с Турцией и бросить войска под командованием Суворова на усмирение мятежа и поимку самозванца.

Двадцать третьего марта, уже по последнему санному пути, увязая кое-где по брюхо лошадям в промоинах и проточинах талой воды, конница Белоборова подошла вплотную к Ирбитской слободе. Вместо торжественной встречи хлебом-солью измученные трудной дорогой мятежники встретили яростное сопротивление жителей. Пугачевцы не смогли сдержать натиск слободской конницы и с боями отступили до Ерзовской горы. Уставшие бунтовщики были вынуждены встать лагерем в небольшой деревеньке Ерзовке, чтобы на рассвете попытаться взять штурмом негостеприимную слободу.

Утром начался ожесточенный штурм. Сначала конница Белобородова прорвалась было к самой слободе, но ополчение слобожан отбросило их к реке Арай. Повсюду кипела кровавая битва — рубили сплеча саблями, кололи копьями и пиками, сходились врукопашную.

Из пяти пушек у Белобородова стреляла уже только одна: ядра и порох были на исходе. Вся луговина у реки была покрыта трупами...

Посланные в Туринск передовые разведывательные отряды Белобородова вернулись с неутешительными вестями: Сибирский корпус Деколонга<sup>98</sup> в двух-трех днях пути от слободы. У Белобородова оставалась последняя попытка, чтобы взять богатую слободу и пополнить обозы провиантом и фуражом, а затем двинуться на Камышлов и Екатеринбург для соединения с основными силами Пугачева.

Всю ночь горели костры. У населения Ерзовки было отобрано все — деревушка в полтора десятка домов не могла снабдить фуражом и продовольствием большой отряд Белобородова. Да и крестьяне, опасаясь кровопролития, разбежались кто куда, и многие усадьбы стояли пустыми.

В доме-пятистенке старосты, стоявшем посреди деревни, до утра горели сальные свечи: там остановились на ночлег Иван Белобородов и Артемий Ерошев, произведенный Пугачевым в полковники.

— Артемий Петрович, пойді поспи хоть немного, а я еще посижу. Утром пришлешь ко мне Атлагулова и Чемезова.

— Не спится что-то, — отозвался сидевший за столом Ерошев.

---

<sup>98</sup> Иван (Иоганн) Александрович Деколонг (Клапье-де-Колонг) (1716—1789) — командующий войсками Сибирских пограничных линий, генерал-поручик.

— Да черт возьми! — чертыхнулся Белобородов. — Ну кто же знал, что здесь застрянем? От самого Оренбурга вон сколько верст по тамошним степям прошли, и никто супротивничать не посмел, а тут на тебе! Господи, помоги взять слободу эту треклятую...

— Ежели не возьмем, к Камышлову уходить придется, — прервал свои невеселые размышления Ерошев, — лошадей-то чем кормить? Ни овса, ни сена давно уж нет.

— Разведка донесла, что верст через сорок богатые деревни пойдут. Может, там фуражом и едой разживемся...

Новая попытка взять Ирбитскую слободу штурмом пугачевцам так и не удалась.

Во время атаки Артемий Ерошев был ранен в плечо и в голову, но продолжал сражаться. Его зычный голос далеко разносился над полем битвы: «Братцы, вперед! В атаку!» Бойцы из его отряда прикрывали своего командира как могли, но в пылу жаркой схватки шальная пуля сразила коня Ерошева. Иноходец вдруг заржал от пронзившей его боли и упал как подкошенный в рыжую от крови грязь, забился в предсмертных судорогах и застыл, а Ерошев так и остался лежать, придавленный холодеющей тушей своего коня, с которым он делил все невзгоды походной службы. Защитники слободы, увидев беспомощность Ерошева, тут же его окружили, отрезали от своих и обезоружили.

Отряд Белобородова сделал еще одну попытку захватить слободу, но безуспешно.

Лучший друг Ерошева Василий Бармин с двумя яицкими казаками попытался ночью освободить его, но дерзкая попытка не увенчалась успехом, и все трое были схвачены. Назавтра пленных пугачевцев нещадно избивали; тех, кто просил о пощаде, выпороли кнутом и посадили в кутузку. Бармин и его товарищи были повешены, а Артемия Ерошева четвертовали на площади. Расправой



над пленными руководили братья Куликовы — Лева и Паша.

...Отряд Белобородова еще только подходил к деревне Прядеиной, а Елпановы уже ночью приготовились к встрече незваных гостей. Имущество, что получше, частью тайком отвезли на заимку, частью спрятали в подполье. Петр Васильевич спешно собрал из сейфа все деньги в большой глиняный горшок, закрыл его плотной деревянной крышкой и закопал за сараем в дальнем пригоне; справных лошадей работники спрятали на заимке.

В деревне Прядеиной отряд Белобородова встретили без страха и доброжелательно. Белобородов расположился у старосты Ермолая Спицина, отряд распределили по деревенским избам. Во всей деревне кололи скотину, готовили провиант в дорогу. У всех топились бани: после долгого трудного пути пугачевцы парились, прожаривали и стирали одежду. Белобородов отдал своим старшинам приказы собрать с окрестных деревень провиант для людей и корм для лошадей, а всему взрослому мужскому населению было предписано быть готовым идти вместе с белобородовским отрядом до Камышлова.

На каланче ударили в набат, и все население Прядеиной высыпало на улицу. Стоя на телеге, речь держал Иван Белобородов:

— Православные! Ведомо ли, что сюда идут солдаты Сибирского корпуса? Ежели нас побьют, то и вам небось не поздоровится! Берите топоры, вилы, колья, багры — кто чем может вооружайтесь! Сообща оборонимся и — на Камышлов! Государь наш, царь Петр Федорович, не оставит вас своею милостью! — растерянные мужики слушали командира мятежников, понуриив головы.

— Глубока ли ваша река? — продолжил Белобородов.

— Река-то? Да как вам сказать, летом в сушь и неглубока бывает, да омутистая и дно илистое, вязкое, бродом не проедешь, а теперя, в половодье-то, вон как разлилась.

— Вот пусть река и будет преградой им! Разобрать, уничтожить мосты по большаку, а если не успеете, то придется сжечь!

...Командир Сибирского корпуса Деколонг, прибывший с головным отрядом, преследовавшим пугачевцев, был вне себя от гнева: разведка, посланная вперед, донесла, что в прибрежных деревнях Галишевой и Прядеиной разобраны мосты через реку. И возле Галишевой, и в четырех верстах ниже по течению, возле Прядеиной, из воды торчали только сваи... И это в тот момент, когда крупный отряд войск царя-самозванца был почти в его руках! Деколонг рвал и метал, обещая провести сквозь строй все население этих деревень. Назлобствовавшись вволю, вымещая зло на своих подчиненных, как будто его солдаты были в этом повинны, он затих и, трезво оценив обстановку, велел солдатам немедленно наводить переправу.

В Галишеву были посланы вестовые — разузнать, где находится отряд пугачевцев. В деревне вестовые постучали наугад в первую попавшуюся калитку. Ее отворил подслеповатый дед; щурясь от лучей солнца, он испуганно разглядывал вооруженных солдат.

— Ну, сказывай, дед, как на духу: были здесь люди окаянного Емельки Пугача?

— Были, были оне, супостаты энти! Обобрали деревню до нитки, хлеба и посеять не осталось, последних коровешек — и тех отобрали, окаянные! Ладно хоть, деревню не подпалили... Проездом тут оне у нас были, а ночевать остановились в Прядеиной, за четыре версты отсель.

— Что-то больно много ты знаешь, дед... Как будто следом за ними бегал!

— Да не бегал я за ими — ну их! Я по-своему кумекаю: правятся оне на Камышлов, стало быть, Прядеиной им никак не миновать — ехать-то дальше некуда. Юрмич

только будет, дак он-то за двадцать пять верст от Прядеиной, как не боле, да и то вовсе в другой стороне.

— Ваши мужики мосты разобрали? — перебил старика вестовой.

— Мы тут непричастны, — заискивающе начал дед, — разрушали мосты не мы, а мужики из Прядеиной...

Вскоре солдаты согнали галишевских мужиков помогать настилать мост. Работа закипела. Мост наладили быстро, но войска Деколонга догнать Белобородова не успели. Того из Прядеиной и след уже простыл, деревня оказалась пустой, будто вымершей.

Снова вестовые кинулись спрашивать по избам:

— Давно ли, бабка, уехали отсюда люди при оружии?

— Давно, батюшка, утресь еще, раным-рано, знать-то, уж Юрмич проехали.

— А далеко ли он, Юрмич этот?

— Да верст двадцать пять считают.

— А дорога-то туда хороша аль плоха?

— Дак ведь в распутицу везде дороги худы! А на Юрмич она отродясь не была доброй-то...

Головной отряд Сибирского корпуса остановился на отдых в Прядеиной. Деколонгу был крайне необходим провиант для солдат и фураж для лошадей, но скудные деревенские запасы уже были отданы пугачевцам. Деколонг приказал солдатам отбирать провиант и фураж силой. Вот тогда деревня и взбунтовалась: увидев, как избитого деревенского старосту, пожилого мужика Ермолая Спицина солдаты выволокли из избы и потащили к амбару, соседи подумали, что Ермолая ведут на расстрел, схватились за вилы, топоры, а некоторые — за вывернутые из саней оглобли. А когда солдаты пошли по пригонам резать последний скот, вооружились все, кто чем мог, даже старики и бабы. У амбаров и в пригонах пошла настоящая рукопашная свалка.

Бабы, заламывая в иступлении руки, истошно кричали:

— Да что же это деется, православные! Грабеж, да и только! Вчера одни, седни другие, завтра третьи. Да что, нам теперя с голоду подыхать прикажете, ведь у нас всех дети малые!

Деколонг, человек военный до мозга костей, стрелять в безоружных людей солдатам запретил. Уже много было раненых с той и другой стороны. Но явное превосходство в силе все же оставалось на стороне солдат. Многие деревенские мужики валялись на земле, обливаясь кровью, другие разбежались и попрятались в домах, на чердаках и в голбцах.

Солдаты ломали заборы, сбивали с амбаров замки и выгребали зерно, кололи скотину... Из дворов натаскали дров, и на площади задымили походные кухни.

Генерал-поручик Деколонг со своим штабом сидел за столом в той же самой горнице, где за день до того сидел Белобородов, и срывающимся от ярости голосом говорил:

— Ви и вся ваш дерьевня есть бунтовщик! Ви есть... как это по-русски... сообщник самозванец Пугачефф! Я вас буду пороть и вешать!

Староста Ермолай Спицин, с огромным синяком под глазом, стоял перед генерал-поручиком навтыяжку и угрюмо думал: «Белобородов был, и нет его, ищи-свищи, а мы — в ответе... Да и долго ли продержится его лапотное войско супротив царского-то? Скотину и зерно так и так отобрали... А теперь вот, может, — кандалы, каторга, а то и виселица...»

Елпановы по деревне с вилами да топорами не бежали. Петр Васильевич на всякий случай зарыл в сено на сеновале ружье. Он никогда и не думал ввязываться ни в чьи дела; был ни за тех, ни за других. Когда попрятали имущество и деньги, он задворками потихоньку привел Ивана к оседланной лошади.

— Поезжай-ка, Ванюха, в Покровское, к сватам... Да езжай осторожно, чуть што — в лес сворачивай, прячься,

и ни гугу! Разузнай, што да как у них... Ежели все покойно, поживи там пока, а как у нас все утихомирится, я дам знать — домой возвратишься.

Когда у Елпановых встали на постой пятеро пугачевцев, спорить он не стал, нагреб овса и ячменя для лошадей и велел работникам истопить баню. Елена, Марьянка и сноха Евгения приготовили хороший обед.

Постояльцы попались смиренные. Они оказались из-под Оренбурга, с Нижне-Озерной. После бани Петр Васильевич велел дать постояльцам чистое белье и сел вместе с ними за стол с сытным обедом и бутылкой кумышки.

Подвыпившие постояльцы говорили начистоту:

— И стало быть, пошли мы, хозяин, за Петром-то Федоровичем... Дома свои, семьи побросали, вот уж второй год мыкаемся, да что толку-то? Нет у его той силы и порядку, как в царевой армии. Привел нас Иван Наумыч Белобородов в ваши края. Столько верст исходили — по пути одне захудалые деревни... Туринскую и Ирбитскую слободы взять не сумели. А царь-батюшка полгода около Оренбурга топтался, а завоевать так и не смог. Комендант там немец какой-то, а царица, известное дело, всячески к немцам благоволит — как же подмогу ему не вышлет?

Теперь слух пошел — нашу Нижне-Озерную войска Михельсона захватили и ни старого, ни малого не щадят... А здесь этот Деколонг по пятам настигает. Пушка одна у нас осталась — и та обузой стала, ни ядер, ни пороху...

Хотим отстать от пугачевского войска-то да на родину пробираться. Можя, выпорют да и помилуют, повинимся, дак, поди, не повесят...

Шибко уж надоело по белу свету скитаться. Пособил бы ты нам, хозяин, по гроб жизни будем благодарны! Видим, хозяйство у тебя большое, дак поробили бы на совесть! Ну а потом тихой сапой на родину пробираться стали бы...

Елпанов долго не думал — отвез мужиков на заимку. «Пять крепких мужиков — они ж горы своротить могут! — Петр Васильевич наперед предвидел выгоду себе: — Весна нынче ранняя и дружная, после Пасхи за Осиновкой уже пахать можно будет. Надо еще клин целины припахать, земля там добрая. Из пригонов навоз повывезут, а может, еще и пары на первый ряд вспашут».

И пятеро мужиков-пугачевцев остались работать на елпановской заимке...

До Прядеиной дошли слухи, что отряд Белобородова достиг Екатеринбурга и соединился с головным отрядом Пугачева, а Деколонт, гнавшийся за ним по пятам, остался далеко позади.

В деревню прибыло начальство из волости — становой пристав, урядник и писарь. Созвали сход. Пристав вне себя орал на народ:

— Как вы не могли распознать шайку самозванца и злодея?! Из-за вас ушли смутьяны! Шкурой ответите за все злодеяния: кое-кому каторга будет. Тем, кто за самозванцем пошел, особая кара предстоит, а также тем, кто бунтарей укрывал! Мне доподлинно известно, что в вашей деревне есть такие... Есть!

Неприятный холодок подкатил под сердце стоявшего в толпе Елпанова...

— Суд над вами в волости будет, а теперь — по домам, и чтоб со двора — ни ногой! Кто тут Елпанов Петр Васильевич? Подойди сюда поближе. Придется нам проехать на заимку, осмотреть твоё хозяйство!

— А чего его смотреть-то? Хозяйство как хозяйство: избушка стоит, амбаришко да конюшня! — упавшим голосом ответил Елпанов.

— И кто у тебя там живет?

— Да семья пришлых с голодного году. Вологодские Лазаревы, муж с женой, да три сына и дочь у их... Христа ради их принял, а то бы с голоду померли...

— Не об их речь! Поедем-ка посмотрим, что это за вологодские такие!

У Елпанова сердце так и упало. «Откуда могла полиция узнать про мужиков на заимке, неужто кто из наших деревенских донес?! — лихорадочно думал он. — Сейчас уж точно приклепают мне, если откупиться не удастся... Господи, пронеси!»

— Ваше благородие, я пойду переоденусь да запрягу свою кобыленку, ваши-то кони пусть отдохнут.

— Нет уж! Прямо сейчас и на наших конях тронемся!

На заимку приехали уже перед вечером. Работники возили из конюшен и пригона навоз на поля. Становой с урядником напрямик двинулись к пригону.

— Бог в помощь, работнички! — ухмыльнулся становой. — А ну, выходите все из пригона, а вилы к стене ставьте! Сюда подходи, ближе, ближе! Сейчас посмотрим, кто тут у вас...

Лазарев, мужик лет сорока пяти, подошел первый.

— Вот я, ваше благородие, а вот это мои сыновья — Иван да Трофим... Последний, Антошка, малец еще... Баба моя Устинья с дочерью Дуняшкой в избе прибираются.

— А эти пятеро — кто такие?

— Новых работников хозяин нанял...

— Так, хорошо, идите-ка, молодцы, поближе... Не из отряда ли мятежника Белобородова?

— Боже упаси, мы к хозяину на страду нанялись! Вот хоть у его спросите...

Но мужики и оглянуться не успели, как им связали руки прочными веревками.

— Зови хозяина и писаря сюда, пусть идут в избу писать протокол, — приказал становой.

Сидевшие за воротами на бричке писарь и Петр Васильевич зашли в дом.

— Ну-с, Петр Васильевич, как? Опять будешь отпираться, мол, нет у тебя никого из мятежников? Вот тебе пять человек налицо... Где остальные спрячутся?

— Видит бог, не знаю я никаких остальных, а эти ко мне на страду нанялись... Вы, никак, что-то путаете, ваше благородие!

— Ничего я не путаю! Это приспешники Емельки Пугача, им в Сибири, на каторге место. А тебе, Елпанов, придется отвечать за укрывательство. Где твой сын-то? Не иначе он с пугачевцами скрылся, как и другие прочие?!

— Да он еще неделю назад в Покровское к тестю уехал... Ваше благородие, пожалуйста ко мне в дом ночевать, уж я для вас постараюсь...

— Мы уж найдем, где нам ночевать! — и пристав так взглянул на Петра Васильевича, что тому не по себе стало. — Жадность тебя доведет до ручки, Елпанов! Ну, трогай!

Ямщик свистнул, и пара добрых лошадей увезла всех, едва поместившихся на бричке, — и волостных, и арестованных.

Елпанов сердился и на себя, и на урядника. Некоторое время он стоял посреди ограды, не зная, на ком выместить зло. Потом пошел бесцельно к пригону и наступил на брошенные кем-то в спешке вилы, с силой пнул их:

— Черт знает что! Порядку у тебя, Евсей, нет!

— Дак ведь хто думал, хто знал, Петр Васильич, — оправдывался Лазарев, — што черти их и сюда принесут! Я тут ни при чем, а свое дело я справляю!

Елпанов промолчал, с трудом сдерживая злость.

— Ну ладно, Евсей Захарыч, назем попроворней возите... Сухо, говоришь, за Осиновкой, на бугре-то? Завтра, если не заарестуют, рано пригону, с утра пахать надо — вишь, сухойей какой, как бы земля не перестояла... Иван должен подъехать седни, он и пахать будет, а мне придется в деревню ехать немедля. Дай Карюху с телегой мне,



на трех лошадях пока повозите — не пешком же мне двенадцать верст до деревни топать!

Сколько ни приглашал Елпанов волостное начальство ночевать к себе в дом, те так и не приехали. Назавтра арестованных увезли в волость. Остальным строго-настрого было приказано никуда не отлучаться из дома.

Погода стояла сухая и теплая, отсеялись быстро, стали пахать пары. К Троице вернулись домой прядеинцы, которые уходили с отрядом Белобородова, и рассказали, что Пугачев двинулся в сторону Казани, что в войске его большие распри. Некоторые в открытую говорили, что это — вовсе не наследник престола Петр Федорович, а царь-самозванец, разбойник и злодей, бежавший из тюрьмы, простой казак Емельян Пугачев.

Вскоре до Зауралья дошла и другая весть: война с Турцией закончена, а войска под командованием генералиссимуса Суворова брошены на подавление мятежа и на поимку Емельки Пугачева. В церквах по всей России попы провозглашали анафему<sup>99</sup> самозванцу.

...Несколько дней в прядеинской пожарнице яблоку упасть было негде.

— Вот тебе и царь-батюшка Петр Федорович! Мы-то уши развесили, а он, оказывается, первый злодей и разбойник!

— Смотрите-ко, сам Елпанов под суд угодил!

— Да откупится Петруха, а может, и откупился уж!

— Откупился, не откупился — неизвестно! А вот нам-то плетюганов не миновать — уж это точно...

— Говорят, Фомка Глазачев на Елпанова-то донес.

— Да неуж?

— Серегу, своего братца младшего, выгораживал. Фомку-то урядник припер, говорит, отправлю твоего братца в кандалах в Сибирь за то, что ушел с Белобородовым, а

---

<sup>99</sup> Анафема — проклятие, отлучение от церкви.

Фомка, видать, видел, как Елпанов увозил смутьянов на заимку. Ну, видно, и шепнул уряднику.

— Да, поганое дело обечеилось<sup>100</sup> в нашей деревне, еще и доносчики появились. Сроду такого страму-то не было.

Через неделю после Троицы из волости прискакал нарочный: вызывали на суд старосту Ермолая Спицина, отца и сына Елпановых, трех братьев Глазачевых, братьев Плюхиных и многих других.

Опять допоздна сидели в пожарнице, даже староста пришел. Ермолай Спицин за считанные дни постарел, голова его совсем поседела.

— Ну, што будем завтра делать-то, Ермолай Ильич? Поедем в волость али как?

— Придется ехать... Все равно так не оставят! А не ехать — только хуже себе сделаем... Карательный отряд, говорят, в Белослудское прибыл!

— Да чё, мужики, раньше смерти-то помирать?! Раз глупость сделали — ответ держать надо, а не распускать нюни!

Прошло несколько томительных дней, и наконец судья огласил приговор.

Старосту деревни Прядеиной Спицина Ермолая Ильича и его сына Гаврилу Ермолаевича, 65 и 40 лет, уроженцев деревни Прядеиной, объявить виновными в пособничестве мятежу Емельяна Пугачева и сослать в каторжные работы сроком на десять лет.

Братьев Палицыных, Данилу и Осипа Ивановичей, 42 и 37 лет, виновных в разрушении мостов через реку Киргу, сослать в каторжные работы сроком на десять лет.

Кряжева Афанасия, Глазачева Сергея и еще 21 человека крестьян из деревни Прядеиной, добровольно уходивших с подручным самозванца Белобородовым, сослать в каторжные работы сроком на пять лет.

---

<sup>100</sup> Обечеилось — получилось.

Остальных подсудимых из деревни Прядеиной подвергнуть телесному наказанию и отпустить по домам. Братьев Плюхиных, Никанора и Павла, 32 и 26 лет, Елпанова Петра Васильевича, 54 лет, за укрывательство мятежников проучить кнутом — пятьдесят ударов каждому.

Петр Елпанов был готов перенести любую физическую боль, но мысль о том, что выпорют его, Елпанова Петра Васильевича, без пяти минут купца первой гильдии, была невыносимой. Он представил, как будут указывать на него пальцем деревенские старухи и шамкать беззубыми ртами: «Глядите — это ведь Елпанов! Его пороли кнутом у пожарницы!»

Лицо его словно окаменело и ни один мускул не дрогнул на нем, когда повели его из пожарницы на казнь. Он с детства привык к преодолению трудностей, когда через боль и страдания, невзирая на холод или зной, выполняешь тяжелейшую крестьянскую работу. Бывало, он не замечал, увлекшись работой в кузнице, как горячая окалина, вылетевшая из-под молота от добела раскаленного куска железа, прожигала рубаху и впивалась в кожу.

Елпанов спокойно оглядел место казни, стараясь не замечать стоявших в отдалении зевак, которые с интересом наблюдали за происходящим. Снял рубаху и лег на скамью. Первые удары кнутом обожгли его, как та раскаленная окалина, потом адским огнем запылала вся спина, но Елпанов не издавал ни стопа, только со лба его стекали крупные капли пота. Волосы слиплись. В конце концов стало невыносимо терпеть, и Петр, стиснув зубы, так заскрежетал ими, что они стали крошиться; язык распух, и казалось, что уже не умещается во рту; пить хотелось страшно. Елпанов чувствовал, как кровь струйками стекает со спины, подтекая по бокам под живот. В голове гулким эхом раздавался звук бьющегося сердца, перед глазами мелькали разноцветные круги, но Елпанов не проронил ни звука. Каждый удар кнутом отдавался

страшной болью во всем теле, казалось, что палачи вбивают в спину раскаленные гвозди. Но вот наконец экзекуция кончилась, кнутобойцы остановились и, беззлобно переругиваясь между собой, отвязали Елпанова от лавки. Петр попытался встать, но безуспешно — тело его не слушалось. Чьи-то сострадательные руки подняли его, бережно посадили. Он прошептал пересохшими губами: «Пи-и-ть». Ему поднесли в глиняной кружке холодной воды.

— Браток, на, попей да умойся, — участливо сказал какой-то белоголовый старик.

— Спасибо, дед, — поблагодарил старика Елпанов.

— Обожди, паря, кровь остановить надо, а то много выйдет, ослабнешь, — старик перекрестил израненную спину Петра, что-то пошептал, и кровь остановилась. — Конотоп<sup>101</sup> привязывай, подорожник да мать-мачеху, крепкой ты, паря, поджарый, жилистый, скоро поправишься, только отдохни малость, вон под сараем в холодке, а я тебе еще травку приложу к спине-то да чистыми тряпками перевяжу.

— Не надо, дед! Я домой поеду, вон моя лошадь пасется.

— Да ты никак верхом хочешь ехать, один? — удивленно спросил старик.

— Да, дед, мне домой нужно.

— Ну и дела! Впервые такого вижу. А если у тебя, мил друг, дорогой от тряски кровь отворится, тогда что?

— Да ничего у меня не отворится! — попытался отвязаться от настырного деда Елпанов.

— Ты подумай, какой храбрец выискался. Других-то пластом на телегах увозят, а этот хочет верхом один ехать. Впервые такого вижу.

---

<sup>101</sup> Конотоп — горец птичий (спорыш), однолетнее травянистое растение семейства гречишных.

— На, дед, тебе за услугу, — Петр протянул старику пятак.

— Спасибо, друг! Только ты не храбрился бы шибко-то. Пойдем ко мне, полежи у меня, отдохни малость, чаю попей. Я вот тут рядом с пожарницей живу. У меня и бабка тоже пользуется от всех болезней и ходит роды принимает. Ее даже по другим деревням возят. Ну и я кое-что тоже кумекаю.

— Нет, дед, поеду я, домой мне надо!

— Ну, как знашь, дело твое! Не маленький, до седых волос дожил.

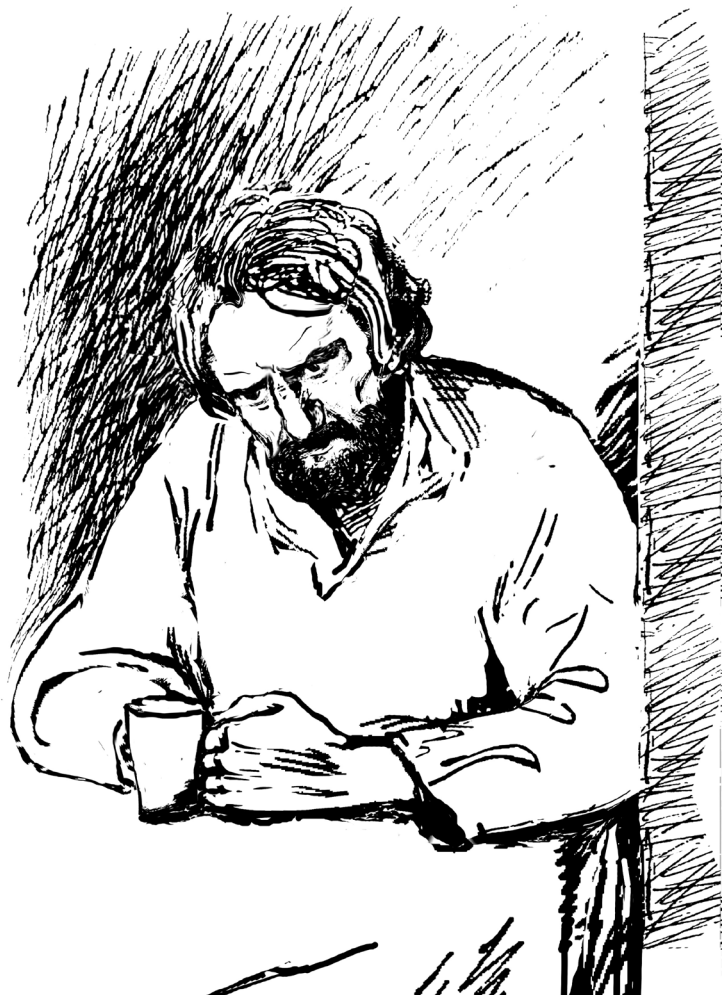
Петр Васильевич искривился от боли, когда натягивал рубаху на израненную спину. «Прав был старик-то, надо было к ранам подорожника приложить да перевязать, а то рубаха-то потная», — запоздало подумал Петр. С трудом подошел к коню, смиренный доселе Остап недоверчиво обнюхал хозяйина и зафыркал. «Да не дури ты! Не узнал, что ль?» — Петр взял его за повод, каждый шаг отдавался болью.

Наискосок от пожарницы был кабак с распахнутыми настежь дверями. Впервые за пятьдесят четыре года жизни переступал Петр Васильевич порог такого заведения.

За столиком сидели четыре мужика, лохматые, грязные, полупьяные, и о чем-то оживленно беседовали, одежда у них была пропитана кирпичной пылью и известью. Видимо, мастеровые-каменщики пропивали тяжким трудом заработанные гроши. У стойки канючили два босых оборванных старика. Просили, кланяясь чуть не до земли, почти валяясь в ногах, по косушке водки. Целовальник<sup>102</sup>, выведенный из терпения назойливыми пьяницами, вышвырнул попрошак, как котят, за порог и плотно запер дверь: «Надоели! Каждый день в долг просят, а когда рассчитываться будут, на том свете горячими угольками? Нет отбою от этой наглой шантрапы!»

---

<sup>102</sup> Целовальник — продавец в питейном заведении, кабаке.



Продавец, довольно потирая руки, вопросительно посмотрел на Елпанова:

— Чего изволите?

— Шкалик водки... Да в стакан налей! — распорядился Елпанов, бросив на стойку деньги.

- Не угодно ль огурчика соленого, добрый человек?  
— Давай и огурчика...

Елпанов одним духом выпил водку, закусил огурцом, повернулся и вышел на улицу. Целовальник, разинув рот и оторопело выкатив глаза, смотрел на его спину: льняная белая в синюю полоску рубаха во многих местах промокла от крови...

Но Петр Васильевич ничего не замечал: горела изодранная кнутом спина, а нутро жгло огнем от выпитой водки. Елпанов подтянул у коня подпругу и, преодолевая страшную боль, сел в седло. Неспешно доехав до белослудских полевских ворот, хотел наклониться и с седла открыть их, но нестерпимая боль пронзила все тело. Пришлось слезать и отворять ворота. «О господи! Что же мне делать? Как же я доеду до дома?» — как в бреду думал Елпанов. Собирая всю свою волю, шаг за шагом преодолевая версту за верстой, пробивался Елпанов к дому. Ехать быстро он не мог, из-за тряски раны открывались и кровь струйками стекала со спины. В лесу надоедливо звенели комары, облепляли лицо и руки. «Проклятое мошкарье! Хоть бы скорее выбраться на елань. И почему я не велел приезжать Ванюхе с телегой, вез бы он меня теперь на телеге, лежал бы пластом, вверх спиной. Понадеялся я на себя, да напрасно», — корил себя Петр. Но когда кто-либо догонял его, он, не показывая вида, крепился; хоть и ехал шагом, но старался крепко и верно сидеть в седле.

Дорога казалась бесконечной. Солнце неистово жарило, поднимая душное марево. Невзирая на знойное пекло, Петра стал бить озноб. Мысли, будто густой кисель, переполняли голову: вот он видит себя маленьким, вспоминает, как тяжело и трудно было им первое время по приезде в Зауралье, как отец надрывался на работе, чтобы хоть как-то прожить. Вспомнил состарившуюся на тяжелой работе раньше времени мать. Услужливая

память вытащила из дальних закутков души надежно спрятанные воспоминания о первой любви. «Почему я тогда не женился на Агнишке? Эх и девка же была, малина! Упустил, — горестно думал Елпанов. — Все променял на богатство. Теперь вот Ванюха женился на этой хромале, которая в двадцать пять лет хуже старухи. Мельчает наш род. Родитель мой, царство ему небесное, не такой был, не гнался за славой да богатством. А я?! Всю жизнь копил, изнывая на работе. Подал прошение в губернию, чтобы произвели в купечество, а теперь что будет? А если откажут? И все полетит к черту! Ну что же тогда делать?»

Елпанов приехал домой, когда солнце уже садилось за горизонт, бросая на землю прощальный луч.

— Ой, мать, шибко худо мне, готовь теплой воды в корыте, рубаха к спине вся начисто присохла, — еле вымолвил он жене, помогавшей слезть с седла.

После «проучения кнутом» не одну неделю приходил в себя Петр Васильевич. Лежал в малухе с обложенной листьями дорожника спиной. Пил отвары целебных трав.

Поспевал сенокос, шли частые дожди с грозами. Буйно поднимались и начинали цвести травы. Год обещал быть добрым и урожайным, но в Прядеиной, попавшей в немилость к начальству, в этот год сенокос был невеселый. Двадцать семь мужиков сосланы на каторгу, остальные, кто попался под горячую руку урядника, выпороты кнутами. Все мало-мальски знающие лечение травами и наговорами старухи были заняты выхаживанием односельчан. Особо тяжелых лечил Афонька Евдокимов, перенявший от отца знахарство. Было уже два смертных случая. Умер Кронид — сын Антипа Безродного, двадцати двух лет. После порки у него пошел антонов огонь<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Антонов огонь — гангрена.



Второй, уже пожилой мужик, лет под шестьдесят, Обухов Филипп, умер по дороге из Белослудской.

Трудной и долгой была страда этого злосчастливого года. Многие мужики с незажившими спинами ездили в поле, но при работе повязки спадали, раны разъедало потом, рубахи прилипали, мухи, учуяв запах крови, слетались целыми полчищами.

Невесело и тихо стало в деревне, даже в престольный праздник Покров впервые за последние десятки лет не было ни бегов, ни скачек.

Мужики, посоветовавшись, написали прошение на имя пермского губернатора, чтобы освободили от каторги бесом попутанных односельчан, и теперь ждали ответа. В церкви служили молебен за здоровье угнанных на чужбину людей.

Петр Васильевич благодаря заботе своих близких пошел на поправку, но сильно постарел и поседел. Ему было невыносимо стыдно перед односельчанами, перед своими богатыми сватами, даже перед собственной семьей. Душевная рана никак не заживала. В такой просак он попал впервые в жизни. Но он не терял надежды, размышляя долгими бессонными ночами: «Ничего, Елпанова так просто не возьмешь! Дай срок — и снова станут шапки ломать да низко кланяться... Во что бы то ни стало выбьюсь в купечество!»

## ДЕПЕШИ ИЗ ГУБЕРНИИ

После зимнего Николаы Елпановы собрались в Тагил с хлебным обозом. Все уже было готово к отъезду, груженные мукой возы стояли посреди двора, чтобы завтра с третьими петухами отправиться в дорогу. Но вечером, уже в сумерках, в Прядеину прискакал нарочный: волостное начальство приказывало срочно явиться вновь избранному деревенскому старосте Прядеину Тимофею Алексеевичу и крестьянину Елпанову Петру Васильевичу.

Ночевал нарочный у Елпановых, а утром чуть свет поехали в волость. Коней, запряженных в легкие кошевки, поторапливали: надо было успеть застать начальство в волостном правлении. Пospели как раз вовремя. Волостной старшина был на месте. Коротко взглянув на вошедших, он буркнул:

— Здорово, прядеинцы! Тут вам сразу две депеши из губернии прислали, — старшина взял в руки два пакета с сургучными печатями: — Видишь, тут написано, что пакеты надо вскрыть волостному старшине в присутствии получателей — стало быть, вот эту депешу в твоём, Елпанов, присутствии...

Он сломал печати, разорвал пакет и стал читать:

«Крестьянину села Прядеино Белослудской волости Камышловского уезда Пермской губернии Елпанову Петру Васильевичу. Посланное вами прошение ноября двадцать третьего числа 1773 года на имя пермского губернатора Вяземского разобрано. Просьбу вашу о зачислении в сословие российского купечества решено отклонить ввиду того, что вы являлись сокрывателем бунтовщиков-пугачевцев. Предупреждаю: прошений такого рода на имя губернатора более не посылать. За самовольную торговлю и перекупку товаров будете наказаны по всей строгости закона».

Волостной старшина кончил читать и взглянул сквозь очки на оторопевшего Елпанова.

— Вот так-то, Петр Васильевич! Волостному уряднику приказано сей документ огласить на сельском сходе в Прядеиной и следить за его исполнением. А урядник, — он повернулся к старосте, — на днях в деревню к тебе приедет!

Елпанова словно кто обухом по голове ударил... Он почувствовал себя так, будто что-то у него оборвалось внутри, на лбу выступил холодный пот. Ноги стали чужими, ватными, непослушными. Неожиданно накатила смертельная усталость, оглядевшись, он увидел у стены табуретку и поспешил сесть. Второй пакет его интересовал мало, и Петр слушал как во сне: «...Осуждены справедливо... и обществу взять на поруки преступников в просьбе сей отказать...»

Пожалуй, никогда в последнее время не было так тоскливо и тяжело на душе у Петра Васильевича, даже после жестокой порки в белослудской пожарнице.

«Ладно, — невесело размышлял он, нахлестывая лошаадь, — торговлю до поры до времени свернуть придется... Но шалишь, Елпановы в купечество все равно выйдут! Не Петр Васильевич, дак Иван Петрович... Лет через пяток, а то и раньше, Ванюхе подойдет время хлопотать, да уж от своего имени...»

Вернувшийся в Прядеину Петр Васильевич выглядел туча-тучей, даже на сход не пошел, а, сославшись на болезнь, весь вечер пролежал на полатах. А наутро он сразу укатил на заимку. Ехал шагом и думал: «Выходит так, что вся надежда пока у меня на заимку... Ну што я без заимки-то делать буду? Жить при двух коровах да двух-трех лошадах?! Не будет заимки — тогда и мясо, хлеб, кожи и прочее для продажи с неба-то не упадут...»

Невеселые думы одолевали Петра Васильевича. Вот давно лелеял он думку построить свой кирпичный завод.

И все шло к этому — по слухам, волостной центр должны были из Белослудского в Прядеину перенести, строительство бы началось, а тут — вот он, кирпичик-то елпановский, крепкий да звонкий, только денежки плати да покупай сколь тебе надо! Но нет, эвон что на сходе сказали: не будут, говорят, делать из Прядеиной волости, село наше теперь на вечные времена станет деревней. Запретили нарезать новые земли покосов и пастбищ. Строго приказано не селить на жительство приезжих из других мест. Разве подумал бы когда, что в гораздо меньшей по размеру деревне Харлово будет теперь строиться церковь и волостное правление. А все из-за той заварухи-пугачевщины, пропади она пропадом...

На заимке шла полным ходом молотьба, урожай в этом году выдался добрым, намолот пшеницы и ржи — хорошим. Работники то и дело возили с гумна тугие мешки и ссыпали зерно в завозню.

Петр Васильевич брал пригоршнями полновесное зерно, и его суровый взгляд теплел: будет что молоть на его мельнице! И мука хорошая выйдет, и крупчатка. Нет уж, дудки! Не отдам я, пока жив, этой земли. И никто мне не указ! Хоть целое войско присылайте! Подойдет Покров — можно бы и в Тагил, к Варсонофию Зыкину хлебный обоз снаряжать.

...В Белослудское из губернии пришел пакет с депешей, в которой сообщалось: «С особливым удовольствием известились Ея Императорское Величество, что жители Ирбитской слободы во время бывших замешательств, будучи со всех сторон окружены бунтующими селениями и утесняемы нападениями от злодейских шаек, наблюдая истинное к отечеству усердие, не токмо пребыли в непоколебимой верности, но и самопроизвольно избрав и вооружа из самих себя немалую партию, храбро сопротивлялись даже до того, что и в отдаленности от их слободы

устремлялись на злодеев и их поражали. Ея Величество, не оставляя никогда похвальных заслуг без достойного воздаяния, в знак особливаго Ея Императорскаго Величества к сим верноподанным благоволения, Ея Величество повелевает: Ирбитскую слободу учредить городом, на основании прочих российских городов».

В приложении к высочайшему указу говорилось о награждении титулами особо отличившихся в обороне слободы: «Писаря Ирбитской волости Ивана Назаровича Мартышева произвести во дворянство: наградить титулом и деньгами в размере пятьдесят рублей. Местного священника Богоявленской церкви Василия Ефимовича Удинцева наградить именным серебряным кубком и деньгами в размере двадцать пять рублей. Волостного старосту Ивана Никоновича Ефемева, крестьян Куликовского хутора Леона Ивановича Куликова и его брата Павла Ивановича Куликова возвести в ранг купечества первой гильдии и выдать денежное вознаграждение в размере двадцать пять рублей. Остальным участникам обороны слободы выдать вознаграждения по пять рублей каждому».

Шестого июня 1775 года состоялись торжества по случаю открытия города, на которых присутствовал сибирский губернатор Денис Иванович Чичерин. В 1776 году Ирбиту был пожалован герб. Описание герба гласило: «Прямо стоящий щит, разрезанный поперег на-двое, в верхней части в серебряном поле голубой Андреевской крест, показующий непоколебимую верность жителей города Ирбита к Ея Императорскому Величеству; в нижней части в красном поле положенные на крест сабля и Меркуриев жезл золотые, означающия, первое, поражение сим оружием злодеев, а второе упражнение в торговле жителей сего места».

Так бывшая Ирбитская слобода сделалась уездным городом, и Ирбит стал быстро богатеть и разрастаться. На

ярмарку поехали купцы из всех городов Российской империи, а потом и из-за границы. Обозы с товаром многие сотни верст везли и везли во всякую погоду; весной после ледохода сплавляли на барках по рекам, разгружали их на пристанях и товары везли в купеческие лабазы и лавки.

День и ночь в Ирбите дымили два кирпичных завода, обжигая кирпич для постройки казенных зданий, церквей и складов. Народ валом валил в Ирбит не только на ярмарку: в городе можно было найти работу всякому — и крестьянам уезда, замученным малоземельем, падежом скота или другими несчастьями, и пришлым людям, которые нанимались на кирпичные заводы или шли грузчиками на пристани, погонщиками скота, конюхами, дворниками — кем угодно, лишь бы прокормиться.

Разнообразна и пестра была публика Ирбита-города. На колокольнях церковей заливался малиновый перезвон, богатые, хорошо одетые горожане целыми семьями чинно шли к вечерне. В кабаках же веселился простой люд: там орали песни, пиликали гармошки, где-нибудь в укромных уголках мужики тискали пьяных растрепанных девок... Там и сям слышалась матерная брань, возникали пьяные драки. Для порядка были городовые, но они будто и не замечали этого.

— Пусть себе подерутся, потешатся, намылят рожи-то друг дружке, — говорил околоточный Филатыч и назидательно подымал кверху палец, — знамо дело, русский народ без мордобоя не может... Зато завтра, как проснутся, дружнее их не будет! А што до гулящих девок, дак и им тоже заработать надобно!

...А в хуторе Куликовском Лева и Соломия Куликовы продали свое пожительство, тихой ногой собрались и тайком от Левиных брата и племянников укатали в Екатеринбург. Соломия радовалась: сбывается ее мечта! Теперь они свободны как птицы, и капиталу, чтобы

начать торговлю, у них хватит. В Екатеринбурге широко развернуться можно, да и от ненавистных родственников подальше...

Соломия впервые была довольна мужем: Лева ловко-таки пролез в купечество. Теперь-то уж они выйдут в люди. Дочь в богатом доме живет, даже слуг держит. Хватит и ей, Соломии, копаться в земле да в навозе, коров доить. Теперь-то она может одеться, как богатая купчиха, и надеть свои драгоценности, особенно бриллиантовое ожерелье — нечего ему лежать в сундуке в подвале. Все так и ахнут, когда она появится в купеческом собрании в бриллиантовом колье и станет в центре внимания всех мужчин и завистливых купеческих жен.

Соломия в сотый раз гляделась в зеркало в золоченой раме: «Господи, как же я постарела... Где моя тонкая талия! А лицо! Боже, сколько морщин! Бежит время... Даже дочь Дарья давно уж — женщина в годах... Неужто старость?»

Она стала думать, что там с отцовским домом в Аргаяше, о Куликовском хуторе. Непременно надо съездить в Казань, а по дороге в Аргаяш да и на хутор заглянуть...

Вскоре после приезда в Екатеринбург Лева с Соломией купили каменный двухэтажный дом, открыли торговлю тканями, одеждой, казанскими валенками, стали богатыми и известными людьми.

## БЕГЛАЯ НЕВЕСТА

В семье Елпановых в эту весну произошло неприятное событие. Перед самой Троицей из Юрмича опять приехали сваты. Сваты сидели в избе и разговаривали со старшим Елпановым, а Марианна из маленькой горенки-боковушки слышала весь разговор. Лицо ее было красно, на глазах выступили злые слезы: Петр Васильевич сватам отказал наотрез. Елена Александровна хотела было готовить яичницу на закуску, но Елпанов вино пить не стал, сказал сватам, чтобы не тратили попусту время и больше к нему не ездили: у его дочери уже есть жених. Сваты принялись за уговоры, но Петр Васильевич был непреклонен:

— Кончен наш разговор, сказано — сделано! А сидеть мне с вами некогда, меня дела ждут!

Он пошел сначала смотреть, как работники строят кирпичный завод, потом в кузницу и на мельницу; да надо будет после паводка плотину осмотреть хорошенько — не нужно ли кое-где подчинить ее. Только поспевай доглядывать за всем да за всеми: на работников надейся, да сам не плошай.

«Времени и так не хватает, хоть вечером спать не ложись, а еще сваты эти навязались, — во время кратких передышек раздраженно думал Елпанов. — Всякая нищета еще будет сватов засылать... Любовь, вишь, у них! А с чем ее едят, любовь-то? Я вот сам век без любви прожил и, слава богу, не помер. Придет время, и выдам Марьяну замуж, да только за того, за кого мне нужно».

Петр Васильевич давно наметил выдать дочь за старшего сына тагильского купца Варсонофия Зыкина. В сентябре около Богородицына дня вот год будет, как он овдовел, умерла жена, осталось двое детей, уже большие, скоро и от рук отойдут, старшему уж лет пятнадцать.



Правда, Дмитрию Зыкину уже около сорока, да что из этого — зато он купец первой гильдии.

«И Марьяна не бог весть какая красавица, ей ли еще выбирать-то? Нечего им потакать! Что девка может понимать в выборе жениха? Дай волю, она и за работника выйдет, если в башку зайдет эта блажь — любовь... Прикажу — и пойдет за Зыкина, никуда не денется. Недаром говорят: стерпится — слюбится!»

С этим Петр Васильевич забыл про сватов и не видел даже, когда они уехали: повседневные хозяйственные заботы и хлопоты всецело поглотили его.

А Марианна, наплакавшись в своей горенке, вечером пошла на улицу делиться своим горем с подружками.

Коротки июньские ночи. На востоке уже давно зазолотилась полоска неба. Легкий весенний ветерок прошелся, прошелестел листвою, задел верхушки тополей, кусты черемух в палисадниках и умчался к полевым воротам, подняв пыль деревенской улицы.

В предутреннем сладком сне видит Петр Васильевич, как они с Марианной пашут поле, она, совсем еще девочка, ездит на гусевой, а он босой идет за плугом. Поле длинное-длинное, ни конца ему нет, ни краю. Петр радуется, что эта вся земля его. И вдруг он уже у реки, а река широкая, будто и не Кирга вовсе. Смотрит, а Марианна стоит на том берегу, и перехода нет никакого. Он хотел ей крикнуть — и проснулся...

Первой Марианнухватила мать, когда пошла будить дочь доить коров. Похолодев от ужаса, она сказала только что проснувшемуся мужу:

— Отец! Марьянка-то ведь все еще с гульбища не вернулась!

— Как? Она не с ума ли сошла?! Утро уж на дворе! Сдурела совсем девка... Ну, я ей покажу — дома сидеть будет! И ты тоже хороша — зачем ее на гулянку отпустила?

— Ну ладно, отец, не ругайся, может, у подружек где ночевала...

— И никаких подружек, никаких ночевок боле! Дома работы столько, а ей хоть бы хны, вот явится — все космы выдеру, и будет дома сидеть до Покрова... А потом за кого хочу, за того и пойдет замуж!

— Да ведь ей, слава богу, уже не семнадцать лет — двадцать третий пошел, свой ум полный! На привязи держать ее, что ли? Скоро и сама никуда ходить не будет, старой девой останется...

— Ну, раскудахталась! — только плюнул Петр Васильевич.

Елена Александровна молча вышла в сени, взяла с полки подойник и пошла доить коров.

«Ну где же она? — билась в голове мысль. — Неужто решила бежать из дома, такая тихоня?»

Елена Александровна стала доить, первые тугие струйки молока глухо ударили в дно деревянного подойника, но тревожные мысли не давали покоя. Она еще надеялась, что вот-вот своим легким, неслышным шагом войдет дочь и виновато скажет:

— Ой, мама, проспала я немного! Весной вставать рано так неохота!

И начнет ловко и уверенно доить. Что бы ни делала дочь, в руках у нее все словно кипело. И характер у нее покладистый, в любой семье такую любить будут, с кем хочешь Марьяна уживется...

Елена Александровна подоила, пошла в погреб, слила парное молоко и перед тем, как идти доить других коров, заглянула в дом.

Муж уже ушел в кузницу; Евгения затопила печь и меси́ла квашню. Елена Александровна приоткрыла дверь в горенку, там по-прежнему было пусто, стояла застеленная Марьянкина постель...

Подоив всех коров, Елена Александровна стала провозжать скотину на выгон и тут увидела лучшую подружку дочери — Анку Прядеину.

— Анюта, подожди!

Анка остановилась, побледнела, лицо ее вытянулось, глаза в испуге расширились. Елена подошла к ней вплотную и почти шепотом спросила:

— Анюта, ты не знаешь, где наша Марьяна? Она дома не ночевала, мы ночь не спали, все иззаботились, где она, не дай бог, стряслось что-то...

Анка тяжело вздохнула и сказала:

— Не велела она мне говорить-то, да уж ладно, тетя Елена, вам скажу... Уехала она еще вчера... Прямо с гулянки жених ее в Юрмич увез...

— Да как же это?!

— Очень просто... Она еще тогда с ним договорилась, как свататься они приезжали... Сваты-то в ходке уехали, а жених остался; лошадь его ходила до вечера на выгоне, а сам он где-то прятался... Марьяна тем временем кошелек одежды наклала да задами к нам принесла — в погребушке мы с ей спрятали кошелек-то. Вечером, как собрались на гулянку, петь да плясать принялись, мы кошель из погреба взяли, задами и гуменниками до Ермолаевой бани, да в кусты на берегу Кирги. Жених спрашивает: никто, мол, вас не видел? Никто, отвечаем. Конь-то у его за рекой был, чтоб, значит, по мосту через всю деревню не ехать... Ну, обнялись, поцеловались мы с Марьяной в последний раз, заплакали обе. «Не говори пока, — просит она, — нашим-то. Убегом я решила взамуж идти, давно уж я Андрея люблю... А тятя — против, и теперя какого-то богатого жениха в Тагиле выискал мне! А я ни в жисть ни за кого взамуж не пойду, кроме Андрея... Маму вот только шибко мне жалко, да чё уж — век с ней жить все равно не придется...»

У Ермолаевой-то бани Кирга неглубока, брод там есть; перенес Андрей кошель на ту сторону. Мы за это время

простились с Марьяной-голубушкой, потом спустились оба они к реке под обрыв, подхватил он ее, ровно перышко, перенес на руках, посадил к себе в седло и ускакали оне...

А я еще постояла на берегу, поплакала, потом для виду на игрища пошла. Девки спрашивают: «Куда ты свою подружку девала?» — «Чё-то у нее голова заболела, — отвечаю, — вот я ее домой и отвела...»

Прости уж меня, тетя Елена, что я не желаячи пособницей ее убега сделалась!

Елена Александровна остолбенела на месте, земля словно уходила у нее из-под ног... Как теперь сказать об этом мужу?! О господи! Не миновать скандала...

А Анюта — тоже как на иголках:

— Ой, как боюсь я, тетя Елена, дяди-то Петра! Как узнает он, што мне будет?!

— Да тебе-то што, Аннушка, ни в чем ты не виновата. Если уж задумала она, так и без тебя бы убежала...

И Елена Александровна в тревоге пошла домой. Стала процеживать молоко, и тут уж дала полную волю слезам: на душе было так тяжело, словно она похоронила свою единственную дочь...

Да и сама она бы ушла куда глаза глядят, так ей опротивело все в этом богатом, но постылом доме, где с утра до ночи все гнут да гнут спину... Да и сын Петра Васильевича Иван характером весь в отца. И уж об отцовском капитале всерьез подумывает...

Когда Иван с женой подслушали разговор отца с матерью и узнали, что Марианны нет дома, Иван смекнул, в чем дело, и в душе обрадовался: если Марьяна ушла вза-муж убогом, то как пить дать, отец рассердится и откажет ей с приданым, и он, Иван, станет единственным наследником отцова богатства. Дождавшись, когда Петр Васильевич и Елена Александровна ушли из дома, он поскорее велел жене собрать завтрак. Евгения язвительно бросила:

— Уж подождал бы ты, Ваня, тятеньку-то! Хотя долго ждать придется: ведь не возвратится Марьяна домой, дак искать надо будет!

— Нет уж, — отрезал Иван, — пусть они сами ищут, а я поеду на займку — пары пахать! Сенокос скоро, а у нас паров пахать еще эвон сколько! Некогда мне беглых девок ловить... Уж давно она не маленька, двадцать три скоро будет... А ты помалкивай, не встревай в это дело — без тебя разберутся! Она убежала, ей и ответ держать, а мы тут ни при чем!

Вдоволь наплакавшись, Елена Александровна немного успокоилась и пошла в дом. Евгения садила в печь хлеб, ехидно поглядывая на свекровь, но ничего не спрашивала. «Так вам и надо, пусть треплют по деревне, что у Елпановых дочка из дому сбежала... Вот позорище-то будет на всю округу! Молодец Марьяха, что убежала, а то уж совсем папаша затиранил всех каторжной работой. Да еще жениха дочери откопал — плешивого старого черта! Все кожилится<sup>104</sup>, чтобы все только по его нраву было, чтоб каждый под его дудку плясал, а он только деньги в сундук себе загребал!»

Евгения выглянула в окно кухни: свекор зашел в ограду и тяжелой походкой направился к крыльцу. «Ид-е-ет, черт горбоносый, опять, поди, придираться будет!»

Петр Васильевич вошел в избу, мало нагнувшись в низком притворе, задел картузом за притолоку, рассердился и с порога начал:

— Ну, явилась беглянка-то?

Елена Александровна, бледная, с заплаканными глазами, виновато отвела взгляд:

— Нет, не явилась покуда...

— Да она прятаться надумала, что ли?! Али со вчерашними сватами сбежала?

---

<sup>104</sup> Кожилиться — надрывать из последних сил.

— Может, и с ними, — неуверенно ответила Елена Александровна. — Ты бы, отец, успокоился... Чё уж теперь поделаешь, видно, любит она Андрея-то!

— Вот я покажу ей любовь! И тому, кто чужих невест сманивать горазд, достанется! Не могло, мать, такого быть, чтобы она своею волею поехала, не могла она, такая тихоня и смиренница, меня послушаться! Нет! Нет!.. Едем сейчас же отбирать Марьяну... Привезу и затворю в малухе на замок!

Елена Александровна упала головой на кровать и заплакала навзрыд. Евгения как ни в чем не бывало гремела в кухне чугунами да ухватами... Петр Васильевич ринулся в кухню:

— А Иван твой где?

— На заимке, пахать уехал давно уж...

Петр побежал было к выходу, но, видно, передумал и вернулся.

— Мать, дай мне чистую рубаху и праздничный кафтан!

Елена Александровна достала все нужное и опять легла, сотрясаясь от рыданий.

Наскоро одевшись, Петр Васильевич запряг лошадь в легкие дрожки. По деревне он ехал, словно крадучись, почти шагом, чтобы меньше обращать на себя внимания, и зло глядя на окна домов.

«Ишь ведь, неработь<sup>105</sup>! Сразу по три да четыре рожи в окна уставились... Вот узнают про Марьяну-то, дак начнут зубы скалить... Ну, погоди ты у меня, родима дочь! Ужо я тебе покажу, как из родительского дома убежать... Новые сыромятные вожжи все об тебя исхлещу! Исхлещу и в малуху запру до самого Покрова, а там за Зыкина Дмитрия взамуж отдам... Я тебе покажу, как против отцовой воли идти!»

---

<sup>105</sup> Неработь — лентяй.

Выехав за деревню, он нещадно погонял Гнедка, дрожки трясло на ухабах.

«Как же в других-то семьях по десять детей, а родители справляются? У меня двое, да и то неслухи. Ванюха тоже хорош, огрызаться стал, отвечать. Ну вот взять хотя бы седня, к чему было угонять из дому так спешно? В другие дни еле выпроводишь, сколь время копается, как жук в навозе, а седня дома нужен, дак нет же...» — думал раздосадованный Елпанов.

На большом ухабе дрожки резко подпрыгнули. Елпанов чуть не вылетел из коробка. Вылез, осмотрел ходок. Так и есть — слетело колесо. Выпала втулка. Ну где ее теперь найдешь? Сколь раз хотел засыпать этот нырок! Петр снял кафтан, засучил рукава новой рубашки и, окуная руки по локоть в жидкую грязь, стал искать втулку. Вот она, окаянная! Петр поставил колесо, подстегнул Гнедка и продолжил свой путь.

На заимке никого из мужиков не оказалось, только работница Устинья, жена Лазарева, ткала холсты. Ее дочка, Дуняшка, собиралась погнать на речку Осиновку гусей.

Устинья встала из-за кросен, поклонилась:

— Доброго здоровья, Петр Васильевич! Мужики-то у Кривого логу нынче большое поле пашут, я сейчас Дуняшку за ними пошлю, а вы пообедайте пока...

— Нет, я сам к ним поеду, а поесть, пожалуй, собери, да поскорей только!

Ивана с работниками Елпанов нашел там, где и говорила Устинья, — на поле возле Кривого лога. Иван, в пестрядинной рубахе без пояса, в холщевых штанах и в броднях из сыромятины широкими шагами ходил по полю, налегая мускулистыми руками на рукоятки сабана<sup>106</sup>.

Увидев отца, Иван остановил лошадей у самой межи и поздоровался.

---

<sup>106</sup> Сабан — плуг с колесным передком.

— Вижу, допахиваете уж, немного осталось, — начал Петр Васильевич. — Вот что: работники и сами пахоту закончат, а мы с тобой в Юрмич поедем — Марьяну домой забирать! Вчера сваты оттуда приезжали: снова да ладом — опять за Андрюху Соколова сватали. Я не согласился, дак они силой Марьяну увезли!

— Ты думаешь — силой? — пожал плечами Иван. — Это вряд ли... Силой никто б ее не увез, знать, по стговору все было, по ее доброй воле! Я так думаю: любят они друг друга с Андрюхой-то, иначе зачем бы сватам второй раз лошадей гонять, когда в первый раз отказано?

— Нет, не бывать этому, поеду и отберу! Едем со мной, Лазаревых двоих прихватим и отберем!

— А если она не поедет обратно-то?

— Как это — не поедет?! Поедет как миленькая, ежели отец родной прикажет!

— Вот тебе, батя, мой сказ: что хошь делай, а я с тобой не поеду! Езжай один или с работниками, а я тебе в этом деле не помощник. По мне — хоть за нищего пусть выходит, раз уж любит...

— А что я скажу Зыкину, ежели я слово дал отдать Марьяну за его Митрия?!

— Ну, не велика печаль, что не выйдет она за этого плешивого купчишку... Андрюха-то Соколов — не чета ему!

— Окстись! Что ты мелешь про честного купца! Да что вы, окаянные, стговорились все, что ли, против меня?! И ты туда же! Я ведь не посмотрю, что в сажень вымахал и борода до пупа, отлуплю по загривку-то!

Иван бросил недобрый взгляд на отца и с вызовом сказал:

— Спасибо, батя, ты меня уже сделал счастливым, женил по расчету на купеческой-то дочери... Всю жизнь ты мне испортил! С девятнадцати лет не живу, а маюсь — домой неохота заходить... А всему виной жадность твоя!



Купечество, купечество... Да на черта оно сдалось-то, это купечество!

— Для тебя же я и старался! Да видно, дураку отцова забота — не помощь!

...Елпанова словно громом поразило, когда Иван отказался с ним ехать, да еще выкорил отца за то, что он его женил силой. Чего греха таить, Петр Васильевич и сам давно уж каялся, что женил Ивана на вершининской дочери и тот взял хворую невесту...

«Надо было не торопиться с Ивановой-то женитьбой, погодить маленько — нашли бы невесту и получше... Вон какой парень, кровь с молоком, а баба вовсе никудышная! Какая из ее работница? И коров доить не может, и у печи тоже кое-как... А в нашем хозяйстве нужна баба здоровая, расторопная да работающая!»

Петр Васильевич, даже не дав отдохнуть лошади, прямо с заимки поехал в Юрмич. Юрмич — богатое хлебородное село — получило название от неширокой, но глубокой и полноводной речки. Как и Прядеина, оно стояло на обоих берегах реки. После полудня Петр Васильевич был уже на месте. Проехав через мост на другую сторону реки, он свернул в чистую улочку с палисадниками из черемухи и рябины. Он знал, где живут Соколовы: в Юрмиче у Елпанова было много знакомых, у которых он закупал хлеб на продажу, и немало друзей, к кому Елпановы ездили в гости и принимали гостей в Прядеиной.

Вот и усадьба с большим старым тополем. Петр Васильевич остановил лошадь у тесовых ворот. Вошел, и на мгновение ему показалось, что в окне мелькнуло и тут же скрылось лицо дочери. Елпанов прошел к крыльцу. С крыльца поднялся глава семьи Соколовых, Илья Ефимович, могучий мужик, еще не старый, моложе Елпанова.

— Здравствуйте, Петр Васильич, — приветствовал хозяин неожиданного гостя. — Милости просим, проходите в дом!

Елпанов шагнул в просторные сени.

— Проходите, раздевайтесь, я сейчас накажу — хозяйки на стол подадут!

Из кухни вышла белокурая синеглазая пожилая женщина, поклонилась и стала хлопотать у печи.

— Это вот моя супружница, Домна Александровна.

В избу вошли сыновья Соколова — один другого выше и здоровее.

— А вот мой второй сын, Федор, женатый уже, и дите есть, а этот — Алексей, четвертый сын. Есть еще Пашка, двенадцати годов, да три дочери... Ну Андрея, самого старшего, вы знаете... Да что мы стоим? Вы садитесь за стол, Петр Васильич; мы только што отобедали, но сейчас хозяйка сгоношит чего надо!

— Нет, спасибо, Илья Ефимович, за стол я не сяду и гостем вашим не буду! За дочерью я приехал — домой ее увезти! Где она у вас заперта?

— У нас в дому людей не запирают, Петр Васильич!

— Ну так ведите ее сюда, а то я сам в горницу пойду!

Елпанов уже направился было к дверям, но хозяин, по-свойски перейдя на ты, запротестовал:

— Ты лишка-то не шуми, там ребенок спит, внучек наш, а лучше давай-ка не шеперься<sup>107</sup>, садись за стол, да вино будем пить!

В горнице на столе уже стояла бутылка с вином и исходящая вкусным парком яичница.

— Сказано же — не пить-гостевать я к вам приехал, а за своей дочерью!

— Да ты сядь, потолкуем, выпьем, посидим, — хозяин взял Петра за рукав кафтана.

— Да что ты меня угощать-то хочешь, к чему?! — Петр с силой стряхнул руку хозяина. — Сказано, не

---

<sup>107</sup> Шепериться — важничать, хорохориться.

бывать моей дочери за вашим сыном, и все! Я не пьяница, чтобы дочь за рюмку вина продать!

— А никто и не говорит, что продай, она человек, не корова, кого любит, за того и пойдет.

— Еще будете мне ерунду говорить — любит, любит!.. Сказано, силой отберу и домой увезу!

Елпанов окончательно вышел из себя, но в этот момент в горницу вбежала Марианна. Петр Васильевич такой свою дочь и не видывал: полыхающая от гнева, с горящими решимостью глазами, она обратилась к пораженному отцу:

— Батюшка! Постыдитесь вы людей, ради бога! Никто меня силком не увозил, сама я собрала кошелек и пошла вслед за суженым своим! Люблю я Андрея Ильича! А Митрию Зыкину, душному козлу старому, так и скажите, что я его терпеть не могу, мне лучше вот в Юрмич головой, чем с таким-то жить!

«Вот тебе и тихоня! Вот так смиренница! Ведь, бывало, ходит и глаз не подымает... Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся, вестимо — не зря!»

Донельзя удивленный, Петр Васильевич молча слушал дочь, которая в момент гнева стала просто красивой, и ловил себя на мысли, что он даже чуть-чуть гордится ею... Но вслух Елпанов сказал:

— Ну коли так, мила дочь, учти: в чем ты из дому убежала, в том и ходить будешь! А приданое твое я лучше Дуньке-работнице отдам!

— А у нас к венцу-то ей уже вся справа припасена, — примиряющим тоном ввернул Соколов-старший, — не хуже других оденем и свадьбу справим! Милости просим, Петр Васильич, в воскресенье в Белослудское: их в церкви после обедни и обвенчают!

— Спасибо, Илья Ефимович, что ты меня на свадьбу пригласил! — потихоньку отходя от гнева, буркнул Елпанов. — Ну а после свадьбы-то что они делать станут, как жить-то? Ведь у их — ни коня, ни возу...

— Ну, жить, как все живут, — робить да помаленьку обзаводиться чем нужно! Нам в купечество не выходить, а с голоду небось не померем...

Елпанову показалось, что Соколов вроде бы смеется над ним... Он поспешно натянул картуз и, не простившись, пошел на улицу. Хозяин вышел следом за ним.

— Будет сердать-то, Петр Васильевич! Приезжай на свадьбу! Мало ли чё в жизни случается... Не первая дочка твоя и не последняя убогом замуж ушла, дак чё уж теперь — век злиться, што ли? Надо же их благословить к венцу-то...

Елпанов взял в руки вожжи:

— Я ее вот этими вожжами благословил бы!

Разбирая вожжи и поправляя картуз, он проговорил напоследок:

— К себе нас не ждите... Прямо в Белослудское подъедем, аккурат к венчанию!

«Выходит, прав оказался Иван-то, нечего было ездить к Соколовым! И дочь домой не воротил, и день впустую потерял... Видать, не судьба выйти в купечество Петру Елпанову, — уныло думал он по дороге. — И с сыном раздор, по-своему ему, вишь, жить захотелось! Того и гляди отставит от всех дел и капитал в свои руки возьмет... О дочери и говорить нечего — вместо пышной свадьбы одно позорище да деревенские пересуды. Жизнь, получается, и вовсе трещину дала...»

Как в плохую погоду или к ненастью стелется-растается дым по земле, так и по деревне Прядеиной пополз ядовитый, словно гарь, слушок. Люди судачили: «У Елпановых дочь из дома сбежала. Елпанов ездил искать. Воротился ни с чем. Теперь злой, как цепная собака». Слушок, неизвестно откуда взявшийся, заполз вечером в пожарницу. И была новая пицца для разговоров. Только говорили в деревне по-разному. Одни утверждали, что Марьяна сбежала в слободу, другие уверяли, что она в Кирге у тетки

Настасьи. Третьи утверждали, что Марьяна ушла замуж убогом в Юрмич. Вот тебе и тихоня девка! Не стерпела, знать, елпановского ига. Ведь она у них жила, как работница. Теперь она отцу-то в немилость попала, какое уж тут приданое, последнюю юбчонку отберет...

## МАРЬЯНИНА СВАДЬБА

Елпановской усадьбе, казалось, не было ни конца ни края. За рекой больше никто не селился, было некуда. Елпанов застроил весь берег своими мельницами, складами, навесами для зерна и лошадей, сараями, караулкой и избой для приезжающих из других деревень помольщиков. Дальше шли кузница и мастерская, а еще дальше строились сараи для сушки кирпича-сырца и печи для его обжига.

Строить елпановский кирпичный завод нанимались местные мужики в свободное время между покосом и жнитвом. В неурожайные, голодные годы люди рады были работать за один хлеб.

...Ночи напролет Елена Александровна обливала слезами подушку. Просила мужа простить дочь, отдать приданое и помириться со сватами.

— По гроб жизни не прощу ей этой дерзости, ненавижу их, — сжимая кулаки, отвечал Петр.

— Да за что же, помилуй бог, ты их возненавидел?

— Враги они мне теперь смертные на всю жизнь!

— Отец, прошу тебя, забудь обиду на дочь, поедем в Белослудскую к венчанью, благословим ее на брак, и домой. Подумай ты сам, креста на тебе нет, что ли, как же она пойдет без родительского благословения!

— Замолчи, дура! Потатчица!

— Не хочешь? Я пойду одна! Не стыдно тебе будет?! — закричала жена, не выдержав обвинений мужа. — Ты послушай, люди-то что про тебя говорят. В кого ты превратился со своей жадностью? Правильно, что хоть Марьянка отвоевала свое счастье! Ты сам женился на мне только из-за денег. Я не слышала от тебя ни одного доброго слова. Не хочу больше терпеть! Поеду в Екатеринбург к брату, не стану тут жить! Оставайся и

подавись своим богатством! Все можно было по-доброму сделать, уперся как бык. Люди на нас из-за тебя пальцем указывают. Вечно поперек живешь. Тебя в деревне никто не любит...

— А мне и не нужна их любовь! Не любите?! Пожалуйста! А жрать нечего будет, тогда полюбят. Ишь, нашлась благодетельница! Никакого покою дома нет. Завтра на заимке ночевать буду!

— Вот и хорошо, давно бы так! Переселяйся на свою заимку и живи там! Всю скотину туда погоняй, надоело мне всю жизнь в работницах быть. Сейчас вся работа по хозяйству на мне. А што мне твои деньги! Где они? Как вышла за тебя, копейки не видела!

— Да не кричи ты! Евгеньюшка с Иванком услышат.

— Пусть слышат, пусть знают правду! Сама им расскажу.

Елпанов остолбенел: он и не предполагал, что его смиренница-жена может дать такой отпор.

Хотя на дворе была глухая ночь, он спешно оделся и вышел во двор. Через четверть часа он выехал на заимку. Гулявшие в деревне девки и парни видели, как он погнал к полевским воротам. Парни сгалушничили ему вслед: «Елпанову и ночь не спится, погнал искать свою Маремьяну!»

Весь день у Елены было тяжело на сердце, она уже глубоко раскаивалась, что нагрубила мужу. Думы одна хуже другой не покидали ее. Что же ей делать? Муж хоть и упрям, но надо было идти другим путем, умолять, упрашивать слезно, но она и так умоляла, упрашивала и плакала. Как теперь поправлять дело? Если отец не даст благословение, вся свадьба будет испорчена...

Петр вечером с заимки приехал рано и, превозмогая себя, буркнул жене:

— Собирай, мать, для Марьяны в сундук платья, полотенца да скатерти-половики — утром в Юрмич отвезем.

И сразу словно камень свалился с сердца Елены Александровны. Как молоденькая, мигом упорхнула она в горницу. Когда вошел Елпанов, она накладывала уже второй сундук...

— Будет тебе накладывать-то, и одного сундука ей хватит!

— Да кому же это все останется, Евгенья, што ли? Ведь Марьянино приданое-то, сама она и ткала, Евгенья-то, сам знаешь, не больно-то прядет, а ткать и совсем не может!

— Ну бог с тобой, и другой накладывай! Штоб только ее одно приданое, а то вить ты горазда и свои все станушки<sup>108</sup> ей отдать!

Пётр Васильевич снял с божницы икону и протянул жене:

— На, заверни в чистую скатерку да положи куда-нибудь поближе.

— А ты, — он обернулся к вошедшему Ивану, — один тут распорядись! В кузнице работы не будет, на заимке и без тебя управятся, а ты весь день находишься на строительстве. Следи, чтоб поденщики робили как следует, а то знаю я их: им бы, канальям, все в пень колотить да день проводить. К вечеру мы с матерью домой возвратимся.

— Да как так — на свадьбу ведь едете?!

— Дома дела есть, а на свадьбе гулять есть кому! — сказал как отрезал Петр.

После разговора с сыном вывел из конюшни Гнедка, запряг телегу, в которую погрузил приданое дочери.

— Мать, ты что копошишься? Поехали уж, — поторопил жену Петр.

Когда Петр с Еленой приехали в Юрмич, то жениха с невестой уже не застали. Сгрузили сундуки с приданным

---

<sup>108</sup> Станушка — нижняя часть женской рубахи, пришивалась отдельно к верхней части. Поперечный шов проходил чуть выше талии.



и налегке погнали в Белослудскую. К церкви они приехали вовремя. В притворе и на паперти толпился народ. Елпановы, стараясь не обращать на себя внимания, стали потихоньку пробираться в церковь.

Петр шепотом спросил стоящего рядом мужика:

— Это первая пара венчается?

— Да, первая, там еще две, — ответил мужик тоже шепотом.

Марианна с Андреем стояли в дальнем углу. Венчать их должны были в последнюю очередь. Они сразу увидели, что отец с матерью зашли в церковь и ищут их. Молодые подошли к родителям первые. Поклонились в пояс и поздоровались. Одеты они были хоть и не богато, но вполне прилично. На невесте было белое до полу платье, на голове восковые цветы. Жених одет в городской черный костюм и в белую рубашку. Среди пестрой толпы они выглядели нарядно и торжественно.

Елена Александровна с жалостью смотрела на свою дочь. Марианна изменилась за эти дни. Щеки ее ввалились, лицо было болезненно бледным. Грустные глаза выдавали душевные переживания.

Мать шепнула Марианне, что они уже были в Юрмиче, привезли ее приданое и поехали сразу сюда, надеясь догнать их по дороге. Марианна со своим женихом заметно оживилась и повеселели, они поняли, что родители Марианны уж наполовину их простили и готовы дать им свое благословение. Марианна была крайне довольна тем, что привезли ее сундуки с одеждой, хоть есть что надеть первое время, ну а там будет видно. Она прекрасно знала, что вышла в большую семью, где будет и нужда, и голодно порой, но она всей душой любила своего жениха, и это придавало ей силы.

Вот подошла очередь венчаться Андрею и Марианне. Они пали в ноги родителям, и те их благословили.



У Елены Александровны от всех пережитых волнений закружилась голова. Она еле держалась на ногах, прислонившись к стене. С трудом дождалась конца венчания, чтобы выйти скорее из церкви на свежий воздух.

Молодые стали упрашивать родителей поехать в Юрмич на свадьбу, но Петр Васильевич наотрез отказался, хотя и пригласил их после свадьбы в гости.

Сразу от церкви Елпановы поехали домой. За всю дорогу не сказано было ни одного слова. Когда приехали в Прядеину, уже стемнело. С юго-западной стороны надвигалась туча, где-то далеко гремел гром. У пожарницы наигрывала гармошка и слышались звонкие девичьи голоса.

Петр слез с телеги, отворил ворота, и добрый выносливый Гнедко зашел во двор. Елена Александровна, с трудом разминая затекшие ноги, слезла с телеги, вошла в дом и, не раздеваясь, легла на кровать. На сердце будто лежал кусок льда и была одна пустота и отрешенность.

Евгения в одной исподней рубахе и юбке, прихрамывая, зашла в горницу:

— Мамонька, что же вы седни-то возвернулись? Не остались гостевать на свадьбе-то? Мы вас ждали завтра к вечеру.

— Иди спи, доченька, занемогла я!

Впервые за время жизни в елпановском доме Елена Александровна не спросила, управлена ли скотина и все ли в порядке в хозяйстве. Ей было все равно. Словно она была не хозяйкой всему, а работницей-поденщицей. С тех пор как Марианна ушла из дому, Елене Александровне опостылел этот мрачный богатый дом...

## ОБИДА

Настала горячая пора покоса. К страде деревенские жители давно уже перемололи на мельнице все свое молотье<sup>109</sup>, запасли муки на всю страду, чтобы не терять на мельнице дорогое страдное время. Елпановские мельницы были временно остановлены: теперь уж до нового урожая не поедут помольщики.

Возле плотины был сложен ошкуренный «красный» лес. Свежие, в два обхвата бревна источали терпкий запах, а под солнцем на свежих срезах выступала янтарная смола.

Летом, в самую жару, предстояло спустить воду из мельничного пруда и поправить, где понадобится, плотину. А пока вода с шумом шла по отводному каналу и, ударяясь в илистое дно, вымывала у плотины омут, который год от года становился все глубже.

По вечерам на закате солнца Елена Александровна выходила на берег и подолгу смотрела в омут, думая о своей жизни и вспоминая Марианну.

Как-то она там — ведь в гости с Андреем к родителям она так и не заехала... В большой многодетной семье Соколовых, поди, после свадьбы и есть-то нечего. Неужто в строк пойдет наниматься дочь моя, да от богатого-то отца?! Вестимо, шибко уж гордые они, Соколовы эти... Да и Марьяна тоже хороша: к чему было самовольничать? Отец как ни скуп, да на лошадь и корову дал бы. Не наличных денег, конечно, но ведь в крестьянстве жить — первое дело лошадь и корова... Тяжело вздохнув, Елена Александровна шла на пологий берег — искать пасущихся гусей.

А на елпановской заимке жизнь не затихала ни днем ни ночью. Пока не погаснет вечерняя заря, работали все — и

---

<sup>109</sup> Молотье — то, что мелют. Словарь русского языка XVIII века. Л., Наука, 1984.

хозяева, и работники. Далеко был слышен по Осиновке стук молотков и звон отбиваемых кос; бабы заканчивали вечернюю дойку, топили печь, готовили ужин, стряпали хлеб, выкуривали комарье и мошкарку из конюшен и домов дымом зажженных еловых и сосновых шишек. Готовились к будущему дню — чтобы подняться чуть свет, когда начнет золотиться первая полоска на востоке, и начать новый трудный день.

Когда вокруг заимки обкосили травы и стало меньше гнуса, Елпановы угнали туда весь свой скот, оставив одну дойную корову, и увезли на заимку работницу Настасью. Жара стояла необыкновенная: овцы, открыв рты, лежали в тени черемух у речки, коровы норовили забрести по брюхо в воду. Мужики в прилипавших к телу рубахах, осыпанные сеном трухой, уметывали стога.

Петр Васильевич по пути с заимки домой не раз сворачивал к обочине поля, мял в ладонях колосок ржи, пробовал на зуб зерно и привычно думал: «Хороша рожь-матушка уродилась — густая да высокая, с полным колосом! А пшеницы недород нынче, знать-то, прихватило ее — вон какая жара несусветная. И колос мелкий, и зерно тощее... Овсы вроде хорошо поднялись, уже желтеть начали. Эх, дождичка бы теперь, да проливного, и жары чуток поубавить! В такую жару и скотине тяжело: хорошо, что коров из деревни сюда пригнали — там весь выгон давно выгорел. А здесь — благодать-то какая, кабы еще не зловредные пауты эти».

В воздухе слышался стрекот кузнечиков и разливался аромат свежего сена. Розовело вдалеке поле, цвела гречиха, слышалось жужжание пчел. Над водой носились крупные стрекозы с огромными полушариями синих глаз. Ветер приносил тонкий аромат лабазника и золотянки. На вырубках ярко, точно капли крови, алела земляника.

Восемнадцатилетняя работница Настя Кузнецова была рада, что ее взяли на заимку на сенокос. На заимке

много народу, кроме основных работников были еще наняты пострадки<sup>110</sup>. Здесь куда веселее и проще, не то что в доме, где целый день проходит в незаметных хлопотах среди надутых и сердитых хозяек. Правда, старая хозяйка не была строгой. Она просто печальна и рассеянна, особенно с того момента, когда в доме не стало ее дочери. Даже не раз Настю называла Марьяной. Но зато молодая хозяйка была сушая змея. За короткое время, что прожила Настя в елпановском доме, она пролила много слез от Евгении Прохоровны. Эта с детства увечная и больная женщина с годами стала невыносимой. Она как бы мстила молодым девкам-работницам за их молодость и красоту. Подметила как-то случайно, что муж ее, Иван Петрович, оказал Насте какое-то малейшее внимание, с тех пор она всем своим нутром возненавидела молодую работницу. Стала придираться ко всякому пустяку и притеснять ее. Настя ревела и старалась исполнять все капризы и прихоти молодой хозяйки. Что было делать бедной девчонке? Оставалось жить и терпеть, ведь отец уже за год вперед взял за нее деньги, чтобы прокормить до нового урожая остальных детей. Жаловаться хозяину Настя не смела, он ей казался строгим и суровым, вечно занятым работой. Настя вообще не видела за все время, когда отдыхал Петр Васильевич.

Евгения Прохоровна все время пилила мужа за каждый пустяк, подозревала в измене. Она давно уже знала, что муж ее не любит, что он женился на ней только ради большого приданого, ради денег. И сколько она ни пыталась, с ней никто не считался в елпановском доме. Уж так повелось, что все женщины были отстранены от дела, от власти и капитала, они не имели права подавать голос, распоряжаться и вникать в хозяйственные дела. На

---

<sup>110</sup> Пострадки — сезонные работники и работницы на сенокос и жнитво.

их долю выпадала, по сути, та же работа, что и наемным работницам: они должны были вставать раньше всех в доме, топить печи, варить, стряпать, доить коров, управляться со скотом, носить воду, прясть, ткать, шить, стирать — и так круглый год, каждый день до поздней ночи.

Родила Евгения одного сына, и больше детей у нее не было. Сейчас Анфиногену уже шел седьмой год, это был хилый бледный мальчик с синими печальными глазами, золотушный и болезненный. Но дед и отец его приучали к работе, пробовали уже садить верхом на гусевую. Елпановы не любили, когда дети проводили время без дела.

Дед Петро глядел на болезненного внука, говорил: «Экой, Фенко, ты малокровый да худой! Ну ничего! Погоди, уж дай срок, на вольном воздухе да на солнце побудешь — и аппетит появится, и окрепнешь». Но в первый же день пахоты Фенко занемог на весеннем жарком солнце, к вечеру носом пошла кровь, ребенок стал бледным как полотно и вывалился бы из седла, если бы не подоспел отец. Он принес сына на руках домой и отдал на смерть перепуганным женщинам. Дед плюнул в сторону, со злостью пробормотал сквозь зубы: «Экой, прости бог, выродок! Мозгля... слякоть какая-то! И это елпановский наследник! Эх, господи, за что караешь, разве таких нам надо наследников для нашего дела? Эвон работы-то — непочатый край. Земли одной сколь обработать надо. Нет! Мой Ванюха не такой был. Это все с той стороны нанесло. Не надо было женить Ванюху, а поискать получше ему невесту-то. Эх, дурака спороли! Да чего уж теперь, не воротишь. Не любит он ее, всю жизнь испортили парню».

Так прошло лето, отбушевало ливнями, грозами. Наступила тихая пора бабьего лета. Запыхала зарницами-хлебозорами, все чаще заволакивала небо обложными грибными дождями. Вот и страда кончилась, к югу потянулись косяки перелетных птиц.

А там уже и Покров на носу... Рассчитаны сезонные работники-пострадки. Остались только те, что нанялись на год.

Как-то вечером после ужина, выбрав удобный момент, Елена завела с мужем разговор о дочери:

— Отец, надо бы съездить в Юрмич-то? Может, хлеба там прикупишь, говорят, там нонче пшеница уродилась. Хотелось бы и про Марьянку-то узнать. Как они там? Помирился бы ты, отец, со сватами-то? Да отдал Маремьяне приданое-то!

— Что ты выдумала, глупая баба! Какое ей еще приданое надобно? Мы же ей два сундука отвезли. Еще мало? Натек-ка, выкусите, вместе с дочерью и со сватами, — и он поднес увесистую фигу. — Гордые больно! Нишшо-та! А тоже... Ставят из себя... Гордятся, а чем? Да и Маремьяна хороша! Я ей по гроб это не забуду. Не жди она от меня ничего больше! Приданое? Ну уж нет! Этому не бывать... А мириться? Что я, ругался с ними? Я не виноват! И всему хозяйству будет один наследник — мой сын Иван! А ты не смей тут самовольничать, когда уедем в дорогу! Не твое это дело!

Петр зло посмотрел на жену. Над переносицей врубилась глубокая складка, и горбатый ястребиный нос придавал ему сходство с коршуном, высматривающим добычу...



## СМЕРТЕЛЬНЫЙ НЕДУГ

Прошло больше десяти лет... Тихим пасмурным сентябрьским днем в большой елпановской горнице стоял украшенный гроб. Вся семья провожала в последний путь Евгению Прохоровну. Ближе всех к гробу стоял светловолосый, с синими печальными глазами юноша, сутулый и узкоплечий. Это был Анфиноген. Пододал с заплаканными глазами, оперев голову о руки, сидела ее мать, Евлампия Никаноровна; за последние годы она заметно постарела и осунулась. Пять лет тому назад не стало ее мужа, Вершинина Прохора Петровича.

Иван Елпанов сидел у гроба в большом раздумье. О чем он думал в это время, было неизвестно. Возможно, жалел потраченные годы, совместно прожитые с женой без любви и без радости, а может быть, и свою мимолетно промелькнувшую молодость, которая прошла в трудах и заботах. С годами ему опостылела семья, а заодно и отцовский дом. И если бы не хозяйство, деньги и все прочее, чему он был полный наследник, то Иван, наверное, сбежал бы из дома. Но теперь, когда жена умерла, ему не настало душевного успокоения, а наоборот, в сердце прокрадывалась смутная тревога. Он жалел жену, и когда прощался с ней последний в жизни раз, крупная, как горошина, слеза сползла по щеке и затерялась в густой черной бороде.

Евгения Прохоровна занемогла с самого Великого поста, стала жаловаться на правый бок. Ее лечили местные знахарки. Составляли из трав разные составы, но они не помогали. Евгения просилась в Ирбит к настоящей доктору, Иван Петрович пообещал свозить ее после сева. Но за неделю до Троицы Евгении стало значительно хуже, она слегла совсем и уже больше не встала. Везти ее в Ирбит по худой тряской дороге было невозможно.

Привозили лекарей из других деревень, но улучшения не наступало. Какая-то беспощадная нутряная болезнь с каждым днем подтачивала силы.

Лето выдалось жарким, с душными безветренными ночами. Дожди шли редко. Стояла жара, была засуха. Евгения лежала в горнице. Окна держали плотно закрытыми, чтобы не было сквозняков. Комнату наполнял густой горьковатый запах лекарств и тяжелобольного человека.

Елена Александровна совсем сбилась с ног со всей работой одна. Пришлось нанять работницу, безродную пятидесятилетнюю Филимоновну, которая стала помогать по хозяйству за одежду и хлеб.

В Успенье, когда уже основная работа на полях была сделана, Елена поехала в Киргу. По пути заехала к своей золовке Настасье Васильевне.

Платон с Настасьей жили теперь значительно лучше. В доме чувствовался достаток. По счастью, в это же время в гости к отцу приехал старший сын, который работал доктором в Екатеринбургской больнице. Яков Платонович очень понравился Елене — вежливый и интеллигентный человек. Когда Елена рассказала, что ее сноха вот уже полгода как лежит больна, Яков Платонович решил ехать посмотреть больную.

К вечеру следующего дня Яков Платонович с теткой Еленой прибыли в Прядеину. Не мешкая ни минуты, Яков Платонович прошел в горницу, чтобы осмотреть больную. Притворил за собой дверь, велел немедленно открыть окно, затем достал из своего докторского чемоданчика необходимые инструменты. Евгения уже не могла сама ни сесть, ни подняться и несказанно обрадовалась приезду врача.

Когда Яков Платонович вышел из горницы от больной, Елена Александровна спросила племянника:

— Ну как, по-вашему, Яков Платонович, поди, лучше ее в Ирбит в больницу везти?

— Нет, теперь уже никакая больница ее не спасет и ни один врач не вылечит. Надо было сразу взять ее лечить в больнице, а теперь у нее тяжелое и серьезное заболевание печени. Болезнь крайне запущена, видимо, она болела уже давно.

После обеда Яков Платонович засобирался в Киргу.

— Да куда же вы, на ночь-то глядя? Яков Платонович, пожалуйста, оставайтесь, ночуйте!

— Нет! Спасибо, тетя! Поеду, ничего мне не сделается. Места тут не опасные, никто не тронет, не беспокойтесь. У меня всякое бывает, что и ночи другой раз не сплю. Такая уж работа, ничего не поделаешь. Завтра в Екатеринбург выезжаем. Жена-то у меня тоже при больнице работает.

Когда поздно вечером трое Елпановых приехали с поля, Елена рассказала мужикам, что был доктор, Яков Платонович.

Выслушав мать, Иван нехотя ответил:

— Экие нежности телячьи! Да что может знать этот Яшка, чистоплуный этакий!

— Мы люди простые, на все воля божья, все мы под богом ходим, и кому сколь положено прожить, тот столь и проживет, — добавил Петр и, отрыгнув, стал креститься. — Мне вот, слава богу, седьмой десяток доходит, а ни у каких докторов не бывал. Ни к чему они нам, простым людям.

Только один Анфиноген, как видимо, опечалился больше всех, у него сразу не пошла на ум еда и кусок застрял в горле. Подперев кулаком подбородок, он склонил свою светло-русую голову, и слезы закапали на столешницу из его глаз.

Отец гневно взглянул на него:

— А ты что расхлюпился, молодец, как красна девица! Будет причитать-то! Семнадцатый год орясине, а ума вот ни на столь.

Анфиноген поспешно вышел из-за стола и пошел на улицу.

— За что парня обидел? — вмешалась мать.

— Не парень он! А черт знает что! Мозгяк какой-то, вечно всех ему жалко! Маленький был — всех кошек, собак и воробьев жалел, выл волком в три ручья. А теперь ведь уж большой нюни-то распускать. Блаженный какой-то!

— Сердце у него доброе, мать жалеет, вот и все, и никакой он не блаженный, — в сердцах сказала Елена Александровна сыну и поспешно стала убирать со стола посуду.

Последние месяцы доживала на свете Евгения Прохоровна. Свекровь, зная близкий ее конец, ухаживала за ней и успокаивала как могла. При помощи Филимоновны поднимала и мыла Евгению, и слезы лились из ее глаз. Больная была капризной и всегда просила поесть то, чего не было в доме. Елена с Филимоновной сбивались с ног, доставая требуемое снохой блюдо. Но когда приносили, она даже и не глядела на него — не то что есть. И неизменно требовала что-нибудь другое. Иван Петрович последнее время совсем не стал заходить в горницу, зато Анфиноген часами просиживал у изголовья матери и иногда спрашивал:

— Мама, где у тебя болит-то?

— Сперва вот тут, в правом боку болело, а теперь уж и не знаю где, везде и все внутри болит.

— Может, травы какой тебе нарвать? Попила бы, вдруг полегчает?

— Ой, сынок! Все уж я перепила, нет толку. Видно, смерть моя подходит.

— Ну чего ты, мама, говоришь! Не надо так...

В это время двери в горницу отворялись, просовывалась голова деда:

— А, вот ты где? Фенко, чего расселся, коней в ночное веди! Столько еще работы, а он, варнак, сидит, ему никакой заботы!

— Ну ладно, мама, я пойду?

— Иди, сынок, раз дед зовет. Спасибо, что зашел, а то шибко тоскливо лежать целые дни, скорей бы уж... — и мать бросала на сына полный тоски и печали взгляд...

## ВДОВУШКА СЕРАФИМА

С тех пор, как от болезни печени умерла жена Евгения Прохоровна, миновал уже год, а Иван Елпанов все еще оставался вдовцом. Жениться во второй раз он не спешил: как-никак, было ему не девятнадцать лет, а тридцать восемь, и он давно привык все решать трезво и с расчетом. А Елена Александровна стала сильно прихварывать — маялась спиной, болели и ноги. Работница не могла справиться с работой по дому, пришлось нанимать вторую, но все равно в доме не было прежнего порядка.

Иван понимал: дому нужна хозяйка молодая, работающая и расторопная. Мать стара и больна, ей под семьдесят, уж изробилась за эти-то годы, — надо и ей хоть немного покою дать. На чужих пришлых работниц надежда невелика: еще обокрадут, чего доброго... Конечно, недолго и жениться, ведь мужик он еще не старый, собою видный. Да и богатый к тому же, только посватай — любовью отец восемнадцатилетнюю дочь отдаст! Но в таком возрасте неловко торговаться с отцом невесты из-за приданого, а бесприданницу брать — себе дороже...

Ивану Петровичу давно уже приглянулась двадцатилетняя вдова Руфина Кряжева. Овдовела та два года назад — мужа насмерть придавило лесиной, когда в долматовском бору рубили лес для постройки здания волостного правления в Харлово.

После смерти мужа Руфина осталась жить в большой семье свекра; детей у нее имелось двое: пятый год девочке и третий — мальчику. У молодой вдовы было доброе сердце и мягкий характер. Когда она направлялась полоскать белье к елпановской плотине, аккуратно спрятав густые каштановые волосы под белый платочек, Иван подолгу глядел ей вслед. «Хороша, ничего не скажешь! Вот бы посвататься, — думал Иван, но тут же одергивал

себя, возражая: — Да ведь у нее все приданое только двое детей... Нет уж! Чужих детей в семью ему не надо, даже одного — не то что двоих. Вдова еще молодая, народятся и свои дети, а потом каждый да каждая наследство-приданое затребуют, а Анфиногену-то что тогда останется?! Вмиг все хозяйство распылят да развеют. До Покрова по-гожу, а там, может, сговорю Серафимушку из Тагила...»

На примете у Елпанова была Серафима Ивановна Дьячкова. Вдове — лет сорок, полная, веснушчатая, чуть рыжеватая. На круглом лице — прямой нос да серые глаза навывкат. Красивой Серафиму не назовешь, но и безобразного или уродливого в ее облике ничего не было. Невысокая ростом, широкая в бедрах и узкая в плечах, она походила на хорошо уметанный стог сена.

Муж ее, хлебный перекупщик, скоропостижно умер, оставив имущество и капитал — по слухам, деньги немалые, — бездетной жене. Серафиму не раз уж сватали, но вдова была себе на уме... Зимой, когда Елпановы ехали из Прядеиной в Тагил с хлебным обозом, они, бывало, останавливались у нее. Иван уже, как говорится, подбивал бабки, но окончательного ответа не получил. Однако он знал, что в Тагиле Серафиме оставаться неохота, а вот переехать в Ирбит она бы не прочь. Этим он и воспользовался — пообещал Серафиме со временем в Ирбит перебраться. «Главное — ее согласием заручиться, а там я стану всему хозяином, и никуда она не денется, в деревне жить будет! — обдумывал будущую женитьбу Елпанов. — Мыслимое ли дело — бабе деньгами распорядиться: что она в них понимает? Правда, нужно будет прежде узнать, выведать, сколько ей денег муженек-покойничек оставил. Да прикинуть, может, овчинка и выделки не стоит. Тогда на Грушеньке из слободы женюсь (Иван все еще по-старому Ирбит звал слободой). Тоже бездетная и при деньгах, вдова, но только у нее есть недостаток один: после смерти своего супруга, богатого купца, стала Грушенька

любовников заводить да винцом баловаться. Ну, допустим, дурь эту из нее при желании можно и вышибить. Неужто не справлюсь я с бабой? Все они, богатые вдовы, или беспросветно глупы, или хорохорятся и кичатся богатством до времени. Для начала можно и уступить им, прикинуться пылким влюбленным, а потом разом поставить на свое место. Привезу в деревню — скучать и заниматься глупостью будет некогда. Стерпится с работой, привыкнет к деревенской жизни и никуда не денется. Нечего им потакать да баловать».

В конце концов Елпанов добился своего: богатая вдовушка Серафима дала согласие. Свадьбу назначили на зимний мясод. Серафима была из кержацкой семьи, поэтому венчание состоялось в тагильской старообрядческой церкви. После долгих мытарств дом новообрачной, доставшийся ей в наследство, был продан, и Иван с Серафимой переехали в Прядеину.

Серафиме сразу же пришлось окунуться в работу, как в глубокий омут: большое многоскотинное хозяйство затыгивало как тина. Свекровь была плохой помощницей. У Елены Александровны сильно болела спина, да так, что она еле-еле могла выйти во двор по нужде. Обливаясь слезами, Елена Александровна рассказывала бабке Захарихе, которая была в деревне известной знахаркой:

— Подняла я пудовку с ячменем в амбаре. У меня и пересекло спину-то, да так, что и разогнуться не могла и пудовку уронила. На коленках, почитай, приползла в избу-то. И все никак не отходит, сама не могу с боку на бок повернуться.

Бабка шептала и чертила спину, дала каких-то трав и наказывала:

— А ты, Еленушка, тяжело-то не поднимай, а как полегчает — побереги поясницу-то, надорвана она у тебя.



Не под годы тебе теперь поднимать тяжело-то. Пусть уж молодые робят!

Несмотря на хлопоты лекарей, Елена Александровна умерла, прожив сорок три года в трудах и заботах в богатом елпановском доме. Теперь она лежала в гробу на лавке под божницей, где горела зеленая лампадка с деревянным маслом, одетая во все домотканое и накрытая льняной холстиной. Все годы замужества она почти не надевала нарядов и украшений, подаренных ей первым мужем, купцом Шапошниковым. Золотое кольцо и серьги с красивыми камушками, золотая с изумрудом брошь хранились в дубовой шкатулке на дне сундука. Там лежали и все платья покойной, начиная с подвенечного, аккуратно уложенные в сундук в горенке-боковушке. После похорон Петр Васильевич открыл сундук, принадлежавший покойной, и поспешно нашарив шкатулку, спрятал ее за пазуху, а выйдя из боковушки, положил шкатулку в свой сейф. Он и сам не знал, что делать с этими украшениями: Марьяне, дочери-беглянке, он их не отдаст, снохе Серафиме — тем более.

«Ладно, пусть лежит все это пока. Места-то небось не пролежит... Может, пригодится на старость. А платья девкам отдам... Надо бы чабрецом их переложить, чтоб моль не поела», — решил старик.

Назавтра был тихий мартовский день, ослепительно светило солнце. Голубые блики падали на подтаявший снег, дорога потемнела. В доме Елпановых были похороны. Тихо и незаметно жила в этом доме Елена Александровна, всю жизнь в полном подчинении у мужа. И так же тихо и незаметно ее не стало.

Петру Васильевичу Елпанову пошел восьмой десяток. Со смертью жены он как бы сник, углубился в себя, меньше стал вникать в хозяйственные и семейные дела. Когда сын Иван задумал жениться вторично, Елпанов-старший

в выборе ему жены никакого участия не принимал, а Серафима явно была ему не по душе.

Впервые Петр Васильевич не поехал на заводы с хлебным обозом — остался дома следить за хозяйством: стало много чужих пришлых работниц из Тагила, каких-то родственниц Серафимы, Петр Васильевич не особенно доверял им. Старую служанку Филимоновну новая хозяйка невзлюбила, и она ушла. Петр Васильевич теперь, как когда-то и его отец, вечерами после управы со скотом подолгу сидел в своей боковушке-горенке и починял конскую сбрую, шил уздечки, подшивал валенки и думал свои стариковские думы.

«Ну к чему женился Иван на этой толстозадой колоде? Зачем было брать заводскую, да еще и кержацкого роду? Заводские — они хитрые, с ними и торговлю вести надо с умом да ухо остро держать, а не то что родниться... Варсонофий Зыкин — тот был мужик умный и оборотистый, нашему брату, деревне-то, поучиться у него было чему!

А сыновья у его — уж не то! Вести дело в торговле, как Варсонофий, не могут, да и ладу меж ими нету — всяк на свой аршин меряет!

Хотел я когда-то, грешным делом, породниться с Зыкиным, Маремьяну отдать за его Митрия, да ведь как хочешь — не вдруг получается. Конечно, Серафима — не чета другим, много-таки Ванюха огреб у ней богатства и наличного капитала! Вот бы еще Фенка женить на богатой-то...»

А деревня жила своей жизнью. Крестьяне радовались урожайному году. После обильных дождей с грозами хорошо поднялись хлеба, на заливных лугах в низовьях Кирги буйно разрослись и зацвели травы. Стога по обеим берегам реки стояли, словно грозное войско. В жнитво в полуденный зной с распаренными, как после жаркой бани, лицами жнецы на поле делали от жары навесы из

снопов спелой ржи и натягивали полога на поднятые вверх оглобли телег; жбаны и бочонки с квасом ставили в выкопанные на поле ямы. Но ничто не спасало от ужасающей жары. Солнце стояло в зените и с неистовством жгло землю. Люди прятались под навесы и в балаганы, лежали на голой прогретой земле. Есть не хотелось. Долила сильная жажда. Собаки с высунутыми языками пластом лежали под телегами, лошади прятались в тени кустов на покосах и стоя дремали, лениво отмахивая хвостом оводов. Даже птицы замирали в такую ужасную жару. Но когда дневное светило начинало скатываться на своей огненной колеснице к горизонту, наступала горячая пора работы на полях до тех пор, пока не начнутся сумерки. И только после того как зажигались в небе первые звезды и луна торжественно выплывала из-за горизонта, жнецы заканчивали работу и по дороге к дому купались в реке. Усталые, грязные, пропыленные люди, особенно молодые парни, на ходу сбрасывая рубахи, путаясь в холщовых штанах, бултыхались с разбегу в воду, точно в парное молоко, обдавая друг друга фонтаном брызг. Молодые девицы, которых отпускали матери и отцы на реку купаться, шли потихоньку, тайно, говорили шепотом или вполголоса, раздевались в глухомани в кустах, озираясь, не следит ли за ними кто и не подсматривает ли. Купались в безрукавых полотняных рубашках, которые потом снимали в кустах, прополаскивали, отжимали и в узелке несли домой сушить.

В семьях, где днем дома была хозяйка или старушка-работница, к вечеру готовили баню из нагретой на солнце воды, и вся семья мылась в бане. Потом ужинали под крышей или просто во дворе. И ложились спать на сеновалах под крышами на пятах<sup>111</sup>, на телегах под пологами, а то и просто во дворах на сене.

---

<sup>111</sup> Пятары — верхний настил под крышей сарая, где хранили сено.

Наступила золотая осень — сухая и теплая. Старики заботились, глядя на небо, на покрасневшие осины и золотом одетые березы. Озабоченно вздыхали, собираясь в пожарнице, говорили: «Смотри-ко, паря! Весь сенокос жарило-жарило, а теперь ни капли нет, земля-то — как зола! В этом году выросло, а на будущий — неизвестно, что будет, наверно, опять к неурожаю...»

## КЕРЖАЧКА ПИЯ

Тяжелая крестьянская работа в поле и чистый воздух понемногу закалили Анфиногена. Он окреп, немного раздался в плечах, хотя и был щупловат супротив отца и деда. Он больше походил на мать своими светло-русыми волосами и синими, как весеннее небо, глазами. Был не красавец, но и недурен собой. Анфиногену шел двадцать первый год, и Иван Елпанов, по настоянию Серафимы, решил женить сына на дочери зажиточного кержачка Спиридона Рукавишникова.

Досужие кумушки в Харлово, где происходило венчание, судачили вовсю и говорили меж собой, собираясь к обедне:

— Ты, кума, в церкви вставай поближе к крылосу<sup>112</sup>. После обедни Анфиноген Елпанов из Прядеиной венчаться будет... Говорят, шибко богатую невесту Елпановы взяли!

— Ну а бедну-то им нашто? Сами богачи, известное дело, не бедну же возьмут: один ведь сын у их!

— Да хоть бы и десять... Вон оне как развернулись: завод кирпичный выстроили, свой кирпич делают, а в страду сколь пострадок одних на Елпановых робит!

День был на редкость теплый и солнечный, ни ветерка, ни дуновения. Лист хотя и пожелтел, но не опал, и молодые тополя в церковной ограде стояли, осыпанные золотом. Небо было как-то по-особенному голубым и безоблачным.

— Ну и денек выдался седни, — судачили в толпе, — как на заказ для богатой свадьбы!

— Известное дело! А если бы бедный кто женился, то в аккурат бы дождь пошел да до нитки и промочил, пока ехали к венцу-то...

---

<sup>112</sup> Крылос — клирос, место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам перед алтарем.

Свадебный поезд приближался к харловской церкви; весть об этом из церковной ограды передалась на паперть, потом — в притвор и в сам храм.

Прядеинцы стояли в два ряда от самых ворот. Те, которым не удалось пробиться в первый ряд, становились на носки и вытягивали шеи, во все глаза глядя на разукрашенных лошадей, на нарядного жениха и разодетую в дорогие шелка невесту.

Анфиногена знали все, а невеста была дальняя, поэтому ее разглядывали особенно внимательно. Одни говорили вслух:

— Наряжена-то она, конечно, как кукла, да красоты особой нету! У нас в деревне намного красивей ее есть...

— То ись, выходит, тот же назем, да только дальше везен, — подхватывали другие.

— Да хоть откудова оне выкопали такую?

— Говорят, из Тагила, и Серафимушке будто бы даже сродственницей приходится. Видно, Серафимушка-то у их в семье — не пятое колесо в телеге, коли пасынка женила по своему усмотрению...

— Она страсть, говорят, хитрюща! Того и гляди скоро сама всем командовать будет!

Олимпия Спиридоновна, так звали невесту Анфиногена, и на самом деле была тоже из Тагила и приходилась Серафиме двоюродной племянницей. Ей, единственной дочери богатых родителей, шел двадцать третий год. Отец Олимпии, Спиридон Данилович Рукавишников, был родом из тагильского заводского поселка, женился когда-то на дочери богатого соседа-кержака. В свое время отец невесты, а теперь уже жены, Марии Антоновны, давно приметил, что соседский мальчишка Спирька умен, хитер да изворотлив, и со временем думал прибрать того к рукам, взять к себе в дом и приставить к торговле.

Но ушлый Спирька давно уже разгадал его планы. Сам пошел ему навстречу — всячески стал проявлять внимание к его дочери-дурнушке. Когда дело дошло до сватовства, отец невесты поставил условие: единственную дочь в чужой дом он не отдаст, а возьмет в дом зятя. В конце концов верх одержал Спирька-проныра: женился на дочери толстосума, получив большое приданое, но в зятя не пошел, а остался жить с женой в своем доме... И торговлей, вопреки тестю, не стал заниматься, а все околачивался возле демидовского завода. Вот тогда-то тесть понял, что все-таки обвел его вокруг пальца Спирька...

К сорока годам Спиридон уже ходил главным приказчиком при домницах, и в его руках было много власти. Со временем в заводском поселке стали величать его по имени-отчеству, а при встрече снимали шапки и кланялись в пояс.

Старый отцовский дом Спиридон переставил; из кер-жацкой связки сделал большой пятистенник с окнами в улицу. Только вот беда: годы уходили, а наследника так и не было. Марья Антоновна рожала много, но дети умирали во младенчестве, почти каждый год приходилось их хоронить. Спиридона Даниловича уж не радовало больше богатое наследство тестя: кому все добро останется, если дети мрут как мухи, из восемнадцати рожденных осталась в живых одна дочь Олимпия, или, как ее звали в семье, Пия.

Пия была с детства худой, угловатой и выглядела подростком со старушечьим лицом. Редкие рыжеватые волосы, заплетенные в косичку «мышиный хвостик», веснушки, хитрые зеленоватые глаза и длинный валенком нос дополняли ее портрет. Характер у нее был под стать ее внешности — строптивый и неуживчивый.

Все же и к ней как-то приехали сваты, но отец им отрез отказал, сочтя жениха недостойным его дочери. Шел год за годом, а к богатому двору Спиридона сваты

больше ни разу не подъезжали. Олимпии перевалило за двадцать. Видно, осталась бы она девкой-вековухой, если бы не Серафима, которая приходилась двоюродной сестрой Спиридону. Хитрая и дальновидная, она сумела женить на себе купца первой гильдии Дьячкова и, несмотря на молодость, взяла мужа в руки и командовала им как хотела.

А уж когда она вышла замуж вторично, за Ивана Елпанова, то увидела, что с пасынком, тихим и покладистым — хоть веревки из него вей, можно устроить счастье племянницы. Расчетливая Серафима прикинула: во-первых, отец невесты не поскупится на приданое для неказистой дочери, а во-вторых, и он, и жена стары — седьмой десяток, долго не проживут, и все имущество по праву перейдет Елпановым. Больно уж по душе Серафиме было хозяйство Елпановых: кирпичный завод работает вовсю, сбыв кирпича хорош, в заводах всюду знакомства...

А свекор стар, два века не проживет; как он умрет, так она не только из пасынка, но и из мужа веревки вить станет! Была у Серафимы тайная задумка — самой открыть торговлю.

Хлебная торговля Елпановых с заводами не прекращалась ни в какой год. Они покупали хлеб по всей округе. Уезжали с хлебом в заводы, но всегда неизменно старались к ярмарке приехать домой со скобяным товаром.

Бумага, присланная из губернии на имя Петра Васильевича Елпанова о том, чтобы помешать его торговле, была забыта. Никто не контролировал Елпановых в торговле. Волостное начальство смотрело на их торговлю сквозь пальцы: «Какое нам дело до Елпановых, пусть себе торгуют! На нашу харловскую волость никто депеш из губернии не присылал! Да и нет резону с ними связываться. Сам Петро теперь уже старик, а торгуют в основном его сын и внук».



В прядеинской пожарнице старики в своем кругу судачили иногда между собой:

— Елпановы-то, смотри-ка, как распыхались<sup>113</sup>, всю добру землю заняли. Теперь еще все ископали своими глиняными ямами, со своим кирпичным заводом расположились тут. Осенью вода стоит в ямах-то, а скотина вольная, ходит сама по себе, без пастуха. Надо будет на сходе сказать Елпановым, чтобы огородили ямы со всех сторон.

— Думаете, не говорено было? Не шибко-то они нам подчиняются!

— Богачи, известное дело. Силу за собой чувят. Чтобы волость и все общество им подчинялось, а не они обществу, — ударил кулаком по лавке один из говоривших.

— Ну это еще как сказать. Если сход решит, то так и будет! Только дружно надо взяться! Говорят — что миром на сходе установлено, то богом положено! Что они за птицы, чтоб против всего общества идти?

— А вот идут! Давно уж им, со времен самозванца Пугачева, не велено было торговать хлебом. А они торгуют вовсю. Землю на займке припахивают с каждым годом!

— Они говорят, что депеша Петру приходила, Иван с Фенком тут ни при чем.

— Ну вот, мужики, видели? Где она, правда-то? Да они и не переставали торговать. Закон — дышло, как повернешь, так и вышло! — с возмущением пророкотал крепкий мужик с окладистой бородой.

— Совсем-то ведь им торговать не запрещено было... — пытался защитить кто-то Елпановых.

— Своим хлебом торгуй сколько угодно, перепродавать нельзя!

— Да разве кто глядел, где они хлеба наберут, свой ли, купленный везут в заводы. Пятна-то у него нету! Весь

---

<sup>113</sup> Распыхаться — зажить богато, разбогатеть.

одинаковый. Кто следил, где они обоз нагрузили — на своей заимке али в Юрмиче. Ночью уедут, ночью приедут.

— Спим мы много, вот и не видим ничего, — засмеялся один из мужиков.

— Старосте надо за этим следить!

— А что староста-то один сделает, если Елпановым сама волость мирволит.

Разговоры в пожарнице продолжались до третьих петухов. Мужики дымили самосадом, спорили, судачили о своих делах. Потом не спеша, позевывая, шли на гумно сушить овины, доглядывать лошадей. Богатые и радетельные хозяева в пожарницу не ходили, не было времени. Строшные, которые нанимались к богатым на весь год, в пожарницу тоже не ходили — работали по дому.

На третий год женитьбы Анфиногена в елпановском доме семья прибыла: после Покрова Олимпия Спиридоновна родила дочь Катерину. Олимпия уже освоилась в новом доме. Так же, как и в доме отца, ее все называли Пией. Выйдя замуж, она мало изменилась внешне: была все такой же худошавой, высокой и сутуловатой, с такими же круглыми, как у совы, глазами.

Петр Васильевич теперь был все время дома и за хозяйством следил тщательно. С годами он уже не стал ездить в заводы с хлебными обозами. Даже на заимку выбирался нечасто — разве что проверить, хорошо ли сметаны стога, уложены скирды, да еще во время молотьбы любил проследить, чисто ли обмолачивают снопы, ладно ли провеивают зерно.

Сын и внук, пожалуй, могли бы сделать это не хуже него, но старику не очень-то подолгу сиделось без дела. Вставал спозаранку и сразу начинал будить домочадцев. Иван обычно уже не спал; приходилось вставать и Се-рафиме — работниц, когда скот был на заимке, в доме

не держали, а было по пять-шесть дойных коров, да еще надо стряпать на всю семью и на работников.

Петр Васильевич с домашними по старой привычке много не разговаривал: один раз велит — и все его приказы безоговорочно исполнялись. Задолго до рассвета, заслышав тяжелые шаги свекра, сноха вставала, бормоча втихомолку: «И чё не дрыхнется ему?! Подымется ни свет ни заря, и никому покою нет от идола старого!»

Петр Васильевич, в свою очередь, терпеть не мог ни снохи, ни Пии. «Страмные бабешки, никудышные — и та и друга! На работу ленивые, все подгонять надо, а по утрам и не добудишься...» И, подойдя к двери женской горенки, кричал: «Пия, вставай! Гляди-ка, квашня твоя уплыла!»

## СТАРИКОВСКИЕ ДУМЫ

Глубокая ночь на дворе. Ветер хлестко бьет в окно снегом, завывает в трубе. Не спится старику Елпанову. Шутка ли, с Петрова дня девяносто третий год пошел Петру Васильевичу... Согнулась спина под тяжестью пережитых лет и нелегкого труда, и теперь только и осталось, что долгими зимними ночами обдумывать все прожитое-пройденное...

Почти ни о чем не жалел старик: жизнь прошла так, как он и хотел, а случись чудо, предложи ему Всевышний прожить ее сызнова, Петр Елпанов прожил бы ее так, как и эту, всамделишную. Женился он, так уж судьба сложилась, не по любви, но за долгие годы к жене привык, и она стала ему незаменимой спутницей в жизни. Чего греха таить: бывало, несправедливо он относился к ней, покойнице, так ведь ни прошлого поступка, ни слова назад не воротить. Давно уж нет в живых и сестры; в Юрмиче умерла дочь Марианна.

И тут в душу закрадывается запоздалое раскаяние: эх, надо было тогда помириться с зятем-то... Теперь уж ничего не сделаешь, теперь вон и внуки взамуж повыходили, внуки переженились и свои семьи имеют. Ну Марьяна — она как отрезанный ломоть была, внуков с ее стороны и в счет брать нечего... Вот что плохо: у Анфиногена до сих пор нет сына-наследника. Олимпия рожала троих мальчиков, да двое умерли, не прожив и до года, и третьего, Павла, этим летом бог взял. Крепкий, шустрый мальчонка вдруг заболел в самые летние жары кровавым поносом, и сколько ни лечили, не помогли ни травы, ни лекарства. Мальчик слабел день ото дня и через неделю умер. Как горевала вся семья, когда не стало любимца и наследника Павлушки! Петр Васильевич как теперь видит на лавке под образами исхудавшее тельце правнука,

накрытое белой холстиной, и слезы туманят и без того потускневшие глаза.

Олимпия сразу как-то сникла, поседела и постарела, ходила как потерянная, и в своем горе Пия стала для Петра Васильевича не такой уж несносной, как казалась прежде. Но горюй не горюй — хозяйство требовало постоянной заботы, день-деньской шла работа и дома, и на заимке, и Елпановы стали понемногу забывать об утрате. Кроме него, конечно, прадеда...

Только старый дед Петро, ухаживающий в дни болезни за больным правнуком, видел, как тяжело болел и умирал Павлушка. Глаза ребенка остались открытыми после смерти, и сколько ни пытались их закрыть, все старания были бесполезны.

Петр Васильевич вспомнил, как соседская бабка Фекла, обмывавшая ребенка, шепнула работнице:

— По всему видать, у их еще в этом годе покойник будет...

Елпанов, хотя и был стар, слышал превосходно, услышал бабкин шепоток и взорвался:

— Типун тебе на язык-от, шепотунья окаянная!

Бабка Фекла, крестясь, испуганно ушмыгнула в свою ограду.

Сейчас, вспомнив это, Петр Васильевич усмехнулся совсем беззлобно и подумал: «Знать-то, моя тогда очередь умирать была, а не Павлуши, дитяти безгрешного... А я зажился что-то. Может, и мой черед скоро, пожил — и хватит... Родитель мой супротив меня не много моложе умер... Что ж, кому сколь веку дано — про то только богу и ведомо!»

Уж далеко за полночь, а все не спится Елпанову. Кряхтя, он нашаривает возле кровати палку, выходит из горенки, снимает с гвоздя свой дубленый малахай и, накинув полушубок, шаркает старыми подшитыми валенками в прихожую, а потом на крыльцо.

На улице свистит и воет, словно вся нечистая сила вырвалась на волю справлять свой шабаш. Двор по колено замело снегом. Ветер со страшной силой бьет в лицо, пытаясь свалить с ног, но Петр Васильевич, нагнув голову, упорно бредет к воротам. Долго прислушивается: не раздастся ли сквозь ветер лошадиное фыркание, ржание или лай деревенских собак, не возвращается ли обоз.

«Господи Боже, спаси и сохрани их в дороге в такую-то непогодь! Где-то они теперь, ведь еще позавчера должны были приехать...»

Сам Петро Васильевич всю жизнь ездил с обозом и знает: теперь у обозников для лошадей корм совсем к концу подошел...

Нет, ничего не слышно из-за ветра, ни зги не видать... Старик вышел за ворота и, пробуравливая снег, пошел в сторону Кирги, остановился, стал смотреть на тот берег. Здесь ветер был еще злее, он мигом забрался под полы и в рукава полушубка. Немного постояв, Елпанов, охая и крестясь, пошел обратно во двор.

— Кто там ходит, это ты, дедушка?

На крыльце, накинувшись шубой с головой, стояла Пия.

— Я думала, что наши с Тагила приехали...

— Нет, иди-ко лучше спи... Навряд ли оне в такую непогодь поедут, знать-то, где-нибудь ночевать остановились...

Пия ушла обратно в дом, а Елпанов пошел в пригон посмотреть скотину.

«Ишь, заботится бабешка-то, не спит тоже, — думал он, ковыляя к пригону. — Только той, Серафимушке толстозадой, все нипочем — как с вечера дрыхнуть завалится, дак уж до позднего утра... Благо, когда Иван дома, хоть немного посидит, попрядет с вечера али еще что-нибудь маленько поробит, а только муж за порог — заваливается, и хоть трава не расти! Все мясо свое отращиват...»

Когда женили Анфиногена и у них пошли дети, сделали прируб, и дом Елпановых стал настолько велик, что хоть в прятки играй. Из коридора, или, как говорили в семье, из прихожей, было шесть дверей в разные горницы и горенки; за счет теплых сеней увеличили кухню, прорубили еще два окна, и когда на обед собирались одни свои, обедали за большим столом в кухне. А сени прирубили новые — с множеством кладовочек и шкафов, вделанных в стены. Новые сени были светлыми, с двумя окнами: одно, небольшое, над дверями; другое, побольше, — во двор, и оба были забраны железными коваными решетками. Весь дом подняли на высокий кирпичный фундамент; позади дома на месте старого погреба, который копал когда-то дед Василий, прямо от сеней поставили каменную кладовую, благо кирпич был свой.

Что-что, а уж кирпич Елпановы делали отменный! Звонкий, прочный, какой хочешь — и печной, и строительный. Летом, особенно когда было много работников, все печи для обжига кирпича дымились и день и ночь.

Когда у Олимпии уже не было в живых ни отца, ни матери, Иван с Анфиногеном продали дом в Тагиле, и вся недвижимость ее родителей да весь оставшийся капитал Спиридона Даниловича по закону перешли в елпановское хозяйство. У Серафимы не было детей ни от первого, ни от второго мужа. Наследник всего богатства теперь был один-единственный — Анфиноген Иванович. Но шли годы, а своего наследника у Анфиногена все не было...

Сам Анфиноген с детства здоровьем не отличался — не то что отец или дед. И ростом он был пониже их, да и в плечах узковат. Деду уж за девяносто перевалило, а отец выглядел молодец-молодцом: одной правой рукой останавливал на скаку коня, брал за рога двухгодовалого

быка и пригибал к земле; еще не перестал бороться по праздникам и зачастую уносил круга<sup>114</sup>.

В свои шестьдесят Иван Елпанов казался много моложе своих лет. Высокий, стройный, бронзовое от загара лицо — и ни одного седого волоса на висках! Черные, как смоль, волосы подстрижены скобкой, красивое лицо обрамляла черная борода. К старости Иван Петрович не только не утратил своей мужской красоты, но, словно забыв о возрасте, с годами становился еще привлекательнее.

Рядом с ним толстая, обрюзгая жена смотрелась его матерью... Серафима Ивановна и смолоду не была красивой: копна-копной, с широкими толстыми бедрами, с покатыми плечами, а под старость еще больше расплнела и стала неуклюжей, едва ли не безобразной. Выйдя замуж за Ивана Елпанова, она мечтала со временем склонить мужа на свою сторону, а потом полностью подчинить его, стать всему хозяйкой. Но Иван Петрович, как и отец, был крепким орешком, больше всего не любил, чтобы кто-то вмешивался в его дела, особенно жена. Отца почитал и слушал, но чтоб слушать жену в делах?!

— Ни в жисть! — говорил он. — Что может понимать баба в мужичьих делах, да еще в торговле?! Ее место — у печи да в пригоне возле скотины!

Иван Петрович хоть и бойко подторговывал хлебом, мясом, пенькой и льном, а позднее — и кирпичом, но почему-то думал не как отец, не стремился во что бы то ни стало выбиться в купечество. Может быть, он был не таким деятельным, как отец, не таким самолюбивым, изворотливым и предусмотрительным?

Но вот уж в чем Петр Васильевич и Иван Петрович были точь-в-точь похожи, так это в том, что не любили, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела.

---

<sup>114</sup> Уносить круга — считаться абсолютным победителем.



## ПОЛЫНЯ НА РЕЖЕ

Скаждым годом Елпановы становилось богаче. Так было и в 1812-м. Война и неурожай повысили цены на хлеб до невиданных высот. Демидовские заводы день и ночь отливали пушки, готовили оружие. Людей, занятых в производстве, необходимо было кормить.

В урожайные годы, как правило, Елпановы не продавали хлеб, у них были хорошие добротные склады, большие амбары и завозни на заимке и дома, где хлеб мог храниться много лет, там он скапливался годами — ждал неурожайных лет. Но этот военный год сулил огромные барыши. После Ирбитской ярмарки Елпановы, не теряя времени, засобирались в дорогу с хлебом в Алапаиху.

Был конец марта, стояли морозные утренники, но днем подтаивало, дороги-зимники быстро осели, потемнели, и колеи стали наполняться вешней водой.

Нагруженные хлебом возы уже стояли посреди елпановского двора. Накануне Петр Васильевич говорил за ужином Ивану:

— Не ездил бы ты нонче в дорогу-то... Вдруг еще сильнее оттепель грянет, да к ней еще и снег? На речушках наледь выдавит, зерно подмочите, не дай бог, а подмоченное-то, известно, по дешевке пойдет!

Иван запустил здоровенную пятерню в черную бороду, взъерошил ее, подумал и весело ответил:

— А-а-а, где наша не пропадала! Ничё, батюшка, до Алапаихи далеко ли? Бог даст, скоро обернемся, до крутой-то тали успеем и домой приехать!

— Ну нито тебе виднее: коли сильней оттепели не будет — успеть можно...

Когда запрягали лошадей, на дворе ощутимо потеплело, чуть подувал южный ветерок и круглая полная луна сияла в небе. Какой-то голос вроде бы внушал Ивану, что

ехать не нужно, но расчетливый и жадный ум так и толкал его в дорогу.

Обоз на этот раз был небольшой — всего из семи возов; поехали Иван Петрович, Анфиноген да двое работников. Впереди ехал сам хозяин, за ним работники, и на последнем возу — Анфиноген. Петр Васильевич закрыл за ними ворота и, крестясь, пошел в дом.

Назавтра к полудню солнце грело чуть ли не по-летнему. На дорогах образовались большие нырки, полные грязи и навозной жижи. Петр Васильевич с тревогой думал: «Не надо было ездить — куда же в дальнюю-то дорогу да по последнему пути?! На Бобровке того и гляди наледь выдавит. Ну на Реже — там по мосту можно пробраться... Ох, господи, хоть бы зимником-то не ездили!»

Щемило, сжималось сердце — чуяло беду... А тут еще, как на притчу, небо к вечеру затянуло по-осеннему низкими тучами, хлопьями повалил снег, ветер стал северным и такая метель поднялась — казалось, не весна на дворе, а вьюжный февраль.

Всю ночь не уснул Петр Васильевич, и всю ночь-ночечную горела лампадка с деревянным маслом перед ликом иконы Николая Чудотворца.

Под утро метель начала стихать. Ветер, набесновавшись за ночь, как бы начал устывать, стал понемногу стихать и, наконец, на рассвете затих совсем. Из-за горизонта выкатилось огромное огненное светило и розовым светом озарило сугробы. В каждом дворе лопатами очищали снег. Снегу было столько, что у некоторых ворот намело большие сугробы, и мужики на лошадях вывозили за ограду большие короба со снегом.

Прядеинские старики, сидя в пожарнице, кто во что горазд обсуждали неожиданно нагрянувшие отзимки<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> Отзимок — кратковременное возвращение зимней погоды после начала весеннего потепления.

У каждого своя примета была: если метель начиналась вскоре после Ирбитской ярмарки, то говорили: «Пьяные черти с ярмарки едут». Если около Евдокии — «Евдокия свои шубы выбивает». Если же отзимок приходился на время сева около Георгия — «Егорий Победоносец на белом коне змия копьём пронзает». Ну а если на подтаявший прошлогодний снег плавно опускался новый — «Внук за дедом едет».

Старый Елпанов помог бабам управить скотину и, преодолевая одышку, вышел с деревянной лопатой за ворота — убрать наметенный мокрый снег и посмотреть, не идет ли обоз. И как раз вовремя: обоз уже миновал мост и приближался к елпановскому подворью.

«Господи, да где ж у них седьмая-то лошадь?! Куда же они Карюху-то дели? И Фенка что-то не видно...»

— Здорово, Иван! Ну, как съездили? А Финоген с Карюхой где?

— Финоген вон в возу лежит, занемог он... Беда с нами приключилась, батюшка... Утопили мы Карюху-то вместе с возом... в Реже утопили!

— Господи твоя воля! Да как же это вас угораздило?

— Сам знаешь, в дороге всякое бывает... Аккурат прав ты был наемдни: зря мы поехали-то!

Работники спешно выпрягали усталых, взмокших лошадей. Анфиногену помогли встать и повели в дом. Он был настолько слаб, что не мог самостоятельно идти и висел на руках сопровождающих. В доме его раздели и положили в постель под теплое одеяло.

— Речку Бобровку мы, батюшка, переехали удачно, — начал рассказывать за ужином Иван, — и дальше решили зимником ехать. До Режа доехали, смотрим — наледь большая на реке-то. Ну, слез я с возу, пошел передом... Иду, пробую кнутовищем наледь, а она глубоковата! Ну, думаю, да неужто не проедем? Воронуха моя прошла; проехал я — хоть бы что, остальные за мной. А шесть лошадей

лед-то подрастоптали, и Финоген решил, видно, стороной проехать, а там то ли прорубь зимой рыбаки выдолбили, то ли весенняя промоина была, да снегом ее припорошило... Фенко вместе с возом и с Карюхой в воду огруз; лошадь бьется в полынье-то, копытами скребет, чтоб выскочить, да где там... Фенко вожжи бросил, на край полыньи выкарабкался, а Карюха с возом на дно пошла... Одели мы Финогена в сухое, что нашлось, но продрог он шибко. Отъехали от Режа с полверсты, наломали сушняку, благо кресало и трут с собой, костер разожгли.

Уж за полночь приехали в Ялунинское, ночевать попросились. Насилу Фенко на печь залез, ночью жар у него поднялся, а утром видим — вовсе худо дело-то... Оставили мы его в Ялунинском, а сами дальше в Алапаиху поехали, думали, отлежится, пока мы ездим. Наказали хозяйке лечить его, денег дали. Фенко и сам говорил: поезжайте, мол, а я полежу дня два-три, на печи прогреюсь, авось и полегчает. Хлеб в Алапаихе продали, загрузились и поехали в обратный путь. В Ялунинском видим — Финоген не то что не поправился, а вроде еще больше расхворался... Одели мы на него тулуп, другим сверху накрыли, так лежа он и ехал всю дорогу. Ну да что уж теперь, дома-то скоро пойдет на поправу. Утре надо баню истопить, после бани-то сразу полегчает, да и нам с дороги помыться надо...

Наутро жарко топили баню и парили Анфиногена, но и после бани тому не полегчало. На пятый день после приезда Анфиноген Елпанов умер.

Горе семьи было неописуемым. Умер единственный наследник и надежда семьи. Как будто неведомый рок навис над семьей. Надломилось, надорвалось в душе у Ивана Петровича. Не было у него больше детей кроме двух внучек — Анфиногеновых дочерей...

«Ну что с них толку? — думал Иван Петрович. — Хоть бы один внук был... Года через два Катюшка взамуж

выйдет. Подавай приданое! А толку что? Нам-то от этого не легче! Одни хлопоты да издержки... Все пойдет прахом. А сколько хлопот! Невыносимых, тяжких усилий! Мучились, преодолевали себя на работе и в дорогах! Боже мой! Да знать бы... Ну к чему мы в распутицу потряслись? Жив бы был Анфиноген...»

Но как вновь поднимается нива, кажется, уж совсем вбитая в землю градом, так и человек помаленьку отходит. Среди повседневных забот забывается и большое горе.

Прошло сорок дней после смерти Анфиногена. Весна была хотя и поздней, но теплой. Подошло время сева, и Иван Петрович Елпанов с работниками выехал пахать поле.

## НОВОЯВЛЕННАЯ ИКОНА

Постепенно город Ирбит стал крупным торговым центром Зауралья, известным на всю Российскую империю. Ирбитская ярмарка разрослась и приобрела размах и славу почти такие же, как ярмарка в Нижнем Новгороде. Ярмарочный Ирбит находился на пересечении караванных путей на границе Европы и Азии; товары везли из всех городов империи. Из Сибири шли меха, с Урала — железо, из Ташкента и Бухары — ковры и фрукты. Торговый люд устремился на ярмарку и из-за границы, так что китайские шелка, чай стали не в диковинку.

К сожалению, ярмарка была скоротечна, и с ее окончанием жизнь в городе затихала, доходы купечества и духовенства резко падали, городская казна пустела, а трактиры и гостиницы стояли пустыми. Даже появившиеся в городе небольшие заводешки — винный, пивоваренный — не могли исправить создавшуюся ситуацию.

Духовенство Ирбита нашло выход: с ведома Святейшего Синода во всех церквях во время заутрени и обедни священники стали произносить проповеди о чудесах новоявленной иконы Параскевы Великомученицы. Среди верующих распространились слухи — якобы одной старушке во сне слышался какой-то голос, который повелел ей на утренней заре идти на Кекурскую горку, что за речонкой Арай, и на высокой одиноко стоящей березе взять святую икону.

Старушка на гору не пошла; сон в следующую ночь повторился, но она и на следующий день не пошла. В третью ночь таинственный голос был подобен грому: «Иди, раба Божья Федосья, на юг и на восток до восхода солнца, и придешь ты к горе. Возьми икону с высокого дерева и помести ее в храм. Она явилась вашему народу, чтобы спасти его. Если ослушаешься — вся семья твоя погибнет, а дом сгорит».

Наутро разбудила Федосья внучонка Ванюшку, и пошли они вдвоем к Кекурской горке. Нашли одиноко стоящую ветвистую березу, а на ней — небольшую икону в дорогом окладе. Федосья велела Ванюшке влезть на дерево и снять икону, но икона тут же пропала с глаз, как будто ее и не было... Вернулись они домой ни с чем. На четвертую ночь Федосье таинственный голос велел идти за иконой одной — тайно, чтоб никто не видел, и в дороге не оглядываться. «А отрока Ивана с собой не бери, — внушал голос, — иди одна и забудь все свои немоги...»

На этот раз Федосья исполнила все в точности. Без всякого труда, как когда-то в далеком детстве, старуха залезла на березу и сняла явленную чудотворную икону.

Среди верующего люда ходили слухи, что чудотворная икона явилась в отдаленной глухой деревне; другие судачили, что в самом Ирбите, но явилась не старушке Федосье, а отроку Ивану. Но эта разница не имела совершенно никакого значения. Народ валом повалил в Ирбит в девятую пятницу. Все старались взглянуть на чудотворную икону и исцелить свои недуги. Успех превзошел все ожидания — прибыль была громадна.

На горе, где явилась чудотворная икона, стали строить часовню. С тех пор так и повелось: каждый год к девятой пятнице отовсюду стекался народ. Время это было свободное — сев отошел, пары пахать еще рано, скот на подножном корму и до сенокоса далеко.

Люди от мала до велика, все, кто мог двигаться, шли и ехали в Ирбит к «девятой» на богомолье. Народу стекалось нисколько не меньше, чем в ярмарку, а может, даже и больше. Везли на телегах и в ходках больных, глухих, слепых и увечных. Если бы в это время посмотреть на окрестности Ирбита с высоты, то нашему взору открылась бы такая картина: как будто вражеское войско обложило и окружило небольшой городишко со всех сторон.

Всюду у костров копошились люди. Разносился аромат варева и печеной картошки... К вечеру лагерь затихал, только кое-где позвякивали уздечками лошади, но с первыми лучами солнца жизнь возрождалась и все приходило в движение.

В день богослужения народ до отказа запруживал всю площадь перед церковью Спаса и даже все близлежащие улицы и переулки. Долгие часы проходили в томительном ожидании, пока откроют церковь и начнется заутреня. Церковь не могла вместить весь страждущий люд. Во время заутрени от жары и духоты, запаха ладана некоторым становилось дурно, но выбраться из церкви было так же трудно, как и зайти. Люди плотной стеной заполняли притвор, паперть и ограду.

В церковь, поближе к чудотворной иконе, допускались обычно те люди, которые клали к иконе большие приклады<sup>116</sup> и пожертвования. Остальной народ дождался чудотворную на улице, вдоль дороги. Кончалась заутреня, церковные служки требовали, чтобы народ вышел из церкви и дал дорогу для выноса чудотворной иконы.

Святыню ставили на специальные носилки и торжественно выносили из церкви. Икона сверкала в лучах яркого солнца позолотой и драгоценными камнями. Увидев икону, народ вставал на колени, простирал руки, прося защиты и помощи: «Матушка, великая заступница Параскева, спаси нас и помилуй!»

Все пять верст от церкви до часовни люди падали на дорогу перед иконой прямо в пыль и грязь, иногда мешая нести носилки, и шествие тянулось крайне медленно. Больные, которые хотели исцелиться от недугов, неделями перед этим постились, не ели и не пили воды, поэтому, сильно ослабев, лежали еще долго после того, как прошел крестный ход и пронесли икону.

---

<sup>116</sup> Приклад (*црк.*) — внос, подарок, жертва, приношение, дар.



Наконец шествие достигало места назначения и начиналась обедня. Чудотворную икону ставили под той самой березой, где она явилась. Толпа народа обступала богослужение плотным кольцом, но дальние ряды все же так и не могли ничего увидеть и услышать. После обедни проводился молебен. Служили за здравие тех, кто платил деньги и подавал поминальник. В девятую поминальник стоил дорого и, конечно же, не все могли отслужить по себе молебен. После молебствия икону заносили в часовню, и народ начинал расходиться...

Чтобы не ехать из Ирбита налегке, старались прикупить все необходимое: соли, сахара, ситца, инструментов и другого нужного в хозяйстве товара. До поздней ночи шла торговля в магазинах, лавках, ларьках и просто на улице. А заодно и все питейные заведения были переполнены народом. Ирбит преображался в корне. Если с утра народ валом валил в церковь и на коленях стоял перед иконой Святой Параскевы, то теперь этот же народ было совсем не узнать. До глубокой ночи в Ирбите продолжалась пьяная оргия. Пиликали гармошки, орали песни, купчики раскатывали на тройках с веселыми девицами...

Простые, деревенские люди, закупив нужный товар, возвращались домой. Но находились и такие слишком настойчивые людишки, которые хотели непременно своими глазами увидеть старушку Федосью и ее внука Ивана, которым явилась чудотворная икона, но все усилия их были тщетны. Сколько эти люди ни старались, так и не могли найти эту семью. На все вопросы об иконе следовал один ответ: «Не знаю, любезный, где это было, кому она явилась, икона-то, говорят — какой-то Федосье, а где живет такая — не видел, не приходилось в лицо знать такую». Но настойчивые и дотошные богомольцы все продолжали разыскивать достойную старушку. И наконец вроде бы уже напали на след, нашли на окраине Ирбита в покосившейся избушке старушку Федосью, такую

же ветхую, как и ее избушка, с сиротой-правнуком Иваном. Но старушка начисто отпиралась от такого: «Што вы, православные, выдумали? Кто вам сказал, што мне икона явилась? Не достойна я этой благодати. Подаянием мы с Ваняткой живем. Я шибко хвораю, да и то, почитай, девятый десяток живу, куда уж мне сподобиться. Всех пережила родных, вот один и остался у меня правнук Ванятка. А про чудотворную я ничего не знаю...»

В конце концов та самая старуха Федосья сама объявилась и подробно рассказала о том, как она нашла чудотворную икону: «И снилось мне, люди добрые, по три ночи подряд, что небеса растворились и голос божественный мне приказал идти...»

Посетители слушали с большим вниманием, а толстая, обрюзгая и неопрятная хозяйка все больше воодушевлялась, вытирая жирное потное лицо грязным передником, ее свинячьи глазки бегали, как бы ощупывали пришлых людей, а сизый, толстый с большими ноздрями нос так и принюхивался, не будет ли какой поживы от пришедших богомольцев.

Нагловатый озорной парень то и дело сновал по комнате, и рассказчица исподтишка грозила ему грязным кулаком. Но вскоре ее терпению пришел конец, и она, усердно работая кулаками, вытолкала парня в сени, надавав предварительно оплеух. Прогнала на улицу и пнула на крыльце под зад, после этого вернулась в избу и как ни в чем не бывало продолжила свой рассказ.

Богомольцы молча переглянулись и засобирались к выходу.

— Да что вы, почтенные, пошли? Сидите...

— Да нет, засиделись мы, однако, у вас, хозяйка. Идти надо по домам...

Тем временем в ирбитских магазинах и лавках купцы подсчитывали барыши и были весьма довольны. Хорошо торговля подвинулась. Не хуже, чем в ярмарку!

## ВИДНО, НЕ СУДЬБА

**В** деревне страда. Сенокос в полном разгаре. Солнце поднялось в зенит и жжет невыносимо. Неумолчно стрекочут кузнечики, до боли в ушах. Иногда стрекот становится до того оглушительным, что будто тысячи молоточков бьют по маленьким наковальням. А может быть, это все от нестерпимой жары. Небо выцвело и поблекло от зноя. Над полями поспевающей ржи и у дальнего леса дрожит марево. Ни ветерка, ни малейшего дуновения, как в натопленной печи. В тени густых колков стоят стреноженные лошади, отмахиваясь от оводов хвостами и поминутно встряхивая гривой.

— Ну и жарина седни, — вытирая заливающий глаза пот, говорит один из косарей Ивану Елпанову, — сколь живу на свете, пожалуй, такого дня не было.

— Да полноте, были дни, может, и жарче, да те прошли, ты их и забыл. Лето не без жару, зима не без морозу. Жар да сушь теперя — это хорошо. Бог даст, через неделю с сенокосом управимся, а там и рожь поспеет... Вон до того леску дойдем, поужинаем, а там, глядишь, и солнышко к низу покатится, жара спадать будет.

Недалеко от поля, в тени раскидистых черемух, женщины готовили для работников ужин. В становье была выкопана ямка глубиной аршина полтора, в ней стояла дубовая бочка с квасом для окрошки.

— Дашутка, а где же у нас Катерина? — спросила Пия младшую дочь.

— Катька с Дунькой и Зинкой побежали купаться на Осиновку, я с ними хотела, да меня не взяли.

— Какое еще им купанье! Этого не хватало! Вода-то в Осиновке вон така холоднющая, ключевая. Зараз с жару-то простыть можно. Беда с этими девками!

К тому времени, когда косари пришли на ужин, девчонки уже были на месте, и Пия, чтобы не навлечь гнев свекра на молодых работниц, решила умолчать о купании.

Жара стала спадать, с полей потянуло запахом поспевающих хлебов, стало прохладнее; Иван Петрович в домотканой белой рубахе и в широких, таких же домотканых пестрядинных штанах шел впереди всех, делая самый широкий прокос. В косьбе никто не мог угнаться за ним. Несмотря на почтенный возраст, он мог заткнуть за пояс любого молодого человека.

Вечерело. Огненный диск раскаленного солнца наконец-то дополз до горизонта. Тени стали длинными и уродливыми. Иван Петрович, уже заканчивая косьбу, последний раз взмахнул косой, чтобы срезать крапиву под кустом одинокой ивы, и вдруг услышал отчаянный крик куропатки. Осторожно раздвинув ветки куста, он увидел перед собой смертельно раненную птицу и штук шесть пестреньких птенцов-пуховичков. Истекая кровью, билась в предсмертных судорогах их мать, защищая своим телом детей.

— Господи! Да как же я так?! Ну кто знал, что тут твое гнездышко? Что же я наделал? — отбросив в сторону окровавленную косу, воскликнул Иван.

Птица больше не защищалась, он без труда взял ее в руки, красивая головка ее поникла, круглые глазки-бусинки закрылись и подернулись голубой пленкой. Шестеро крохотных птенчиков жались в гнезде друг к дружке и жалобно пищали. Иван Петрович бережно положил на траву мертвую птицу, подобрал косу, вытер ее свежей кошениной и зашагал прочь. На душе было смутно и беспокойно...

На следующий день после полудня сгребали сено и уметывали его в стога. Девки-работницы с веселыми прибаутками помогали мужикам, а Катеньке еще с утра стало плохо: поднялся жар, сухой кашель сотрясал ее тело...

Вот уже убрали с полей. Небо все чаще хмурилось, птицы полетели в теплые края. Начались осенние ненастья. Загорелые на летнем солнце до черноты работницы Зинка и Дунька уже считают дни до Покрова, когда же их рассчитает хозяин и они хоть немного отдохнут в своих семьях. На улице весь день дождь льет как из ведра, женщины сидят в риге и чешут лен. Работа с куделью пыльная, они чихают и смеются.

— Спица в нос! — говорят одна другой.

Кто-нибудь из женщин начинает напевать вполголоса заунывную, тоскливую песню: «Потеряла я колечко, потеряла я любовь». Песню подхватывают все. Всегда найдутся две-три женщины, которые могут хорошо петь, а остальные им подтягивают.

— Чё это вы распелись седни? К добру ли? Хозяева услышат!

— Ну и пусть слышат! — сказала озорная Зинка. — А кому нужно подслушивать-то, Пиюшки дома-то нет.

— Пиюшке теперя не до этого. Катька-то у нее шибко хвора, говорят, чахотка у ее скоротечная, до весны-то доживет ли?

— Господи, ну с чего бы это? — схлопала руками Анфиса. — Кажись, уж тут все есть — одета, обута... Не то што мы, грешные.

— А хто знает с чего! Захворала, да и все, такие-то еще хуже... они нежные, а мы што... отродясь не жили по-человечьи.

— Да... Сколь кому, видно, веку положено, — вздохнув, сказала Власьевна. — Вот я с малых лет в чужих людях в строке... и в огне горела — не сгорела, и в воде не утонула, и лесиной чуть не зашибло, и кони топтали, и под бороной была. Да вот все жива. В тифу лежала семь недель, робить не могла, думала — помру с голоду, ан нет! Видно, не судьба.

— Может, ишо и вылечится — говорят, у самых знатных дохтуров в Екатеринбургe лечат.

— Ну ладно, бабы, две недели до Покрова осталось. Не много уж... Как-нибудь... Главное, чтоб хоть рассчитали нас как следует, да и по домам.

— Ой, дома-то работы накопилось за весну да за лето...

— Ох, бабы, сколь мы у их кудели перечистили. Вот бы всю эту куделю да разделить между нами. Вот бы мы направили за зиму-то да наткали холстов-то! Можно одеться, да еще и продать.

— Если бы не кабы, то во рту б росли грибы! Не видать никогда нам с вами столько кудели... А лен-то сколь хорош: длинный да волокнистый...

— Ой, за льном-то ведь уход нужен. Землю добру надо... навозну, удобрену, глубоко вспахану, да ишо не одинава...

— Знаем! Знаем, тетя Устинья! Знаем, што лен такой вырастить только Елпановым под силу, а нам уж где... Ни сохи, ни бороны, ни кобылы...

— Ну ладно, бабы, Ненила ужинать зовет, пошли нето...

Вот наконец-то долгожданный Покров. Если Троица — самый веселый, то Покров, говорят, самый сытый праздник. В народе Покров всегда ждали с большим нетерпением, хотя в это время редко бывает добрая погода, обычно идет дождь, на улице слякоть и грязь.

Олимпия Спиридоновна вернулась домой к Покрову, чтобы проверить работу и рассчитать работников. Она мрачно ходила по дому и выискивала, к чему бы придраться, но скотина была в полном порядке, куделя очищена, все было сделано и прибрано.

Пия с трудом сдерживалась, чтобы не отодрать за косы Дуньку и Зинку, которые были повинны в болезни ее дочери.

— Это вы, ироды, загубили мою дочь. Повели тогда купаться на Осиновку. Это вы во всем виноваты, што она

теперь стала хвора, а вам хоть бы што. Ишь морды наели! Погибели на вас нет! Ни дна бы вам, ни покрышки. Вечно бы вам по миру ходить!

— Тетя Пия, мы не виноваты, она сама нас звала купаться, — слезливо тянули девки. — Прости нас, тетя Пия, мы не думали, што...

— Какая я вам тетя, негодницы! Убирайтесь с моих глаз, чтоб я вас никогда боле не видела!

Девки, схватив поскорее свои кошель, побежали домой. Были рады тому, что хозяйка их все же рассчитала.

После Знаменья установился санный путь, и Пия решила ехать в больницу, чтобы привезти гостинцы больной дочери. Пия попыталась уговорить свекра отвезти ее в Ирбит, чтобы уже оттуда добраться на перекладных до Екатеринбурга, но Иван Петрович сказал как отрезал, что у него и без этого дел по горло. Со свекром спорить было бесполезно, он, во-первых, всегда был непреклонен в своих решениях, а во-вторых, ссориться с ним ей нынче было невыгодно. Кто она ему теперь? Вдовая сноха, чужой человек; как говорят, отрезанный ломоть обратно к булке не приставишь. Захочет свекор — может выделить ее, и все! Нити, связывающие ее с елпановским домом, очень тонки и непрочны и могут порваться в любой день, а этого она боялась больше всего на свете. Именно по этой причине она, оставшись молодой вдовой, не пошла вторично замуж. Елпановский капитал, казалось, был так близко, но, точно заколдованный, не давался в руки.

Пришлось Пии добираться до Ирбита с хлебным обозом на возу с мешками. Из Ирбита до Екатеринбурга гужевого транспорта шло много, знай только выбирай, но Пия была стеснена в средствах, и ей было не до комфорта.

В больнице мать застала Катеньку в слезах.

— Что с тобой, милая? Тебе здесь худо? — с тревогой в сердце доспрашивалась мать. — Ведь я им, иродам,

столько денег стравила, шtbody оне за тобой как следует ухаживали. От других больных отдельно держали и кормили лучше!

— Я и так, мама, была отдельно от всех, да уж шtbody то-скливо. Все плачу, домой охота... Сама попросилась вместе со всеми... А насчет еды — кормят хорошо, только я есть не хочу ничего, дух тут шtbody тяжелый. Мама, возьми меня домой, пожалуйста, прошу тебя. А то здесь я умру...

— Ладно, возьму домой тебя, — от жалости к дочери у Пии навернулись на глаза слезы. — Седни же похлопочу об отъезде.

Разговор наедине с врачом не вселил никакой надежды.

Врач, как бы извиняясь, сказал, отводя глаза:

— Советую вам забрать Катю домой. Ей там будет лучше. В деревне чистый воздух, лучше питание, чем в больнице. Она у вас, видимо, нигде, кроме дома, не бывала и поэтому сильно тоскует. Все плачет, и лечение не идет ей впрок. Да и болезнь эту вылечить очень трудно...

Пия не мешкая забрала дочь из больницы и повезла домой. Остановившись в Ирбите, посетили известную на весь город знахарку, которая осмотрела Катеньку, пошептала какие-то заговоры, дала попить различных настоев и окурила больную сизым вонючим дымом. После знахарки, для закрепления лечения, побывали в церкви Спаса — прикладывались к чудотворной иконе Параскевы Великомученицы.

Дома Кате стало немного лучше. По совету врача мать ее кормила из отдельной посуды. Спала Катя в маленькой горенке, где всегда жарко натапливали камин. Мать беспокоилась за младшую дочь Дашутку и не давала дочерям находиться вместе. Но у Даши были свои подружки, и она проводила с ними целые дни.

Всю зиму Елпановы привозили к Кате разных лекарей, но, несмотря ни на что, к весне болезнь усилилась. Девушка таяла с каждым днем, ей становилось все хуже.



Закутавшись в большую верховую шаль, она садилась спиной к камину и безучастно глядела в окно. А за окном уже ослепительно светило солнце, всюду чирикали воробьи и капало с крыши.

Олимпия старалась придать бодрость своему голосу и говорила:

— Ну вот, Катенька, видишь, весна, скоро тепло будет. На улицу выходить станешь, а там, глядишь, и поправишься.

— Нет, мама... Мне во сне привиделась бабушка Серафима, царство ей небесное. Зовет она меня с собой, значит, я скоро умру.

Катя умерла перед Пасхой — апрельским погожим днем. Столь велико и беспредельно было горе, что светлый весенний праздник был никому не в радость.

Олимпия в черной шали стала похожа на старую иссохшую монахиню. Ее бледные тонкие губы теперь всегда были плотно сжаты, взор зеленых глаз потух, нос заострился, как у покойницы. Иван Петрович хоть и горевал, но благодаря отличному здоровью и крепкому, сильному и спокойному характеру не выдавал на людях свою печаль.

Среди суеты и сутолоки, повседневных хозяйственных дел стало постепенно оттесняться горе. И при разговоре Иван Петрович спокойно отвечал: «Так было угодно Богу. Бог дал, Бог и забрал».

Он часто вспоминал тот случай на покосе, когда он нечаянно косой убил на гнезде куропатку и как потом жалобно пищали только что вылупившиеся птенцы. На завтра утром Иван Петрович приходил смотреть, что стало с птенцами, но гнездо было пустым. Мертвая мать не могла уберечь крохотных птенчиков, и их, видимо, растаскали вороны. Так и его дом пошел в упадок и разорение. «Завертелось колесо, его не остановишь; капитал прибывает, да что толку, кому это все достанется? Ведь я уже в годах», — думал про себя Иван Петрович...

## ЦЫГАНКА ГАДАЛА...

— Видала, кума, Иван-то Елпанов — какой  
еще младчик? А ему уж за семьдесят!

— Чё удивляться? Елпанов, поди-ка, в детстве голодухи не хватил, как мы с тобой...

— И двух уж жен пережил!

— Ну, третью-то уж, поди, не переживет, особо если возьмет молодую, лет восемнадцати...

— А што бы ему не жениться на молодой? Куда богатство-то девать будет? Дашку он не очень-то любит — та в мать пошла, злая да вредная, зятя за нее в дом он брать не будет, взамуж отдаст. А Пиюшка скоро и так сама по себе иссохнет от злости да от жадности...

То-то удивились бы прядеинские кумушки, если бы узнали, что в их досужем разговоре под лузганье семечек они были прямо-таки провидицами!

...В ярмарку Пия выпросилась у свекра съездить в Ирбит. Хотя она бывала на Ирбитской ярмарке много раз, но и теперь торжище поразило ее шумом, гамом, звоном и многолюдьем. Перед поездкой Пия выпросила у свекра денег, чтобы купить Даше оренбургскую шаль, и теперь ходила между торговыми рядами, высматривая подходящую. Вдруг откуда ни возьмись — старая цыганка. Пронзив Пию взглядом черных, потускневших от старости глаз, она привычно затараторила:

— Дай руку, милая! Погадаю я тебе — о том, что есть, что будет, всю правду скажу!

Пия протянула старухе ладонь.

— Много ты горя претерпела, милая! И при богатстве живешь, да бедная, и при больших деньгах, да без копейки...

У Пии захолонуло сердце — ведь правду говорит цыганка-то...

Вместе они отошли в сторону от торговых рядов.

— Позолоти мне ручку, милая, — продолжала тараторить цыганка. — Всю как есть правду скажу...

Пия достала пятак.

— Да бог с тобой, милая! Пятак — какие же это деньги? Дай хоть гривенник, тогда погадаю...

Пия достала гривенник.

— Живешь ты, голубушка, с дочерью в богатом доме, мужа у тебя нет. Скоро услышишь вести нехорошие, огорчаться станешь... Но на сердце это не клади — тебе же хуже будет... Долгий век проживешь ты в богатом доме, но не хозяйкой и не работницей проживешь. Дочь выдашь замуж тоже в богатый дом... Позолоти еще ручку — скажу, от кого ждать неприятности и чего остерегаться...

— Да знаю я сама, кого и чего мне бояться-то надо! — почти закричала Пия и едва ли не бегом побежала от цыганки. Отдышавшись, она выбрала хорошую и сходную по цене оренбургскую шаль и, довольная покупкой, отправилась смотреть другие товары.

Торговые ряды с разнообразными шальями и платками сменили прилавки с туркменскими и персидскими коврами. Ковры были навешаны на стены, разостланы на полу. Все окружающее пространство казалось одним красочным огромным ковром. Пия остановилась, как замороженная, но денег на покупки больше не было. Верно, видимо, сказала цыганка, что при больших деньгах — и без денег. Чернобородые бухарцы в мохнатых шапках и чалмах зазывали покупателей. На ломаном русском расхваливали свой товар. Дальше шли шубы, полушубки, шапки, татарские бешметы, тулупы и всякая прочая меховая одежда. По стенам висели бурки, всевозможные дохи, от енотовых до собачьих, бобровые и рысьи шапки. Чуть дальше можно было увидеть гроздь рассыпанных на прилавках всяческих валенок: мужские, женские, детские, казанские вышитые нарядные, легкие поярковые

чесанки и теплые пимы из овечьей шерсти. Тут же продавались огромные пожарные кошмы, войлоки подседельные и подхомутники.

Пия с трудом протискивалась сквозь толпу народа, с интересом рассматривая многочисленные товары.

От приятного досуга Пию отвлек оклик Федота:

— Олимпия Спиридоновна! Давно тебя ищу! Иван Петрович велел немедля идти ему помогать!

«Старый черт! — подумала Пия. — Вечно у него работа! Не дает даже походить по торжищу». — А вслух с сердцем сказала Федоту: «Ладно, сейчас иду!»

Торговали Елпановы на Ирбитской ярмарке зерном, мясом, кожами, варавиной<sup>117</sup> и льном. С ярмарки везли гвозди, топоры, пилы, листовое железо, серпы, косы и все прочее, необходимое в хозяйстве. Но особенной тяги к торговле, как у его отца, у Ивана Петровича не было, в купечество выйти он не особенно стремился. Он любил простую крестьянскую работу и деревенский бесхитростный быт. Вырученные от продажи выращенной на своем подворье продукции деньги он вкладывал в новые проекты. Пока был жив сын Анфиноген, Иван Петрович старался для него. Когда же не стало наследника, задумался о том, кому достанутся его накопления. Но было уже невозможно, как говорил он сам, остановить вертящееся колесо. Он, пуская в оборот свои деньги, наживал их еще больше. Иван Елпанов многим безземельным и безлошадным батракам давал жилье, одежду и пропитание. К нему шли люди работать в пострадки на сезон и на целый год, а некоторые жили у него десятками лет. Он был спокойнее и покладистее характером своего отца, Петра Васильевича. Рассудительный и правдивый, Иван Петрович нравился работникам. Работники говорили между собой так: «Если

---

<sup>117</sup> Варавина — веревка.

уж Елпанов дал за работу такую цену, он не повернется. Хоть сделай ее за день, хоть за час». Под старость, после смерти сына, жены и внучки, он стал намного проще с народом. Да и богатых-то людей во всей округе было таких, как Иван Петрович, не столь уж много.

...Незаметно прошел год со дня смерти Серафимы Ивановны, и Иван Петрович всерьез стал думать о женитьбе. Снохе он решил пока ничего не говорить — знал, что та очень удивится, а уж выбор его не одобрит никак. Между тем Иван Петрович уж давно присмотрел невесту, молодую девушку, почти ровесницу своей внучки.

Тот погожий весенний день Елпанов запомнил навсегда: он со снохой и внучкой сидел за обеденным столом, когда в дом зашли две девки, похожие на нищенок, но вместо того чтобы просить милостыню, они сказали, что пришли наниматься в работницы — на любую работу, хоть кирпич таскать, хоть куделю чистить, пока не подоспела сенокосная страда. Иван Петрович внимательно рассмотрел обеих. Та, что постарше, невысокая ростом, смуглая, сероглазая, с черными бровями и с такими же волосами, вся как сбитая, понравилась Елпанову сразу.

— Как вас звать-то, красавицы?

— Меня Авдотьей, — бойко сказала младшая.

— А меня — Мариной, — смущаясь, ответила другая.

— Вы сестры, что ли?

— Не, только из одной деревни... Из Вагановой мы.

— Отцы-матери есть?

Дунька, перебивая подружку, сказала:

— У меня отец да мачеха, а у Маринки — ни отца, ни матери, только брат женатый, крестный ее.

Маринка густо покраснела, потупилась, красивые серые глаза стали влажными.



Елпанову стало жаль девчонок. В глубине души шевельнулось отцовское чувство к чужим обездоленным дочерям. Вспомнил внучку свою Катерину. И невесело подумал: «У нашей все было, кажись, одежда, пить и

есть, а вот бог веку не дал... А тут сирота. При такой бедности — и такая красивая да гладкая, с румянцем во всю щеку».

— Ну что мне с вами делать, красны девицы? — усмехнулся Елпанов. — Будь по-вашему, придется уж брать вас в работницы, хоть и не ко времени пришли. Разболокайтесь<sup>118</sup> да садитесь обедать с нами, а там обмозгуем, куда вас определить...

За обедом Иван Петрович сказал:

— До сенокоса еще далеко; на разных работах будете... Может, на заимку вас отвезу — скот пасти, коров доить да огород обихаживать, холсты ткать... Умеете ли ткать-то?

— Умеем, умеем, батюшка Иван Петрович! Всему научены — не первый год в строках по чужим людям живем!

— Ладно, нито на заимку я вас и отвезу! Поедете? Там у меня весело! Народу много. Кукушки кукуют, соловьи поют. Ну, конечно, и комарики покусывают.

— Мы согласные, мы не хуже кого другого робим!

— Ишь ты, егоза! На язык-то ты остра, Авдотья, тебе, однако, палец в рот не клади — враз откусишь! Не то что твоя товарка...

Марина опять покраснела до корней волос.

— Ну, девчата! Вот вам пока работа, — кивнул хозяин на большую кучу дров, — тут много, до вечера вам не сложить; кладите, которы полегче, а тяжелые пусть лежат пока — мужики потом сложат!

— Ого! В нашем полку прибыло! — закричал с телеги молодой парень, весь вымазанный кирпичной глиной. Он был одет в посконную рубаху и такие же штаны, на голове красовался рваный картуз. Ничуть не смущаясь своего убогого одеянья, парень остановил лошадь и по-молодецки спрыгнул с телеги, в которую был нагружен кирпич-сырец.

---

<sup>118</sup> Разболокайтесь — раздевайтесь.

— Чьи же это такие крали? Откуда взялись?!

— Ванька, проезжай живей! Хватит тебе зубы-то скалить! — прервал бойкого парня проезжавший мимо возница.

Паренек быстро перенес свое внимание на работниц, которые таскали и садили кирпич для обжига в печь.

— Эй, Поликсена, подоткни подол еще выше, а то бадьей зацепишь!

Грузная высокая баба, вымазанная с макушки до пят в глине, замахнулась на парня:

— Чичас я тебя съезжу кирпичом прямо в харю, будешь знать! Чё выпучил шары свои бесстыжие!

— Но! Но! Полегче, кирпич-то не твой, хозяйский! Фока Иванович! Поликсена у тебя хочет печь разворотить!

— А ты сади ее в бадью да спускай вниз, может, она и смирится! — работницы дружно засмеялись.

Ванька наложил сырца полную бадью и поднял ее по блоку вверх.

— Радуйтесь, бабоньки, в другой раз я сам к вам в бадье собственной персоной прибуду!

— Мы тебя в трубу спустим! Балабол, обедать пора! Ненила щей наварила!

Работники прекратили работу и, толкая друг друга, с хохотом, визгом и веселыми прибаутками понеслись к реке, чтобы смыть въевшуюся кирпичную пыль.

«Ишо не наробились, угланы<sup>119</sup>, на такой жарине за целый-то день, — подумал мастер Фока, — сколь же крепкий этот народ. Ко всяким невздам привычный. Вон бабешки целый день кирпич таскают. Вечером, кажется, рады бы отдохнуть, а тут семья дома, работа. Вот хотя бы взять ту же Поликсену: шестеро детей, да муж больной. Ну а про девок и парней говорить нечего. Поужинают вечером, и уж отдохнули. Глядишь, по сумеркам компаниться начинают.

---

<sup>119</sup> Углан — болван, повеса, шалун, баловник.



На игрища убегут и до третьих петухов шастают. Никакой им заботы. А тут вот, как насадят пять-то печей, вроде и глядишь в оба, и следишь, чтоб кирпич садили как следует, а все равно где-нибудь да и оплошка выйдет. То дым по дымоходам никак не проходит, то еще что-нибудь. Кирпич в брак идет... Елпанов-то стал в кирпиче разбираться не хуже, чем я, а даже и лучше. Нет-нет да скажет: «Фока Иванович! Что-то много в этот раз кирпичу-то негодного вышло, самого тебя продавать его заставлю». Нужно, чтобы жар во всех печах одинаковый был. А ведь руку туда не сунешь и не заглянешь в печь-то, как он, кирпич-то, там обжигается. Да и от дров много зависит, от погоды, от ветра. Другой раз стараешься-стараешься, а кирпич хоть брось. Остужать печи тоже уметь надо, а то кирпич ломкий будет...»

— Фока Иванович, обедать иди!

— Батюшки, долго же я просидел! Не заметил, как молодежь вернулась с реки и отобедала.

Работники отдыхали после обеда. Ванька собрал кружком девок и рассказывал им что-то смешное. Девки краснели, фыркали, некоторые громко хохотали, покатываясь со смеху, или замахивались на Ваньку, а он как ни в чем не бывало делал на минуту серьезную мину и продолжал свой веселый рассказ.

Пожилой мужик Сафроныч крикнул Ваньке:

— Ты што, браток, не зовешь обедать новеньких-то!

— Звал я их, дядя Митрий, да не идут! Хотут, видимо, Елпанову всю работу переделать. Мы, говорят, уже отобедали.

— Елпанову всю работу никак не переделаешь, ее вон сколь много. Он кормить даром не будет, завсегда работу найдет, хоть в дождь, хоть в ненастье, хоть с неба камни валитесь. На то он и хозяин, а мы работники. Говорят, они раньше были беднота, как мы. Дед его на одной лошадашке приехал. Ишь распыхались, помню, еще сам Петро живой был...

— Тише ты! Сам идет!

Иван Петрович любил подходить к своим работникам тихо, незамеченным. Появлялся вдруг, как вырастал из-под земли.

— Ну что, ребята, доложили четвертую-то печь? Хорошо! Осталась пятая! Фока Иванович, к вечеру запали все!

— Иван Петрович, в баньке бы попариться седни да отдохнуть до утра. Утром можно и запаливать.

— А ты вспомни, когда же первую-то садили? А если сырец плохо просушен да вся печь осадку даст! Тогда что? Опять кирпич с браком пойдет.

— Кирпич там насажен просушенный, Иван Петрович, а садили печь мы позавчера вечером.

— Нет, Фока, как хотите, а все печи запалить седни же. Баню истопить можно. Я прикажу Нениле. Но чтоб печи вечером топились все.

Елпанов закончил разговор, резко повернулся и подошел к новым работницам.

— Ну, девицы красны, на сегодня хватит! Идите ужинайте и отдыхайте, а завтра спозаранку на заимку поедем.

Пока те умывались в кадке у колодца, он разглядывал большущие поленницы и про себя дивился: «Эк ведь сколь за полдня сделали, натужно старались... Видно, и впрямь добры работницы! А может, вид делают первоначалу-то? Да нет, пожалуй... По строкам сноровку-то и не захочешь, а наживешь! Надо будет им новые обутки сделать да одежонку кое-какую — пусть на заимке коров да телят пасут.

А что толку мне от снохи и внучки, какие они мне мощники? Только и знают, что деньги вымогать! Виданное ли дело: девке и двенадцати еще нет, а она уже на приданом помешалась! Обе они с матерью хороши, так и норовят урвать... Нет уж, кукиш с маслом: хватит! Женюсь после Покрова на Марине — и баста! Знайте, кто есть Иван Петрович Елпанов!»

Разгоряченный такими мыслями, он пытался успокоиться, самого себя образумить: «А пойдет ли она за меня? Мне как-никак семидесятый идет, а ей всего девятнадцать... Была не была, посватаюсь — может, и пойдет! Надоело, поди-ка, горе мыкать по чужим людям, вечно в строке...»

Любовь к молодой девушке, казалось, прибавила Елпанову новых сил, энергии и даже доброты к людям. Он пообещал работникам, если к Успенью все хлеба будут сжаты, снопы с полей свезены и уложены в скирды, устроить для них хорошие отжинки<sup>120</sup>; обещал даже расчитать всех раньше Покрова. Работники знали, что Елпанов, если уж что пообещает, то никогда не забывает и не обманывает. И старались изо всех сил управиться со жнитвом, работали не покладая рук.

Мужики судачили в отсутствие хозяина: «Чё это поделалось нынче с Елпановым? Какой-то он стал не такой, как раньше. Подобрел, что ли? Может, в праведники метит? Доживем — узнаем. А покуда кто его знает, чё у его на уме? Лишь бы не забыл расчитать нас, как посулено».

...Кажется, сама природа благопритствовала в тот год Ивану Елпанову. Стояли на редкость погожие дни бабьего лета, урожай удался на славу. Хлеба были сжаты, снопы сложены в скирды, на заимке докапывали картошку, рвали коноплю, убирали все последнее с огорода.

Кирпичников хозяин рассчитал уже давно: елпановский кирпичный завод с наступлением холодов, когда глина ночами начинала замерзать, работать заканчивал. Кирпича этим летом заготовили много: вдоль всего правого берега Кирги тянулись длинные склады, крытые тесом и берестой.

---

<sup>120</sup> Отжинки — последний день жатвы, обычно празднуемый в деревнях.

Все крупные работы сделаны, осталась только молотба. Пора было устраивать отжинки. Елпанов велел бабам на заимке варить пиво и кумышку, печь пироги, варить картошку и мясо.

На заимке за праздничным столом собрались все работники Елпанова, сам Иван Петрович сидел на почетном месте, положив на край столешницы могучую руку, другой ерошил свою смолянисто-черную, без единого седого волоска бороду, и как бы в большом раздумье обводил взглядом присутствующих.

Сидевший рядом мельник Елизар уже лез к нему целоваться и пьяненьким певучим вятским говорком ныл ему в ухо:

— Благодетель ты наш, Иван Петрович! Многие тебе лета...

— Дорогому нашему хозяину! Ура! — подхватила вся застолица.

— Тише вы! — хозяин хлопнул широченной ладонью по столу так, что подпрыгнула посуда. — Я не для того сделал отжинки, чтобы вы мне весь вечер славу пели, я вам не царь-батюшка. Добрая слава не вином покупается. Не забывайте, что мы седня тут все равны, нет ни работников, ни хозяев, а только гости. Давайте сдвинем все столы к стене, будем петь да плясать! Федос, неси свою тальянку, поиграй нам что-нибудь веселое. Потанцуем, попляшем, тряхнем стариной. Девушки, бабоньки, выходите на круг, не стесняйтесь, здесь все свои, все лето вместе робили.

Стеша мигом принесла гармошку и подала ее мужу. Федос сел на табурет и для начала заиграл «улошную», потом кадрили, «Барыню».

Иван Петрович несколько раз выходил на круг, танцевал и плясал вместе со всеми. Станцевав задорную «Барыню», подошел к Марине, чтобы пригласить ее на кадрили. С минуту думала девка, стеснялась, раскрасневшись, как

маков цвет, потом легким кивком головы поклонилась и легко и плавно поплыла в танце, почти не касаясь пола. Танцевала она мастерски, с усердием, до самозабвения, лицо ее было строго и торжественно. Иван Петрович уже давно сбросил с себя кафтан и жилет, остался в одной белой полотняной рубашке, не хотел уступить своей партнерше, топая сапогами, бурно наступал на нее, она же — молодая, легонькая, как козочка, — то легко и проворно уходила от него, то сама наступала. Крупным бисером выступил пот на лбу и на носу у Ивана Петровича, но он не хотел сдаться в танце.

До глубокой ночи в большом просторном доме на заимке Елпанова шло веселье. Пели песни и был слышен дробный топот ног. По мере того как гости пьянели, сам хозяин совсем протрезвел и больше ни капли не брал в рот хмельного. Он знал меру и ни разу в жизни не напивался допьяна. Он был человек дела и никогда об этом не забывал. Иван Петрович предполагал, что рано или поздно все свалится в пьяном сне, так должен хоть кто-то не спать и следить за порядком.

Наконец-то все смолкло. Многие уже спали. Иван Петрович погасил все лучины и направился к выходу. В снях было трудно пройти из-за спящих.

— Ничего, голубчики! К утру-то так вывездит, что весь хмель пройдет разом, живо очухаетесь да прибежите в избу.

Елпанов вышел на крыльцо, потом во двор. С вечера все небо было в звездах и полная луна светила вовсю. Было тихо. Теперь натянуло морок и начал крапывать мелкий дождик-бусенец. «Вот так чудо, — подумал Елпанов, — недаром говорят, что осенняя ночь на семерых тройках успеваешь проехать».

От амбаров мелькнула какая-то тень. Елпанов притаился в тени навеса и стал ждать.

Вскоре человек направился в его сторону и окликнул:

— Кто тут ходит?

Иван Петрович узнал по голосу своего управляющего:

— Это я, Федос Лукич, что не спишь?

— Да вить забота! Все перепились, канальи, не дай бог, еще что сотворят.

— Ну теперя уж все уснули.

— Дак вить есть и такие, что поспят малость, да встанут, начнут искать кумышку али брагу, да с огнем. А спьяну долго ли заронить?

— Хорошо, Федос, хоть ты трезвый. Вдвоем все же веселее.

— Помилуй, Иван Петрович! До питья ли мне, когда кругом пьяно.

— Ну ладно, Федос, спасибо тебе, что воздержался от выпивки, а то я тебя при последе нигде не видел. Думал, ты тоже упился. Завтре я их всех рассчитаю, уйдут по домам, и будет у нас полный порядок. Баб и девок только оставлю, кто пожелает куделю чистить.

На следующий день после обеда Елпанов стал рассчитывать всех желающих уйти от него. Мужики получали деньги и уходили домой к своим семьям. Но были и такие, что сразу шли в кабак, чтоб за неделю спустить все заработанное до последней копейки. Такие пропившиеся забубенные головы потом снова шли наниматься к тому же Елпанову...

Марина с Дунькой получили расчет и, счастливые, собрались бежать домой в Ваганову. Когда народ после отжинок почти весь разошелся, к Марине подошел Елпанов и протянул ей сверток:

— Вот тебе, красавица, подарок за усердие!

У той серые большие глаза удивленно округлились, смуглое лицо сделалось пунцовым.

— Мне... подарок? За што же это? Не надо!

— Да ты взгляни хоть!

Марина развернула сверток, в нем был бордовый с розами полушалок. Мягкая, теплая ткань словно обожгла руки.

— Не возьму я, Иван Петрович, непривычна я к подаркам... И почему мне одной? Дунька не хуже моего робила, а мы же с ней — заединщина!

— И подружке твоей тоже полушалок подарю, только не такой — одинаковых у меня не найдется... Почему не остаешься, Марина, у нас куделю-то чистить?

— Домой мне надо...

— Да у тебя же ни отца, ни матери...

— Избушка у крестного в Вагановой... Пока я в огороде уберу, в дому вымою, тут и крестный с женой придут из строку.

— А где они в строке-то робят?

— В Харловой, у Вершининых. Скоро рассчитаются да и придут.

— А если бы я тебя посватал, Марина, пошла бы за меня взамуж? — вдруг спросил Елпанов. — Видишь, один я как перст, наследников у меня нету... Всему бы ты хозяйкой стала!

— Ой, да што вы говорите, Иван Петрович, какая я вам невеста?! Нет!... Нет! Ничего мне не надо!

Лицо Марины побледнело как мел, руки затряслись, слезы выступили на глазах. Иван Петрович встал, подошел к ней вплотную.

— Ну что ты, касаточка, заплакала? Видит бог, совсем не хотел тебя обидеть... Конечно, стар я для тебя, да и жених у тебя, наверно, есть. А где подружка-то твоя?

— На поскотине меня дожидается...

— Ну-ка иди, зови ее!

Вскоре Марина вернулась вместе с Дунькой.

— Ну вот, девицы красны, я вам тут подарочки припас, — и он подал Марине и Дуньке по свертку. — Хорошо робили, спасибо! Только уж не обессудьте — в точности одинаковых полушалков не нашлось...

Бойкая Дунька подскочила к хозяину:

— Благодарствуем, благодетель вы наш, Иван Петрович! Лучше отца родного... Может, придем к вам и куделю чистить, коли позовете! Вот сходим в Ваганову, я тятю попроведаю — и придем...

— Ну, с богом!

Дунька была счастлива и довольна донельзя, а на глаза Марины то и дело набегали слезы. Она украдкой вытирала их, а подружка без умолку щебетала:

— Ой, Маринка, какой тебе он платок-то подарил — красота! У меня тоже красивый, да похуже. Давай до поскотины дойдем, присядем да хорошенько разглядим. А когда в Вагановой пойдем на игрища, ты мне дашь своего, на один вечер только, поносить?

— Да дам, конечно...

— Да ты чё-то невеселая, а, Маринка?

— А с чего мне веселиться-то, приду вот сейчас к пустой избушке... А потом хуже того — после Покрова крестный домой возвратится, будет пить да буянить, свои деньги пропьет, до моих доберется, вымогать будет. А жена его, Лизаветушка, как платок увидит, дознаваться станет: где взяла? Если правду сказать, что хозяин просто так подарил, всяко насмеяться начнет!

— Нет уж, дудки! — посерьезнела Дунька. Ее маленькие колючие глазки засверкали злыми огоньками. — Я бы в кровь исцарапала мачеху, если бы она стала у меня платок отбирать. А деньги я и так отдам тятюке, он меня жалеет. Да и он у нас не пьет вино-то. Как поедет на ярмарку в Ирбит, мне что-нибудь купит.

Давай, Маринка, воротимся назад в Прядеину к Елпанову, скажем, што передумали, останемся куделю чистить, а там, может, еще што...

— Нет, Дуня, пойдем домой. Петра все-таки я должна повидать, все сердце изболелось. Пусть хоть его родители меня ненавидят, а с Петром я все равно должна встретиться, а то он подумает, что я его забыла, нашла другого.



Обещала я ему к Покрову обязательно быть дома. А к Елпанову я наниматься боле не буду.

— Беда мне с тобой, Маринка, в Харлову ты не хотела, что крестный деньги у тебя отбирать будет. Вершинины ведь нас на работу брали... Не пошла... Теперь уж, кажется, чего бы лучше у Елпанова — опять не ладно, дома тоже не хорошо... Ишь царица какая нашлась. Как последние обутки спадут, бегом побежишь да поклонисься. Ну подумай сама, у меня хоть тятка родной дома, а у тебя брат пьяница.

Маринка ничего не сказала больше своей задушевной подруге. Слезы крупным горохом полились из ее глаз, она отвернулась от подружки, смотрела в сторону на осенние желтые листья под ногами.

Дунька, увидев, что подруга ее плачет, быстро догнала, обняла крепко за шею:

— Маринка, милая, не реви, не надо, вот увидишь — все хорошо будет. Чичас придем к нам, наедемся, вечером на игрища сходим, Петра твоего увидим. Если он к нам сразу не подойдет, то я выберу время, отведу его в сторонку и скажу, что Маринка с тобой хочет поговорить. А потом ночевать к нам придем, у нас на полатах тепло. А завтра в избе вашей печь затопим да мыть начнем. Я тебе помогу. Вот увидишь — все хорошо будет, я у тятки отпрошусь, он непременно отпустит, он добрый. Только ты, Маринка, не реви.

— Ладно, Дуня, я уже не реву, пойдем скорее, а то как бы дождь не пошел, небо, вишь, застилать тучами стало. Теперь вить осень.

Всю дорогу Марину одолевали невеселые думы, угнетало какое-то дурное предчувствие, болело сердце. Если бы не ее возлюбленный, которого она любит, кажется, нечего было делать в родной деревушке.

За все время дороги не один раз думала сказать своей задушевной подружке, что говорил ей Елпанов, но решила

оставить пока в тайне. Да и зачем говорить? Неужели он в самой деле приедет сватать ее, просто пошутил, да и все. «Ну какая я ему невеста, мне девятнадцать, а ему, говорят, уж больше шестидесяти. Хоть и крепкий он на вид, но разве сравнишь с Петром! Не бывать этому!»

— Ты чё, Маринка, бормочешь? Чему это не бывать? А если будет? — захохотала Дунька.

— Ой, задумалась я.

— Все о Петьке думаешь? Думай не думай, а сто рублей не деньги. Пойдем скорее, домой охота. Хорошо, да в людях, худо, да дома. С полей убрались, теперя вечёрки да посиделки начнутся, весело будет. Не горюй, Маринка!

## МАРИНКИНА ЛЮБОВЬ

Деревня Ваганова образовалась примерно в то же время, как и все близлежащие мелкие деревни, такие как Галишева и другие. Первыми жителями были каторжане, отбывшие каторгу и сосланные в Зауралье на вечное поселение.

Неказистая на вид деревня, в которой было не более трех десятков домов, ютилась на берегу Кирги. На самом краю деревни, в тени раскидистых черемух и рябин, стояла одинокая покосившаяся избушка, окна которой подслеповато глядели на проезжую дорогу. Когда-то у этой избы были мало-мальские пристройки, теперь же, кроме завалившихся на бок ворот и раскрытого, без крыши, сарая, ничего не было. Палисадник перед окнами давно был изрублен на дрова, только кусты черемухи, несмотря ни на что, продолжали буйно разрастаться и давали тень и приют в жаркие летние дни, а заодно скрывали от глаз проезжающих по дороге людей все убожество и ветхость этого подворья.

Марина родилась и выросла в этой избе. Детство было тяжелым. Да и какое оно могло быть в крестьянской семье, в которой умер самый главный кормилец? Правда, по словам матери, отец Маринки, Василий Анисимович, был непутевый, любил выпить и был не приучен к труду. За лень и пьянство его часто выгоняли с работы. В деревне его не уважали и в открытую называли лентяком, а за то, что он не задерживался больше чем на сезон ни у одного хозяина, дали прозвище Беглый.

Маринка не помнила своего отца, но в ее память врезались жалобы больной матери. Особенно трудно и тяжело было зимой. Маринка вспомнила, как они с матерью зимним выюжливym вечером лежали на печи, зарывшись в рваное тряпье, стараясь защититься от пронизывающего

холода. Дров не хватало, и едва протопленная с утра печь скупо отдает последнее тепло, ветер воет в трубе. Заткнутое тряпкой разбитое окно промерзло насквозь. Мать болезненно ворочается, вздыхает и крестится: «Господи, и чё эта хворь ко мне привязалась. Скорей бы проходила, выздороветь бы к Рождеству. Хоть бы где у кого избу помыть. Люди будут разговляться, а у нас есть-то нечего. До чего же мы дожили, — мать бережно пододвигает к себе Маринку. — Спи, дочка, завтра пойдем к дяде Никите, он нам дров привезет, у нас тепло будет». Маринка прижимается к теплому материнскому боку и засыпает.

Наутро метель стихает, отдав свои силы уральскому морозу. Стены избушки промерзли насквозь — печь совсем остыла. Маринка проснулась от того, что у нее замерзли ноги. В избушке такой холод, что видно, как от дыхания поднимается пар. Мать наскоро одевает Маринку, и они идут к соседям. На дворе нанесло по колено снега.

Мать выметает снег с крыльца, прогребает к воротам дорожку и приговаривает:

— Эх сколь его напучило, в сидячую собаку! То-то у меня спина вечером совсем отнялась к погоде-то. Пожалуй, Никита и не поедет по дрова-то.

Они вышли из ворот и пошли через дом к соседу. Сосед Никита Савельевич, пожилой мужчина с седой окладистой бородой, убирал за оградой снег.

Мать поклонилась:

— Здравствуйте, Никита Савельевич!

— Здравствуй, Акулина, чё пришла?

— В ножки падать, Никита Савельевич, дров у меня нисколько нету, совсем замерзаем! Яви, соседушко, божескую милость, привези уж нам хоть немного сушняку.

— Да ты што, баба, совсем одурела, снегу вон сколь набуровило, как теперя в лес ехать? Пусть хоть погода установится да дорогу промнут.

— Што же мне теперь-то делать? Вить мы с девкой-то замерзаем. Привези, голубчик, Христа ради, Степка потом в поденщину отработит, а то и две.

— Не говори мне, Акулина, про Степку, когда он кому отработывал? — зло сказал Никита. — Ты уж не обижайся, лентяк он у тебя, ничего путного из него не выйдет. Ну как же ему дров не запасти было для матери? Вить дрова-то летом запасают, а не зимой.

Мать стояла на морозе в рваных стоптанных обутках, дрожа от холода, и плакала. Глядя на мать, заревела и Маринка.

— Ну ладно, Акулина, жалеючи тебя и дочь твою, привезу вам сушняку, только не седни; а теперь пойдем в ограду, — Никита по хозяйски огреб весь снег, взял лопату и пошел во двор. — Вот санки берите и накладывайте с той поленницы сухих дров.

Вернувшись домой, они затопили печь добрыми, сухими дровами, и благодатное тепло разлилось по всей избушке...

Когда Маринке исполнилось семь лет, мамы не стало... Без мамы жизнь Маринки изменилась в худшую сторону, хотя казалось, что хуже жить уже нельзя.

Брат стал отправлять сестру на заработки: сначала в няньки, потом в борноволоки, а затем и вообще в строк на страду. За расчетом к хозяину он являлся сам — забирал деньги и пропивал их. В деревне про Степана говорили, что он такой же неработь, как и его отец.

Маринка не боялась никакой работы, и ее с удовольствием нанимали в разные семьи. Так однажды она попала в зажиточную семью — к Вагановым, где и встретила своего любимого. Петр был старшим сыном в семье Вагановых, остальные четыре брата — еще подростки, а младшей и единственной сестренке исполнилось всего три года.

Начались тайные свидания, назначались встречи. Но за Петром во все глаза следили его родные, и все тайное вскоре стало явным. Узнав про свидания с хозяйским сыном, Маринку сразу же рассчитали и выгнали с работы, а Петру сделали строгое внушение, чтобы не яхшался с беднотой, но прошло какое-то время, и молодые люди опять стали встречаться.

Сколько было сказано клятв о вечной дружбе и любви, но влюбленные не знали, как сделать так, чтобы родители Петра согласились взять Маринку к себе в дом. Не один раз Петр старался поговорить об этом с родителями, но мать и отец были против.

Шагая домой после встречи с любимой, он думал: «Как же нам быть с Маринкой? Уйти из дому? Нет! Ни за что! Если уйти из дома, то, пожалуй, по строкам находишься! Вечного ничего не бывает, так и эта кутерьма закончится. Уломаю же, в конце концов, я родителей. Да и матери Маринка была бы хорошей помощницей! Ведь сама же все говорит, что ей трудно одной справляться по дому».

Будь Петр побойчее и понастойчивее, может, и отстоял бы свое счастье. Но слишком уж несмелым оказался Петр. Недели за две до Покрова родители объявили, что его этой осенью будут женить.

— На ком же вы меня женить-то собираетесь?

— На ком нужно, на той и женим! Поскольку сам ты без понятия. Не можешь себе выбрать невесту.

— У меня давно уже есть невеста. Я ее люблю!

— А где она? Позволь знать?

— Где? Известное дело, в строке, в Прядеиной. К Покрову домой возвратится.

— Ты, дурень, забудь о ней навсегда. Никакая она тебе не невеста. Она уже там за лето-то, наверно, пять да десять нашла таких, как ты.

— Неправда! Она меня любит и ждет. Я женюсь только на ней.

— Ты што, сукин сын, удумал? — соскочил с лавки отец. — Поперек отца с матерью ставать? Нет, не выйдет! Проклянута тебя и по миру пуцу! Вечно в строке будешь! — глаза отца так и пыхнули злобой. — Тут тебе и корова, и лошадь будет за невестой, а уж добра-то всякого полны сундуки, — взяв себя в руки, уже спокойно продолжил отец, — а девка-то — малина! Не чета твоей грязнорылой! Живут оне с достатком, семья не большая... Дурак ты! Надо уметь жить-то! Поживете год-два, а там, глядишь, еще тесть поможет, отделим вас да всем скопом вам дом поставим. Так скоро и в люди выйдете.

— А ты, батя, шибко на приданое не зарься, с приданным-то обмануть могут, — попытался защититься Петр.

— То есть как это обмануть?

— Дадут старую без зубов кобылу, што с нее толку-то?

— Да нет уж, не таков я, чтоб меня с приданным надули! Я еще на сговоре пару гусей выпрошу, много видел у ихней ограды гусей-то...

— Да што же вы, батюшка, как же вы все без меня-то решили?

— А што тебя спрашивать, коли у тебя ума-то своего нет! Довольно! Как я сказал, так и будет. Для твоего же блага стараюсь! А эта твоя Марина не зайдет в наш дом никогда! Не бывать этому! Понял!? В воскресенье сговор, вот и все!

Потемнело у Петра в глазах. В ушах звон, словно кто-то по голове обухом съездил. Забилося сердце пудовым молотом в груди. Во рту появилась противная горечь. Невыносимо тяжело стало на душе:

— Нет! Нет! Лучше в строк, чем такая жизнь! Лучше в Киргу, в омут! Господи, да што это! Силой женить хочут!

— Ну как знаешь! Можешь и в строк, это твое дело...

Вечером отец с матерью долго шептались:

— Надо женить поскорее Петруху-то, пока та паскуда не возвернулась домой. А то все дело испортит.

— Не бойся, мать, все по-нашему будет. Уж я Петруху-то знаю, он землю и хозяйство до смерти любит, так что никуда не пойдет из дому и женится так, как мы укажем. Покочевряжится малость, а все же женится, вот увидишь. Затеял какую-то любовь! Да где она? Пустяки все это! Дом есть, хлеб и скотина есть! Вот и вся любовь, а там ребятишки пойдут, стерпится-слюбится. А сват-то, слышь, мать, кроткий, податливый, можно будет на сговоре-то еще что-нибудь выпросить, хоть ржи на семена для молодых-то пудов пять.

— Ну ты уж, Иван, рад стараться, кажись бы, у попа корову выпросил.

— А чё! Всё в дому пригодится!



## НЕЖЕЛАННАЯ СВАДЬБА

— Дунька идет! — закричал голопузый босой мальчонка лет шести. — Наша Дунька домой идет! — и в одно мгновение парнишка обнял Дуньку своими ручонками.

— Федька, чё ты тут делаешь?

— Играю! — радостно воскликнул мальчонка, кося глазами на Маринку.

— А наши-то дома?

— Тятка на мельницу в Харлову уехал, а мамка дома, Настя дома, Андрюха дома... А ты, Дуня, гостинцев принесла? — малыш указал на котомку.

— Принесла, принесла!

— Мама, Дунька пришла! — парнишка с радостным визгом побежал в ограду.

Горько стало на душе у Маринки. Нет, что ни говори, Дунька счастливее ее. Она придет домой, в котором ее с нетерпением ждут родные люди. «А меня кто ждет? Петро и тот уж забыл, наверное, про меня». С такими думами Марина прошла вместе с Дунькой в дом.

— Здравствуйте! Ну как вы тут? — увидев мачеху, спросила Дунька.

— Да ничё, слава богу, все живы-здоровы, живем по-маленьку. Капусту вот солю... Поешь с дороги, а потом мне поможешь, а то Настасья — худая помощница, — ответила, улыбаясь, полная грузная женщина, одетая в грязный холщевый запон.

— А где гостинцы? — перебила разговор подбежавшая к Дуне белобрысая девчонка лет семи.

— Сейчас, сейчас! — и Дунька стала высыпать из котомки переспелую черемуху.

— Ой, где-то ишо набрала черемухи, да какой сладкой, — и мачеха загребла целую горсть.

— Мы ведь шли пешком от самой Прядеиной. У Марьиного лога, совсем недалеко от дороги, смотрим, черемошка, а ягод на ней видимо-невидимо... Мама, а Маринка у нас седни ночует?

— Известное дело, где ж ей ночевать, как не у нас? Не в своей же нетопленной избе!

— Тетя Агния, как там избушка-то наша, стоит, не завалилась ишо? — робко спросила Маринка. — Не примечали?

— Да как не примечала? Примечала. Степан приходил картошку копать, а вот остальное убрал ли, нет, — не знаю. Забор у вас вывалился, овцы да козы, наверно, капусту сожрали.

— И чё он, забор-то, и теперь так вывален?

— Да нет! Мужики намеднись подняли. Што поделаешь, дом без хозяина все лето стоит, чего уж тут доброго ждать...

— А чё ишо нового в деревне-то у нас? — спросила Дуняшка мачеху.

— Иван Парфенович новые ворота поставил, — смеясь, сказала мачеха.

— Да чё мне ворота-то! Я не про то! — воскликнула Дунька.

— Свадьба заводится у них, сына женить хотят, — нехотя процедила Агния.

— Это какого же сына? Петра, што ли?

— А кого же еще? Не Митяху же, тот ишо молодой.

Словно громом оглушило Марину, сердце как бы остановилось на минуту, потом все же справилось с этой ужасной вестью и застучало так быстро и отчаянно, что отдалось где-то в висках и во всем теле, ослабли и подкопились ноги, руки дрожали. Тело ее вмиг покрылось испариной, страшная бледность разлилась по всему лицу, не хватало воздуха. Хорошо, что в полутемной избе никто не мог заметить этого.

Дунька, переживавшая за свою подружку, от удивления выпучила свои белесые глаза и открыла рот.

— А... Кто же невеста-то? Откуда? — заикаясь, наконец спросила Дунька.

— Да, говорят, с Камыша — из богатой семьи.

— Ну а сам Петро-то как?

— Да чё как? Был как, да свиньи съели! Вон какие у его отец с матерью... Говорят, Петруха-то упирался сначала, дак отец его сыромятной седельницей исхлестал и из дому выгнал. Лешак их знает, свадьбы-то ишо ведь не было. Сговор — не свадьба.

От этих слов у Маринки отлегло немного на душе. Может, еще и не бывать этой свадьбе. Сегодня вечером во что бы то ни стало она должна увидеть Петра и обо всем с ним переговорить. У нее еще теплилась кое-какая надежда...

Наконец наступил долгожданный вечер. По деревне разнеслись призывные звуки гармошки, собирая деревенскую молодежь, чтобы до утра петь песни, частушки и плясать до упаду на пяточке у пожарницы.

Петра Марина увидела сразу же, он шел с двумя задушевными друзьями от своего дома. Увидев любимую, Петр побледнел, и Марина уловила в его взгляде безысходную тоску. Но ничего не сказал, стараясь не выдать своего волнения товарищам.

Как обычно, на игрищах пели, плясали, танцевали парами. Маринка с Дунькой веселились наравне со всеми. Но для Марины вечер этот казался бесконечным, как никогда. Ей так не терпелось остаться с Петром наедине и все узнать о предстоящей свадьбе. Пусть скажет прямо и честно, что он думает по этому поводу. Дуняшка, выполняя просьбу подруги, во время танцев шепнула Петру, что Маринка хочет с ним поговорить...

Давно уже высыпали на небе звезды, играющие в веселый хоровод с полной луной. Ковш Большой Медведицы

уже далеко отошел на северо-восток и наклонился ручкой вниз, а двое молодых людей все никак не могли расстаться и наглядеться друг на друга.

— Петя, родимый, уйди из дому, раз твои родители такие несговорчивые, — вытирая мокрые от слез щеки, горячо шептала Маринка, — брось все, если тебя силой принуждают на ней жениться.

— Да куда ж, моя голубушка, идти-то из своего дома? — прижимая к себе Марину, говорил Петр. — Ведь у меня тут и земельный надел, и все хозяйство. Отец-то ведь мне тогда не то што сапоги, но и обуток худых не даст, — Петр неловко отвернулся, чтобы скрыть набежавшие слезы. — Всяко уж я с ним толковал... Но я еще буду с ним говорить!

— Чё уж теперь говорить-то? Сам же ездил свататься!

— Ездил... Ты думаешь, от радости? Отец с Митяхой меня чуть не убили в то утро!

— Так тебе и надо! Если уж ты Митяхе поддался... Такому, как ты, и себя не защитит, не то что невесту или жену.

— Ну ладно, не сердись на меня, моя хорошая. Ну как ты думаешь, куда нам теперь деваться?

— А вот слушай, что я тебе скажу. Не ходи теперь домой-то. Бесполезно с твоим отцом разговаривать. Пойдем к Дуньке, я кошель свой возьму. До утра придем в Прядеину и наймемся к Елпанову в строк. Все обскажем, он добрый, нас примет. Вот смотри, какой полушалок мне подарил. Дорогой да красивый. Мне бы самой ни в жисть не купить такой.

— А што он ишо тебе подарил, сказывай начистоту, — Петр подозрительно посмотрел на Маринку, — что-то не слыхал я, чтобы хозяева дарили работницам такие полушалки просто так.

— Да што ты, Петя, подумал-то? Он и Дуньке тоже ведь подарил.

— Нет, Марина, не поверю я, чтоб такое было в жизни, что хозяин просто так работницам дарил дорогие платки.

У Маринки от обиды навернулись на глаза слезы.

— Ты плачешь, моя дорогая? Не надо плакать, люблю я тебя больше всего на свете.

— Ты про меня дурное подумал, Петя?

— Нет! Нет! Ничё я не подумал, я просто удивился, до чего он добрый, этот Елпанов: и рассчитывает работниц раньше Покрова, да еще подарки дорогие дарит.

— А тут и удивляться нечему. Ты просто нигде не бывал, кроме своего дома, и людей не знаешь. А я всю жизнь в чужих людях и знаю больше твоего. Чужие люди тоже разные бывают. А если бы я в чем-то была виновата, я бы никогда тебя не звала в строк к Елпанову.

Незаметно, увлекшись разговором, влюбленные дошли до дома Дуни и только собралась прощаться, как из кустов вырuling дедко Сафрон, который в эту ночь был улошным караульным и ходил с колотушкой по деревне.

— Поздненько... На дворе-то скоро, поди, светать начнет, а вы с Мариной Васильевной все еще гуляете. Игриска-то эвон когда кончились, а вы все никак не расстанетесь? Чё же ты, Петро, сразу двоим голову-то крутишь? Одну высватал, а с другой все ночи до утра...

— Не надо, дед! Не говори!

— Мне-то што! — укоризненно промолвил Сафрон и пошел дальше, усиленно стуча колотушкой.

— И откуда его нечистый вынес! Вот не было печали, — в сердцах чертыхнулся Петр.

— Раз ты так боишься дедка Софрона, то иди сейчас же домой!

— Дак ить первый по деревне сплетник — хуже бабы всякой. Утром раным-рано прибежит, скажет нашим-то, — проямлил испуганный ухажер.

— Не думала я, Петя, што ты такой!



— Какой же я?

— А что? Даже разговор пустых да сплетен боишься. Иди сейчас же домой! — Маринка с силой хлопнула калиткой и, не оглядываясь, забежала в темные сени Дунькиной избы.

В доме все уже спали. Маринка тихо взобралась на голбец, перелезла через спящих детей и прилегла рядом с Дунькой. На полотах было тепло и уютно, но сон не шел. Маринка все думала о Петре, казалось, что он сделался другим, как-то изменился. Не стало у него ни решительности, ни смелости. Еще во время разговора Маринка поняла, что Петр не посмеет идти против воли родителей. А еще ее до глубины души обидело подозрение Петра. Как он мог думать о ней плохое? Она к нему всей душой, всем сердцем. Ничего, даже самую малость не таила от него. Ведь она могла бы ему не говорить про платок. Как же он может любить, если не доверяет ей? В думах и переживаниях прошла ночь.

Маринка, так и не уснув, чуть свет побежала домой. Нашла кое-какие дровишки, затопила печь. Стала мыть и прибирать в избе, но работа не могла отвлечь от тяжелых дум.

Вскоре прибежала Дуняшка, запыхавшись, с порога обхватила Маринку и стала кружить:

— Уф! Еле из дому вырвалась, столь работы накопилось за лето. Мачеха стирать заставила. Потом на реку ходили. Затем с тяткой по кряжи ездили. Коноплю мять надо, куделю чистить... Ну, Маринка, вчерась навидалась со своим миленком? Чё он тебе сказал?

— Навидалась. Лучше бы мне дома не бывать, а на весь год в строке остаться.

— А што так?

И Маринка рассказала своей верной подруге, как всегда, все начистоту...

Позже Марина не раз виделись с Петром, но душевной беседы, как прежде, не получалось, говорить больше было не о чем.

Иногда на Петра находили порывы, что он готов был бросить дом и хозяйство и идти даже в строк, но только

быть вместе с Мариной. Мысленно он сравнивал Маринку со своей несимпатичной белобрысой невестой. Как-то, не выдержав тяжелых раздумий, Петр порывисто встал, с шумом распахнул дверь горенки и без шапки выбежал за ворота. Ледяной ветер отрезвил сразу. Он вернулся, взял с припечка шапку и вышел снова.

«Смотрите все, — думал он, — я решился! Я бросил дом и иду в строк!» Петр шел гордо, высоко подняв голову, на виду у всей деревни. Бросая вызов ледяному северному ветру, односельчанам, самому себе, а особенно своим родителям. Теперь он идет прямо к Маринке, заберет ее, и пойдут они в люди, радостные и счастливые. Любимая заглянет ему в глаза своими чудесными лучистыми серыми глазами, улыбнется и скажет: «Я так и думала, что ты придешь».

Но Марины дома не оказалось. Не было даже следочка к ее дому, дверь закрыта, легкий морозец задернул узором окна. Петр постоял в нерешительности и, как бы устыдившись своего минутного порыва, вернулся домой. Где-то в глубине души он был рад, что не нашел Маринку.

Мать, увидев Петра, спросила:

— Ты где это бегаешь, голубчик? Нет штобы пособить отцу со скотиной управиться!

— Я по делу к Артемию бегал!

— Какое еще у тебя дело там завелось? — сварливо проворчала мать.

Петр промолчал и, не раздеваясь, покорно пошел в пригон помогать отцу...

В день свадьбы, рано утром, Петр украдкой в погребе выпил целый ковш хмельного пива и опьянел.

— Господи, да ты никак пьян? — увидев Петра, всплеснула руками мать. — Скоро надо за невестой ехать. Ну што же ты наделал?

— А ничего! Вы меня силой жените, вы и езжайте одни! — блаженно улыбаясь, ответил Петр.



— Да ты што, сдурел вовсе?

— А я теперь вечно пить буду, пока женино приданое не пропью и все хозяйство, а ее бить буду по три раза в день, чтобы сдохла! Через полгода вдовцом буду!

Мать стояла с открытым ртом и выпученными глазами. Она впервые видела сына таким. Но в это время Петр получил оглушительный удар по голове. В глазах у него пошли разноцветные круги. С первого удара он еще устоял на ногах, ухватившись за одверок<sup>121</sup>. Повернув голову, увидел искаженное злобой лицо и налитые кровью глаза отца.

— Вот тебе, сукин сын! За твои глупые слова хошь еще в морду?! А?

— Ну и бей, — плаксиво тянул Петр.

Еще более сокрушительный удар обрушился на голову Петра. Он не удержался на сей раз, упал, ударившись головой об лавку, и потерял сознание.

— Отец! Што ты делаешь? Боже мой! Убил ведь ты его!

— Ничё ему не сделается... Очухается... Ему же на пользу пойдет. Ишь заартачился, собачий сын! Хотел волю свою показать! Я покажу ему волю, как из-под родительской руки выходить. А ты тоже хороша! Потатчица! Где он нажраться-то успел? — погрозил кулаком, выругался и побежал на улицу.

Мать тотчас бросилась к сыну, чтобы помочь вытереть кровь с разбитой головы:

— Ты уж не супротивься, сынок, отец-от тебе не худа желает. Женись, раз уж высватали... Вон приданое какое у нее. Они ведь и другого кого побогаче найти могут.

— Не надо, мать, уйди. Тошно мне. На свет бы не глядел — жить неохота, — вытирая слезы, мычал Петр.

Как дорожная осенняя грязь липнет на колеса, ехать становится все труднее и труднее, так и у Петра на душе

---

<sup>121</sup> Одверок — простенок от угла до двери.

в день свадьбы было тяжело, муторно и невыносимо тоскливо. Во время венчания он был рассеян — говорил невпопад, мысли его были далеко. Он даже ни разу за все время не взглянул на свою невесту. И когда священник обратился к ним со словами: «По своей ли воле венчае-тесь?» — он ничего не ответил, а может, и не расслышал. Теперь он думал только об одном: поскорее бы все это кончилось.

Вся деревня пришла посмотреть на невесту.

— Бела да румяна невеста-то, да уж больно рожа-то широка, — судачили деревенские бабы.

— За богатством Иван погнался. Силой, говорят, Петруху женили, — шел в толпе нехороший шепоток.

— Дурак он, Петро-то! — кричал стоявший под порогом плюгавенький рваный мужичишка. — Нет уж, дудки, штобы меня силой женили! Я лучше бы из дому ушел, а не стал бы!

— Ну замолчи ты, Данило! Выпьешь с наперсток, а шуму-то! Не наше с тобой это дело. Пришел поглядеть — стой тихо и смотри...

## СВАТОВСТВО НА СКЛОНЕ ЛЕТ

Когда ударили настоящие морозы и установился санный путь, в деревню Ваганову прикатила добротная нарядная кошева, запряженная рослой гнедой кобылицей. В кошеве сидел пожилой широкоплечий мужик в бобровой шапке и в черной собачьей дохе. Катавшиеся на салазках ребятишки, увидев кошеву, с криками разбежались.

Проехав рысью по улице, приезжий свернул к мосту, поднялся в горку и остановил лошадь.

— Эй, малец, подь сюда! — поманил он пальцем стоявшего у обочины парнишку. — Да иди, не бойся — пряником угощу!

Тот нерешительно потоптался, потом, волоча за собой салазки, подошел и во все глаза уставился на незнакомца.

— Чё вам, дяденька?

— Скажи-ка, где тут у вас в деревне живет Ваганов Степан?

— Дак Степанов у нас много, и почитай все — Вагановы...

— Ваганова Степана Васильевича, у кого сестра взрослая, Мариной зовут, знаешь?

— Как не знать! На самом краю, возле полевских ворот оне живут... Может, проводить вас, дяденька?

— Теперь-то я и сам найду, а ты получай вот — заработил...

Приезжий насыпал горсть пряников. Парнишка, чуть не забыв на радостях второпях салазки, побежал домой.

Иван Петрович Елпанов застал Марину и всю семью дома. Крестный Степан был на удивление трезв, рубил на дрова сушняк в огороде.

— Здоровы будете, Степан Васильевич! — крикнул Елпанов.

Степан воткнул в чурку топор и подошел к изгороди:

— Здравствуйте! По какому делу к нам?

Степан, конечно, узнал известного на всю округу богача Елпанова, но виду не подал, выжидая, что скажет приезжий.

— По большому делу я к вам приехал, надо бы о нем в доме говорить-то...

В избе Иван Петрович сказал напрямик:

— Сватать вашу сестру, Марину Васильевну, я приехал!

— Это... а за кого сватать-то будете? — зачесал затылок Степан.

— Да за себя, за себя — неужто непонятно? Али не годится в женихи Иван Елпанов?!

Услышав голоса в горнице, Марина ушмыгнула за заборку в предпечь.

«Так значит, он на отжинках-то о женитьбе всерьез говорил?!»

В щель заборки Марина видела только спину Елпанова, заслонившую весь простенок; Степан с женой сидели напротив и прямо-таки майскими соловьями разливались:

— Спасибо, Иван Петрович, за такую честь!

Впервые в жизни Марина слышала о себе столько добрых слов...

Брат-крестный тараторил без умолку:

— В сиротстве мы с ней выросли, в горьком сиротстве... Дак она у нас така работяща, така расторопна в работе — в руках все у ей кипит!

— Знаю, знаю, Степан Василич, ведь робыла она у меня... Хоть и молода, а хорошей хозяйкой будет!

Поговорили еще вокруг да около; потом Елпанов выставлял вино. На столе появилась богатая закуска — и тут не поскупился: и свиное сало, и соленые огурцы, и жареная говядина, и холодец из свиных ног, и даже капуста

засоленная со всякими пряностями... Степанова семья так обедала, наверно, впервые.

— Да где ж она сама-то? — спохватился Елпанов.

Степан, уже нацелившийся наливать, крикнул младшей сестре:

— Глашка, доставь-ка Марину Васильевну к столу, мигом!

Та проворно сунулась в предпечь и вернулась немного сконфуженная:

— Ни в какую не идет Маринка... Сидит на лавке и ревет!

— Известное дело! У баб да девок глаза завсегда на мокром месте!

Степан, успевший крепко выпить, уж в который раз талдычил:

— Не сомневайся, Иван Петрович, благодетель ты наш, в полном порядке все будет! Раз я слово дал — я его не меняю! Я Марине Васильевне старший брат и крестный, а это все едино, што отец родной! Девке завсегда жениха должен найти отец — по своему усмотрению...

Елпанов видел, что чем дальше затянется сватовство, тем больше надо будет вина и закуски и тем больше будет пустых, вздорных разговоров.

Сославшись на занятость, он стал одаривать хозяев подарками.

Степан получил новые бродни, Лизавета — холста на юбку, Марина и Глашка — по миткалевому<sup>122</sup> платку.

Сказав, что на днях приедет еще и сам поговорит с невестой, Елпанов пошел к кошеве. Гости вышли провожать все, кроме Марины.

Степан, в одной холщевой рубаше, без шапки, отворял кособокие ворота и балагурил как заведенный:

---

<sup>122</sup> Миткалевый — миткаль — неотделанная тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

— Благодетель ты наш, Иван Петрович! Заезжай к нам еще! Уж так-то мы рады, так рады!

Елпанова давно уже унесла машистой рысью застоявшаяся кобылица, а Степан с женой все еще стояли за воротами и возбужденно махали руками...

— Ну вот, сестра, и жених тебе нашелся, да еще какой! — заорал довольнехонький Степан, едва вернувшись от ворот. — Радоваться надо, а ты, дурища, в рев?!

— С чего радоваться-то? Он ведь мне как раз в дедушки годится... Внучка-то его Катерина, которая померла, только на год меня была моложе!

— Невелика беда — старый! Зато богатый... Умрет, так все твое будет!

— Нет, крестный, не пойду я за него! Чё хотите делаете — а не пойду!

— Да ты вовсе сдурела? Я же Елпанову слово дал! Пойми ты, дурья голова, может, мы в люди выйдем! А так — кто тебя, нагую-то, взамуж возьмет?! Вот и достукаешься — пойдешь потом за бедного вдовца да на семерых ребят... Все одно отдам тебя за кого-нибудь — не вечно тебе на моей шее сидеть!

— Не сижу я ни на чьей шее! Я с семи лет, как мама умерла, по строкам роблю...

Марина не смогла сдержать слез. И хорошо — иначе разъяренный Степан набросился бы на нее с кулаками... А так крестный допил остатки вина из всех кружек и, больше не найдя ничего, завалился на голбец и захрапел.

Глашка убежала к подружкам, а Лизавета уже давно сидела у соседней и хвастала, что сам Елпанов, самый богатый на всю волость жених, посватал ее, Лизаветину, золовку, и каких он всем надарил подарков. Марина наспех оделась и побежала к Дуньке — поделиться новостью и поговорить. С тех пор как женился Петро, она редко ходила «в улицу». У Дуньки все были дома; семья, с пол-

ным застольем ребятишек, ужинала. Дунькин отец, старик с длинной седеющей бородой, привстал за столом:

— А, Марина Васильевна к нам пожаловала... Садись с нами ужинать — богато жить будешь!

Марина вздрогнула, как будто ее холодной водой окатили. «Господи, неужто все уж знают про елпановское сватовство?!»

Но веселый, шутливый дядя Иван тут же поправил разговор:

— Это, девонька, примета: коли кто приходит в избу к ужину, тот богато жить будет! Вот я, к примеру, завсегда ко всем, к кому бы ни пришел, все то к обеду, то к ужину аккуратно и угадываю!

— То-то и живешь богато, — засмеялась жена его, Дунькина мачеха Агния. — Вон они, семеро по лавкам!

— Дак разве я не богач? Вона у меня семья-то — полно застолье! Вырастут — все работники будут. Главное дело — был бы в семье лад. А где лад, там и счастье! А богатство — это кому как покажется. Кому тыщи мало, а другой и с рублем — богач!

Потом подружки долго о чем-то шептались в маленькой горенке, пока Марина не убежала домой.

«Что же мне делать? — не сомкнув всю ночь глаз, думала Маринка. — Неужели в самом деле придется идти за Елпанова замуж? Ведь ему уже теперь под семьдесят. Как она будет жить с ним? Господи, укажи, — и Марина с мольбой и тревогой посмотрела на потемневшую от времени и копоти икону Божьей матери, которой когда-то благословляли в замужество ее мать: — Как мне поступить, какое решение принять?»

Брат со снохой, не желая терять выгодного, на их взгляд, жениха, стали заискивать перед ней, но как только она начинала говорить что-либо против замужества, они сразу прерывали ее и становились злыми и грубыми. Однажды ночью Маринка решила сбежать из дому:

«Убегу в Ирбит, поступлю там в услужение к какому-нибудь купцу», — думала она. Встала, осторожно спустилась с полатей, переползла через спящую Глашку, но не нашла ни обуток, ни одежды. Оказалось, что брат, предвидя ее возможный побег, прятал всю ее одежду в большой материн сундук под замок.

Иван Петрович Елпанов снова приехал в Ваганову спустя неделю; Марина скрепя сердце согласилась стать его женой, и начались приготовления к свадьбе. Елпанов дал денег, чтобы устроить для Марины девичник, но Степан и Лизавета деньги у Марины забрали, пропили, спьяну разодрались между собой и Марину же поносили непотребными словами.

Теперь Марина уже сама не могла дожидаться свадьбы, чтобы после нее навсегда уехать из Вагановой. Она уже давно поняла, что у нее нет никакого выхода, кроме как выйти замуж за богатого старика: ее, бесприданницу, и последний батрак замуж не взял бы...

— Ну што, Степан Василич, скоро ли Марину взамуж выдашь? — то и дело спрашивали Степана вагановские жители.

— Скоро уж! А после свадьбы и сам с семьей думаю переехать в Прядеину. Вишь, жить зовет меня к себе Елпанов-то! Переезжайте, говорит, Степан Васильевич, будет тебе в Вагановой жить-мучиться. Дом, говорит, у меня большой, места всем хватит!

Вагановцы слушали, усмехались, а потом говорили меж собой:

— Чё-то не верится... Степка и совет — недорого возьмет!

— Да неужто Елпанов-то из ума выжил?!

А Степан гоголем ходил по деревне в новых броднях, подаренных Иваном Петровичем. Своей рваной шапки он ни перед кем теперь не ломал и, проходя мимо односельчан, думал: «Н-ну, погодите, канальи! Только сговор



пока был, а то ли еще будет, как отдам сестру взамуж да породнюсь с богачом-то Елпановым! Дай бог в родню к ему влезть, а уж там я сумею выйти в люди! Елпанову уж семьдесят, а два века на земле никто еще не проживал! Наследников нет... Отдаст старик богу душу, так Маринку я мигом к ногтю прижму... Полным хозяином буду! Эх, вот уж гульнем тогда! На наш век хватит, да еще и останется!»

Свадьба была назначена на последнее воскресенье зимнего мясоеда. Все было готово. Елпанов еще несколько раз до свадьбы наведывался в Ваганову. Он купил Марине отрез кашемира, сам нанял портниху — сшить платье. А белое подвенечное платье из набивного шелка, туфли, купленные в Ирбите в магазине купца Луканина, вуаль, цветы и золотые кольца ждали своего часа в просторном сундуке дома у Ивана Петровича.

Семидесятилетний Елпанов не хотел лишней огласки своей свадьбой — наоборот, стремился, чтобы она прошла незаметно. Но получилось все не так.

В церкви народу было — не протолкнуться. Иван Петрович нарочно решил опоздать и приехать в церковь, когда народ после обедни уже разойдется по домам. Они с Мариной подъехали чуть ли не крадучись, на одной лошади в кошеве. На козлах сидел управляющий с елпановской заимки Катаев. Иван Петрович вылез из кошевы первым и подал руку невесте. Народ расступился, и пара вошла в церковь.

— Неужто это весь свадебный поезд?! А мы-то ждали... — послышалось из охочей до зрелищ толпы.

— Што он, дурак што ли, в семьдесят-то лет свадебным поездом ехать, с шумом-громом?!

— Кума, а кума! Неужто не врут, што жениху — семьдесят, нипочем бы не дала!

— Вот так старик — на молоденькой девке женится!

— Невеста-то — хоть чья она? Откудова?

— Да говорят — вагановская девка-то. Сирота, Васи Гульного дочка. Летось, говорят, в строке жила у Елпанова. А брат ее, Степка Ваганов, он крестный ее, тот нынче у Вершининых на страде в строке робил. Вздорный такой мужичишко и пьяница... Говорят, силой отдал ее за Елпанова-то!

Марина с великим трудом дождалась окончания обряда венчания. И все дальнейшее — переезд свадебным поездом в Прядеину и сама свадьба — прошло как будто в полусне.

Было о чем поговорить старикам в вагановской пожарной после свадьбы!

— Рано хвастал Степка, что зять его к себе жить зовет... Не то што жить, а и со свадьбы-то в Прядеиной, говорят, он вылетел назавтре же.

— Начал, видно, свои порядки устанавливать, а Елпанов и велел своим людям его вытурить. В богатом-то дому больно много не пошеперишься — это не в своей избушке!

— На чужой каравай шибко рот не разевай! Зять-то и богатый, да задаром кормить не станет.

— Да Степке этому до гробовой доски из строку не выбраться! Вот, к примеру, такому, как Степка, дать бы все готовое — лошадь, корову, ну и все прочее. Стал бы он стараться на своем поле пахать, сеять? Нет, не стал бы! Привык человек шататься, вот и все! Отец его шатался, пока не умер, как собака, под забором, и он ни к чему не привык! А даровое все бы пропил, вот и весь сказ. Из таких, как Степка, никогда доброго хозяина не выйдет. Хозяйство-то вести — не огузом трясти. Головой думать надо.

— Мужики, не завидую я ему и жить так не согласен, — сказал старый, седой как лунь старик. — Тяжело мне было, но свое хозяйство и землю я никогда не бросал. Лошадь от сибирки пала, корова утонула в паточине<sup>123</sup>,

---

<sup>123</sup> Паточина — болотный родник.

потом овец осенью волки сожрали... Засуха, недород, худые неурожайные годы. В тифу поголовно все лежали, а всё перенесли, выстрадали. Как богу угодно, так тому и быть! Русский человек — он крепкий! Всё пережили, всё прошли. Слава богу, и скотина теперь есть, и голодом не сидим. Три сына женил, четыре дочери замуж отдал. Внучата выросли. И ребята мои меня не забывают. А доведись, жил бы я, как Степка, всю жизнь в строке, тогда и мои ребята бы всю жизнь строшные были. Нет, мужики, как хотите, а за свое хозяйство держаться надо! Это наша первая обязанность. Любой ценой от хозяйства не отпущайся. Спокон веку говорят, под лежащий камень вода не подходит. Если постройку любую не стань подделывать — обветшает и рухнет. Железная крыша протечет со временем, если ничё не делать, не то што берестяная. Вон у Степки крыша давным-давно стала протекать, а он хоть бы хны. Говорит, дескать, летом дома не живу — не вижу, а только и всего-то делов бересты добавить да перекрыть. Дак нет же, пропирует лучше, а крышу перекрывать не станет... Никудышный мужичишко, бездомовик... И надо же случиться этакому — с самим Елпановым породнился... Чудеса, да и только!

...Бесконечно тянется льняная нить. Голова становится тяжелой. Клонит в сон. В хорошо протопленной горенке сидят и прядут куделю две женщины — Пия и молодуха Марина. Чадит и потрескивает лучина. Горящие угли падают и с шипением гаснут под светильником в корытце с водой. Монотонно поскрипывает очеп<sup>124</sup>. Не отрываясь от кудели, Марина ногой покачивает люльку и тихонько напевает: «А уж я коту, коту да за работу заплачу...»

---

<sup>124</sup> Очеп — жердь или шест, приводящий в движение скрепленную с ним колыбель (люльку) в крестьянском доме.

— Ложилась бы ты спать, Марина, — говорит Пия, широко зевая и крестя рот.

— А и то, пожалуй, прилягу, а то Сашенька моя потом уснуть не даст...

Вот уже пошел второй год, как Марина замужем за Елпановым.

Сноха Олимпия сначала встретила ее в штыки. И даже раз или два упрекнула ее приданым, но Марина решила про себя: «Никогда не ругаться и не связываться со снохой. И даже не жаловаться на нее мужу». Она уже поняла, что идти ей теперь некуда. Муж дома почти не бывает, вечно в разъездах и на заимке, а с этой женщиной злая судьба свела ее на всю жизнь.

Марина, с детства выросшая в чужих людях, была покорна, работяща, покладиста, характер у нее был кроткий и мягкий. Всякую работу она делала хорошо и с большой охотой. Она твердо знала, что со временем, может, и привыкнет к мужу, но о любви не могло быть и речи. Всю тоску и боль своего сердца она старалась заглушить работой, а хлопот в елпановском доме было всегда предостаточно.

Сноха Пия, изворотливая и хитрая, постепенно взвалила на Марину всю домашнюю работу. Больше всего Пия была рада, что Марину мало интересует имущество своих старых предшественниц. У Ивана Петровича первые обе жены были богатые, с большим приданым, и сейчас в горнице стояли большущие кованые сундуки-семерики, доверху набитые тонким изысканным бельем, шубами, шерстяными половиками, узорчатыми скатертями и полотенцами, бухарскими и оренбургскими шальями. Постепенно добрая половина этого богатства перекочевала к Пие.

Олимпия хорошо знала всему цену, и когда не было дома Марины, Пия брала из тайника ключи и отворяла свои сундуки. Некрасивое лицо ее оживлялось и зеленые глаза загорались жадным блеском. Из сундуков ее обдавало духом

слежавшейся одежды, чабрецом и полынкfой. Она доставала понравившуюся вещь, встряхивала ее, а потом долго гладила заскорузлыми сухими пальцами и снова укладывала на прежнее место. На самом дне сундука хранилась дубовая шкатулочка, в ней лежали золотые украшения. Пия с трепетом доставала массивное золотое кольцо Серафимы Ивановны и примеряла его на свой палец. Кольцо было велико и спадывало с худого пальца Пии, но это ничуть не расстраивало ее — жажда обладания радовала душу.

Много всякого добра было и у Евгении Прохоровны, и все постепенно стало Пииным; когда свекор уезжал в дорогу или был на заимке, Пия любила шарить по сундукам. Серафима Ивановна в конце своей болезни была почти невменяема, и Пия этим воспользовалась.

«Правда, вот на этих серьгах чуть я не попала! — думала она, прикладывая к уху дорогие, с красивыми блестящими камнями серьги. — Свекор их долго искал, да так и не нашел. Пускай своей молодой женой занимается, а я дремать не буду. Все теперь это мое! Шиш тебе, Марина! Ты все равно в золоте понятия не имеешь — была нищенка, нищенкой и осталась. Ладно тебе за свиньями да за коровами ходить, и холщовине небось рада. А уж мы с Дашкой своего в чужие руки не отдадим...»

Марина вроде и привыкла к чужому богатому дому, но временами как-то не верилось, что она, законная жена, — всему тут хозяйка. Только тогда, когда холодным осенним днем родилась дочь, которую крестили Александрой, Марина стала чувствовать себя смелее и увереннее.

Роды были легкие. Иван Петрович только приехал с заимки, и повитуха Даниловна поздравила его с дочерью. Елпанов ошеломленно застыл. Дочь? Девка? А не сын-наследник?! Повитуха поманила его рукой в спальню, где лежала роженица. Елпанов, большой, грузный и

бородатый, шагнул в горенку; щекоча лицо бородищей, поцеловал жену во влажную щеку.

— Добро!.. Спасибо, жена! Лучше б сына... но и пусть живет на свете и растет Александра Ивановна Елпанова!

С рождением дочери Марине стало жить намного веселее. Девочка росла здоровой, крепкой, все время улыбалась и гулила. Глядя на ребенка, Марина забывала обо всем.

Маринина подружка Дунька на лето нанялась к Елпанову в пострадки, и благодаря ей Марина знала все новости родной деревни Вагановой.

Дунька рассказывала подружке и о своих сердечных делах:

— Последнее леточко я роблю в строке. Как выйду замуж за Никишку — на своей земле робить будем. Тятка мне телушку в приданое дать посулил! Он у нас добрый, все для нас старается... Слышу, наемднись говорит матери: «Как Авдотья осенью замуж пойдет, надо ей как следует приданое справить. И в строке поробила девка, и с ребятами дома вдосталь понянчилась...»

Дунька легко вздыхала, задумывалась, а потом заглядывала в глаза Марине:

— Вот скажи ты мне, Марина, начистоту... Ты теперь шибко богата, а счастлива аль нет?

— Дунька, не надо, не лезь мне в душу... Какое тут счастье? А богатство мне ни к чему, непривычна я к богатству-то, и наживать его — ну нет у меня хотенья! Я вот, Дуня, с большой охотой бы теперь с тобой на заимку поехала страдовать, чем дома с Пиюшкой сидеть, да наперед знаю: не отпустит... Шибко мне дома-то тоскливо — ладно, что дочка Сашенька, касатушка моя, есть!

Подружки все никак не могли наговориться. Уже солнце скрылось за горизонтом, давно была сделана вся работа на елпановском огороде — обильно полита капуста и прополоты грядки, а подружки все сидели рядышком

в межгрядье и говорили, пощипывая лебеду на морковной гряде, и никак не могли наговориться. Марине все казалось, что она еще не узнала от подруги самых важных новостей. В огороде, который с задов не огораживался и вплотную подходил к реке Кирге, можно было говорить о чем угодно. Здесь никто не мог их услышать, и они без опаски делились своими секретами. Маринка наслаждалась общением с подругой, понимая, что завтра чуть свет Дуняшка уедет на заимку до самого Покрова, а она останется одна в четырех стенах большого, угрюмого и неприветливого дома. С самого раннего утра ей придется доить коров, ухаживать за скотом и птицей, варить и стряпать на всех работников...

Перед самым севом из Вагановой приехал Степан и долго о чем-то беседовал с Иваном Петровичем. Сразу было видно, что Елпанову разговор этот не из приятных, как и сам гость. Вскоре хозяин велел накормить гостя, а сам ушел в кузницу. Марина налила крестному блюдо щей и поставила на стол все, что полагается к обеду.

— Чё же это богатая сестрица так угощает своего крестного? — придирчиво процедил Степан.

— А што же еще тебе надо? Седни ведь не праздник, а будний день.

— Неужто гостю стакан вина не найдется?

— Нету никакого вина! Муж сам никогда в будни не пьет и другим не велит!

— Скряга и выжига твой Иван Петрович, — резко бросил Степан, но тут же сменил тон и уже просительно сказал: — Маринка, попроси ты у этого скупердя лошадь с упряжкой да семян. Я сеять буду.

— Да вить у тебя ни сохи, ни бороны нет.

— Ну пусть уж заодно и соху с бороной даст.

— Ох, уж и не знаю, крестный, как и просить-то? А сам-то ты говорил с ним?

— Говорил, да чё толку... не дает он! Постарайся уж ты для меня, сестра. Я знаю, он тебе не откажет.

Поздно вечером, когда легли спать, Марина решила сказать мужу, что велел попросить ее брат. Иван Петрович внимательно выслушал ее и, отмеряя каждое слово, сказал: «Ишь чего захотел, негодник, голь тряпичная. Дай ему, значит, сразу все обзаведение, а он будет пропивать да над нами же посмеиваться. Нет уж! У меня не с неба все свалилось — ни дня ни ночи покою не знаю!»

Марина не сказала больше ни слова, тяжело вздохнула, высвободилась из объятий мужа, отвернулась лицом к стене и беззвучно заплакала. «Ну хватит, чего ты разрюмилась, моя лапушка, ладно, помогу твоему брату, — стал утешать ее муж, — спи давай, а то вить рано утром вставать надо».

Давно уж спала Марина. А Иван Петрович лежал и думал, сон не шел к нему: «И что же меня грех попутал жениться на ней, сам теперь не знаю. Каюсь, да поздно. Уж шибко она худой породы-то. Она молода, детей народит, а я уж старый, да вдруг умру. Она слаба характером, не то что Пия... А этот негодник и пьяница разорит ее и пустит по миру моих малолетних детей. Грехи мои тяжкие! Согрешил я перед тобой, Господи! Да ничего уж не исправишь». Долго ворочался с боку на бок на широкой резной кровати Иван Петрович, вперив глаза в темноту. Он как будто вдруг протрезвел, опомнился и со стороны посмотрел на свою жизнь...



## НАЗВАЛИ ЕЕ СУСАННОЙ

**О**-о-ох! Невыносимо тяжело, ломит поясницу, в глазах разноцветные круги плавают... Предродовые муки начались, когда Марина утром стала кормить работников. Вытащила из печи большой чугунок, и что-то оторвалось внизу живота, по всему телу разлилась боль, а потом навалилась страшная слабость. Марина в изнеможении еле добралась до лавки и кое-как присела. Слава богу, боль вроде утихать стала...

«О Господи! Что это со мной седни подеялось, уж не час ли мой подходит? — лихорадочно думает Марина, вытирая выступивший на лице пот. — Да вроде рановато еще...»

Они вдвоем с Пией несут рабочим обед на кирпичный завод. Стоит знойный август. Все вокруг сомлело от жестокой жары.

Кое-как помыв после обеда посуду, Марина сказала снохе:

— Пия, пойду я, полежу чуток до управы, неможется что-то...

— О Господи, уж не отходила ли ты? Может, за повитухой сбегать? Даниловна-то дома, поди. В поле, кажись, теперь не ездит — стара уж...

— Не надо повитухи... Потом уж разве, вечером. Как жарко в дому! Пойду я, Пия, в малуху, там хоть попрохладней...

В малухе жили работники, но в страду все уехали на заимку. Марина взяла с полатей подушку и, перевозмогая боль, осторожно легла на широкую прохладную лавку.

Вот уже десятый год идет, как она замужем. У нее подрастают две дочери-помощницы, которые приучены с малолетства не бояться любой работы: весной работали

борноволоками, в сенокос возили копны и подскребали за копнильщиками, в страду жали серпом пшеницу.

Марина вспомнила, как был недоволен муж, что родились дочери, он ждал наследника. Теперь Александре идет девятый год, а Феоктисте восьмой.

Дочь Пии, Дарья, уже три года как вышла замуж в Галишеву в богатый дом. Иван Петрович, спасаясь от притязаний Пии, был вынужден дать внучке все, что требовала сноха, и справил богатую свадьбу. Но всезнающая людская молва доносила Марине, что чуть ли не половина елпановского капитала уплыла вместе с Дарьей. Так это или не так? Она не знала. Да и слухам всем верить — на свете не жить.

Припомнился Марине и тот несчастный день, когда она, беременная, поскользнулась зимой у колодца и упала навзничь, а к вечеру вот так же, как и сейчас, начались боли, которые ночью превратились в жестокие муки, и к утру она — обессиленная, полумертвая, исходя кровью, — скинула мертвого мальчика на седьмом месяце. Долго тогда болела Марина. А муж ее и ругал, и сердился, что не побереглась. Сидел потом в своей горенке, плотно притворив дверь, уронив голову на свои могучие руки.

Боль потихоньку стала уходить, и Марина поднялась с лавки, чтобы продолжить домашнюю работу. «Боже мой, што за день седни — духота везде, даже в нетопленной малухе дышать нечем. Не иначе как дождь соберется, а нужно еще успеть за скотиной убрать», — размышляла Марина, выходя из малухи.

К вечеру, после двух недель несусветной жары, полнеба закрыла темно-лиловая туча со свинцовым закрайком. На какое-то мгновение наступила жуткая тишина: птицы не пели, скот забился в хлева, собаки попрятались по своим конурам. Сверкнула молния, громыхнуло; по дороге, закручивая пыль, поднимались легкие вихорьки. А потом на деревню налетел ураган невиданной силы, с корнем

выдиравший тополя и сносивший с изб соломенные и тесовые крыши. Молнии непрерывным потоком лились с неба, освещая окрестность мертвенным голубым светом. Сильные раскаты грома слились в одну сплошную канонаду. И среди этого светопреставления в елпановском доме, в маленькой горенке мучилась роженица.

Повитуха Даниловна, то и дело крестясь после особо ярких всполохов молнии и оглушительных ударов грома, успокаивала ее:

— Ты не бойся, Маринушка! Первых-то ты ведь хорошо рожала, и теперь, даст бог, все хорошо обладится...

В горенке было жарко, но как отворить окно в такую жуткую грозу?! Роженица, извиваясь от боли, в кровь кусала губы, стараясь сдержать стоны, но боль была выше ее сил.

С новым ударом грома дождь хлынул как из ведра, и как раз в это время приехал до нитки промокший Иван Петрович: он привез с заимки дочерей и служанку. Ненила, не успев переступить порог, стала читать молитву: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоя!»

Вдруг ослепительно сверкнула молния и небывалой силы удар грома до основания потряс дом. «Господи, да чё же это деется?» — в ужасе воскликнула Даниловна. За ним вскоре последовал второй, еще сильнее прежнего, как будто неведомый великан рассыпал на крышу целую груду камней. Через мгновение послышались удары набата. «Господи, да ведь горит где-то? Ишь, в набат бьют!» — металась по дому Пия. Иван Петрович кинулся во двор. На улице — крики и топот бегущих ног. Бой набата и удары грома — все слилось воедино.

— Где горит-то? — перекрикивая канонаду дождя, прокричал Иван Петрович.

— Офоньки Лукича дом горит. Господи, да вон видно, как пластает. Да ишо не в одном месте.

— От божьей милости пожар тушить хуже нет. Да и воды-то не найдешь близко. Ох, грехи наши тяжкие...

Иван Петрович взял со стены сарая багор, на ходу прихватил ведро, которым поили лошадей, и побежал вместе со всеми. Сильный дождь и ветер перехватывали дыхание, ноги скользили по раскисшей глине. В гору с моста бежать было тяжело: люди падали, вставали и бежали дальше, к месту пожара.

Ветер помаленьку стал стихать, ливень с каждой минутой все усиливался. Дождевая вода вскоре хлынула грязными мутными потоками и, выбивая дробь, заплясал по крышам и по земле крупный град, величиной с голубиное яйцо.

— Боже мой, да ведь град летит, побьет хлеб на полях весь! Что теперь делать-то? Как жить? — тревожно переговаривались мужики.

Прядеинцы, усердно работая баграми и топорами, разворачивали горевшие постройки. Бабы, промокшие до нитки, таскали из колодцев воду. Постепенно пожар начал затихать и гаснуть. Насквозь промокшие люди стали расходиться по домам.

— Хорошо, паря, што ветер-то стих да дождь пошел. А то при такой-то падере<sup>125</sup> полдеревни бы выпластало.

— А на Горушках-то что горело?

— Говорят, у Кузьмы рига сгорела. А боле ничего.

— Ну, одна рига ишо не беда. Кузьма построит новую. Вот с Офонькой как быть?

— Надо будет срочный сход собирать да решать, что с ним делать! Ведь у его и жить-то теперя негде. Хорошо, что молния угодила не в дом, а в завозню. Сами хоть выскочили да кое-што из скота спасли.

Не успел Елпанов войти в дом, как в калитку влетел запыхавшийся мельник Елизар.

---

<sup>125</sup> Падера — буря, гроза с сильным ветром, метель, вьюга.

— Беда, батюшка Иван Петрович! Кирга от ливня вздулась, того и гляди плотину сорвет! Ставень поднимать надо, воду спускать!

— Ну-ка, Елизарушка, быстро зови на подмогу кирпичников!

Мельник убежал, и пока Елпанов надевал азиям<sup>126</sup> и накидывал башлык, прибежали несколько мужиков-кирпичников.

Иван Петрович вышел на крыльцо:

— Время не ждет, ребята! Надо ставень плотинный поднять, не то сорвет плотину, много хлопот наделает... Ведро кумышки ставлю! Несите слегу — ставень подымать!

Все бросились исполнять приказ хозяина.

Елизар хлопотливо бегал у плотины, чувствуя свою вину: руки его тряслись, губы дрожали. В самом начале, когда пошел сильный дождь, ему надо было позаботиться и поднять ставень, а теперь вся плотина тряслась и гудела, содрогаясь от натиска воды.

«Еще чуть-чуть — и сметет плотину со своего пути вздувшаяся от грозы река, остановится мельница-кормилица и придется строить плотину заново. Елпанов скажет: “Иди-ко ты на все четыре. Больше мне такой работник не нужен!” Вот беда! Куда тогда податься? А все кумышка виновата, — винил себя Елизар, — зачем же я ее, проклятую, пил? Вот грех попутал, проспал, даже грозу не услышал!»

Долго возились мужики под проливным дождем. Ветер, вволю набуйствовавшись, наконец стих. Везде и всюду валялись береста, солома, доски с крыш.

Насквозь промокший Иван Петрович переступил, наконец, порог. Дома царила гробовая тишина. Елпанову

---

<sup>126</sup> Азиям — верхняя одежда крестьян из домотканого сукна, имеющая вид долгополого кафтана без сборок.

она показалась такой же оглушительной, как громовые раскаты на воле. Стараясь не шуметь, он стал стягивать с себя мокрый и вымазанный глиной азам. В это время дверь в прихожую осторожно скрипнула и на пороге показалась Даниловна.

— Ну как там наша Марина Васильевна?

— Все, слава богу, обошлось, дочь родилась. Уснула теперь она — шибко измучилась! Роды и так трудные были... Ребенок крупный, а еще тут гроза не ко времени, будь она неладна!

— Спасибо тебе, Марфа Даниловна! Уж я с тобой рассчитаюсь!

— Не в расчете дело... Иван Петрович, ты бы хоть взглянул на дочь-то!

— Сейчас не пойду — пусть спят... Утром уж увижу. Пия-то где? Поесть бы мне хоть что-нибудь...

— И Пия тоже уснула, а поесть все тебе приготовлено, на столе перед печью...

— Вот и хорошо... Иди, Марфа Даниловна, и ты приляг!

— И то, пойду, пожалуй, лягу. Утре рано вставать надо да для родильницы баню топить...

Наконец повитуха убралась спать и оставила его одного. Есть не хотелось. Елпанова одолевали тяжкие думы. Он явно не рад был дочери...

— Господи, неужто не дожидаться мне сына-наследника?! Опять — девка...

Иван Петрович давно уже прикинул: если бы родился сын-наследник, сразу можно начинать строить двухэтажный каменный дом и каменную постройку возле него, но опять родилась дочь...

«Ни хотения, ни радения уж не остается, — думал он, — и за ради чего огород-то городить? Ну построишь, а помрешь — в тобой построенных хоробах какие-нибудь лентяки жить будут да из-за наследства зубатиться?!

Не бывать этому! Лучше я своими руками да из своего кирпича церковь в Прядеиной построю! И будет мне вечное поминовение, а попы замолят мои прегрешения, что я за свою жизнь нагрешил и еще нагрешу...»

Наутро отдохнувшая после трудных родов Марина Васильевна, проснувшись, умиленно смотрела на дочь: сразу видать — елпановская порода!

— Собирай дочь, креститься едем, — заглянул в комнату Иван Петрович.

После вчерашней грозы воздух был напоен запахом отцветающих трав. На дальних полях в дрожащем мареве уже виднелись согбенные фигуры жниц и жнецов. В церковь успели в самый раз: только что отошла обедня. Окрестили младенца, и сразу же Елпанов скомандовал: пора в обратный путь — жатва скоро!

Он быстро пригнал ходок в Прядеину, к своему подворью. Работница Ненила отворила ворота. Пия подошла к коробку, и крестная подала ей ребенка.

— Как назвали-то?

— Сусанной батюшка назвал. В святцах и другие имена на этот день были, да уж больно худые...

*О жизни и судьбе моей бабушки Сусанны Ивановны Пономарёвой я расскажу в последующих главах «Переселенцев», а также в документальной повести «Чертята».*

## ЦЕРКОВЬ В ПРЯДЕИНОЙ

**В** труде и заботах прошло два года. Теплой и тихой июньской ночью, когда заря сходится с зарею, Марина родила четвертую дочь. Новорожденную окрестили в честь княгини Ольги.

Старшей дочери Александре шел одиннадцатый год, Феоктисте — десятый. Они были похожи на мать и унаследовали материн тихий нрав. Последние две — Сусанна и Ольга — пошли в елпановскую породу: крупные, большеносые, с монгольским разрезом глаз, как у бабушки Елены Александровны. Сусанна была подвижной, как юла, и большой проказницей.

После крещения Ольгу привезли домой, положили в зыбку, мать на минутку вышла из комнаты. В это время Сусанна подтащила к зыбке скамейку, взобралась на нее и стала пальчиком трогать новорожденной сестренке глазки. Хорошо, что мать скоро вернулась. Так и ахнула: «Чистое наказание Господне мне эта девка! Неуж те, старшие, такие же покасти были? Да я с ними никакого горя не знала. А это чадушко, еще и двух годов нет, одной посуды уж сколь перебила, а не увидишь и не услышишь, что она где натворит. Ох уж горе мне эти девки будут, что я с ними делать-то буду при старом отце?!»

В то лето, когда родилась Ольга, Елпанов попросил писаря волостного правления составить прошение в Святейший Синод — испросить разрешения строить на собственные деньги церковь в деревне Прядеиной.

Удивленный писарь сказал:

— Напишу, конечно, Иван Петрович, в лучшем виде напишу! Разрешить-то разрешат, только ведь большие траты будут... Сами понимаете: церковь построить — это не избу скатать. Вон в Харловой на казенный счет



церковь строили, так и то всем и работы, и хлопот хватило...

— Ну, я ведь не такую великую церковь строить буду, не о трех престолах — мне и одного хватит! Кирпича у меня своего предостаточно, рабочих тоже, грамотных людей с чертежами хоть из самого Екатеринбурга привезу!

Весть о том, что Елпанов хочет строить церковь в Прядеиной, разлетелась так быстро, что составленное волостным писарем прошение, наверно, еще и до Синода дойти не успело.

Марина Васильевна узнала об этом стороной и за ужином спросила мужа:

— Люди говорят, что ты церковь построить хочешь?

— Не просто хочу, но и построю!

Впервые за двенадцать лет Марина посмела возразить мужу.

— Иван Петрович, одумайся! Что ты делаешь, ведь разоримся мы, а у нас же четверо дочерей!

— Не твоего ума это дело, Марина! Деньги на церковь, кирпич — это все мое! Я всему тут хозяин, и в мои дела ты не вмешивайся! Подумаешь — четверо дочерей! Да разве дочери — это дети? Хоть бы одного сына ты родила, то-то я бы старался для наследника! А так — для кого мне стараться-то? Для будущих зятьев, что ли?!

От обидных слов на глазах Марины выступили слезы, она молча накинула на плечи платок и выбежала за ворота елпановской ограды. Где-то далеко на краю деревни пиликала гармошка, слабым эхом доносились чьи-то голоса. Марина в раздумьях прошла к мельнице, машинально заглянув в караулку, — мельник Елизар спал на широкой лавке. Марина давно стала примечать, что он пьет, но раз муж держит его, значит он справляется со своей работой. Марина остановилась у плотины и стала смотреть, как вода с шумом низвергается в приподнятый ставень.

Мельник уверял, что в вешняге<sup>127</sup> живет нечистая сила.

— Шел я, братцы, вечером поздно, — рассказывал мужикам-помольщикам Елизар, — ну, значит, к своей избушке. Ночь месячная, тихо. Ни один листик на черемошках не дрогнет. Вдруг явственно слышу, зовет меня кто-то, голос женский и такой-то нежный и жалостливый...

— Дак это не иначе сударушка какая-нибудь, из кирпичниц, к тебе приходила, — сказал, посмеиваясь, один из мужиков.

— Тьфу, погань! Нужны они мне шибко, вертихвостки эти! — рассердился Елизар.

— Да ты не сердись, Елизарушко, дальше-то что было?

— Вижу, братцы, на самом обрыве деvu красоты неопи-санной. Рукой машет, зовет меня, и голос все яснее слышу: «Иди, — говорит, — ко мне, Елизарушко!» Вижу, дело-то совсем неладно. Давай я читать с пятого на десятое вос-кресную молитву. Ладом-то не знаю — забыл. А ведь знал в детстве — мать учила: «Господи, помоги мне!» Сам во весь голос уж кричу: «Воскреснет Бог!» А она, слышь-ко, погань эдакая, в ответ: «У тебя, — говорит, — растреснет лоб!» И бултых в вешняг. У меня ноги подкосились, и упал я, братцы, на землю от страху. Опамятовался. Ох господи, грехи наши тяжкие, на самом краю обрыва оказался, шаг бы еще — и всё, конец мне. Вот, братцы, что с человеком нечистая сила сделать может!

— Известное дело, все может, окаянная! А ты трезвый был тогда, когда лешачиху-то видел? — спросил опять тот же мужик.

— Вот те крест! И капли во рту не было!

Вскоре заговорила об этом случае вся деревня. В пожарнице только и было теперь разговору, что на елпанов-ской плотине в вешняге живет лешачиха. Потом досужие деревенские сплетники стали утверждать, что и в самой

---

<sup>127</sup> Вешняг — отверстие или труба в мельничной плотине, открываемые для спуска прибывающей во время половодья воды.

мельнице блазнить стало. И если кому случайно нужно было вечером или ночью проходить мимо плотины, то старались пробежать бегом это место, крестились и плевали в сторону вешняга...



Марина постояла над обрывом, и на какое-то одно мгновение молнией мелькнула мысль — броситься с обрыва в омут. Но она тут же отогнала это намерение, представив себя самоубийцей и четырех своих дочерей малолетними сиротами. «Нет! Нет! Надо жить и терпеть ради дочерей! Господи, спаси и помилуй! Что же это я тут стою?» — и она, отбросив тяжелые думы, побежала домой.

Вскоре нарочный привез из волостного правления казенную бумагу: прядеинцы узнали, что всем жителям деревни предписано помогать в строительстве церкви.

Через три дня в Прядеину приехали волостной старшина и писарь. Созвали сельский сход. На дворе было холодно и ветрено, и деревенский староста Кряжев собрал прядеинцев в пожарнице. Сход открыл волостной старшина.

— Миряне! Святейшим Синодом, губернским и волостным правлением разрешено строить в деревне Прядеиной храм Божий. Вам надлежит обществом выбрать место для строительства. Староста должен учитывать, кто сколько дней отработает. Дело это общественное, и каждый должен поработать и поддержать Ивана Елпанова в благочестивом стремлении к строительству церкви! Земляные работы начинать сейчас же, немедленно, пока не застыла земля, кладку стен начнете весной.

— Весной и поважней дела есть! Пахать-сеять кто за нас будет? — крикнули из задних рядов.

— Иван Петрович сам наймет рабочих на стройку. Ваше дело — кирпич подвозить, известь, песок и все прочее. Строить придется, несмотря на страду, словом — успевать везде!

Сход зашумел, как потревоженный улей, послышались выкрики.

— Тихо! — шлепнул ладонью по столу волостной старшина. — Слушайте еще, что решено в губернии:

земля на заимке, принадлежащей крестьянину Ивану Петровичу Елпанову, перемеру не подлежит ни сейчас, ни в будущем.

Шум на сходе перешел в неистовый гул. Галдели все. Старшина хлопнул изо всей силы по столу ладонью.

— Тише вы, иначе прекратим сход! Что за народ — стадо баранов, да и только!

Расталкивая передние ряды, поближе к столу пробрался Филька Прядеин.

— Вот што я скажу, мужики! Елпановская заимка нам — как кость в горле! Вестимо, еще дед его начал земли по Осиновке распахивать... А сколь припахал его отец Петро Васильевич? Покойничек, не тем будь помянут, любил урвать-то! И чё греха таить, Иван Петрович тоже... не клади палец в зубы... А у нас скоро и покосов совсем не останется. Деревня-то растет, всем надо пахать-сеять! Мы вон за Паластровым озером пашем, в болотах пашем, а на добрую-то землю за тридцать верст ехать надо! Так я говорю, мужики?

— Так, Филипп! Правильно! Верно говоришь! — посыпались со всех сторон выкрики.

— Это насчет земли, теперь насчет покосов тоже... За Осиновкой они вон какие добрые, пошто бы кому-нибудь из нас не дать? Дак нет — там один Иван Петрович косит... Непорядок это, мужики!

Тут встал во весь свой огромный рост Елпанов, кашлянул и глуховатым рокочущим голосом заговорил:

— Зарубите себе на носу: земли на заимке по Осиновке ни пяди никому не отдам и не продам!

Он вытянул вперед огромные ладони.

— Я с малолетства вот этими руками на той земле роблю! Покосы за Осиновкой — сколь уж лет мои. Кто слань намостил и дорогу на заимку сделал? Опять же я!

А тебе, Филипп Иванович, надо бы поговорку вспомнить: на чужой каравай рот не разевай! Землю-то

удобрять надо путем, трунду возить на поля, тогда и земля родить будет!

В переднем ряду поднялся черный, как цыган, мужик и насмешливо бросил:

— А ты под один аршин с собой нас не ровняй! Про трунду-то это всяк хозяин знает... А попробуй в одиночку-то, да на одной худой лошаденке — много ты ее навозишь?! У тебя эвон сколь лошадей, да чужие люди на займке круглый год на тебя робят...

— Чужие люди за так робить не будут, им платить надо! И ты, Евграф, держи работников, никому же не заказано... Лошадей добрых разведи! У тебя, видно, лошадь-то с полужимы овса не видит, солому одну жует... А посевная преспеет — сам же придешь канючить: Иван Петрович, яви божеску милость, дай семян до нового урожая али пуд муки, после я за это в страду у тебя отроблю...

— Если я и занял пуд муки, дак в самое страдное время мы с бабой моей три дня у тебя рожь жали... А што на семена мешок ячменя брал, так в новый урожай полтора отдал!

— Шибко ты, Евграф, расчетливый стал. Боле весной ко мне не ходи и ничего не проси!

По лицу волостного старшины пробежала тень недовольства, он сначала сморщился, как от зубной боли, потом повысил голос:

— Ну-ка, хватит вам содом разводить! На сходе корить друг друга не пристало!

Старшина повернулся к писарю волостного правления:

— Они или не слышали, или не поняли ни черта! Читай снова бумагу, громко читай.

Писарь старательно и громко прочел бумагу из губернии.

— Ну вот, вам теперь всем ясно? О займке Елпанова никакой речи и быть не может, ни в этот перемер, ни в

будущие, а церковь в Прядеиной помогать строить — дело общественное и богоугодное!

Сход на этом закончился. Расходясь из пожарной, мужики говорили между собой:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Хотели Елпанова маленько на Осиновке потеснить, а теперь здесь, в Прядеиной, на его же робить придется, да еще задарма!

— Ох и хитер Иван Петрович! На похвальбу начальства лезет — церкву, вишь, строить выдумал!

— А по мне, вот дак хоть и сроду ее не будь, ни в Белослудском, ни в Харловой!

— Ну нет, без церкви тоже нельзя, но в Харловой есть — и ладно бы, хватит...

— Кирпича, вишь, у него лишка накопилось — девать некуда. А нам што делать, коли волость приказывает? Супротив власти не попрешь! Вот старики вспоминают, как крестьяне при Пугачеве взбунтовались, а что вышло? Кого розгами отодрали, а кого и на каторгу угнали... Такая, видно, наша доля — подать платить, в солдатах служить да всяческие повинности отбывать!

По первому санному пути Елпанов привез из Екатеринбурга инженера-строителя Абросимова.

Абросимову была приготовлена лучшая комната, та самая горенка с камином, где доживали свои последние деньки дед Василий, затем Петр Васильевич, и наконец — Катя. В горенке было чисто прибрано и по обыкновению жарко натоплено. Абросимов велел внести туда свои чемоданы и сундук с чертежами. Лицо у него было приятное, с высоким чистым лбом, глаза серые, навывкате, и русая клинышкой борода. Был близорук, носил золотое пенсне, говорил быстро, отрывисто.

Когда были внесены чемоданы, Абросимов сразу же принялся за дело. Достал чертежи, аккуратно развернул их на столе и жестом пригласил Ивана Петровича ознакомиться с ними.

Вечером, когда Елпанов вышел из комнаты Абросимова, служанка Ненила робко постучалась в дверь горенки. Абросимов, услышав стук, велел ей зайти.

— Не нужно ли чего будет, ваше благородие? — чуть слышно спросила Ненила, робея перед ученым человеком.

— Голубушка, во-первых, я не ваше благородие! Зовите меня просто по имени и отчеству: Михаил Евстафьевич. Потом, не топите в этой комнате так жарко. И, пожалуйста, поставьте самоварчик.

— Што? — Ненила выпучила глаза — У нас нет этого самого самовара...

— Неужели? В таком доме — и нет самовара... А я вот чай люблю, — заметно расстроился Михаил Евстафьевич...

Вскоре для строительства елпановской церкви был подрядчик Юдин Кузьма Платонович. На вид ему было около пятидесяти, с плоским калмыцким лицом и козлиной бородкой. Смеялся он каким-то визгливым, трескучим смехом, при этом его узкие глазки почти совсем закрывались. Но невзирая на внешность, человек он был деловой, энергичный и прост в обращении. Ему тоже предложили комнату, однако он отказался наотрез: «Что вы? Я ведь не велик барин — простой мужик. Не все ли равно, где ночевать». В Ирбите у Юдина был свой двухэтажный каменный дом. Жил он богато, имел хороших лошадей. Он и раньше нанимался в подрядчики, строил купечеству дома, магазины, лабазы. Потом, когда у него подросли сыновья, стал ездить по окрестным деревням строить церкви.

На отведенной под церковь площади очистили снег. Абросимов сам наметил место: планировал, целый день ходил с рулеткой, мерял и вбивал колышки. Наконец было все готово для начала работ.



Снег в этом году выпал рано, на талую землю, и был такой глубокий, что она не застыла; копать было легко, и вскоре все земляные работы были сделаны. Стали подвозить к месту стройки кирпич и складывать в штабеля, подвозили и лес, тут же его ошкуривали и тесали. Здесь же сложили песок и известь, чтобы весной начать кладку стен. В мастерской Елпанова работники строгают дверные бруски и оконные рамы.

Работа кипела кругом. Иван Петрович в эту зиму даже не поехал с хлебным обозом, послав с ним оборотистого Катаева.

К Рождеству все работы, которые намечали сделать в этот год, были закончены, и инженер с подрядчиком разъехались до весны по домам.

...Иван Петрович Елпанов знал, что прядеинцы давно хотят отрезать часть его земли на заимке, оставив ему самую малость. Этого он боялся больше всего на свете. Перемер земли бывает в деревне через двенадцать лет, а нынешний год как раз с перемером совпадал. Не послушай он верного и умного управляющего Катаева, не пошли прошение в губернию насчет заимки на Осиновке — не видать бы ему своей земли.

«Ну а теперь — нате-ка, выкусите! В казенной бумаге ясно прописано, что моя земля на Осиновке, по закону моя! И не подкопаться вам под Елпанова — глубоко я корни пустил!»

Так думал Иван Петрович, возвращаясь домой. Он, как бы вымещая досаду на своих однодеревенцев, наотмашь стегнул кнутом и без того ходко бежавшую лошадь и погнал по ухабистой дороге в Прядеину.

— Елпанов с ярмарки вона чё привез — са-мо-вар! — кричали бегающие по деревне ребятишки.

— Слышь, кума! Елпанов-то, говорят, каку-то медну корчагу на ярмарке купил, самоваром, што ли, зовут! Весь ровно золотой блестит!

О невиданном ранее, первом в округе тульском самоваре в деревне судачили чуть ли не месяц. Всем деревенским жителям было интересно увидеть, что же за штука такая — самовар. Народу на подворье Ивана Петровича собралось, как на свадьбу. Люди стояли не только в ограде, но даже в сенях. Те, что вдоволь насмотрелись и вышли на улицу, рассказывали о диковинке по-разному. Некоторые усмехались:

— Да ничё особенного, вода горяча в ем, да и все! По мне, дак лучше после обеда кваску ядреного! Господская это все выдумка, а нашему брату крестьянину чай распивать недосуг!

Иван Петрович своим домашним и работнице Нениле самолично показывал, как ставить самовар, внушая:

— Смотрите у меня, не поставьте без воды, не то испортите вещь!

Он купил на ярмарке и чаю, и сахару, но велел положить пока запасы в сундук: все в семье, да и сам он, к чаепитию не привыкли, всем по душе был квас после обеда, а в праздники — пиво или травянуха.

— По весне вот инженер приедет, Михаил Евстафьевич, тогда и будем самовар ставить, — он чай пить страсть как любит!

Весна была ранней и дружной. Дул теплый южный ветер, растопляя снег. Мелкие ручейки, сливаясь в бурные потоки, с шумом устремлялись в Киргу. Лед тронулся и скоро скопился у плотины, образовав затор. Елпанов с работниками день и ночь трудились, шестами и баграми отправляя льдины через плотину вниз по реке. Работали до тех пор, пока не исчезла угроза, что льдины, нагромождаясь одна на другую, разрушат плотину.

«Давно не было такой дружной весны и такой скорой тали, — говорили мужики, — за неделю до Пасхи, пожалуй, пахать выедем нынче».

Среди прочих забот Иван Петрович съездил в Ирбит и привез подрядчика и инженера. Строительство церкви в Прядеиной пошло полным ходом. Двоих каменщиков Елпанов нанял в Ирбите, а подносить кирпич и мешать раствор мог любой из работников. Фундамент был уже готов, начали кладку стен, но в сенокос зарядили дожди. По неделе стояло ненастье: с неба без конца сеялся нудный бусенец-сеногной.

В каждый погожий день и час Елпанов снимал людей со строительства и отправлял на покос. Во время жнитва погода тоже то и дело портилась, хлеб начал прорастать сперва в суслонах, а потом и на корню. Иван Петрович потерял сон и аппетит, гонял то и дело на заимку, нервничал: проросший хлеб при продаже пойдет вторым, а то и третьим сортом.

Мужики в пожарнице говорили:

— Ну, нынче доброго хлеба поись не придется... Бабы стряпают, дак над квашней ревмя ревут! Всю ночь-то она, бедолага, как кошка с салом, бегаёт туда-сюда: то на печь квашню поставит, то на шесток... И нигде она не киснет, да и шабаш! Иные бабы по два дня одну-то квашню квасят...

— Ха, зато на пиво зерно и проращивать не надо!

— Дак ведь пиво-то, дурья твоя голова, только на Покров да Рождество и попьешь!

— Нелишка нынче хлеба-то... А молотить — чистое горе! Уж овин сушишь-сушишь, а все никак не молотится, все зерно в солому идет...

— Ничё не поделаешь, год на год не приходится... Перебьемся как-нибудь!

— Ясное дело, перебьемся, да такой хлеб весной на семена не годен будет, а старый-то хлеб не у каждого сохранится... Эх, опять Елпанову в ноги падать придется! Никак нельзя с им ссориться, все же он хоть как-то, да выручает... Погорячились мы тогда на сходе из-за заимки-то!

— Вестимо: с сильным не тянись, с богатым не судись... А Елпанову не то што уезд али волость — сама губерния ему мирволит! Наследника вот только у него нет, все одни дочери, да жена-то молодая — глядишь, и наследника родит.

— Жена-то молодая, да сам он старый...

— Ну, он еще всех нас крепче! Говорят, сроду ничем не хворал... Отец-от его, Петро Васильич, кажись, до сотни всего года четыре не дожил, а этот покрепче отца-то будет!

## НАРОДНАЯ ИЗБА

Пожарница исправно служила мужикам, которые любили попытеть самосадам и посудачить о легкой крестьянской доле. Была она и пристанищем для молодежи: парни и девки любили зимой собраться в пожарнице, чтобы послушать гармониста, попеть песен и станцевать заводную кадрили. Понятно, что интересы мужиков и молодежи не совпадали, и зачастую деревенские ребята были вынуждены сидеть дома. Молодежь, конечно, это не устраивало, и посоветовавшись друг с другом, они решили строить народную избу.

Некоторые старики были против народной избы и между собой говорили: «Тут, в пожарнице, оне хоть на глазах у старших, а там, в народной избе, на головах ходить будут. Одному богу известно, чё они там творить зачнут. И мордобою не оберешься, и страму всякого».

В конце концов старики сдались на уговоры молодежи и разрешили строить народную избу на свободном месте рядом с пожарницей. Тут все же сподручнее, решили они, нет-нет да кто-нибудь из старших доглядит за молодыми.

Вскоре у пожарницы появилась новая изба, в которой собирались не только холостые парни и девки, но и молодожены, у которых пока не было детей. Приходили в избу послушать песни ребята из других деревень, украдкой наведывались и мужики: сидит, дымит в пожарнице весь вечер цыгаркой какой-нибудь дед или пожилой мужик, глава большого семейства, и уйдет незаметно на улицу. Через некоторое время возвращается потный, как из бани, и, отдуваясь, опускается на лавку:

— Уф! Уморился, будь они неладны!

— Да што, за тобой хто гнался, што ли?

— Вышел до ветру, да в народную зашел, дай, думаю, погляжу, чё молодые-то делают. А там веселье, слышу,

гармошка, а Анфиска, младшая дочка Ивана Кряжева, возьми да и выдерни меня в круг, а я стою, как чурбан, все хохочут, да еще кричат: «А ну давай, дядя Митрий, не подкачай, пляши, раз зашел, — так не отпустим!» А Анфиска не то что волчком, мелким бесом около меня вертится, не вытерпел тут я, братцы. Вить я плясун был в молодости — хлебом не корми. Топнул я для прилику — а чё, пимом-то шибко топнешь? — и пошел! Пошел, аж рубаха вся прилипла к телу, уж и полушубок сбросил кому-то на руки. Ох, думаю, сукина дочь, все равно я тебя перепляшу. Разошелся я, братцы, аж сердце будто пудовый молот в кузне, а все пляшу. А ей хоть бы чё, зубы скалит, частушки-припевки разные поет, как перышко летает. Вприсядку пошла, значит, и меня вызывает. А у меня уж ноги будто свинцом налитые, от полу еле отдираются. Все, говорю, не могу больше! Твоя взяла, Анфиса Ивановна! Ничё тут не попишешь, остарел я. Да скорей в пожарницу, а мне вслед: «Дядя Митрий, полушубок забыл!» Чё уж теперя, следи не следи за ними — свой ум должен быть. Не маленькие. Хорошо-то, что оне нам сейчас не мешают, а то бы в морозы опять поперлись в пожарницу. Пусть уж там в своей избушке на головах-то ходят!

— А ты, Митрий, вспомни, сам-от какой был молодой.

— А чё вспоминать-то? Вспоминай не вспоминай — молодость не вернется. Можя, и похлеще их был.

— Вот мы с Ондрюшкой, царство ему небесное, не к ночи помянут, невест воровать поехали в Харлову, — прошамкал беззубым ртом дряхлый девяностолетний дед Анисим, — в Троицу народу тьма-тьмушая у церкви...

— В Галишевой пожар! Страшимо зарево, и в набат бьют, слышите?! — прокричал вбежавший с улицы мужик.

Всех как ветром сдуло: кто за баграми, кто за ведрами и топорами. Зимой пожар — хуже нет, а если ветер, то

полдеревни выпластает. Спаси и сохрани, Матерь Божья, от такого несчастья. Река замерзла — к воде не подступишься, а из колодцев-то не лишка начерпаешь.

Под утро возвращались домой усталые, измученные, все перепачканные сажей и тихо между собой переговаривались:

— Хорошо, што ветру не было.

— А от чего пожар-от сделался?

— А хто его знает, пригоны перво загорелись, говорят, поджог! Ссорился будто хозяин с кем-то.

— Неуж из-за какой-то ссоры поджигать?

— А хто его знает, всякое бывает! Народишко-то — бывшие каторжане!

— Ты зря, кум, на каторжан не клепи, они на своем веку много горя да нужды видели, поджигать не будут! Вот, к примеру взять, мой дед из каторжан был, дак какое он зло кому сделал?

— Правильно! Хороший, добрый был старик, царство ему небесное!

— Вот опять две семьи погорельцев в Галишевой. Деревнешка-то маленькая! Надо будет, мужики, помочь им построиться-то! Да скотинешку кое-какую приобрести, все вить сгорело...

## НАСЛЕДНИК

Майская ночь. Полная луна щедро освещает цветущие в палисадниках черемухи, дурманящий аромат которых до краев наполнил деревенские улицы. Где-то далеко за рекой звонкие девичьи голоса поют весело и задорно.

В одну из таких коротких майских ночей в елпановском доме появился на свет долгожданный наследник — Елпанов Федор Иванович. В честь рождения сына Иван Петрович устроил праздник, на который пригласил знатных гостей. Крестины были приурочены к большому престольному празднику — Вознесение Господне.

Марине шел тридцать второй год. Она теперь мать пятерых детей: старшей, Александре, осенью будет двенадцать, Феокисте — одиннадцать, Сусанне идет четвертый, а Ольге скоро исполнится два года.

Иван Петрович, принаряженный ради такого торжества, сидит за столом вместе с гостями, чуть захмелевший от выпитой кумышки, а больше от счастья. Уже в который раз гости поднимают тост за новорожденного наследника.

— Выпьем, братие, за новорожденного! Виват! — орет рокочущим басом харловский дьяк Варсонофий.

— Виват! — поддерживает своего коллегу отец Антон.

Марина вначале принимала поздравления от гостей наравне с мужем, но было видно, что она еще не оправилась после родов: исхудавшее бледное лицо, ввалившиеся глаза выдавали ее состояние. Сразу же после первых поздравлений она ушла, сославшись, что ей пора кормить сына. Поплотнее закрыла дверь своей маленькой горенки, чтобы не было слышно восторженных возгласов подвыпивших гостей. Подошла к зыбке, в которой спал ребенок, с любовью посмотрела на маленькое,



сморщенное детское личико. «Долгожданный ты мой, — думала Марина, — знал бы ты, сколько времени я провела в молитвах и даже уже не надеялась, что у меня родится мальчик».



Марина была безумно рада рождению сына, но беспокойство за его судьбу травило ее душу: «Иван Петрович уже очень стар, что будет, если его не станет? — беспокоилась Марина. — Как я воспитаю сына без отца, без наставника? Пойдет ли ему впрок отцовское наследство?» — Марина пыталась гнать грустные мысли, но они возвращались вновь.

Убедившись, что малыш крепко спит, Марина осторожно прилегла на кровать и задремала. Сквозь сон она еще слышала пьяный рев дьячка, но постепенно для нее стало все затихать, и она уснула крепким здоровым сном и не видела, как в комнату осторожно, стараясь не потревожить жену, вошел Иван Петрович.

Энергичному, быстрому в движениях, без единого седого волоса Ивану Петровичу никто бы никогда не дал свои года, а было ему в то время восемьдесят с лишним лет. Крепкий здоровьем от природы, живой и деятельный, он как бы остановился на одной мере, время над ним не имело власти. Может быть, это произошло от любви к молодой женщине, а может, по какой другой причине.

Иван Петрович наклонился над зыбкой и, с нежностью глядя на новорожденного сына, думал: «А не поздно ли? Не слишком поздно ли ты появился, мой наследник, дорогой и столь долгожданный Федор Иванович? Но будь что будет! Расти и крепни»...

## ВОТ ТЕБЕ И ВЕЧНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ!

Пошел четвертый год с того дня, как Иван Петрович Елпанов начал строить церковь. Наконец снаружи все было готово — здание оштукатурено и побелено. Высоко в небо вознеслись три голубых купола, увенчанные латунными крестами. Колокола разной величины были отлиты в Тагиле и отправлены на баржах до Ирбита водным путем; к прядеинской церкви из Ирбита их привезли на телегах. Были устроены покатые подмостки и блок, и мужики слегами и канатами подняли колокола.

Но внутренняя отделка церкви задерживалась. Еще прошлым летом Елпанов привез из Ирбита двух мастеров-богомазов<sup>128</sup>, которые подрядились сделать роспись стен и покрыть золотой фольгой иконостас. Однако мастера оказались пьяницами и бабниками, их частенько видели в кабаке, после чего они шатались по деревне, лапая девок и неделями ночуя у деревенских вдовушек.

Иван Петрович на расправу с бездельниками скор — рассчитал их и выгнал, а потом привез новых мастеров. Богомазы запросили дорого, но Елпанов в конце концов согласился. «Прав был волостной-то писарь: церковь построить — это не избу скатать. Ну что поделаешь, как говорится, заварил кашу — не жалея масла!» — думал Елпанов.

Иван Петрович в эту весну все свое время проводил на строительстве церкви. Чего греха таить, многоопытный Елпанов не очень-то доверял городским мастерам, он считал, что каждый второй из них — либо вор, либо пьяница, а за такими глаз да глаз нужен...

---

<sup>128</sup> Богомаз — иконописец (часто — плохой, неискусный).

Он приглашал посмотреть, как идет дело, харловского священника отца Антона. Дьячок Варсонофий, большой любитель выпивки, и сам являлся безо всякого приглашения. Варсонофий разбирался в церковной росписи и даже сам кое-что мог малевать. Плохо только, что он любил подсказывать, чем сильно сердил мастеров. Как-то, не вытерпев, старший из богомазов слез с лесов, схватил дьячка за бороду и вне себя прошипел:

— Убирайся отсюда, обрзина долгогривая, пока я тебе ведро с краской на башку не надел!

— Да ты что, нехристь? Не видишь, на кого руку подымаешь?! На священную особу!

— Вижу, не слепой! Знаем мы этаких-то особ!

— Да я батюшке пожалуюсь, пусть он тебя анафеме предаст!

— По мне — хоть Фоме, хоть Ереме, все одно! Я с самой каторги в церкви не бывал! Пошел отсюда!

С тех пор в церковь Варсонофий входил только с Елпановым и священником Антоном и замечаний богомазам больше не делал...

Елпанов и сам на себя досадовал: дернуло его нанять этих угрюмых молчунов! Но они хоть пьяницами не были, споро работали и времени впустую не тратили. Старшего звали Арсен (отчества он не сказал), а сыновей — Самуил и Димитрий. Работали все трое с утра и до ночи, за весь день перекинувшись одним-двумя словами.

В Ирбите поговаривали, что Арсен — сын богатых и известных людей, родился в Петербурге, много учился, но за что-то угодил на каторгу. После нее был на поселении в Туринске, а потом перебрался под надзор полиции в Ирбит. В этом купеческом городе для Арсена всегда находилась работа, его то и дело приглашали расписывать соборы и церкви, а живописцем он был неплохим.

Среди заказчиков Арсена было не только духовенство. Прослышав о его мастерстве и честности, его звали

расписывать купеческие особняки и богатые трактиры. Одно не устраивало богатых заказчиков: Арсен был нетерпим ко всем, кто вмешивался в его работу или, еще хуже, начинал докучать советами. Такого богомаз мог обругать и даже в запальчивости ударить... Уж на что сыновья беспрекословно повиновались ему, но и им иногда крепко попадало.

Свое каторжное прошлое Арсен скрывать даже не пытался, а наоборот — иногда как бы даже подчеркивал его.

— Угрюмый, темный он человек... Может, это каторга его таким сделала, — говорил Елпанов своим теперешним знакомцам — священнику Антону и дьякону Варсонофию.

Дьякон в ответ махал рукой:

— Да пес с им, што он угрюмый, тебе-то от этого какая беда? Лишь бы он с сыновьями расписал все как следует, а мастер он вроде неплохой!

В деревне все еще посмеивались над теми богомазами, которых Иван Петрович сначала нанял, а потом сам же и выгнал с треском. Один из них, Василий, повадился ходить к вдове Вере Николихе, отпетой головушке.

Про нее поговаривали неладное еще при жизни мужа, Николая, мужика смиренного и робкого, жившего у жены в полном подчинении. Николай скоропостижно умер, тридцатилетняя Вера осталась с маленькой дочкой и, как говорили злаязыкие кумушки, не стала пропускать ни пешего, ни конного...

Отличалась Николиха красивым лицом и станом. У нее были большие серые глаза, прямой, чуть длинноватый тонкий нос на чистом овальном лице. В Прядеиной чужие приезжие люди бывали редко, но всегда они каким-то чудом оказывались у Веры Николихи. Поговаривали даже, что у нее не раз ночевал сам становой пристав.

Как приехали богомазы, Николиха ходила с гордо поднятой головой и не стесняясь хвасталась прядеинским бабам:

— Ой, бабоньки, какой Вася обходительный, не то што ваши мужики! А как он меня любит! Я тебя, Вера, говорит, беспременно на икону посажу — пусть все на тебя молятся!

— Как это — на икону?!

— А нарисует меня, да и все! Ты, говорит, будешь сидеть, как статуя, и не шевелиться, а я буду на тебя смотреть и Великомученицу Екатерину на стене рисовать... Вот вам, молиться на меня вскорости будете!

— Господи, да поди, грех это, грех непрощенный....

— Я тоже ему сперва говорила, а он мне ответил: нет, мол, в этом никакого греха!

Весть о том, что беспутную бабенку Николиху богомаз хочет посадить на икону, мигом дошла и до Елпанова.

Иван Петрович только что вернулся с заимки и сразу направился в церковь, весь — туча-тучей. Из этой тучи вот-вот должен был грянуть гром... И он грянул, как только, войдя в церковь, Елпанов увидел такую картину: Вера Николиха неподвижно сидела на табуретке, а Василий-богомаз на стене рисовал с нее икону. Иван Петрович так и остолбенел сначала, даже дар речи потерял, но, опомнившись, рявкнул:

— Ты что это, паскудница, сюда приперлась?! А ну, вон отседава, и чтобы боле духу твоего здесь не было!

Николиху как ветром сдуло, только железная церковная дверь лязгнула.

— А ну покрась, Василий, стену!

— Напрасно вы, Иван Петрович, женщину обидели! Я сам ее позвал сюда, Екатерина Великомученица из нее получилась бы, профиль у нее прекрасный!

Елпанов и понятия не имел, что такое профиль, и взъерился не на шутку:

— Я тебе, нечестивец, покажу, как сюда шлюх водить! Ни про какой профоль и слышать не хочу, и так по роже ее видно, что «великомученица»!

— Вы, Иван Петрович, человек без понятия! Редкой красоты лицо у этой женщины...

— Вот в кабаке и рисуй ее, а не в Божьем храме!

Елпанову показалось, что мастера переглядываются и насмеяются над ним, и он окончательно разбушевался:

— Я покажу вам, сукины сыны, понятие! Сегодня же получите расчет, и валите на все четыре стороны!

Вытурив богомазов, Елпанов закрыл церковную дверь на висячий замок. Подошла страда, а там — смошная осень, зима, и до самой весны прядеинская церковь простояла на замке, только с наступлением теплых дней работы возобновились. Ко дню Иоанна Крестителя они должны были закончиться.

Новые мастера работали изо всех сил, были трезвы и скромны, и хотя Арсен порой грубил, Елпанов уже смирился с этим: он понял, что все мастера-живописцы, видимо, люди с большими причудами...

Но вот после долгих хлопот наконец-то все было готово. Из Ирбита приехали представители духовенства — принимать работу. Довольно вместительное здание, с хорошей архитектурой и росписью, церковь все же записали как часовню об одном престоле.

Сколько потом ни хлопотал Иван Петрович Елпанов — толку не добился. Прядеина так и осталась приходом харловской церкви, и там было все духовенство.

Иван Петрович еще надеялся на его преосвященство митрополита Сергия. «Надо будет просить его преосвященство, чтобы он похлопотал в Святейшем Синоде», — прикидывал Иван Петрович, хотя и предчувствовал, что ни священника, ни дьякона в его, елпановскую, церковь не пошлют, и будут там служить, как в маленькой захудалой часовенке.

Не побоявшись затрат, Елпанов даже съездил в Екатеринбург и купил иконы для церковного иконостаса. После того как иконы были поставлены, он добился приема к архиерею, был и у митрополита Сергия, просил, и даже пообещал пожертвовать деньги в епархию. Все духовенство вроде бы согласно было перенести приход в Прядеину. Архиерей обещал вскоре побывать в деревне, осмотреть и освятить прядеинскую церковь.

Вскоре после Ирбитской ярмарки Елпанову сообщили о скором приезде архиерея. В доме воцарилась суета и хлопоты: мыли полы, скребли лавки, чистили стены и двери, варили разные сорта пива, готовили еду.

Архиерей со своей свитой прибыл в Прядеину уже поздно вечером, когда в домах начинают зажигать огни. Из Ирбита он ехал на перекладных, в возке. Лошади шли сначала ходко, но вскоре перешли на шаг. Дорога была избита ухабами и раскатами, и, проложенная крестьянскими санями, она была узка для пары. Архиерей сидел в возке неподвижно, укрывшись пушистым пледом, время от времени посматривая в окошко возка на зимний лес, на буераки, на дальние безжизненные поля, протянувшиеся до самого горизонта. Вскоре ему все это надоело. Он поплотнее укрылся пледом, подманил поближе собаку, чтобы согреть об нее зябнувшие ноги. Дианка, породистая немецкая овчарка, всегда сопровождала хозяина в дальних поездках. Архиерею подарили ее еще щенком, и он сам ее воспитывал. От однообразия дороги клонило ко сну, и священник уснул.

Вот и Прядеина. Казалось, что вся деревня высыпала на улицу, чтобы увидеть архиерея. Стар и млад бежали к елпановскому дому со всех сторон.

Одна толстая, могучая деревенская баба, усердно работая локтями и ногами, пробралась к самому возку и заглянула в окошечко. Другая, похилее, в рваном полушубке



явно не со своего плеча, не могла так успешно пробиться и занять столь выгодную позицию, кричала во все горло:

— Кума, ну ты хоть увидела, какой он, архилей-то?

— Увидела! Увидела! Да ничё в ем хорошего нет! На нашего Соболька похож, только сам поболе да уши подоле. Фу! Пасть-то выскалил!

— Кума, ты чё там мелешь? Неуж архилей на собаку похож?

Обеспокоенная непрощеными гостями Дианка, которую оставили охранять поклажу в возке, залаяла.

— Вишь, окаянный, залаял, ишо выскочит да искусат...

— Пойдем, Матрена, в избе он. Говорят, сидит уж за столом, чай пьет, а мы, дураки, тут его ищем.

— На кого хоть он похож? — переводя взгляд с овчарки, спросила Матрена.

— На мужика, на кого же еще-то?! — победоносно сказала кума, поставив точку в разговоре.

Назавтра, в день Иоанна Крестителя, было назначено освящение церкви. Народу собралось множество: в церковь, построенную на елпановские деньги, пришли не только прядеинцы, но и жители других деревень — Галишевой, Вагановой, Сосновки.

А в доме Елпанова в этот день гостей была уйма: отец Антон, дьякон Варсонофий, псаломщик Никон и церковный староста из Харлова; не обошлось и без волостного начальства — волостного старшины и писаря; были приглашены также прядеинцы — деревенский староста и другие богатые мужики.

Самая большая горница была освобождена от мебели, и во всю ее длину стояли длинные столы, покрытые узорными скатертями. Столы ломились от закусок, кушаний, разных сортов вина и пива.

Разгоряченные пивом, вином и обильной едой, захмелевшие гости бахвалились друг перед другом.

— Я, матушка, за Еремея Ивановича выходила не с пустыми руками, не с голой задницей! — перекрыв все голоса, как колокол гудел густой бас Устиньи Степановны, сватьи из Галишевой. — Родитель-то мой, царство ему небесное, богатый был, купеческого звания. А я одна дочь у его.

— Да неуж купеческого звания? — пыталась спорить дьячиха, внося диссонанс в рокочущие нотки Устиньи своим визгливым голосом.

— Мамынька, не надо! — мычала опьяневшая Дарья, вперив в одну точку круглые зеленые немигающие глаза. — Праздник вить какой?! Дай выпить, горе забыть, на славе мы, говорят про нас! Теперя все! На славе!

— Дарья, тебе хватит пить! — не вытерпев, воскликнула Пия. — Не говори про горе, кому здесь это нужно, не позорь меня! В нашем роду баб-пьяниц не было!

— А я рази пьяница! И прошу не распорядиться! Ты мою жизнь не знаешь! Чё мне больше осталось делать?

— Это матери-то своей ты так говоришь? — Пия, расталкивая всех, вылезла из-за стола и хотела схватить дочь за волосы. — Негодница, ты мне еще поотвечай!

— Не надо, матушка Олимпия Спиридоновна, давайте лучше песни петь! — вовремя подоспела попадья и, взяв Пию за руку, усадила рядом с собой.

У попадьи был исключительно чистый высокий голос, и она запела первую попавшуюся на ум народную песню, слова которой знали все: «Катя, Катерина, купеческая дочь...» Песню тут же подхватили: «Катя прогуляла всю осеннюю ночь...»

Пия вдруг вспомнила свою умершую дочь Катерину, опустила руки, и слезы полились из ее глаз: «Боже! Ну где же справедливость? — думала она. — Катерина с детства была красивее и лучше своей сестры лицом и характером, и зачем бы ей умирать...»

А Марина с работницами все прислуживала и подавала на столы. Бегали взад и вперед в сени, в кухню, кувшинами носили кумышку и пиво, убирали грязную посуду. Ненила уже успела, видимо, где-то причаститься и с красно-пунцовым лицом заигрывала в сенях с работником Никанором. Мельник Елизар каким-то чудом уже с утра успел напиться. К вечеру, проспавшись в своей караулке, явился в кухню опохмелиться. Но божился и крестился, что он еще не пил. На кухне всем мешал и надоедал ужасно. Марина налила ему в туесок кумышки, отрезала рыбного пирога и велела убираться к себе в караулку.

За столом, где сидел архиерей, пили умеренно — было жарко. Волостной старшина, писарь и деревенский староста с распаренными лицами поблагодарили хозяина за хлеб-соль и встали из-за стола: сидеть просто так при обильной выпивке и закуске было неловко. Даже любитель выпить дьякон Варсонофий — и тот, преодолевая себя, не пил много.

Перед тем как гости стали разъезжаться, Иван Петрович с архиереем остались один на один. Елпанов вручил архиерею несколько сотенных бумажек на нужды епархии и сказал:

— Ваше преосвященство! Заставьте денно и нощно Бога за вас молить... Нельзя ли в Святейшем Синоде о церкви, мной построенной, хоть словечко замолвить? Чтобы, значит, и приход в Прядеиной был, и со всем, как полагается, церковным причтом<sup>129</sup>. Мы им и дома обществом построим, и земельные наделы дадим...

— Не беспокойтесь, Иван Петрович, все будет, как вам, строителю храма Божьего, угодно!

---

<sup>129</sup> Причт — состав группы лиц, служащих при каком-либо одном храме (приходе), как священнослужителей (священник и дьякон), так и церковнослужителей (псаломщики и др.).

Но время показало, что слова эти так словами и остались. Два года из Святейшего Синода не было никаких указаний. Обеспокоенный Елпанов заставил волостного писаря написать и послать в губернию письмо по поводу церкви. Ответа не было целый год, и Иван Петрович хотел уж добиваться приема у митрополита, но тут стало известно, что митрополит умер и на его место заступил другой церковный чин.

Произошли перемены и в харловской церкви. Отца Антона перевели на другое место, а дьякона Варсонофия вывели из духовного сословия — совсем спился Варсонофий и скоро куда-то уехал вместе с семьей. Новый священник, отец Алексей, сразу объявил Елпанову, что служить в часовне в его обязанности не входит. Иван Петрович собрался было с установлением санного пути ехать в губернию, но из губернии на волость пришел пакет, в котором коротко и ясно сообщалось: деревня Прядеина Белослудской волости остается приходом церкви в селе Харлово. Письмо было подписано новым митрополитом.

Нет слов, чтоб описать, как был обескуражен и раздосадован Иван Петрович Елпанов!

«Вот тебе и церковь за свой счет из собственного кирпича... Вот тебе и вечное поминовение! Церковь, знать, стоять будет, пока жив, а умру — дак растащат по кирпичику, как пить дать растащат!» — горестно думал старик.

## СВАДЬБА ФЕОКТИСТЫ

Еще с весны Марина Васильевна слышала от досужих кумушек, дескать, ее дочь Фиса любит Егорку Прядеина, старшего сына Фомы Прядеина, что живет в одинском конце, но не придавала никакого значения этим сплетням. «Малоликто с кемкомпанится, — думала она, — на то и молодость. Дочери ее уже взрослые, старшей, Александре, осенью будет двадцать, да и Феоктисте восемнадцать минуло, обе хоть куда невесты. Отец вечно в хлопотах и разъездах. Ради своей торговли, церкви и работы на заимке он уж и семью позабыл. Все воспитание детей взвалил на плечи жены и не заметил, как подросли дети, как стали невестами старшие дочери».

Мать пыталась узнать от дочерей об их сердечных делах, но они не говорили ни слова. Александру приезжали весной сватать в Харлово, но отец и разговаривать не стал, да и сама невеста была против. Семья, в которую сватали Александру, Ивану Петровичу не нравилась. Да и вообще он не спешил отдавать замуж дочерей.

Он говорил так: «Пусть оне в девках подоле поживут да ума накопят». Жене он постоянно внушал, чтобы та больше заставляла дочерей прясть да ткать — нечего, мол, им по вечеркам шастать, пусть приданое себе готовят!

Работники, глядя на хозяйских дочерей, похваливали их:

— Лихие девки у Ивана Петровича удались! На любую работу оне горазды! А особливо загляденье, как с конями обходятся — получше парня какого-нибудь утлого<sup>130</sup>!

Младшие сестренки не отставали от старших. Они были очень подвижны и шустры на язык. В детстве они могли целыми днями бегать, носиться, лазить не хуже

---

<sup>130</sup> Утлый — ненадежный, хилый, слабый.

любых парней на крыши и на самые высокие деревья. Благодаря своим неистощимым выдумкам и проказам, всегда были во главе ребячьей ватажки. Сестренки были худы, длинные и угловаты, но цепкие и ловкие, как ящерицы. Несмотря на свою не очень привлекательную внешность, сестры были не лишены симпатии. За словом в карман они не лезли: могли шутить, смеяться, петь песни.

С двенадцатилетней Сусанны спрос был, как со взрослой: ее будили ранним утром, чтобы привести с ночного лошадей. Она быстро вскакивала, умывалась из глиняного рукомойника во дворе и, спешно схватив недоуздки, босая, по росистой траве бежала в поле за лошадьми. По звону боталов<sup>131</sup> она быстро находила своих лошадей и ловила их. Легкой пушинкой взлетала на спину, ухватившись за повод и гриву. Бежать поутру за лошадьми в поле, когда в низинах стелется молочный туман, или отводить их в ночное после заката солнца для Сусанны было настоящим праздником. Она с удовольствием предпочитала эту обязанность домашней работе, стряпне и дойке коров. Сусанна любила наблюдать за восходом солнца, которое золотило утренние легкие облака, окрашивало пожаром край лиловой тучи. С восходом просыпалась природа: начинали петь птицы, заливались соловьи, налетал легкий утренний ветерок, проносящий волну по зеленому разнотравью...

Даже зимой, когда, казалось бы, есть время передохнуть, для всех находилось дело.

В один из таких зимних вечеров Александра несмело подошла к матери и сообщила ей неприятную весть о том, что Фиска ушла из дому.

— Ой, да что же это такое! Господи, да как же мы теперь про это отцу-то скажем! — стала причитать Марина

---

<sup>131</sup> Ботало — колокольчик из железного, медного листа или дерева, подвешивающийся на шею пасущейся коровы или лошади.

Васильевна. — Да как же ей в голову-то пришло такое! Осподи, и не знаешь, откуда беда-то придет! Ты бы, Сана, сходила к им все-таки, может, она еще передумает да вернется.

— Нет, мама, не вернется, уж я-то знаю, — всхлипывая, ответила Александра, — раз уж решилась, назад не пойдет. Любит она Егорка, и к свадьбе у их уж все готово.

— Значит, вся деревня знала, што моя дочь взамуж собирается, только я одна ничего не знала? Ну, Фиска, что же ты наделала! Будет всем нам, как отец приедет!

Вечером Елпанов вернулся из дороги; оставив работникам распрягать лошадей, сразу пошел в дом.

— Здорово живите! Ну как вы тут? Помогите ягу<sup>132</sup> снять! Ох, пристал я, мать, дорогу перемело. От самых Куликовских хуторов, почитай, всё в цело ехали. Лошадей спарили шибко. Ох, наверно, отъездил я в дорогу.

Александра помогла снять отцу собачью доху.

— Иди, Сана, выхлопай ее хорошенько на ограде, снегу набилось в нее да сенной трухи. А где же Фиса? Что-то я ее не вижу?

Марина с плачем повалилась мужу в ноги и стала рассказывать. Иван Петрович схватился за голову: острая боль как кинжалом пронзила мозг, потемнело в глазах. Ему помогли сесть на лавку, кто-то принес подушку, суе-тилась вся семья. Приступ головной боли вскоре прошел, и Иван Петрович велел подробно все объяснить, как и когда сбежала Феоктиста из дому. Вся семья уговаривала его не волноваться. Сана поспешно сказала отцу, что сейчас сбегает до Фиски и расскажет, что захворал батюшка, и Фиса прибежит домой, но Иван Петрович спокойно выслушал старшую дочь и так же спокойно ответил:

— Не надо, дочь, туда ходить кланяться. Ушла — пусть идет, тут уж ничего не поделаешь, а я здоров. Ох, девки,

---

<sup>132</sup> Яга — шуба, тулуп.

девки, ни ума у вас нет, ни рассудка. Очертя голову готовы в каждый омут кинуться. Ведь семья-то какая, а туда же лапу тянут, жениться всем сопликам надо, уж жили бы одни, нечего нищету-то плодить; думают, поди, дам приданое большое.

Буквально через час в ворота постучались сваты.

— Здорово, проходите, садитесь!

Гости торопливо покрестились на образа и прошли; взглянув на потолок, уселись рядом под матицу<sup>133</sup>.

— Вижу, Иван Петрович, возвратился из дороги, — начал разговор Фома, — вот собрались со старухой к вам... — красноречие Фомы вдруг иссякло, и он замолчал.

— Батюшка Иван Петрович, мы пришли сказать, что ваша дочь Феоктисья Ивановна у нас, — неожиданно вступила в разговор Арина, жена Фомы, не выдержавшая затянувшейся паузы.

— Знаю, что у вас!

— Ну вот и хорошо! Вы уж будьте добры — не супротивьтесь. Любят оне с Егорком друг друга. А у нас вить тоже не камень в груди-то вместо сердца. Вот и пошли просить вас.

Елпанов сидел в глубоком раздумье, собрав в единый кулак всю свою волю. После перенесенного головного приступа какой-то неведомой прежде болезни он не хотел ни с кем говорить, ни тем более ссориться. У него было дурное предчувствие, что приступы головной боли могут повториться, если он будет кричать и ругаться.

— Что ж поделаешь, не нами сказано, дочери не домашний товар, — начал, наконец, Фома, — у меня самого их вот три, да погодки, как пойдут одна за другой — знай поворачивайся. Слава богу, все уж ребята мои работники стают, помогают. Вырастут, бог велит, Егора выделим, всей-то артелью, может, и дом поставим. Про моих ребят

---

<sup>133</sup> Матица — балка, поддерживающая потолок.



никто в деревне худого слова не скажет. Малы были, известное дело, бедно жил, где же на такую семью напасешься всего. В будущий год перемер будет, на пять душ земли получим, боле хлеба сеять будем.

Иван Петрович сидел у стола, подперев голову, и ду- мал. Гости не уходили, ждали ответа.

— Ну вот, мы как на духу все выложили. Какой ваш ответ будет, Иван Петрович? И то сказать, вить силой ее никто не тащил, Феоктисью-то! Кабы не любила, не пошла бы.

— Ну ладно, так и быть, раз ушла сама, ей жить, не мне. Вот только молода она, глупа еще! Может, и покается, да поздно будет. Пусть уж как знает! Отбирать я не собираюсь. А приданое известное девке — что напряла, наткала. Ну лошадь дам, телку, вот и все. И другим будет не больше, у меня вон их сколь, невест-то, да еще и наследник есть. Вот тебе, Фома Кесарьевич, ответ мой.

— Вот и хорошо, Иван Петрович, — засуетился Фома, — теперя можно выпить вина по такому случаю. Ну-ко, мать, иди, неси бутылку кумышки да пирог рыбный, который мы в сенках оставили.

Арина, путаясь в полах длинной, явно не со своего плеча черненки, пошла в сени. Скоро бутылка кумышки и пирог были на столе. Гости разделись и сели за стол вместе с хозяевами. Ивана Петровича с дороги познабливало, и он выпил рюмочку кумышки. Выпили и все остальные. Бутылка была пуста, пирог съеден, сваты за- собирались домой.

Когда гости ушли, Елпанов, глядя в пустоту и медленно выговаривая слова, промолвил:

— Был бы я помоложе да поздоровее, и разговаривать с ними не стал, не то что вино пить... Идут сватать в чу- жой одеже... Черненка и шаль на Арине соседкина — Агафьи Миронихи... А еще сидит Фома, да хвастает: выделим Егора, дом построим! Да хоть бы из этой

избы не вывалились. Вот еще и всем нищим жениться надо...

— Ладно, отец, не волнуйся, чё поделаешь, чему быть, того не миновать, — участливо ответила Марина Васильевна, — здоровье свое побереги. В богатстве тоже всяко бывает. Иногда и через золото слезы льются. Вон, Дарья в богатство вышла, да с каким приданым, а жизни-то доброй нет!

— Дашка сама виновата, с Еремихой пить стала, а робить — лентюха, Пиюшка ее изнежила. Марко за дело ее буткат. Жалеть нечего. Ладно, мать, тужи не тужи, ничего не изменится, пойду-ка я отдохну, голова что-то побаливает.

Елпанов лежал и думал с закрытыми глазами. Сон не шел к нему: «Ну как же так получилось? Такая тихоня ходила, глаз от пола не поднимала, а тут вдруг точно бес в нее вселился, взяла да убежала из дому. Кто бы мог подумать? Если бы так сделала Сусанка, он бы ничуть не удивился, но сделала это Фиса, которая была самой смирной в семье, и вдруг вытворила такое... Ну что ж, Егорко вроде парень ничего, хотя и из бедности, но работающий; да ведь и то подумай — семь душ одних робятишек в семье, да мать у Фомы. Десять человек семья, Фиска будет одиннадцатой. Удивительно, что Фома о приданом ни слова не спросил. Вон Ерема с Марком, когда Дашку сватали, как из-за приданого грызлись. А тут совсем другое дело, даже не спросили, которую лошадь отдам, может, самую старую и негодную. Ни одной дочери не будет такого приданого, какое было внучке Дарье. А все это Пиюшка, жадина, старая карга, вымогала: “Я вон с каким приданым выходила, все это теперь должно моей единственной дочери перейти. У меня их не десять, одна”. Все задавалась, да и дозадавалась, вырастила негодницу, лентюху да пьяницу».

Елпанов от своего слова не отступился, дал в приданое Феоктисте кобылку-трехлетку (он не любил ее за злой

нрав) и велел с заимки пригнать стельную телку, отдал в придачу овцу и гусиху. А из одежды велел отдать только то, что было нарядено и наткано самой невестой, чтобы видели остальные дочери, что надо сидеть до поздней ночи, прясть и ткать, а не бегать по подружкам и не проводить зря время в народной избе.

Встретившись с Феоктистой с глаз на глаз, отец начал ее ругать:

— Ну что, дура, рада, что сбежала из дому? Тут тебе не придется, как свинье, рыться — того не хочу да этого! В новой семье тебе и хлеба ржаного не будет! По весне в строк пойдешь, на чужом поле гнуть спину. Может, надеешься на меня, дак наперед говорю: ты теперь всем надлена. Ломоть отрезанный. Если бы не ушла взамуж убегом, дак и приданого было бы побольше. Ишь, выдумала что — из дому бежать! Надо было прижать задницу, прясть да ткать, приданое готовить. А теперь трудно будет — на себя пеняй. И живи как знаешь, раз новую семью обрела!

Феоктиста покраснела и залилась слезами.

— Ну, будет! — отрезал отец. — Теперь уже реветь поздно!

Елпанов сколь ни артачился, но все же благословил молодых к венцу. Однако, сославшись на болезнь, столовать отказался. Свадьба была бедной, незаметной: обручальные кольца медные, сделанные из пятак; жених — в пиджаке с чужого плеча, на невесте платье из простого дешевого муслина, а цветы взяты напрокат. Елпанов говорил дома жене: «Если будут жить хорошо да дружно Фиска с Егорком, отделятся, — после, бог велит, помогу еще. А сейчас в эту семью валить что в прорву, бесполезно. Пусть уж как-нибудь сами изворачиваются».

Весной произошло еще одно неприятное событие. Пьяный мельник Елизар утонул в вешняге. Два дня мужики пытались найти утопленника, прощупывая баграми

дно омота, и только на третий день тело нашли в полуверсте от мельницы, вниз по течению. Стояла жара, труп вздулся и почернел. Из волости привезли станового для порядка. Становой мельком взглянул на утопленника, потом постоял на обрыве у вешняга и пошел к Елпанову в дом обедать, а утопленника велел где-нибудь закопать. На кладбище нельзя — умер без покаяния. Елпанов велел работникам выкопать яму в старом глиняном карьере. Мельника закопали, но ни креста, ни могильного холмика так и не осталось.

Придя домой после похорон Елизара, Иван Петрович прошел в горницу, сел за стол и глубоко задумался. Но думал он не о судьбе пьяницы-мельника и не о том, что про его мельницу идет в народе нехорошая молва. Елпанова уже давно тревожила мысль о том, что ему грозит слепота. После той внезапной острой головной боли зрение его заметно ухудшилось. Он обращался к ирбитским врачам, но они ничего вразумительного не сказали. «Как закончится сенокос, — решил он, — придется ехать в Екатеринбург к главному доктору».

В Екатеринбург Иван Петрович поехал уже зимой, когда закончили молотьбу и основные хозяйственные дела. В то время славившийся по всему Екатеринбург глазной врач, немец Бергер, имел свою глазную больницу и делал кое-какие операции. Иван Петрович пришел к нему на прием. Врач был обходительным, приветливым человеком, хоть по-русски говорил с акцентом. Внимательно осмотрев пациента, он сказал Ивану Петровичу на ломаном русском языке: «Вы, батенька, слишком поздно обратились ко мне. Темный вода подступайт. Лекарства против этого нет. Если хотите лечиться в мой больнице, лечитесь, процесс задержим. Но лежать придется не менее полугода, плата 25 рублей в месяц».

Иван Петрович заплатил за визит и поспешил уйти, ругаясь про себя: «Чертов немчура! Сам же говорит, что

не вылечусь. Дак что же мне в его больнице делать тогда целых полгода, да еще платить по двадцать пять рублей в месяц. Вон Катерину лечили-лечили, да и залечили на тот свет. Ну их, всех докторов, к чертям! Будь что будет. Может, еще лет пять не ослепну совсем-то! А там и помирать пора. Бабка Васиха обещала лечебной травы дать, промывать глаза буду, может, еще сколь-нибудь попилигаю».

Так Иван Петрович вернулся из Екатеринбурга ни с чем.

## СЛЕПОТА

После крещения к Елпановым нагрянули сваты, свои, деревенские. Сватать старшую дочь — Александру. Жених Ивану Петровичу не нравился. «Уж лучше бы такой же бедняк, как Егорка, да работающий, чем этот шалопай и бездельник», — думал Елпанов.

Жениха звали Иван Гаврилович. Был он единственным сыном у своих родителей. Отец жениха, Гаврило Евстафьевич, слыл мужиком тихим и спокойным. В деревне его уважали, даже выбирали на должности. Мать, Пелагея Федоровна, была лучшей портнихой во всей деревне. Детей у них рождалось много, но все умирали в раннем детстве. Родители баловали сына, и он ни в чем не знал отказа. Вырос красивым, могучим парнем, но был большим лентяем: работать в поле не хотел, хозяйство и ремесла его не интересовали. Своих престарелых родителей он не слушался. Отец каждый год нанимал работников на страду, а сын работал кое-как, вполсилы. Но родители, хотя и были недовольны сыном, всячески старались скрыть это от чужих. Они надеялись на чудесное исправление их сына и думали про себя так: «Вот ужо войдет в возраст Ванюшка, женится, обумится и за дело возьмется. А теперь чего с его взять: молодо-зелено! Неженатый! Пусть погуляет, отдохнет. Молодость-то, она пролетит незаметно. Сами-то мы отродясь свету не видели. Всё в работе да в заботе, пусть хоть сын свет увидит, погуляет».

Сыну была куплена гармонь, хорошая одежда, и он в будни и в праздники отирался в народной избе. Без спроса запрягал в ходок лошадь и ехал кататься с товарищами и подругами, такими же, как он сам. В праздники стал выпивать, а потом, при случае, и в простые дни. В деревне про него поговаривали: «Пора бы, кажись, Иванку обумиться, уж двадцать шестой год пошел».

Своими амурными похождениями прославился Иван на всю округу. Как-то раз, после Святков, кто-то хорошо проучил Ивана. Долго он охал и стонал, лежа на лавке после побоев. Когда Иван Гаврилович поправился и с его красивого лица сошли синяки, он решил посвататься к Елпанову, надеясь получить за Александрой Ивановной хорошее приданое. Иванко, наконец, сам решил, что колобродить хватит. Жениться рано или поздно все равно придется, а Александра женой будет подходящей: с хорошим приданым, работающая, умная и смиренная. Отец у ней очень стар, а брат еще ребенок. Если отец умрет, может, все елпановское богатство его будет.

Когда приехали сваты, Иван Петрович не захотел неволить свою любимую дочь и спросил:

— Сана, согласна ли ты пойти за Ивана Гавриловича?

— Согласна, батюшка, — покраснев до корней волос, тихо ответила дочь, и слезы полились из ее глаз.

— Ну, что ты плачешь? Не по нраву жених — не ходи, я тебя не неволю. Откажу сватам, да и все тут.

— Ладно уж, не отказывай, батюшка, пойду я.

— Ну вот и пойми вас! — в сердцах воскликнул расстроенный отец.

Стали договариваться о приданом. Иван Петрович как топором отрубил: «Лошадь и корову за дочерью даю, а остальное приданое — то, что она сама наготовила. Ни на какие деньги, дорогие сваты, не рассчитывайте... Сами они, ежели робить путем будут, всё наживут. А у меня и еще дочери есть да сын-наследник. Так что слово свое я сказал и переиначивать его не собираюсь, а вы, сваты любезные, сами думайте...»

Те подумали и стали готовиться к свадьбе: отцу с матерью не терпелось женить своего непутевого сына, бывшего единственным, порядком избалованным, а работником —

курам на смех: все у него из-под палки да через пень-колоду

Свадьба Александры была скромной. Только прожили молодые первую неделю, как не заладили из-за какого-то пустяка, и елпановскому зятюку будто шлея под хвост попала: он хватъ гармошку да в народную избу подался, а оттуда явился уж на розвях<sup>134</sup>. Пошел жену искать, нашел ее в доме тестя и давай там скандалить — с пьяных-то шар... Мол, маленькое приданое за дочерью дал Елпанов. Но Иван Петрович с ним не больно-то церемонился. Послушал-послушал его да и сказал как отрезал:

— Иди прочь из моего дома, и чтоб никогда я тебя боле не видел! Вот тебе бог, а вот — порог!

Крикнул старик так-то и за голову схватился — боль ее словно шилом пронзила, даже в глазах потемнело... Зять выскочил из дома как угорелый, а дочь, видя, что отцу плохо стало, к нему кинулась:

— Батюшка, миленький, что с тобой подеялось?!

— Ничего, не беспокойся, голову мне обнесло и с глазами что-то попритчилось<sup>135</sup>, ничего не вижу...

Жена и дочь с плачем кинулись к нему.

— Ладно вам, не ревите белугами... Может, отойдут глаза-то! Лучше проследите, где тот дурак-от... Ума-то нелишка... Напьются — без ума бьются!

— Да ты не беспокойся, батюшка, приляг, так лучше будет! Спьяну он сболтнул, а теперь, поди, уж и сам кается...

Зять и на самом деле под утро вернулся и давай извиняться, прощения просить, но Иван Петрович, немного пришедший в себя, лежал на лавке и разговаривать с беспутным зятем не пожелал.

---

<sup>134</sup> На розвях — выпивший, пьяный.

<sup>135</sup> Попритчилось — случилось.



Всегда деятельный и трудолюбивый, Иван Петрович теперь был обречен на безделье. Он не видел ничего. Для него наступила вечная ночь. Старик вскоре освоился и вроде примирился с этой напастью. Елпанов отлично знал, где находится та или иная домашняя утварь, где и что искать в амбарах и завознях. Он научился сам, в одиночку, ходить в кузницу, мастерские и даже на мельницу: потихоньку ковылял, ощупывая посошком дорогу, считая шаги. Черемуховый посошок стал неизменным его спутником.

## НЕПУТЕВЫЙ

Федору — сыну Ивана Петровича — пошел шестнадцатый год. Это был красивый парень, похожий лицом на мать, высокий и статный, но шалопай и лодырь. Сколь отец ни старался, чтобы сын вникал в хозяйство и торговое дело, Федор исполнял все нехотя, только по принуждению. Он вырос избалованным, как, увы, часто бывает, когда у отца один сын-наследник.

Елпанов все же не терял надежды наставить Федора на путь истинный:

— Ведь все тебе, Федя, останется, все твоим, как пора придет, будет! Помни только, каким трудом это доставалось прадеду твоему, деду и отцу, какими кровавыми мозолями да бессонными ночами... Они-то свое отробили, да и мне на печку али на погост уж пора... Возьми в ум себе: будешь прилежным, станешь и богатым! Заимку на Осиновке пуще глазу своего береги, потому как главный доход у нас — с нее, родимой! Бог даст, в будущем году на ярмарку с Федосом поедешь, к торговле присматриваться станешь. И в заводы с хлебными обозами поездишь... Мало-помалу во все дела вникнешь, а потом, чем черт не шутит, может, и в купцы выберешься! Кирпичный завод снова откроешь, а то ведь все там повалится вскорости. На которых сараях уж крыши перекрывать придется заново. А печи для обжига подолгу не топить нельзя — размокнут... Эх, стар я стал, Федуня, да еще и бог наказал слепотой.

Старик любил приходить к своему сейфу с деньгами и золотыми украшениями, оставшимися от первых жен. Открывал ключом дверцу и долго чуткими пальцами слепца перебирал кольца, серьги, золотые монеты... Вдоволь натешившись, тщательно прятал в карман ключ от сейфа. В такие минуты Иван Петрович отпускал сына: «Иди, Федя, займись там чем-нибудь в мастерской или бабам пособи по хозяйству...»



И сын поспешно уходил. Нет, его совсем не интересовали ни мастерские, ни кирпичный завод, ни мельница, а уж убирать навоз из хлева — и подавно. А играть в городки или бабки с малолетками — вроде бы уже и зазорно...

Вот и слонялся наследник богача Елпанова туда-сюда как неприкаянный...

Шли годы. Елпановское некогда крепкое хозяйство стало хиреть: мастерские и кузница стояли закрытыми, кирпичный завод не работал.

На заимке командовал Катаев. Федос Лукич ясно видел, к чему все клонится, и с нетерпением ждал смерти старого хозяина, понимая, что Федора он обведет вокруг пальца и все барыши от заимки достанутся ему.

Зимой, когда закончилась молотьба и Катаев доложил хозяину, сколько намолочено хлеба, Иван Петрович удивился и, приложив руку козырьком к уху, переспросил:

— Неужели нынче так мало намолотилось, на заимке-то ведь земля добрая. Вон у Ржавца, говорят старики, и то больше намолачивается.

— Батюшка Иван Петрович, нешто мне не верите? — вытерев проступившую на лбу испарину, жалостливо спросил Катаев. — Сколь лет я у вас верой-правдой служу, с семьей вместе робяты выросли. Мочило шибко ныне! Перерод на наземных-то землях. Безъядрые пшеницы-то! Не издались, в солому ушли.

— Федос Лукич! Я не в обиду тебе говорю, — сбавил тон хозяин, — но был я летом-то на заимке. Хоть и слепой я, а колосья не в одном месте срывал, вроде везде были полновесные. Должно бы, по моим-то подсчетам, намолотиться вдвое больше.

— Ну што, Иван Петрович, по-вашему, я заворовался? Значица, придется уйти с заимки? Как есть все хозяйство оставить на произвол судьбы? Подумайте, Иван Петрович! Я и в другом месте работу найду! Была бы шея, хомут найдется. А я еще в дорогу в Тагил с хлебом собирался. Ну раз не доверяете, никуда не поеду, мне еще лучше дома-то. В Тагиле да в Полевском, говорят, нынче хлеба пруд пруди. Дешево совсем, говорят, дают за хлеб.

— А кто ездил? Как ты узнал? Ворона на хвосте принесла, что за хлеб дешево дают?

— Так, стороной слышал.

— Весь год просидел в лесу на заимке, а в заводах цены на хлеб знает!

— Ну вот, опять вы, Иван Петрович, меня в чем-то подозреваете!

— Что ты, помилуй бог, ни в чем не подозреваю! Ты уж прости меня, старика, если что не так сказал! Собрался в дорогу — ездай с богом, что еще...

Елпанов с горечью думал: «Ну за что, за какие грехи меня так жестоко наказал бог слепотой? Уж не первый год подозреваю Катаева, что он стал нечист на руку. А что делать? Другой бы на месте Катаева тоже пригребать себе стал. Надо как-то приучать Федюху к делу. Пусть в этот год на ярмарку едет вместе с Катаевым да следит за ним. Бездомовик растет, другой бы на его месте во все дела вникал. Неужто он по дядюшке Степану издался? Вот тогда беда-то. Эх, наследничек ты мой непутевый».

## НЕЖДАНАЯ ВСТРЕЧА

**П**етров день. Уже с самого раннего утра солнце греет землю — пышет жаром. У церковной ограды толпится народ. Скоро должна начаться ранняя обедня. Двери церкви открыты настежь, но из-за духоты люди до времени не заходят в церковь. Старухи, как галки к непогоде, облепили крыльцо, паперть и наружную часть притвора. Пожилые мужики сидят в тени чахлах кустиков рябины и жимолости. Девчата робко жмутся у изгороди, шушукаясь между собой, потихоньку хихикают в платочки, искоса посматривая на старших. Старики собрались кружком поодаль, некоторые из них дымят самосадом и ведут неторопливый разговор. Еще дальше, у самой коновязи, стоит группа молодых парней, рассматривают лошадей, говорят о предстоящих бегах и скачках, о призах. Вспоминают, кто отличился на скачках в прошлые годы.

Перед самым началом обедни к церковной ограде подъехал нарядный ходок, запряженный рослой молодой кобылицей. Из ходка легко и ловко выпорхнули две молодые девушки в небесно-голубых поплиновых платьях, в козловых башмачках и в белых могеревых<sup>136</sup> файшонках на головах. Девушки были, по-видимому, сестры, может, даже двойняшки, обе высокие ростом, стройные и тонкие в талии. В задке ходка сидел старик с длинной седой бородой. Девушки помогли старику выйти из ходка и под руки повели к церкви.

Кучер, мальчик-подросток, взял под уздцы гнедую кобылицу и деловито повел к коновязи. Стоявший у коновязи жеребец вдруг призывно заржал, порвал ременный повод и кинулся к кобылице. Гнедая взвилась, свечой став в

---

<sup>136</sup> Могеревый — мохеровый, сделанный из козьей шерсти.

оглоблях на задние ноги. Вырвала повод из рук подростка, подмяв его под себя. Все замерли в ужасе: казалось, что беда неизбежна. Вдруг из толпы выскочил молодой загорелый парень — косая сажень в плечах. Он одной рукой ловко выхватил из-под копыт мальчишку, а другой ухватил кобылу за повод. Девушки вмиг оглянулись. Одна из них поспешно подбежала к молодому парню и к лошади, чуть не наделавшей беды. С благодарностью взглянула на смельчака, обвела взглядом могучую загорелую шею, широкие плечи и мускулы, выпиравшие из-под полотняной рубашки, и огромные сильные руки.

— Спасибо тебе, добрый человек!

— Пустяк, не стоит благодарности, — парень улыбнулся, показав белые крепкие зубы.

На колокольне ударили в колокол, народ двинулся к церкви. Девушка суетливо оглянулась на старика, с которым она приехала, махнула сестре рукой и растворилась в толпе.

Молодой кучер давно уже оправился от испуга и сидел как ни в чем не бывало на козлах. Было ясно, что в церковь он не спешил.

— Чьи вы будете? — спросил парень у кучера. — Что-то я раньше вас здесь не видел.

— Прядеинские мы, — набычившись, ответил парнишка.

— Это твои сестры и дед?

— Не... Я у их в работниках живу. Старик — это Елпанов, а девки — его дочери; та, что подходила, — Сусанна, а другая — Ольга.

Парень постоял, подумал, вновь переживая мимолетную беседу с Сусанной, и поспешил в церковь, чтобы хотя бы издали увидеть девушку.

Церковь уже была полна народу, не протолкнешься. Как там шла служба, что читали и пели поп и псаломщик — парню было совсем безразлично; расталкивая

народ, он постепенно пробрался до правого крыла, где обычно стояли богатые и именитые прихожане. Елпанова с дочерьми он увидел в первом ряду: высокий седобородый старик в черном суконном кафтане, наклонив голову, прислушивался к монотонному речитативу священника; по бокам от него стояли его дочери, одетые в небесно-голубые платья. Пытаясь протиснуться поближе к желанной цели, парень толкнул плечом какого-то толстого важного мужчину, и тот злобно прошипел ему в ухо: «Куда прешь?» Но ничего не слыша, он, как сомнамбула, продвигался дальше, жадно пожирая глазами фигуру девушки в голубом платье.

Когда стали читать акафист, девушка подошла и поставила свечу перед образом Божией матери. Во время литургии, когда все молящиеся стали вставать на колени, парень так залюбовался на незнакомку, что, задумавшись о ее красоте, совсем забыл, где он находится. Кто-то подтолкнул его под бок кулаком: «На колени! Чего стоишь столбом, верста коломенская!?» Парень, повинувшись, опустился на колени.

Вскоре служба закончилась, народ повалил из церкви. В церкви было жарко, душно, пахло ладаном. Парень скромно стоял в стороне и смотрел во все глаза, как сестры выводили старого слепого отца на паперть. Видел, как старик ошупью садился в ходок, а следом за ним и обе его дочери.

Проводив взглядом удаляющийся ходок, парень очнулся и обнаружил, что остался один, его друзья давно уже ушли. День был праздничный, и все спешили на лошадиные бега. Но он почему-то впервые в жизни никуда не спешил, и бега его перестали интересовать.

Тяжело вздохнув, побрел домой, вспоминая лицо и фигурку понравившейся ему девушки.

Вот и мосток, перекинутый с одного крутого обрывистого берега на другой через реку Киргу. Долго стоял на



мостике, облокотившись на перила, и думал. Он непременно хотел видеть Сусанну еще раз и поговорить с ней. Он уже теперь каялся и ругал свою робость. Почему он не подошел к ней после обедни?

Про Елпановых он слышал давно. Знал, что в Прядеиной живут такие богачи, но никогда не придавал этому значения. «Пойду теперь домой, расспрошу дедушку подробно о них. Уж он-то всех в округе знает. А Сусанну я должен увидеть и поговорить с ней. Жив не буду, а добьюсь своего!»

## НЕУДАЧНОЕ СВАТОВСТВО

Девяностолетнего дедушку Ивана знали все в околотке, старые и малые снимали при встрече с ним шапки. Он был самым старым в роду Пономарёвых.

Когда-то его дед Ганя Черта с женой Аграфеной, преследуемые демидовскими приказчиками, скрываясь в непроходимой таежной чаще, пришли сюда, в Карлов хутор, срубили за рвом в глухомани избышку, обзавелись скотиной и стали жить. Теперь здесь стояла целая улица добротных домов, в которых жил многочисленный род Пономарёвых, в деревне их называли «чертятя» в память о трудолюбивом основателе рода.

Сыновья деда Ивана давно получили наделы и жили своими семьями. Только младший сын, Виссарион, остался на «старине».

Семья Виссариона Ивановича была большая: четверо сыновей и шесть дочерей. Старшие сыновья, Василий и Алексей, были давно женаты, третий сын Виссариона, Антон, служил в солдатах, а последний, четвертый сын, Иван, был еще не женат. В кругу семьи младшего сына называли Иванко, чтобы в разговоре не путать с дедушкой Иваном. Иванко был любимцем дедушки, они могли часами беседовать на различные темы.

Вот уже минули сенокос и жнитво. Иванко не пропустил ни одной службы в церкви, надеясь еще раз увидеть Елпанова с семьей.

Отец, братья и товарищи стали посмеиваться над ним:

— Что-то Иванко в церкву зачастил! С каких-то пор стал шибко набожным? Ладно бы уж по большим праздникам, а то ведь просто в воскресенье.

Иванко отмалчивался. Он пока решил никому не говорить о своих чувствах к дочери Елпанова, но все время думал о ней, видел ее во сне — то необыкновенно красивой,

неземной, то обычной, какой видел ее на самом деле, когда она его благодарила, что он успел удержать лошадь. Он видел как будто сейчас, наяву, ее высокую тонкую стройную фигуру, затянутую в небесно-голубой поплин. В мельчайших подробностях представлял ее милое, смуглое от загара лицо, карие, чуть с навесом монгольские глаза.

Раньше Иван не очень любил ходить в церковь. Бывал в ней только по большим праздникам да на пост, когда велели идти родители. Возможно, и раньше видел свою возлюбленную в церкви, да не заметил. Мало ли девок в церковь ходит. А тут на тебе, увидал и влюбился до беспамятства.

Мать Ивана — женщина добрая и внимательная — сразу заметила перемену в сыне. И как-то участливо, мягко по-матерински спросила:

— Ты чего-то, Ванюша, невеселый стал, похудел?

— Нет, мама, здоров я, не беспокойся, все в порядке, — постарался успокоить маму Иван.

За лето он многое разузнал о елпановской семье. Не раз побывал в Прядеиной, надеясь увидеть Сусанну, но, не увидев, с грустью возвращался домой и думал: «Во что бы то ни стало надо с ней поговорить, а то, может, у нее уже жених есть. Да если и нет, то в богатых-то семьях не больно советуются да спрашивают дочерей: хочешь ты или не хочешь идти замуж? Который жених отцу понравится, за того и отдадут».

В безуспешных попытках встретить Сусанну прошло лето и наступила осень; ударил первый морозец, воздух стал легким, прозрачным и чистым, на поля легла сверкающая белизной пелена.

Только перед самым Покровом Ивану удалось увидеть Сусанну.

Елпановы приехали в церковь в большой кошеве, запряженной парой гнедых рысаков. Лошадьми правил

средних лет мужчина в черненном полушубке, по-видимому, работник. В задке кошевы сидели сами Елпановы, Иван Петрович с Мариной Васильевной, и тут же были дочери и сын. Обе сестры были одеты опять одинаково — в красивые шубки и пуховые оренбургские шали.

Как замороженный стоял Иван и глядел на ту, которая любила его с первого взгляда еще весной. Сколько Иван провел из-за нее бессонных ночей, сколь передумал! А теперь, когда она прошла рядом, стоял как дурак и глядел, не смея обратить на себя внимание. Ведь тут была вся ее семья.

Елпановы не спеша зашли в церковь, а Иван так и остался стоять с растерянным видом; кровь отхлынула от его лица, в горле застрял комок, во рту пересохло.

Кучер тщательно привязывал лошадей к коновязи. Иван направился к нему.

То ли вид его смутил кучера, то ли просто из любопытства кучер внимательно посмотрел на незнакомого парня и спросил:

— Чего тебе, молодец хороший?

— А ты кто? — собираясь с мыслями, невпопад ляпнул Иван.

— Как это кто? Не видишь, што ли? Человек!

— Нет, я не про то, — тяжело вздохнул Иван.

— А про чё же? Кучер я у Елпанова, работник! Федотом звать!

— Слушай, любезный, как мне поговорить со старшей дочерью Елпанова? — с трудом разлепив высохшие губы, робко промычал Иван.

— А про чё тебе с ей говорить? Приходи в народно вечером, можа, и увидишь, а можа, и нет, редко их туда отпускают. А ты-то хоть чей?

— Да здешной я.

— А по-моему, парень, дак нечё с девкой много калякать: если по душе, езжай сватать, и делу конец.

— Да ты што? А если откажут?

— Ну, только и делов, к другой поедешь! Парень, вижу, ты хоть куда — и видом, и ростом, и силой, поди, бог не обидел. Любая пойдет, свет не клином сошелся. Сватать никому и нигде не отказано, худым и добрым. Худой, говорят, едет сватать, а доброму дорогу кажет. К моему хозяину тоже ведь сватов полно наезжает — где у кого дочери, там и сваты.

— Дак, поди, уж она просватана?

— Нет, не слыхал, не знаю, врать не стану.

Кучер оказался мужиком простым и словоохотливым. Он говорил еще долго, но Ивана уж больше ничего не интересовало. Гвоздем в голове засела мысль — действовать смело, открыто, не таясь. Ох, и тяжелый же предстоит дома разговор с отцом и дедом. Но придется говорить все начистоту.

— Пойдем, парень, хоть в притворе службу-то послушаем, — кучер дернул Ивана за рукав, — теперя, поди-ко, наперед не пробиться, заболтался я с тобой.

В церкви народу было много, над головами молящихся стоял сизый дымок от ладана. Елпановы стояли где-то впереди. Служба тянулась на сей раз для Ивана бесконечно долго. Но вот, наконец, все же кончилась, и народ стал выходить из церкви. Федот поспешил к лошадям, а Иван вышел на паперть и остановился у входа, просматривая незаметно всех выходящих. Елпановы выходили последними. Впереди шел сам Иван Петрович под руку с сыном. Сзади Ольга с матерью. Сусанна выходила последней. Иван снял шапку, слегка поклонился и поздоровался. Сусанна подняла на него удивленные глаза. Поздоровалась тоже, и миг взор ее потеплел, лучистые глаза весело заулыбались. Она вспомнила того парня, который усмирил тогда Карюху у коновязи и спас их кучера — малолетнего работника Дениску. Но Иван не смог больше выговорить ни слова и стоял столбом, проклиная свою неловкость. Спустившись со ступенек церкви, она оглянулась и слегка поклонилась. Чудаковатый парень, нахлобучив шапку,

двинулся было вслед за ней, но, подумав, пошел к воротам и скрылся из виду.

Иван шел быстрыми шагами к дому и решил сегодня же, не откладывая, говорить с отцом о сватовстве. Какого труда ему стоило начать этот разговор, одному богу известно. Но разговор все же состоялся. После ужина, когда снохи заводили квашни, мыли посуду и управлялись перед печью, а старшие сестры разбежались кто куда и в горнице остались только отец, мать, старшие братья да малые сестренки, Иван, набравшись духу, решил объявить свое решение домашним. Отец, починявший хомут, больно уколол себе палец. Мать за прялкой уронила на пол веретено, а старшие братья так и подскочили на лавках. Все были страшно удивлены.

Дед Иван маялся ломотой в пояснице к непогоде, лежал на печи и не расслышал разговора, но тут отец громко спросил сына:

— В своем ли ты уме!?

— Чего это говорите там? — свесив седую лохматую голову, спросил дед.

— Вставай, тятя, послушай, что внук твой выдумал!

Кряхтя и охая, дед Иван спустился с печи.

— Кто чё выдумал? Ты, Ванятко, што ли?

— А хто же еще! Он у нас один неженатик-то! — ответил за Ивана отец.

— Ну и чё тут такого? Пора парня женить, двадцать третий вроде как с Крестителя? Чё канительиться-то? — вступился за внука дед.

— Да ты послушай, тятя, кого он сватать-то хочет! Прядеинского богача Елпанова дочь. Да ладно ли? Елпанов-то нас близь ворот не пустит, не то что разговаривать!

— А пошто так? Чё мы — не люди, чё ли? И он те перя не бог знат какой, на ладан дышит вроде меня, да уж сколь лет слепой. А сын-от его, говорят, не в него издался, непутевый. Попробуйте посвататься, чё он вам,

в лоб не ударит! Откажут, только и делов. Не со слегой<sup>137</sup> заворачиваться, — рассудительно промолвил дед.

В следующее воскресенье решили ехать свататься в Прядеину.

Иванко весь истомился, ожидая назначенного для сватовства дня.

Как только наступило воскресенье, Иванко запряг кошеву и Пономарёвы поехали в Прядеину. День выдался на редкость теплый, южный ветер стал распускать снег.

Вдали показались припорошенные снегом деревенские избушки. Сваты лихо подкатали к елпановскому дому, привязали лошадь к кольцу у ворот и зашли в ограду.

Во дворе работник Федот управлялся со скотом — набирал воду из колодца и разливал ее по желобу в колоды.

— А, здорово! — Федот сразу узнал харловского парня и понял, в чем дело. — Проходите, гостями будете!

— Сами-то дома? — спросил Иван Виссарионович.

— А то как же! — махнул в сторону дома Федот.

Гости степенно вошли в дом.

Елпанов после обеда прилег отдохнуть и заснул. Пришлось разбудить:

— Кто там еще свалился на мою голову? Кто такие и зачем явились? — ворчливо спросил Елпанов.

Ему подробно объяснили, в чем дело.

— Вот еще не было печали, — держась за поясницу, Елапнов вышел к сватам.

— Кто такие будете, люди добрые? Что надобно в моем доме?

Сваты начали объяснять по всем правилам.

— Ты, батенька, говори сразу ближе к делу, да погромче. А то ведь меня глухотой бог наказал, — придвинулся Иван Петрович поближе к свату. — Сусанну, говоришь, за

---

<sup>137</sup> Слега — толстая жердь, брус. Слеги, положенные поперек стропил, служат основанием для кровли.

Ивана, Виссарионова сына? Как же, знавал я Ивана Афанасьевича и сына его Виссариона. Жив, говоришь, еще дедушко-то Иван, ну он моложе меня. Большая семья-то была у Ивана Афанасьевича. Да и у Виссариона-то ни-сколь не меньше. Четыре сына, говоришь, да шесть дочерей? И женатых двое, и все вместе живут... О господи, да у старшего-то уж четверо детей и у второго трое. Вот это семья! Восемнадцать человек, говоришь? Ну вот что, сваты, не буду лукавить — люблю прямо сказать правду: дочь свою я за Виссарионова сына в такую большую семью не отдам. Вы уж где в другом месте сватайте! Девятнадцатой входить в семью я считаю безумием. Тут хлеба сухого, и то поесть не достанется, не то что щей.

Напрасно сваты старались убедить, что Виссариона семья живет в достатке и не голодают. Елпанов был непреклонен:

— Нет! Что вам еще?! Позвать работников, чтобы в шею выгнали, али как? И больше не ездите сюда, не тратьте понапрасну время! — Иван Петрович повернулся спиной к гостям и вышел в горницу.

— А где у вас невеста-то, поговорить бы с ней? — тихо спросил Иван у Марины Васильевны.

— Дома-то нет ее, — участливо ответила хозяйка, — она ушла к подружке. К вечеру только домой придет.

— Жаль, — задумчиво протянул Иван.

— У нас уж одна дочь, старшая, вышла в большую семью, да в бедность. Вот отец теперь и против, — попыталась смягчить ситуацию Марина Васильевна. — Видите, он не согласен, а супротив отца-то как? Ничем я вам помочь не могу, люди добрые, езжайте уж домой. Нету нашего согласия — и все тут!

Сваты гуськом поплелись к выходу. Жених шел последним. На лице у него выступили красные пятна, глаза горели решимостью и отвагой. «Все равно Сусанна будет моей», — думал Иван, сжимая огромные, как гири, кулаки.



## ВОРОВАННАЯ НЕВЕСТА

Накануне Николы зимнего Иван Петрович Елпанов с работником Федотом держал путь из Прядеиной в Харлово. Больно уж необычное дело звало в село первого богача во всей округе. Елпанов был широко известен тем, что в своей деревне Прядеиной недавно построил на свои деньги церковь. Но сейчас в кошеве сидел не преуспевающий делец, а просто растерянный и крайне встревоженный слепой старик-отец: одна из его дочерей, молодая девка Сусанна, пропала из деревни неведомо куда.

Верные люди еще в Прядеиной шепнули Елпанову: дескать, пропажу надо искать не иначе как в Харлово. И вот теперь Иван Петрович ехал в село, с трудом сдерживаясь от желания схватить кнут и хлестать лошадь, чтоб она летела галопом, и если бы не слепота да старческая немощь, он бы непременно так и сделал.

На улице навалило полуаршинных сугробов; то и дело снова шел снег, пуржило. Когда ехали через деревню Галишеву, чуть ли не в каждом окне виднелись удивленные лица:

— Эка неминя<sup>138</sup> кого-то погнала — ехать в такую непогодь!

— Да это никак Федотко из Прядеиной, елпановский работник, а в кошеве-то сам Елпанов сидит! Господи... уж скоро сто лет старику, как есть оглох да ослеп, а все на него угомону никакого нету! В такую-то пургу добрый хозяин собаку на улицу не выгонит, не то што ехать куда-то!

За деревней в полях ветер свирепел еще больше, насаживая к придорожным колкам<sup>139</sup> здоровенные сугробы.

---

<sup>138</sup> Неминя — необходимость, нужда.

<sup>139</sup> Колки — небольшие березовые лески, растущие на увлажненных местах.

Вконец измучив лошадей, уставшие и озябшие, они приближались к Харлово.

Вот и галишевский мост, мельницы-ветрянки на бугре... На улицах села ни души: непогодь загнала всех по домам, только изредка кое-где во дворах взлаивают собаки.

— Куда же мы теперя, Иван Петрович? Узнать-то ничё ни у кого не узнаешь...

— Сдается мне, Федот, что надо нам к Чертятам захватить, узнать, уж не там ли она? Саривон — мужик добрый. Если с миром приедем да попросимся, пустит, не откажет! Хоть погреемся и лошадь отдохнет, а там уж видно будет. Как ты думаешь, Федот?

— Вам видней, батюшка Иван Петрович!

Проехали волостной мост, дорога круто свернула вдоль обрывистого берега Кирги. Увязая по колено в снегу, Федот повел лошадь под уздцы, бормоча себе под нос:

— Ну и вышпилились же Чертята эти, как будто места нет другого селиться: овраги кругом да буераки... В реку и в добру-то погоду свалиться можно, не то што в таку непогодь!

Прямо за мостом начинался односторонок, окнами на Киргу стояли добротные дома. Из ворот одного вышла красивая девушка с полными ведрами воды.

— А скажи-ка, голубушка, где тут Пономарёвы живут?

— А мы все тут Пономарёвы, вся улица, и там, за ровом, — тоже!

— Хозяина Саривоном зовут, а вот чеевич он — я и запомнил...

— Дак вам дядю Виссариона надо? Вон там их дом, за оврагом, — и девушка махнула узорной рукавичкой, но потом разъяснила проезжим подробнее: — Езжайте прямо вдоль этого односторонка до моста; за мостом будет улица, в конце она раздвоится, пойдут дома слева и справа.

Справа четвертый от угла и есть дом дяди Виссариона. А дальше и дороги-то нет — там Бороздиха...

— А что за Бороздиха?

— О! Это ров, да такой глубокий — заглянуть страшно!

— Ну спасибо, уж теперь-то и сами найдем!

*А теперь на время оставим Елпанова с Федотом блуждать по оврагам Чертятского конца и заглянем в Виссарионов дом, чтобы узнать, что там случилось совсем недавно. А было вот что: растворились ворота, и во двор въехала кошева с кучей народу.*

Виссарион выскочил, на ходу надевая шапку, и неожиданно узнал среди харловских мужиков своего сына Ивана:

— Вы што это, варнаки, удумали?

Самый находчивый, Никанорко Пономарёв, двоюродный племянник Виссариона, соскакивая с беседки кошевы, бойко ответил:

— Да мы, дядя, невесту Иванку привезли!

— То ись каку невесту?! Чья она, откуда?

— Прядеинская! Самого Елпанова дочь — мы ее прямо от прядеинской церкви украли!

— Господи, да што вы, разбойники, наделали?! Разве ж так можно?

— Ничё, дядя Виссарион, не поделаешь, это Иванко нас всех подбил!

— Ну, сейчас у меня с ним крутой разговор будет!

— Виноватый я, батюшка, — раздался голос Иванка, — хоть казни, хоть милуй! Так получилось... Да обойдется все, вот увидишь!

Куча парней разом схлынула из кошевы, и в ней осталась перепуганная, вся в слезах девка... Никанорко и тут нашелся. Обращаясь к ней, он весело затараторил:

— Ну, вылазь, красавица, приехали! Прошу любить да жаловать, жить тебе в этом доме до старости! Айда, ребята, в дом — обогреемся!

— Ах ты постылый! — взвизгнула девка. — Не стану я тут жить! Все одно ночью убегу...

— Ишь какая бойкая, еще бунтовать задумала?! Много ли ты с нами навоюешь? Да ты только разуй глаза: жених-от — писанный красавец и богатырь! А ты нос воротишь!

На крыльцо выбежали две девки в одних платьях и без платков — красивые, чернобровые, с длинными темно-русыми косами. Обе во все глаза смотрели, что творилось у них на дворе.

— Вот гляди, твои золовки будущие,— хохотал Никанорко.

— Не надо мне никого, отпустите, ради бога! — изо всех сил сопротивлялась девка, ухватившись за отводину кошевы.

Но что для таких молодцов одна девка?! Не успела она и опомниться, как в один миг оказалась в горнице. Всех посторонних как ветром сдуло по домам. «Украденная» сидела, забившись в угол, и ревела ревмя, изредка вскрикивая: «А я все равно убегу, вот назло вам убегу!» Около нее хлопотали несколько женщин, уговаривая успокоиться.

Ивановы сестры наперебой обещали любить ее и уважать; невестки клялись-божились, что они живут в семье Виссариона Пономарёва хорошо и дружно, еще лучше, чем в родной семье. Свекровь их тоже принялась уговаривать согласиться, но невеста и ее слушать не хотела...

Наконец Наталья Матвеевна, мать Иванка, закутавшись до глаз шалью, черпая в пимы снег, побежала к бабке Захарихе — самой знатной не только в Чертятах, но и во всем Харлово ворожее и лекарке: бабка Захариха кого хочешь приворожит и словами опутает... Не прошло и получаса, как она привела старуху.

В то время в пригоне, чтобы не слышали снохи и другие домочадцы, Виссарион распекал сына за содеянное, а Иванко стоял, не смея поднять на отца глаза, только мял шапку и повторял, как заведенный:

— Батюшка, ну што мне делать?! Ведь люблю я ее, давно люблю!

Виссарион был вспыльчив, но скоро отходчив.

— Да пойми ты, дурачок! Невеста не согласна идти за тебя, а ты взял да увез... Придут отбирать — неприятностей не оберешься. Ну сватали мы безуспешно; их дело, коли они против, но зачем было нужно еще и силой везти? Девоч, што ли, не стало в Харловой али в других деревнях? Ладно, пойдем, узнаем, што там. Не дай бог, все елпановские прихвостни сюда нагрянут — што тогда делать? Все равно ведь придется отдавать!

У Ивана глаза полыхнули злым огнем:

— Не бывать этому никогда! — и парень решительно шагнул в горницу. — Все пусть убираются — один на один разговаривать с ней буду!

Мать дернула сына сзади за рубаху:

— Обожди чуток, с ей бабка Захариха сейчас говорит...

Опершись пудовым кулаком о притолоку, Иван нетерпеливо ждал, когда его позовут в горницу. Сердце у парня бешено колотилось, во рту пересохло. Нет! Что бы ни случилось, он ни за что не отдаст своего счастья, когда оно так близко! Неслышно приоткрыв дверь, парень напряженно слушал, стараясь разобрать тихие слова Захарихи.

Та что-то внушала украденной невесте. Сусанна, похоже, больше уже не ревела, а тоже тихо отвечала бабке. Обе сидели рядом на лавке у окна; на столе отпотевал расписной берестяной туесок с квасом.

«Так я небось сам-то и поговорить с ней не успею; неровён час, елпановские нагрянут — невесту отбирать...» — смятенно думал Иван.

Бабка, как бы угадав его мысли, скоро позвала:

— Заходи сюда, сокол ясный, да потолкуйте, нито, по душам — можа, до чего доброго и договоритесь!

Захариха повернулась к девке и, понизив голос, пробормотала:

— А тебе я, Сусанья, вот чё скажу: лучше жениха и искать не надо, вот он, гляди! Во всей Харловой Иванко Пономарёв — самолучший парень! И семья у его живет справно, а што большая она, дак вам-то что за дело — лишь бы меж вами мир да лад был!

И бабка неслышно удалилась. А Сусанна и не думала теперь никуда убегать, она сидела спокойно, без слез, и разговаривала с Иваном. За беседой прошел час, потом второй пошел, а они все еще не могли наговориться...

Вдруг стукнула дверь в сенях, и старший сын Виссариона влетел, запыхавшись, с криком:

— Батюшка, чё делать-то?! Елпанов приехал, за воротами стоит!

— С кем он?

— Да вдвоем с кем-то — должно, с работником!

— Ну дак встречать надо, отворяйте ворота, я сейчас во двор выйду. Скажу сразу все как есть — нешто слепого старика обманывать?!

Через полчаса Иван Петрович Елпанов уже сидел за столом против хозяина, а Сусанна, осунувшаяся от пережитых волнений и слез, говорила отцу:

— Ты уж прости меня, батюшка, ради Христа!

— Ну как — домой поедешь али здесь останешься? — усмехнулся тот в бороду. — Воля твоя: как хочешь, так и будет, я тебя неволить не стану!

Тут выступил вперед Иван, хотел сказать что-то, но Сусанна приложила палец к губам — молчи, мол, а сама подошла к Елпанову и, положив ему руку на плечо, протяжно вздохнула:

— Ладно уж, батюшка, видно — бог так велит: тут я остаюсь, благословите нас!

— А ты не торопись, подумай еще хорошенько, — снова усмехнулся в белую бороду отец, — ведь не в гости на неделю остаешься, а на всю жизнь...

— А что тут думать-то, Иван Петрович? — осторожно вмешался в разговор хозяин, Виссарион Пономарёв. — Девка, не нами сказано, товар не домашний. Все одно рано или поздно придется вам ее отдавать: не за нашего, дак за кого другого, не сейчас, дак через полгода-год... А раз невеста согласна, дак чего же сомневаться, Иван Петрович?

Семья у нас хоть и большая, но дружная. В невеликом, правда, а все ж в достатке живем, еда-питье всегда есть, и в строках Пономарёвы сроду не робили... На шесть душ земли имеем. Сын Антон в солдатах, а земля его нам осталась; поля удобрены, и хлеб хорошо растет. А што семья большая, дак девки наши все одна по одной скоро разлетятся, вон уж две невесты — хоть завтра взамуж отдавай... Дуняше только семнадцатый пошел, а от женихов отбою нет, вот-вот сватать начнут, а за ней и вторая, Дарьюшка, тоже, глядишь, упорхнет!

Самая старшая моя дочка уж десять лет замужем в своей деревне, шестерых детей имеет. Антон еще не скоро с царевой службы возвратится, а Василия с семьей, даст бог, через год-два выделим, для нового дома ему все уж припасено. Ну а сам-то я, поди, не два века проживу... Вот и станет со временем куда как просторно в дому-то! Так что большой семьи, Иван Петрович, опасаться не надо — бояться надо, когда один остаешься!

Пока сваты беседовали, расторопные Виссарионовы невестки и стол в горнице накрыли. Иван Петрович с Федотом отобедали вместе с хозяевами.

В переднем углу под образами сидел дед Иван Пономарёв, по правую его руку сын Виссарион, дальше внуки — Василий, Алексей и Иван. По левую сторону посадили гостей.

За обедом и договорились о свадьбе, о приданом. Из семьи Пономарёвых и словом никто не обмолвился, чтобы запросить за невестой побольше приданого. Они довольствовались тем, что дает за ней сам Елпанов.

Сусанна сидела за столом рядом с матерью Ивана, будущей своей свекровью, и вся семья наперебой старалась ухаживать за Ивановой невестой.

С этого дня в семье Пономарёвых за Сусанной, вплоть до самой свадьбы, был установлен благожелательный, но строгий надзор. Сусанна это чувствовала, но никуда убежать ее больше не тянуло: будущая новая семья ей начинала нравиться. Да и теперь она уже знала, кто ее жених... А когда ее схватили парни у прядеинской церкви и бросили в кошеву — то-то страху бедная девка натерпелась!

Скоро в доме Виссариона Пономарёва начались усиленные приготовления к свадьбе: надо было успеть до начала рождественского поста.

Начинали варить кумышку и пиво. Работы хватало всем с утра до ночи, и Сусанна помогала всем и всюду. Через неделю в харловской церкви венчали «раба Божьего Ивана с рабой Божьей Сусанной».

Приданое Сусанне Иван Петрович дал такое же, как и старшим ее сестрам Феоктисте и Александре: стельную корову, лошадь, овцу да пару гусей, а заодно — сундук с одеждой и всякой иной девичьей справой: периной, подушками, половиками и прочим.

Досужие кумушки — и прядеинские, и харловские — после свадьбы аж языки пересудами намозолили:

— Нелишка Елпанов отвалил приданого — от такого-то своего богатства! Все своему непутивому сынку бережет, а толку што? Вот увидите, наследничек-от все



по ветру пустит, и даже очень скоро! Не выйдет из него хозяина доброго... Ладно, пока еще сам Иван Петрович жив, а как помрет, дак что будет — одному богу ведомо!

Но что тут поделаешь — сами кумушки были любительницами чуть что вспоминать народную пословицу: «На чужой роток не накинешь платок»...

Вот и вышла замуж Сусанна Елпанова... А скоро в Прядеину приехали сваты из Харлово — Ольгу сватать; елпановская семья с каждым годом становилась все меньше и меньше.

## СМЕРТЬ ИВАНА ЕЛПАНОВА

— Ну и зимушка нынче — на заказ! — охлапы-вая шапку, вошел в избу Федос Лукич. — Уж до чего снежная да выюжливая. Всю дорогу перемело — даром что все лесом. Едва с заимки добрался до деревни. Сугробы в залесках либо где на опушках никак не меньше, чем в два аршина.

— Какая бы ни была дорога, а надо, Федос Лукич, готовиться к ярмарке, — выслушав управляющего, промолвил Елпанов, — на Ирбитскую обязательно обоз с хлебом снарядить надо. В дорогу с осени в Тагил по мелкому снегу не поехали, прикинулся ты хворым, а теперь опять отговорки: снег глубокий, дорога худа.

— Батюшка Иван Петрович, сколь годов я у вас прослужил верой и правдой, неужто вы мне не верите, что я тогда в самом деле хворый был?

— Хворый был, а в Ирбите тебя видели! — всплеснув руками, воскликнул Елпанов.

— Кто это меня видел в Ирбите-то, уж не вы ли, батюшка?

— Ну уж, если я слепой, дак другие-то не ослепли. Видели тебя и узнали. Неуж в нашей деревне тебя никто не знает!

— Обознались ваши людишки, батюшка, а зря клеветать горазды. Если мне не доверяешь, сына посылай за главного, чтобы он сам везде хлопотал, мне еще лучше! Что, батенька, и сыну доверить нельзя? Да! Как в прошлый раз ездили? Приехали только на ярмарку-то, он от меня сбежал неизвестно куда. Трое суток не приходил, я уж с ног сбился: и хлеб давно продал, и домой надо, а Федора Ивановича нигде нет. Знаю, что деньги при нем были. Вот беда-то! Я чуть ума не лишился, народу тьма-тьмущая, где искать? Ведь на ярмарке всякое бывает.

Я туда, сюда, а где найдешь, столько у него друзей и знакомых завелось. А добрых, чтоб по делу, — ни одного. Только все обмануть да обмолотить так и норовят. Сам знаешь, ярмарка — она расторопных любит, а не ротозеев. А если уж зазевался — значит пропал.

Долго еще продолжался у Елпанова разговор с управляющим, но в конце концов Елпанов все же настоял, чтобы Катаев взял Федора на ярмарку и следил за ним.

Федос уехал на заимку, а Елпанов остался в горенке один и думал, подперев подбородок рукой, вперив в пространство невидящие глаза. С тех пор как он ослеп, у него стало много времени для размышлений. Он теперь уже твердо знал, да и дурак бы это увидел, что его богатство за последнее время быстро пошло в упадок. Что добывалось тяжким трудом поколений, бессонными ночами, где правдой, где обманом, теперь все летело в какую-то бездну. «Вон кирпичный завод давно уже не работает, крыши на сараях прогнили, перекрывать надо. Ни за что Федор не берется, ни к чему у него не лежит сердце. Ох, грехи наши тяжкие, не в нашу он породу пошел — голимый дядюшка Степан, даже и лицом, и характером. На вид — куда тебе: парень — картинка; а в голове один ветер. Нет чтобы теперь, как я стал старый да слепой, оберуч<sup>140</sup> взяться за хозяйство да стать хозяином. Дак нет же! Ни к чему у него нет раденья и, видать, не будет. Надо невесту ему подыскивать да женить. Хочет он или не хочет этого. Да такую ему жену найти, чтобы она его в руки взяла, сокращала и за каждым шагом следила. Домовитую ему жену надо, да строгую, тогда, может, из него что и выйдет». В женитьбе сына на хорошей, порядочной девушке Елпанов видел надежду на спасение своего богатства.

Со временем, может быть, нашел бы Иван Елпанов подходящую невесту сыну, но Федор был категорически

---

<sup>140</sup> Оберуч — обеими руками.

против и наотрез отказался жениться. Сказал как отрубил, что, когда будет нужно, он сам найдет себе невесту по любви. И что силой его никто никогда не женит, даже сам губернатор.

Несмотря на просьбы отца, Федор Иванович продолжал жить по-своему: в хозяйство и торговлю вникал только по настроению, но все ему быстро надоедало, он остывал и не доводил ни одного дела до конца.

Иван Петрович, потеряв всякую надежду на перемену к лучшему, захворал и слег. Всю ночь Марина Васильевна просидела у постели мужа. Как только наступило утро, Елпанов распорядился, чтобы кто-нибудь ехал в Харлово за попом и заодно известил дочерей...

— Чую, мать, недолго мне быть на этом свете осталось... Хоть бы успели отца Василия привезти. Да зови на соборованье народу побольше, пусть о грешной душе моей помолятся...

— Да ведь сенокос теперь, народ-то весь в поле, — сдерживая рыдания, ответила жена.

— Ну дак что ж — зови стариков, старух да ребятешек... Их молитва, говорят, до бога-то быстрее доходит...

Несмотря на страдное время, к полудню елпановская горница была полна народу. Отец Василий исповедовал и соборовал больного. После того как священник уехал, умирающий слабым движением руки поманил родственников подойти поближе. К вечеру он впал в забытие, а перед рассветом Иван Петрович Елпанов на сто втором году жизни скончался.

## ФЕДОР И МАНЕФА

Осень 1878 года была сухой и теплой. С полей уже давно все было убрано, и до самого Покрова бабы, старухи и ребятишки тащили из леса грибы-опенки, хмель и осенние ягоды — клюкву, калину, а кто и отправлялся на лошадях в дальние матренские вершины за брусникой.

В старом елпановском доме уже который день справляет свадьбу Федор Елпанов — единственный наследник известного на всю округу богача Ивана Петровича Елпанова.

Во время венчания церковь была до отказа набита народом. Когда прибыл свадебный поезд, все увидели, как хороша невеста, Манефа, как богато ее свадебное убранство и украшения. На свадебное платье жених не поспешил, а что до украшений — так все драгоценности бабушек и прабабушек были извлечены из сундуков и подарены невесте.

Отшумела-отгуляла свадьба, и новоиспеченная свекровь Марина Васильевна вздохнула с облегчением: ну, мол, теперь-то молодые возьмутся за дело. Но оказалось, что невестка толком делать ничего не умеет, да и не хочет, — ни скотину обиходить, ни квашню замесить.

«Да что же это такое? — думала ночами Марина Васильевна. — Из каких же таких господ этакая сношенька?!»

Свекровь знала, что познакомился Федор с Манефой в Ирбите, на ярмарке, что Манефа — сирота, приемная дочь ирбитской портнихи. Но почему же она ни к какой работе не приучена? Тут мысли матери переходили на сына, и она с горечью вспоминала, что и Федор смолоду трудолюбием не больно-то отличался... «То-то посмотрел бы покойный муж Иван Петрович на этих неработах! Вот уж точно — два сапога пара...»

Молодые были настолько счастливы, что не замечали ничего вокруг. Они просто упивались счастьем.

Через неделю после Покрова на талую землю выпал глубокий снег, и молодая жена уговорила мужа ехать в свадебное путешествие. Ей надоело сидеть сложа руки в горнице.

— Поехали сначала в Ирбит, навестим знакомых, — щебетала Манефа, — я хочу показать мои наряды! Вот, мол, какая я теперь! Знай наших! Я теперь замужняя жена, не кто-нибудь! И денег, и богатства нам с тобой хватит на весь век! — возбужденно говорила жена, кружась вокруг мужа. — Потом поедем в Екатеринбург веселиться, а там можно и в Тагил заглянуть!

Манефа была на вершине блаженства: муж у нее молодой, красивый и такой богатый, что им можно ни о чем не беспокоиться. Вот она, благодать! Она всегда мечтала об этом, и ей даже не верилось, что все сбылось. Правда, свекровь казалась Манефе мелочной, скучной и неинтересной старухой: вечно ходит взад-вперед, шваркает своими обутками. Неужели нет занятия поинтересней, чем прясть или ухаживать за скотом, ведь они так богаты! Только и знает, что сидеть за прялицей. Кому это нужно? Если и так у них сундуки ломаются! Скатертей, полотенец и половиков на весь век хватит! А одеял всяких видимо-невидимо! Нет! Не сядет она за прялицу никогда! Еще недоставало этого, чтобы сидеть до ночи и прясть.

Детство у Манефы было безрадостным, и она с грустью вспоминала то время, когда маленькой девочкой скиталась в поисках еды. Услужливая память во всех подробностях нарисовала картину, когда в голодный зимний вечер она, шестилетняя, путаясь в полах какой-то длинной кофты, без рукавичек, озябшими ручками стучала в ворота дома, в котором кухаркой работала ее мама.

— Тебе тут чё надо? Пошла вон! — раздался грубый окрик кучера. — Слышь, убирайся, нечего тебе тут делать, милостыни тут не подадут, а последнее отобрать могут.

— Дяденька, не прогоняй меня! — девочка устала испуганные, полные слез глаза на кучера, дуя на озябшие пальчики. — Мы с Васькой есть хотим, и у нас дома шибко холодно, а Власьевна захворала, старик Ионыч пьяный.

— Холодно, говоришь, и есть хочешь? Ну а сюда-то тебе зачем? — кучеру стало жаль замерзшего обездоленного ребенка.

— У меня там мама!

— Ах мама! Ну, маму ты свою чичас не дозовешься, гостей полон дом! Ее не отпустят, — со знанием дела сказал кучер.

— А она там, в кухне! — и девочка манула рукой на двор.

— Ну тогда другое дело! — ямщик кнутовищем сильно постучал в ворота. — Эй, Митрич, к тебе тут барышня! Да ты никак уснул там?

— Иду! Иду! — сонно крикнул привратник. — Чего тебе надо?

— Спишь ты, што ли? Не могу достучаться.

— Какое там спишь! Такая ночь! Боюсь, как бы под шумок лошадей не свели. Для конокрадов самое время. Заплот с задов разломают да и уведут.

— Дак ить у вас собак полно! — удивленно произнес кучер.

— Собак нельзя спускать, когда пьяных гостей много шатается, враз укусить могут, — открывая ворота, ответил Митрич.

— Ну кто тут еще пожаловал? — спросил привратник, разглядывая девочку. — О, Манефьюшка, почему так поздно?

— Мне бы к маме? Можно?

— Нет, милая, нельзя седни.

— Я замерзла, у нас дома холодно. Васька ревет, — голос у девочки задрожал, и она заревела.

— Ну чё мне с тобой делать, иди не то ко мне в сторожку, обогрейся, — растерянно произнес Митрич, — и сухари кое-какие найдутся. А ты, парень, тоже иди ко мне в сторожку, погрейся. Вон ветрище-то какой, а вызвездилось-то как к утру, знать, еще холоднее будет.

— Я бы с удовольствием, да вить лошадей одних тут не оставишь?

— Заводи и лошадей в ограду, пусть постоят. Твой баринок не иначе теперя до утра оттудова не выйдет. Зайдут на час, а потом воротом не выворотишь. Знаем мы их. Седни тут такие тузы собрались, не то што тыщами, мильенами ворочают. В карты, брат, режутся. И цыганье их забавляет плясками да песнями, и девки молодые. Хозяйка наша, брат, для гостей старается, родную дочь не пощадит.

Хозяйку Капитолину Ивановну в народе за глаза звали Капишкой. Она держала «веселые» дома на Константиновской улице. Здания были двухэтажными, с террасами, с балконами, с парадными входами прямо с улицы, где над дверями каждый вечер зажигали красивые красные светильники. Один из светильников сделан в виде сердца, пронзенного стрелой, другой в виде распускавшейся лилии, а третий — целующиеся голубки. Все три светильника были изготовлены искусными уральскими мастерами из хрусталя и бронзы. Много раз уже чья-то дерзкая рука пыталась достать их палкой или камушком, чтобы разбить, но светильники были накрепко ограждены прочной металлической сеткой. По вечерам, когда в городе закрывались магазины и торговые ряды гостиного двора, в окнах всех трех Капишкиных домов ярко горел свет, лилась музыка, иногда слышались песни цыган. Дома были



обнесены одной общей оградой, в которой были сделаны прочные деревянные ворота. У ворот, со стороны двора, стояла будка-караулка, где по вечерам сидел сторож, и он же дворник, Митрич, старик лет под семьдесят с седой окладистой бородой.

В сторожке у Митрича — избушке в два окошка — было тепло, даже жарко, топилась печка, кипел котелок; горел на столике огарок свечи, стояли широкие лавки.

— Садитесь да грейтесь! — старик достал с полки из холщового мешка ржаных сухарей, залил в глиняной кружке кипятком. — На вот, Маняшка, поешь, да смотри не ходи на кухню-то! Сама там седни всем распоряжается, выгонит тебя и избыет.

Девочка съежилась, она и без напоминания хорошо знала хозяйские кулаки.

— А ты, мил человек, сымай тулуп-от да тоже чайку испей горячего, вода-то — она не куплена. Я пойду ишо лошадей погляжу.

Ямщик с девочкой сразу отогрелись в тепле. Девочка уже начинала дремать, сидя на лавке.

Сторож возвратился через полчаса:

— Ну как вы тут? Отогрелись? — и он подбросил дров в печку, подошел к спящей девочке и аккуратно подложил ей под голову обрезок старой кошмы. — Ишь, стрекоза, сразу уснула, много ли бедному человеку надо, пожевать какой ни то корочки да уснуть в тепле. А братишка-то там, наверно, уж ревом изошел от голода и холода. Мать-то их тут в кухне робит, посуду моет, да што. Хозяйка наша ишо моду взяла, когда гостей много, а девок не хватает, подсовывать работниц гостям, особенно пьяным. И свою работу требует, штоб сполняли. Житье у нас здесь бабам-работницам самое никудышное, а што делать? Ну-жда. Пить-есть хочет каждый. Вот их у нее двое, а мужа-то нет, вдова. Куды податься? Ох, горе наше горькое. Ты-то чей, парень, будешь?

— Из-под Елани я.

— У! Дальной! Я поближе, знаменской. Всю жисть по ярмаркам. Ране ямщикал, когда молодой был. Грузчиком в обозах у купцов робил, тыщи, многие тыщи, брат, возле оглобли выходил. Везде бывал с обозом. Аж в Китай за фарфором, за шелком, за чаем ездили. В Сибири много раз был, орехи везли, меха. У самоедов был, да всего и не перечислишь. Из Конды рыбу возили, чуть не изгиб в дороге. А вот поди ты — восьмой десяток пошел, а ишо и Капишке в дворники сгодился. Так бы оно ничего, да вот за лошадей боязно. Пойду погляжу ишо!

— Я тоже пойду, спасибо, дед, отогрелся. Может, и мой хозяин скоро выйдет. Заругается, что я не у подъезда.

— Да не беспокойся, вынесут яко труп, пьяного-от.

— Нет! Он много не пьет, знат меру!

— Все они знают меру! Подлецы! Погибели на них нет! Кровопивцы!

— Ладно, дед, отворяй ворота, поеду, буду мерзнуть у подъезда, так надо.

— Ин дело твое, выезжай.

Гости уезжали и приезжали до поздней ночи. Митрич помогал усаживать в кареты пьяных господ, отворял и затворял ворота, встречая новых приезжавших гостей. К утру работы стало меньше. Лошадей осталось несколько пар, напоил, подбросил сена, пошел в избушку. Девочка по-прежнему спала на лавке. Личико ее порозовело в тепле. На лоб упала прядка льняных волос, от густых длинных ресниц на глаза пали темные тени. Пухлые детские губки вздрагивали во сне.

Старик вспомнил свою младшую внучку в деревне. Сердце сжалось от боли и обиды, на глаза навернулась слеза. Сколько их, таких бедных, обездоленных детей, по всему миру мается так. Подрстет и станет добычей притона Капишки, а потом, через время, больных, уже никуда не годных хозяйка выгоняет на улицу. Многие

кончают самоубийством или спиваются и бродят, шатаются по улицам, их и в работницы никто не берет. Да и какие из них, к лешему, работницы: обнаглеют, обленятся, сопьются, потеряют не то что женский, вообще человеческий облик. Все они почти с дурной болезнью, с проваленными носами. Ну куда они годны? Смотришь, и сорока еще нет, а уж глубокая старуха, сидит в праздник на паперти и гнусавым голосом тянет: «Православные, подайте на пропитание!» И какая-нибудь восьмидесятилетняя деревенская сердобольная старушка протянет ей копейчку или калачик: «На, болезная, поешь, несчастная». Разве это жизнь?! Эти дома отнимают всё — и молодость, и красоту, и здоровье. Превращают молодых красивых девушек в больных безобразных калек.

Думы старика были прерваны криком ямщика и стуком в ворота:

— Эй, Митрич, пусти, иду запрягать лошадей купца Бутикова. Сам хотел приехать, да за мной послали, пьян, говорят, шибко, одного не отпускают.

— Заходи не то!

— Ох и народищу везде, шумит, гремит, брат, Ирбит-город. Всю ночь не заглохает, нет ему угомону. Идет ярмарка-то в гору! Ох, матушка, миллиардами ворочает!

Митрич подходит к Манефе и осторожно трогает за плечо:

— Беги-ко ты домой, девонька, уж рассветало. Можя, мамка-то вырвется на часок проведать вас. А то, неровён час, хозяйка и сюда заглянет.

Манефа открывает глаза и быстро вскакивает. Дворник выпускает ее через калитку. Сам начинает подметать двор, убирать конский навоз из-под навесов и конюшен. Спешит навести чистоту и порядок. Манефу сразу до костей пронизывает холодный северный ветер, забирается под лохмотья. Она быстро перебегает дорогу, бежит домой. С матерью и маленьким братишкой Васькой они

снимают в подвале маленькую комнатку с одним подслеповатым окном на улицу, как раз напротив Капишкиных домов.

Когда в комнате истоплена печь, стены кирпичного подвала покрываются, как бисером, капельками воды. Вода начинает струйками стекать с подоконника. Манефа стирает тряпкой воду и взбирается на подоконник. На улицу выйти нельзя, собачий холод. И она часами сидит на подоконнике, разглядывая ноги прохожих.

За дощатой перегородкой высотой аршина в два, некрашеной и прокоптелой, надрывно кашляет нищая безродная старуха Власьева. Кашляет и ворчит про себя: «Экая хворость на меня напала, однако, не встать, пролежу всю ярманку».

Третья каморка в подвале, с окном во двор, почти темная. В ней живет нищий старик Ионыч, запойный пьяница. Ионыч, кроме милостыни, еще подрабатывает. На днях заработал где-то семишник и некстати запил. Теперь лежит на соломе в углу своей маленькой каморки и орет во сне несусветную чушь да бьет кулаками в дощатую перегородку.

— Видно, уж допил до чертиков, старый хрен! — говорит Власьева. — Замолкни, свинья безрогая, а то не вытерплю, съезжу ухватом по твоей глупой лысой башке! Надоел всем, лихоманка его понеси! Дров вчера не принес, топить седни нечем, а та госпожа и не кажется домой вовсе, даром што тут двое робят голодных замерзает. Другая бы на ее месте домой хотя бы обедки приносила, а она нет, самой бы только нажраться да напиться. Со всем одурела баба.

Ваське скоро три года, но он не ходит. Сидит или лежит, живот у него непомерно большой, и ест он много. Чуру не знает, так говорит про Ваську Власьева. Но Манефа знает, что больше всего Васька живет голодом, потому что дома редко бывает какая-либо еда. Васька,

наревевшись до хрипоты, лежит и смотрит печальными глазами в одну точку, и кажется, что будто он уже умер. Но какая-то сила все еще поддерживает его жизнь. Такие же, как у матери, синие васильковые глаза полузакрыты, запали в глазницах, под ними темные тени. Огромный живот колыхается, значит Васька еще жив. Кривые, тонкие, как ниточки, ножки подогнуты. «Куриная» грудь с острыми ребрами выпирает из-под ветхой грязной рубашонки. Мальчик так и не научился говорить за три года своей полуголодной жизни. Но если бы его поместить в хорошие условия, он был бы хорошим ребенком. Он не был идиотом, он узнавал мать, радовался, когда подбегала к нему Манефа или старуха Власьевна брала его на руки. Но из-за вечного недоедания и плохого ухода он был тяжело болен рахитом. С самого рождения он оставался полностью на попечении четырехлетней сестренки Манефы.

Когда было тепло, Манефа не любила сидеть дома, оставляла малыша одного и убегала к подружкам, иногда на весь день. Но мороз на улице не дает убежать из постылого дома. Единственное окошко их каморки так застыло, что через него ничего не видно и на подоконнике сидеть неинтересно, да и холодно. Девочка забирается на печь, ложится рядом с братишкой. Печь чуть-чуть теплая. Есть хочется страшно. Почему так долго не идет мама? Хоть бы какой-нибудь кусочек съесть. Не пойти ли наверх к Петровне, может, что-нибудь еще даст? Попросить для Васьки, хотя она меня уж не раз выгоняла и не велела больше приходить.

Скорей бы пришла весна! На улице побегут ручьи, зашумит вода в Серебрянке. Петька Мохов с сестрой Анюткой наделают корабликов и будут пускать по канавам. Потом станет тепло, просохнет земля и можно везде бегать босой. Вот тогда-то она уже будет сыта и даже Ваську накормит. Летом справляют большой татарский

праздник байрам. Манефа постарается у мечети занять самое выгодное место — ей наподают вкусных лепешек и яиц, а потом она побежит в татарскую слободку, встретится там с подружкой Фатимой, и они будут играть вместе, а тетя Зульфия ее накормит маханом. Один раз она даже объелась махана и всю ночь болела. Потом придет Пасха, опять будут подавать крашеные яйца и пироги... Манефа облизнула губы и проглотила густую тягучую слюну.

А пока вот холодно на улице, плохо. Даже Власьевна и та уж сколь дней не ходила собирать милостыню. Сильно худо зимой бедным людям. Девочка прислушивается к каждому звуку — не идет ли мать? Нет! Мать так и не пришла. Вот Петровна идет с водой, вот верхние жильцы носят дрова. Хлопают двери, все спешат в церковь к заутрене, сегодня воскресенье. Торговые ряды гостиного открываются поздно. Но Манефе придется идти туда, чего бы ей это ни стоило. Хотя с ярмарки и из магазинов нищих всегда гонят, но она встанет где-нибудь за ветром у входа, может, кто что-нибудь ей и подаст хоть полушку или кусочек хлеба...

Манефа вдруг вспомнила своего отца. Больше всего ей запомнились его веселые светло-серые глаза. Волосы у отца были пышные и густые, цвета кудели. Он брал ее большими сильными руками и поднимал высоко-высоко. Называл ее всегда Маняша или Манечка.

Жили тогда они в хорошей светлой комнате с тремя окнами. Отец часто куда-то уезжал, и мать с нетерпением ждала его, с беспокойством поглядывая в окно. Когда отец возвращался «с дороги», то привозил всем подарки и гостинцы, и Манефа, широко раскинув руки, счастливая, бежала навстречу отцу.

Манефа хорошо помнит зимний метельный вечер, когда ветер отчаянно выл в трубе и бросал снегом в окна.

— Эй, открой, хозяйка! — сильный стук в дверь разбудил Манефу.

Мать в белой кружевной рубашке, наспех надернув синюю с оборочками юбку, накинула на плечи попавшую под руку верховую, с кистями клетчатую шаль, отодвинула на двери железный засов, и двое городских вместе с дядей Никоном внесли в комнату распростертое тело отца. Наискось через весь левый висок зияла глубокая рана. Лицо отца было бледное как мел. Мать с перекошенным от горя лицом кинулась к отцу.

— Отошел, должно! — сказал дядя Никон, и мужчины сняли шапки.

— Царство ему небесное. Честный был человек, трезвый. Погиб за хозяйское добро! Ни за грош ни за копейку!

Городовые ушли. Дядя Никон остался, пытаясь хоть как-то чем-то успокоить мать. Но она не хотела ничем утешиться. Глядя на мать, редела и Манефа.

Похороны отца Манефа не помнит. Зато хорошо помнит, что было потом.

Весной, когда стало тепло, мать начала куда-то уходить вечерами, у нее появились подруги, веселые, нарядные. Они часто заходили за ней и подолгу вертелись перед зеркалом. Иногда давали Манефе леденцы.

Мать, когда уходила, оставляла Манефу у соседки тети Кати, одинокой женщины, портнихи. Тетя Катя все время стучала машинкой, шила. Давала играть Манефе ворохом разноцветных лоскутьев и велела не мешать ей. Манефа любила играть лоскутьями. Делала сама себе кукол, укрывала их, укладывала спать и не досаждала тете Кате. Потом незаметно засыпала, а наутро оказывалась дома в своей кровати. Мать после ночных походов вставала поздно, была раздражительной и грубой.

— Связалась ты, Ивула, со своими подругами! Бросила дочь на произвол судьбы, — выговаривала тетя Катя матери Манефы. — Как вечер, так шляться!

Помяни мое слово, до добра не доведут тебя эти подруги. Пожалей свою дочь!

— А меня кто пожалел? Я сама теперь навек сирота!

— Бессовестная ты, Ивула. Полгода не прошло, как схоронила мужа, а уже начала развлекаться.

— Что ж мне теперь, по-твоему, весь век плакать?

Вскоре мать вышла замуж, и у Манефы появился отчим — пьяница, злой и жадный человек. Отчим избивал мать, не раз доставалась и Манефе. Мать устроилась на работу прачкой и сильно уставала, а отчим вымогал у нее последние деньги. Теперь она часто ходила с синяками на лице, подурнела, похудела. Отчим не щадил ее даже тогда, когда она стала ходить с большущим животом, но вскоре он исчез, как-то вдруг, внезапно, прихватив с собой всё мало-мальски ценное, которое еще не успел пропить. Вместе с отчимом исчезла вся отцовская одежда и обувь, и даже посуда.

После того как мать родила Ваську, жить стало совсем плохо, денег ни на что не хватало, и они вынуждены были переехать на Веселую улицу в подвал, где сняли угол вместе с нищими — пьяницей Ионычем и старухой Власьевной.

Дом был небольшой, с маленьким грязным двором. Все постройки давно уже требовали ремонта. Наверху лучшую комнату на солнечной стороне снимала семья Пискаревых. Сам Пискарев, мужик с черной окладистой бородой, прокопченный, с вьевшейся навеки угольной пылью, работал в кузне у купца Казанцева подручным. Человек он был неразговорчивый, угрюмый и почти никогда ни с кем во дворе не разговаривал. Зато жена его Татьяна — вздорная балаболка — трещала как сорока и знала все новости. У них было двое детей: сын Семка и дочь Настя. С Манефой они никогда не играли, дразнили ее нищенкой, а мать ее называли последними словами, грязными.



Во время ярмарки мать редко приходила домой. Приносила что-нибудь поесть и буквально валилась с ног от усталости. Спала немного и опять убегала.

Но вот наконец-то закончилась ярмарка и мать появилась дома.

Собрались подружки и кавалеры. На столе вино и закуска. Развернув во всю ширь меха старой охрипшей тальянки, на единственной целой табуретке устроился пьяненький замызганный гармонист. Ионыч сидит за столом, обхватив голову руками, и как голодный волк к непогоде, тянет заунывную бесконечную песню.

В отгороженной грязной ширмой кухне без окна Власьевна выговаривает матери:

— Как тебе, Ивула, не стыдно?! Назвала столь гостей, робяты-то голодные. Прокутишь в один день весь заработок, а потом што?

— А чё мне робята! Я, пока молода, хочу для себя пожить! И ты мне не мать родна, не указывай! Иди в свой угол и сиди!

Пьяная мать жаловалась подругам на свою хозяйку, Капитошу:

— Где она, правда-то, скажите, люди добрые? Прошла ярмонка — она меня выгнала. Говорит, теперя ты мне не нужна. В номера, говорит, я тебя не возьму, ты уж стара и рожей не вышла. Да как же я стара, в двадцать-то шесть лет. Я еще докажу ей, какая я стара! И плевала я на ее заведение! Небось не пропаду, проживу и без нее!

На следующий день, протрезвев, мать пошла искать работу и домой больше не пришла. До Манефы доходили слухи, что мать уехала с каким-то кавалером неизвестно куда.

Наступила весна, пригрело солнце. Вовсю капало с крыш. По первым ручейкам умер Васятка. Как жил, так и умер, тихо, незаметно, как будто уснул. Власьевна обмыла младенца. Сшила из своей тряпки рубашку, обрядила.

— Преставился, сердешный, отмаялся, ангельская душка безгрешная, — вытирая слезы, причитала Власьевна. — К чему родился? Зачем жил? Досыта не едал...

Три дня Васятка лежал нехороненный на лавке. Ионыч из каких-то старых досок сколотил гробик. Но могилу копать было некому. На четвертый день с руганью пришли городовые и унесли гробик с Васяткой.

Со временем Манефа привыкла жить без матери и всей своей детской, израненной трудностями душой привязалась к Власьевне, как к родной бабушке.

Власьевну хорошо знали во всех ближних деревнях, у нее были везде знакомые, подруги и приятельницы. Хотя она была неграмотной, но могла со знанием дела заниматься гаданьем, ворожбой и приворотом.

— Вот скоро уже просохнет дорога, и полетим мы с тобой, Маняшка, как вольные птицы! — со знанием дела говорила Власьевна. — Свобода, она дороже всего! Эх, нет лучше вольной волюшки! Пойдем мы с тобой на все лето в Елань, Городище. Богатые места, хлебородные! Там люди подают хорошо, щедро. Завсегда и обедом, и ужином накормят. А ночевать в жару будем в поле, в стогах. Эх, красотища!

— Бабушка, мы уйдем, а если мама тут приедет?

— Ну приедет — соседи скажут, что со мной ушла, вот и все!

Прошло семь лет. За эти годы где только не побывали Власьевна с Манефой — исходили все деревни и села.

Манефе пошел пятнадцатый год. Из нищенки-замарашки выросла красивая девушка с длинной светло-русой косой. Круглое, с ямочкой на подбородке личико было прелестно: прямой красивый нос, темные брови, серые глаза и маленький яркий рот. Росту она была невысокого, но крепкого сложения. Вечные походы закалили ее. Она была бронзовой от загара и никогда не боялась простуды.

Манефе нравилась вольная жизнь, но случилось так, что, когда они бродяжничали в Туринске, вдруг тяжело занемогла Власьева — взяла да и слегла в одном доме, а через три дня ее хоронили городовые за казенный счет. Никогда еще в своей жизни Манефа не чувствовала себя так одиноко. Она сильно переживала эту утрату: привыкла за все эти годы к старухе, Власьева ей заменила и бабушку, и родителей.

Пришлось Манефе возвращаться в Ирбит.

Пыталась устроиться на работу, но тут же уходила или ее выгоняли за нерадивость.

В одной деревне под Еланью она даже нанималась жать рожь, хотя серпа в руках никогда не держала. Хозяин дивился, откуда взялась такая работница, и в сердцах обозвал ее дубиной и пряслом. «Смотри, — говорил он, — вон Насте моей восьми нет, а как она жнет! А ты уж невеста! Ну кому ты нужна будешь, тряпичная барыня! Уходи сейчас же, не путай и не порти хлеб».

Одинокие старухи в деревнях стали закрывать от нее ворота и окна: «Ходит какая-то голодранка, обокрадет ишо! Линь несусветная! Высмотрит да и подведет шайку грабителей!»

Но той же зимой судьба улыбнулась Манефе. Как будто солнечный луч вдруг блеснул из-за тучи. Ее взяла к себе на воспитание одна бездетная вдова в Ирбите.

Лет под шестьдесят, с простым, чуть одутловатым лицом и узкими карими монгольскими глазами, Аполлинария Семеновна Калмыкова имела небольшую швейную мастерскую, в которой работали около десяти работниц-швей. Сама она считалась хорошей закройщицей и портнихой.

У Калмыковой своих детей никогда не было, и возможно, из-за жалости она приняла бедную, нищую девчонку.

Прошло два года кропотливого и терпеливого ученья шитью. Непоседливой Манефе работа в мастерской давно

надоела, и она уже подумывала сбежать от Семеновны, но судьба готовила ей другое: зимой в ярмарку она случайно встретила с Федором Елпановым.

Федору шел двадцать третий год, и молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда.

Манефа, живя у Семеновны, превратилась из гадкого птенчика в настоящую русскую красавицу. Одета она была просто, но со вкусом. Недаром она считалась теперь дочерью лучшей портнихи города.

Калмыкова, узнав, что у Манефы появился жених, решила поскорее выдать замуж свою воспитанницу, и тем самым, как говорится, сбить с рук. Она уж была не рада, что взяла ее в дом. Ее воспитанница на удивленье оказалась нерадивой к работе. Все делала кое-как. Если она начинала стирать белье, то сама была до ушей мокрая, а белое кружевное белье тети Поли непременно было загрязнено и не постирано. Когда готовила обед, то все блюда получались пересоленными и невкусными. Семеновна была от природы доброй, покладистой женщиной, но и то иногда раздражалась, видя такую работу. Она никак не могла даже и подумать, что бездомная девчонка, нищенка и сирота, может быть столь ленивой и нерасторопной...

Через семь месяцев после свадьбы Манефа родила сына: светловолосого, сероглазого, в точности как она сама. Теперь уже волей-неволей Манефе надо было нянчиться и ночами вставать к ребенку. Она занималась только им, всю остальную работу по хозяйству несла на себе свекровь.

В деревне уже давно велись пересуды насчет елпановской семьи. Кое-какие разговоры доносились до Марины Васильевны, но что она могла изменить, что сделать, эта слабохарактерная женщина, которая весь век была в полной зависимости и подчинении у мужа. Она думала, надеялась, что ее сын все равно когда-нибудь обумится и

возьмется по-настоящему за работу, за хозяйство, за торговлю. Но время шло, а перемен никаких не наступало. Сын был настоящий мот, любил еще к тому же и выпить. Деньги таяли, как весенний снег, быстро и незаметно.

Чем больше времени проходило со дня смерти Ивана Петровича, тем чаще думала Марина Васильевна о том, сколько сил и здоровья отдал Елпанов хозяйству, семье, дочерям и сыну-наследнику, тем теплее становились ее воспоминания об этом человеке. Вот нет Ивана Петровича — и жизнь пошла уже совсем не такая...

Марина Васильевна вспомнила, как давным-давно в детстве дед как-то взял ее в лес и там их застала гроза. Маришка потом видела вывороченный шквалом ветра кедр, упавший поперек лесной тропки. Дед присел на ствол поверженного дерева, провел узловатой рукой по коре и, непонятно для девчушки, пробормотал:

— Ну, коли такого богатыря свалило, стало быть, скоро и деткам его, кедренышам, — каюк!

## УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДСТВО

**В**прядеинской пожарнице далеко за полночь стоял дым коромыслом. Шли горячие споры. Мужики решали важный вопрос о земле.

— Землю у Федьки нужно отобрать! А то Елпановы лучшие земли захапали! — брызгая слюной, кричал один из мужиков.

— Так-то оно так, все правильно, перемер в этом году по закону должен быть, двенадцать лет прошло. Да ведь казенная бумага у него на землю-то есть, вот в чем вся загвоздка. Если Федька упрется, ничего нам, ребята, не сделать. Хотя и отцу она была дана, а он ведь прямой наследник той земли, — возразил Иван Кряжев, пожилой мужик почтенного вида с окладистой черной бородой.

— В волости у меня писарь знакомый. Я спрашивал у него про эту бумагу. Нету, говорит, у меня здесь ее, в уезд отправлена, — вступил в беседу целовальник Долгополов.

— Вот это хуже! Поедет Федька, привезет бумагу, и всё! И тогда уж ни за что не отобрать у него займку. Да еще и эта хитрая лиса — Катаев. Не зря же он живет там верным псом, свою выгоду имеет. Думаете, нет!/? Он слепого Ивана Петровича уж давно обворовывал да обманывал, а теперь этого ленивого олуха-ротозея и подавно обманет.

— А не лучше ли, робя, нам Катаева в деревню с займки переманить? — пророкотал Мирон Плюхин.

— Нет, это не выход! Он до времени никуда ни за что не уйдет! Да и Федька может нового управляющего за просто найти.

— А кто из наших пойдет к нему?

— Не наши, дак чужие пойдут. Деньжищ-то у его немало!

— Да уж, поди, поистряс сколь после смерти-то отца.

— Мужики, слушайте внимательно, што я скажу, — взял слово Ерофей Долгополов: — Нам землю надо делить

сразу же весной — едва как просохнет! Придется ночи не поспать, а раздел земли сделать. За неделю до перемера соберем сход, всех оповестим, людей назначим своих. На сходе объявим, что в этот перемер всю пашню и все сенокосные угодья будем заново перемеривать. Если Федор предоставит бумагу на заимку, то, значит, с землей у нас всё пропало. Попытка не пытка...

Чем ближе подходило время к весне, тем больше было в пожарнице о елпановской земле пересудов. Пожарница гудела, как потревоженное шершневое гнездо. Так незаметно подошла весна.

Как-то вечером, проворно перескакивая ручейки и лужицы талой воды, к елпановскому дому прибежал посыльный мальчишка.

Увидав во дворе Манефу, он сразу выпалил:

— Пусть Федор Иванович завтра идет на сход в пожарницу!

— Нечего ему там делать, — не глядя на мальчишку, буркнула Манефа.

Назавтра действительно был сход, но Федор на него не пришел. На сходе была выбрана земельная комиссия из двадцати человек во главе с Ерофеем Долгополовым.

После схода, не вытерпев неопределенности, Ерофей сам побежал к Елпанову:

— Федор Иванович, я ведь к тебе. Почему вчера на сход не пришел? Все были, кроме тебя! Перемер в этом году делать надо. Двенадцать лет уже прошло. Всю землю, все покосы перемеривать будем!

— Ну а я-то тут при чем? — недовольно буркнул Федор.

— Как это при чем! Ведь твою же землю на заимке тоже перемеривать надо. Вам теперь на две души земли отмеряют, где по жребию выпадет. Может, вот тут, сразу за огородами, и не надо будет ездить в такую даль. Да и по правде сказать, на кой ляд тебе сдалась такая прорва

земли, да еще так далеко. Одно мученье да беспокойство. Отдай ее добровольно, и все тут! Живут же другие-то без всяких заимок, а с голоду еще никто не умер.

Долго сидел Ерофей у Елпанова, убеждая Федора отдать землю.

Марина Васильевна, расстроенная визитом Ерофея, ушла управляться со скотиной, вспоминая о том, как любил бывать на заимке Иван Петрович. Не было в хозяйстве при нем такого упадка, как теперь. Сын попросту не умеет вести хозяйство, не научился и очень ленив. Под стать ему и жена. Марина Васильевна тяжело вздохнула: «Господи! Как пить дать, отберут заимку-то!» Тоскливо ныло сердце, как будто предвещало какое-то несчастье или дурные вести.

Настали погожие дни. С юга неустанно дули теплые ветры, земля быстро подсыхала. С рассветом и до глубокой темноты мужики были заняты перемером. Все стремились вытянуть жребий хоть на полдесятины, да на елпановской заимке. Федору Ивановичу было приказано освободить заимку от построек, и он был вынужден продать их по бросовой цене. Катаев купил дом, амбар, завозню, двух самых лучших лошадей с упряжкой, корову и уехал жить в Трестовку, небольшую деревнешку в трех верстах от Харлово.

Федор по жребию получил землю далеко — у Паластрова озера среди лесов и болот. От засухи эти земли обычно страдали не так, как другие, но часто посевы губили ранние заморозки. До Паластрова озера ехать было не ближе, чем на заимку. Первый же год оказался зяблым. Пшеницу прихватило ранним инеем, зерно скрючилось, потеряло всхожесть. Хлеб из этого зерна был невкусный и не стряпался.

На другую весну пришлось продать мельницу, так как весенним паводком размыло плотину и требовался ремонт. Федору не хотелось возиться со всем этим, и он решил отделаться от мельницы. Весь запас кирпича



был уже давно распродан. Кирпичные сараи сожжены на дрова. Печи для обжига кирпича развалились. Работные избы, склады, мастерские и прочие службы постепенно начали ветшать, и Федор Иванович продавал одно строение за другим. Если бы нашелся в то время такой богач, который бы купил у Федора всю усадьбу, то Федор с удовольствием ее продал и купил бы себе другой дом, поменьше. Он почему-то не любил этот старый отцовский дом с множеством дверей и комнат. Старые кондовые бревна почернели от времени. Дом осел и стал крениться набок. Весь этот приземистый огромный «ковчег» Федору не нравился, а самому перестраивать дом не было никакого желания. Он завидовал, глядя на новые желтые, пахнущие смолой пятистенники, высокие, как терема, с большими окнами, светлые, построенные «по струнке» в прямую улицу. Одно время Федор думал даже построить каменный дом, кирпича бы хватило. Но мечты его были мимолетны и остались несбыточными желаниями.

Семья Федора между тем прибавлялась. Манефа рожала каждый год. Не успел встать на ноги толстый, как чурбан, годовалый Мишутка, Манефа снова родила сына, которого назвали Никоном. Никто не видал в деревне, чтобы Манефа Савельевна была занята какой-то работой, кроме детей. В поле она не бывала ни разу. Жать и косить она не умела, стряпать, варить, доить коров — тоже. Елпановы стали посмешищем в деревне.

В пожарнице не было такого вечера, чтоб не вспомнили Елпановых:

— Вчерась Федыка Елпанов хотел блинов поесть, да Манефья сковороды потеряла. На другой день сковороды нашла в квашне, дак сковородника нигде не стало, — балагурили мужики.

— Стирать белье хотела, весь день корыто проискала, так и не выстирала, — набивая самосадом трубку, щурясь подслеповатыми глазами, подхватил шутку дедко Иван.

— Она и в избе пол не мывала. Вот возьми такую бабу, да и «живи радуйся» после, — подал голос Ерофей, — ну и нашел же Федюня!

— Да он сам такой.

— Вестимо, если бы он не был таким, может, и она бы была не такая. Глянь-ка, вон в сенокос или в жнитво спят до обеда, пока солнце в них не упрется. А зимой зачем бы им на ярмарку, ведь продажи никакой, а едут. Он пьет, а она не меньше его. Зато наследниками богаты.

— Да, это уж верно. Иван Петрович всю свою жизнь мечтал о наследнике, дождался, да поздно.

— А вот они, наследники-то, как грузди в смошный год, один за другим, погодки. Только вот наследство-то будет ли им? Может, родители-то до того доведут хозяйство, что и пристать будет не к чему. Да еще и дети-то какие вырастут — неизвестно, может, лентяики сосветные.

— Того гляди, сопьется Федька-то, пропадет, а што сделаешь, говорили уж, да бесполезно, не слушает никого. Не на пользу пошло ему это наследство.

— В хозяйстве он не рабатывал, руки не приложил, ему все готовое досталось, вот и не жалко. Землю вон у Паластрова загадил, в пар пустил, да спяхать ни на первый, ни на второй ряд не удосуужился. Теперь все осотом заросло...

— Ну што с им делать? На сходки не ходит, никому не подчиняется и никто ему не указ. Может, землю-то отдаст добровольно. На што она ему! Хлеб-от все равно осенью покупает же. Вот бы поднять теперь из могилы его деда Петра да отца-то Ивана Петровича, посмотрели бы они, што от их усадьбы и хозяйства осталось, наверно бы и в гробах своих не улежали.

— Ох и круты и к работе, и к наживе были те Елпановы, не чета Федору. Федюня — голимый дядюшка Степан Васильевич, лик вылитый, будто сын его. Тот вон жил не житель и умер не родитель. За всю свою жизнь так и не собрался не то што дом построить — на гото-

вой избушке крышу перекрыть. Ну чем добрым такого человека вспомянешь? Так жил, как свинья, коптил небо, ничё ни к чему, и умер никому не в убыток. Никчемный мужичишка был. А теперь племянничек такой же точно. Да еще баба попалась такая же...

...С тех пор миновал не один десяток лет. Федор Иванович с Манефой Савельевной стали пожилыми людьми, потом постарели. Последние годы уже не то что на ярмарку, вовсе не бывали в Ирбите. Они стали совсем безлошадные и не имели вообще никакой скотины. От всей когда-то обширной елпановской усадьбы не осталось и следа. Стояла одна избушка-малуха с худой крышей. Из всех девятнадцати рожденных Манефой детей в живых было семь сыновей и одна дочь. Старшие сыновья — Михаил, Никон, Артем и Захар — жили уже давно в строке у чужих людей в других деревнях. Остальные — Афанасий, Дмитрий и Петр — с семилетнего возраста тоже шли в люди, в борноволоки, подпаски и даже ходили по дворам, просили милостыню.

Церковь, которую выстроил в Прядеиной Иван Петрович Елпанов, давно уж развалилась. На прежнем месте остались одни тополя, когда-то посаженные в церковной ограде. По вечерам там паслись козы и овцы да иногда забредали свиньи и разрывали обломки битого кирпича, выискивая травяные корешки.

Куда подевались капиталы Елпановых — неведомо. Какими путями-дорогами разбрелись по белу свету их потомки — неизвестно.



...В конце сороковых годов прошлого века мне довелось побывать в деревне Прядеиной, описанной в моих документальных повестях «Переселенцы», «Чертята» и «Детство на хуторе Калиновка».

Деревня, как и все другие деревни в Зауралье, после Великой Отечественной войны сильно изменилась.

Стояла душащая июльская жара, над узкой лентой обмелевшей реки Кирги, над ее крутыми берегами дрожало знойное марево. Вокруг не было ни души. Завидев покосившуюся каланчу деревенской пожарницы, я побрела туда, стараясь держаться в тени домов.

У пожарницы в тени навеса на лавочке сидел старик.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здравствуй, голубушка! Что, в тенечке посидеть захотелось? Жара-то какая стоит...

— Попить бы мне...

— А вон у меня ведерко с водой в холодке стоит, и кружка там — пей на здоровье, сколь хошь, вода-то не куплена...

— Дедушка, ты, может, знаешь что-нибудь про Елпановых?

— Да как не знать, тут каждый старик и старуха знает про них. Только теперь уж не сохранилось ни дома, ни усадьбы. Даже от породы ихней в Прядеиной никого не осталось. Это надо в Харловой поспросить — там сестры Федора, последнего-то из Елпановых, живут, ну, можя, и еще кто из родни найдется. А нашто они тебе?

— Да так, просто узнать интересно...

Старик показал рукой на противоположный берег Кирги:

— Вон там, где коровы ходят, весь берег был в ихних постройках. Кирпичный завод имели, сараи сушильные, мельница-водянка хорошая стояла... Старики сказывали — шибко богатый был Иван-то Петрович Елпанов: хлебом торговал с заводами, мясом, оттуда скобяной

*товар на ярмарку вез. Церкву в Прядеиной за свой счет выстроил...*

*А вот наследник-то его, Федор Иванович, не тем будь помянут, никудышный мужик оказался. Я-то его плохо помню — еще маленький был. Сказывали только, што поедет Федор в Ирбит, поедет на лошади, а глядь — назад пешком идет. В карты сильно азартен был, ну и попивал немало. Оба они с женой еще молодыми померли...*

*— Спасибо за водичку, дедушка... Мне идти пора, до свиданья!*

*— Доброй тебе дорожки!*

*...Я уехала из Прядеиной, думая о том, что нужные сведения о Елпановых у меня уже собраны. А большего мне уж не узнать.*

## ГЛОССАРИЙ

**Азям** — верхняя одежда крестьян из домотканого сукна, имеющая вид долгополого кафтана без сборок.

**Анафема** — проклятие, отлучение от церкви.

**Антонов огонь** — гангрена.

**Бадаг** — батог; палка, посох, трость.

**Баский** — красивый.

**Баскобайник** — краснобай, говорун.

**Батог** — палка, толстый прут.

**Блазнить, блазниться** — соблазнять, искушать, смущать, совращать, наводить на грех; чудиться, мерещиться.

**Бласловлять** — благословлять.

**Богомаз** — иконописец (часто — плохой, неискusный).

**Большак** — старший в доме, в семействе.

**Борноволок, бороноволок** — ребенок, правящий лошадей при бороньбе. Достижением возраста бороноволока гордились. «Свой борноволок дороже чужого работника», — утверждала пословица.

**Ботало** — колокольчик из железного, медного листа или дерева, подвешивающийся на шею пасущейся коровы или лошади.

**Бродни** — обувь сибиряков с высокими голенищами, подвязываемая над щиколотками и под коленями.

**Буткать** — бить, стучать, колотить.

**Варавина** — веревка.

**Ватлать** — говорить пустяки, вздор.

**Вересовник, верес** — можжевельник.

**Вешняг** — отверстие или труба в мельничной плотине, открываемые для спуска прибывающей во время половодья воды.

**Вица** — хворостина, прут, розга, хлыст.

**Водополица** — весенний разлив рек, половодье.

- Голбец** — конструкция при печи, приступок для восхода на печь и полати и спуска в подклет.
- Гусевая** — передняя лошадь при запряжке «гусем», обычно самая выносливая.
- Двоехвостка** — плетка с расчлененным надвое концом.
- Дратва** — кручёная просмолённая или навощённая нитка для шитья обуви, кожевенных изделий.
- Елань** — обширная прогалина; поляна в лесу; луговая или полевая равнина; лесная вырубка, используемая для пашни или покоса.
- Заборка** — деревянная перегородка, разделяющая на части помещение в доме.
- Завóзня** — сарай для саней, телег, упряжи.
- Загнетка** — углубление на левой стороне русской печи, в которое сгребается раскаленный уголь.
- Занавица** — шторка, занавеска.
- Западня** (*архит.*) — подъемная дверь в погреб, подполье.
- Заплот** — забор, деревянная сплошная ограда из досок или бревен.
- Землянка** — *здесь* собирательное название лесных ягод (черника, брусника, земляника и пр.).
- Изгребь** — пакля, очески, грубые льняные волокна.
- Кержаки** — этноконфессиональная группа русских. Представители старообрядчества.
- Кичиги** — три звезды над горизонтом, стоящие в ряд. Говорили: «Спать легли, когда уж Кичиги взошли». Или: «Встали — Кичиги ещё не ушли».
- Кожилиться** — надрываться из последних сил.
- Колки** — небольшие березовые лески, растущие на увлажненных местах.
- Конотоп** — горец птичий (спорыш), однолетнее травянистое растение семейства гречишных.
- Коробок** — возок с плетеным кузовом.
- Кострина** (**костра́, кострика, костеря, кострица**) — одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли и др.).

- Кошева́** — широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами и т. п.
- Кошёвка** — рабочие сани, розвальни.
- Кошенина** — скошенная трава.
- Кошомный** — войлочный.
- Кресало** — железное или стальное изделие, служащее для добывания огня путём ударов о кремь; огниво.
- Крёсенка** — крёстная дочь по отношению к крёстным родителям.
- Кричник** — работник при отжиге и отделке криц.
- Кросны** — ткацкий станок.
- Крылос** — клирос, место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам перед алтарем.
- Кудель** — очищенное от костры волокно льна, конопли, приготовленное для прядения.
- Кумышка** — хмельной напиток домашнего приготовления, самогонка.
- Куржак** — изморозь, иней на деревьях.
- Курок** — штырь, на котором держится и ходит передняя ось повозки.
- Литовка** — коса с длинной прямой рукоятью.
- Лонись** — в прошлом году.
- Малуха** — задняя, малая изба, скотная, шерстобитная, или просто зимница.
- Матица** — балка, поддерживающая потолок.
- Махан** — мясо (преимущественно конина), употребляемое в пищу (у татар, башкир и некоторых других народов).
- Мерлушковая** — сшитая из мерлушек (шкурка ягнёнка грубошерстной породы овец).
- Миткалевый** — **миткаль** — неотделанная тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
- Могеревый** — мохеровый, сделанный из козьей шерсти.
- Молотье** — то, что мелют.
- Морда** — здесь рыболовная снасть.



**На розвях** — выпивший, пьяный.

**Намёднись** — намедни, на днях, недавно.

**Настольник** — русское областное название расхожей скатерти из грубой, дешевой материи, застилаемой ежедневно. Скатертью же в районах, где употребляют термин настольник (натрапезник), называют только тканую белую скатерть, застилаемую в праздники.

**Недоуздок** — конская уздечка без удил и с одним поводом.

**Неминя** — нужда, необходимость.

**Неработь** — лентяй.

**Новина** — не паханная еще земля, новь, целина.

**Нырок: с нырка в нырок** — с ухаба на ухаб.

**Оберуч** — обеими руками.

**Обечеилось** — получилось.

**Обутки** — обувь, лапти с оборками.

**Овин** — хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой.

**Одверок** — простенок от угла до двери.

**Отава** — трава, отросшая на сенокосах или пастбищах после скашивания или стравливания.

**Отжинки** — последний день жатвы, обычно празднуемый в деревнях.

**Отзимок** — кратковременное возвращение зимней погоды после начала весеннего потепления.

**Очеп** — жердь или шест, приводящий в движение скрепленную с ним колыбель (люльку) в крестьянском доме.

**Пбмочь** — взаимопомощь, работа миром для кого-нибудь; за нее обильно угощали, но не платили.

**Падера** — буря, гроза с сильным ветром; метель, вьюга.

**Паточина** — болотный родник.

**Пауты (оводы)** — собирательное название средних размеров паразитических мух, относимых к нескольким семействам двукрылых. Всего известно около 150 видов оводов.

- Пикуль** — личинка стрекозы.
- Поветря** — поветрие, быстро распространяющаяся эпидемия.
- Пола́ты** — пола́ти, лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью.
- Помылье** — мыло, для изготовления которого использовали животный жир.
- Попритчилось** — случилось.
- Пострадки** — сезонные работники и работницы на сенокос и жнитво. Идти в пострадки — наниматься в работники на сторону.
- Прасол** — торговец, скупавший оптом в деревнях рыбу или мясо для розничной продажи и производивший их засол.
- Приклад** (*церк.*) — внос, подарок, жертва, приношение, дар.
- Причт** — состав группы лиц, служащих при каком-либо одном храме (приходе), как священнослужителей (священник и дьякон), так и церковнослужителей (псаломщики и др.).
- Пропастина** — падаль, мертвечина.
- Пятры** — верхний настил под крышей сарая, где хранили сено.
- Разболокаться** — раздеться, снять лишнюю одежду.
- Распыхаться** — зажить богато, разбогатеть.
- Регент** — в православной церкви лицо, управляющее хором. Он подбирает голоса для хора, обучает его, руководит им при богослужении.
- Робить** — работать.
- Сабан** — плуг с колесным передком.
- Сарпинка** — легкая хлопчатобумажная ткань типа ситца, полосатая или клетчатая.
- Сибирка** — сибирская язва, особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.

- Слега** — толстая жердь, брус. Слеги, положенные поперек стропил, служат основанием для кровли.
- Смоляник** — подстилка, тряпка, кусок холста, который стелют на пол; клеёнка.
- Смошный** — дождливый.
- Сóгра** — заболоченная кочковатая местность, поросшая кустарником или мелким лесом.
- Солнце в рукавицах** (*сиб.*) — об отражении солнечных лучей на горизонтальной линии в парах, что образует два радужных пятна (явление, предшествующее стуже).
- Станушка** — нижняя часть женской рубахи, пришивалась отдельно к верхней части. Поперечный шов проходил чуть выше талии.
- Стародубка** — лекарственное растение адонис весенний, горицвет сибирский.
- Строк** — в строк: наняться на работу на время. Обычно на период страды.
- Стропилина** — одно из бревен, составляющих стропило.
- Суперик** — небольшое золотое кольцо с камнем.
- Сыромятина** — кусок сыромятной кожи.
- Таган** — подставка для котла или иной посуды, позволяющая готовить пищу на открытом огне.
- Творило** — затвор (напр. в плотине), подъемная дверь (на чердак, в подполье, в погреб и т.п.).
- Телепня** — неповоротливый, вялый, неуклюжий человек; недотёпа.
- Трунда** — торфянистая почва, торф.
- Тысяцкий (дружка, тамада)** — главный распорядитель на свадьбе.
- Углан** — болван, повеса, шалун, баловник.
- Уносить круга** — считаться абсолютным победителем в кулачном бою.
- Утлый** — ненадежный, хилый, слабый.
- Файшонка** — кружевная или шелковая косынка.

- Целовальник** — продавец в питейном заведении, кабаке.
- Чересседельник** — часть упряжи, конской сбруи в виде ремня, протянутого от одной оглобли к другой через седёлку.
- Чертознай** — грамотей, умник.
- Шабала́** — деревянная шумовка.
- Шаять** — гореть без пламени, тлеть.
- Шепериться** — важничать, хорохориться.
- Штоф** — четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, служащий мерою жидких тел, равной  $\frac{1}{8}$  ведра.
- Щёлок** — отвар золы, настой кипятка на золе, поташная, зольная вытяжка.
- Яга** — шуба, тулуп.

## СОДЕРЖАНИЕ

Где труд обретает смысл.....	3
Обращение к читателю.....	9
От Новгородчины до Зауралья.....	12
В хозяйской малухе.....	38
Страшная зараза — сибирка.....	76
Кузница.....	85
Свадьба на зимний мясоед.....	89
Беглый каторжник.....	98
Убийство Анны Кузнецовой.....	108
Пожар.....	121
Соломия с Куликовских хуторов.....	127
Тайна Устинова лога.....	132
Орловский рысак Буян.....	141
Засада у моста.....	154
Конец Иллариона Коршунова.....	159
Богатая невеста.....	167
Женитьба Петра Елпанова.....	174
Масленица.....	178
Мельница на реке Кирге.....	185
Страшная находка на берегу.....	197
Затмение.....	203
Заимка на Осиновке.....	211
Первенец.....	213
Тифозное поветрие.....	222
Конокрады.....	236
Жизнь прожить — не поле перейти.....	242
Гавриил и Аграфена.....	253
«Русский поляк» из Малороссии.....	270
Расплата.....	279
Постоялый двор.....	295
На берегах Казанки и Волги.....	308
Дочь Иродиады.....	315

Кольцо с рубином.....	322
Бродяга.....	341
Второй тайник.....	348
Конец Пантелея Китаева.....	353
Антихрист.....	359
Лева Жигарь.....	368
Под чужими именами.....	373
Бухарское зелье.....	383
Нечистая сила.....	390
После царевой службы.....	395
Снова в родной деревне.....	411
Пугачевское восстание.....	424
Депеши из губернии.....	450
Беглая невеста.....	456
Марьянина свадьба.....	470
Обида.....	476
Смертельный недуг.....	481
Вдовушка Серафима.....	486
Кержачка Пия.....	493
Стариковские думы.....	500
Полынья на Реже.....	505
Новоявленная икона.....	510
Видно, не судьба.....	515
Цыганка гадала.....	522
Маринкина любовь.....	539
Нежеланная свадьба.....	545
Сватовство на склоне лет.....	555
Назвали ее Сусанной.....	569
Церковь в Прядеиной.....	576
Народная изба.....	589
Наследник.....	592
Вот тебе и вечное поминовение!.....	595
Свадьба Феокисты.....	605
Слепота.....	614
Непутевый.....	618

Нежданная встреча .....	622
Неудачное сватовство .....	626
Ворованная невеста .....	633
Смерть Ивана Елпанова .....	642
Федор и Манефа.....	645
Утраченное наследство.....	662
Глоссарий.....	670

Литературно-художественное издание

**Мария Панфиловна  
Сосновских**

Ответственный за выпуск  
А.В. Камянчук

Художественные редакторы:

А.И. Акимов, А.В. Камянчук, Т.В. Королёва

Художник  
Н.А. Камянчук

Технический редактор  
М.В. Камянчук

Главный корректор  
Г.В. Бирюкова

Наборщик:  
С.Н. Овчинникова

Корректоры:  
С.С. Вялкова, А.Ю. Вялков

Подписано в печать 04.10.18.  
Формат 84x108 <sup>1/32</sup>. Печать офсетная.  
Тираж 10000 экз.

Заказ №963

ООО «Печатный вал»,  
623851, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Горького, 2д,  
тел. (34355) 6-23-85, 6-23-83, 6-23-89.